

КЛЕОПАТРА



Урэн
Фрэн



ЖИЗНЬ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫХ ЛЮДЕЙ

Annotation

О необыкновенной и трагической жизни одной из самых удивительных и загадочных женщин в истории человечества — царицы Клеопатры создано немало замечательных произведений. Книгу Ирэн Фрэн выделяют из этого достойного ряда яркая образность и предельная историческая достоверность.

- [Ирэн Фрэн](#)
 - [ИГРОКИ И МЕЧТАТЕЛИ:](#)
 - [ПРЕДИСЛОВИЕ](#)
 - [ОБ ОКРУГЛОСТИ МИРА](#)
 - [СЛАВА ОТЦА](#)
 - [СЕМЕЙНОЕ СОСТОЯНИЕ](#)
 - [ТОТ, КОТОРОГО НЕ ЖДАЛИ](#)
 - [ФЛЕЙТИСТ](#)
 - [ЗМЕИНЫЙ ВЫВОДОК](#)
 - [НЕПОДРАЖАЕМЫЙ ГОРОД](#)
 - [ДОХЛАЯ КОШКА](#)
 - [ВРЕМЯ ЗАТМЕНИЯ](#)
 - [НАСЛЕДНИЦА](#)
 - [АЛЕКСАНДРИЙСКОЕ ТРИО](#)
 - [В ПУСТЫНЯХ ВОСТОКА...](#)
 - [ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ ХОТЕЛ СТАТЬ ЦАРЕМ](#)
 - [ЖЕНЩИНА, КОТОРАЯ УМЕЛА СМЕЯТЬСЯ](#)
 - [ЗАПАДНЯ](#)
 - [ЛЮБОВЬ И ВОЙНА](#)
 - [ГЕНИЙ И БОГИНЯ](#)
 - [НА ВЕРШИНЕ](#)
 - [ЭКЗОТИЧЕСКАЯ ЖИРАФА](#)
 - [ЕГИПТЯНКА](#)
 - [КАНУН КОНЦА МИРА](#)
 - [ПОСЛЕ КАТАСТРОФЫ](#)
 - [БУРЯ](#)
 - [МОЛОКОСОС](#)
 - [ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ ОЩУТИЛ СЕБЯ ГРЕКОМ](#)
 - [ВОЖДЕЛЕННОЕ ТЕЛО](#)

- [НЕПОДРАЖАЕМАЯ ЖИЗНЬ](#)
- [ДРУГАЯ ЖЕНЩИНА](#)
- [СПРУТ](#)
- [АНТИОХИЙСКАЯ СВАДЬБА](#)
- [ПАРФЯНСКАЯ СТРЕЛА](#)
- [ЦАРИЦА ЦАРЕЙ](#)
- [ЗЕМЛЯ ПРОТИВ НЕБА](#)
- [БЕГСТВО](#)
- [ОБЩЕСТВО СТРЕМЯЩИХСЯ К СМЕРТИ](#)
- [ПРОЩАЯСЬ С АЛЕКСАНДРИЕЙ, КОТОРУЮ ТЕРЯЕШЬ...](#)
- [КРАТКАЯ ХРОНОЛОГИЯ\[139\]](#)
- [УПРОЩЕННАЯ ГЕНЕАЛОГИЯ ПТОЛЕМЕЕВ](#)
- [БИБЛИОГРАФИЯ](#)
- [БЛАГОДАРНОСТИ](#)
- [ПОЯСНЕНИЯ К ИЛЛЮСТРАЦИЯМ](#)
- [КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ МОНЕТ](#)
- [P. S](#)
- [ИЛЛЮСТРАЦИИ](#)
- [notes](#)
 - [1](#)
 - [2](#)
 - [3](#)
 - [4](#)
 - [5](#)
 - [6](#)
 - [7](#)
 - [8](#)
 - [9](#)
 - [10](#)
 - [11](#)
 - [12](#)
 - [13](#)
 - [14](#)
 - [15](#)
 - [16](#)
 - [17](#)
 - [18](#)
 - [19](#)
 - [20](#)

- [21](#)
- [22](#)
- [23](#)
- [24](#)
- [25](#)
- [26](#)
- [27](#)
- [28](#)
- [29](#)
- [30](#)
- [31](#)
- [32](#)
- [33](#)
- [34](#)
- [35](#)
- [36](#)
- [37](#)
- [38](#)
- [39](#)
- [40](#)
- [41](#)
- [42](#)
- [43](#)
- [44](#)
- [45](#)
- [46](#)
- [47](#)
- [48](#)
- [49](#)
- [50](#)
- [51](#)
- [52](#)
- [53](#)
- [54](#)
- [55](#)
- [56](#)
- [57](#)
- [58](#)
- [59](#)

- [60](#)
- [61](#)
- [62](#)
- [63](#)
- [64](#)
- [65](#)
- [66](#)
- [67](#)
- [68](#)
- [69](#)
- [70](#)
- [71](#)
- [72](#)
- [73](#)
- [74](#)
- [75](#)
- [76](#)
- [77](#)
- [78](#)
- [79](#)
- [80](#)
- [81](#)
- [82](#)
- [83](#)
- [84](#)
- [85](#)
- [86](#)
- [87](#)
- [88](#)
- [89](#)
- [90](#)
- [91](#)
- [92](#)
- [93](#)
- [94](#)
- [95](#)
- [96](#)
- [97](#)
- [98](#)

- [99](#)
- [100](#)
- [101](#)
- [102](#)
- [103](#)
- [104](#)
- [105](#)
- [106](#)
- [107](#)
- [108](#)
- [109](#)
- [110](#)
- [111](#)
- [112](#)
- [113](#)
- [114](#)
- [115](#)
- [116](#)
- [117](#)
- [118](#)
- [119](#)
- [120](#)
- [121](#)
- [122](#)
- [123](#)
- [124](#)
- [125](#)
- [126](#)
- [127](#)
- [128](#)
- [129](#)
- [130](#)
- [131](#)
- [132](#)
- [133](#)
- [134](#)
- [135](#)
- [136](#)
- [137](#)

- [138](#)
 - [139](#)
 - [140](#)
 - [141](#)
 - [142](#)
 - [143](#)
-

Ирэн Фрэн КЛЕОПАТРА, ИЛИ НЕПОДРАЖАЕМАЯ

*Посвящается Жаклин де Ромийи, которой я
обязана любовью к греческому языку.*

*Когда внезапно в час глубокой ночи
услышишь за окном оркестр незримый
(божественную музыку и голоса) —
судьбу, которая к тебе переменилась,
дела, которые не удались, мечты,
которые обманом обернулись,
оплакивать не вздумай понапрасну.
Давно готовый ко всему, отважный,
прощайся с Александрией, она уходит.
И главное — не обманись, не убеди
себя, что это сон, ошибка слуха,
к пустым надеждам зря не снисходи.
Давно готовый ко всему, отважный,
ты, удостоившийся города такого,
к окну уверенно и твердо подойди
и вслушайся с волнением, однако
без жалоб и без мелочных обид
в волшебную мелодию оркестра,
внемли и наслаждайся каждым звуком,
прощаясь с Александрией, которую теряешь.*

Константинос Кавафис

«Покидает Дионис Антония»^[1]

ИГРОКИ И МЕЧТАТЕЛИ: МНЕНИЕ ДИЛЕТАНТА

Эпиграф к книге Ирэн Фрэн на самом деле звучит так (в переводе с французского):

Прощайся с Александрией, которая уходит...

.....

И прощайся с Александрией, которую теряешь.

Константинос Кавафис

Я позволила себе привести стихотворение, из которого взяты эти строки, целиком, потому что вся книга — как бы развернутый к нему комментарий. Константинос Кавафис (1863–1933) — греческий поэт, который родился в Александрии и провел там большую часть жизни; многие его стихи внешне представляют собой исторические миниатюры, по сути же являются притчами о константах человеческого бытия. В данном стихотворении речь идет о подведении итогов человеческой жизни (в момент смерти), что автор книги о Клеопатре еще более подчеркивает, вынося в эпиграф только рефрен. Сама Ирэн Фрэн говорит в предисловии о том, что история египетской царицы есть «история о крови [то есть насилии и/или страдании?], сексе и смерти», иными словами — типичная история каждого человека. История Клеопатры так по-особому притягательна потому, что эта женщина (как, впрочем, и мужчины, которых она любила) с максимальным напряжением сил пережила все ключевые этапы индивидуального человеческого развития, а значит, так сказать, завершила круг своей жизни.

*

Она жила в переломную эпоху: человек, который победил ее в войне и из-за которого она умерла, положил начало новому этапу всемирной истории — эпохи римского принципата. Еще важнее другое: ее жизнь падает на время нравственного «зияния». Она еще чувствует себя

наследницей египетских фараонов, но фактически ничем не связана с ними. Эпоха древневосточных монархий давно отошла в прошлое, а вместе с ней — и особая система ценностей, религия «Маат», на которой эти монархии базировались. Новая система ценностей — христианская — начнет формироваться очень скоро (даты смерти Клеопатры и рождения Христа разделены промежутком всего в тридцать лет), но пока для ментального климата характерны безудержный (часто чудовищный в своих проявлениях) индивидуализм, потребность в нравственной/религиозной опоре и почти полное непонимание того, в чем можно такую опору найти. Культуры восточных монархий (и их настоящих наследников — «туземного» Египта, столь ненавистной Клеопатре Иудеи) в чем-то превосходят шагнувшие далеко вперед (в смысле развития техники, науки, философии) эллинистическую и римскую культуры. Носители восточных культур понимали, что религия — не только выпрашивание благодеяний у богов или исполнение ритуалов, но и система нравственных обязательств правителей и их подданных. Однако религии «Маат» — религии обществ, в которых человек почти не имеет индивидуальности, ибо не может жить вне коллектива, детально регламентирующего все аспекты его жизни. Христианство, развитый иудаизм, другие «мировые религии», а также нерелигиозные философские системы нового и новейшего времени «рассчитаны» на ответственную за свои поступки личность. Чтобы «дорости» до них, человечество должно было «повзрослеть», неминуемо пройдя через период «подросткового эгоизма», — не говоря уже о том, что далеко не все подростки, взрослея, изживают свой эгоизм.

Единое мировое пространство, образовавшееся на развалинах «империи» Александра, несравненно более обширно, чем мир ближневосточных империй (египетской, ассирийской, персидской). Правда, оно раздроблено — великий полководец не предложил разработанной идеологии, способной сплотить завоеванную им державу, и (совершенно закономерно) сразу же после его смерти держава эта распалась. Она стала ареной соперничества политических «игроков», рвущихся к личной власти, один из которых, Птолемей Лаг, основал новую египетскую династию. Ирэн Фрэн (как и Кавафис) смотрит на исторический эпизод, который она описывает, глазами человека, влюбленного в греческую культуру. Эта точка зрения понятна и привлекательна, но в то же время не вполне объективна. Она, как мне кажется, приводит к некоторому искажению перспективы. Для госпожи Фрэн Клеопатра — последний фараон Египта. Однако в то время существовало два Египта: столица, Александрия, многоязыкий город моряков, купцов, ремесленников, ученых, и остальной, преимущественно

«туземный», сельский Египет. Автор подчеркивает некоторые моменты сближения Клеопатры с египтянами и египетским жречеством, но все эти моменты — чисто показные, «театральные». Клеопатра может сколько угодно наряжаться Исидой, но она не является фараоном в подлинном смысле — потому что не знает и не разделяет идеологию фараонов, идеологию «справедливого миропорядка» («Маат»), в соответствии с которой должна была бы заботиться (например, в плане строительства и благоустройства храмов, поддержания ирригационной системы, пресечения злоупотреблений чиновников) обо всей подвластной ей территории, а не только об Александрии. (Да и об Александрии царица, собственно, не заботилась — разве что украшала город новыми статуями.) Ее религия прямо противоположна религии «Маат»: это вера в Тюхе или Фортуну, то есть в случайность. Клеопатра, как мне кажется, действительно стала частью египетской культуры, но уже после смерти, в силу своей исключительной судьбы, тогда, когда разрозненные этнические элементы египетского общества более или менее синтезировались^[2]. При жизни же она имела очень узкую реальную опору, ибо даже с александрийцами ее мало что связывало.

Александрийцы — такие же индивидуалисты, как и она, — находились со своими владыками в странных отношениях. Эпоха, о которой идет речь, — время, когда и в эллинистических государствах, и в Риме были изобретены или усовершенствованы многообразные приемы манипулирования общественным мнением: пышные церемонии, зрелища, речи, раздачи продуктов и подарков. Время беззастенчивой политической игры, когда все превращается в театр, в не наполненные реальным содержанием формы. Но соответственно развращался и народ, в его отношении к владыкам теперь преобладал скептицизм (что видно, например, по тем откровенно «блатным» кличкам, которые жители Золотого города давали царям и царицам из династии Лагидов). И определялось это отношение соображениями сиюминутной выгоды и столь же кратковременными порывами эмоций. Клеопатре удалось завоевать искренние симпатии александрийцев, стать для них символом любимого ими образа жизни. Но тем показательнее та легкость, с какой они смирились с ее поражением в войне против Октавиана:

«... очевидно было, что при первой тревоге они перейдут на сторону победителя, ибо никогда, никогда больше не допустят, чтобы, как во времена Цезаря, на их улицах воздвигали баррикады, чтобы поджигали их склады, чтобы катапульты бомбардировали их дома».

В «Записках о военных действиях в Александрии», составленных

одним из секретарей Цезаря, качества александрийцев характеризуются так: «А утверждать, что жители Александрии способны к верности и постоянству, — значило бы терять слова по-пустому. Что касается до свойств этого народа, то каждый убежден, что нет иного, более способного к измене и предательству» (7).

Суть взаимоотношений Клеопатры с ее подданными, как мне представляется, прекрасно выразил тот же Константинос Кавафис, в стихотворении «Александрийские цари» (в пер. С. Ильинской), где речь идет о проведенной Антонием церемонии «Дарений», подробно описанной в настоящей книге:

Сошлись александрийцы посмотреть
на отпрысков прекрасной Клеопатры,
на старшего, Цезариона, и на младших,
на Александра и на Птолемея,
что выступят в Гимнасии впервые,
где их царями ныне назовут
перед блестящим воинским парадом.
Армян, мидийцев и парфян владыкой
всесильным Александра нарекли.
Сирийским, киликийским, финикийским
владыкою был назван Птолемей.
Однако первым был Цезарион —
в одеждах нежно-розового шелка,
украшенный гирляндой гиацинтов,
с двойным узором аметистов и сапфиров
на поясе и с жемчугом на лентах,
увивших ноги стройные его.
Он вознесен был выше младших братьев,
Провозглашен Царем среди Царей.

Разумные александрийцы знали,
что это было только представленье.

Но день был теплым и дышал поэзией,
лазурью ясной небеса сияли,
Гимнасий Александрии по праву
венцом искусства вдохновенного считался,
Цезарион был так красив и так изящен

(сын Клеопатры, Лага славного потомок).
И торопились, и к Гимнасию сбегались,
и криками восторга одобряли
(на греческом, арабском и еврейском)
блестящий тот парад александрийцы,
а знали ведь, что ничего не стоят,
что звук пустой — цари и царства эти.

Но если это так, то осуществима ли была мечта Клеопатры о создании мировой империи по образцу державы Александра, на базе греческой культуры? Думаю, что нет, ибо за пресловутым «греческим универсализмом» царицы стояло лишь желание получать дань с новых территорий (что и подтвердилось, когда Антоний подарил ей земли в Сирии и Палестине). Ирэн Фрэн восхищается желанием Клеопатры основать всемирную империю, но в то же время сама оговаривается, что «... единственная культура, которую она [Клеопатра] признавала, была ее собственная, греческая»; что царица не любила и презирала римскую культуру и что она, «если бы могла, удавила бы всех евреев, какие есть на земле».

Образ бога Диониса, которому Клеопатра придавала столь большое значение, несомненно, должен был привлекать людей (особенно маргинальные группы):

«Дионис есть бог жизни, ибо он живет везде, где что-то течет — вода, вино, сперма, жизненные соки; Дионис — Великий Волосатик, Добрый Дурак... потому что он — господин чаш и пирушек, любви и дружбы, музыки и танцев; веселый постановщик человеческой комедии, бог Мира наизнанку, милостивый ко всем, кто с помощью алкоголя пытается врачевать раны, которые нанесла жизнь; потому что он опрокидывает все вещи, чтобы потом лучше их уравновесить; потому что он — бог в себе и божественная самость; тот, кто завладевает человеком, чтобы его освободить; потому что он примиряет противоположности — день и ночь, смерть и жизнь, мгновение и Вечность, могущество земли и силу света...»

Образ Диониса использовали в своих «играх» и Юлий Цезарь (но не в Риме, а в преимущественно греческой Александрии), и Антоний (в Греции, Малой Азии, Александрии). Однако применительно к политической системе вера в Диониса не предполагает ни обязательств подданных в отношении государя, ни обязательств государя в отношении подданных, поэтому эта вера не могла стать идеологической основой имперской власти.

То же можно сказать и относительно других эллинистических культов — например, культов Исида, земным воплощением которой считала себя Клеопатра, и Сараписа; во всех этих случаях речь идет больше о форме, об оболочке идеологии, нежели о таком ее содержании, которое могло бы сплотить людей.

Цезарь, кажется, первым из римских политиков понял, что образование гигантской империи требует «надежных ориентиров и ферментов единства», и, согласно гипотезе Ирэн Фрэн, попытался «создать, по образцу Рима, но с учетом греческого и египетского опыта, матрицу человеческого общества, достаточно совершенную, чтобы она могла гармонично сочетать в себе множество достижений разных культур». При нем действительно началось массовое основание колоний в провинциях, где было расселено около 80 000 человек. В невиданных прежде масштабах предоставлялись гражданские права провинциалам, а Предальпийская Галлия и город Гадес в Испании получили права римского гражданства для всего населения. Итальянцы и провинциалы отныне могли входить в элитный слой, участвующий в общеримском управлении. Гай Светоний Транквилл пишет, что Цезарь «привлекал к себе и царей и провинции по всему миру: одним он посылал в подарок тысячи пленников, другим отправлял на помощь войска куда угодно и когда угодно, без одобрения сената и народа. Крупнейшие города не только в Италии, Галлии и Испании, но и в Азии и Греции он украшал великолепными постройками... В провинциях он постоянно давал обеды на двух столах: за одним возлежали гости в воинских плащах или в греческом платье, за другим гости в тогах вместе с самыми знатными из местных жителей»^[3] (Божественный Юлий, 28 и 48). Светоний же упоминает и те имевшие символическую значимость проекты, о которых подробно рассказывает Ирэн Фрэн: реформу календаря, землеустроительные и градостроительные планы Цезаря, планы открытия в Риме греческих и латинских библиотек. Интересно, что Цезарь понял необходимость наличия какой-то идеологии как основы для имперского строительства и, хотя был человеком неверующим, попытался создать новый божественный культ — культ собственной личности.

Однако и его имперские планы вряд ли были осуществимы, поскольку он не учел двух очень важных факторов. Во-первых, Италия была обескровлена гражданской войной и жаждала покоя, Цезарь же собирался выступить в длительный поход для завоевания мира, поход, в ходе которого его солдатам пришлось бы вести борьбу с опасными парфянами и другими неизвестными им варварскими племенами. Во-вторых, Рим не был готов

разделить плоды своих купленных дорогой ценой побед с греками и другими провинциалами. Когда император «ввел в сенат граждан, только что получивших гражданские права, и в их числе нескольких полудиких галлов», представители высших сословий возмутились, а плебеи даже стали распевать такие куплеты: «Галлов Цезарь вел в триумфе, галлов Цезарь ввел в сенат / Сняв штаны, они надели тогу с пурпурной каймой» (Светоний, Божественный Юлий, 76 и 80). И наконец, Цезарь слишком откровенно добивался абсолютной власти, порой выказывая неуважение к обычаям предков и республиканским нормам поведения.

То, что не удалось Цезарю, сумел осуществить избранный им наследник, Октавиан.

Октавиан приобрел популярность, когда объявил о конце гражданской войны и простил недоимки по налогам; он, как справедливо отмечает Ирэн Фрэн, *«решил предложить римлянам форму власти, которая соответствовала бы сложившемуся в их сознании образу»* — то есть, в отличие от Цезаря, ориентировался на конкретную ситуацию, на ожидания своих соотечественников. Окончился террор, были укреплены собственнические права на землю. При этом сохранились внешние формы республиканского правления, ибо Август именовал себя «принцепсом», то есть первым из сенаторов, и считал, что власть его основана на личном авторитете (в своем завещании он выразил эту мысль так: «... я превосходил всех своим авторитетом, власти же я имел ничуть не более, чем те, кто были моими коллегами по каждой магистратуре»).

При Августе завершается завоевание Испании и проводится практическая работа по реорганизации и освоению провинций. Испания была разделена на Бетику, Лузитанию и Таррагонскую провинцию, Галлия — на Лугдунскую Галлию, Аквитанию и Бельгику. В провинциях было упорядочено налогообложение, основывались колонии и новые города, прокладывались дороги, которые способствовали оживлению торговых связей между Италией и провинциями и между самими провинциями, строились мосты, акведуки, форумы и театры. В отношении союзных царей он вел себя так же, как Цезарь: «Он заботился о них, как о частях и членах единой державы... а многих царских детей воспитывал или обучал вместе со своими» (Светоний, Божественный Август, 47). По словам историка Г. С. Кнабе, «именно с мероприятий Августа начинается процесс, которому и предстояло в конечном счете привести к уравниванию Рима и провинций»^[4]. Вместе с тем Август гораздо более скуп, чем Цезарь, предоставлял выходцам из провинций гражданские права — ибо, как пишет Светоний, считал особенно важным, «чтобы римский народ

оставался неиспорчен и чист от примеси чужеземной или рабской крови» (Божественный Август, 40).

В идеологическом плане Август выступил с лозунгами восстановления республики и нравов предков, прекращения войн и смут (в своем политическом завещании он, между прочим, рекомендовал римлянам воздержаться от дальнейшего расширения границ империи), наступления золотого века и процветания. Он сумел привлечь на свою сторону выдающихся деятелей культуры, наполнивших эти лозунги живым содержанием: Вергилия, создавшего эпос новой эпохи, «Энеиду»; поэта Горация, прославлявшего умеренную и добродетельную жизнь, «золотую середину»; историка Тита Ливия и ратора Дионисия Галикарнасского, сторонников сближения римской и греческой культур; географа Страбона, составившего описание всех известных тогда стран и народов, и других. То есть Август предложил если не религию, то стройную идеологическую систему, гораздо в большей степени, чем культы Исиды или Диониса, затрагивавшую такие сферы, как нравственность, взаимные обязательства правителя и народа, учение о путях достижения счастливой жизни. Впрочем, при нем возник и новый религиозный культ — культ императора (самого Августа), который развивался в значительной мере по инициативе «снизу» и приобрел популярность в самых широких слоях.

Наконец Август практически осуществил многие «символические» проекты, задуманные Цезарем: он ставил себе в заслугу то, что, приняв Рим кирпичным, оставил его мраморным (Светоний, Божественный Август, 28). Помимо других многочисленных зданий, он выстроил на Палатине дворцовый комплекс и храм Аполлона. При храме была основана первая в Риме публичная библиотека. Адмирал Августа Агриппа построил в столице театр, термы, водопровод, Пантеон («храм всех богов»). «Календарь, введенный божественным Юлием, но затем по небрежению пришедший в расстройство и беспорядок, он [Август] восстановил в прежнем виде» (там же, 31). Октавиан, копируя Цезаря, даже устраивал театральные представления на разных языках (там же, 43). Он пользовался любовью народа: «Люди всех сословий... на новый год приносили ему подарки на Капитолий, даже если его не было в Риме... На восстановление его палатинского дома, сгоревшего во время пожара, несли деньги и ветераны, и декурии, и трибы, и отдельные граждане всякого разбора, добровольно и кто сколько мог... Имя отца отечества было поднесено ему всем народом, внезапно и единодушно... Многие провинции не только воздвигали ему храмы и алтари, но и учреждали пятилетние игры чуть ли не в каждом городке» (там же, 57–59). Наконец, в своем завещании он, в

отличие от Цезаря, оставил полный отчет о государственных делах: «сколько где воинов под знаменами, сколько денег в государственном казначействе, в императорской казне и в податных недоимках» (там же, 101).

Историк А. Б. Ковельман^[5] определяет разницу между птолемеевским и римским Египтом (то есть между Египтом как ядром воображаемой мировой державы Клеопатры и Египтом как частью реорганизованной Августом Римской империи) таким образом:

«Римское завоевание произвело переворот... Главное, что изменилось — пало царское хозяйство Птолемеев. Падение началось еще задолго до самоубийства Клеопатры VII. Разрушались царские монополии, земля переходила в частную собственность. Римляне завершили процесс и внесли в него новую черту. Они попытались придать Египту облик гражданского общества. Человек перестал быть придатком царской казны и сделался хоть иллюзорно, хоть фиктивно, но личностью. Его положение определялось богатством, гражданством, образованием — личными достоинствами, а не должностью... Расплодилось частные мастерские (при Птолемах преобладали казенные). Развивалась частная торговля. Увольнение от службы и произвело, вероятно, чувство собственного достоинства, без которого свободно обходились подданные Птолемеев... Центры областей (номов) при Птолемах считались деревнями, хотя насчитывали десятки и сотни тысяч жителей — много больше, чем заштатные города в Элладе... При Северах начался процесс муниципализации, когда городские советы появились в метрополиях (центрах номов) и в Александрии (начало III в. н. э.). В IV в. Диоклетиан превратил метрополии в полисы, автономные города античного типа. Еще раньше всему населению империи Каракалла даровал права римских граждан. Другой канал формирования «гражданского сознания» — египетские корпорации. В I в. н. э. корпоративное движение пышным цветом расцвело в долине Нила».

Впрочем, так никогда и не реализованная утопическая мечта о создании всемирной эллинистической державы в каком-то — идеальном — аспекте все-таки осуществилась: греческая культура оказала огромное влияние и на прагматичный Рим, и на многие другие народы; она не только стала одной из важнейших составных частей современной европейской культуры, но серьезнейшим образом воздействовала, например, на развитие иудейской и мусульманской философии и науки...

Таков был исторический контекст правления Клеопатры. Однако, как я попыталась показать в начале статьи, Ирэн Фрэн, видимо, хотела создать что-то вроде современного варианта жизнеописаний Плутарха — поучительный рассказ (не искажающий исторической действительности, то есть лишенный элементов вымысла, «романных красот») о человеческой жизни вообще. Она и жанр своей книги определяет как *récit* — «рассказ, повесть», но не «роман» и не «биография». Ее книга — синтез истории и литературы.

Как историческое сочинение книга эта обладает многими достоинствами. Здесь дается объемный анализ событий, то есть показываются одновременно и политическая, и экономическая, и культурная ситуации, высвечиваются их истоки (в качестве самого яркого примера такого рода «выявления истоков» можно упомянуть занимающий несколько глав рассказ о последних Птолемах — тема, почти неизвестная широкому читателю, представленная разве что в узкоспециальных работах). Ирэн Фрэн излагает нетрадиционные (но убедительно выстроенные) версии некоторых важных эпизодов: предлагает свою трактовку мотивов убийства Цезаря; интерпретирует битву при Акции не как регулярное сражение, а как довольно успешно осуществленную Антонием операцию по прорыву блокады; объясняет самоубийство Антония не коварством царицы, а ошибкой ее гонца; связывает возникновение знаменитой IV эклоги Вергилия с первой беременностью Октавии и надеждами римлян на прекращение гражданских войн. Она пользуется самого разного рода источниками, в том числе титулатурами, монетами, оракулами, языком как таковым (я имею в виду подробный анализ терминов, понимание которых в древности не совпадало с сегодняшним: например, *fēlicitas*, «счастье»; *superbia*, «гордость, высокомерие»; *amor*, «любовь»; *μεθη*, «(сладостное) опьянение»). В плане работы с источниками ее самые поразительные, на мой взгляд, достижения — это использование древних малодостоверных слухов (например, о чудесных знамениях) как средства, позволяющего проникнуть в массовое сознание и подсознание (ср.: «сплетни... суть не что иное, как питательная почва для смутных страхов и одновременно страх, облаченный в слова»); весь экскурс, посвященный анализу термина *infandum*, «несказанное, невыразимое», которым римляне обозначали убийство Цезаря; анализ грамматического строя жизнеописания Антония у Плутарха («... с момента, когда Антоний становится любовником Клеопатры, историк, описывая его состояния, применяет почти исключительно пассивные конструкции»).

Однако ракурс изображения выбран особым образом; «искажение перспективы», о котором я говорила выше, здесь намеренное, оно, скорее, обогащает наше представление об описываемых событиях (как, скажем, мусульманские работы по истории Золотой Орды дополняют европейскую историографию по той же теме). Сам автор в предисловии обосновывает свою позицию так: *«Обычно именно через призму их [Цезаря и Антония] судьбы пытались прояснить личность Клеопатры. А почему бы не перевернуть эту перспективу? Почему бы не попробовать «расшифровать» образ Клеопатры не с точки зрения мужчин, которые были ее врагами или ее любовниками, а с точки зрения женщины? Почему бы не посмотреть на все происходившее с ней глазами Александрии, а не одного только Рима? Не глазами ее победителей, явившихся с Запада, а глазами Востока, который, что кажется несомненным, потерпел поражение?»*

В центре повествования — не исторические события, а важнейшие моменты *человеческой жизни* Клеопатры и тесно связанных с ней людей: Цезаря, Антония, Октавиана. Такие, как взросление, любовь, рождение детей, предательство и гибель близких, встреча с началом собственной старости и смертью. Исторические события — только фон, придающий ту или иную окраску этим главным для каждого (и древнего, и современного) человека событиям. Цезарь, Клеопатра, Антоний прошли через многие трагические перипетии, и ни один из них не сумел осуществить свою мечту, то есть, если можно так выразиться, взлететь на гребень исторических обстоятельств, а не оказаться погребенным под их волной. И все же их жизни — по крайней мере, в свете данной книги — представляются более счастливыми, более завидными, чем жизнь Октавиана. Тут дело, как кажется, в качестве взаимоотношений с окружающим миром. Устами отца Клеопатры, Флейтиста, Ирэн Фрэн трактует проблему человеческого счастья так: *«... необходимо уйти из жизни, как уходят с банкета, — оставаясь хозяином своей судьбы, урегулировав вопрос о наследниках и отведав всех удовольствий этого мира»*. Главные герои книги — Клеопатра, Цезарь, даже противоречивый Антоний — выполняют все три условия. В этом смысле особенно интересен пример Антония, человека более или менее заурядного (по сравнению с Цезарем), обремененного многими пороками, но тем не менее обладавшего некоторыми качествами, которые вызывали уважение даже у Плутарха, который вообще относился к нему очень плохо, считал его *«бабьим прихвостнем»* (Сравнительные жизнеописания. *Антоний*, 62) и тираном. Я приведу такого рода высказывания античного историка, чтобы

не объяснять своими словами, что значит «качество взаимоотношений с окружающим миром»:

«Даже то, что остальным казалось пошлым и несносным, — хвастовство, бесконечные шутки, неприкрытая страсть к попойкам, привычка подсесть к обедающему или жадно проглотить кусок с солдатского стола, стоя, — все это солдатам внушало прямо-таки удивительную любовь и привязанность к Антонию. И в любовных его утехах не было ничего отталкивающего, — наоборот, они создавали Антонию новых друзей и приверженцев, ибо он охотно помогал другим в подобных делах и нисколько не сердился, когда посмеивались над его собственными похождениями. Щедрость Антония, широта, с какою он одаривал воинов и друзей, сперва открыла ему блестящий путь к власти, а затем, когда он уже возвысился, неизменно увеличивала его могущество, несмотря на бесчисленные промахи и заблуждения, которые подрывали это могущество и даже грозили опрокинуть» (*там же*, 4); «Вообще он был простак и тяжелодум и поэтому долго не замечал своих ошибок, но, раз заметив и постигнув, бурно раскаивался, горячо винился перед теми, кого обидел, и уже не знал удержу ни в воздаяниях, ни в карах» (*там же*, 24); «Но таков он был от природы, что в несчастьях, в беде превосходил самого себя и становился неотличимо схож с человеком, истинно достойным» (*там же*, 17); «Антоний покончил счеты с жизнью трусливо, жалко и бесславно, но, по крайней мере, в руки врагов не дался» (*там же*, 93).

Напротив, Октавиан вряд ли мог выполнить третье условие, «отведать всех удовольствий этого мира», потому что убийственная характеристика, которую дает ему Ирэн Фрэн, тоже целиком основана на фактах, заимствованных из сочинения античного историка, Гая Светония Транквилла (который как раз пытался создать в целом положительный образ императора Августа):

«... если царица в совершенстве знала ресурсы своего тела и духа и радовалась им, как музыкант-виртуоз радуется своему инструменту, вполне сознавая весь диапазон доступных ему возможностей, то молодой человек [Октавий] себя не любил. Хилый, раздражительный, нервный, он постоянно мучился от изнурявших его страхов... Этот юноша не пил, ел очень мало и неохотно и имел только один грех: слабость к женщинам.

Неспособный влюбиться по-настоящему, он преследовал их только ради секса. Во время этих холодных вакханалий его лицо, напоминавшее мордочку ласки или куницы, заострялось и взгляд оживлялся жестокостью, более откровенной, чем обычно: тогда становилось очевидным, что это хладнокровное животное создано не для великих страстей, а для того,

чтобы оставаться в тени, ходить окольными путями, пользоваться ловушками и прибегать к умелым манипуляциям».

Вообще способность или неспособность любить мне представляется определяющим свойством человеческого характера, и потому одним из самых сильных мест книги, на мой взгляд, является описание взаимоотношений царицы с уже практически побежденным и почти впавшим в сумасшествие Антонием — человеком, который поначалу, по версии Ирэн Фрэн, был просто сексуальным партнером Клеопатры и которого царица по-настоящему полюбила в момент его унижения, отчаяния, все более частых истерических срывов. Октавиан, который не может любить (себя, еду, вино, женщин — неважно что) и, следовательно, получать удовольствие от жизни, извлекает радость из насилия над ней, то есть жестокости, и собственной лицемерной добродетели. Вечная жизненная коллизия, трактовке которой, например, посвящен поздний фильм Бергмана «Фанни и Александр»... В книге есть одно пронзительное место, которое как-то по-особому воспринимается теми, кто родился в стране, пережившей эпоху сталинских лагерей:

«Только ради детей они [Антоний и Клеопатра] еще продолжали борьбу; и делали это как все, кто знает, что обречен и хочет лишь спасти своих близких: неловко, унижая себя.

Нужно признать, что в этой борьбе они оба были одинаково неумелы, одинаково наивны; и Октавиан, который всегда отличался душевной черствостью, черпал в этом неожиданном повороте событий неизъяснимое наслаждение, которое смаковал на протяжении многих недель».

Кстати, раз уж зашла речь о детях, я хотела бы упомянуть о некоторых событиях, которые явились непосредственным следствием победы Октавиана, но остались за кадром книги, заканчивающейся на моменте смерти Клеопатры.

Воспитатель Цезариона, предатель Феодор, уговорил юношу вернуться в Египет, уверив, будто Октавиан зовет его на царство, и сына Клеопатры по приказу императора умертвили. Однако детей Клеопатры и Антония Август пощадил, их взяла к себе Октавия «и вырастила наравне с собственными детьми» (Плутарх, Антоний, 87). Клеопатру-Селену она потом выдала замуж за царя Юбу. Прославившийся своей жестокостью император Нерон (54–68 гг. н. э.) был потомком (в пятом колене) одной из дочерей Октавии и Антония.

Октавиан все-таки пронес изображение Клеопатры в своем триумфальном шествии. Царицу он похоронил с надлежащими почестями (рядом с Антонием), как и обеих умерших вместе с нею служанок. Однако

он хотел разбить все статуи Клеопатры, как уничтожил статуи Антония, и не сделал этого лишь потому, что «один из ее друзей, Архий, заплатил Цезарю две тысячи талантов» (там же, 86).

Завоеванный Египет считался личной собственностью Августа и стал источником пополнения его казны.

«Чтобы слава актийской победы не слабела в памяти потомков, он [Октавиан] основал при Акции город Никополь [«город победы»], учредил там праздничные игры через каждые пять лет, расширил древний храм Аполлона, а то место, где стоял его алтарь, украсил добычею с кораблей и посвятил Нептуну и Марсу» (Светоний, Божественный Август, 18).

*

Итак, Ирэн Фрэн хочет совместить в одной книге взгляд историка и взгляд литератора — и, соответственно, технические средства, которыми пользуются историк и литератор. Она вообще не прибегает к вымыслу, даже не нарушает хронологической последовательности повествования (то есть не пытается наиболее выигрышным образом организовать сюжет). Из всех художественных приемов пользуется только стилистическими.

Повествование строится как «внутренний монолог» (или, точнее, «умственная игра»^[6]) рассказчика, который время от времени отождествляет себя с разными персонажами своего рассказа, пытается мыслить их мыслями. Эти смещения точки зрения происходят очень незаметно и маркируются скоплениями выражений, представимых скорее как мысли того или иного персонажа, нежели как мысли рассказчика, для которого характерен более сдержанный тон; впрочем, в тексте книги попадаются куски, которые можно интерпретировать и как рассуждения рассказчика, и как рассуждения Клеопатры и/или горожан; Клеопатры и/или ее отца. Например:

«Да, он играет на флейте, ну и что? Да, он водит дружбу с мальчиками из театра, заставляет их переодеваться женщинами и танцевать перед ним под звуки его хлипких мелодий, задирает юбки и показывать ему свои ягодицы. Ну и что?... Остается только терпеть это прозвище. Делать вид, что смеешься над ним. Не обращать внимания, стискивать зубы. Из гордости».

Это начало раздела. Формально — повествование в третьем лице, речь рассказчика; однако несколько фривольный тон фраз наводит на мысль, что так мог бы рассуждать Флейтист. Чуть дальше следует абзац, написанный в

совсем другой стилистике — в прошедшем времени, с выражениями, характерными для исторических монографий, по содержанию представляющий собой культурологический комментарий к вышепротитированным фразам. И сразу за ним — новый переход, высказывание, которое было бы уместно в устах Клеопатры и которое позволяет предполагать, что и процитированное рассуждение принадлежит ей: «Однако в чем они могут упрекнуть ее отца? Двадцать лет правления — и двадцать лет мира».

Другой пример (прямое «цитирование» слухов; в скобках дается комментарий рассказчика):

«...Ведь это чары волшебницы Исиды, владычицы всех хитростей, которая знает и произносит тайные слова...

...Той самой Исиды, которую почитает царица (это правда). В чьих одеждах царица иногда появляется, чьими благовониями пользуется. Той Исиды, чьи храмы хочет восстановить Цезарь (правда)».

Иногда с той же целью — чтобы подчеркнуть смазанность точки зрения — используются назывные предложения:

«Дни борьбы с пустыней, дни напряженной воли. Мужество, которое оттачивается с помощью камней. Сделать свою душу похожей на эти камни, обработать ее, как обрабатывают кремневые орудия. Пустыня как урок».

Эти фразы могут принадлежать как рассказчику, так и Клеопатре (речь идет о ее путешествии по пустыне).

Иногда мысли персонажа очерчиваются, так сказать, не четкой, а размытой контурной линией (штрихами); рассказчик предлагает несколько допустимых вариантов их интерпретации:

«Тогда почему он [Флейтист] так упорно не отказывается от своей химерической мечты возродить Египет эпохи золотого века? Что это — привычка, невозможность отречься от себя? И если он продолжает упорствовать — это проявление слабости или, наоборот, силы воли?»

В двух случаях изображается затуманенное сознание, единый поток мыслей и ощущений:

«Что это — начало или конец времен? — никто не ответит — богов здесь нет или они мертвы — губы кровоточат под вуалью — веки болят, хотя глаза подведены черной краской...» (сцена в пустыне);

«... но она уже смутно различает горизонт, все смешивается — голос отца, поцелуи детей и возлюбленных, вкус вина на языке, кровь врагов, свежая вода источников, таящихся в дюнах, зимние дожди, пристальный взгляд Цезаря, лампа, освещающая мощное тело Антония; потом, кругом,

какие-то обломки материи, идущей на дно...» (сцена смерти Клеопатры).

Таким образом, весь текст структурирован как система гипотез, как медленное перебирание рассказчиком (в уме) различных вариантов интерпретации событий, как постепенное приближение к правде, «вживание» в нее. Отсюда проистекает еще одна стилистическая особенность книги: очень часто после какого-то утверждения следует заминка, более или менее долгая пауза; потом делается следующий шаг — это утверждение конкретизируется; потом та же мысль как бы «протягивается» еще немного дальше — и т. д. На уровне грамматики это выражается в появлении длинных цепочек неполных предложений, которые в принципе можно было бы связать в одно (но тогда потерялось бы ощущение «фактуры» мыслительного процесса):

«...и таким образом Птолемей Левый... неожиданно для самого себя стал фараоном и владыкой Александрии...

[Начало нового раздела]

...Александрии, которую сразу же полюбил, потому что она знала толк в любви; Александрии, которую завоевал, как завоевывают симпатии публики»;

«Картина должна быть совершенной. Должна быть моментом чистой красоты, который останется в памяти людей. Останется не на несколько месяцев. На века. И будет в буквальном смысле неподражаемым».

Такой же пример, но относящийся к рассуждениям не рассказчика, а героя (или рассказчика и героя):

«Для начала он [Октавиан] хочет увидеть ее, царицу, хочет созерцать ее несчастье.

Увидеть эту женщину, чье тело познал и оплодотворил его отец — отец волей собственного слова, который сделал его, Октавиана, тем, кто он есть сейчас, просто начертав грифелем пару строк на недолговечном воске.

Он хочет насладиться зрелищем этой побежденной плоти, которую когда-то (в лучшую пору ее юности) любил тот же самый человек, что проник и в его, Октавиана, тело — тело мальчишки двенадцати-тринадцати лет.

Хочет подарить себе возможность созерцать ее страдание, раны, которыми царица покрыла свое лицо и грудь, когда видела, как умирает тот, кого она сделала своим супругом, — Антоний.

Антоний, которого природа так зримо наделила всеми качествами великого полководца...»

По ритму проза Фрэн, несомненно, напоминает нерифмованные стихи Кавафиса с их длинными фразами и анжамбеманом почти в каждой строке.

И все-таки — на чем основывает Ирэн Фрэн свои реконструкции психологии персонажей? На анализе источников, характеризующих массовое сознание той эпохи: некоторых терминов (часть из них мы перечислили выше), слухов и, главное, на понимании того факта, что человек «вливает» свое поведение в определенные готовые формы, характерные для культуры, к которой он принадлежит:

«Когда Клеопатре все рассказали, в какую форму вылилась ее скорбь? Был ли это тот же страх, что охватил сенаторов, — страх, который замораживает жесты и слова и не позволяет даже крикнуть? Или ужас греческих героинь, Андромахи и Электры, которых известие о несчастье поразило как удар молнии? Или стенания Ифигении, Кассандры, Медеи, Алкесты, готовившейся спуститься в могилу? Потеряла ли царица сознание под воздействием шока, выла ли от горя, царапала ли себе щеки и грудь, как делали женщины Александрии, когда смерть отнимала у них мужа или ребенка, ушла ли в себя, в молчание, как те, кто уже давно научился покорно сносить удары судьбы?»

Даже в самые трагические моменты своей жизни Клеопатра, Цезарь, Антоний, Октавиан вольно или невольно играют привычные для себя роли: во время Александрийской войны Цезарь (а потом, в конце своей жизни, и Антоний) видит себя Гектором, обнимающим Андромаху; после убийства Цезаря Клеопатра ощущает себя Исидой («Скорбящая Клеопатра не разыгрывала из себя Исиду, она была Исидой»); Антоний в период душевного кризиса надевает маску философа-мизантропа Тимона Афинского и даже в момент смерти ведет себя в духе героев греческих трагедий. Что касается Октавиана, то он вообще, став принцепсом, до конца придерживался сознательно выбранной им роли (добродетельного римлянина времен расцвета Республики), а умирая, спросил друзей, «как им кажется, хорошо ли он сыграл комедию жизни» (Светоний, Божественный Август, 99).

Но даже когда человек мыслит не по законам массового сознания, когда он подыскивает для себя роли с определенной целью, он выбирает роли, понятные для окружающих, роли-эмблемы. И о его намерениях можно судить по этим ролям:

«На полуразрушенных улицах с новой силой вспыхнула надежда, потому что все понимали: гирлянды из роз на плешивом черепе императора [Цезаря] — не просто банальное выражение вежливости, чисто формальная уступка обычаям страны; нет, будьте покойны, после того, как он лизался с

царицей шесть месяцев подряд, этот римлянин плевать хотел на приличия!.. Эта цветочная гирлянда на его сияющем кумполе есть тщательно продуманный знак, декларация намерений, целая программа».

Вторая важнейшая структурная особенность книги (напомню, что первой особенностью я считаю построение текста по принципу «умственной игры») состоит в следующем: Ирэн Фрэн как историк тщательно исследует эмблемы (эмблематические роли, эмблематические знаки, эмблематические слова — метафоры), в основном именно на них строит свои реконструкции событий, вполне отдает себе отчет в том, что эмблемы вмещают в себя больше, чем обычные слова, ибо включают элемент зрительности (см. всю сцену встречи царицы и Антония в Тарсе и особенно описание замысла Клеопатры: «... она *придет, покажет себя, и Антоний увидит*. Он просто застынет на месте с разинутым от удивления ртом. И мгновенно, не услышав и не проронив ни единого слова, поймет, что это такое — Египет, женщина-фараон, династия Лагидов, наследие Александра»), и как литератор сама широко их применяет в качестве художественного средства.

Одни и те же эмблемы-метафоры многократно используются в книге, просто повторяются или варьируются, организуя текст наподобие того, как яркие цветочные мазки организуют полотно картины или как рефрен организует стихотворение или песню. Самые значимые из них — подлинные метафоры эпохи Клеопатры или метафоры, производные от первых, уточняющие их смысл.

Уже название книги есть важнейшая эмблема: слово «Неподражаемая» впервые применила к себе сама египетская царица, основавшая вместе с Антонием кружок «неподражаемых». В фараоновском Египте, да даже и в эпоху Клеопатры, человек не должен был выходить за пределы предназначенной для него роли, понятия «неподражаемый» просто не существовало (это объясняется в тексте). Значит, появление такого слова — знак наступления новых времен, эры крайнего индивидуализма. Поэтому Ирэн Фрэн оправданно — с точки зрения историка — переносит данный эпитет и на Александрию («неподражаемый город») и на введенный царицей новый стиль жизни («неподражаемая жизнь»).

Своеобразным комментарием к этому слову служит метафора, придуманная Ирэн Фрэн и сквозная в ее книге, — «игроки». Метафора очень емкая в применении к эпохе, когда, как я попыталась объяснить выше, и в Египте и в Риме были освоены методы манипулирования общественным мнением и когда шла жестокая и откровенная борьба за передел мира (первый и второй триумvirаты, борьба Октавиана и

Антония...). Игроки — люди, не имеющие никаких моральных обязательств и в то же время порой маниакально одержимые целью, которую сами перед собой поставили (своей мечтой). Цезарь и Клеопатра — игроки и в том смысле, что являются «крупными хищниками среди политиков» (еще одна сквозная метафора), и в том, что они независимы, свободны, играют в одной команде, что между ними существует «духовное сообщничество», что «оба, с одинаковой веселой иронией, подыгрывали друг другу». В иную, «извращенную игру» играют Клеопатра и Антоний накануне битвы при Акции: они обманывают себя, не желая видеть надвигающейся катастрофы; «царица... чтобы забыть, что имеет все шансы проиграть партию, будет и дальше опьянять себя иллюзиями».

Второй смысл слова «игра» — детские, простодушные развлечения. В такую игру играют Антоний и Клеопатра, когда (как через несколько веков после них будет делать Гарун-аль-Рашид) выходят на ночные улицы Александрии, — и горожане радуются вместе с ними, подыгрывают им, участвуют в их розыгрышах. И все-таки в другом эпизоде, в том, как быстро горожане после кровавой Александрийской войны «прощают» Цезаря и Клеопатру, начинают восхищаться ими, мне, в отличие от рассказчика, видится не просто детское простодушие, но еще и элемент безответственности, инфантилизма...

И наконец, третий смысл слова «игра» — театральное действие. Театральные метафоры занимают огромное место в книге, используются в разных значениях. Как показывают, например, приведенные выше предсмертные слова Августа, сравнение жизни с театром было характерно уже для эллинистической эпохи.

Если отец Клеопатры — плохой актер, потому что не может надлежащим образом играть свою роль («Из-за того, что жители Александрии... поняли — правда, чересчур поздно, — что царский дворец есть просто обанкротившийся театр, который продолжает существовать лишь благодаря подозрительному благодушию своих кредиторов, они считают своего царя жалким актеришкой и даже хуже того: бездарным музыкантом из оркестра»), то царица всегда сама организует театральные действия, «готовит свою мизансцену с такой же тщательностью, с какой разрабатывала бы план сражения или убийства. Этот спектакль будет задуман и осуществлен, как задумывают и осуществляют преступление». Кроме того, «она была трагической героиней, в полном смысле слова: активно действовала, но при этом помнила, что ее участь находится в руках богов; ежедневно разрывалась между страхом и безумной надеждой, но упорно сопротивлялась Судьбе, признавая ее силу, и тем не менее в каждый

миг противопоставляя ей свои лучшие качества».

Мне только кажется, что Ирэн Фрэн порой не замечает выхолощенности тех или иных эллинистических эмблем, ролей, символических действий. Рассказчик, например, восхищается тем, что Клеопатра, выступая в роли Исиды, обещает процветание Египту; однако за этими обещаниями ничего не стоит и сама тема остается без продолжения. То же можно сказать и в отношении обещаний, которые царица дает кочевникам-арабам, когда уговаривает их поддержать ее в войне с братом.

Последняя структурообразующая метафора книги — метафора пространственного и временного круга, восходящая к античной концепции циклического развития истории, возвращения «золотого века». Круг — это полнота, целостность; завоевать весь «круг обитаемых земель» пытался Александр Македонский; мечта Клеопатры (как и Цезаря, как и Антония) состоит в том, чтобы завершить дело Александра:

«В результате она не только станет владычицей мирового круга, но и завладеет пряжкой времени. Перенеся в те края [в Индию] власть, добытую в походах Александра, она тем самым замкнет пояс Истории — и благодаря ей, Клеопатре, на этой крайней оконечности Востока восторжествует, наконец, греческая идея универсализма».

Круг — это идеальная форма (объемлющая полноту, завершенная). «Между тем судьба есть не что иное, как форма, которую люди придают своему желанию», то есть идеальная жизнь есть осуществленное желание, реализованная мечта. Клеопатре осуществить свою мечту не удастся — и тем не менее в момент смерти она ощущает, как «время свертывается в кольцо с быстротой и гибкостью змеи». Мне кажется, тут дело в том, что царица (если воспользоваться выражением, с которого начинается последняя глава) до конца доиграла свою пьесу: обладая тонким чувством формы, она не дала себе опуститься, не позволила другим унижить себя — может быть, именно это и означает «уйти из жизни... оставаясь хозяином своей судьбы», достойным образом завершить круг индивидуального бытия.

Когда мне предложили перевести эту книгу, я вначале подумала, что о Клеопатре и так написано очень много. Но книга Ирэн Фрэн оказалась неожиданно многослойной, богатой оттенками смысла. Просто красивой. И для меня, как для переводчика, трудной. Поэтому мне хотелось бы закончить свое предисловие словами благодарности человеку, который терпеливо выслушивал мои сбивчивые вопросы и дал много хороших советов, — Ольге Владимировне Меньшиковой.

Татьяна Баскакова



ПРЕДИСЛОВИЕ

Город — современный, шумный, перенаселенный. Похожий на спрута, раскинувшего свои щупальца; грязный. Посреди его суматохи — небольшое поле руин, где всякая жизнь замерла: разбитые колонны, безголовые бюсты, сфинксы, обглоданные морем, в котором они некогда затонули, поврежденные статуи фараонов. Ветреная зима Александрии мечет на землю, через просвет между двумя облаками, длинный солнечный луч; пробегая по мрамору, он освещает молочно-белый бюст богини, которая в стародавние времена, укрывшись в колоссальной тени Фаросского маяка, встречала моряков. Луч задерживается на мраморном блоке; на мгновение делает различимыми буквы надписи, тоже разрушенной: КЛЕОПА—.

Так значит, это не сказка. Все было действительно. Происходило прямо здесь, в этом городе, где от нее ничего не осталось — или почти ничего. Здесь она выросла и царствовала, здесь любила, обращалась на «ты» к гению, а потом — к претенденту на власть над мировой империей. Здесь она плела интриги, трижды разрешалась от бремени, снаряжала корабли, собирала войска, проматывала целые состояния, убивала, мечтала, плакала, устраивала пышные празднества, надеялась и впадала в отчаяние. Опыяние и страх, блеск роскоши и тоска, о которых рассказывали десять тысяч раз, — все это правда. И нежность — тоже; и радость, и сладостное ощущение жизни.

Значит, она была из плоти и крови, эта Клеопатра, которую хотели уничтожить, стереть даже ее имя на камнях — но никогда не смогли, хотя бы только здесь, изгладить память о ней, слишком весомую память. Под мечетями города, который был ее столицей, до сих пор ищут гробницу Александра. Но не ее гробницу: с тех пор как пепел Клеопатры погребли рядом с прахом Антония, никто не произнес ни словечка о ее мавзолее.

Что же осталось от нее, кроме легенды? Дюжина надписей, подобных этой, которые по непонятной милости судьбы сохранились до наших времен; статуи — поврежденные или с неясной атрибуцией; на фасадах далеких святилищ в Среднем и Верхнем Египте — условные портреты и иероглифические надписи, по-разному интерпретируемые исследователями; профили на монетах; отрывочное упоминание на одном папирусе из Мемфиса, до сих пор вызывающее споры. Наконец, немногие свидетельства в исторических и литературных сочинениях, по большей

части недоброжелательные, а то и просто оскорбительные.

И тем не менее вот уже более двух тысяч лет люди не перестают говорить о той, кого во время примитивной и жестокой церемонии, восходящей к древнейшей эпохе существования Вечного города, в ритуальном порядке объявили врагом римского народа. На берегах Тибра до нее только один Ганнибал вызывал такой страх и такую ненависть; еще долго после того, как ее победили, Рим использовал ее образ в качестве пугала. Только благодаря этой ненависти память о ней и дошла до нас — ведь покоренную Александрию принудили к молчанию. Клеопатру превратили чуть ли не в дьявола, создав миф о «Египтянке», — а, как известно, если царства смертны, то мифы не умирают никогда. Поврежденная надпись из руин Ком эль-Дика, о которой мы говорили вначале, — это как бы символ судьбы Клеопатры: стоит произнести ее имя, и в ушах наших начинают звучать шум и ярость давно прошедшей эпохи, а в воображении разворачивается картина, которую, мнится, мы знаем с первых дней жизни, — не имеющая себе равных история о крови, сексе и смерти.

Следует сказать, что в Историю Клеопатра ворвалась, действуя в полном соответствии со стилистикой великих эпопей, таких, как «Илиада» или «Рамайна», — в ту зимнюю ночь 47 года до Рождества Христова, когда она вылезла из свертка тряпья, положенного у ног самого могущественного человека Запада, Цезаря. Более эффектного выхода на политическую арену не было никогда — вплоть до сегодняшнего дня; по сравнению с этим «голоса», которые слышала Жанна д'Арк, и уловки, с помощью которых она проникла в Шинон^[7], кажутся театральными трюками. Одного этого поступка, поступка-эмблемы, хватило, чтобы Клеопатра стала легендарной. И осталась таковой навсегда; а иллюзия, сохранявшаяся двадцать лет, будто она, Клеопатра, может осуществить амбициозные планы Александра — создать империю, простирающуюся от Западного океана до Инда — обеспечила ей, уже после смерти, участь всех тех, кто в мечтах своих заходит дальше других и проявляет большую силу духа: ее изображали в самом фантастическом свете, ее презирали, окружали ореолом двусмысленности.

Века проходят — непонимание остается. Непонимание — и причина притягательности образа Клеопатры, и тесная темница, в которую он заключен: эта история, которая, если воспользоваться словами Жан-Жака Руссо, не имела примера в прошлом и никогда не будет никем воспроизведена, утаивает от нас истинное лицо последней женщины-фараона.

Достаточно проследить судьбу ее имени: кто сегодня вспомнит, что греческая мифология знает по меньшей мере четырех Клеопатр, дочерей нимф, рожденных богом ветров или дочерью царя Мидаса (того самого, что все обращал в золото)? Много ли таких, кто знает: еще прежде этой царицы, которая до такой степени зачаровала Рим, что заставила его дрожать от страха, девять других женщин с тем же именем, ничуть не менее родовитых, были царицами или царевнами Египта? Последняя Клеопатра вытеснила из памяти людской всех своих предшественниц — и даже собственную дочь, которой, казалось, самой судьбой было предназначено навечно продлить славу ее имени. Кто в наши дни смог бы рассказать о непростых жизненных путях этих женщин — за исключением немногих эрудитов? Даже и в глазах знатоков истории последняя царица Египта настолько выделяется из ряда своих предшественниц, что они часто испытывают потребность назвать ее «Клеопатрой Великой» — по аналогии с другим «Неподражаемым», Александром. Ее влияние на умы до сегодняшнего дня остается настолько сильным, что, когда родители хотят дать своей дочери имя, пришедшее прямо из Древней Греции, — Елена, Пенелопа, Сапфо, Береника... — они никогда не отваживаются осенить молодую жизнь именем любовницы Цезаря и Антония (а если и отваживаются, то выбирают сокращенную форму этого имени, Клео, как если бы в полной форме оно могло навлечь на ребенка бог знает какое проклятие, некую ауру нестерпимо тяжкого величия).

Потому что легенда, которая прячет от нас правду об этой женщине, продолжает действовать на наше воображение примерно так, как функционируют черные дыры: если они встречаются со звездой, учат нас астрофизики, то поглощают ее, то есть предельно уплотняют и присоединяют к своей материальной массе. Таким же образом историческая фигура Клеопатры как бы вобрала в себя, предельно уплотнив, все архетипы роковой женщины: обольстительницы; прекрасной чужестранки; восточной красавицы, владеющей неизвестными Западу эротическими секретами; властной и безудержной в своих капризах царицы; честолюбивой интриганки; кокетки; волшебницы; даже колдуньи и нимфоманки — позже Шекспир, характеризуя ее нрав, припишет ей «страстный пыл цыганки»^[8].

Этот агломерат фантазмагорических образов, еще более «уплотнившийся» из-за той атмосферы таинственности, которая всегда произвольно ассоциировалась с фараоновским Египтом, восходит к римлянам — современникам Клеопатры; после же ее смерти, в результате злобной пропагандистской кампании, развязанной ее победителем,

Октавианом, упомянутый комплекс утвердился в сфере подсознательного. В Средние века легенда о Клеопатре была надолго забыта (просто по той причине, что люди утратили связь с античной традицией), но потом она вновь воскресла, став даже несравненно более притягательной, — когда перевод «Сравнительных жизнеописаний» Плутарха, выполненный Амиотом, познакомил элиту ренессансной Европы с династической сагой, которая стала узловым моментом в первом конфликте между Востоком и Западом. Плутарх объяснял смерть царицы укусом змеи; в этом зловещем брачном союзе с рептилией Клеопатра обрела черты библейской Евы: царица Египта навлекла проклятие на владык Рима — точно так же, как первая женщина ввергла мир в пучину зла, поддавшись искушению змея. «Дрянь», «беспутная египетская ведьма», «зловредная волшебница», «трекратная блудница» Акт III, сцена 11 (Антоний); акт III, сцена 8 (Скар); акт IV, сцена 10 (Антоний); там же.} — такими словами будут обличать ее возвышенные персонажи Шекспира, который черпал вдохновение у Плутарха. В этих формулах звучат отголоски образов царицы, которые вошли в обиход чуть ли не на следующий день после ее смерти, когда поэт Гораций обобщил их в одной-единственной характеристике — столь чеканной и резкой, что она навсегда осталась неразрывно связанной с памятью о Клеопатре: *fatale monstrum*^[9].

«Роковое чудовище» — чаще всего это выражение переводят так. В оригинале оно имеет несравненно более глубокий смысл: латинское *monstrum* означает отклонение от естественной нормы, настолько редкое, что оно должно быть истолковано как знамение богов, как «чудо» в тогдашнем понимании этого слова. Личность Клеопатры и ее судьба с самого начала воспринимались как зрелище: как пьеса, главное действующее лицо которой, царица, является носителем некоего смысла, скрывающегося за внешними перипетиями его жизни. Клеопатра, женщина, концентрирующая в себе все опасности, а в сексуальном смысле возбуждающая одновременно вожделение и ужас, сама была явственным сигналом, адресованным мужчинам — мужчинам вообще и римлянам в частности; демонстрацией (в логическом и театральном значениях этого слова) того безумия, от которого старый мировой порядок должен был себя защитить. Наконец, представим себе, что зрители смотрели трагедию, в которой Рим, пройдя через крайние испытания, все-таки сумел спастись: чтобы получить полное удовольствие, они должны были насладиться и зрелищем поражения чудовища. Мрачное прилагательное «роковое» прекрасно показывает, какую мораль можно извлечь из подобного спектакля: тело Клеопатры, говорит нам поэт, воплощало не что иное, как

могущество судьбы; не приняв меры предосторожности против этого чуда, Рим едва не погиб из-за него.

Трагедия, действительно, была великолепной, с превосходным, как говорят кинематографисты, составом исполнителей: вспомним о сестрах царицы, которые вступали в яростное соперничество с ее любовниками, Цезарем и Антонием, и предали ее брата; о сестре Октавиана, ее самого яростного врага; о близнецах Луне и Солнце, рожденных ею от Антония; о прислужницах, которые решились умереть вместе с ней. Темп «сценария» можно считать просто образцовым, не говоря уже о символической нагруженности и роскоши аксессуаров и декораций: царских барок, спускающихся по Нилу; удивительных жемчужин, которые Клеопатра, как говорят, растворяла в чашах с уксусом; здания сената, где Цезарь пал под ударами своры своих противников; мавзолея, где Антоний испустил дух на руках у царицы, — а ведь были еще и вакханалии на улицах Александрии, реальные или выдуманные, и, наконец, та морская битва, в которой Восток и Запад сражались за власть над миром.

В современную эпоху некоторые люди стали находить все это чрезмерным. Тот факт, что Сесиль Б. Де Милль, Манкевич и вся голливудская братия объединились, чтобы разыграть эту оргию величия, был вполне в порядке вещей; однако в строгом полумраке библиотек золото и пурпур как таковые редко становятся главной ставкой в игре. Коррозия скептицизма начала разъедать миф. Историки, которые, несомненно, не могли простить себе того, что когда-то не сумели устоять перед обаянием зрелищности, теперь решили против нее восстать: им казалось, что, чтобы на поверхности все выглядело так красиво, за этой поверхностью обязательно должен скрываться какой-то обман; что историческая Клеопатра — сомнительная фигура и шарм ее неестественный, вроде как у маски из папье-маше; что же касается источников, пересказывающих ее авантюрную жизнь, то их, очевидно, прежде интерпретировали весьма небрежно, а может, и вовсе фальсифицировали.

Они упорно пытались показать, что очаровательная царица на самом деле была мелкой интриганкой; представительницей греческого этнического типа, не отличавшейся особой красотой; чуть ли не обыкновенной куртизанкой с примитивными честолюбивыми устремлениями; что она принадлежала к династии тиранов, которая постепенно вырождалась в результате кровосмесительных браков. И что Египет ее времени тоже находился в состоянии упадка; что в ее судьбе можно усмотреть лишь предсмертную конвульсию загнивающей восточной деспотии, которой История уже за много десятилетий до правления

Клеопатры вынесла сдой приговор — потому что, как они полагали, путь развития человечества по логике вещей вел к победе римского рационализма, все дальше и дальше от безудержной экстравагантности наследственной монархии потомков Александра.

Как ни странно, Клеопатра, осужденная вторично — на этот раз во имя рационального разума, — не пополнила собой ряд героинь, забытых историей. Совсем наоборот: с не меньшим постоянством, нежели то, с каким римляне пытались очернить ее память, ее образ становился все более значимым и привлекательным, возбуждал все новые споры. Кем же была на самом деле эта восточная царица; что она сделала в действительности, чтобы удостоиться, после стольких романтических восхвалений, таких оскорблений со стороны историков? Несмотря на наличие многих десятков ее биографий, посвященных ей литературных произведений и фильмов, этот вопрос и по сей день остается открытым. Очевидно одно: через двадцать веков после своей смерти Клеопатра продолжает нас эпатировать. Так же эффектно, как делала это при жизни.

А следовательно, она существует — даже, если можно так выразиться, в большей мере, чем когда-либо прежде. Она, даже как исторический персонаж, тревожит наше воображение. Она — все такая же неистовая, царственная, яркая. И светится тем же черным светом, который исходил от нее при жизни, — тем упорным свечением существа, обреченного на катастрофу, из-за которого память о ней сохранялась на протяжении веков. Подобная Фаросскому маяку, рассеянные останки которого до сих пор ищут на дне акватории александрийского порта, Клеопатра и сегодня ослепляет нас так же, как в тот день, когда легенду о ней рассказывали в первый раз; и в этом ослеплении мы забываем о том, что она была одной из первых женщин-политиков в истории, причем, несомненно, самой выдающейся из них; была правительницей, одержимой столь безмерно амбициозным замыслом, что одного этого достаточно, чтобы превратить ее жизнь в грандиозный зрелищный фильм; она хотела ни много ни мало как осуществить самую блестящую утопию античности: установить свое царство над всеми известными землями, проложить путь к самым отдаленным уголкам Востока и тем самым воплотить в жизнь несбывшуюся мечту Александра — завладеть, наконец, всем «земным кругом».

Она не могла достичь этого одна, ей нужен был мужчина, скроенный по ее мерке, — сообщник, возлюбленный, союзник и инструмент ее воли. Эту роль взял на себя Цезарь, а потом — претендент на его наследство, Марк Антоний. Обычно именно через призму их судьбы пытались

прояснить личность Клеопатры. А почему бы не перевернуть эту перспективу? Почему бы не попробовать «расшифровать» образ Клеопатры не с точки зрения мужчин, которые были ее врагами или ее любовниками, а с точки зрения женщины? Почему бы не посмотреть на все происходившее с ней глазами Александрии, а не одного только Рима? Не глазами ее победителей, явившихся с Запада, а глазами Востока, который, что кажется несомненным, потерпел поражение?

Ведь очевидно, что римские военачальники долгое время не могли не считаться со страстями этой пылкой македонской царевны, которая была умнейшим дипломатом, сверх-одаренной постановщицей мизансцен, дальновидной деловой женщиной, эрудитом и полиглотом, а также превосходным математиком; которая поразительно хорошо разбиралась в сложных вопросах геополитики и в то же время откликалась на мистико-религиозные искания эпохи, так явственно ощущавшей свою непосредственную близость к концу времен...

Если взглянуть на нее под этим углом зрения, Клеопатра с ее эмоциями, страданиями и радостями становится для нас удивительно близкой, почти знакомой. Одним словом, человеческой — хотя поворотные моменты ее жизни тем не менее продолжают нам казаться и зрелищными, и романтическими. И в этом нет ничего удивительного: ведь она была не только женщиной, но и фараоном, а подобная роль ко многому обязывала. Но если траектория ее жизни спустя две тысячи лет по-прежнему очаровывает нас, то объясняется это, как я думаю, следующим: она, молодая женщина, которая с рождения находилась в плену у расплющивающих человеческую личность фатальных сил, однажды набралась мужества, чтобы поставить перед собой более дерзкую и далекую цель, нежели все, к чему прежде стремилось человечество; а потом взяла свою судьбу в собственные руки и пожелала сама смоделировать ее, как моделируют произведение искусства, — и таким образом стала на все времена единственной среди женщин, подражать которой невозможно.



ОБ ОКРУГЛОСТИ МИРА

(323 г. до н. э.)

Мир был круглым. Круглым, как щит Александра. И выпуклым. Выпуклым, как самый совершенный плод. Как мячи, с которыми играют дети. Как шар. Как безупречная сфера. Круглым и полным. Абсолютно круглым.

Она об этом знала; знал и ее отец, и отец ее отца, и более отдаленные предки — те, которые упоминались в семейных преданиях. Знали, как ей казалось, всегда — или, по крайней мере, с тех пор, как Александр выступил в свой поход. Конечно, легенда о том, что мир похож на плоское блюдо, не совсем исчезла и могла однажды ожить в сознании людей, так часто сочетающих в себе ограниченность и тягу к бесконечному. Однако в Александрии подобный риск сводился к минимуму: тамошних жителей всегда влекло к необозримым просторам.

Это объяснялось близостью моря: город располагал двумя гаванями; западная называлась бухтой Доброго возвращения, восточная — Большим портом; над последним возвышался Фаросский маяк, который и сам поражал воображение своими колоссальными размерами. А вдалеке простиралась пустыня, камни и песчаные волны, которые тоже рассказывали о необозримых просторах; как и на море, там надо было уметь находить незримые пути.

Наконец, имелась еще и река. Каждый год, в определенное время, у границы города, в заболоченной местности, в которой река терялась, она извергала свой черный ил. Люди пока не знали, где располагаются ее истоки. Эта тайна сама по себе толкала на поиски неизвестного. Когда-нибудь ее обязательно раскроют. В Александрии уже так давно начали собирать знания о мире.

Его называли «Всё». *Universus*, «перевернутое Всё» — так переводили это слово западные варвары, римляне с грубым языком, в котором часто не хватало нужных слов. Выбранное ими выражение, по крайней мере, позволяло понять, что континенты, лежащие на поверхности земного шара, все собраны на одной половине сферы, как думали большинство ученых Александрии. Однако, по мнению этих ученых, чтобы дать правильное определение миру, следовало говорить по-гречески: ведь уже на протяжении стольких веков эллины исследовали его природу — в Пергаме

и Сиракузах, в Антиохии и Милете, на Родосе, в Эфесе, на Книде и Самосе, на всех берегах Средиземноморья, которые успели освоить; и они описывали мир с таких разнообразных точек зрения — как философы, астрономы, историки, натуралисты и даже поэты (вспомним хотя бы гомеровского Одиссея или Ясона с его золотым руном, которого воспел Аполлоний), — что успели накопить множество слов для его обозначения. Например, когда они рассматривали мир как политики или географы, то называли его *ойкуменой*: этот термин подразумевает все населенные земли, народы, которые можно завоевать или с которыми можно вести торговлю.

Уже начали составлять «инвентарь» этих народов — перечни, напоминающие географические карты. Все такого рода научные данные стекались в город, который Александр основал, прежде чем отправился на завоевание Земли, — как будто эта отрасль науки не могла развиваться и совершенствоваться ранее того момента, когда было забальзамировано его тело; и за два с половиной века греки приобрели столь обширные познания о мире, что те, кто пользовался добытыми ими сведениями, могли с уверенностью утверждать: придет день, и во всех землях, населенных варварами (включая тех, о которых цивилизованный мир пока не знает), вместо туземных нечленораздельных наречий будет звучать греческий язык.

Эта уверенность была такой же сильной, как и жажда познания, ничто не могло ее заглушить, и даже сами римляне начали приходить к убеждению, что греческий язык может открыть врата к познанию и к власти. Именно теперь, уничтожая или завоевывая последних эллинов, они возжелали овладеть всем миром, сделать его своей (и только своей) собственностью. Город и Вселенная; римский город в центре круга, очерченного горизонтом, — такова отныне была их цель.

Urbi et Orbi: следует признать, что слова эти красиво звучали в устах римских генералов, которые посылали свои легионы на смерть в пустынях Востока ради того, чтобы распространить на всех известных землях изобретенный римлянами порядок. Однако после того, как эти военачальники завладели Сицилией, Грецией, Сирией, Иудеей, островами Эгейского моря и азиатским побережьем, они принялись убивать друг друга, чтобы таким образом решить вопрос, кто из них возглавит мировую империю. Между прочим, именно поэтому они пока не нападали на Египет: каждый боялся, что, если позволит сделать это другому, тот, завладев сокровищами Нильской долины, получит в свое распоряжение достаточно ресурсов, чтобы стать властителем мира.

В ожидании исхода борьбы они не жалели бранных слов для

обличения владык Александрии. И повторяли старые обвинения: в их глазах египетские цари были расточительными, порочными, обреченными на вырождение тиранами. Однако если Рим насчитывал шестьсот тысяч жителей, то в Александрии, основанной на триста лет позже, уже проживало четыреста тысяч. Кроме того, в день закладки города, когда архитекторы размечали на земле контуры будущих зданий, пользуясь мукой, потому что у них не было мела, со всех сторон слетелись птицы и стали клевать неожиданное лакомство. Авгуры сделали на этом основании однозначный вывод: они предсказали Александру, что новый город будет процветать, как ни один другой на земле. Все народы будут стекаться к нему, как эти птицы, желая в нем жить. И вообще, кто научил римлян тому, что существует мир за пределами Тибра и их семи холмов и что мир этот — круглый? Греки, в большинстве своем происходившие из Александрии. Мир был круглым — и греческим. Таким он и остался.

*

Поразительный факт: даже для самых великих римских полководцев единственным образцом для подражания был грек — Александр, который именно отсюда, из Александрии, выступил в поход, желая увидеть Всё. Прошло три века, но ничто не могло сравниться с ним. Все это время люди рассказывали о государях, которых он победил: о Дарии, царе царей, о владыках Бактрианы, о князьях Согдианы, которые бежали в свои неприступные «орлиные гнезда» на вершинах гор, о царе Поре, разбитом у врат Индии, несмотря на то, что он обладал лучшими слонами. Однако не эти победы сделали Александра неподражаемым, и даже не его предполагаемая связь с царицей амазонок. Благодаря своей храбрости и тому, что его сопровождали инженеры и ученые — которым, несомненно, были уже известны такие понятия, как экватор и тропик, широта и долгота, — Александр сумел добраться до границ мира, выйти за пределы круга обитаемых земель. Чудеса, которые встречались ему на пути, — дворцы Вавилона, изукрашенные полихромными грифонами; городские стены Экбатан, представляющие собой концентрические круги семи различных цветов; йоги долины Инда; цветы и плоды из садов Семирамиды, невиданные благовонные масла, сирень, жасмин, персиковые и абрикосовые деревья — не могли утолить его жажду неизвестного. Он так радовался, когда узнавал то, чего не знал прежде, что всегда стремился достичь самых крайних пределов — а добравшись до них, хотел идти еще

дальше.

Вот почему он шел вперед по ущельям и теснинам, терпеливо сносил яростные порывы муссонов, пересекал пустыни, углубляться в которые никто до него не осмеливался. Да, действительно, он совершил путешествие, прежде него проделанное только одним богом Дионисом, который отправился в таинственную экспедицию к Источникам Солнца и оттуда принес людям растение с удивительными свойствами, избавившее их от дикости, приведшее к свободе и цивилизации, — виноградную лозу, коей этот бог и обязан своим именем и своей властью. Благодаря ей Дионис стал «Богом, возвышающим душу», «Владыкой вина», «Разрушителем всяческих пределов». Вернувшись из индийского похода, Александр дерзко провозгласил себя «новым Дионисом» и в конце жизни, когда двигался к Вавилону, входил в завоеванные города с таким же горлающим карнавальным эскортом, какой когда-то сопровождал бога-путешественника: это была вереница пьяных людей, переодетых божествами садов и лесов.

Они громогласно объявляли, что из четырех границ мира Александр достиг двух: первая располагалась на севере, там, где кончались самаркандские степи и на горизонте была видна мерцающая линия, которую греческий полководец принял за чудовищный Океан, окружающий, согласно тогдашним представлениям, огромный остров — обитаемые земли. Царь повелел насыпать в том месте холм; а потом, помолившись Дионису, приказал одному из своих военачальников — Птолемею, самому первому из известных предков Клеопатры, — основать там самый крайний город своей империи, Александрию, одну из шестидесяти одноименных новостроек, которые он оставил, как вехи, на своем безрассудном пути; но на этот раз, чтобы не было никакой ошибки, он добавил к имени города еще одно слово: *Эсхата*, «Крайняя».

Через несколько лет, на границе Индии, его войска отказались ступить хоть на шаг дальше, и царь понял, что никогда не дойдет до Южного Океана, который, как он был убежден, находился совсем близко. Проведя ночь в мучительных раздумьях, он уступил воле своих солдат и, со смертью в душе, приказал воздвигнуть двенадцать громадных алтарей, расположенных по кругу, подобно «домам» зодиака, и высечь надпись: «*Сюда дошел Александр*». Немного времени спустя он, вопреки всем ожиданиям, все-таки достиг своей цели. Еще раз, думал он, Дионис разрушил для него все пределы. Хотя солдаты боялись Океана, он доплыл до маленького острова, долго наблюдал движение волн, а потом оторвался от этого зрелища и попросил у богов, чтобы «никогда ни один завоеватель

после него не продвинулся дальше, чем он в своем странствии». Через два года, во время подготовки экспедиции флота в Персидский залив, он умер в Вавилоне — от пьянства или малярии, а может, от того и другого вместе.

Мир не мог прийти в себя от шока, вызванного его смертью, а еще более — тем, что мечта Александра так и осталась неосуществленной. Более других был потрясен Птолемей; он завладел телом царя и вывез его в Александрию Египетскую, город, который взял на себя задачу дальнейшего исследования тайн Вселенной.

*

Прошло менее века, и в этом городе, где скапливалось все больше книг и была создана первая и самая прославленная из библиотек, ученый хранитель Библиотеки, Эратосфен, измерил окружность Земли; затем он установил, что Земля разделена на пять зон: две зоны льдов, расположенные у полюсов; жаркий пояс (в котором выделяется середина^[10]) и находящиеся между ним и холодными зонами две зоны умеренного климата. Немного позднее другой ученый, Кратет Малосский, который руководил соперничающей библиотекой в Пергаме, выдвинул гипотезу о существовании еще трех неизвестных континентов, разделенных океаном, имеющим форму креста.

Это были не просто теоретические споры; желая опровергнуть аргументы своих оппонентов, «описатели Земли» — таково точное значение слова «географы» — ссылались на рассказы путешественников. А многие путешественники родились в Египте или приезжали туда, чтобы изучать науки: например, Посидоний из Апамеи, который странствовал по Галлии, или купец Евдокс из Кизика, впервые обогнувший Африку с запада, или те моряки, которых наследники Птолемея на протяжении многих десятилетий посылали в Красное море в надежде, что они отыщут путь к Индийскому океану.

Их всех вдохновляла одна и та же цель: измерить Великое Всё, уподобиться Неподражаемому Александру; а ведь у них не было даже географических карт — только списки городов, перечни портов, фарватеров, береговых ориентиров, проливов, рифов, дневных переходов, перевалов, источников, рек, бродов, пустынь, оазисов и караван-сараев. Конечно, распространялись и всякие небылицы об этих путешествиях, которые, в зависимости от того, кто их слушал, вызывали неудержимый хохот или заставляли простофиль замирать от ужаса и внимать рассказчику,

разинув рот: погонщики верблюдов и матросы любили говорить о безносых карликах; людях, которые питаются только запахами или бегают быстрее, чем лошади; о племени циклопов, великанов с собачьими ушами. Не так уж важно, были ли эти рассказы порождением фантазии или следствием ошибки, — главное, они увлекали часть общества на поиски земель, которые можно грабить, вести с ними торговый обмен или просто ими восхищаться.

Географические сочинения не только описывали морские и сухопутные пути, но и складывались в инвентарь мира, в перечень все более странных и чудесных объектов (часть этих находок смело можно приравнять к настоящим открытиям): упоминания какой-нибудь экстравагантной диковинки или носорожьего рога соседствовали с заметками о мускусе, слоновой кости, амбре, лазурите, камеди, корице, черепаших панцирях, таких невообразимых тканях, что не находилось слов, которые могли бы дать о них представление.

*

В лавках Александрии, когда из тюков, которые приносили матросы или погонщики верблюдов, купцы стали доставать рулоны почти неосязаемой на ощупь, сказочной красоты ткани, пошли разговоры о том, что плоть Александра, покоящегося в своей (находящейся поблизости) гробнице, на протяжении почти трех веков оставалась гладкой, как поверхность статуи, именно для того, чтобы теперь ее облачили в эту самую ткань. Но главное, эта неведомая материя вновь сделала актуальным вопрос о границах мира: никто не знал, как ее изготавливают или даже откуда она происходит — а происходить она могла только с самого дальнего Востока, о котором не имелось вообще никаких сведений. Знали только грозных стражей того караванного пути, который вел на Восток, через горы и пустыни, — парфян. Говорили, что парфяне получают эту ткань в обмен на коней, рожденных от совокупления кобылиц с драконами; что они обменивают жеребцов, бегающих быстрее ветра, на одеяния, которые блистают ярче звезд. Ничего достоверного узнать об этой материи было невозможно — ее окутывал покров тайны, о ней распространялись ничем не подтвержденные слухи. Однако, судя по тому, что, как уверяли некоторые, нить ткани есть застывшая смола, которая сочится из-под коры дерева, спрятанного в глубине леса, или, как полагали другие, нить эта выходит из брюха паука, которого специально откармливают просом, речь

могла идти только о мире, находящемся гораздо дальше равнин Тигра и Евфрата, горных перевалов Армении, Мидии и Кавказа и всех земель, в свое время завоеванных Александром. Но ведь и эти земли уже стали недоступными: на протяжении почти двух последних веков их бдительно охраняли грозные парфянские лучники. Тот, кто пожелает властвовать над миром, сперва должен будет их уничтожить. Только таким образом свершится судьба времен.

Во всяком случае, эта идея теперь упорно повторялась в предсказаниях оракулов — от одного конца Средиземноморья до другого, от Иудеи до Дельф и Рима. Все предсказатели согласно уверяли, что круг времени приближается к своему концу и только всемирный монарх, Спаситель, способен вновь привести его к началу; по мнению некоторых, таким Спасителем должен был стать некий царь, завоеватель, который начнет сначала и завершит дело Александра.

Итак, с идеей округлости мира соединилась идея цикличности времени. Как будто вернулись первые дни существования земли, когда она была населена богами и полубогами, совершавшими один подвиг за другим.

Надо преодолевать трудности, торжествовать над расстояниями, превращать неизвестное в известное, чтобы в конце концов установить единый порядок на всех обитаемых землях — и тогда люди спасутся от взбаламученного мира, где они не чувствуют себя в безопасности с тех пор, как перестали жить в тесных пределах античного города, и особенно с тех пор, как римляне начали вести непрерывные завоевательные войны, подчинили себе Карфаген, империю Селевкидов, Митридата (но, может быть, вскоре падут, сами не заметив этого, не выдержав веса собственного величия).

Так кто же будет избранником? Ни один оракул не осмеливался назвать имя; но все понимали, что только одно царство не может быть завоевано — империя Тюхе, или Фортуны, Случая, Судьбы, самой могущественной богини из всех, чье могущество только возрастало по мере того, как проходили века; только она могла сделать так, чтобы человек, овладев сокровищами всего мира, однажды превратился в бога.

В силу того, что Владычица жребиев всегда отличалась склонностью к иронии, очертания известных земель в начале первого века до Рождества Христова обрели форму плаща Александра: хламиды, прямоугольной дорожной накидки, две полы которой закруглены. Кстати, именно такой контур Александр выбрал и для своего города, который повелел строить на средиземноморском побережье Египта, прежде чем отправился исследовать

округлость мира. И именно в этом городе, среди мрамора и мозаик, на которых так часто мелькало его опьяненное миражами лицо, примерно через два с половиной века после смерти Александра родилась Клеопатра.

СЛАВА ОТЦА (70–69 гг. до н. э.)

До нее, после Лага, ее прародителя, было много других женщин, носивших то же имя, что и она. Самое малое — девять. Почти столько же, сколько известно царей, именовавшихся Птолемеями. Однако из-за того, что женщины эти выходили замуж за своих братьев, или за дядей, или за кузенов, им в конце концов потеряли счет. Для них стали придумывать прозвища; а поскольку эта семья всегда отличалась гигантоманией — достаточно вспомнить о ее дворцах, кораблях, храмах, Фаросском маяке, да даже и о городской стене, — упомянутая склонность проявилась и в выборе прозвищ для царевен. Их называли «Клеопатра-Луна» (Клеопатра Селена), «Клеопатра Благодетельница», «Клеопатра Великолепная» (Клеопатра Трифена) и даже, совсем откровенно, «Клеопатра Божественная»; несомненно, в этом был свой резон: в роду, представители которого всегда скрывали под складками одежды кинжал или флакон с ядом, каждый хотел, не дожидаясь своей смерти, заставить окружающих воздавать ему божеские почести.

Однако для того, чтобы величие имен не потускнело на протяжении веков, необходимо время от времени обновлять их набор. Потомки Лага этим правилом явно пренебрегали; в последнее время умножилось число Клеопатр Великолепных. Например, над колыбелью новорожденной девочки, нашей героини, склонялись сразу две женщины с таким именем: мать и старшая дочь.

Третий ребенок в семье. Третья дочь. А нужны сыновья. Следует как можно скорее позаботиться об этом, чтобы не навлечь на себя гнев царя: все Птолемеи непредсказуемы, это их родовая черта, характерная для них в такой же мере, как орлиный нос. Клеопатра же — это имя значит «Слава отца» — пусть будет последним младенцем женского пола. Первая часть ее имени передает понятие «молвы», которая распространяется и заставляет помнить о человеке, делает его знаменитым на протяжении многих веков; это слово родственно имени Клио, музы истории. А с прозвищем для царевны пока можно подождать. О нем подумают позднее.

Если вообще будет это *позднее*. Сейчас главное для Славы отца — выжить. Главное, чтобы ее маленькое тельце научилось сопротивляться зимним ветрам и, что еще важнее, летним лихорадкам, возникающим из-за

того, что жара портит молоко в груди кормилиц и плодит болезнетворную нечисть в водоемах; не говоря уже о том, что девочка не должна стать жертвой внезапных приступов исступления, которые порой овладевают жителями Александрии и заставляют их бросаться на штурм дворца.

Выжить, вырасти — от нее не ждут ничего другого, от этой последней Клеопатры из рода Лагидов. Не ждут до тех пор, пока ей не исполнится пятнадцать-шестнадцать лет. То есть пока она не достигнет возраста, когда сможет убивать или быть убитой. Значит, впереди еще много времени, чтобы вернуться к разговору о ее прозвище. В семье принято именно в этот момент оценивать качества дочек — в момент, когда уже видно, имеешь ли дело с будущей царицей или с маленькой безобидной гадючкой. Это определяют по одному-единственному признаку: наносит ли девушка удар первой или позволяет ударить себя, уничтожает ли других или другие уничтожают ее. Слава или небытие, ничтожество, — иного выбора нет. Чтобы читатель понял суть этого принципа, имеет смысл напомнить ему некоторые факты, касающиеся других Клеопатр.

*

Но сначала давайте обратимся к темному прошлому, гораздо более давнему, нежели те времена, когда Птолемей сын Лага (основателя рода Лагидов) стал сопровождать Александра в его поездках по Северной Греции. Рассказывают, что во все времена эти горы, эти болота, эти леса были прибежищем опасных магов, колдунов, способных исторгнуть слезы у камней и улыбки у звезд, заставить Солнце двигаться в обратном направлении, а Луну — родить своего двойника; и что, желая утолить свою жажду мести, они не останавливались ни перед какой хитростью, чародейством или убийством. По этим местам — Фракии, Фессалии, Македонии — бродила некогда колдунья Медея, сея на своем пути самые ужасные преступления, включая убийство собственных детей; на том же диком Севере, где еще во времена Александра водились львы, погиб, согласно легенде, волшебник Орфей — его убила и разорвала на части орда обезумевших от ревности женщин. Наконец, как повествуется в сказке, одна из тамошних чародеек похитила супруга первой Клеопатры, дочери Северного ветра, которая на свою беду вышла замуж за царя Босфора; муж вскоре отверг ее, несмотря на то, что она родила ему двух сыновей. А ее соперница-колдунья выколола детям глаза и велела закопать их в землю живыми вместе с матерью.

Кровавые жестокости тех изначальных времен успел увековечить Гомер, а потом наступила эпоха более мягких нравов. Но только Македонию эта перемена не затронула: там и через пять веков, во времена Александра и его военачальников, нравы нисколько не изменились, хотя наука и философия уже начали менять представления людей об окружающем мире. На всем протяжении своего безрассудного предприятия, невзирая на страстное желание раскрыть тайны Земли и управлять ею на основе разума, этот юный белокурый герой был подвержен тем же внезапным приступам гнева, от которых некогда страдал Ахилл, отличался той же злопамятностью, что и Аякс, и имел мужественных товарищей, похожих на гомеровских героев. Несомненно, нужно было родиться (как родились он и Птолемей) на самой границе с варварским миром, чтобы отважиться на то, на что никогда не решились бы граждане Афин или Коринфа, — чтобы найти в себе силы для встречи с неизвестным.

Македония, Фракия, Фессалия; земли ветров, жгучей ненависти, черной магии; темная оборотная сторона Греции... С тех пор как первый Птолемей водворился в Египте, они не переставали осенять своей тенью александрийский дворец. И хотя потомки Лага из простых степных жителей превратились в кичливых морских владык, которые снаряжали самые роскошные во всем Средиземноморье корабли; хотя теперь, казалось бы, они могли расслабиться, наслаждаясь бесконечно пленительной Дельтой; хотя они без особого труда собирали лишь для себя одних сказочные богатства, ежегодно даруемые Нилом, они сохранили память о своей прародине; по прошествии стольких веков после «Илиады» и «Одиссеи» они демонстрировали все ту же смесь жестокости и змеиного коварства, которая была характерна для гомеровских персонажей. А следовательно, римляне ошибались, когда ругали их за «изнеженность»: на самом деле Птолемеи были настолько звероподобны, что хулители просто не могли разгадать их истинную сущность. За фасадом, производившим впечатление дремотной роскоши, Птолемеи продолжали вести жизнь хищников, опытных в устройстве ловушек и в откровенном разбое. И хотя они восхищались классическими Афинами, городом, упорно искавшим путь к равновесию и к истине, демократия всегда представлялась им приятной экзотикой. Бряцание оружия и гром славы всегда слышались в именах Лагидов — всех, начиная с царей, этих Птолемеев, чьи имена (в которых, кстати, сохранилось архаическое «т», прямо пришедшее из бурного стародавнего прошлого) непосредственным образом намекали на *πόλεμος*, «войну»^[11]. Абсолютные владыки в своих землях, но окруженные,

как когда-то Приам и Агамемнон, завистливыми родственниками, мечтающими свергнуть их с трона, Лагиды вели себя так же, как гомеровские герои, — не знали удержу в любви и мести, ценили искусства, но при этом отличались подозрительностью, крайней надменностью, беспредельной обидчивостью, могли пролить кровь (неважно чью), если что-то хоть в малейшей степени задевало их гордость или просто в момент сильного опьянения. Лагиды не воспевали Атридов: они сами были Атридами, все они — отцы, матери, сыновья, дочери, братья и сестры. Причем женщины отличались еще большей беспощадностью, чем мужчины, чаще становились причиной чужих несчастий и совершали преступления; и — по случайности или в силу роковой власти имени, которое как бы обрекало их на то, чтобы оставить след в истории вообще и в истории своей династии в частности, — они в большинстве своем носили имя Клеопатра.

Так, Клеопатра II, вдова своего старшего брата^[12], была вынуждена вторично выйти замуж за младшего^[13]. Ритуальный инцест, известный со времен фараонов, позволял избежать нежелательного притока чужеродной крови; кроме того, это был способ наглядно продемонстрировать всем, что Лагиды не подчиняются общепринятым законам.

В вечер свадьбы новый муж принял не практиковавшуюся ранее меру предосторожности: прежде чем взойти на ложе со своей сестрой, он приказал убить ее сына от первого брака, то есть собственного племянника. Племянник, правда, он пощадил — они обе, как и их мать, носили имя Клеопатра. Вдова, стиснув зубы, легла в постель со своим вторым братом и мужем. По прошествии должного срока она родила ему мальчика; однако ее муж-тиран, почти карлик, который, несмотря на свою тучность, не стеснялся носить прозрачные одежды, к тому времени уже увлекся младшей из своих племянниц. И очень скоро обрюхатил девчонку. От этого нового инцеста появились на свет дети — два мальчика и три девочки; последних, опять-таки, назвали Клеопатрами.

Писцы растерялись. Они пытались, по крайней мере, как-то различать представительниц первого поколения, входивших в правящее трио, которое являло собой одну семью и было связано отношениями тройного инцеста. Однако даже в священном языке не нашлось ни слов, ни иероглифических знаков, которые позволили бы разобраться в этой путанице, ясно описать ситуацию, когда сестра царя одновременно является его первой женой, а его племянница, дочь этой самой женщины, становится его фавориткой и матерью его детей. В конце концов, совершенно отчаявшись, писцы

прозвали первую из женщин «Клеопатрой-Се-строй», а вторую — «Клеопатрой-Супругой».

Тирану не понадобилось прилагать никаких усилий, чтобы восстановить дочь против матери: их отношения ухудшались сами собой, по мере того, как юная наложница государя рожала ему все новых и новых девочек, которые все без различия получали имя Клеопатра. Уже так много расплодилось этих маленьких змей, готовых кусать и убивать друг друга.

Однако царица-мать не сложила оружия и продолжала мечтать о всей полноте власти. Клеопатра против Клеопатры: обе женщины обладали равными силами, и дочь прекрасно знала, что ее мать и соперница преследует лишь одну цель — свергнуть ее, младшую царицу, с престола и править вместе со своим сыном-марионеткой, которого она родила после ночей, проведенных с их общим мужем. Царица-мать сумела-таки осуществить свои планы: в результате ее искусных интриг жители Александрии штурмом взяли дворец проклятой пары под крики «Смерть Пузырю!» — такое прозвище дал народ тирану взамен прежнего громкого титула «Благодетель» (Эвергет), потерявшего всякий смысл с того дня, когда царь начал преследовать и подвергать пыткам поэтов, ученых и иудеев (одного литератора, например, живьем замуровали в свинцовом гробу за то, что он сочинял песенки об инцестуальных подвигах своего господина).

В то время когда полыхал его дворец, царь бежал на Кипр, прихватив с собой свою Лолиту и целый выводок сыновей и маленьких Клеопатр. Царица-мать, хотя и была превосходным стратегом, допустила одну ошибку: она плохо смотрела за собственным сыном — марионеткой, которая, по ее планам, должна была вскоре разделить с ней престол; она ни на миг не могла вообразить, что ее бывший муж, некогда убивший ребенка своего брата, способен поднять руку и на порождение собственной плоти.

Однако для Лагидов не существует никаких препятствий. Тучный макиавеллианец похитил ребенка и немедленно приказал его обезглавить. Но даже это не утолило его жажду мести. Он взял голову своего сына, уложил ее в подходящий по размеру ларец (самый роскошный из тех, что удалось отыскать) и отправил матери в подарок ко дню рождения — другие историки рассказывают, что он с удовольствием лично расчленил труп, как расчлениают туши забитого скота, и послал царице-матери большой ящик, набитый останками сына.

Как легко вообразить, дальше последовала гражданская война. Предательства, интриги, злодеяния умножались с каждым днем. «Эти враги столь же непримиримы, как масло и вода», — философски комментировали

происходящее александрийцы. В конце концов царице-матери пришлось бежать, но ей хватило хладнокровия, чтобы вывезти всю царскую казну, и благодаря этому она вскоре начала переговоры о своем возвращении. Несомненно, устав от авантюр, все трое договорились о том, что будут снова делить власть, лицемерно поддерживая видимость согласия.

Последней радостью для несгибаемой царицы-матери стало то, что ее брат, супруг и смертельный враг отошел в мир иной на несколько месяцев раньше, чем она сама; она была вправе гордиться тем, что правила дольше, чем он, ибо делила трон еще со своим первым мужем: из семидесяти лет ее жизни пятьдесят семь она находилась у кормила власти и все это время почти непрерывно плела интриги. С другой стороны, жизнь щедро одарила и покойного тирана: из своих заговоров и убийств он извлек все жестокие и утонченные удовольствия, каких жаждала его натура, — если не считать того, что ему не удалось уничтожить свою первую жену. Прежде чем испустить дух, старая мегера еще успела порадоваться завещанию Пузыря: обожавший, как все Лагиды, дарить отравленные подарки, он предоставил Клеопатре-Су-пруге самой решать, кто из ее детей мужского пола станет новым царем. Эта молодая карга всегда отдавала предпочтение своему младшему сыну — ну а царица-мать, само собой разумеется, поддержала старшего, тоже претендовавшего на престол; братья, которых две гарпии стравливали с самого раннего детства, уже ненавидели друг друга так, как умели ненавидеть только в их семействе, — превращая свою ненависть в точную науку.

*

И в следующем поколении все началось сначала: альянсы, контр-альянсы, неожиданные повороты, театральные эффекты — потому что еще одной фамильной чертой Лагидов был удивительный талант к повторению мстительных чувств, преступлений и ошибок предыдущего поколения. Разве что к ним добавлялись какие-то новые пикантные частности. Так, описанный выше змеиный клубок еще более запутался из-за того, что Клеопатра-Супруга женила своего младшего сына на одной из трех рожденных ею Клеопатр. На этот раз инцест дополнился настоящей любовью; однако молодая пара делала робкие попытки добиться независимости — особенно дочь, которая вовсе не желала возобновления практики тройственного правления. Это привело мать в ярость, она разлучила влюбленных голубков и насильно женила сына на второй его

сестре, Клеопатре-Луне (Клеопатре Селене), которую он не любил. Между тем старший из сыновей, которого всё отстраняли от власти, задумал создать заговор против своей мужеподобной матери. Однако последняя хорошо знала все хитрости царского «ремесла»; она поняла, что сын собирается подослать к ней убийцу. Правда, она невольно сняла с себя маску раньше, чем сумела причинить ему вред, и чудом успела спасти свою шкуру. Она погорячилась, и сын ее тоже — что ж, теперь он успокоится. Она сочла свое положение достаточно прочным, вновь зажала младшего в железном кулаке и вознамерилась править отныне вместе с ним — но тут этот волчонок почувствовал, что у него выросли клыки, и, в свою очередь, попытался от нее избавиться. И на этот раз инстинкт новой царицы-матери помог ей предугадать враждебный маневр; однако она удовлетворилась тем, что удалила своего любимчика от двора — она просто не могла себе представить, что он способен всерьез покуситься на ее жизнь. Для нее подобная доверчивость кончилась плохо: именно младший ее и убил.

Три ее дочери, Клеопатры, в девичестве ничем себя не запятнали. Старшая из них, в досаде на то, что ее вырвали из постели брата-возлюбленного, бросилась на шею полусумасшедшего сирийского царевича, который проводил дни, управляя гигантскими марионетками, а по ночам охотился. Но она, жившая лишь чувством омерзения, которое испытывала по отношению к матери и младшим сестрам, не обращала на это внимания и целиком отдалась своим темным страстям. Более всего она желала погубить самую младшую из сестер, Клеопатру Великолепную (Клеопатру Трифену), которая вышла замуж за союзника матери, сирийского царевича. Вопреки своему сияющему прозвищу, младшая сестра не уступала старшей в злопамятности; и их взаимная ненависть, желание уничтожить друг друга очень скоро превзошли все аналогичные страсти, бушевавшие в предыдущих поколениях...

Клубок ненависти и преступлений запутывался все больше; жестокости громоздились одна на другую, и этому, казалось, никогда не будет конца. Из двух Клеопатр та, что звалась Великолепной, имела лучшую реакцию, да и вообще была более предприимчивой; ей удалось схватить сестру. В момент, когда пленницу уже готовились убить, она сумела бежать и укрыться в храме. Однако Лагнды никогда не меняли планов ни из-за сакральности места, ни из-за права убежища: Клеопатра Великолепная велела своим людям войти в священную ограду. Беглянка приковала себя цепями к алтарю. Ей отрубили кисти рук; она взывала от боли и разразилась проклятиями. Но ничто уже не могло ей помочь: ее выволокли из храма и предали казни.

Подействовали ли ее проклятия, как полагали некоторые, или же то, что произошло дальше, было логичным следствием бурных и опасных жизненных перипетий, которые всегда нравились дочерям Лагидов? Во всяком случае, менее чем через год Клеопатра Великолепная пала жертвой новой вендетты: ее настиг и уничтожил овдовевший супруг убитой ею сестры.

*

Наконец, была еще самая лицемерная из всех представительниц династии, старшая дочь Клеопатры-Сестры, Клеопатра Божественная, которая в двадцать лет стала вдовой убитого сирийского царевича и чей второй супруг, тоже сириец, попав в плен к парфянам, оказался человеком настолько дурно воспитанным, что после двенадцати лет пребывания в плену решил вернуться домой. Все эти годы Божественная с удовольствием управляла страной своего мужа. Она успела еще раз выйти замуж и похоронить третьего супруга-царевича; потом, как кажется, воспылала страстью к юношам и наслаждалась всеми прелестями вновь обретенной свободы. Поэтому, когда вернулся ее второй муж, она закрыла перед ним ворота города, сделала человеком вне закона в его собственной стране, и в результате он попал в руки своих врагов, которые предали его смерти согласно местным обычаям, то есть после долгих и изощренных пыток. Навсегда избавившись от его посягательств, Божественная могла теперь заняться другими людьми, которые мешали ей спокойно царствовать, — прежде всего, естественно, собственными сыновьями. Старший имел наглость появиться в ее присутствии с царской диадемой на голове — она убила его в тот же миг, собственноручно спустив с тетивы стрелу; когда же второй, любимый сын в свою очередь дал ей понять, что тяготится ее назойливостью, она на некоторое время стала ласковой и покорной, но вскоре, сочтя, что комедия слишком затянулась, решила положить ей конец. Царица перешла к действиям в тот день, когда ее сын отправился на охоту; она ждала часа его возвращения, момента, когда разгоряченные мужчины спешиваются и просят дать им чего-нибудь попить. Но ее сын сам ждал этого момента, причем очень давно. Он взял протянутый царицей кубок, внимательно посмотрел на него и предложил матери — с такой же, как у той, лицемерной предупредительностью — испить первой. Она заколебалась; он настаивал. Ей пришлось покориться, и, отведав питья, она тут же рухнула наземь, мертвая. Как и ее предки, Божественная знала о

ядах все — кроме, разве, того правила, что отравленные напитки никогда не следует подавать самолично.

*

В истории семьи было много других Клеопатр, которые вели затворническую жизнь в задних покоях дворцов или выходили замуж за государей, чьи крошечные царства располагались среди пустынь, вдали от караванных путей; эти женщины вырастали среди преступлений или воспоминаний о преступлениях; память о них самих не сохранилась, потому что ее не успели запечатлеть в надписях на камнях и потому что они не прожили достаточно долго, чтобы оставить потомство, плести интриги, убивать. Несомненно, сами Лагиды по прошествии четырех-пяти поколений уже не могли отыскать дороги в этом лабиринте убийств и кровосмесительных браков. Но в глубине их памяти по-прежнему жили архаические животные инстинкты: рефлексивная готовность убивать при первом сигнале тревоги; представление об инцесте как о системе государственного управления; и, наконец, убеждение, что в политике необходимо принимать во внимание женщин. Как продолжатели традиции фараонов, Лагиды не могли восседать на троне в одиночестве; при отсутствии царицы космическое равновесие немедленно бы нарушилось, и тогда при первом же случае низкого разлива Нила народ начал бы искать виновного — того, кто осмелился изменить просуществовавший много тысячелетий порядок. Вот почему, какие бы страсти ни раздирали эту семью, представители которой были готовы на все, лишь бы завладеть тронном, никогда не вставал вопрос о том, чтобы извлечь из прошлого — как в трагедиях Эсхила, Софокла или Еврипида — уроки мудрости; чтобы задуматься наконец о человеческой слепоте и о тех драмах, к которым приводит необузданность. Лагиды не только не осуждали крайности, но любили их, культивировали, так сказать, смахивали с них пыль, как с драгоценных антикварных предметов. Вернувшись из театра, заняться опробованием ядов на приговоренных к смерти; изучать науку об отравляющих веществах одновременно с учением о музыке сфер; пировать ночи напролет, наслаждаясь поэзией, — все удовольствия хороши при условии, что ты не забываешь следить за своим братом, матерью, отцом и сестрами; что продолжаешь выставлять напоказ собственную власть и внешние знаки своего достоинства; и что за всем этим великолепием стоит Египет, сокровища, рождающиеся каждый год после того, как Нил

оплодотворит свою черную землю: горы зерна, которое сборщики налогов и купцы из порта превращают в корабли, войска, храмы, книги, вино, благовония, прозрачные льняные одежды, украшения и слитки золота. Власть дает золото, а золото укрепляет власть; золота становится все больше, и власти тоже. Коварство или жестокость — какая разница, если можно захватить, присвоить себе то и другое. В брачной постели или на смертном ложе, чаще всего по праву крови. Крови, которая смешивалась сама с собой на протяжении восьми поколений.

*

Все это нависает тяжким бременем над новорожденной девочкой. Гнет преступного прошлого и, что еще хуже, гнет легенды о преступлениях; и еще, присутствующие повсюду в гигантском городе — в виде гробниц или колоссов — монументы этих чудовищных предков, память о которых еще более гнетуща, чем их имена.

Однако судьба подарила последней Славе отца удивительный шанс. Удачу, которая лишь в редчайших случаях выпадала представителям этого рода: над ней, по крайней мере, не довлело бремя материнской воли. Клеопатра Великолепная, которая дала ей жизнь, перестает упоминаться в официальных документах по прошествии менее года после рождения дочери. О ней никогда больше не будут говорить, и мы так и не узнаем, от чего она умерла — от яда, несчастного случая или болезни; как не узнаем и того, от нее ли девочка унаследовала свою смуглую кожу, полные губы, густые черные волосы, тонкую талию и необычайную пылкость натуры. С уверенностью можно сказать лишь одно: у малютки был точно такой же профиль, как у ее отца, — нос с горбинкой, похожий на клювы тех каменных орлов, стоявших на берегу, при взгляде на которых моряки, уже обогнувшие Маяк, сразу понимали, что прибыли к потомкам Лага.

СЕМЕЙНОЕ СОСТОЯНИЕ (69–65 гг. до н. э.)

Каждый раз, когда ее зовут, когда выкрикивают это имя дочери, заканчивающееся упоминанием ее отца, эхо бежит по колоннадам, портикам, вытянутым вдоль моря, и останавливается только у залива. Здесь все — декорация; фасады, фронтоны подходят к самым скалам мыса, грозя гибелью волнам, которые во время сильных бурь с грохотом разбиваются о берег. Звук, когда бежит, ударяется о капители, столбы, фризы, аркатуры. Даже маленький островок напротив дворца кому-то понадобилось накрыть слишком тяжелой для него мраморной попоной.

Скрытая под мраморным гласисом береговая линия бухты давно уже не вызывает в воображении образ женской груди. Белая и торжественная, Александрия теперь скорее напоминает театр. Театр титанов, созданный для титанов. Колоссы с картушами фараонов; сфинксы, похищенные из городов, сама память о которых давно утрачена; храмы, заполненные статуями из золота и слоновой кости; камни, которые высекали в разные времена, чтобы поведать о могуществе и власти, перепутаны в гигантской стене, окружающей дворцовый участок, — камни египетские и греческие, паросский мрамор и гранит Асуана. Здесь и жизнь сплетена со смертью — тенистые дворы, где играют царские дети, часто замыкаются гробницами предков.

Под портиками, которым не видно конца, суетятся целые батальоны писцов и скользят, образуя сложные балетные мизансцены, приближенные государя, сановники с титулами такими же простыми, как времена, когда эти титулы были изобретены (те времена, когда македонские всадники галопом скакали по степям и пустыням вслед за конем Александра): «царские родственники», «приравненные к царским родственникам», «простые родственники», «первые друзья», «приравненные к первым друзьям», «простые друзья», «личные гвардейцы», «личные слуги». Однако все эти люди — большие пройдохи, алчные и изворотливые. Каждый из них хочет иметь просторное жилище, хорошую пищу, женщин, евнухов, слуг. Хочет жить во все возрастающей роскоши. Вот почему от царствования к царствованию, несмотря на все заговоры, альянсы и убийства, дворец разрастался, превращаясь в конгломерат дворцов. Думая, что он покидает (очередную) сценическую площадку, посетитель

незаметно для себя оказывается на следующей. Этот театр власти в настоящее время занимает добрую треть города.

Что касается Египта, то он находится в другом месте, за кулисами, за пределами города; Египет — это каналы Дельты и нескончаемый оазис по обеим берегам реки, которая тоже не имеет конца и источник которой не известен. Там, на земле пустыни, оплодотворяемой водами Нила, мир до сих пор остается анонимным и неимушим. Неразличимые люди, согнувшиеся над землей; короткие жизни, отмеченные лишь безмолвным страданием; всегдашняя покорность; и хотя ученые еще не додумались вести счет векам, все прекрасно знают: слово «всегда» в Египте звучит несравненно весомее, чем в других местах.

Люди, находящиеся в рабской зависимости от половодья, от бумагомарателей, которые называют себя «владыками воды», потому что завладели правом открывать и перекрывать каналы. Человеческие жизни, с самого начала сломленные несправедливостью, которая длится так нескончаемо долго, что обрела силу закона: каждый год самая лучшая часть урожая должна быть отдана посланцам фараона. Неважно, как его зовут, — те, кто возделывает поля, все равно никогда его не увидят. Из каких бы земель ни приходили правители Египта — из страны гиксосов^[14], Ливии, Эфиопии, Ассирии, Персии, Греции, — порядок мира не менялся. Всегда одни и те же бюрократы забирали зерно с лучших полей. При малейшем сопротивлении — удары плетью; а иногда и смерть, во имя все того же Владыки Обеих земель^[15], лица которого никто никогда не видел.

И хороший ли выдался год или плохой, урожаи все равно пропадают в окаянном новом городе, построенном греками на берегу моря — моря, к которому египтяне чувствуют такое отвращение, что даже не называют по имени, а лишь намекают на него словами, выдающими их страх перед злым колдовством: «Великая Зелень». И кому бы ни пришло в голову утаить — пусть даже и заплатив за них — хотя бы один кувшин меда или оливкового масла, одну унцию зерна, — он будет немедленно предан смерти. От писца до солдата, от погонщика верблюдов до моряка, от жреца до чеканщика царской монеты — все обязаны объединять свои усилия в одном общем деле: деле накопления в кладовых Лагидов всех продуктов, приобретаемых посредством торговли, и зерна, даруемого нильским половодьем.

Царские кладовые и были семейной копилкой Птолемеев. Вместо банковского счета — сокровищница, полная зерна, масла, свитков папируса, благовоний. Этих запасов хватит, чтобы прокормить все человечество — завистливо говорили поэты. Поэты всегда преувеличивают, но в данном случае следует признать, это без дворцовых складов Александрии добрая половина населения Средиземноморья действительно погибла бы от голода.

Однако эта золотоносная река уже несколько десятилетий назад превратилась в гнилую топь; если подумать, дело было в том, что в Дельте скапливалось все больше грязи, заразной и обильной, возникали меняющие свои очертания заболоченные участки — там, где Нил, приближаясь к морю, расщепляется, образуя запутанный лабиринт рукавов. А кроме того, во дворце из множества мелких проныр, которые так и кишели вокруг царской сокровищницы, — маниакальных знатоков мер и весов, любителей поспорить об интересах фиска, проконтролировать поступления и проинспектировать прибыль, виртуозов определения ростовщического процента, педантов вычисления дробей и прочих поклонников больших и малых чисел — никто уже не обманывался относительно того, какая именно пьеса ныне разыгрывается на этой сцене.

Дело в том, что, культивируя — чуть ли не в качестве одного из изящных искусств — умение устраивать неожиданные эффектные развязки, дворцовые перевороты, тщательно разработанные комбинации и прочие подвохи, Птолемеи незаметно для себя приближались к катастрофе. Имущество семьи было заложено. Раньше или позже кредиторам придется платить. Чем больше золота, тем больше власти; но потом неизбежно придет момент утраты собственных прав. Изгнание, если повезет; и в любом случае смерть.

Итак, как ни странно, жизнь Клеопатры началась не с осознания того, что ей грозит гибель от кинжала или яда, а с тривиального страха остаться без средств к существованию: типичный конец истории рода, представители которого не желают замечать, что мир изменился. Таким и был первый сложившийся в ее сознании образ опасности: банальный судебный иск об опротестовании завещания, о займе, который вовремя не вернули. Правда, масштабы этой тревоги соответствуют положению Лагидов: займодавцем семьи является не кто иной, как римский народ, а собственностью, о которой будет идти речь в спорном завещании, — египетское государство.

Все знают, как дети улавливают угрозу: по случайным словам, по крикам, которые их пугают, — подобно животным, вдруг замирающим в неподвижности, почуяв опасность; и в этой тишине, в которой живут только они, дети, из этого понимания, которое не есть понимание в обычном смысле, рождаются великие страхи и неистребимые предубеждения. Для Клеопатры первым сигналом тревоги было слово «римляне». Но когда приходили сообщения о том, что римские легионы собираются пересечь пустыню, что их галеры курсируют в водах Иудеи или Киренаики; когда она задавала вопросы и ей объясняли, что заставило этих людей с Запада рыскать у рубежей ее страны; когда в ее присутствии вспоминали цепь катастроф, фатальных неизбежностей, наслаивавшихся одна на другую, как те дворцы, в которых она родилась, — в разговорах каждый раз всплывало одно имя, не римское, а греческое и даже семейное: имя Птолемея VIII, прадеда-толстяка, похороненного рядом с другими царями в тени гробницы Александра; и вместе с именем оживала вся история тирана, умевшего только предаваться блуду, пить и обжираться, Птолемея Благодетеля, которого называли также Злодеем и Пузырем, — потому что все несчастья семьи проистекали даже не столько от римлян, сколько от этого чудовища.

Непросто было разобраться в этом клубке махинаций: полвека Пузырь занимался тем, что настраивал свою жену и племянницу против ее матери, его сестры; потом — ее сыновей против ее дочерей, ее дочерей друг против друга, племянников против теток, их дядей против всех на свете; и не только в Египте, но на каждом побережье, в каждой пустыне, где у него имелись родственники, появившиеся на свет в результате насильственных браков и принудительных разводов под угрозой смерти, где он заключал союзы с одними против других, закладывались основы многих будущих вероломных интриг. Ситуация настолько усложнилась, что Птолемей VIII — Пузырь — в конце концов сам в ней запутался. Ему пришлось оставить свой трон, что, впрочем, не помешало ему потом занять его снова. В обоих случаях его спасли римляне. Это он призвал их на помощь в то время, когда у них было полно дел в других местах. Они легко дали себя уговорить и быстро урегулировали все конфликты, в точности так, как он того желал, то есть к его выгоде. Однако, как ни странно, римляне, хотя и могли тогда аннексировать Египет без всяких судебных процессов, не сделали этого.

Это была ловушка, причем настолько коварная, что не захлопнулась

сразу, а закрывалась постепенно, по мере возрастания высокомерной дерзости тирана; и в самом деле, в притворном бескорыстии своих новых друзей Птолемей Пузырь усматривал результат воздействия на них его (как он считал) божественной природы, признание его — потомка Александра — превосходства и, главное, блестящий успех его махинаций (ведь в этой сфере, как и во всем, что касается любострастия и обжорства, ему, как он думал, не было равных).

Семья Лагидов была настолько поглощена внутренними интригами, что и родственники Пузыря тоже не замечали ничего подозрительного; их даже не оскорбляло, что, разбирая их дразги, римские военачальники держались с тем же внешним безразличием (за которым скрывалось неодобрение), с каким *pater familias*^[16] обычно успокаивает разбушевавшихся женщин, — а ведь у потомков Волчицы подобное поведение есть форма выражения крайнего презрения. В ослеплении, до которого их довел тот театр, где все они были актерами, Лагиды понимали лишь одно (и это вполне их устраивало): они могут продолжать потрошить друг друга. Они считали римлян солдафонами, бездушными и неискусными завоевателями, которые не сумеют продвинуться слишком далеко — во всяком случае, никогда не превзойдут Александра.

Итак, никто из семьи Лагидов не понимал, что кажущаяся беззаботность римлян была лишь стратегией: занятые перевариванием — а этот процесс не обошелся без мелких неприятностей — недавно поглощенных ими Карфагена и Греции, римляне не торопились ввязываться в новую авантюру; на берегах Тибра нашлось немало ворчунов, которые брюзжали, что Рим уже перестал быть прежним Римом. Несмотря на то, что все трое обладали несравненным инстинктом хищного зверя, ни Пузырь, ни две его жены, Клеопатра-Сестра и Клеопатра-Супруга, не смогли разгадать тактику Волчицы: тактику, которая состояла в том, чтобы хорошо изучить жертву, прежде чем на нее нападать, и чтобы проявлять тем большую осмотрительность, чем сильнее искушение, — особенно если объект охоты, как в случае с Египтом, представляет собой гибридное существо. Римляне просто-напросто проявляли осторожность; они выжидали своего часа, и им некуда было торопиться.

*

Один из них, Сципион Эмилиан, даже заставил себя нанести визит Птолемею Пузырю, несмотря на отвращение, которое внушал ему этот

тиран, чьих дальних родственников он победил в Македонии. Это была просто ознакомительная поездка; однако Пузырь в своем чрезмерном тщеславии усмотрел в ней знак особого уважения к своей персоне и прямо-таки раздулся от важности.

Сципион прощупывал почву такими методами, какие использовал бы на его месте любой крестьянин из Лация; он пожелал все осмотреть — дворцы, гробницы, житницы, склады, бухты Александрии, сельскую округу. Он зорко все подмечал, составил сжатый перечень ресурсов страны и уехал, не взяв с собой ничего и даже — на тот момент — не приняв никакого решения.

Римлянин позволил себе лишь одно удовольствие: зная, что Пузырь, страдая от ожирения, никогда не передвигается иначе, как на носилках, он подстроил все так, что царю пришлось проводить своего гостя до корабля пешком, по городским улицам. Сципион шел очень быстро. Пузырь, окруженный своими телохранителями и киллерами, семенил следом, обливаясь потом и тяжело дыша под прозрачным муслиновым одеянием, не скрывавшим от глаз жителей Александрии горы его подрагивающей плоти. «Это было самое сказочное зрелище из тех, что когда-либо предлагались его народу! — говорил потом Сципион. — Я дал им возможность увидеть, как ходит их царь!» Римляне никогда не развлекались подолгу: стремительный и прагматичный, как всегда, Сципион засел за свои таблички и принялся сочинять отчет. Свои впечатления он обобщил в двух предельно лаконичных строчках: «Здесь могла бы возникнуть весьма великая держава, если бы эта страна однажды обрела правителей, достойных ее». С тех пор прошло семьдесят лет; политика Рима не изменилась.

*

Так начинались все рассказы о судьбах семьи; из них маленькая девочка, дитя инцеста, узнала о пропастях, к которым ведет осуществляемая вслепую абсолютная власть: о безднах глупости, подлости и вероломства, не исчезающих и после кончины того, по чьей вине они возникли. Примером тому опять-таки может служить Пузырь, который в своей беспредельной низости не удовлетворился тем, что попросил римских солдафонов вмешаться в конфликт между ним и его родственниками. Ему захотелось продолжить эту игру и за порогом смерти. Тогда-то и затянулась петля фатальных неизбежностей, которая — еще

сильнее, чем цепь кровосмесительных браков, — сжала горло его потомков.

Пузырь не желал покидать сей мир, не оставив гарантий того, что и после его ухода будет продолжаться дело ненависти, которое для него давно стало образом жизни. Его родственники и на этот раз ничего не подозревали. А им стоило бы проявить осторожность — ведь тиран с юных лет думал о таком посмертном оружии; когда будущий Птолемей VIII еще не имел наследника и правил только оазисами Киренаики, он составил завещание-шантаж, содержание которого было обнародовано: в случае, если царь падет под ударами своего врага (и чтобы враг этот, его брат, не смог завладеть его наследством), его государство должно быть передано Риму.

Эта предосторожность оказалась излишней: очень скоро ему удалось сжить со света своего соперника и заполучить все, что стояло на кону: Египет, жену брата, его дочь и семейное состояние. Однако он никогда не забывал о мрачных и трудных временах своей юности и, когда почувствовал приближение смерти, захотел доставить себе последнюю радость, повторив старый маневр.

Он недаром полвека занимался интригами и теперь придумал необычайно пикантный ход: предоставил своей племяннице-супруге самой решать, кто из ее детей станет наследником престола. Между ее сыновьями наверняка начнется беспощадная война. В ней, несомненно, одержит верх старший; тогда наследник, назначенный Клеопатрой-Супругой, обратится к Риму с просьбой поддержать его права, как сделал он сам, когда повздорил со своими родственниками. И если младший победит, то примет те же меры предосторожности, какие некогда принял Пузырь: составит завещание-шантаж в духе отцовского, чтобы его брат-враг не завладел Египтом; и если даже старший потом отберет у него трон — отберет насильственным путем, — римляне смогут в любой момент вырвать из его (старшего брата) рук захваченное им сокровище. Он всегда будет только тенью подлинного царя.

Механизм наследования в Египте функционировал с точностью тех кукол-автоматов, которых иногда выпускали на улицы Александрии в дни больших царских праздников. Труп Пузыря еще не успел остыть, когда Клеопатра-Супруга, как он и предвидел, объявила фараоном своего младшего сына, которого при рождении необдуманно нарекли Птолемеем Александром — необдуманно, потому что в этом апатичном одутловатом молодом человеке не было абсолютно ничего общего с завоевателем-атлетом; гораздо больше он напоминал уродливого мастодонта, от которого произошел на свет. Его старший брат, которого тоже звали Птолемеем, но

которого горожане Александрии успели переименовать в Стручечника, немедленно (что тоже входило в планы его отца) начал кричать о своих правах, как возбужденный орлан. Впрочем, Стручечник походил на бобовое растение только внешне: ему удалось изгнать своего соперника. Жители Александрии быстро придумали для него новое прозвище, в котором выразили все, что думали о нем и о его матери: «Сын потаскухи», просто и понятно.

Птолемей Александр, которого тоже стали называть «Сыном потаскухи», обанкротился гораздо быстрее, чем мог надеяться его отец, Пузырь. Находясь в изгнании на Кипре и мало полагаясь на тайные маневры Клеопатры-Супруги, которая обратила против Стручечника все свое умение плести интриги, он пожелал снарядить флот и бросить его против армады брата. К несчастью, у него не было ни единой драхмы. Тогда он вспомнил, что в Риме появилось несколько очень богатых людей. Он попросил у них денег займы и без малейших трудностей получил желаемое. Не понимая, что они дают ему свои сестерции лишь для того, чтобы потом ободрать дурака как липку; и что дураком этим окажется в конечном счете Египет.

Между тем Клеопатра-Супруга, ничего не зная о происшедшем, продолжала строить тайные козни против своего старшего сына, Стручечника. Он пользовался популярностью, и, чтобы погубить его, требовались большое коварство и упорство. Однако она, как все Лагиды, была экспертом по части эффектных мизансцен, и ей удалось убедить жителей Александрии в том, что Стручечник намеревается ее убить. Его немедленно свергли с трона; младший, Сын потаскухи, тут же на всех парусах примчался с Кипра и занял освободившееся место. Все это походило на гротескную фигуру танца, ибо Стручечник, в свою очередь, отправился на упомянутый остров. Но едва запыхавшийся новый суверен взял бразды правления в свои руки, как объявились его кредиторы и стали столь настойчиво требовать денег, что теперь дразги начались между матерью и ее любимчиком. Нужно торопиться, шептались в Риме: в Египте вот-вот дело дойдет до убийства, и на сей раз отнюдь не театрального.

Действительно, неблагодарный сын очень скоро ликвидировал свою мать. Римские банкиры стали еще более настойчивыми. И тогда этот юнец царственным жестом (беспримерную легкомысленность которого можно сравнить только с тем удовольствием, с каким он был сделан) завещал подвластное ему государство римскому народу.

Именно так — ни больше ни меньше. Он считал себя достойным продолжателем своего славного рода. В конце концов он сделал то, что хотел, но расхождение во взглядах между ним и Римом достигло апогея: в то время как в глазах римлян он был просто крупным землевладельцем, доведенным до разорения тяжбой о наследовании, сам он полагал, что может продолжать вести себя как великий государь и удивлялся мелочности римлян, этих разбогатевших мужланов, которые вообразили себя банкирами и теперь колотят в двери его дворца. Ему казалось, что если он снизошел до того, чтобы удовлетворить их справедливые требования, то это было проявлением величия его души, широким жестом щедрого владыки.

Очевидно, он отдавал себе отчет в том, что, когда умрет, семья его будет разорена. Но, как говорят, «после нас хоть потоп»... «Каждый сам за себя» — так было у Лагидов, с самого начала; в качестве закона они признавали лишь собственное удовольствие. Семья найдет способ свести концы с концами — это не так уж трудно при наличии нильских разливов, которые неизменно оплодотворяют почву, крестьян, всегда покорно гнущих спину над своими полями, и писцов с их испещренными цифрами свитками папируса.

Короче, Египет превратится в окраину мира — после того, как был его центром. Все остальное — династия, будущее, завоевание Вселенной — относится к сфере метафизики и не поддается учету; и еще: станет меньше роскоши, которая столь необходима, золота, драгоценных камней, жемчугов, благовоний, носилок, женщин, изысканных кушаний. А потерять все это действительно равносильно чудовищной катастрофе.

Так что могучий утробой Сын потаскухи, *alias*^[17] Александр, весело запечатал свое губительное завещание, отослал его копию римлянам и с обновленным пылом принялся сеять вокруг себя семена будущих несчастий. Чтобы пополнить свою казну, опустошенную полчищами полицейских, агентов фиска и прочих сборщиков налогов, которые, пользуясь ошибками Лагидов, набивали свои карманы за их счет, он приказал расплавить золотой гроб, в коем покоилось набальзамированное тело его знаменитого тезки; потом, не удовлетворившись все возрастающим обеднением своих родственников и желая еще более подогреть сведавшую их ненависть, он женился на своей племяннице, родной дочери Стручечника. Предполагая — и не без оснований, — что его

брату, только что ставшему его тестем, не понравится происшедшее и что он постарается приготовить изысканную месть в духе тех блюд, которые так хорошо удавались Пузырю, он бросил свой дорогостоящий флот на штурм Кипра, однако, подойдя к острову, во время бури потерял все корабли и сам погиб в волнах.

В результате этого блистательного кораблекрушения терпеливый Стручечник, после двадцати лет изгнания, вновь вернул себе свое царство. Но победитель торжествовал недолго: не успел он взойти на трон, как римляне предъявили ему завещание покойного Сына потаскухи. Новый правитель разразился возмущенными криками, заявил, что ему показывают фальшивку, что римлянам не удастся прибрать к рукам Египет тем же способом, каким семьдесят лет назад они завладели Пергамом, — на основании одного лишь зловредного завещания, составленного кретином.

Тогда Римская Волчица еще раз обнюхала свою жертву (Египет), нашла ее более отощавшей, чем когда-либо прежде, и — уже во второй раз — решила, что, прежде чем пожирать добычу, стоит подождать, пока она нарастит жирок; откормить же ее лучше всего сумеет новый тиран: Стручечник, хотя и лишен качеств хорошего политика, по крайней мере отладит (с помощью своих многочисленных сборщиков налогов, сведущих в том, как обеспечивать приток золота в александрийские дворцы) все механизмы этой деликатной машины, которая в твердо установленные сроки трансформирует нильскую грязь в звонкую монету.

Так Волчица и поступила. Коррупция в Египте процветала снизу доверху, поэтому никакого жирка бедное животное не наращивало, однако Волчица по-прежнему не нападала, а продолжала бродить вокруг; правда, участки, где она мародерствовала, с каждым разом оказывались все ближе к ее главной потенциальной жертве.

*

Так заканчивались все рассказы о судьбах династии: этим финалом в форме безысходного тупика. А дальше всегда следовали одни и те же жалобы, неизменные сетования, которые ничего не решают, но лишь усиливают печаль и страх: в тот день, когда римлянам впервые позволили вмешаться в дела семьи, жребий был уже брошен. Первая фатальная неизбежность, извращенность Пузыря, породила вторую, та — следующую, и так далее; все это продолжалось пятьдесят лет, и уже не

было возможности вернуться назад, предотвратить неизбежное. С каждым разом, с каждым новым царствованием римляне еще на шаг приближались к Египту, а царская казна становилась еще более пустой. Ничего не поделаешь: волей-неволей приходилось считаться с римлянами. Привыкать к ним. Покоряться их воле.

*

Вот почему на борту галер, груженных сосудами с оливковым маслом, так часто находились направлявшиеся в Италию посланцы александрийского дворца; вот почему под фронтонами домов, стоявших вдоль набережной, в канцеляриях дипломатов и военачальников так часто шепотом произносились имена с окончаниями *o*, *us* и *a*^[18]. Чиновники старались, чтобы подробности переговоров с римлянами не выходили за пределы дворцовой ограды. И все равно слухи каждый раз просачивались сквозь стены, вызывая возмущение и ярость горожан; находились и подстрекатели, которые грозили убить царя, как только возникало малейшее подозрение о его сговоре с кредиторами.

Невозможно было не замечать очевидного: по мере того как Рим аннексировал все новые территории, вокруг Египта смыкалось кольцо; при первом же удобном предлоге — будь то заключение брака, которое обернется бедой, смуты вокруг престолонаследия, стычка с соседом, а может, и просто вылазка пиратов или кораблекрушение римской галеры у входа в александрийский порт — римляне снова вспомнят о завещании этого слабоумного Птолемея Александра, Сына потаскухи. Это тем более вероятно, что они нуждаются в деньгах, так как ведут войны во всех частях света. Кроме того, все эти римские военачальники соперничают друг с другом, жаждут уничтожить друг друга с помощью своих легионов, то есть солдат, содержание которых обходится все дороже.

А значит, следовало раз навсегда признать: римляне никогда не выпустят из своих рук добычу. Рано или поздно Ла-гидам придется платить за гнусности Пузыря и промахи его преемников. Лучшее, на что можно надеяться, — это торг, сделка. Но за соглашение тоже придется платить, любой компромисс имеет свою цену. Какова будет эта цена? Потребуют ли у них земли, корабли, женщину, заставят вступить в невыгодный союз? Никто этого не знал. Точнее, не желал знать.

Дорога судьбы уперлась в глухую стену, пелена страха окутывала все игры, заглушала смех; и даже если маленькая девочка еще ничего не

понимала в этой длинной истории об истоках зла, о мрачной эпопее, которая привела к утрате не только семейного состояния, но и гордости Лагидов, один эпизод, последний, наверняка не мог остаться для нее неизвестным: ведь он произошел менее чем за десять лет до ее рождения и был важным звеном в цепи тех обстоятельств, благодаря которым она появилась на свет.

ТОТ, КОТОРОГО НЕ ЖДАЛИ (65–63 гг. до н. э.)

Эпизод касался ее отца, человека сомнительного со всех точек зрения, даже с точки зрения его происхождения: он был сыном Стручечника и неизвестной женщины — то ли танцовщицы, то ли куртизанки, то ли просто домашней прислуги. Его вообще никто никогда не понимал.

Может быть, из-за этой тени, которая окутывала его рождение. Или из-за его фантазий, из-за его врожденного легкомыслия. А между тем он казался таким сильным ребенку, который открывал его для себя; казался единственным, кто мог использовать свою славу — он бы скорее умер, чем отрекся от нее! — на благо самого знаменитого рода во всех обитаемых землях.

Дело в том, что, в отличие от других царей, он, ее отец, не желал власти и даже не думал о ней; он вообще ничего не ждал от жизни, кроме удовольствия жить. И если бы не эта мрачная история с завещанием Пузыря, он бы наверняка стал бродячим комедиантом где-нибудь в глубине Сирии, руководил труппами мимов и актеров, ставил бы пьесы и с флейтой у губ возглавлял карнавальные и маскарадные шествия.

Однако Тюхе, Госпожа судеб, еще раз вмешалась в земные дела и настигла человека, который ничего у нее не просил — разве что приветственных кликов публики по завершении его пантомим; и человек этот оказался вовлеченным в трагикомедию слишком тяжеловесную, слишком длинную для его актерского амплуа — в пьесу, которую уже более полувека разыгрывали Рим и Египет (их ничто уже не могло разлучить, даже когда они делали вид, что показывают друг другу спину); и новой мелодии, которая началась с выходом на сцену этого человека, предстояло закончиться каденцией *dance funèbre*^[19], медленной паваной^[20], исполняемой в момент приближения кровавой развязки.

*

Эта история началась давно, очень давно: Клеопатра тогда еще не родилась, а отец ее даже не задумывался о женитьбе; он едва вышел из подросткового возраста и любил только музыку, театр и танцы. Он от души

наслаждался жизнью: в результате какого-то неизвестного нам военного конфликта царь Митридат^[21] взял его в заложники и годами держал, как птичку, в золотой клетке, позволяя мальчику делать все, чего тот пожелает, но не отпуская домой.

Мальчик не жалел о случившемся; единственной реальностью была для него фантазия, единственной верой — театр, и он чувствовал себя счастливым. Эпопея Лагидов казалась ему чем-то вроде сказки, историей среди многих других историй, которая когда-нибудь попадет в книги и из которой он, Птолемей, быть может, однажды сделает пьесу — выведет на сцену тиранов и принцесс и изобразит нескончаемо долгий закат царской династии. Никто не ждал его в Александрии; не существовало никаких предсказаний, которые могли бы повлиять на его детство, никаких оракулов, никаких касающихся его распоряжений со стороны отца или матери; судьба словно позабыла о нем, и он благословлял ее за это: он был свободным человеком, бастардом и комедиантом.

Он отличался беззаботностью, легкомыслием, а между тем близкое общение с актерами-трагиками должно было научить его тому, что судьба терпелива, что она умело распределяет свои силы и часто начинает с одной жертвы, чтобы потом тем вернее схватить другую, ощущающую себя в безопасности, и что она, судьба, любит принимать самые неожиданные формы.

На этот раз она воплотилась в ребенка: в единственного отпрыска Птолемея Александра, Сына потаскухи, в наследника, которого этот толстяк и любитель кораблей, прежде чем утонуть у берегов Кипра, успел-таки произвести на свет. Во всем, начиная с прозвища — Александр — и кончая характером, это нелепое существо было совершенным подобием своего родителя. Таким же вялым, таким же неуклюжим, еще более тупым, если это вообще возможно, неповоротливым, дураковатым — короче говоря, куклой, столь примитивной, что, казалось, ею можно управлять, как управляют теми механическими игрушками, набитыми пружинами и зубчатыми колесиками, которые изготавливаются в мастерских Александрии.

После смерти своего отца мальчик попал в руки достойного ученика Птолемея Александра Старшего, одного из тех кровожадных животных, которые с некоторых пор не переводились в Риме, а именно, в руки диктатора Луция Корнелия Суллы.

Этот персонаж ничем не уступал Птолемеям, он относился к той же самой породе — к породе монстров, одновременно циничных и в высшей степени образованных, утонченных, чувствительных, но при всем том

способных на безграничные зверства; он был из тех тиранов, которые ни с кем не делят свою власть, однако так хорошо умеют маневрировать, что, как правило, умирают в собственной постели.

Что касается жестокости, то «послужной список» Суллы был намного внушительнее всего, чем могли похвастать Лагиды: завоеватель и дипломат, блестящий стратег и неумолимый палач, он грабил и убивал повсюду, куда ступала его нога, — от Африки до Греции и азиатского побережья. Потом, обретя уверенность благодаря захваченному им золоту и страху, который он сеял вдоль своего пути, этот человек пожелал навязать Италии свой собственный закон. Когда его враги — под руководством Мария — выступили против него, он, ничтоже сумняшеся, пошел походом на Рим во главе своих легионов^[22]. Среди других «подвигов» Сулла мог бы похвастать и тем, что предпринял первую известную нам попытку «рационального» уничтожения определенной выборки из человечества, применив метод проскрипций: систематического обнаружения списков своих противников с указаниями сумм вознаграждения за доносы и убийства. Эти несчастные, оказывавшиеся вне закона с момента появления их имен в списках, как и все, кто пытался им помочь, становились легкой добычей охотников за вознаграждением, которые, в соответствии, так сказать, с законами жанра, получали свои сестерции лишь после того, как в установленном порядке предъявляли властям отрубленные головы врагов диктатора.

Понятно, что Сулла никогда не отличался совестью, и александрийцы, боявшиеся его пуще всего на свете, никак не могли понять того, что произошло после смерти Александра, Сына потаскухи: тогда Стручечник вернул себе свой трон, а римский диктатор воздержался — хотя, казалось, ничто ему в этом не препятствовало — от каких бы то ни было напоминаний о завещаниях Пузыря и его сына, в соответствии с которыми Рим должен был унаследовать Египет. Сулла ничего не предпринимал, делал вид, будто ничего не замечает или обо всем забыл, то есть точно придерживался той линии поведения, которую в свое время наметил Сципион.

Можно было подумать, что его удерживал страх, некое странное суеверие, — если только это бездействие не определялось расчетом, таким хитрым, что даже самые искушенные в политических делах жители Александрии не могли уловить его сути. Он даже не направил в Египет — чего опасались все — несколько легионов, чтобы свергнуть узурпатора, а удовлетворился тем, что затребовал к себе в Рим отпрыска покойного Сына потаскухи.

Эту пешку Сулла намеревался ввести в игру, когда настанет подходящий момент; он стал воспитывать мальчика на свой манер, то есть делать из него римлянина и, главное, своего преданного сторонника, непрерывно соблазняя его богатствами египетского государства и обещая возвести на трон, как только его (мальчика) дядя, этот морской разбойник, покинет сей мир. И действительно, едва Стручечник умер, Сулла торжественно провозгласил молодого простофилю царем, под именем Птолемея XI Александра II, и, дав ему надежный эскорт, отправил в Египет.

Мальчишка, этот автомат, слепо повиновался. Его насторожило только одно: в отцовском завещании указывалось, что он должен жениться на вдове отца, Клеопатре Беренике, которая, возможно, — с Лагидами никогда ни в чем нельзя быть точно уверенным — приходилась ему родной матерью. Какими бы негативными качествами ни обладал Птолемей XI Александр II, перспектива инцеста его явно не прельщала. Он робко дал понять это своему наставнику. Однако Сулла возразил, что, судя по истории его предков, это условие не так уж трудно выполнить; поскольку диктатор пытался убедить римлян, что сам не собирается претендовать на Египет, он потребовал от своего протеже строгого соблюдения всех пунктов отцовского завещания, в том числе и матримониального. Тучный юнец понял, что спорить бесполезно и опасно, поспешно согласился на инцест, и брак был заключен по всем правилам.

Однако ровно через девятнадцать дней после свадьбы — то ли потому, что зрелые прелести новобрачной несколько не вдохновили супруга, то ли потому, что сыграла свою роль давно копившаяся злоба против матери, то ли просто из-за того, что по прибытии в Египет старые семейные инстинкты возобладали над рефлексами, привитыми римским тираном, — этот идиот внезапно нарушил волю наставника и убил свою Дульцинею.

Он был еще большим идиотом, чем казался, ибо, прежде чем отправлять царицу *ad patres*^[23], ему следовало бы принять во внимание тот факт, что, несмотря на изношенность ее женских прелестей, она пользовалась огромной популярностью. Как только известие о ее кончине распространилось в городе, народ ворвался во дворец и предал неудачливого правителя беспощадному суду Линча.

Трон снова оказался вакантным. Однако, как ни странно, Сулла и на этот раз не вспомнил о завещании, передававшем Риму право владения Египтом. Хотя — что подтвердил, в частности, и этот принудительный брак — римский диктатор в совершенстве владел искусством подготавливать (оставаясь вдалеке от места событий) заговоры, перевороты и серийные убийства, он не попытался отомстить египтянам за их последнее

преступление, а продолжал вести себя так, словно его потенциальная жертва, Египет, с течением времени становилась все более нечистой и все менее привлекательной.

На этот раз династия была, как никогда прежде, близка к своему концу. Замешательство охватило жителей Александрии, когда придворные вельможи осознали тот факт, что выбирать претендента на престол они могут только из двух незаконных сыновей Стручечника. Впрочем, старшего из них, по причине его страстной любви к театру, было нетрудно сделать царем. Им ничто не мешало остановить свой выбор на том, кто им больше нравился, они предпочли старшего и отправили своих посланцев в Сирию. Послам предстояла нелегкая миссия: Митридат вполне мог, помня о давней обиде, нанесенной ему египтянами, не отпустить своего заложника. Однако старый лев, радуясь возможности сыграть злую шутку со своими врагами римлянами, предпочел тотчас же освободить юношу, и таким образом Птолемей Левый (как прозвали его, как только он прибыл в Египет, неизменно насмешливые горожане) неожиданно для самого себя стал фараоном и владыкой Александрии...

*

...Александрии, которую сразу же полюбил, потому что она знала толк в любви; Александрии, которую завоевал, как завоевывают симпатии публики. Новый царь был красив, ему еще не исполнилось и двадцати лет; он, казалось, с уважением относился к законам власти и поступил мудро, женившись на своей сестре, которая очень скоро забеременела. Александрийцы вздохнули с облегчением и забыли обо всех неприятностях — римской угрозе, опустошенной казне, ошеломляющих налогах; они были готовы простить ему все — вплоть до того нелепого энтузиазма, который побудил его во время коронации выбрать для себя самый длинный за всю историю династии титул, почти такой же многословный, как титулатуры фараонов: «Воинственный бог, Правитель, почитающий своего отца и почитающий свою сестру, Новый Дионис».

На эту неуместную инфляцию титулов горожане ответили лишь тем, что придумали для него еще одну ироничную кличку: «Бастард». Он не почувствовал себя оскорбленным: он был бастардом и не скрывал этого, а кроме того, его восшествие на престол явилось благословением для Египта — кто, кроме него, Птолемя, смог бы оживить ритуалы, пришедшие из глубины времен, стать «царем Верхнего и Нижнего Египта, Наследником

Бога-Спасителя, Избранником Птаха, Усеркара, Живой статуей Амона, *сыном Солнца*, Возлюбленным Исидой»^[24] и носить все другие подобные имена, о которых помнили только жрецы, составившие их полный список, позже навечно запечатленный в камне?

И ведь он получил абсолютную власть над землями Хора и Сета^[25], не прибегнув к преступлениям и интригам, он совершенно законным образом стал единственным владыкой этой страны. Он благочестиво принес древнюю присягу: поклялся именами всех Птолемеев и всех богов, включая богов Египта, защищать свое государство. Греки вручили ему, словно одному из гомеровских героев, знаки царского достоинства и божественного расположения, не менявшиеся с тех пор, как его предки покинули Македонию: перстень с печатью, скипетр, тогу и узкую налобную ленту из белой ткани — уже одна эта матерчатая диадема, лишенная каких бы то ни было украшений, делала его царем; а после из рук египетских жрецов он принял царскую плеть, еще один скипетр и, наконец, «Двух могущественных», то есть двойную корону фараонов, соединение красной и белой корон, украшенных изображениями кобры и грифа — символами двух богинь, покровительствующих Северу и Югу страны. С того момента, как эта корона увенчала его главу, он стал единственным источником закона и никто уже не мог обратиться к нему иначе, как простершись перед ним ниц и прошептав: «Бог, Повелитель, Владыка...», — ведь он стал наследником сотен фараонов, которые властвовали на протяжении трех тысяч лет.

Может быть, именно обостренное восприятие сценических эффектов, воздействие окружавших его грандиозных декораций заставили Птолемея ощутить груз доставшегося ему наследия? Как бы то ни было, но, в отличие от своих непосредственных предшественников, он, хотя и продолжал называть себя сыном Диониса и потомком Геракла, задался целью восстановить не только территорию фараоновского Египта, но и его трехтысячелетние традиции, церемонии, мистерии, тайны. Несмотря на катастрофическое состояние финансов, он принялся строить новые храмы и реставрировать те, что давно превратились в руины. Он пошел даже дальше: стал мечтать о том, чтобы сравниться с самыми великими фараонами — Тутмосидами, Рамсесом II, — то есть, как и они, раздвинуть границы Египта, включить в пределы своего государства земли по ту сторону Красного моря, Палестину, Сирию и другие территории вплоть до рубежей Персии.

Но как осуществить эту мечту, если сокровищница пуста, армия разболтана, крестьяне доведены до отчаяния и многие из них предпочитают участь разбойников, подстерегающих путников на пустынных дорогах, тяжкому труду на своих полях? Никто не слушает царя; да он и сам никого больше не слушает, ничего не хочет знать — даже о старом предсказании, о котором опять вспомнили жители оазисов и в котором идет речь о скором падении нечестивой Александрии, о возрождении Мемфиса и о бегстве греков из страны.

Уже в течение многих веков люди пересказывают это пророчество на фелуках, рынках и караванных путях. Время от времени подобные разговоры иссякают, и кажется, будто о нем забыли; однако всякий раз, когда беды страны становятся непереносимыми, желудки — пустыми, надежды — обманутыми, а уровни нильских разливов — слишком низкими, пророчество вновь обретает силу и начинает кружить по египетским дорогам.

Подобно чумной заразе, слухи просачиваются сквозь городские стены. Однако царь ничего не слышит, он слишком поглощен своей мечтой, театральным действием, которое ставит сам для себя, этими странными извилистыми переходами от иллюзии власти к власти иллюзии и обратно. Равнодушный к своей публике, он продолжает играть пьесу, упрямо изображает ее персонажа, царя, на фоне роскошных декораций. А под ногами у него все время путается его третья дочка, проказница, которая не хочет пропустить ни одного произносимого им слова, — малышка Клеопатра, умудрившаяся даже на свет появиться почти бесшумно.

Говорят, она единственная, кто его слушает и понимает, во всяком случае — единственная, кто им восхищается. Она ни на шаг не отстает от своего отца, даже когда он покидает дворцовые покои, чтобы прогуляться по городу, импульсивные жители которого, не желая отказываться от своих эгоистических радостей, уже начинают возмущаться новым владыкой; ибо страх их все возрастает по мере того, как богатства Египта безвозвратно утекают в Рим, и они не прочь выместить свое недовольство на царе.

Выместить совершенно открыто. Зубоскальства, насмешки... Этот жестокий язвительный город готов разодрать Птолемея на куски своими издевками. И она, Клеопатра, маленькая девочка, которой еще не исполнилось десяти, но которая уже не просто живет, а упорно старается все понять, тысячекратно испытывает ощущение смерти всякий раз, как

выходит с отцом за пределы дворцовой ограды. Из-за того, что царь часто играет на флейте под портиками дворца, вслед ему шепчут, что рассудок его такой же хилый, как и его мелодии. Из-за того, что он не похож на бурдюки, раздувшиеся от самодовольства и попоек, которые до него сменяли друг друга на троне Лагидов, его обзывают хрупкой марионеткой, которую можно опрокинуть одним щелчком. Из-за того, что жители Александрии больше не верят в семейные мизансцены, из-за того, что они поняли — правда, чересчур поздно, — что царский дворец есть просто обанкротившийся театр, который продолжает существовать лишь благодаря подозрительному благодушию своих кредиторов, они считают своего царя жалким актеришкой и даже хуже того: бездарным музыкантом из оркестра. В последнее время, когда по улицам проносят его носилки, прохожие свистят и выкрикивают его новое прозвище: «Флейтист» («Авлет»), — полагая, что этим сказано все.

ФЛЕЙТИСТ

(63 г. до н. э.)

Да, он играет на флейте, ну и что? Да, он водит дружбу с мальчиками из театра, заставляет их переодеваться женщинами и танцевать перед ним под звуки его хлипких мелодий, задирает юбки и показывает ему свои ягодицы. Ну и что? Так поступают все — здесь, в этом городе, в первый день праздника, когда все население выплескивается за городские стены и устремляется к Канопу^[26], на берег Нила, чтобы там предаваться оргиям.

Остается только терпеть это прозвище. Делать вид, что смеешься над ним. Не обращать внимания, стискивать зубы. Из гордости.

Или повторять себе, что на перекрестках Александрии звучали и худшие имена. Здешние жители виртуозно владеют всеми видами осмеяния — от легкого подтрунивания до откровенной грубости. Чего стоит хотя бы непристойная кличка «Шкваржа», которой наградили Клеопатру III: по сравнению с ней прозвища «Пузырь» и «Сын потаскухи» кажутся вполне невинными.

На этом фоне словечко «Флейтист» может сойти за беззлобную шутку; в конце концов, само название династии происходит от прозвища ее основателя — Лага, то есть «Зайца».

Случалось и так, что александрийцы, обожавшие насмешничать, придумывали по несколько прозвищ для одного царя: например, после возвращения Стручечника они, чтобы выразить ему свое презрение, с издевкой переименовали его в «Желанного». Это было их ответом на абсолютную власть, на выпренные цветистые титулы, которые изобретали для себя Птолемеи и которые по сути представляли собой программы царствования. Но если цари провозглашают себя «Благоделителями» (Эвергетами), а все их щедроты выражаются в том, что они устраивают для народа празднества на средства, которые у него же украли, или если они именуют себя «Спасителями» (Сотерами) и при этом беспощадно уничтожают каждого, кто отваживается критиковать их правление, они явно сами напрашиваются на сарказм. «Божество, делающее себя зримым» (Эпифан) — это еще куда ни шло, ибо Египтом невозможно управлять, не изображая из себя бога. Однако называть себя «Любящий мать» (Филоматор), когда только и мечтаешь о том, как бы ее укокошить, или «Любящий сестру» (Филадельф), когда любишь ее до такой степени, что

сделал беременной, или «Любящий отца» (Филопатор), когда сам недавно его уничтожил, — это уже откровенный вызов общественному мнению. И что же можно противопоставить такому вызову, если не ответный вызов — смех? Смех этот обычно бывал злым, часто непристойным, больше похожим на гримасу, чем на улыбку, но, во всяком случае, не более порочным, нежели провоцировавшая его власть.

Однако в чем они могут упрекнуть ее отца? Двадцать лет правления — и двадцать лет мира. Римляне, которые сейчас воюют в болотах Иудеи, не будут у них ничего домогаться, пока не захватят ту страну. Тогда почему эти тонкие и пронзительные звуки, подражающие голосу флейты, стоит ему выйти в город, преследуют его по пятам? Догадался ли народ, что он, царь, раздавлен бременем своей мечты? Или же дело просто в том, что его губы уже не такие свежие, какими были в юности, что его лицо — это видно даже по изображениям на монетах — застыло в гримасе отвращения, стало похожим на маску разочарования? Его резкий профиль еще более заострился, хотя глаза по-прежнему сверкают; правда, сверкают они оттого, что, как всем известно, царь любит проводить свои ночи в погоне за удовольствиями самого разного рода. Такой образ жизни — еще один способ рыть для себя пропасть разочарования.

Тогда почему он так упорно не отказывается от своей химерической мечты возродить Египет эпохи золотого века? Что это — привычка, невозможность отречься от себя? И если он продолжает упорствовать — это проявление слабости или, наоборот, силы воли? Никто не смог бы ответить на эти вопросы; зато с Римом все понятно: в борьбе с ним царь не собирается опускать руки. Всегда все та же странная смесь: он хитрит и мечтает одновременно, и еще рассчитывает ходы противника, лавирует, маневрирует. И (неизменно — извилистыми путями) стремится все к той же цели, которую поставил перед собой в день коронации: хочет спасти Египет.

Однако никто уже не верит в возможность спасения, все говорят, что это мираж, и в спину ему выкрикивают оскорбительную кличку: «Флейтист!» Одно это слово — *Αθλητής*, — три скользящих слога, и в воздухе будто звучит мелодия пустоты, мелодия, которая разоблачает неосуществимость его мечты. Эти звуки сами по себе — без всяких рассуждений и доказательств — резюмируют претензии горожан: вот уже двадцать лет, как царь разыгрывает в пределах дворцового квартала пантомиму, в которой изображает Диониса; народ же все это время слышит один и тот же ритурнель — набивший оскомину, однообразный, похожий на те музыкальные отрывки, которые в театрах исполняют перед концом

трагедий (когда флейтист выходит на авансцену и модулирует прелюдию к катастрофе — вот этот самый каскад пронзительных звуков).

*

И все-таки они, жители Александрии, хорошо знали, что только Дионис может спасти их от самого худшего — Дионис, бог Александра и их собственный любимый бог, который освящает их оргии и их самые прекрасные праздники, Дионис Плодородный, Исступленный Странник, единственный, кто способен освободить их от страхов, потому что он сам никогда ничего не боялся, этот Великий Безумец, не боялся даже Индии и ее странных чудовищ и принес оттуда благодатную виноградную лозу. Дионис — единственный, кто может (и горожане первыми кричат об этом в ночи праздника) посредством своего безумия вернуть человека к изначальному порядку; Дионис есть бог жизни, ибо он живет везде, где что-то течет — вода, вино, сперма, жизненные соки; Дионис — Великий Волосатик, Добрый Дурак, если воспользоваться тем вольным и грубым языком, каким говорят на улицах Александрии; он задолго до Александра обошел весь земной шар: вот почему молодой и прекрасный завоеватель, когда, возвращаясь из Индии, следовал, как он думал, по стопам бога, провозгласил себя «Новым Дионисом».

Сколько владык на протяжении всей истории династии присваивали себе тот же титул, не обладая ни безумием, ни гордостью Александра, — просто чтобы подчеркнуть, что они тоже собираются исследовать округлость мира и что для этого потребно не только безумие, но и рациональный разум? Жители Александрии, даже если потеряли им счет, хорошо знали: Флейтист был не первым из царей, пожелавшим заверить своих подданных в том, что чувствует, как в нем оживает Непреодолимый, Веселый. Да они и сами при первой возможности с готовностью славили этого бога во всех его ипостасях — Диониса Поэта, Охотника до поцелуев, Пропойцу, Громогласного, Галлюцинирующего, Лесного человека, Козопаса, Царя масок, Властителя гор, Господина ночи, Владыку смуты; и тогда они танцевали, как их царь, играли, как он, на флейте, пели и, не останавливаясь, пили, пока не достигали магического прорыва в состояние опьянения. И они тоже называли Диониса богом: потому что он возвращает небытие к небытию, а жизнь — к жизни; потому что соединяет то, что уже ни с чем не связано; потому что он — господин чаш и пирушек, любви и дружбы, музыки и танцев; веселый постановщик человеческой комедии,

бог Мира наизнанку, милостивый ко всем, кто с помощью алкоголя пытается врачевать раны, которые нанесла жизнь; потому что он опрокидывает все вещи, чтобы потом лучше их уравновесить; потому что он — бог в себе и божественная самость; тот, кто завладевает человеком, чтобы его освободить; потому что он примиряет противоположности — день и ночь, смерть и жизнь, мгновение и Вечность, могущество земли и силу света.

Он — единственная власть, которая освобождает, похищает души вместе с телами и оставляет их восхищенными, во всех смыслах этого слова; он — золотой век, воплотившийся в бога; он, столько раз побеждавший небытие во время своего земного странствия, — единственный, кто способен спасти людей в нынешнюю эпоху, которая приближается к своему концу. Дионис — это прелестный промежуток, переплетение во всех его формах: локон и усик растения, вьющийся плющ; это совокупление мужчин с женщинами, мужчин с мужчинами, животных с людьми (совокупление, которое окутано запахами быков и козлов, но именно оттого после него еще больше наслаждаешься изысканными ароматами благовоний).

Дионис, наконец, — открыватель рая, области куда более обширной, нежели потусторонний мир, столь расплывчато изображаемый на кладбищенских стелах^[27]: ведь его нескончаемый хоровод увлекает душу к иной жизни, к экстазу, которого с лихорадочным нетерпением ожидают люди во всех уголках обитаемого мира...

К этому богу, по крайней мере, можно прикоснуться; его мистерии доступны, и он сам присутствует на них, почти зримый, открытый для всех — даже для беднейших из бедных, для женщин, для отверженных, для изгнанников, для отчаявшихся, для угнетенных, может быть, и для египтян, которые тоже начинают его любить, ибо он напоминает им Осириса...

Со времени основания города как много было в нем тех, кто носил на своем предплечье вытатуированный символ Бога-Освободителя: маленький лист плюща, выражающий их надежду и веру, их убеждение в том, что в нынешние, близкие к своему завершению времена может быть только один Спаситель — Великий Безумец, который, в точности как их царь, руководит маскарадом, наигрывая тонкую мелодию на своей флейте. С некоторых пор такие люди появились и в Риме. Разве это не естественно? Изношенность Вселенной так велика... А Дионис — единственный, кто сумеет сохранить не только округлость мира, но и цикличность времени.

И все-таки горожане ничего не хотели понимать, они предпочитали глумиться над своим царем, передразнивать за его спиной звуки флейты и находить прибежище в смехе, разрушающем все, даже их самих.

Самоубийственное поведение; чтобы вернуть александрийцам разум, следовало, может быть, подарить им праздник наподобие тех, которые устраивались два века назад, во времена Птолемея Любящего сестру: повторить одну из тогдашних незабываемых процессий в честь Доброго Дурака — с тамбуринами, цимбалами, грохотом и дикими выкриками, взлетающими голубями, куклами-автоматами и льющимися рекой сладкими винами; и потом, почему бы не выставить напоказ, как тогда, меха и золотые сосуды и не провести по улицам целый зверинец, состоящий из верблюдов, козлов, страусов, слонов, медведей, павлинов, носорогов, жирафов?.. А замыкал это шествие гигантский фаллос, «елда», как они его называли, Хвост Бога во всем своем великолепии, такой красивый, большой и толстый, каких никогда с тех пор не видали: семидесяти метров в длину, весь из золота (на его изготовление пошли золотые слитки, захваченные во времена Александра, все сокровища Суз и Персеполя), он был украшен звездой и размалеван сверху донизу во все цвета радуги, чтобы от внимания зрителей не укрылась ни одна деталь; к священному Орудю прикрепили пучки длинных позолоченных лент, которые имитировали волоски... Спустя два столетия это чудо все еще продолжают обсуждать во всех гаванях Востока. Но сейчас где взять денег на подобное зрелище, не говоря уже о драгоценных сосудах и редкостных животных, которые все давно отправлены римлянам в качестве платы за то, чтобы те не вспоминали о Египте?

Так что же, не имея возможности устроить для горожан праздник, объяснять им его смысл? Что-то доказывать? Оправдываться и переходить в наступление? Говорить: «Вы прекрасно знаете, почему так получилось...»?

Это было бы то же самое, что метать бисер перед свиньями. И потом, если ты родилась царевной, тебе не к лицу что-либо объяснять. Лучше распрямить плечи и идти своей дорогой.

И она, Клеопатра, поступала так же, как ее отец Флейтист: с гордо

поднятой головой смотрела в лицо Александрии, городу, любимому царем, но не отвечавшему ему взаимностью. Девочка шла ровным шагом, стиснув зубы и не произнося ни слова, — она сохранит эту привычку на всю жизнь.

А за их спинами, как в театре, непрерывно звучал странный голос флейты: хрупкая мелодия сарабанды, серпантинная лента паваны, прелюдия смерти.

ЗМЕИНЫЙ ВЫВОДОК

(62 г. до н. э.)

Он был ее отцом, и она его любила — редкое исключение в роду, прославившемся отцеубийствами. Она любила его и страдала, когда ему наносили обиды. Чем больше выросла, тем больше страдала. А он — он с каждым годом все сильнее любил ее.

Когда ей исполнилось десять, ему было около сорока; несомненно, именно поэтому она никогда не боялась любовных отношений с мужчинами, чей возраст намного превышал ее собственный, скорее даже искала подобных связей: ведь первый взрослый мужчина в ее жизни проявлял к ней такую нежность. Даже когда отец разделил свое ложе с новой женщиной, даже когда эта наложница родила ему дочь, а потом двух долгожданных сыновей, его любимицей осталась Клеопатра, девочка, ничем не выделявшаяся в династическом списке Клеопатр: ее не называли ни Благодетельницей, ни Божественной, ни Луной, ни тем более Великолепной. А между тем она очень рано стала его избранницей, его самым любимым ребенком. Потому что чувствовала, что такое страх и печаль, прежде чем узнала выражающие эти понятия слова. Это было молчаливое целомудренное сообщничество, сдержанность двух существ, которые признали друг друга, но не идут дальше этого признания.

Следует отдать должное Флейтисту: до нас не дошло ни одного свидетельства, ни одного слуха, позволяющего предположить, что он хоть раз допустил какую-то непристойность в отношении своей третьей дочери — или других дочерей. А ведь александрийцы с готовностью обливали его грязью, тем более что Флейтист не отказывал себе в удовольствиях и с равным пылом преследовал девушек и мальчиков. Инцест как таковой его не страшил: женившись на своей сестре, в соответствии с обычаями династии, он лихо сделал ей троих детей. Однако оставшись вдовцом и имея под рукой уже довольно взрослую старшую дочь, которая могла бы родить ему сыновей и тем обеспечить продолжение рода, он предпочел положиться в этом смысле на любовницу. Такое поведение в семье Лагидов было новшеством.

Зато вполне традиционной можно считать ненависть, которую возбуждали у сестер Клеопатры ее дружеские отношения с отцом. Эта ненависть не проявилась сразу, она ждала своего часа, долго созревала в

удушливой атмосфере дворца.

Взрослея, девочка получала первые уроки хитрости, училась пользоваться оружием, которое впоследствии станет для нее столь ценным, — скрытностью.

Но только возможно ли замаскировать любовь, когда она взаимна, обуздать то, что не поддается обузданию, утаить существование секретного кода, который с самого начала придумывают для себя любящие и который навсегда остается недоступным для других? Как и взаимная привязанность отца и дочери, ненависть, которой отвечали на нее сестры Клеопатры, созревала в тишине; до поры, когда представился случай проявить ее, эта ненависть подпитывалась лишенной воображения злобой и в ней медленно, постепенно конденсировался ад. Но с чего, в конце концов, все началось? Береника, Клеопатра Великолепная и маленькая Арсиноя невзлюбили свою сестру, потому что она была любимицей отца, или, наоборот, она стала его любимицей, потому что не походила ни на Великолепную, ни на Беренику, ни на Арсиною? Предпочел ли ее Флейтист всем остальным, потому что она была самой способной из них, или же она стала самой способной, потому что ее больше любили? А может, родившись третьим ребенком в семье, причем третьей девочкой, и чувствуя, что отец обманулся в своих надеждах, она захотела любой ценой доказать, что ни в чем не уступает мальчику, которого он ждал? Захотела стать сильной, умелой, лучшей во всем? А ведь известно: чтобы завоевать привязанность отца, есть только один способ — постараться походить на него.

Она с самого начала и выбрала этот путь: ее великие мечты сперва были мечтами Флейтиста, но она никогда от них не отрекалась и, именно подражая в этом отцу, стала Неподражаемой. Можно подумать, еще будучи маленьким ребенком, она поняла свое имя буквально: решила, что, как только получит хоть какую-то власть, станет славой своего отца — она одна; а все остальные, несмотря на свои жалкие потуги, никогда ничего к этой славе не прибавят, даже младшие братья, которые имеют преимущества перед ней на пути к трону.

Она не пыталась их оттеснить, сама хронология складывалась в ее пользу: ей было девять, когда родился первый мальчик, и одиннадцать, когда появился на свет второй; к тому времени она стала живым, схватывающим все на лету подростком и уже успела завоевать сердце Флейтиста. Эти младенцы не представляли для нее угрозы, попытки причинить ей вред могли исходить только от женщин.

Великолепная, старшая из сестер, родилась лет на восемь — десять раньше, чем Клеопатра. Несмотря на свой высокий ранг и на претенциозное имя, она почти не оставила следа в истории — разве что однажды, в смутный период, когда Клеопатре было около двенадцати лет. Тогда, кажется, Великолепная хотела свергнуть с трона Флейтиста. Однако у нас нет никаких данных о том, что она пыталась предпринять что-то против своих сестер; она, несомненно, относилась к числу тех «метеоров», встречавшихся на всем протяжении династии, которые быстро сгорали, снедаемые свойственной им от рождения дикой злобой.

Вторая сестра, Береника, которая была младше ее на пять-шесть лет, лучше умела скрывать свою игру; очень долго Флейтист ничего не подозревал, не видел, что она — типичная царевна из дома Лагидов, жестокая и хитрая, но сдерживающая свои убийственные инстинкты до той поры, пока не будет уверена в надежности тылов.

Что касается маленькой Арсиной, младшей сестры Клеопатры (разница в возрасте между ними составляла три-четыре года), то ее положение в семье было самым неудобным и, главное, самым изолированным: дочь наложницы, она приходилась лишь сводной сестрой трем другим девочкам, которые кичились перед ней тем, что родились в законном браке; она не могла найти себе союзников и в лице своих младших братьев, так как первый из них появился на свет лишь через пять лет после нее. Здесь опять сыграла свою роль хронология: два мальчика образовали как бы отдельный «выводок», и Арсиноя, которая не принадлежала ни к одной из двух групп, должна была сама, как могла, защищать себя в этом гадючьем гнезде. Очевидно, она старалась не афишировать свои амбиции до тех пор, пока смерть двух старших сестер не распутала в значительной мере клубок взаимных антипатий.

Однако в момент, о котором идет речь, ситуация была очень сложной: каждая из сестер прекрасно знала, что однажды может оказаться замужем за одним из мальчиков, но, с другой стороны, никаких гарантий того, что это произойдет, у нее не было. Все решала судьба: какой-нибудь заговор, естественная смерть, вмешательство римлян; а пока остается лишь овладевать наукой злобы, учиться угадывать яд за любезными улыбками, поддерживать, даже лелеять свою ненависть, никогда не позволять, чтобы противник сделал против тебя неожиданный выпад, а видеть всю цепь обстоятельств, чаще всего неприметных, которые породили этот удар —

молниеносный и сильный, великолепно сочетающий в себе коварство и жестокость.

Нужно защищаться, отбиваться, но как? С помощью знаний, отвечал ей отец. Ведь она такая смышленная, любознательная, а в их семье девочкам никогда не закрывали доступ к книгам.

Она должна научиться читать, писать, считать, измерять; узнать секреты звезд и минералов, очертания суши и морей, историю людей, их языки, искусство пения и философию. Она должна учиться, чтобы более умело хитрить, увертываться, добиваться своего, властвовать; чтобы лучше наносить удары. И чтобы лучше все понимать, и чтобы уметь расширять свои знания.

Школа располагалась здесь же, в двух шагах от удушливых дворцовых покоев, на самой границе между городом и дворцом. Обитель тишины и покоя, похожая на святилище; единственное место в Александрии, где можно дышать чистым, не пропитанным ядовитыми испарениями воздухом. Храм слов, чисел, всех мудрых мыслей и всех безумств, накопившихся с тех пор, как человек впервые научился думать, говорить, писать. Память, запечатленная в знаках; вся совокупность знаний, собранная в книгах (они расставлены по кругу, что напоминает о форме мира); ключи к шифру жизни.

НЕПОДРАЖАЕМЫЙ ГОРОД

(62–59 гг. до н. э.)

Итак, она погрузилась в океан знаков, такой же округлый, как сам мир. Прежде чем она сможет претендовать на то, что закончила свое образование, ей предстоит пересмотреть тысячи свитков.

Цари, ее предки, требовали, чтобы даже мельчайшая частица универсального знания была представлена здесь; они приобретали книги с такой же жадностью, с какой проливали кровь и охотились за удовольствиями. Ни один властитель, каким бы похотливым и кровожадным он ни был, не отказался от мечты Александра: построить город, который и в духовном, и в материальном плане заключал бы в себе всю грандиозность Вселенной.

Именно эта страсть к книгам — в большей степени, чем что-либо иное, — сделала город неподражаемым. Александрия была буквально набита рукописями: их насчитывалось как минимум полмиллиона, то есть столько же, сколько жителей. В здании, возведенном на границе дворцового участка и города, где свитки хранились в строгом порядке, в соответствии с особой классификацией, для них уже не хватало места. Пришлось построить дополнительное помещение — чуть подальше, на старом акрополе, рядом с храмом воинственного бога Сараписа (бородача, увенчанного короной, наполовину Зевса, наполовину Осириса), который был личным изобретением первого царя династии^[28].

Но здесь, на акрополе, хранится лишь то, что на Востоке считают хламом, рухлядью, — в основном копии или дубликаты. Подлинной Библиотекой, в полном смысле этого слова, по-прежнему осталось «материнское» здание — первое, то, которое расположено внизу, ближе к порту, к гавани.

Перед его колоннадами, воздвигнутыми на большом искусственном холме, строители пожелали воссоздать страну, откуда прибыли книги, — так возникла рукотворная Греция, замкнутая пределами небольшой долины. Склоны холма повторяли в миниатюре отроги Олимпа; кусты и подобие луга служили оживляющим фоном для скульптурных изображений бегущих нимф, пастухов-поэтов и коз, застывших на грудях камней между оливковыми деревцами и настоящими источниками.

Этот маленький парк был посвящен девяти грациозным, но суровым

дочерям Мнемозины, богини памяти, — музам, без поддержки которых нечего и пытаться изменить мир. Оказавшись перед лицом этих девяти фей, александрийцы переставали смеяться: прежде чем войти в Библиотеку, полагалось принести клятву музам. Ведь здесь письменные тексты существовали не в виде каких-то бесформенных обрывков с пометками царских администраторов, а в форме *βιβλος*, «книги», называвшейся тем же словом, что и «папирус», волокнистое растение, которое, после того, как его высушат, спрессуют, отполируют костью или раковинной, становится таким превосходным материалом для нанесения на его поверхность и последующего сохранения выписываемых чернилами знаков.

В самом этом слове чудится нечто сакральное; между прочим, *βιβλος* (с прописной буквы) обозначает и Книгу книг, Священное Писание иудеев, перевод которого на греческий язык был осуществлен, как говорят, в подземельях Фаросского маяка; точной даты этого события никто уже не помнит, но, несомненно, оно произошло около века назад. Для того чтобы переложить священную книгу на универсальный язык, потребовались усилия семидесяти ученых, которых собрали по приказу Птолемея. Сам царь подсмеивался над Яхве. Но для Лагидов любое знание, любой способ понимания мира являются священными. Несколько позже, когда индийский император направил в Александрию своих посланцев, чтобы они рассказали владыке Египта о Будде, царь их принял и выслушал со вниманием, хотя речь в тот раз шла вовсе не о деньгах, а о просветлении духа.

Вот почему Библиотека напоминает храм. С того момента, как человек переступает через ее порог, входит под колоннады, названные Мусейоном в честь девяти муз, начинает прохаживаться под портиками помещений, где живут и работают астрономы, математики, врачи, географы, писатели (они все получают пищу, кров, пенсии и освобождение от налогов по милости царя), он ощущает как бы сотрясение воздуха. Некая сила замедляет его шаги и в то же время делает их более легкими, по телу пробегает необычная дрожь, подобная той, какую порой можно почувствовать на акрополе, утром, когда стоишь перед статуей бога-воителя и видишь, как первый солнечный луч коснулся золотых губ.

Можно ли в этой странной вибрации воздуха усмотреть, как полагают некоторые, указание на то, что знание само по себе целительно? Наверное — если вспомнить о том, что многие обитатели Дома книг являются жрецами Сараписа и что, как говорят, на лужайках этого парка, где по повелению царей разводятся разных животных, змеи, тоже охваченные священной дрожью, теряют свой яд.

И все же никто не заблуждается в главном: вовсе не музам обязана Александрия удивительным кипением интеллектуальной жизни, которое продолжается вот уже три столетия, соперничая со славой порта. Оно тоже — дар моря.

Большую часть рукописей привезли сюда на кораблях. Не обошлось, конечно, без кораблекрушений; бессчетное число свитков ушло на дно, затерялось среди обломков кораблей, черепков амфор, сломанных раковин, трухи, осыпавшейся со старых якорей, — столько историй, которые не будут иметь истории, забытых, хотя цари Александрии так отчаянно, так лихорадочно боролись с забвением.

Плотину против небытия — вот что хотели они воздвигнуть из этих груд книг. Маяк более мощный, чем тот монументальный факел, что освещает ночной залив со стадцатиметровой высоты. Светоч мысли, непрерывно питающий сам себя. И им это удалось, они одержали блистательную победу: прошло три века, а ученые, поэты, мыслители, сменяя друг друга, все еще сидят над александрийскими манускриптами.

Они — да, но царевна! Она так молода, и уже эта увлеченность... Ее будто что-то подстегивает. Что же — само время или римская угроза, которая все явственнее маячит на рубежах страны? Или, может быть, энтузиазм первых царей Александрии, неожиданно возродившийся в этой маленькой женщине? Стоит посмотреть, как она учится, как она впитывает все, подобно губке, и ничего не забывает. А эта манера, которую она так быстро приобрела, этот легкий и терпеливый жест библиофила — правой рукой, будто играя, вращать валик, на который накручен папирусный рулон, а левой разворачивать свиток, одновременно расшифровывая нескончаемые колонки знаков (их приходится расшифровывать, потому что очень часто между словами нет ни пробелов, ни знаков препинания)!

Но ее ничто не пугает, эту девчонку. Сейчас она хочет изучать языки — все языки, даже самые непонятные: языки пустыни, персидский, еврейский, арабский, набатейский и абиссинский, парфянский. И египетский — это ее последний конек.

За всю историю семьи, насчитывающую уже восемь поколений, она — первая царевна, которую никогда не видят во дворце. Чем она только интересуется? — ворчат сбитые с толку придворные. Все египтяне — бандиты; каждый раз, когда мы слышим об уличном ограблении, виновным оказывается какой-нибудь феллах. И после этого опускаться до изучения их языка, под предлогом, что язык каждого народа выдает его желания, его наиболее тщательно оберегаемые секреты... Наверняка это просто очередная причуда Флейтиста — только он мог вбить в голову своей дочке

подобную мысль. И потом, кто-то ведь слышал, как царь, посмотрев на нее своим хитрым и вместе с тем разочарованным взглядом, проронил слова: «Продолжай, ты молода; а я, если бы я раньше знал...»

Ну и времена! Золотые рудники Нубии иссякли, и никогда прежде столько прохвостов не шлялось по дорогам. Гонимые нуждой, они расхищают последние запасы зерна из храмовых амбаров. Крестьянам же, которые работают на земле, не остается ничего иного, как только утешаться неизменными формулами: все образуется; еще несколько месяцев, и их бедам придет конец, вернется благоденствие; им облегчат повинности и понизят налоги.

Но как можно полагаться на жрецов и сборщиков налогов, если они сами уже не верят тому, что говорят? Да и монеты, которые они копят в своих сундуках, отлиты не из серебра, как в те дни, когда Флейтист вернулся в Египет, а на две трети из бронзы. Нет смысла обманывать себя: перспектива катастрофы уже не просто возможна, а весьма вероятна; несомненно, начало крушения страны — вопрос нескольких месяцев.

Падет ли Александрия, как Иерусалим, под ударами Помпея? Трехмесячная осада, двенадцать тысяч убитых евреев, груды трупов на плитах Храма... Рим проглотил всю Иудею за один раз.

Флейтист качает головой, убаюкивает себя надеждами. Твердит дочери, что у него, в отличие от евреев, есть золото; по его мнению, чтобы спасти Египет, достаточно польстить самолюбию Помпея, удовлетворить его алчность. Царь решает послать римлянину восемь тысяч всадников, чтобы помочь ему раздавить последних мятежников. И маленький подарок в придачу: огромную корону из золота.

*

Пришел день, и всадники отправились в путь через пустыню на своих великолепных конях, вместе с послом, который вез роскошный подарок. Что будет дальше, мог предсказать каждый: дары преподнесут римлянину, с обязательными в таких случаях изъявлениями преданности; между двумя формулами вежливости посол намекнет, что было бы очень любезно со стороны Помпея признать, наконец, легитимность египетского царя и убедить его друзей в сенате забыть о завещаниях Пузыря и Сына потаскухи; Помпей примет корону, не проронив ни слова, с легкой улыбкой удовлетворения, которая никогда не сходит с его лица — разве только в бою.

Однако все прекрасно знают, что он ничего не сделает, не произнесет ни словечка, чтобы защитить Флейтиста. Помпей сейчас, как никогда, близок к исполнению своей мечты: стать единовластным владыкой Востока и Запада. Чтобы достичь этой цели, ему остается лишь справиться с двумя другими римлянами. Но это будет непросто: первый из них, Марк Лициний Кресе, которого называют Богатеем, столь же богат, сколь жаден, почему и получил такое прозвище; большую часть своего состояния он нажил во времена проскрипций. В приспешниках у него числится некий странный тип, военачальник Гай Юлий Цезарь — щеголь, но при этом сухарь; циник, гораздо более хитрый, чем двое других, прекрасно умеющий прятать свою игру до того момента, пока не сочтет нужным раскрыть свои планы. Цезарь скоро о них заявит, причем совершенно хладнокровно, не боясь высоких слов: он, оказывается, собирается повторить достижения Александра.

*

Неподражаемый город, узнав эту новость, буквально сотряслся от смеха: еще один! Что касается Помпея, то он, по крайней мере, не только разгромил парфян, но и завоевал добрую часть Востока. Но этот Цезарь, чем может он похвастаться? Тем, что в отрочестве был «маргариткой»^[29] царя Вифинии? Что велел распять на крестах банду пиратов? Что развелся со своей женой, потому что она оказалась замешанной в скандале и он боялся, как бы это не испортило его карьеру? Что заявил, как только его назначили великим понтификом, о своем неверии в загробную жизнь? Что любит красивых рабов? Что спит с женами своих друзей и своих врагов? Что соблазнил жену Помпея, а потом жену Красса и тем не менее сохранил хорошие отношения с обоими мужьями? Что, заботясь о своей внешности, чешется, когда чувствует зуд в голове — уже наполовину лысой, — одним пальцем? Что нашел для себя единственного цирюльника в Риме, умеющего брить клиента, не царапая ему кожу? Что ограбил несколько племен на западе Испании и потом повсюду рассказывал, будто видел Океан, задешево зарабатывая себе триумф? Грязная эпикурейская свинья! Он весь опутан долгами, а ведь ему почти сорок. Александр к тому времени, когда дошел до крайней границы мира, уже купался в золоте, и ему не было тридцати...

Юная царевна тоже смеялась бы вместе с жителями Александрии, смеялась бы во весь рот, показывая свои зубки, если бы сухое имя этого наглеца не звучало как имя самой смерти каждый раз, когда его произносил

ее отец. В Риме, говорил Флейтист, у их страны нет худшего врага, чем Цезарь. Ведь именно Цезарь, вместе со вторым стервятником, Крассом, дважды хладнокровно предлагал сенату аннексировать Египет без всяких судебных исков.

Цезарь хочет завладеть Александрией, завладеть Нилом с его сокровищами, он сделает все, чтобы их получить, постоянно повторяет Флейтист дочери. Если мы не будем проявлять бдительность, он добьется своего, его амбиции не имеют пределов, с этой птицей нужно держать ухо востро. Он, эта бестия, феноменально образован, даже с избытком: знает все эллинские науки и искусства, хитрости и приемы; способен не хуже грека притворяться и льстить, лавировать и прибегать к уверткам. Ему удастся одурачивать даже плебеев — а между тем он прирожденный аристократ, хотя и невероятно ловкий. Он карьерист, для него все средства хороши — женщины, мужчины, но прежде всего деньги. Он еще хуже Помпея: потому что когда имеешь дело с Помпеем, то всегда, хотя он и жаден, остается некое поле для маневрирования — благодаря его безграничному тщеславию. Тогда как с Цезарем ничего сделать нельзя. Пытаясь угодить ему, ты просто теряешь время. Он с холодной улыбкой выслушивает лесть, потом протягивает лапу, чтобы получить что-то существенное, и подмазывать эту лапу можно до бесконечности — нужного результата все равно не дождешься.

*

Когда отец в своих неизменных жалобах доходил до этого пункта, Клеопатра взвивалась на дыбы, как необъезженная лошадка, от переполнявшей ее черной энергии, что нередко бывает с девочками ее возраста. В один миг она превращалась в Электру, Ифигению, Кассандру, Антигону — во всех мятежных героинь, которых знала по книгам. Чтобы Египет достался этим сквалыгам — да никогда! И потом, кажется, они такие уроды... Во всяком случае, так говорят евреи, бежавшие сюда из Иерусалима, — каких только гримас они не строят, чтобы изобразить Помпея, его вялый подбородок, его пороссячи глазки. Она сама никогда не видала римлян, но хорошо представляет себе этих грязных свиней. Для них нет места в Египте.

Да только как разделаться с ними? Время торопит, но вместе с тем оно будто остановилось. Вечный город, по-видимому, пока не намерен объявлять войну Неподражаемому городу. А Флейтист, со своей стороны,

не имеет средств, чтобы набрать армию, которая сможет гарантировать безопасность его государства.

Иногда царь, в своем смятении, начинает как бы грезить вслух: а что, если римляне, наконец, передерутся друг с другом? У этого разбойника Цезаря слишком длинные зубы, он не захочет долго делить власть с Крассом и тем более с Помпеем, которого считает просто старым хрычом. При первом же удобном случае — будь то бунт плебеев, восстание рабов или даже небольшой хорошо подготовленный заговор — он наверняка захочет их уничтожить. Тогда Рим войдет в состояние кризиса и маленькую Италию будут сотрясать конвульсии гораздо более страшные, нежели те дворцовые перевороты, которые время от времени нарушают покой александрийцев.

Используй ожидание против ожидания, без конца повторяет Флейтист своей третьей дочке. Хитрость против хитрости. И, главное, знание против знания. Учись — не для того, чтобы убежать от своего времени, а чтобы его обмануть. Чтобы уметь защитить себя, когда придет подходящий момент. А если представится случай — и перейти в наступление.

Клеопатра подчиняется его воле. Ей даже не нужно прилагать для этого никаких усилий, достаточно просто отдаться на волю течения, которое ее несет. Это течение — ее кровь, кровь Лагидов. И ее тайная мечта: стать царицей; произнесенное по-гречески слово *βασίλισσα*, «царица», похоже на струящийся шелк.

И сейчас, как во времена первых Птолемеев, книги — единственная плотина против небытия. Единственный надежный оплот уверенности в распадающемся на части мире. А также единственный инструмент, позволяющий восстановить этот мир. Единственный горизонт, единственная мечта, единственный шанс взлететь. Единственная возможность остаться свободной в городе, которому с каждым днем все больше угрожает опасность лишиться всякой свободы.

*

Клеопатра Великолепная и Береника даже не подозревали, что для их младшей сестры Библиотека стала своего рода военной машиной — во всяком случае, никто во дворце не пытался воспрепятствовать девочке утолять ее ненасытный книжный голод. Может быть, эти две жадные до власти вампирши, наблюдая, как она целыми днями разматывает длинные папирусные свитки, в конце концов решили, что имеют дело с кроткой

овечкой, которая безропотно позволит себя зарезать при первой семейной ссоре.

А между тем в это самое время, очень спокойно, малышка вооружалась для того, чтобы их уничтожить. Пока она неумоимо разворачивала манускрипты, формировался и набирал силу ее живой ум, ее молодая мысль.

Тут требуется большое упорство, даже если есть желание учиться. Слова, стихи, формулы, цифры приходится повторять бесчисленное число раз, здесь царит богиня Память, все надо запоминать наизусть, нельзя ни ошибиться, ни даже засомневаться. Наставник, которого отец выбрал для дочери, назначив его одновременно хранителем Библиотеки, безжалостно отмечает каждую ошибку, тем самым болезненно рана самолюбие ученицы. Он также объясняет ей, что знающий человек не должен выставлять напоказ свои знания; что образованность весома лишь тогда, когда притворяется, будто не стоила никаких усилий, когда напоминает воздушный хоровод внутри совершенного круга знания — хоровод, который начинается и заканчивается в этих стенах.

Сюда попадает все, здесь есть все — достаточно протянуть руку. Все сильное и красивое, что когда-либо написали люди; все простое и хитроумное, что они придумали; все печальное, веселое, сладостное, неистовое, странное, удивительное, тревожное, что явилось плодом их воображения. Одиссей и Медея, Сапфо и Ясон; мудрость, которая превращает удовольствие в систему, и та мудрость, которая пытается прогнать печаль; Платон и Аристотель, стенания трагедий, хрупкие мелодии пасторалей и вольные шутки комедий — вплоть до сальностей самых гнусных порнографических романов, которые тоже хранятся здесь и так же тщательно каталогизированы, как все остальные книги. Под одним из этих фронтонов Евклид обдумывал свою геометрическую теорию; прогуливаясь под этой колоннадой, кто-то начал разрабатывать, опираясь на карты неба, разумную календарную систему, в которой год состоит из трехсот шестидесяти пяти дней и каждый четвертый год является високосным, — и уже больше не случается таких глупостей, что, например, праздник урожая приходится на время сева. Читать, чтобы действовать. Первый ученый, который был назначен хранителем Библиотеки, войдя в нее, сказал, что у книг больше мужества, чем у придворных, потому что они, книги, говорят царям правду. Тем же, у кого нет оружия — или пока нет, — они дают силу, с помощью которой можно изменить жизнь.

Вот почему из всех рукописей девчонка предпочитает те, которые были вдохновлены Клио — музой, чье имя слышится в собственном имени

маленькой царевны. Книги по истории — универсальное оружие, которое позволит ей стать Клеопатрой, единственной среди других Клеопатр, чье имя не затеряется в длинном списке женщин, деливших трон с фараонами. В эти лихорадочные часы, когда детство потихоньку уходит от нее, она ищет нечто гораздо более простое, чем то, о чем может подумать поверхностный наблюдатель: модели для подражания.

*

Дело в том, что Библиотека заменила мать для этой девочки, у которой был только отец. Встречи с образами легенд становились моментами напряженных переживаний, когда Клеопатра как бы снова и снова рождалась, обретая свою подлинную сущность. Героиням мифов — Прекрасной Елене, бежавшей на край мира со своим красавцем Парисом в те времена, когда Фарос был всего лишь безвестным островком, населенным тюленями, даже Ариадне, чья кровь, как любил повторять Флейтист, текла в его жилах (ибо после того, как ее бросил Тесей, на ней женился Дионис), — Клеопатра, несомненно, предпочитала героинь из плоти и крови, которые боролись за реальную власть: за трон, за возможность вести войны, захватывать добычу, управлять народом, вводить новые законы. Кроме судьбы Аспазии, куртизанки, ловко скользнувшей в постель к Периклу, какой еще путь оставался для женщины, мечтавшей изменить мир, если не путь к трону? История Египта знала немало ярких примеров активной деятельности цариц — вспомним хотя бы Хатшепсут, Тийу и Нефертити^[30]. Однако ко времени, о котором мы говорим, память о них, как и их гробницы, затерялась в песках. Клеопатра, должно быть, ничего об этих правительницах не знала — или знала очень мало, — хотя по поручению первых Птолемеев местный жрец, Манефон, изложил на греческом языке многовековую историю фараоновских династий. Как бы то ни было, Клеопатра, хотя и не представляла в точности древнеегипетскую концепцию власти, суть ее чувствовала, ибо это ощущение передалось ей через предков: Птолемеи, как и другие фараоны, были убеждены, что власть есть эманация божественности; божественность же манифестирует себя людям только через человеческую пару, мужчину и женщину, которые являются мужем и женой, или братом и сестрой, или тем и другим одновременно. Править должны двое — двое смогут более эффективно передавать людям, земле, жизни энергию богов.

На всем протяжении династии Лагидов не было недостатка в царицах,

которые превосходно вписывались в эту древнюю традицию и, чтобы удержать свое высокое положение, проявляли чудеса терпения и дерзости. Начиная с неутомимой Арсиной, жены и сестры Птолемея II, которой удалось добиться изгнания первой супруги своего брата и которая после того почти десять лет делила с ним престол^[31]; она пользовалась небывалым почетом, ей воздвигали статуи, посвящали поэмы, ее открыто почитали как покровительницу моряков, наконец, она была обожествлена при жизни — и все это продолжалось до того дня, когда она скончалась от тривиального несварения желудка.

Что, впрочем, не нанесло ущерба ее божественному культу: спустя три века александрийцы все еще почитали ее как земное воплощение Исиды. Она, блистательная, вдохновляла всех последующих правителей; и еще юная Клеопатра поняла из книг, что если цари-Лагиды были изнеженными, то женщины из царской семьи, напротив, всегда отличались твердым характером — и в конце концов породили этот ужасный стальной клинок, Клеопатру-Супругу, самую холодную, самую царственную из всех, в совершенстве владевшую политической игрой, вопреки непристойному прозвищу «Шкваржа», которым наградили ее александрийцы.

Чего стоит хотя бы первый нанесенный ею удар: девочка-подросток, обрюхаченная своим дядей Пузырем и только что разрешившаяся от бремени, узнала, что в один день с ее сыном родился черный теленок с белыми отметинами на лбу, шее и боках, с наростом под языком. По словам жрецов, упомянутые знаки неопровержимо указывали на то, что теленок является реинкарнацией Аписа, священного быка, существующего с начала мира. Эта малышка, ставшая матерью в тринадцать лет, сумела воспользоваться благоприятным случаем, заручилась энергичной поддержкой египетских жрецов и заставила дядю-любовника немедленно признать ребенка своим сыном: разве совпадение во времени двух рождений не было знаком того, что младенец, как и теленок, связан с богом Птахом, творцом всего мира и, в частности, Египта? А значит, у него гораздо больше прав на престол, чем у детей Пузыря, родившихся от ее матери.

Ее детородный орган против детородного органа ее матери: так она одержала свою первую победу. А на следующий год одержала вторую: Пузырь женился на ней, она стала законной царицей. Ей тогда еще не было пятнадцати лет.

Несомненно, эта Клеопатра понимала, что такое власть. И, как и Арсиное, ей хватило ума, чтобы опереться на Египет — тысячелетний Египет жрецов и храмов. Ибо Клеопатра-Супруга, как и ее славная

прародительница, выдавала себя за новую Исиду, но в то же время добилась того, чтобы ее почитали и греки: последние видели в ней Афродиту, Кибелу, Деметру — все известные им воплощения любви, плодородия, женственности. А в конце жизни, когда она уже овдовела и упорно воевала с собственным сыном, ей хватило дерзости, чтобы провозгласить себя единственной госпожой Египта и принять экстравагантный титул: «Хор-женщина, Владычица Обеих земель, Могучий бык»^[32]. Иными словами: женщина и мужчина, царь и царица, бог и богиня в одном лице — как Хатшепсут, которая жила за пятнадцать веков до нее и приказывала изображать себя в мужском облачении.

С тех пор прошло полвека, но память о Клеопатре-Супруге осталась на удивление живой, яркой — и в греческих тавернах, и в покоях царского дворца. Несмотря на свою необузданность и жестокость, эта женщина в сознании потомков являет собой сияющую противоположность мрачной фигуре Пузыря; она — своего рода женская ипостась Александра, и, между прочим, именно она поддерживала культ давно умершего завоевателя.

И хотя Клеопатра-Супруга не завоевывала новых территорий, она сумела в ожесточенной борьбе добиться места рядом с царем, а потом защищала свое высокое положение с упорством истинной воительницы; по общему мнению, если бы эта женщина с железной хваткой не была уничтожена собственными детьми, она закончила бы свои дни единовластной царицей, новой Исидой на египетском троне, — подобно македонскому полководцу, который правил Азией как новый Дионис.

*

Быть женщиной и сравняться с Александром... Эта мечта не такая бессмысленная, как может показаться: книги сохранили еще одну историю, напоминающую исполненную борьбы жизнь Клеопатры-Супруги, — эпопею Семирамиды-Ассириянки, которая, убив своего супруга-царя, основала город Вавилон и устроила в нем висячие сады, завоевала всю Азию от Египта до Инда и правила своим царством более сорока лет, а потом вознеслась на небо, приняв облик голубки. Ее судьба, конечно, обросла вымышленными подробностями, легендами, которые слагались на протяжении восьми веков; однако эта царица, как и Александр, действительно существовала — ее звали Шаммурамат. Подобно свету погасшей звезды, сияющему еще тысячи лет после ее гибели, память о Семирамиде, как и память о Клеопатре-Супруге, живет в Александрии и

питает миф, смутный, но все более обольстительный: надежду на появление царицы-спасительницы, сильной, воинственной, пылкой, многоплодной, но в то же время дарующей утешение; на появление новой Божественной Матери, которая принесет измученным людям долгожданные блага — поднимет из руин мир и, осыпая своих подданных благодеяниями, заставит их забыть все прошлые печали.

*

Каждую ночь огни Маяка отбрасывали подвижные тени на огромную статую Исида, воздвигнутую у кромки моря. В такие минуты, великолепные и тревожные, Клеопатра предавалась своим мечтам. Шум прибоя, это неустанное биение пульса, которое задавало ритм всем ее занятиям, увлекал ее к еще более широким горизонтам, она видела себя облаченной, подобно богине, в платье из белого льна, а вокруг стояли жрецы, одетые в черное.

Ей, как и Исиде, нравятся корабли и дети, и она ничего не боится — ни болезней, ни войны, ни любви, ни смерти, ни солнца, ни островов, ни бурь, ни бездн. Она тоже сумеет найти куски расчлененного тела Египта |И будет терпеливо, преданно собирать это тело, а потом его оживит. И здесь, в столице Памяти, она начнет строить будущее, как строил его Александр; пусть у нее нет его голубых глаз и волос цвета солнца, зато в нее, женщину, перелилась его сила.

Случались и лунные ночи, когда украшавшие дворец колоссы внезапно выступали из мрака, словно заблудившиеся нагие пловцы, и когда можно было подумать — как уверяли иноземные гости, — будто ты ступаешь по дорожкам из света, настолько ярко блестели под ногами мраморные плиты. Да, она выбрала роль, которую хочет сыграть в этих сверкающих белых декорациях, только для этого, как повторяет отец, придется проявить предусмотрительность и упорство.

Она еще не завершила свое плавание по океану книг, но что-то новое начало властно звать ее — возможно, это был город, неисчерпаемая и заразительная энергия Александрии, которая никогда не иссякала, даже ночью: как только рабочие кончали ремонтировать днища судов и ковать якоря, становились слышны крики менял, мелких и крупных торговцев.

И всегда какой-нибудь парусник огибал остров с Маяком, и неумолчно вздыхала и бурлила вода, накатываясь на песок, и, наконец, всегда присутствовал этот запах, который никакие ветры не в силах были

прогнать, — запах рыбьей чешуи, и оливкового масла, и выброшенных на берег осьминогов.

Греческая концепция мира здесь обрела форму города, неподражаемого города; великая книга моря обвенчалась с морем книг; Вселенная будет греческой, в том нет никакого сомнения. Она будет говорить по-гречески, жить, как живут греки.

*

И потом, тут хранилось Тело, в двух шагах от Библиотеки, — талисман города, Александр, спящий, как сказочный принц, в своем стеклянном гробу; набальзамированное тело, вечно нетленное; тело из сновидения и тело, в котором воплотилась мечта, ибо, согласно пророчеству, Вселенная будет принадлежать хранителю этих останков.

Тело было собственностью ее отца: уже одно это давало основания для надежды. Когда-нибудь оно будет принадлежать ей. И она никогда, ни при каких условиях не допустит, чтобы оно досталось шакалам — римлянам.

Среди многих языков, звучавших в тогдашней Вавилонской башне, Александрии, был только один, который Клеопатра не хотела учить: латынь.

ДОХЛАЯ КОШКА

(59 г. до н. э.)

Весь город охвачен гневом, она это поняла, она сама испытывает те же чувства — ненависть к римлянам. Однако ее отец, Флейтист, упорно продолжает с ними торговаться.

Как она может бросить в него камень? Ему, наконец, улыбнулась удача. Произошло чудо: в тот самый момент, когда он решил, что окончательно пропал, Цезарь дал ему знать, что отказывается от планов аннексии Египта. По словам Цезаря, Помпей с ним согласился, и Кресе тоже. Как ни странно, все трое на сей раз пришли к общему мнению. С Крассом все ясно: Цезарь задолжал ему кучу денег, и он хочет покрыть эти издержки. Но Помпей? Неужели он настолько ослеп, что не замечает амбиций Цезаря?

Флейтист знает, что ему не следует слишком доверять полученной информации; он, впрочем, не вполне ей доверяет; как бы то ни было, предложенное соглашение имеет свою цену. Непомерную цену: Цезарь потребовал у него сумму, равную годовому доходу египетского государства.

Начались переговоры, стороны обменялись эмиссарами. Флейтист уже понимает, что ему придется уступить. В Египте большие урожаи. А кроме того, как говорят, Цезарю понадобилась такая сумма, чтобы профинансировать военную кампанию против галлов. Он намеревается распотрошить западных варваров.

Пока он еще не уехал и хочет получить свои денежки. Флейтист тянет время, пытается добиться некоторых поблажек. Однако император не уступает: его легионы дорого ему обойдутся, кампания будет долгой, а Кресе не имеет ни малейшего желания ждать ее успешного окончания, чтобы получить причитающееся ему из добычи. Поэтому переговоры становятся все более и более напряженными; в конце концов в Александрию приезжают римляне — первые живые римляне, которых видит Клеопатра. Все, что останется от них в ее памяти, — это то происшествие, над которым смеялся весь город: как один из посланцев Цезаря захотел осмотреть Александрию и в итоге едва избежал смерти.

Этот человек — несомненно, устав от хитрых уверток Флейтиста, — вдруг повел себя как обычный путешественник: ему захотелось купить в лавке сувениров маленький стеклянный маяк, или зайти в мастерскую автоматов, или встретиться (почему бы и нет?) с изобретателем, который делает инструменты, с одним из тех многочисленных местных чудаков, что беспрестанно придумывают самые несуразные механизмы, — говорят, будто один из них изобрел прибор для измерения нагрева, а другой придумал турбину, вращающуюся под действием водяного пара.

А может, он, этот римлянин, имел более скромные потребности и просто захотел помолиться на акрополе Сарапису Воителю; или посетить таверны Канопа, поесть там жареной рыбки и потом танцевать ночь напролет под звуки флейты с трагистами и проститутками, пить и развратничать до утра. Такие вещи всегда соблазнительны; а кроме того, в этом городе, который моряки прозвали Золотым градом, все по-особому опьяняет. Когда ты сыт и пьян, нет ничего лучше, чем просто гулять, держа нос по ветру, идти туда, куда тебя несут ноги. Тем более что заблудиться здесь невозможно: все улицы пересекаются под прямым углом. Шагай себе туда, откуда доносится шум стройки, и пусть тебя со всех сторон обволакивают запахи, известные и неизвестные, — ароматы мирры и кардамона, амбры и благовоний, которые могут поведают о Пальмире и берегах Красного моря, о Делосе с его невольничьими рынками и об островах Индии.

Но напиваются ли вообще эти римляне? Тот, о котором идет речь, скорее всего, удовлетворился стаканчиком-другим и, как истинный представитель своего народа, стал составлять в уме инвентарный список редких видов мрамора, фонтанов, золотых крыш и прочих диковин, которые попадались ему по пути. Потому и вышло так, что бросившаяся ему под ноги кошка явилась для него полнейшей неожиданностью.

Это был самый банальный кот, тут не может быть никаких сомнений; местный кот, такой же, как множество других, не более и не менее злобный; очень вероятно, что он принадлежал к породе тех ловких и хитрых бестий с короткой шерстью, абиссинскими ушками и тигровым окрасом, которых александрийцы берут с собой, когда хотят поохотиться на уток в тростниковых зарослях Мареотийского озера, к югу от города: такие кошки тотчас приносят дичь, сбитую стрелой или бумерангом. Их балуют, этих кошек, их хорошо кормят, ласкают, к ним привязываются. Конечно, кошки тоже не лишены фантазии, их считают существами таинственными, непредсказуемыми; но чтобы египетскому коту взбрело в голову среди бела дня атаковать человека — это так же непостижимо, как если бы гробница

Александра в одночасье рассыпалась в прах. И все же — вернемся к тому конкретному коту — почему он напал именно на *римлянина*?

Наверное, кот увидел, как он идет, — или увидел не кот, а его хозяин. Может, хозяин кота шел за римлянином от самого дворца. Или даже от самого порта; следил за ним с первого дня, когда тот сошел на берег со своей галеры и александрийцам стало известно, зачем римляне прибыли в их город. Римлянин потом говорил, что его специально наметили как жертву, — что ж, в таком случае остается сказать, что жертву выбрали очень умело.

Но даже если предположить, что сам кот пожелал напасть на чужеземца — именно этого, а не какого-нибудь другого, — все же очень странно, что выбор его пал не на благодушного или апатичного римлянина, а на римлянина-недотрогу. И к тому же очень раздражительного. Который, как только в его икру вонзились кошачьи когти, не долго думая, выхватил свой меч и выпустил этой твари кишки, оставив ее валяться в луже крови.

Этот варвар, убийца и невежа, даже не подумал о том, что находится в стране Бастет, богини-кошки. Правда, в Риме вообще не знают этого животного, в латинском языке для него даже нет названия. Во всем Средиземноморье только тупицы-римляне не слышали о том почитании, каким египтяне окружают любого зверя, который вблизи или издали напоминает кошку. А между тем ни для кого не секрет, что здесь все члены семьи сбривают себе в знак траура брови, если старый любимый кот покидает сей мир. И это еще чепуха в сравнении с тем, что можно наблюдать при пожарах: никто даже и не думает тушить пламя, пока из дома не вынесут кошку. Страсть египтян к этим животным заразила и греков: теперь они, желая отблагодарить бога, часто приносят в жертву кота. Они разводят кошек специально для этой цели. И потом тратят целые состояния — как будто бы речь шла о человеческих похоронах, — чтобы забальзамировать тело своего любимца и сделать из него мумию^[33].

Ату римлянина! На него со всех сторон посыпались удары и камни, и удивительно, как ему вообще удалось выбраться из этой переделки живым. А может, это как раз входило в планы нападавших — чтобы он вернулся во дворец, испачканный кровью и перепуганный насмерть. И потом рассказал бы другим римлянам, что александрийцы — ужасно неуживчивые люди: они подняли такой шум, наградили его таким количеством ран и шишек из-за однойдохлой кошки! Тогда и Флейтист поймет, что его народ не позволит себя обирать ради его, Флейтиста, великих замыслов.

Если, конечно, все это не подстроил сам царь. Подобные махинации вполне в его духе: возможно, он хотел дать понять эмиссарам Цезаря, что

со здешним народом лучше не связываться; гораздо разумнее оставить на троне Флейтиста — такого, каков он есть, — и пусть он, человек изворотливый, разбирается с Неподражаемым городом. С этой непонятной инеугомонной Александрией, которая попеременно бывает то мятежной, то желчной, то влюбленной, то целиком поглощенной своей успешной торговлей и своими удовольствиями; которая иногда кажется такой трусливой, а потом вдруг набирается мужества и становится дерзкой до безумия, готовой вспылить неизвестно почему, сжечь то, чему сама поклонялась еще вчера, — и в первую очередь сильных мира сего.

*

Однако на этот раз Флейтист ошибся в расчетах. Он не понял, что римляне не собираются слагать оружие. И не добился ничего, кроме того, что ему обещали документ, подтверждающий его права на диадему; и за эту ленту из белой ткани, которая делает его царем, придется уплатить цену, затребованную Цезарем. Флейтист говорит себе, что там видно будет, что времени у него еще много и что жизнь учит нас слепо полагаться на Тюхе, Госпожу судьбы, которая может мгновенно повернуть колесо удачи.

Но Цезарь уже видит Флейтиста насквозь. Он торопится с отъездом в Галлию, от нетерпения роет копытами землю и сообщает из Рима, что вся сумма нужна ему немедленно.

Флейтист растерялся, придворные тоже. Это уже чересчур, шепчутся они между собой, на сей раз страна должна восстать. Однако у Помпея и Цезаря на все возражения имеется готовый ответ: один из их друзей, банкир Рабирий, готов предоставить требуемую сумму. Флейтист вернет ему долг, как только соберет налоги. Очевидно, их следует увеличить — причем значительно. А чтобы подсластить пилюлю, достаточно предпринять кое-какие меры, которые сделают царя более симпатичным в глазах александрийцев и египетского населения.

Осознает ли Флейтист, что, принимая финансовую помощь от Рабирия, он тем самым приближает вторжение римлян в Египет? Он что — совсем ослеп или успокаивает себя тем, что сейчас необходимо выиграть время, а потом все как-нибудь образуется? Пока, во всяком случае, он мобилизует все свои актерские способности: разыгрывая великодушие, делает широкий жест — провозглашает всеобщую амнистию; более того, окончательно прекращает все текущие судебные дела.

Город, хотя и радуется, начинает подозревать что-то неладное, глухо

ворчит. Флейтист чувствует, как его подданными постепенно овладевает гнев, но и на этот раз говорит себе, что надо жить настоящим, а дальше видно будет. Сделка между тем завершается должным образом: в обмен на золото, представленное Рабирием от его имени, царь получает документ, в котором сенат, уступая странной просьбе Цезаря, признает, наконец, его права на египетский престол и торжественно провозглашает его «союзником и другом римского народа».

Сначала все идет, как и было предусмотрено: римляне получают крупный золотой куш, Цезарь возвращает Крассу долги, набирает и снаряжает свои легионы и потом, как всегда быстро и безукоризненно, совершает марш-бросок на запад, а дальше следы его теряются в лесах Галлии. Александрия никак на это не реагирует, и Флейтист наконец переводит дух, решив, что ему удалось выпутаться из трудной ситуации. Но тут, вопреки всем ожиданиям, колесо судьбы делает резкий поворот.

*

А может, здесь сыграла свою роль беспощадная машина, которую запустил Цезарь, чтобы со временем добиться верховной власти. Прежде чем покинуть Рим, он позаботился о гарантиях, обеспечивающих должный порядок в Вечном городе на время его отсутствия; с этой целью он оставил вместо себя некоего прохвоста из числа самых гадких, Клодия по прозвищу Красавчик, — смутьяна, распутника, интригана и сверх того демагога с несравненным талантом: будучи, как и его покровитель, выходцем из старого аристократического рода, он каким-то чудом умудрился стать народным трибуном. О его частной жизни, как и о жизни Цезаря, ходили самые дурные слухи: он был любовником собственной сестры, ослепительной Клодии, которая, со своей стороны, ни в чем ему не уступала, ибо изводила своими капризами Катулла, величайшего поэта эпохи, и половину сенаторов. Поговаривали также, будто Клодий уступил свою жену — на несколько ночей — пылкому Антонию, лучшему приятелю по попойкам и развратным похождениям. И наконец, ходили слухи, что он не побоялся приударить за Помпеей, женой Цезаря, который в то время был великим понтификом и, как таковой, не мог не уважать культа предков. Достойная матрона ответила Клодию отказом; тогда, чтобы добиться своей цели, этот извращенец переоделся в женское платье и явился к ней в дом во время исполнения таинственных церемоний, которые римские дамы совершают исключительно в своем, женском кругу в честь

не менее таинственного божества — Доброй богини. Клодия разоблачили, прежде чем он смог причинить какой-то вред, но он проболтался о своем приключении; а поскольку он сумел стать незаменимым помощником для Цезаря благодаря своим успехам на выборах, Цезарь, потребовав развода с Помпеей, не упомянул его имени, приведя в качестве единственного обоснования своего решения формулу, которая тут же стала пословицей: «... на мою жену не должна падать даже тень подозрения»^[34].

Этому-то великолепному негодяю Цезарь, уезжая в Галлию, и поручил угождать плебеям, на которых опирался в своей карьере и при поддержке которых надеялся когда-нибудь стать единовластным правителем Рима и всего мира.

Плебеи опять голодали. Клодий, никогда не скупившийся на слова, и на этот раз пообещал им бесплатную раздачу зерна. Денег на закупку зерна у него, очевидно, не было. Но он знал, где их можно раздобыть: поскольку Египет уже обобрали, то, значит, только на Кипре, у брата Флейтиста. Он без труда получает от сената согласие на аннексию острова. Операция обещает быть выгодной: сумма, которую можно будет получить сразу же, просто конфисковав казну кипрского царя, оценивается в семь тысяч талантов — это на тысячу талантов больше, чем выкуп, затребованный с владыки Египта за право и дальше занимать его трон.

Брат Флейтиста, который раньше вообще не давал никаких поводов для разговоров, теперь раздражается возмущенными криками. Рим опять начинает размахивать заветами Сына потаскухи, утверждая, будто этот покойный царь завещал Кипр римскому народу. Правитель Кипра продолжает упорствовать. Клодий посылает туда своего врага, сурового Катона, с очень некрасивым поручением: нужно любой ценой добиться, чтобы кипрский царь уступил.

Однако брат Флейтиста не поддается на уговоры. Тогда Катон, ничтоже сумняшеся, обвиняет его в содействии пиратам, а потом приписывает ему все мыслимые грехи и участие в оргиях, еще более гнусных, нежели те, что устраивали в свое время Пузырь, Шкваржа и Сын потаскухи. Все напрасно. Царь Кипра терпеливо сносит оскорбления, но продолжает протестовать.

Тогда Катон хладнокровно говорит ему, что аннексия неизбежна, и лицемерно добавляет, что Рим, в своем великом милосердии, согласен оставить свергнутому правителю должность верховного жреца святилища Афродиты в Пафосе. Брат Флейтиста молча выслушивает его, удаляется к себе и принимает яд.

Известие о его трагической смерти приходит в Александрию в тот самый момент, когда нужно начать выплачивать долг Рабирию. Флейтист

объявляет о введении новых налогов. Город отвечает ему мгновенной вспышкой возмущения: мало того, что Флейтист продал их всех римлянам, ему даже не хватило духу поддержать собственного брата, помочь ему, спасти его честь!

Уже не просто шум городской жизни доносится до дворца, стоящего у моря, а грохот оружия. Повсюду мелькают мечи и кинжалы, придворные растеряны, в трюмы одной галеры спешно грузят золото, и она на всех парусах отходит от берега. Бежать — иного выхода нет.

*

В море ли, обдумывая, куда направить корабль, Флейтист, наконец, осознал, в какую волчью яму он падает? Вид ли пустынного горизонта подсказал ему мысль, что Римская республика — всего лишь пустая скорлупа, а Цезарь, Помпей и Красе будут бороться между собой за раздел мира до того момента, пока один из них не завладеет всей полнотой власти? И что, по представлению римлян, Вселенная уже стала их частной собственностью?

Катастрофа, когда она является абсолютной, подавляет аналитические способности своей жертвы; и все же в такие трагические часы близкие пострадавшего — даже подростки, даже дети — иногда оказываются способными на поразительные интуитивные прозрения. Во всяком случае, именно в такие моменты — когда люди вокруг отводят взгляды, стараются скрыть свои слезы, — могут сформироваться фундаментальные представления, достаточно сильные, чтобы служить ориентиром для всей последующей жизни.

Мы ничего не знаем о тех чувствах и мыслях, которые посещали Клеопатру в первые часы недостойного бегства ее отца. Тогда вряд ли кто-то обращал внимание на душевное состояние тринадцатилетней царевны, пусть даже и подающей надежды; ни в одном тексте не осталось свидетельств и о том, что впоследствии она хоть что-то говорила на эту тему. И тем не менее можно не сомневаться, что в тот день жгучего стыда она поняла одну элементарную истину: чтобы заставить римлянина отступить, требуется нечто большее, чемдохлая кошка.

ВРЕМЯ ЗАТМЕНИЯ

(58–55 гг. до н. э.)

Мы не знаем, что происходило в это время с Клеопатрой: оставалась ли она в самом сердце того хаоса, который воцарился в Египте, или последовала за отцом и была свидетельницей всего, что стало результатом его бегства, — невероятной череды промахов, обманов, унижений и махинаций. От ее тогдашней жизни не сохранилось никаких следов. Юная звезда как бы растворилась в пустоте и была незримой до того момента, когда ей исполнилось пятнадцать лет.

А между тем события вокруг нее развивались все более стремительно и, очевидно, не могли не оказывать решающего влияния на ее поведение. Она, конечно, не переставала размышлять о них, извлекать из них уроки. Что именно творилось у нее в голове, с точностью установить невозможно; нам остается лишь строить догадки.

Мы, например, не знаем, участвовала ли она в драматических дискуссиях, которые, еще в Александрии, привели к тому, что отец ее послушался своего советника Теофания из Митилены и принял нелепое решение отправиться на Кипр, чтобы искать поддержки у Катона — того самого римлянина, который недавно с таким хладнокровием осуществил операцию по отстранению от власти его брата. Мы также не знаем, была ли она рядом с Флейтистом, когда Катон принял своего гостя, сидя на стульчаке, и, мучаясь поносом, одновременно слушал его сообщение о говеных египетских делах. По правде говоря, это и не так важно: сцена была настолько омерзительной, что рассказы о ней ходили по всему Средиземноморью. Присутствовала ли при этом Клеопатра, узнала ли о случившемся от своего отца или от кого-то еще, результат мог быть только один: чувство глубокого стыда.

Подобного рода оскорбление не забывается до конца жизни и навсегда оставляет в душе безграничную печаль: ибо как примирить мечты о величии, которые Флейтист пытался ей передать, и образ отца, до такой степени униженного? Какие-нибудь полчаса разглагольствований перед седалищем, на котором без малейшего стыда испражнялся Катон, и вот уже ее идеал рассыпался в прах: ведь Флейтист опустился до того, что кланчил у человека, который был чуть ли не убийцей его брата, чтобы тот обеспечил ему помощь Помпея. Только этот покоритель Востока, говорил он, мог бы

помочь ему выпутаться из трудной ситуации; только легионы Помпея, только его мастерское владение военным искусством могли бы вернуть египетскому царю потерянное царство. Но как этого добиться? Он, Катон, должен лучше, чем кто бы то ни было, знать ответ, ведь он — римлянин, притом один из самых достойных, может быть, самый достойный...

Флейтист не жалел лстивых слов. Однако Катон молчал. Тогда царь, испытывая смешанные чувства самоуничижения, горечи и злобного воодушевления, заявил, что ему не остается ничего иного, как отправиться в Рим и изложить свою просьбу непосредственно Помпею.

Катон мог бы рассмеяться ему в лицо. Он воздержался от этого, но сделал еще хуже: не покидая отхожего места и продолжая усердно тужиться, ответил Птолемею, что, если тот так держится за свою диадему и за независимость Египта,¹ у него есть лишь один выход — вернуться в Александрию, выплатить из собственных средств долги римским кредиторам, а потом помириться со своим народом и оставаться в Египте.

В его словах было презрение, но также и мудрость; этому римлянину хватило мужества, чтобы, пусть и предав интересы своей страны, высказать то, что он действительно думал. Правда, Катон, наверное, догадывался, что Флейтист поступит по собственному разумению и что он готов на все, лишь бы спасти свои царские погремушки. Теперь, попав в нехорошую переделку, Флейтист будет вновь и вновь обращаться к римлянам, Помпею, Цезарю, Крассу — к кому угодно, лишь бы найти сильную поддержку и вернуть себе трон. Конечно, это инфантилизм; но вместе с тем, что для него очень характерно, смесь отвлеченных умствований и хитрых расчетов; и ведь Флейтист верно сообразил, что римляне не смогут ему отказать — теперь, когда он по горло увяз в долгах, которые их банкиры жаждут с него получить. Итак, увидев, что от Катона он все равно ничего не добьется, Флейтист резко оборвал скатологический сеанс и, показав хозяину спину, взял курс на Италию.

*

У нас нет ни одного свидетельства, подтверждающего, что во время этого плавания любимая дочь Флейтиста была на борту корабля или что потом она вместе с отцом более двух лет пользовалась щедрым гостеприимством Помпея. Последний, как известно, поселил и чествовал египетского царя и сопровождавших его лиц на своей великолепной вилле недалеко от Марсова поля; роскошные сады виллы располагались уступами

по склону холма Пинция и были окружены мощной стеной, надежно защищавшей чужеземных гостей от каких бы то ни было нежелательных «инцидентов».

На мысль, что Клеопатра последовала за своим отцом в Рим, нас наводят не столько какие-то подробности тогдашней обстановки в Вечном городе, сколько события, разворачивавшиеся в упомянутый период в александрийских дворцах. В момент бегства Флейтист надеялся, что очень скоро вернется и укротит своих подданных с помощью римской солдатни. Поэтому, еще до отплытия, он заключил соглашение с двумя своими старшими дочерьми: вплоть до его возвращения они должны были править вдвоем. Если бы его отсутствие затянулось, такая ситуация могла бы стать очень опасной, и он это знал; особенно опасно было оставлять дома сыновей. Поскольку речь шла о двух юных Птолемеях, сценарий дальнейших событий не составлял для него никакой загадки: вся логика истории фараонов и Лагидов подсказывала ему, что две молодые женщины скоро поссорятся. Одна из них уничтожит другую. Избавившись от соперницы, победившая юная гадючка, которая, согласно традиции, не будет иметь права на единоличное правление, поторопится избавиться от одного из своих братьев и сочетаться браком с тем, кто придется ей по душе. В случае гибели его мужского потомства Флейтист лишится каких бы то ни было шансов на возвращение к власти. Что касается младшей Клеопатры, то ее темперамент, блестящий ум, поразительная зрелость, разумеется, не защитят ее от ненависти двух змей, которые приходятся ей сестрами.

Однако у нас нет никаких данных относительно того, что за все время изгнания Флейтиста имел место хоть один заговор, что кто-то покушался на жизнь младшей Клеопатры, или маленькой Арсиной, или двух мальчиков Птолемеев. Нет ни следа не только попытки убийства, но и попытки брака, пусть даже чисто формального, одной из старших дочерей с одним из ее братьев. Поэтому можно предположить, что Флейтист, из соображений элементарной осторожности, взял четырех младших детей с собой.

Выходит, Клеопатра вкусила хлеб изгнания; наверное, именно тогда у нее и появилось то особое выражение глаз, которое впоследствии так очаровывало ее собеседников: странный взгляд, одновременно пристальный и устремленный вдаль, внимательный и отрешенный — как у царицы, которая наносит визит вежливости одному из своих подданных; на самом деле эта отрешенность характерна для тех, кто очень рано узнал скитальческую жизнь; отсюда же, из этого долгого ожидания в чужой стране, балансирования на грани надежды и отчаяния, когда она и ее

близкие были чуть ли не заложниками Помпея, проистекает и рано приобретенное ею, но очень точное знание римского мира, способность невероятно быстро разбираться в намерениях его хозяев. Зная это, можно лучше понять и цепь ярких эпизодов, которые начнут происходить в ее жизни очень скоро, — прежде всего то, как, четырьмя годами позднее, этой молодой девушке удалось всего за одну ночь привязать к себе Цезаря.

Наша гипотеза тем более правдоподобна, что без нее трудно объяснить, как могла Клеопатра пережить трагические события, которые с момента отъезда Флейтиста разворачивались — во все убыстряющемся темпе — в александрийском дворце. Царь не успел еще сойти на берег Кипра, как между двумя соправительницами, Клеопатрой Великолепной и Береникой, вспыхнул открытый конфликт. По прошествии нескольких недель имя старшей сестры (которая, как кажется, была замешана в интриге, приведшей к изгнанию ее отца) навсегда исчезло из официальных документов.

Нравы этого семейства, а также холодная жестокость, которую Береника проявила в последующие месяцы, внушают подозрение, что Великолепная умерла не своей смертью. Однако пески забвения давно занесли все ее следы, не оставив нам ничего, кроме необоснованных предположений. Зато подвиги второй сестры сохранились в памяти потомков. Как только Береника осталась на троне одна, советники стали торопить ее с выбором мужа, который мог бы стать законным фараоном. Береника по недомыслию позволила навязать себе некоего Селевка, — несомненно, незаконного отпрыска сирийской ветви семьи. Он был чудовищно груб. И едва он очутился в порту Александрии, как горожане, верные своей репутации, наградили его красноречивым прозвищем: Базарная баба; сама же расторопная Береника нашла его настолько отвратительным, что задушила собственными руками на третью ночь после свадьбы, — ей тогда еще не исполнилось двадцати лет.

Несколько месяцев царица-убийца оставалась безмужней, а потом, наученная печальным опытом, совершенно самостоятельно выбрала себе подходящего супруга. Ее избранник, гордившийся тем, что войдет в семью Лагидов, придумал для себя славную генеалогию: притворился сыном царя Понта, Митридата. Он действительно носил то же имя, Архелай, но был всего лишь сыном одного из царских военачальников; этот юноша отличался блестящей наружностью, за которой, правда, скрывалась низменная суть. Зато он обладал одним редким преимуществом: несомненно, помня о том, как быстро его жена свернула шею Базарной бабе, он при всяком удобном случае демонстрировал свою уступчивость.

Береника и не требовала от него большего; в тот момент она преследовала только одну цель, ту же, что и ее отец: хотела добиться от римлян признания легитимности своего правления. В ее глазах Флейтист был всего лишь марионеткой, от которой следовало отделаться (хоть она и находилась далеко) как можно скорее.

События в Риме, казалось, благоприятствовали ее замыслам: Помпей, конечно, торжественно представил Флейтиста в сенате; однако последнему не удалось произвести благоприятное впечатление на «отцов отечества», которые вынесли о госте такое же суждение, как и сама Береника, — сочли его куклой на содержании у безмерно амбициозного военачальника.

Кроме того, этот демарш Помпея внезапно пробудил жадность двух его соперников, Красса и Цезаря. Каждый из трех жаждал заполучить для себя одного сокровища Египта и был более, чем когда-либо, исполнен решимости пойти на любую хитрость или, если представится случай, на открытую демонстрацию силы, чтобы помешать другим приблизиться к вождеденной кубышке.

Цезарь, как всегда, маневрировал искуснее других; но, поскольку он еще оставался в Галлии, все или почти все забыли о его существовании — все, начиная с Флейтиста, который в своем ослеплении продолжал позволять водить себя за нос, думая, что сам просчитывает игру, и был целиком захвачен своей маниакальной идеей: любой ценой вновь стать царем Египта.

Флейтист (которого энергично поддерживали Помпей и банкир Рабирий, все еще надеявшийся возместить свои убытки за счет военной кампании в Дельте и в долине Нила) наведывался, как нищий, в дома римских сенаторов и обходил эти дома один за другим, не брезгуя ничем: унижался, низкопоклонствовал, подносил подарки, безудержно льстил. В ответ ему давали прекрасные обещания. Он ждал — и ничего не происходило. Но он не терял надежды и, поскольку Помпей и Рабирий открыли для него неограниченный кредит, имел возможность упорствовать в своих ожиданиях.

Между тем Береника наводнила Рим своими шпионами. Поведение отца раздражало ее, и в конце концов, уже находясь на грани нервного срыва, она отправила в Италию посольство, которое должно было добиться от сената полного и окончательного признания законности ее власти. Молодая царица не поскупилась ни на золото, ни на людей: для выполнения этой миссии она отобрала сто своих самых надежных подданных. Возглавлял посольство некий Дион, философ, который, несомненно, хорошо знал римлян, а сверх того был, по меркам

Александрии, несравненным крючкомвором и краснобаем.

Однако Флейтист, хотя и вел жизнь изгнанника, тоже сумел нафаршировать дворец Береники «подсадными утками». В больших портах Средиземноморья, от Эгейского моря до Адриатики и Мессинского пролива, на него уже давно работали превосходные агенты — недаром он царствовал в Александрии, Золотом городе. Поэтому он быстро узнал о том, что задумала его дочь, и ее сто эмиссаров, едва успев высадиться в ПUTEОЛАХ, были убиты.

Дион, помимо способностей к диалектическому мышлению, наверняка имел и крепкие икры, потому что оказался единственным, кому удалось спастись от этой бойни. Он бежал в Рим, где безрассудно попросил убежища у родственника Помпея. Римлянин охотно предоставил ему таковое. К несчастью для философа, его хозяин оказался также другом Флейтиста. Соответственно, очень скоро Дион при таинственных обстоятельствах был убит.

Тогда Флейтист решил, что пришло время окончательно расплатиться с мятежной дочерью. Он принялся с удвоенной энергией осаждать Помпея, добиваясь, чтобы тот поддержал его в сенате. Полководец, которого все больше притягивало золото Египта и который счел нужным воспользоваться отсутствием Цезаря, уступил его просьбам и попытался доказать «отцам отечества», что совершенно необходимо немедленно отправить в Египет военную экспедицию с целью восстановления Флейтиста в его царских правах. Помпей использовал все возможные доводы, но и сенаторы не были простофилями: они понимали, что Помпей втайне мечтает возглавить упомянутую экспедицию, дабы потом наложить руку на усмиренную страну. Овладев же египетской казной, он сможет диктовать законы всему Риму.

Но тут, как в скверной мелодраме, в дело вмешались небеса. Сенаторы еще обсуждали вопрос об экспедиции, когда над Вечным городом разразилась ужасная буря; молния ударила в святилище Юпитера на Альбанской горе. Народ был в ужасе. Клодий, правая рука Цезаря, в это время по-прежнему наблюдал за событиями, оставаясь в тени. Будучи человеком предусмотрительным, он и на этот раз не стал «засвечиваться», а просто конфиденциально намекнул народным трибунам на то, что было бы неблагочестиво игнорировать столь очевидное изъявление божественной воли. Трибуны его поняли и обратились в сенат: чрез эту бурю, которая разразилась именно над его святилищем, говорили они, явил себя сам Юпитер; смысл предзнаменования совершенно ясен — Владыка богов хотел известить сыновей Волчицы, что, посягая на Египет, они рискуют

навлечь на свои головы еще худшие бедствия.

Сенаторы растерялись: в Риме, когда распространился слух о знамениях, на все лица будто падала тень; происходило что-то, что заставляло вспомнить о мире древних италийских племен, сами имена которых звучали архаично и таили в себе смутную угрозу, — о вольсках, самнитах, этрусках, эквах, сабинах, умбрийцах. Пробуждался первобытный страх, казалось, поднимавшийся вместе с серными испарениями с поверхности болот, на дне которых, конечно, до сих пор помещалась обитель ада.

Трибуны почувствовали, что добились желаемого эффекта. Они тут же предложили применить меру, предусмотренную для крайне серьезных случаев: обратиться к «Книге Сивилл». Только там можно было найти ответ на вопрос, не окажется ли поход римской армии в Египет опасным для Вечного города.

*

Этот сборник оракулов находился в ведении коллегии толкователей, которые одни имели право раскрывать и читать Книгу — и то лишь по специальному распоряжению сената. Сенаторы поддались на уговоры трибунов и отдали соответствующее распоряжение. Конечно, большинство из них не придавало особого значения пророчествам из упомянутой Книги: как люди, облеченные властью, они прекрасно знали, что стихи пророчеств «надерганы» из самых разных источников и что их интерпретация каждый раз бывает продиктована исключительно политическими соображениями. Однако что касается простого народа, то его вера в Книгу была крепка как железо. Плебеи не сомневались в том, что Книга действительно была продана царю Тарквинию еще на заре римской истории, продана старой нищенкой; что эти таинственные предсказания и в самом деле были продиктованы некоей пророчицей, одной из тех сивилл, то есть прорицательниц, которых порой еще можно встретить где-нибудь на пути между Италией и Грецией: окутанные клубами дыма, они издают какие-то едва различимые странные звуки. Народ, конечно, не остался в неведении относительно того, что приобретенный Тарквинием кодекс давно сторел, что его кое-как удалось восстановить, что потом его перерабатывали, исправляли, дополняли, постоянно что-то с ним делали. Однако после проскрипций и по мере того, как Республика все более разлагалась, в Риме распространялся страх. Страх затаенный, неконтролируемый —

предчувствие близкого конца мира. Под влиянием всякого рода магов и прорицателей, которые почти все приходили с Востока, где астрология и пророчество давно стали методами государственного управления, имя Сивиллы все чаще упоминалось в связи с самыми разными апокалиптическими пророчествами, в которых постоянно всплывала идея грядущего разрушения Вселенной и ее восстановления божественным Спасителем.

В общем, это был тот же страх, что и в Александрии. Тот же, что в Сирии, Пергаме, Эфесе, Афинах и Иудее. Однако, здесь его отличала зачарованность тьмой, отсутствие реальной надежды; и если Клеопатра действительно находилась тогда рядом со своим отцом, она могла почувствовать атмосферу этого Рима теней, охваченного ужасом и покорного самым темным силам (тогда как Египет, сталкиваясь с вопросами того же порядка, всегда обращался к небу, к свету). В римских ритуалах — она бы это поняла — всегда присутствовало нечто, что напоминало о вулкане, о нечистом болоте, об испарениях раскинувшейся в родах земли. Все новое или неизвестное, с чем сталкивался народ Рима, вызывало у него инстинктивное недоверие — как у первобытной Волчицы. Для отца Клеопатры и для нее самой, униженных изгнанников, тот факт, что, дабы решить судьбу их цивилизации, столь йревной и утонченной, обратились к этим грубым ритуалам, стал еще одним оскорблением.

Но сенаторы этим не удовлетворились; ибо оглашение оракула в конце церемонии, по существу, вылилось в новый оскорбительный выпад, направленный против Флейтиста и его дочери. «Не следует отказывать царю Египта в римской помощи, — лицемерно заявили толкователи Книги, — однако опасно оказывать таковую помощь посредством вооруженной силы».

Иными словами, необходимо набраться терпения; Римская Волчица выпустила Флейтиста из своих челюстей, она хочет дожидаться момента, когда жертва сама испустит дух, и только тогда пошлет в Египет свои легионы — или, лучше сказать, своих шакалов.

В течение некоторого времени в сенате еще спорили о том, нельзя ли заменить военное вмешательство дипломатическим и кого именно лучше послать в Египет для переговоров с мятежной царицей. Раздраженный Флейтист уже не думал о приличиях: он направил «отцам отечества» велеречивое письмо, в котором без всякого стыда просил их назначить послом к его дочери Помпея. Это предложение, разумеется, отклонили; а поскольку сенаторы так и не смогли прийти к единому мнению относительно подходящей кандидатуры, рассмотрение данного вопроса

вновь было отложено на неопределенный срок.

Однако упрямец Флейтист не признал себя побежденным. Благодаря деньгам Рабирия и военному престижу Помпея он в конце концов обеспечил себе кое-какую поддержку; а два его кредитора уже истратили на него столько золота, что более, чем когда-либо, желали восполнить свои потери за счет Египта. Вокруг изгнанного царя сформировалась небольшая лига, но тут он решил переменить тактику. Он уехал из Рима в Эфес, где вместе со своей семьей нашел убежище в храме Артемиды. Убить его там было бы непростительным святотатством — поэтому он мог спокойно и терпеливо дожидаться лучших дней.

Он консультировался со своими секретными агентами, набирал новых шпионов, отправлял и принимал связных, плел интриги, сам оставаясь на месте, и по-прежнему ощущал себя распорядителем игры. Тогда как на самом деле его судьба вновь оказалась в руках Цезаря.

Потому что как бы ни был коварный император^[35] занят стычками в галльских лесах, он не переставал пристально следить за тем, что происходит в Риме, Эфесе и Александрии. Для него не имело большого значения, кто — Береника или ее отец — в данный момент занимает египетский трон; главное, ему удалось, благодаря Клодию, ослабить позиции Помпея в сенате. В данный момент его самым опасным соперником был Кресе. Чтобы как можно быстрее нейтрализовать Кресса, Цезарь пришел к соглашению со своим старым врагом Помпеем и убедил его нарушить запрет оракула. Разумеется, не открыто, а с соблюдением внешних приличий: Помпей поручит осуществление святотатственного акта надежному человеку. Например, какому-нибудь преданному ему военному, горячей голове, способной на всяческие авантюры. Когда эта партия будет разыграна, Кресе попадет в ловушку, его окончательно отстранят от египетских дел. Что же касается их двоих, то они потом поделят плоды победы, но их никто не сможет ни в чем упрекнуть.

Помпей легко дал себя уговорить. У него даже был готовый кандидат: Габиний, блестящий военачальник, превосходный знаток людей, который любил опасные приключения и в то время исполнял должность наместника провинции Сирия. Вопреки всем ожиданиям, Габиния испугала мысль, что он должен будет нарушить предписание священного оракула. Однако Цезарь все заранее предусмотрел; он знал о навязчивой идее царя Египта, знал, что тот никогда не откажется от своих планов, — тем более что сейчас Флейтист уже предвкушает, как, едва шевельнув пальцем, вновь обретет свое царство.

Действительно, Флейтист неожиданно предложил Габинию две тысячи

талантов, если тот вернет ему трон, — сумму, почти вдвое превышавшую ту, которую заплатил четыре года назад, чтобы добиться легитимизации своей власти. И на этот раз реальных денег у него не было; но он не сомневался, что грабежи, неперемный атрибут любой военной экспедиции, позволят Габинию обогатиться сверх всяких ожиданий, и, следовательно, ему — Флейтисту — ничего платить не придется.

Римлянин все еще колебался. Несколькими месяцами ранее, попытавшись атаковать парфян, он потерпел мучительную для него неудачу — противник остановил его у Евфрата — и с тех пор испытывал суеверный страх перед любыми военными авантюрами в незнакомой местности. Экспедиция же, которую ему предложил Помпей, была еще более опасной: поскольку флот Береники непрерывно курсировал вдоль побережья Дельты, вторгнуться в страну можно было только одним путем: через пустыню. Между Газой, отправным пунктом похода, и Пелусием, через который войска должны были войти в Египет, легионам предстояло пересечь район болот со зловонными испарениями (считавшимися «выдохом» Сета, бога мертвой пустыни и хаоса). Потом будут долгие переходы по бескрайним пескам, где не встретишь ни одного водного источника. Только Александр мог отважиться на подобный маршрут. После его смерти никто более не брал на себя такой риск.

Между тем был один человек, который ощущал себя способным повторить подвиг Александра. Флейтист, непревзойденный эксперт по части сбора информации, прекрасно это знал; и, находясь в своем убежище, откуда следил за развитием событий, не переставал улецивать и уговаривать этого выдающегося военного специалиста. Последний происходил из знатной семьи, претендовал на то, что является потомком Геркулеса; с упомянутым легендарным героем его действительно роднило атлетическое телосложение; но он, сверх того, умел говорить с толпой и владел греческим красноречием, ибо какое-то время жил в этой стране и был там счастлив. В юности он прославился тем, что делал огромные долги, а также не менее скандальной связью с молодым бездельником по имени Курион^[36] и кое-какими приключениями с посредственными актрисами и вольноотпущенниками. Он мог любить только то, что не укладывалось ни в какие рамки; вообще же любил вино, лошадей, праздничное веселье, секс — и, больше всего остального, войну. Именно военные способности этого человека, Марка Антония, заставляли сенаторов закрывать глаза на его сомнительные похождения; однако все они знали, что рано или поздно с ним рассчитаются. Но пока что Марк Антоний, посредством уговоров и собственного энтузиазма, преодолел

последние сомнения Габиния; и его вера в успех святотатственной экспедиции была столь велика, что именно ему доверили командование.

Его и в самом деле ничто не пугало — ни заразные болота, ни ущелья, охраняемые вражескими лучниками, ни жара, ни жажда. Антоний давно в совершенстве овладел тактикой окружения противника, и очень скоро он уничтожил те отряды, которые выслала Береника, чтобы его остановить. Узкие проходы наконец были пройдены; когда Антоний появился перед Пелусием, гарнизон форта, состоявший из египтян и евреев, почти тотчас же сдался — можно подумать, что сам начальник гарнизона посоветовал им подумать о собственном спасении. Антоний, с одной лишь кавалерией, двинулся в Дельту и подступил к воротам Александрии.

Береника спешно поручила мужу заняться обороной города. Царь-слуга безропотно повиновался. Антоний, так сказать, изрубил его армию в лапшу. Архелай по-рыцарски позволил себя убить ради своей жестокой супруги, и римляне без малейшего труда овладели Александрией. Подошел Габиний с большей частью войска; затем в город прибыли Флейтист и его дети.

*

На этом для Клеопатры закончилось «время затмения». Она вновь появляется на исторической сцене, рядом со своим отцом. И получает возможность оценить меру его злопамятности: Флейтист, едва успев вернуться в Александрию, приказывает казнить Беренику и всех тех, кто ее поддерживал. Он конфискует их имущество и доходит до того, что отказывает в погребальных почестях несчастному Архелаю. Антоний, который не так давно принимал Архелая у себя в доме, возмущается этим публичным оскорблением покойного и берет все расходы по похоронам на себя, организует их сам, делает по-царски торжественными. Столько благородства у римлянина — александрийцы были изумлены. Тем более что этот молодой и красивый военный, как кажется, не собирался оставаться здесь надолго. Наконец появился хоть один римлянин, шептались озадаченные горожане, которого Египет не интересуется. Поговаривали, что на него давит здешняя атмосфера, что она его пугает; как бы то ни было, все понимали, что в мыслях своих этот человек уже далеко, на Западе, ибо он с нетерпением ждал новостей — новостей из Рима и от Цезаря.

Замечал ли Антоний, поглощенный своими военными планами,

присутствие любимой дочери царя, юной Клеопатры, которой еще не исполнилось пятнадцати лет? Это маловероятно. Ему было двадцать восемь; его привлекали зрелые женщины, которые любили, как и он сам, проводить ночи в пьяных оргиях и знали о любви абсолютно все, начиная с невинных шалостей и кончая полным непотребством. Антоний, исполнив свою миссию, исчез так же внезапно, как и появился, — в общем, довольный тем, что больше не будет дышать отравленным воздухом александрийского дворца; он торопился в Массалию^[37], в Галлию, куда, наконец, пригласил его Цезарь.

Юной царевне предстояло увидеть его вновь лишь через четырнадцать лет. Клеопатре, наверное, Антоний запомнился как атлет в шлеме с султаном, жизнерадостный воин, пропахший оливковым маслом и лошадьми, гурман с загорелой кожей и развитыми мускулами; и как римлянин, который обращался с греческим языком так же, как со своими солдатами, — с точностью и лихостью, с обаянием, коему невозможно противостоять. Между тем в нем уже тогда ощущались и какой-то душевный надлом, и непонятное отчаяние, и память о прошлых драмах — может, именно это побуждало его развлекаться с девицами легкого поведения, а потом не выходить из запоя в течение многих дней?

Несомненно, в нем было что-то от Александра, даже от Диониса. И тем не менее каким бы чувственным и жизнерадостным ни казался ей этот человек, ее освободитель, он — увы! — оставался римлянином.

НАСЛЕДНИЦА (55–51 гг. до н. э.)

Александрия, снова Александрия. Непрерывный шум волн, вечно бодрствующие Маяк и море. Двор с его театром теней, иссякающая казна, гробница Александра, его тело как талисман. Колоссальная статуя Исиды, ничуть не изменившаяся, — Клеопатра видела ее в своих снах о величии, думала о ней в бессонные ночи. И Библиотека, все та же, и книги, одна из форм вечности.

Египет обессилел, Флейтист тоже. Его непреклонная воля внезапно лишилась своего объекта — и стала как дерево, которое, перестав гореть, пожирает себя изнутри. На его исхудавшем лице застыла неопределенная гримаса — то ли память о кутежах, в которых он прожигал свои ночи, то ли произвольная усмешка старого пройдохи. Ясно, во всяком случае, что он долго не протянет. Клеопатра унаследует его власть, так думают все в городе. И она сама тоже.

Ибо по мере того, как ее отец клонится к могиле (а она все продолжает любить его, несмотря на совершенные им низости), сама Клеопатра постепенно превращается в женщину, набирается сил и энергии и с гордостью и хладнокровием готовится к тому, чтобы стать царицей.

Между тем ничто в ней не предвещает будущую Прекрасную Елену, скорее наоборот: ее кожа осталась такой же смуглой, как у ее бабушки, уроженки Сирии, которой удалось окрутить Стручечника. У Клеопатры такие же, как были у той, густые волосы — очень черные, и гибкость тамошних женщин, и их жесты — порой расслабленные, а порой очень точные. Она невысокого роста, но зато не должна полнеть — разве что очень поздно, когда ее утроба родит многих детей. Впрочем, от своего тела, как и от своей головы, эта девочка добивается всего, чего хочет: она поет, танцует, плавает, играет на лире, ездит верхом — для нее нет никаких препятствий; теперь, когда она прекрасно научилась скакать галопом, она хочет попробовать управлять лодкой.

Это просто неприлично: можно подумать, будто у нее, Клеопатры, душа мужчины. У нее тот же ненасытный рот, что у ее отца, тот же профиль: орлиный нос, который можно узнать среди тысяч других. Она — отродье тех, кто умеет схватить добычу и никогда больше ее не выпускает; кто точно знает, чего хочет, и готов на все, лишь бы утолить свое желание.

Эта, как и Флейтист, будет скрывать свои мысли, отделяться от людей с помощью слов. Но она превзойдет отца, ибо понимает силу молчания; и потом, она всегда тянется только к возвышенному — ее никогда не привлекает низкое.

Наконец, эта непреклонная воля, этот взгляд. Глаза, которые мгновенно пресекают любую наглую выходку горожан. Для нее даже не выдумали прозвища: когда александрийцы видят, как она проходит по улице, шутки застревают у них в горле; стоит ей прищурить глаза, и смех смолкает. Дело в том, что она, эта Клеопатра, владеет искусством насмешки лучше, чем кто-либо еще. Одно удачное слово — и она ставит шутников на место. Она уже сейчас ведет себя как царица. Какой мужчина осмелится приблизиться к ее ложу? Ее никто не возьмет замуж. Она сама выберет себе мужа.

Если, конечно, ей позволит Флейтист; дело в том, что, почувствовав приближение смерти, царь ничего не хочет оставлять на волю случая. Следует сказать, что из-за своих ошибок и вследствие семейных неурядиц он уже потерял двух дочерей. Теперь он любой ценой должен обставить свой уход из жизни так, как ему удобно. И он берется за составление завещания. Имена четырех оставшихся у него детей он удлиняет, добавив к каждому одинаковое сентиментальное дополнение «Любящий брата/сестру». Но разве за два с половиной века, истекшие после правления Птолемея II и его возлюбленной супруги Арсиной, в семье Лагидов случалось хоть раз, чтобы брат и сестра любили друг друга? Флейтист прекрасно знает, что нет, но он готовится к смерти, и это настраивает его на сентиментальный лад. Поэтому он решает, что его дети должны прибавить к своим именам еще по одному прозвищу: «Любящий отца». Может, он боится, что его убьют? Это маловероятно — ведь он знает, что Клеопатра всегда рядом с ним, что она оберегает его. Оберегает очень бдительно.

Он сам этого пожелал: почувствовав, что слабеет, передал ей дела. Ей уже восемнадцать; нельзя сказать, что он слишком поторопился, тем более что она — старшая. Тем не менее когда он умрет, ей нужно будет отойти в тень и первое место уступить наследнику трона, старшему из двух ее братьев. Этому маленькому Птолемею едва исполнилось десять лет, он еще слишком юн, чтобы скрывать свои чувства, — если только не окажется, что он очень хитер. Но он мальчик, носить диадему подобает ему, таков закон. А Клеопатра должна будет выйти за него замуж — это тоже закон.

Колеблясь, как всегда, между полным отсутствием иллюзий и мечтами о всемирной славе, Флейтист заканчивает свое завещание. Он составил его в двух копиях: одна будет храниться здесь, во дворце, а другую он пошлет в

Рим, передаст в ведение тамошнего казначейства.

Эта последняя мера сама по себе показывает, как мало он верил в выполнимость своих желаний, как мало доверял своим четырем отпрыскам. В его жилах недаром текла кровь Лагидов — он тоже составил отравленное завещание и вполне отдавал себе в этом отчет. Например, он лишил Арсиною прав на престол, не предложив ей взамен никакой компенсации. Однако, учитывая то упорство, которое она уже проявила, и ту ярость, которую наверняка вызовет у нее его решение, он не мог не понимать, что она не смирится с такой несправедливостью. Он также знал, что Клеопатра, которая уже вкусила власти, ни крупницы этой власти не отдаст. Ни своему младшему брату, ни даже мальчику-царю, которого отец навязывает ей в мужья; и, наконец, Флейтист знал, что скорее Нил потечет вспять, чем она пустит в свою постель этого тщедушного мальчишку...

Представить дальнейший ход событий не составляло никакого труда, и он, размышляя об этом, несомненно, и развлекался, и печалился. Он, Флейтист, всегда был таким — человеком двойственным, зрителем и актером одновременно; он остро чувствовал присутствие рока, губящего его семью, и знал, что бессилён что-либо изменить. И почему, собственно, он должен переживать? Все это продолжается с тех пор, как Птолемеи обосновались в Египте. Да и четыреста лет назад, когда его предки были мелкими неотесанными мерзавцами и жили в ущельях Македонии, дела, несомненно, обстояли точно таким образом — а может, так повелось еще со времен пирамид, со времен первых фараонов. Тогда какой смысл пытаться изменить порядок мира в тот самый момент, когда собираешься отойти в вечность? Пьеса вот-вот закончится; тот, кто называл себя Новым Дионисом, — всего лишь усталый актер, который сейчас уйдет за кулисы. Другие актеры будут играть в последующих спектаклях. Однако текст пьесы написан раз и навсегда — его невозможно изменить.

И Флейтист запечатывает свое завещание, а на лице его застывает гримаса равнодушия — та самая, с которой в ночи кутежей он наблюдал, как танцуют полуобнаженные мальчики-педерасты. Его любимая дочь, он в этом убежден, не растеряется перед опасностью, окажется на высоте в любой ситуации. Чтобы понять это, достаточно на нее посмотреть: после того как он научил ее управляться с властью, она имеет четкое представление обо всем. О мерах площади и мерах веса, о том, как обрабатывают землю, о математике и о благовониях; ходят слухи, что она и сама кое-что пописывает. Однако с тех пор, как Флейтист вновь стал царем Египта, она уже не удовлетворяется возней с неразборчивыми рукописями. Теперь она хочет, чтобы то, что она узнала, приносило пользу. Конкретную,

утилитарную пользу. И всякий раз, как она обольщает кого-то своими словами, нежной мелодичностью своего голоса, про себя — это нетрудно почувствовать — она производит какие-то расчеты.

И ведь она вовсе не жадная, скорее наоборот: ей нравится тратить деньги, жить в роскоши, она — истинная царица из дома Лагидов; но она любит эффективно вести дела, получать прибыль. В этом увлечении она дошла до того, что организовала ткацкую мастерскую, где выделывают эти маленькие изысканные ковры, которые можно купить только в Золотом городе. Она продает их в Италии, и с большой выгодой. Она даже подумывает о том, чтобы нанять римлянина, который руководил бы ее маленьким предприятием. В общем, она настоящая дочь Александрии. Тем не менее горожане ее не любят. В их глазах она остается «наследницей», дочерью своего отца. И потом, за ней тянется шлейф тайны.

Утверждают, например, что ей уже мало Библиотеки, что она зачастила в лаборатории Мусейона — так, по крайней мере, говорят люди; и добавляют, что она ходит туда не для того, чтобы корпеть над правилами грамматики или, как ее прабабки, получать от рифмоплетов стихи во славу своих прекрасных волос. Она там познакомилась, шепчутся горожане, с учеными, которые препарируют трупы; она склоняется над телами приговоренных к смерти, телами, которые еще трепещут, когда из них вырывают внутренности. Она будто бы и сама занимается подобными вещами: пробует яды на всяких несчастных; увлеченно наблюдает за приемами бальзамировщиков; посещает их мастерские, чтобы вдыхать запахи их эссенций, учиться правильно дозировать соль, предохраняющую от гниения плоть усопших, обращаться с маленькими и большими крюками, с помощью которых извлекают внутренности. Что это — правда или пустые слухи, подпитываемые каждодневным зрелищем ее вездесущей, кипучей активности? Мы этого не знаем. Ясно одно: ее неудержимо влекли к себе и загадки жизни, и тайны смерти. Оттого и возникла темная аура, которая повсюду следовала за ней; может, эта аура и породила ту последнюю легенду, что придумали о Клеопатре греки Александрии: будто бы она раскрыла самый древний секрет фараонов и научилась делать золото из ничего.

Но это все вздор, бредни, придуманные городом, который никогда не испытывал недостатка в сказках. Золото Черной земли^[38]... Весь мир знает, откуда оно берется: из пота феллахов, гнувших спину над своими полями. Египетские деревни — вот ее истинное наследство, вот чем заняты ее мысли. Ее планы просты: убрать коррумпированных чиновников, вернуть землепашцев к их труду, отрегулировать хрупкий механизм водоснабжения,

ежегодно приносящий Египту его богатства, очистить заброшенные каналы, починить плотины, выкопать новые колодцы, наконец, пополнить свою казну и никогда, ни при каких обстоятельствах не повторять ошибку Флейтиста — не править во вред своему народу. Она хочет стать Любимой, царицей полей, владычицей Дельты, оазисов, Фаюма, Сивы, Верхнего и Нижнего Египта, Крокодилополя, Навкратиса, Гермонтиса, Абидоса, Фив, области первых порогов, острова Филе. Она будет получать прошения, вершить суд, опираться на бритоголовых жрецов в одеяниях из льна, восстанавливать храмы; и, когда завоюет любовь египтян, повторит то, что сделал Александр в Персии и у границ Индии: заставит своих греческих подданных смешаться с коренными египтянами, слиться с ними в единую расу.

Это грандиозная задача, придется все переделывать заново, снизу доверху. Нужно будет, как во времена расцвета Птолемеев, отправить корабли на штурм Красного моря, к берегам Африки и Индии; вновь проложить караванные пути, вспомнить о дорогах к Пальмире, к лежащей на востоке Петре, к Мероэ. Конечная цель не изменилась: это власть над всем земным кругом, великая мечта Александра. Не может быть и речи о том, чтобы уступить мировое господство Риму.

Потому что, в конце концов, несмотря даже на то, что Флейтист оставит ей опустошенную страну, Египет все равно остается самым богатым царством во всем Средиземноморье, а Александрия — самой большой копилкой во всех обитаемых землях. Рабирий и Габиний прекрасно это поняли, когда грабили страну, чтобы возместить убытки, которые они понесли, восстанавливая Флейтиста в его правах. Римский банкир даже не пытался соблюсти хотя бы внешнюю видимость приличий: он объявил себя министром финансов. Благодаря этому и при поддержке Габиния с его грозными солдатами он взял Египет в железные тиски и выкачал из несчастных феллахов такие суммы, что по прошествии года Флейтист был вынужден заключить его в тюрьму, а потом вышвырнуть из страны. Сами римляне были потрясены, так как их все-таки воспитывали в понятиях справедливости. Банкир Рабирий отделался сравнительно легко, в отличие от Габиния, которого ожидало более суровое наказание: изгнание и штраф размером в десять тысяч талантов; это была в точности та сумма, которую обещал ему Флейтист, — и которую римлянин, несомненно, успел собрать.

Болезнь ли помешала Флейтисту заметить одно странное событие, которое произошло непосредственно после вынесения приговора Габинию? В этой истории снова всплыло имя Цезаря. Находясь в галльской глуши,

где продолжал воевать, он получил известие о полном успехе его египетской махинации. Не нанеся ни одного удара, он добился своей цели: Красса незаметно, но решительно отстранили от дележа нильского пирога. Однако Цезарь на этом не остановился, теперь он хотел уничтожить противника. Он применил самый простой способ: стал разжигать безудержную алчность Красса. Без малейших затруднений Цезарь убедил Красса в том, что у парфян можно захватить несравненно более богатую добычу, чем в Египте. Крассу, этому маньяку, одержимому идеей накопительства, он говорил о парфянском золоте, о чистокровных скакунах, о тканях, никогда не виданных на Западе, заставлял его грезить об алмазах и жемчугах. Крассе загорелся подброшенной ему идеей и лихорадочно занялся подготовкой этой безумной экспедиции. Он не слушал ничьих советов, ничьих предупреждений; при штормовой погоде стал переправляться через море, в результате чего потерял людей и корабли; потом надолго увяз в пустынях Востока. По прошествии года он еще находился там, и случилось неизбежное — при Каррах, в глубине Месопотамии, Рим потерпел одно из худших поражений за всю свою историю: двадцать тысяч убитых, десять тысяч раненых, семь легионов уничтожено и их штандарты захвачены противником. Крассе там лишился своей жизни, Рим — чести. Что касается Цезаря, то менее чем за три года он, не прибегнув ни к яду, ни к кинжалу, избавился от самого опасного своего соперника и теперь, наконец, путь к власти ему преграждал один Помпей.

*

Приближалось время последней схватки. Открытая война еще не началась, но все знали, что она будет беспощадной. При таких условиях для Цезаря не могло быть и речи о том, чтобы оставить Помпею надежный тыл, откуда тот черпал бы продовольствие и золото для содержания своих легионов. И вот, узнав, что Габиний осужден за хищения в Египте, император, поскольку сам втравил его в эту авантюру, совершил, по видимости, рыцарский жест (который, однако, на самом деле свидетельствовал о размахе его амбиций): он обещал Габинию, что возместит ему сумму штрафа, то есть десять тысяч талантов. Сказанное означало, что в самом ближайшем будущем, пройдя через пустыню или переправившись по морю, Цезарь появится в Александрии.

Однако Флейтист этого не понял. У него было оправдание: Рим, как он

давно надеялся, вошел в полосу кризиса — и, казалось, эти конвульсии предвещали его скорую гибель. Конечно, конфликт между Цезарем и Помпеем пока находился в латентной стадии. Но уже был убит Клодий, и это вызвало волнение плебса. Флейтист не считал Цезаря особо значимой фигурой; по его мнению, из двух противников Помпей был и остался сильнейшим. Он полагал, что Помпей непобедим; а поскольку сам он дружил с Помпеем, о чем ему было тревожиться?

Да и Клеопатра, несмотря на свою дальновидность и проницательность, в эти последние месяцы жизни ее отца тоже не обращала внимания на события в Риме; потому что в тот самый момент, когда она вплотную приблизилась к исполнению своей мечты — мечты о власти над Египтом, — она заметила другую опасность, таившуюся в ее собственном дворце. Опасность исходила не от брата, пока слишком юного, и даже не от сестры, еще не успевшей накопить яду, но от маленькой армии придворных вельмож, чьи титулы так же абсурдны, как и их шляпы с широкими полями, высокие сапоги на шнуровке и цветные плащи; от всех этих «украшений царской диадемы» и «священных достояний славы родителей монарха», которые вечно ошиваются около ее больного отца, стоит ей только повернуться к нему спиной. И им удал ось-таки нанести ей чувствительный удар: окружить ее младшего брата, с согласия самого Флейтиста, своими зловердными ставленниками. Если она и далее позволит им действовать в том же духе, результат очевиден: она проиграет.

АЛЕКСАНДРИЙСКОЕ ТРИО (51–49 гг. до н. э.)

Их было трое, этих маленьких змей. Они были одинаково ядовиты, но имели разные амплуа; и в этом смысле, следует признать, превосходно дополняли друг друга. Самым хитрым из них был тот, кто хотел стать первым министром, — евнух, Потин, то есть «Желанный» (трудно вообразить более нелепое имя для человека, напрочь лишённого объекта этого самого «желания»). Второй был военным экспертом или притворялся таковым и являл собой своего рода суррогат Ахилла (его и звали Ахиллой); а третий, лучший краснобай при дворе, по имени Феодот, то есть «Жертва богу», превосходил вредоносностью двух других — он получил образование ритора, мог переспорить кого угодно и сам получал наслаждение от своих бесконечных витиеватых фраз.

Феодота назначили воспитателем будущего наследника. Он вертел своим подопечным как хотел. Это было нетрудно: все наследственные пороки Лагидов, казалось, сконцентрировались в последнем мужском отпрыске семьи. Стоило лишь шепнуть царевичу какую-нибудь гадость о сестре, — например, что Клеопатра мечтает править единовластно (что, в сущности, не было неправдой), или что она желает смерти своего отца (совершенная ложь), или что не собирается выполнять условия отцовского завещания (это мнение ничем не подтверждалось, но, с другой стороны, и не было абсолютно неистинным), — как этот мальчишка, в котором уже проявлялась предрасположенность к самодовольному эгоизму и коварству, начинал демонстрировать безграничную любовь к трем своим приближенным.

Из трех его советчиков евнух представлял наибольшую опасность. Он добился, чтобы ему присвоили пышный титул «отец-кормилец Ребенка», а это означало, что с того дня, когда Флейтист испустит дух, именно он будет вершить закон. Потому что в случае, если новый фараон окажется слишком юным, чтобы осуществлять власть, по обычаю следовало (даже если рядом с ним будет Клеопатра, его сестра-супруга, вполне способная его заменить) назначить регентский совет, задача которого — охранять его права вплоть до совершеннолетия. Было вполне очевидно, что евнух возглавит этот совет. И Клеопатре придется с ним считаться — перспектива, которая совсем ее не прельщала.

Ибо Флейтист, чье состояние неуклонно ухудшалось, уже давно полагался во всех делах на свою дочь. Она получила титул царицы. Считалось, что Клеопатра и ее отец правят Египтом совместно, однако фактически вся власть была сосредоточена в ее руках. Она терпеть не могла придворных; ее собственное окружение составляли люди из Мусейона и Библиотеки, среди которых были самые знаменитые ученые того времени — врач Диоскорид и астроном Сосиген; и по мере того как проходили недели, мысль о том, что однажды ей придется разделить власть с евнухом и двумя его приспешниками, становилась для нее все более невыносимой. Со всем пылом своих восемнадцати лет она хотела и дальше принимать решения и править страной единовластно. И очень скоро уже не могла скрывать своего отвращения к Желанному. Как, впрочем, и он — своего отвращения к ней.

*

Честолюбие против честолюбия: так началась война между пылкой принцессой царских кровей и хитрым карьеристом, чье происхождение вообще неизвестно. Впрочем, очевидно, что ненависть Клеопатры к евнуху проистекала не из ее презрения к телу кастрата: при восточных дворах таким людям, наоборот, всегда особенно доверяли. В тех странах, где судьба народов находится в руках потомственных вельмож, где политика напрямую зависит от адюльтеров и инцестов в царской семье, традиционно считалось, что евнухи, не способные обрюхатить царевну или царицу, не подвержены искушению свергнуть законного царя, поскольку сами они не в состоянии иметь потомства, которому могли бы передать узурпированную власть.

Этот вывод, мягко говоря, довольно легковесен; и вообще, Птолеми, похоже, не слишком доверяли евнухам: если последние и получали должность первого министра, то не более чем на год. Иногда, правда, если министр вел себя безупречно, его мандат продлевали. Клеопатра сама, в последние месяцы жизни Флейтиста, выбрала себе в помощники евнуха.

Его звали Гефестион — это все, что мы о нем знаем. Он, несомненно, продолжил дело Флейтиста и посвящал молодую царицу в дворцовые интриги, а также учил ее управлять страной. Он, как и все александрийцы, не мог не знать, что, как только Флейтист умрет, разразится война между Клеопатрой и Желанным — за последние три столетия под портиками Александрии происходили десятки таких войн. Борьба, как обычно,

закончится лишь тогда, когда оба противника полностью исчерпают возможности своего воображения по изобретению всяческих вероломных интриг. Закончится уничтожением царицы или евнуха, потому что для побежденного нет места среди живых — его уделом может быть только смерть, только кровь.

*

Гефестион ли объяснил царице — когда Флейтист уже мучился в агонии, — что она может на время парализовать регентский совет, если немедленно возьмет под свой контроль все, что имеет отношение к смерти ее отца? Во всяком случае, похоже, Клеопатра скрывала факт кончины Флейтиста в течение если не недель, то, по крайней мере, нескольких дней. Вероятно, чтобы контролировать события, она заранее запретила посторонним входить в царские апартаменты. Очевидно одно: по чьей-то подсказке или самостоятельно, но она твердо решила пресекать всякие попытки учреждения регентского совета.

Чтобы добиться этого, она готова была использовать любые средства; пример отца и пример сестры, Береники, показали ей, что единственной истинной опорой любой власти является не группа приверженцев, не деньги, не армия и тем более не муж, а только народ. Не позволять другим навязывать ей свою волю, всегда принимать решения, издавать декреты, организовывать управление, полагаясь только на собственный разум, — вот к чему она стремилась; но она также была полна решимости не предпринимать ничего, не обеспечив себе предварительно поддержку своей страны. Александрия, несмотря на все ее усилия, относилась к ней с откровенной враждебностью. Ну что ж, Александрия — еще не весь Египет.

Она ждала благоприятного случая. И он представился очень быстро, причем о лучшем нельзя было и мечтать: в городе Гермонтисе умер священный бык.

*

Его называли Бухие; малейшее его движение — то, как он лизал руку посетителя, как ел или отказывался есть лакомства, которые ему приносили, — позволяло предсказывать будущее. Ибо в нем, как говорили,

воплотилась душа Амона-Ра, династического бога фараонов. Вот почему, когда такой бык умирал, его надо было безотлагательно заменить другим. Жрецы лихорадочно прочесывали сельскую округу; обойдя множество полей, заглядывая по пути во все стойла, они наконец отыскали животное, пятна на шкуре которого указывали на то, что бог избрал именно его плоть в качестве нового прибежища для своей бессмертной души. Только этот бык мог открывать тайны будущего, охранять посевы; его следовало как можно скорее доставить в храм, где отныне ему предстояло жить.

Это будет великий праздник; на глазах вельмож и взбудораженной толпы пестрого быка поднимут на борт священной барки. Его украсят десятками амулетов, на шею наденут венки из благоуханных цветов. Во все время его медленного плавания по Нилу и еще долго после того, как его торжественно введут в священную ограду, будут звучать многочасовые литании, нескончаемые молитвы. На земле будут чертить магические рисунки и над этими таинственными узорами воскуривать благовония, от которых кружится голова. Этот ритуал был таким длинным и непонятным, что Птолемеи никогда не участвовали в нем лично, а посылали своих представителей — каких-нибудь усердных придворных.

Но Клеопатра решила сама возглавить праздничные торжества. До нее никто этого не делал, а кроме того, фараон, как было официально объявлено, находился при смерти. Однако она увидела несомненную параллель между судьбой царства и судьбами священных быков: точно так же, как дух бога покидал тело умершего животного, чтобы тотчас воплотиться в другое тело, молодое и энергичное, не менее божественная душа агонизирующего фараона готовилась к тому, чтобы воплотиться в его преемнике, то есть в ней^[39].

Это произойдет уже скоро. Когда-нибудь она будет править вместе со своим братом. Но сперва, в течение некоторого времени, одна. Ее брат еще слишком юн, да и царь пока не умер. Времени впереди много.

Итак, Клеопатра спускалась вниз по течению Нила в священной барке, сопровождая молодого быка; она принимала дань уважения от пораженных ее присутствием восхищенных толп, не показывая своей усталости, выслушивала литании жрецов, пьянела от запаха дымящихся благовоний. В результате за один день — в точности как ее бабка, которая воспользовалась рождением быка Аписа, чтобы заставить всех признать наследником фараона своего новорожденного сына, отцом которого был ее дядя Пузырь, — Клеопатра сумела подтвердить законность своих прав на престол. Ибо одним лишь фактом своего присутствия на церемонии, этим театральным жестом, она ободрила египтян, показав им, что в мире ничего

не изменилось, что у них по-прежнему есть царь — или царица — как посредник, передающий людям энергию богов. Все уверились, что, пока она будет управлять страной, порядок вещей останется таким же, каким его много веков назад описали древние на своем священном языке: будут небо, укрепленное на четырех опорах; земля, прочно стоящая на своих фундаментах; солнце для того, чтобы светить днем, и луна, чтобы светить ночью; разливы Нила, происходящие в четко установленные сроки, и поля, оплодотворяемые этими разливами; Сириус, владыка звезд, Осирис-Орион, все прочие звезды на их местах и Ра — отныне и до конца времен.

Тем не менее для жрецов остался неясным один вопрос: кто же все-таки станет фараоном? Сама Клеопатра предусмотрительно предпочла не давать на данный вопрос однозначного ответа; об этом свидетельствует надпись, которую она повелела выгравировать, чтобы увековечить торжественное событие: *«Царица, госпожа Обеих земель, Богиня, любящая своего отца, сопровождала Священного Быка в его плавании в барке Амона до Гермонтиса...»* Нигде в этой надписи не упоминаются ни Флейтист, ни тем более ее брат. Далее текст становится еще более двусмысленным, ибо Клеопатре приписывается царский титул, и при этом невозможно понять, хотели ли жрецы таким образом подчеркнуть, что на церемонии умирающего Флейтиста представляла его дочь, или же предполагалось, что молодая царица, по причине ухудшившегося состояния ее отца, уже правит единовластно — в ожидании того гипотетического момента, когда она вступит в священный брак со своим братом.

Однако это двусмысленное положение, хотя и было удобным, не могло продолжаться вечно. Да, конечно, царица очень умело обыграла возглавляемое евнухом трио на том поле — я имею в виду территорию, где жили коренные египтяне, — которое совершенно ускользнуло от их внимания. Они, бесспорно, восприняли это как оскорбление. Но Клеопатра не могла бесконечно отодвигать тот день, когда Флейтист умрет или когда о его смерти будет официально объявлено, — а после похорон неизбежно встанет вопрос о наследовании. Она одержала победу в первом туре; более того, ее положение давало ей возможность самой выбирать оружие, ибо она держала в своих руках бразды правления. Да и стоило ли их у нее отбирать? Рано или поздно она сама совершит промах: так бывает со всеми, даже самыми хитрыми людьми, которые внезапно оказываются у кормила верховной власти. И такой случай трое ее врагов не упустят — как сама царица не упустила благоприятную возможность, которую открыла перед ней смерть священного быка.

Мы не знаем, когда именно Флейтист умер — или, точнее, когда Клеопатра решила обнародовать факт его смерти. Возможно, это произошло в мае или в июне, когда в городе началась жара.

До Рима новость дошла в начале августа. Там продолжали с чрезвычайным вниманием следить за тем, что происходит в Египте, но в письме Цицерона, содержащем упоминание об этом событии, ничего не говорится о волнениях в Александрии. А между тем осведомитель Цицерона был одним из самых информированных в этом плане людей — он, кажется, принадлежал к числу убийц послов Береники. Очевидно, Клеопатра действовала очень энергично: были соблюдены все ритуалы и правила, кортеж плакальщиц сопровождал саркофаг до гробницы, там царя похоронили, украсив обряд благовониями, цветами и молитвами, в самый подходящий момент для того, чтобы обеспечить мирную преемственность власти. А когда она вернулась во дворец, ей, наверное, пришлось, как учил ее отец, искать окольные пути, прибегать к уверткам, притворяться и бесконечно отодвигать сроки, заверяя всех, что она выйдет замуж за своего брата в надлежащее время, и при этом искусно избегать ловушек, которые наверняка расставляли ей ее враги. Как бы то ни было, регентский совет не только не приступил к работе, но даже не был назначен. Как ей это удалось, непонятно. Нам остается лишь констатировать факт: в течение целого года Клеопатра оставалась распорядительницей игры.

Что она почувствовала, когда оказалась одна на троне, в восемнадцать лет, без поддержки столь любимого ею отца, под постоянной угрозой заговора, который наверняка готовили три неутомимых интригана? Мы этого никогда не узнаем. Единственный намек на ее тогдашние страдания — монеты, которые чеканились по ее указу через много лет после смерти Флейтиста, когда она сама уже приближалась к концу своей жизни: на них можно прочесть, рядом с датой ее собственного восшествия на престол, годы правления ее отца; значит, до самого конца она продолжала помнить о нем, вдохновляться им. Наверное, на следующий день после его кончины все это уже было: непроходящая боль, сублимированная отношением к отцу как к идеалу, которому следует подражать. И в самом деле, жизненный путь Флейтиста, который умер в своей постели как абсолютный владыка своего царства и своего дворца, после тридцати одного года особенно беспокойного правления, представлял собой поучительный пример политической эквилибристики и непотопляемости. От отца — просто

наблюдая за его действиями — Клеопатра научилась почти всему, что имеет отношение к власти: как удерживать ее в руках даже в периоды худших кризисов, как вновь вернуть себе трон, если все-таки его потеряешь, как выигрывать время, как лгать, льстить, торговаться. И еще Флейтист ее научил никогда не отчаиваться, если тебя принимают за дурака, а наоборот, извлекать из этого выгоду, и жестоко бороться с врагами, даже если они — твоя плоть и кровь. И тому, что необходимо уйти из жизни, как уходят с банкета — оставаясь хозяином своей судьбы, урегулировав вопрос о наследниках и отведав всех удовольствий этого мира.

При всем том боль, которую испытывала осиротевшая юная царица, наверняка была не такой острой, как хотели бы думать многие сентиментальные люди; тем более что, с детства лишенная матери, пережившая изгнание, трагический конец двух своих старших сестер, разделявшая в течение четырех лет все унижения, которые выпали на долю Флейтиста, Клеопатра знала, что значит пройти полный круг страдания. У нее было время, чтобы подготовиться к одиночеству — этому обычному спутнику абсолютной власти. Наконец, вся Александрия — от греческих кварталов до домов иудеев, от пригородов, населенных египтянами, до дворца — с незапамятных времен виртуозно владела наивысшим из всех искусств, искусством умирать. Город был буквально усеян многочисленными некрополями; эти «самые густонаселенные поселения», как со спокойной покорностью судьбе называли их египетские простолюдины, часто непосредственно примыкали к жилым кварталам. Да и в том месте, где выросла сама Клеопатра, мавзолеи умерших царей располагались вперемешку с другими постройками — вспомним хотя бы о гробнице Александра, о набальзамированном теле великого завоевателя, которое прекрасно можно было разглядеть сквозь стекло. Как все цари из династии Лагидов, Флейтист начал строить для себя последнее пристанище с первых лет своего правления; согласно тогдашним представлениям, его жизнь должна была продолжаться и в гробнице. Там его окружали, как было принято, все его любимые вещи: может быть, флейта, дионисийские маски... В его гробницу часто приходили, чтобы устроить пиршество, выпить вина, которое растворяет печаль и, опьяняя, создает иллюзию, будто царь все еще присутствует в этом мире, разделяет удовольствие своих гостей, ждет новых наслаждений. И потом, разве его любимый бог, Дионис Освободитель, не обещал своим адептам, что разорвет для них цепи смерти?

Итак, кончина Флейтиста не должна была внушать его дочери

ощущение, что время остановилось. Дыхание веков, пульсация мира продолжались. Рождалась новая эпоха, ее эпоха, такая же пламенная, какой была она сама. Правда, в городе по-прежнему поговаривали об оракулах, шепотом распространяли все тот же предательский слух, будто гибель Александрии уже не за горами, будто время греческих царей близится к завершению. Но царица ни на миг этому не верила. Наступающая эпоха казалась ей юной, новой, скроенной по ее подобию. И ей мнилось, что такой эта эпоха и останется.

Клеопатра начала издавать декреты об амнистиях, организовывала праздники, делала все, чтобы убедить своих подданных в наступлении добрых времен и в том, что она — гарант их будущего благополучия. Личность ее брата по-прежнему оставалась где-то на заднем плане, его имя даже не упоминалось в документах. Пока что трио, возглавляемое евнухом, ничего не предпринимало: Клеопатра, как правило, заботилась о сохранении неопределенности своего статуса; было очевидно, что она хочет выиграть время, править единолично, пока ее брат не повзрослеет, не потребует своей доли наследства и места в ее постели. Что же они могли сделать? Она вела свою игру превосходно, особенно если учесть ее юный возраст. Взять хотя бы ее решение о девальвации монеты как минимум на тридцать процентов (после того, как еще при жизни Флейтиста была произведена девальвация на двадцать пять процентов) — эта реформа быстро принесла первые плоды. А кроме того, царица приказала, чтобы на этих монетах — впервые за всю историю династии Лагидов — выгравировали обозначение точной стоимости металла; поэтому каждый был обязан принимать их по официальной стоимости, и это оказалось очень выгодным для царской казны, которая начала пополняться. Клеопатра так гордилась этой мерой, что велела чеканить на реверсе монет, на лицевой стороне которых изображался рог изобилия как символ ее политической программы, свой собственный профиль — без какого бы то ни было намека на существование маленького Птолемея. Ни одна из тигриц, которыми славилась семья Лагидов, начиная со Шкваржи и кончая Береникой, не отваживалась на подобную дерзость.

И никто ей не возражал. Да и как можно было бы поднять мятеж? Страна пребывала в спокойствии; армия, которая в прошлом так часто возводила на трон и свергала с трона владык Египта, оставалась верной Клеопатре. Кроме того, римлянин Габиний, сразу же после восстановления власти Флейтиста, сделал царю подарок: оставил ему свой отряд отборных наемников, германцев и галлов, — с тем чтобы они, как сперва предполагалось, подавляли возможные выражения недовольства против

агентов фиска. Оказавшись в роскошной Александрии, эти иноземные солдаты быстро забыли римскую дисциплину, обзавелись женами местного происхождения, обрюхатили их и уже не желали жить где-либо еще, кроме как в щедром на удовольствия Золотом городе. В случае малейшей тревоги царица вполне могла положиться на них: тому, кто захотел бы восстать против нее, сперва пришлось бы иметь дело с ними.

И тем не менее именно эти наемники в самый неожиданный момент невольно сыграли на руку пресловутому трио. В то время царица была занята укреплением своей власти во дворце и на всей территории Египта, а потому ничуть не интересовалась тем, что происходит за пределами ее границ, и вообще еще не понимала, что в силу некоего противоестественного стечения обстоятельств события, случающиеся в Риме, неизбежно находят свое завершение на берегах Нила. Она, наверное, только рассмеялась (своим прославленным в веках смехом), когда узнала, что парфяне, ободренные тем сокрушающим поражением, которое недавно нанесли Крассу, вторглись в Сирию и что новый наместник этой провинции, некий солдафон по имени Бибул, в прошлом один из самых ревностных сторонников идеи превращения Египта в римскую провинцию, теперь дрожит от страха, видя, как его легионы падают под ударами парфян, и обращается к ней, Клеопатре, за помощью.

Бибул, при всем его скудоумии, наверное, отдавал себе отчет в том, что договориться с царицей будет нелегко, и потому направил к ней в качестве послов двух своих сыновей. Действительно, добиться того, чего он хотел, было непросто: он просил отправить на сирийскую границу отряд наемников, в свое время оставленный в Египте Габинием. Можно было побиться об заклад, что Клеопатра ему откажет; что же касается самих солдат, то они отнюдь не горели желанием вновь, после безудержных удовольствий Александрии, окунуться в суровую и грубую жизнь воинов Римской Волчицы.

Враждебность александрийцев ко всему римскому достигла такого накала, что слух о прибытии двух сыновей Бибула распространился мгновенно. О цели их приезда тоже стало известно, и наемники пришли в возбуждение. Однако властность царицы произвела на них впечатление: восставать они не собирались. Они сделали лучше — убили двух римских юношей.

Клеопатра оказалась в тупиковой ситуации: наемники подчинялись ей, а ее связывали с Римом союзнические отношения, официальным же главой этого государства оставался Помпей, которому она была обязана своим тронem и своей нынешней независимостью; ей, следовательно, надлежало

покарать виновных. Но это неизбежно навлекло бы на нее гнев александрийцев, которые помнили, что Бибул в свое время хотел положить конец независимости Египта.

Однако, с точки зрения Клеопатры, к ней обратился за помощью не Бибул, а само Римское государство. Римское государство и, главное, Помпей, этот благородный человек, всегда защищавший ее и ее отца от александрийцев, которые, напротив, никогда ее не любили.

И она поставила на Рим, а не на Александрию, подобно тому, как еще при жизни Флейтиста поставила на провинциальный Египет и разыграла эту партию в своей всегдашней манере: хладнокровно, без лишних эмоций. Очень быстро она отыскала убийц двух римлян и направила их в Сирию с надежным эскортом, закованных в цепи, чтобы подчеркнуть свое возмущение по поводу совершенного ими преступления. Она все-таки не выполнила просьбу Бибула, решила приберечь наемников для себя. И тем не менее поступок означал, что она позволила себе удовольствие, о котором давно мечтала: бросила вызов жителям Александрии. Для нее это был способ отмстить за отца, показать его врагам, что, несмотря на их интриги и злые насмешки, она всегда будет поступать так, как пожелает, потому что у нее есть другая, настоящая опора: земледельцы и жрецы Египта, которым она сумела внушить надежду, уже приносящую первые благие плоды.

К несчастью, она поступила так, не приняв во внимание хитросплетения римской политики. Бибул, этот недоверчивый латинянин, очевидно, понимал, что ее решение по злосчастному делу наемников может иметь в Египте неконтролируемые последствия. Он предпочел предоставить Клеопатре самой разбираться с ее врагами, отказался от права лично наказать убийц своих сыновей и передал это дело на суд сената.

Александрийцы уже не находили достаточно сильных слов, чтобы выразить свое возмущение царицей: она, как и ее отец, — содержанка Рима; и именно в Италии решаются судьбы их страны, даже когда речь идет о самом дорогом — об их безопасности, об их армии.

Трио ликовало: наконец-то им представился подходящий случай. Но они поначалу действовали очень осторожно, почти незаметно: царица, даже когда ее позиции пошатнулись, оставалась сильным противником. Во всяком случае, никаких попыток отстранить ее от власти силой не предпринималось. Однако очень скоро после совершенного ею промаха Клеопатра была вынуждена пойти на учреждение регентского совета. Его возглавил, как она и предвидела, евнух, помощниками которого стали Ахилла и неизбежный Феодот, мастер нескончаемых цветистых речей.

Признав опекунство этих троих, она должна была также признать, что отныне будет делить власть со своим малолетним братом, согласится — в соответствии с завещанием отца — уступить первое место этому брату и в надлежащий момент стать его женой.

Ей все еще позволяли время от времени принимать важные решения; например, она вела переговоры с сыном Помпея, который приехал просить от имени своего отца продовольствие и корабли: Цезарь, вопреки всем ожиданиям, выгнал старшего Помпея из Рима и теперь преследовал его на Балканах. Клеопатра тут же отправила Помпею шестьдесят судов, груженных зерном, и пятьсот наемников. На сей раз солдаты не роптали. В этом, несомненно, сыграла свою роль позиция регентского совета; мнения трех опекунов и самой царицы в данном случае совпали, ибо основывались на одной и той же иллюзии: что Помпей остается абсолютным и неизменным хозяином Рима, а также гарантом независимости Египта. И даже когда в редкие моменты просветлений эта троица и сама царица вспоминали, что ничто в нашем мире не вечно, начиная с империй и их владык, сколь бы могущественными они ни казались, все равно верх брал типичный для греков фатализм, странная смесь завороченности трагедией и любви к простым радостям жизни. В такие минуты они, следуя устоявшейся привычке, обращались к Тюхе, Владычице судеб, приносили ей жертвы и молились у подножия ее статуй, а потом выходили из храма умиротворенными, повторяя себе, как это делали все жители Александрии, что жизнь коротка, удовольствия недолговечны и что наслаждения надо ловить на лету, а дальше будет видно.

Развиваясь таким образом — от ослепления к вероломству, от предательства к интриге, — война между царицей и тремя мошенниками могла бы продолжаться очень долго, если бы страну, впервые за долгие годы, не постигло худшее из возможных бедствий: засуха.

В ПУСТЫНЯХ ВОСТОКА...

(49 г. до н. э. — 16 августа 48 г. до н. э.)

«Черная земля» потрескалась от зноя. Внезапно все покрылось мелким песком, принесенным ветром, поднятым вихрями пустыни. В раскаленном полуденном небе порой мерещился металлический блеск — и тогда казалось, будто боги усмеваются. Весь мир Стал обителью страдания; долина Нила, от одного конца до другого, — огромным незаживающим рубцом. Река обмелела, житницы опустели, колодцы высохли, лица осунулись, люди впали в отчаяние — у них не было больше сил смотреть в сторону истоков реки, ждать первых признаков паводка.

Наступил июль, но и он не принес в должный срок благодатный ил, и стало ясно, что половодья не будет; звезды прокляли Египет, Клеопатра бежала из Александрии.

Ходили слухи, будто ее изгнали горожане, будто троице, наконец, удалось сломать мужество и гордость царицы, которая прежде ничего не боялась. Однако, учитывая то, какой она была, как всегда просчитывала свои поступки, вполне можно предположить, что она сама предпочла на время скрыться из виду, когда поняла: во второй раз со времени смерти Флейтиста поля остались сухими. Две катастрофы менее чем за три года — так не лучше ли на время отложить ту радость, которую она испытала бы, провозгласив себя фараоном?

И ведь пристанищем, которое Клеопатра нашла для себя в конце того знойного лета, стал именно Верхний Египет, Фиваида, где еще более, чем во всех других местах, люди и их жрецы твердо верили: если половодье не приходит, значит, боги разорвали свой союз с царем; значит, первобытный океан, недовольный поведением владыки Египта, решил наказать его, удержав в своем лоне благодатные воды.

И эти люди не отказали в помощи молодой царице: напротив, они предоставили ей убежище в своих храмах. Там никто не сможет на нее напасть, не навлекая на свою голову несчастье, еще худшее, чем засуха.

Там для Клеопатры вновь начинается время ожидания. Жители Фиваиды возлагают на нее все свои надежды; ее час придет, она в этом не сомневается. Трое ее врагов тоже ждут. Впрочем, опасаясь, что она может набрать армию и выступить против него, евнух издает приказ, в соответствии с которым все зерно Египта должно отправляться в

Александрию; под угрозой смерти запрещено посылать его в Верхний Египет или даже в Дельту, где у царицы еще имеются многочисленные сторонники.

Она ничего не предпринимает, не торопится. Она знает, что, заставляя голодать Фиваиду, александрийское трио подрывает основы жизни всей страны. Скоро голод распространится повсюду — среди маслоделов и виноделов, парфюмеров, торговцев папирусом, ткачей, гончаров, ювелиров; он коснется всех — малых и великих; скоро по полям будут бродить живые скелеты, животные и люди станут похожими друг на друга из-за овладевшего ими отупения.

При такой ситуации сколько сможет продержаться Александрия? Клеопатра спокойно ждет, оставаясь в укрытии храмов; каждый день она слышит жалобы людей из занесенной песком долины, простолудинов, которые больше не в силах терпеть голод и унижения. Одни и те же истории об избитых земледельцах, о махинациях агентов фиска, о несправедливых судебных процессах.

И она решает пойти на все, даже на то, что ее проклянет столь любимый ею город. Ее обольстительный голос заставляет людей забыть, что она — гречанка, поверить в скорое наступление лучших дней, времени изобилия, когда боги вновь начнут улыбаться. Сама она ждет своего часа, все еще ждет.

*

В оградах храмов размещались и те «дома жизни», в которых жрецы и писцы накапливали знания, пришедшие из глубины веков; там учились разгадывать сны, проникать в души даже самых скрытных людей, расшифровывая иероглифы — образы, являющиеся по ночам.

Действительно ли Клеопатру привело в храмы желание обучиться этому искусству, как потом упорно твердили? Ничто на это не указывает; однако можно с уверенностью утверждать: ее решение найти себе убежище в регионе, где жрецы хранили самые древние секреты страны, привело к тому, что аура таинственности, окутывавшая ее образ, стала еще более плотной. Никто уже не сомневался в том, что она в совершенстве владеет магическими искусствами. Очень может быть, что они и вправду интересовали Клеопатру; однако еще более вероятно, что знание, которое она приобрела в период этого нового изгнания, было знанием себя самой. Ибо в то время, когда все вокруг нее иссыхало, начался период ее зрелости.

Из заносчивого подростка, из высокомерной и одаренной наследницы царя, бесстыдно желавшей присвоить себе всю власть, она в результате перенесенных испытаний превратилась в опытного игрока, чрезвычайно внимательного и беспощадного, исполненного решимости не совершить более ни одной ошибки.

Потому она и не осталась в Фиваиде надолго. Жрецы и народ любили ее, но она не нашла здесь того, чего искала: армию, воинов. Найти это можно было только гораздо дальше — у людей, которые с начала времен кочевали в глубине пустынь.

Когда-то она выучила их язык. И сейчас, повернувшись спиной к реке, обратилась лицом к Востоку и отправилась в путь.

*

Галька. Прибрежные скалы. Высохшие русла рек, на протяжении тысячелетий не знавшие дождей; неумолимо вздымающиеся волны дюн; проходы между ними, которым не видно конца. Мир прокаленный, ставший известью, камнем; агонизирующая земля. Пылающее солнце в зените и холодные рассветы. И ночь с ее шумом копошащейся жизни — всех этих змей, невидимых в темноте, койотов, пожирающих друг друга крыс. Кровавая, беспощадная борьба — символ ее судьбы.

Они двигались в молчании по неразличимым дорогам; по вечерам люди, которые вели караван, неотрывно смотрели на звезды расширившимися зрачками — совсем как моряки из александрийского порта; и спины верблюдов покачивались, как корабли на волнах.

Ночи, проведенные под открытым небом; звезды, настолько яркие, насколько черна их тайна. Что это — начало или конец времен? — никто не ответит — богов здесь нет или они мертвы — губы кровоточат под вуалью — веки болят, хотя глаза подведены черной краской^[40]... Время от времени в этом лишенном памяти мире все-таки происходят какие-то мелкие события: случаются долгие песчаные бури, или вдруг увидишь испуганную змею в расщелине скалы, или коршунов, которые высматривают питона, или мух, облепивших скелет сдохшего животного, или остатки гробниц, в которых, если верить погонщикам верблюдов, долго покоились древние цари и царицы, в одеяниях, украшенных золотом и бирюзовыми камнями, пока их последние пристанища не были ограблены разбойниками.

И еще — жажда, распухший язык, прерывистое дыхание, заливающий тело пот, часы, такие же монотонные, как дюны... Куда, к какой надежде

или к какому небытию влекут ее эти непреклонные скалы, это жаркое мраморное небо, эта музыка пустоты, это молчание пустыни?

Может, во время этого долгого пути Клеопатра открывала для себя самые важные истины, а может, просто вспоминала сотни резервуаров для воды, вырытых под улицами Золотого города, дыни и виноград Дельты, ледяные кувшины, в которых у нее на родине летом охлаждают фрукты. Однако для того, чтобы обычная девушка двадцати лет, которая хотела начать войну со своими врагами, могла выдержать столько недель в пустыне, ею должна была владеть особая, неотвязная мысль — память об Александре. Ведь и он, возвращаясь из Индии, прошел через то же испытание; он победил не только людей, но и природу, такую же, с какой она столкнулась здесь: камни, песок, песчаные бури, соль, жажду.

Дни борьбы с пустыней, дни напряженной воли. Мужество, которое оттачивается с помощью камней. Сделать свою душу похожей на эти камни, обработать ее, как обрабатывают кремневые орудия. Пустыня как урок.

Нужно было видеть этих бедуинов: всегда в седле, никогда не поддающиеся отчаянию, они умели расшифровывать ветер и небо, как другие люди расшифровывают письма; по рельефу земной поверхности они могли угадать, где прячется источник, и тогда все спешили наполнить бурдюки, утолить жажду, напитаться новой надеждой.

И еще она обдумывала, что ей делать дальше. Задавала себе всегда одни и те же вопросы: где найти воинов, в каком оазисе, в конце какого пути? И как ей уговорить пастухов, чтобы они оставили своих коз и своих женщин ради какой-то юной царицы, которая потеряла свой трон?

Она и на этот раз использовала свое умение обольщать. В конце похода их ожидает золото, обещала она, — горы золота, как во времена Александра. Этого имени никто не забыл, даже в глубине пустыни; здесь тоже родители иногда давали его своим детям.

Кто же она — царица или авантюристка — эта девушка с телом, закалившимся на бивуаках под открытым небом и в ночных переходах? Часто бедуины вообще ничего ей не отвечали. И она не настаивала: ждать и молчать, так здесь принято общаться; нужно вслушиваться в тишину пустыни, ибо в нее вмещаются все истины мира, черное и белое, «да» и «нет». Иногда ей говорили «да»; и так, постепенно, передвигаясь по караванным путям от оазиса к оазису, от рыночной площади к кочевой стоянке, она собрала вокруг себя внушительный отряд. Она миновала Красное море, прошла по дороге Исхода, по дороге тех, кто искал обетованную землю, — через Ханаан и Иудею. Но ее влекла к этим

долинам и сладостным холмам не мечта о падающей с неба манне, о медвяных лучах, золотящих верхушки деревьев. В ее висках пульсировала кровь, возбужденная жаждой реванша, отравленная мыслью о мести.

Говорят, что царица добралась до Сирии, потом вернулась в богатую рынками Иудею, в Аскалон, где вновь увидела море, в этот порт, пропахший оливковым маслом и рыбьей чешуей. Там возобновилась жизнь, которую она любила: некое подобие власти, маленький двор, здание с колоннадами, заменившее ей дворец. Она принялась обустроить этот свой мирок: занялась чеканкой монеты, раздобыла, неизвестно какими путями, достаточно денег, чтобы прокормить и вооружить людей, которых собрала вокруг себя. И вот пришел день, когда она решила перейти в наступление.

*

Она выбрала для своего возвращения сентябрь, месяц, когда кончается жара. Она хотела вернуться домой дорогой Александра, то есть тем же маршрутом, каким шел военачальник, восстановивший власть ее отца, — красивый римский атлет, который так любил лошадей. Теперь она, в свою очередь, рискнет миновать лагуны — болота, зараженные нечистым дыханием бога пустыни; она отважно проведет людей через тростниковые заросли и узкие проходы, через океан дюн. В конце концов она доберется до Пелусия и овладеет им; оттуда двинется в Дельту и подойдет к стенам города, своего города. В точности как римлянин, который любил лошадей. И как Александр. Она будет третьей из тех, кто бесстрашно прошел по этому пути. И первой женщиной.

Враги, очевидно, ее ни в грош не ставили. Ее маленькое войско не встретило никого — ни в болотах, ни в дюнах. Но в момент, когда она собиралась атаковать Пелусий, между морем и горой появилась армия, которую нетрудно было узнать: орда галльских и германских наемников, чьих вождей она недавно выдала римлянам и которые горели желанием рассчитаться с ней. Во главе отряда гарцевал Ахилла, рядом с ним задышался под золотой кирасой хрупкий мальчик — ее брат.

Вокруг простирался прекрасный пейзаж, лучший, какого она могла бы пожелать: с одной стороны — море, дюны, илистые болотца; с другой — отроги горы Касион. Величие и ничтожество.

Молилась ли Клеопатра богине судьбы? Мы этого не знаем. Однако необыкновенный случай, который тогда произошел, причем в таких

символических декорациях, должен был, по крайней мере, убедить ее в том, что она угодна богам и что для того, чтобы снискать благоволение Фортуны, ей достаточно продемонстрировать свое мужество: ибо в тот самый миг, когда ей показалось, будто пустыня своим молчанием осуждает ее, на горизонте обозначились паруса, галеры, триремы — римские корабли.

И тут же армия брата потеряла всякий интерес к ее собственной армии: солдатами противника овладело странное возбуждение, которое было не приготовлением к бою, а какой-то двусмысленной агитацией, напоминавшей состояние заговорщиков. К кромке воды подтащили рыбацью лодку. Ахилла и один из наемников вскочили в нее, и суденышко направилось в сторону одной из трирем.

Пока лодочка приближалась к триреме, римляне сгрудились на палубе и, несмотря на наличие у них вооруженной охраны и на внушительные размеры судна, казались обеспокоенными. Между ними разгорелся спор, во время которого в кругу мужчин, облаченных в боевые доспехи, вдруг вынырнула фигурка очень красивой женщины, одетой, как и они, по римской моде; женщина разразилась какими-то жалобами.

Лодка коснулась борта триремы. Солдат, сопровождавший Ахиллу, сделал знак одному из пассажиров, приветствовал его по римскому обычаю, с большим почтением, а потом указал ему на свою лодку, как будто предлагал отвезти на берег.

Несколько мгновений человек этот оставался в нерешительности. За спиной у него его товарищи вновь начали возбужденно жестикулировать и спорить. Тогда вмешался Ахилла, сидевший в лодке; очевидно, он уговаривал римлянина, так как показывал ему то на борт галеры, то на заболоченную береговую полосу, словно желая объяснить, что трирема там увязнет. Между тем египетские барки лавировали в этих протоках без всякого труда; да и сейчас можно было видеть, как десятки таких легких судов возникают, как по волшебству, отовсюду; и на пляж, между дюнами, высадились уже сотни солдат.

Римлянин все еще размышлял. Казалось, его что-то смущало, но, похоже, выбора у него не было. Наконец он повернулся к жене, крепко обнял ее и спрыгнул в лодку; за ним последовали два раба. Он обменялся парой слов с солдатом, который ранее его приветствовал и которого он, похоже, хорошо знал; потом опустился на скамью и, достав из-под плаща небольшой текст, стал его читать, — впоследствии выяснилось, что это была приветственная речь, адресованная юному фараону.

Лодка беспрепятственно достигла берега. Женщина на борту триремы,

кажется, обрела новую надежду — во всяком случае, она более не жаловалась. И действительно, не успела барка причалить, как вокруг нее столпились приближенные Птолемея и стали почтительнейше приветствовать гостя.

Римлянин казался совершенно изможденным; чтобы подняться и сойти на берег, ему пришлось опереться на плечо одного из своих рабов. Вот тут-то его и ударили мечом. Он рухнул на землю.

На него градом посыпались новые удары. Ему еще хватило сил прикрыть голову полой тоги, чтобы предстать перед вечностью с не обезображенным ранами лицом. Потом произошла сцена, напоминающая финал охоты: египетские барки устремились к берегу на всех парусах, солдаты торопились спуститься со склонов дюн, каждый норовил ударить своим мечом еще не остывший труп; потом убитому отрубили голову, а тело бросили на песок, как швыряют говяжьи туши в мясной лавке; потом еще долго не смолкали крики, выражавшие дикарскую радость, люди бегали, сгибаясь под тяжестью бурдюков с рассолом, выливали их содержимое в огромный кувшин и наконец погрузили туда голову с вылезшими из орбит глазами — голову Помпея.

ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ ХОТЕЛ СТАТЬ ЦАРЕМ

(16 августа — начало сентября 48 г. до н. э.)

Полоса пляжа теперь была пустой. На мгновение из-за дюны показался юный Птолемей, неуклюжий в своей золотой кирасе, которую прежде носил только на парадах. Он с удовлетворением осмотрел труп, потом отдал распоряжение своим солдатам, чтобы они покинули это место и построились напротив войска его сестры.

Ликующая и свирепая, его армия отошла на новые позиции, оставив на песке обезглавленное и совершенно обнаженное тел. На горизонте еще можно было различить римские трирцы, которые, подняв все паруса, трусливо обратились в бегство.

Среди дюн появился какой-то человек. Это был сопровождавший Помпея раб, которому чудом удалось уцелеть. Он подтащил труп к берегу, омыл его морской водой, стянул с плеч свою бедную рубаку и кое-как обернул ею тело; потом заметил в нескольких шагах от себя остатки выброшенного на берег баркаса, разломал его на куски, сложил некое подобие погребального костра и сумел его поджечь. Однако пламень горит плохо, и прошел весь следующий день, прежде чем огонь поглотил останки завоевателя.

Занесло ли сюда Помпея случайными ветрами? Или он хотел просить помощи у ребенка-царя, чьим опекуном сенат несколько месяцев назад назначил именно его, Помпея? Ясно одно: после сокрушительного поражения, которое Цезарь нанес ему в Фессалии, Помпея мог спасти только Египет. Помпей ни минуты не сомневался в преданности ему юного Птолемея — впрочем, он давно уже ни в чем не сомневался. Так, при Фарсале, за шесть недель до своей смерти, он был настолько уверен, что победит — имея сорок пять тысяч пехотинцев против двадцати двух тысяч пехотинцев Цезаря и семь тысяч всадников против какой-то жалкой тысячи всадников, которыми обладал его противник, — что, прежде чем переходить в наступление, устроил в своем лагере грандиозный банкет. И тем не менее Цезарь его победил: он убил пятнадцать тысяч помпеянцев, потери же убитыми в его собственных рядах исчислялись, как ни странно,

всего двумя сотнями человек. Помпей постыдно бежал; и когда победитель захватил его лагерь, он увидел столы, украшенные свежими цветами, нетронутые блюда, кувшины и бокалы, наполненные вином, — как будто пиршество приготовили для призраков.

Едва ли поколебленный в своем неистощимом самодовольстве и по-прежнему смотревший на мир сквозь прищур своих маленьких поросячьих глаз Помпей посадил свое воинство на корабли и взял курс на Египет; и даже когда уже можно было различить вдали египетскую армию и флот, когда его жена Корнелия заподозрила ловушку и сам он почуял неладное, он все-таки быстро отбросил неуместные сомнения: разве он не был Великим Помпеем, победителем Африки и Востока, полководцем, удостоенным трех триумфов (причем последний из них обозначался как триумф *de orbe terrarum*, «над всем кругом обитаемых земель»), человеком, который во времена Каталины сумел одним щелчком опрокинуть Римскую республику? Судя по всему, он и сейчас остается владыкой мира, единственным достойным соперником Александра; он оказывает огромную честь Египту, нанося визит своему тринадцатилетнему воспитаннику, который вообще ничем еще себя не проявил, этому юнцу, чей пепел давно бы развеяли по ветру, если бы он, Великий Помпей, по своей щедрости не приютил у себя в доме, не кормил и не ублажал его лишившегося всех прав отца; и пусть этот жалкий царек, к тому же иностранец, только посмел подумать о том, чтобы поднять руку на римлянина...

Однако мальчик-царь даже не потрудился обнажить свой меч: он был фараоном, и для таких дел у него имелось достаточно исполнителей. Его главнокомандующий поступил вполне в духе Лагидов — нанес Помпею удар в спину, рукою наемника. Завершил начатое сам Ахилла, предварительно убедившись, что ему осталось только прикончить умирающего. Наконец, троица сочла, что молодому царю пора возвращаться к его делам, то есть к предстоящей схватке с сестрой. Очевидно, с ней собирались расправиться еще более впечатляющим образом.

*

Но Клеопатра так и не увидела неприятельской атаки; благодаря шпионам, которых она, следуя примеру Флейтиста, заслала в войско брата и в александрийский дворец, она очень скоро поняла, почему: после Фарсала Цезарь бросился в погоню за Помпеем; он снарядил небольшой

флот, на кораблях которого разместил три тысячи двести легионеров и восемьсот всадников, и теперь со дня на день должен был появиться в александрийском порту. Это будет очень важный визит: и потому, прежде чем переходить в решающее наступление, трио предпочитало дожидаться прибытия высокого гостя.

Приближение Цезаря и было единственной причиной, побудившей трех интриганов, которыми на сей раз верховодил Феодот, убить Помпея. Когда стало известно, что Цезарь спешит в Египет, члены тройственной группировки перессорились между собой; один склонялся к тому, чтобы встать на сторону Цезаря и отказать Помпею в пристанище; другой, напротив, считал, что они многим обязаны Помпею и потому должны устроить ему торжественную встречу.

Феодот, вероятно, решил, что ему представился шанс увековечить в истории свой риторический гений; во всяком случае, он использовал весь арсенал имевшихся у него в запасе стилистических средств — сбалансированную композицию, метафоры, синекдохи — и, несомненно, опьяненный собственным красноречием, долго и искусно доказывал евнуху, Ахилле и малолетнему царю, что, если они примут Помпея, Цезарь станет их смертельным врагом, если же выпроводят, Помпей им отомстит.

По мнению Феодота, у них был только один выход: заманить Помпея в ловушку и убить; тогда они задешево обеспечат себе благодарность Цезаря и впоследствии смогут легко убедить его признать независимость Египта. Разумеется, придется убрать Клеопатру — и тогда выигрыш будет у них в кармане.

Три его оппонента, казалось, заколебались; и тогда Феодот, осознав, что уже близок к цели, сделал паузу и завершил свою речь эффектной фразой: «Мертвец не кусается». Эта формула и решила дело; все тотчас согласились устроить Помпею западню.

Когда Клеопатра об этом узнала, к ней вернулась надежда. От отца она слышала достаточно рассказов о Цезаре, чтобы понять: он останется верным старой политике Волчицы и всегда будет с подозрением относиться к Египту — даже если молодой царь поднесет ему на блюде (в буквальном смысле слова) голову Помпея.

Конечно, человек, который вскоре обогнет Фаросский маяк, всегда был заклятым врагом всего семейства Лагидов. Но кто сейчас в первую очередь символизирует это семейство? Ее брат и три его прислужника, которые разыгрывают из себя министров. Разумеется, ее собственное положение тоже достаточно двусмысленно: еще совсем недавно она поддерживала Помпея, отправила ему корабли и продовольствие. Однако законы

политики подобны законам войны, политические альянсы тоже распадаются в один миг; не Цезаря этому учить: уж он-то без зазрения совести предавал друзей, с которыми его связывала тридцатилетняя дружба, — начиная с Красса и кончая тем несчастным, чье обезглавленное тело только что догорело на берегу моря. Значит, у нее в запасе по крайней мере еще одна партия.

Она еще раз сыграет ва-банк. А пока ей опять придется ждать и, по возможности, избегать сражения. Так она и поступила. Но не повернула назад. А просто спокойно наблюдала, как армия противника блокирует дорогу к Александрии, и, во второй раз в жизни, положила на двух своих самых надежных союзников — терпение и случай.

*

Вначале события развивались в точном соответствии с придуманным ею сценарием: евнух и Феодот предоставили Ахилле и мальчику-царю держать оборону среди песков, а сами отбыли в Золотой город, захватив с собой кувшин с рассолом, в котором мариновалась голова Помпея, чтобы поднести ее Цезарю в знак своей доброй воли — как неопровержимое доказательство гибели его соперника.

У них не было причин беспокоиться о сохранности этого зловещего консервированного фрукта, ибо они собирались приложить к нему перстень главнокомандующего, с печатью, изображающей льва с мечом, — ею Помпей скреплял все свои послания.

Через четыре дня, как и сообщали соглядатаи Клеопатры, тридцать пять галер, на которых Цезарь собирался преследовать своего врага, вошли в Большой порт Александрии. На набережной их уже давно ожидала группа встречающих, что было заранее согласовано с евнухом. Процессия двинулась к кораблям; во главе ее вышагивал Феодот со своим полусгнившим подношением — этой чести он удостоился по праву, ибо идея злодеяния принадлежала ему. Подойдя к краю пристани, он сел в лодку, доплыл до триремы, на борту которой находился Цезарь, и без лишних слов передал императору голову его врага.

К величайшему удивлению Феодота, Цезарь не вынес этого зрелища. Он отвернулся и заплакал. Феодот хотел ему что-то объяснить и протянул перстень. Несмотря на свои слезы, Цезарь заметил, как что-то сверкнуло меж пальцев ратора, и выхватил кольцо.

Этот внезапный грубый жест после не менее странного потока эмоций

показывает, насколько император был вне себя. Но ведь в конце концов, рассуждали потом люди, Цезарь столько лет пытался уничтожить Помпея; разве, увидев его мертвым, он не должен был обрадоваться тому, что теперь надежно защищен от Случая, единственной иррациональной силы, чью власть над людьми он признавал; тому, что какой-то глупец избавил его, Гая Юлия Цезаря, от необходимости совершить грязное дело — пролить кровь самого великого из римлян?

Говорить так — значит не понимать, какие чары таятся в ненависти, и забывать о том, что эта страсть Цезаря, которой он отдал столько дней и ночей, внезапно лишилась своего объекта. Одного этого с лихвой хватило бы, чтобы он потерял свое легендарное хладнокровие, тем более что мертвую голову злейшего врага ему поднесли неожиданно; и что в ту же секунду он должен был осознать: он обязан своей победой не кровавой, но честной битве, а тому, что более всего презирал в человеческой натуре, — животной тупости и подлости.

А ведь голова с искаженным судорогой лицом, оказавшаяся в руках у Феодота, была не просто головой воина, которого он, Цезарь, яростно преследовал с тех пор, как перешел Рубикон, — это была голова мужчины, чью жену он недавно соблазнил. И более того, голова супруга, которого двенадцать лет назад он сам выбрал для своей единственной дочери, Юлии, так сильно любимой им и еще более обожаемой Помпеем, — для этой замечательной женщины, всю жизнь разрывавшейся между отцом и мужем и умершей в двадцать девять лет неудачными родами (мальчик ее тоже погиб). Именно над ее мертвым телом впервые вспыхнула война между двумя мужчинами, ибо Цезарь, в то время уже одержимый мистико-династическими идеями, заставил своего зятя и соперника захоронить ее прах в священной земле Марсова поля, тогда как Помпей хотел оставить урну у себя.

Это о ней, своей единственной дочери, и о своем умершем внуке плакал Цезарь, когда отвел взгляд от головы, уже начавшей испускать зловоние, несмотря на пропитавший ее соляной раствор. Радость и страдание неразрывно слились в его душе; и только такие мелкие подлецы, как евнух и Феодот, могли воображать, будто, узрев их чудовищный подарок, Цезарь от радости пустится в пляс на палубе триремы. Сформировавшийся под влиянием самых утонченных философских систем, которые учили отстраненности от мира, и, с другой стороны, под влиянием жестоких реалий войны; развращенный хитросплетениями политики, но черпавший новые силы и новую молодость в превратностях походной жизни, которая вела его от Галлии к Германии, и еще дальше, к варварам

острова Британия, Цезарь в свои пятьдесят три года был человеком, чьи эмоции отличались не примитивностью, а наоборот, чрезвычайной сложностью, бесконечным разнообразием проявлений. Он уже узнал столько вещей — разве что не успел увидеть весь мир, не предчувствовал собственной судьбы. Именно этого он ждал от Египта: инструмента, который поможет ему завершить свой земной круг. Он огибал Фаросский маяк с тем же волнующим чувством ожидания, какое испытал в утро Фарсальской битвы, — и все это лишь для того, чтобы, едва причалив к берегу, увидеть полусгнившую голову, страшный символ украденной у него победы.

Однако его замешательство длилось недолго; внезапно перестав плакать, Цезарь резким движением выхватил перстень из руки Феодота: ему показалась нестерпимой сама мысль, что холуй иностранного царька будет, играя этим кольцом, хвастаться своим участием в подлом убийстве величайшего из римлян.

*

Несмотря на то, что сама она в тот момент находилась далеко от Цезаря и вообще всегда относилась к нему с сильным предубеждением, Клеопатра все это сразу поняла. Потому что не только получала информацию обо всех, даже самых незначительных, событиях в Александрии, но и анализировала, расшифровывала эти события, тщательно взвешивала текущее соотношение сил и не позволяла себе пустых домыслов. Цезарь плакал над головой Помпея: очень хорошо, значит, он цивилизованный человек. Как и она сама. Следовательно, придет день, когда они смогут поговорить.

И вот в пустыне, где она ждала войны, которая все не начиналась, Клеопатра стала думать о том, когда придет этот день. Без эмоций — как всегда, когда производила расчеты. И она написала Цезарю, вероятно, чтобы предложить ему встречу. Это был мастерский ход.

Между тем несмотря на свой удивительный дар предвидения, она даже на миг не могла вообразить, что Цезарь, едва его трирема причалит к берегу, одним ударом опрокинет весь ее сценарий. Позволил ли он себе опьяниться этим волшебным моментом, радостью от того, что наконец ступил на землю, страстно любимую им еще со времен юности, что воочию видит Маяк, Библиотеку, Мусейон, рога изобилия, которые украшают каждый фронтон Александрии, как бы намекая, что она — не только

интеллектуальная столица мира, но и богатейший из всех известных городов? Или, оказавшись в местах, которые были так похожи на пышные театральные декорации, он не смог побороть головокружительное искушение превратить свой выход на эту сцену в незабываемое зрелище? Или захотел немедленно показать евнуху и царю-мальчишке, что им, осмелившимся поднять руку на Помпея, понадобится куда больше смелости, чтобы атаковать его? Во всяком случае, в его вызывающем поведении ничто не напоминало обычную сдержанность Цезаря, свойственное ему удивительное понимание людей и ситуаций. Потому что, не соблюдая никаких приличий, он вступил в город как римский консул, находящийся на территории Рима: перед ним шли двенадцать ликторов, а за ним — его легионеры. Он направился напрямиком к царскому дворцу и там обосновался.

Обосновался вместе со своим оружием и багажом, как законный владделец, даже не попытавшись как-то объяснить это вторжение ребенку-царю или евнуху, не сказав им ни единой любезности. В общем, как хозяин города, чуть ли не как владыка Египта. И, главное, как человек, которого облекла властью Римская республика. В том, как он завладел дворцом, ощущалось нечто гораздо более серьезное, чем простое нахальство. Эта была та же надменная целеустремленность, что впервые обнаружилась два года назад, когда он перешел Рубикон и объявил гражданскую войну. Можно было подумать, что и теперь им движет тогдашняя непреодолимая одержимость; что и теперь он обернется к солдатам и крикнет им, как крикнул тогда: «Вперед, куда зовут нас знаменья богов и несправедливость противников! Жребий брошен»^[41].

Ибо то, что происходило здесь, когда он поселился среди колоссов древних фараонов, было началом осуществления его давней мечты об универсальной монархии. Благодаря сокровищам Египта и исключительному географическому положению этой страны, позволявшему превратить ее в идеальную базу для новых войн на Востоке, Цезарь мог теперь завершить завоевание мира и единовластно править им, то есть воплотить в жизнь несбывшуюся мечту Александра. Помпей умер, и ничто более не мешало ему осуществить это желание, которое он вынашивал с двадцати лет и во имя которого, тридцать два года спустя, развязал гражданскую войну.

И проект этот не вмещался в тесные рамки политических амбиций, но имел грандиозные контуры утопии. То, к чему стремился Цезарь — после многих десятилетий споров на Форуме и скитаний по неисследованным землям, — было реализацией идеи единства Рима. Он хотел поместить Рим

в центр умиротворенного им, Цезарем, мира, охватывающего все обитаемые земли — от Британии до Парфянской империи, от Германии до самой отдаленной границы африканских пустынь. И сделать Рим гарантом гармонического развития универсума, основав династию, опирающуюся на божественное право, которая будет существовать на протяжении многих веков. Абсолютную империю. Египет был для него только неизбежной стадией, одним из этапов, которые предстояло пройти этому вечно спешащему человеку.

*

Стремительность Цезаря ввергла александрийцев в состояние ступора; может быть, не только их, но и Клеопатру, которая, находясь в пустыне и продолжая ждать от него какого-нибудь знака, еще не поняла, что они оба скроены по одной мерке.

Но она-то была парализована в своих песках, тогда как жители Александрии имели полную возможность показать этому римлянину, что они о нем думают. И их ответных действий не пришлось долго ждать. Уже через несколько часов после описанных событий армия малолетнего царя пришла в состояние возбуждения, а вслед за ней — и все население города. Волнения стали вспыхивать повсюду, во всех кварталах. На людей Цезаря нападали без всякого предупреждения, их убивали десятками, на сей раз даже не затрудняя себя поисками таких предлогов, как, скажем, дохлая кошка. В довершение всех бед задул северный ветер. А ведь старые моряки клялись, что его не будет по крайней мере в ближайшие два месяца. Теперь всякая возможность отступления по морю была для римлян исключена.

Александрия стала для Цезаря гигантской мышеловкой. Менее чем за неделю этот победитель Галлии, легендарный стратег Фарсальской битвы, человек, превосходивший разумом всех своих политических и военных противников, угодил в ловушку, в которую на протяжении последнего столетия не попадали даже самые тупоголовые посланцы Рима.

Цезарь, по своему обыкновению, отреагировал на катастрофу хладнокровно: он вызвал к себе молодого царя и евнуха (велел им пройти на дворцовую территорию с восточной стороны), приказал им расформировать их армию и потребовал безотлагательно доставить ему деньги, которые Лагиды все еще были должны Габинию за восстановление власти Флейтиста. Евнух отнекивался, сколько мог, и в конце концов, совсем отчаявшись, попытался убедить Цезаря, что для того, несомненно,

будет лучше убраться куда-нибудь в другое место, например, в Рим, где в связи со смертью Помпея наверняка возникнут всякие сложности. Цезарь, который специально оставил в Риме Антония, чтобы держать ситуацию под контролем, даже ему не ответил. Он не проявил никакой гибкости и лишь еще раз повторил свои требования.

Началась война нервов. Евнух приказал выдать солдатам Цезаря самый черствый хлеб. Легионеры стали протестовать. Кастрат им объяснил, что они должны быть довольны и этим, раз едят чужое. Потом, уверенный в том, что новый инцидент не только произведет впечатление на юного Птолемея, но и получит огласку во всем городе, велел подавать фараону еду в жалкой глиняной и деревянной посуде, объяснив мальчику, что на его легендарные столовые сервизы из литого золота наложил руку Цезарь (что, возможно, было правдой).

Очень скоро идея мятежа охватила все умы. Цезарь почувствовал, что ситуация обострилась, и, пока она не стала безнадежной, проявил инициативу, которую ждала Клеопатра: ответил согласием на ее предложение о встрече.

Царица все еще находилась в болотах Палестины, путь в Египет блокировала армия ее брата, а курсировавший вдоль берега египетский флот не давал ей выйти в море. Ей, однако, все-таки удалось проскользнуть незамеченной между неприятельскими судами. В александрийской бухте она перешла на борт рыболовецкого судна, капитана которого подкупила. Она приблизилась к порту глубокой ночью. Ей оставалось преодолеть еще два препятствия, прежде чем она достигнет цели: миновать Маяк с его охранниками, которые очень бдительно наблюдали за всеми передвижениями в порту, и затем — караульных Цезаря. Первых она подкупила, вторых же просто одурачила.

Если все источники сходятся в том, что молодая царица вернулась в Александрию с помощью какой-то хитрой уловки, то относительно самого «инструмента», который позволил ей беспрепятственно миновать римский караульный пост, предлагаются разные версии: мы не знаем, что именно выбрала Клеопатра в качестве маскировочного средства — чехол для постельных принадлежностей, пакет со всяким тряпьем, походную палатку или один из тех ковров, которыми торговала. Во всяком случае, именно под видом какого-то небрежно упакованного груза Клеопатру доставили в покои, где жил Цезарь, и положили к ногам человека, который хотел стать царем.

ЖЕНЩИНА, КОТОРАЯ УМЕЛА СМЕЯТЬСЯ (сентябрь 48 г. до н. э.)

Ночь она провела в его постели. Ему было пятьдесят три. Ей — двадцать один.

Каких только историй ни придумывали об их связи, каких эротических и колдовских чар ни приписывали Клеопатре с той самой ночи! Египетские женщины, действительно, славились умением любить, их раскованность была хорошо известна; да и Александрия, город моряков, считалась сокровищницей всех возможных удовольствий. Однако Клеопатра была царицей. И, сверх того, гречанкой. И хотя она всегда умела нравиться коренным жителям Дельты и долины Нила, хотя прекрасно знала их верования и обычаи и могла в случае необходимости опереться на этих людей, сама она не принадлежала к их миру. Во всем своем поведении, даже в своих элементарных рефлексах, она, начиная с подросткового возраста, утверждала себя как царица, как македонская аристократка, как единственная хранительница наследия Александра. А значит, очень высоко ценила свое тело. Возможно, она давно решила, что никогда не отдаст его никому, кроме самого могущественного и самого полезного для ее игры мужчины. Цезарь соответствовал обоим этим условиям.

Однако сказанное вовсе не означает, что она отдалась ему из холодного расчета. В конце концов, он был первым в ее жизни мужчиной и мог напоминать ей отца, которого она так любила. Ничто не мешает нам думать, что и он почувствовал возбуждение, что у него тоже забилося сердце. Но если он поддался эмоциям, то она, скорее всего, его эмоции сдерживала. Или играла ими. Пыталась использовать их, чтобы разобраться, кем же на самом деле был ее любовник, который еще вчера казался ей врагом.

Он сердцеед, этот Цезарь, так всегда говорил ее отец; во всем Средиземноморье смеялись над сальным стишком, который горланили его легионеры, когда он праздновал триумф над Галлией: «Прячьте жен: ведем мы в город лысого развратника. / Деньги, занятые в Риме, проблудил ты в Галлии»^[42]. И это была не просто солдатская шутка: повсюду, где проходил Цезарь, за ним тянулась слава искателя приключений. Причем он явно

предпочитал добычу самого высокого разбора.

Ибо секс был для него не просто отдыхом воина или незаменимым средством, стимулирующим политическую активность. Совсем напротив: «Это было некое соревнование с самим собой, словно с соперником», по удачному выражению Плутарха^[43], — точно так же, как военные завоевания и словесные сражения на Форуме. В любви, как и на войне, Цезарь бросал вызов самому себе: но он не только играл с желанием другого — что было бы вполне банально, — нет, он забавлялся также собственными чувствами и построил на сексуальном удовольствии, скрытом в сердцевине самого холодного цинизма, собственную тайную эстетику.

Он действовал не без элегантности, особенно когда жил в Риме: если его друзья и соперники, начиная с Антония, не боялись афишировать своих связей с актрисами, проститутками и вольноотпущенниками, то Цезарь «мародерствовал» в избранном патрицианском кругу. Он «поимел» жену Красса, жену Помпея, жену Габиния, десятки других благородных женщин — по преимуществу жен своих соперников.

Тем не менее уже приближаясь к рубежу сорокалетия, этот охотник почувствовал первый тревожный симптом: несмотря на свою горячую приверженность философии Эпикура, адепты которой не находили достаточно суровых слов, чтобы заклеить любовную страсть, он безумно влюбился в замужнюю женщину, Сервилию. Она была его ровесницей и имела сына с прекрасными задатками, маленького Брута, к которому Цезарь тоже очень привязался (злые языки даже поговаривали, будто этот мальчик — его сын). Из-за Сервилии Цезарь едва не разорился: в память о проведенных вместе ночах и потому, что оба они питали страсть к жемчугу, он купил ей в подарок гигантскую жемчужину необыкновенной красоты.

Его подруга не обманывала его: она отвечала ему такой же беззаветной любовью. Но их страсть всегда оставалась опасной связью; то, что их объединяло, было извращенной манией смешивать политическую интригу с эротикой и адюльтером: например, Сервилия не стеснялась преследовать его своими пылкими письмами даже в сенате, даже когда он участвовал в обсуждении вопроса о смертном приговоре; а он — он прерывал все свои дела, чтобы немедленно и ни от кого не скрываясь прочесть ее послание.

Эти отношения, становившиеся все более и более рассудочными, в конце концов изжили себя; и Сервилия, осознав, что желание Цезаря иссякло, по слухам, предложила ему тело собственной дочери. Он не отказался от предложения, но вскоре переключил свое внимание на другие достойные объекты.

Итак, он был человеком, который знал о любви все — все ее приемы, все регистры. Знал брак по расчету (он вступил уже в третий такой брак), вдовство (его первая жена умерла), развод (вспомним о Помпее, отвергнутой им, ибо она была заподозрена в адюльтере с Клодием); знал мимолетные связи на один вечер и бессчетные извращения, распалюющие желание; знал девственниц и опытных женщин, римских патрицианок и иноземных цариц, галльских царевен, африканок и азиаток, даже эфебов — своего влечения к последним он уже давно не скрывал. Но, несмотря на это непрерывное порхание, связь с Сервилией, несомненно, обожгла его тайное естество; а кроме того, у него обнаружилось еще одно слабое место — он уже страдал от первых признаков приближающейся старости, например, от лысины, которую неловко пытался замаскировать, прикрывая оставшимися волосами.

Между тем Цезарь упорно продолжал вести себя так, будто впереди его ждала целая жизнь; он постоянно доказывал, что молод, — и это, как и все остальное, было проявлением его холодной воли. Если не считать облысевшего черепа, внешность не выдавала его возраст. В этом человеке не было ни грамма лишнего жира: прямой торс; мускулатура довольно хилая, но общий облик вполне спортивный; и живости ему не занимать — здесь, конечно, сыграли свою роль суровый образ жизни, дни, проведенные в седле, ночевки под звездным небом. И еще он обладал феноменальной памятью, все хотел знать, из всего извлекал уроки.

Что же — жизнь в вечном напряжении или скрытая болезнь — сделало его кожу такой бледной, несмотря на то, что он столько времени проводил на открытом воздухе? Если его и глодала изнутри некая болезнь, то он, наверное, о ней не догадывался, ибо любил свое тело (это очевидно), заботился о нем, холил его; он всегда был гладко выбрит, выщипывал на себе волосы и завязывал свой пояс подчеркнуто свободно, как делают любители мальчиков^[44]. Но эта провокация, несомненно, уже не имела целью привлечение «маргариток», а просто должна была показать, что, несмотря на свои амбиции, он в любой момент готов предаться наслаждению. При двух условиях: что наслаждение будет утонченным и что он останется хозяином ситуации.

Клеопатра была согласна выполнить эти условия. Ради своего трона, ради Египта. Потому что он, Цезарь, был могущественным человеком, и она тоже хотела обладать могуществом.

Что она могла положить к его ногам? Свою молодость? Это не произвело бы на него впечатления, и ее гениальность проявилась в том, что она это поняла. С первой минуты она уже знала, что для этого человека, рассчитывающего каждый свой шаг, женское тело значит не так уж много и что он никогда не будет любить ее по-настоящему самозабвенно, даже в минуты сладострастия. Цезарь, в общем, был ее мужским двойником: это чувствовалось уже по его взгляду — очень темному, пронизывающему, настороженному; и его губы, как и ее собственные, редко не изгибались в ироничной улыбке.

И все-таки: Цезарь вдруг перестал мечтать об округлости мира и сейчас интересовался исключительно округлостью женской груди. Это доказывало, что, как она и предчувствовала, он был глубоко цивилизованным человеком. Потому что знал (об этом свидетельствовала интенсивность его наслаждения), что грудь, которую он сейчас ласкает, — не просто какая-то грудь. Он отчетливо сознавал, что это маленькое тело принадлежит царице Египта, что за ней — три тысячи лет истории, и Александр, и Восток, и неподражаемый город. И еще этот римлянин был единственным, кто понял: нынешний Египет, как материальная империя, существует только благодаря своему нематериальному наследству — наследству Греции.

Вся Эллада с ее удивительным сиянием сконцентрировалась в этой хрупкой женщине, которую он сейчас начал раздевать. Цезарь уверен, что невозможно построить универсальную монархию без культуры, ибо только она способна придать миру свойственную ей самой соразмерность. Цезарь нуждается в Египте из-за его сокровищ, но он нуждается и в Александрии: из-за света разума — науки, искусства, философии, религии, — который египетская столица распространяет (пользуясь греческим языком) по всему обитаемому миру. И эта девочка-женщина, которую он уже держит в своих объятиях, прекрасно знает, что владеет ключами от того и другого.

В один миг его отношения с Сервилией стали представляться ему не более чем глупой интрижкой. И потом, какая другая женщина, до этой ночи, была способна сыграть с ним такую шутку: вылезти, весело улыбаясь, из бесформенного пакета, брошенного к его ногам, — в то время как он, Цезарь, фактический владыка мира, держал в своих руках жизнь этой бедной царицы без диадемы, лишившейся всего, что она имела?

Она сыграла ва-банк, как он у Рубикона. И, сделав свою маленькую ставку, разыграв фарс — с этим пакетом тряпья, из которого вылезла, — она выиграла. Или, точнее, он позволил ей думать, что она выиграла. Потому что ему захотелось еще поиграть с этой девочкой. Потому что он

тоже инстинктивно узнал в ней самого себя. У нее была та же, что у него, привычка полагаться на собственную дерзость, та же способность все правильно рассчитывать, та же вера в Богиню судьбы (которую он называл Фортуной, а она — Тюхе). Сам Цезарь, как и Клеопатра, был убежден, что Судьба, эта слепая сила, защищает его и освобождает от запретов, наложенных на остальных смертных, и вводит в иррациональный мир, где все подчинено задаче осуществления его мечты: созданию царства, основанного на божественном законе и охватывающего все обитаемые земли.

И с той минуты, когда он понял, что она хочет того же, он уже знал: их силы равны. И она это знала. Эта мысль пришла им в голову в первый же раз, когда они были вместе, — и ему, и ей. Теперь они — два игрока в одной постели. Уже готовые еще раз бросить кости.

Клеопатра не только его разгадала, она сделала больше: ей хватило хитрости, чтобы ему этого не показать; хватило ума, чтобы заставить его забыть о том, что она — умная. Она добилась этого самым простым способом: заставляя его смеяться. Еще когда она выскочила из своего нелепого пакета, этот охотник за юбками понял, что ему попалась редчайшая дичь (куда более изысканная, чем самые одаренные из известных ему цариц): женщина с чувством юмора. Именно этим в первую очередь и объясняется то, что, несмотря на опасную ситуацию, он с жаром отдался своей любимой игре — игре с любовью и случаем.

Могу же я позволить себе несколько дней удовольствия, думал он, несколько ночей, отданных игре и смеху...

ЗАПАДНЯ

(сентябрь-октябрь 48 г. до н. э.)

Но уже на следующее утро началась война. С ее братом.

Цезарь полагал, что контролирует ситуацию. С самого раннего утра он послал за юным царем; у него в голове уже сложился план действий, и он придумал речь, которую произнесет: он соединит руки Птолемея и Клеопатры и скажет, что является другом их обоих; что прибыл сюда лишь для того, чтобы их помирить; что в этом и заключаются намерения Рима в отношении Египта — не в завоевании, а в обеспечении мира и суверенитета их страны. И что они, в конце концов, брат и сестра, а вскоре станут мужем и женой; они — звенья династии, которая никогда не прервется...

Это было прекрасно построенное выступление. Ведь предназначалось оно не только для царя-марионетки и евнуха, дергающего его за ниточки, но и для Рима, для Рима в первую очередь: Цезарь должен был любыми средствами доказать своим согражданам, что задержался на берегах Нила не для того, чтобы присвоить сокровища Египта, но из-за неблагоприятных ветров; а когда между будущими царственными супругами вспыхнула ожесточенная ссора, он, повинувшись исключительно своему доброму сердцу, взял на себя роль посредника.

Итак, во второй раз легендарная проницательность Цезаря его подвела: он недооценил вредоносность змей, с которыми собирался вступить в контакт. Объяснялось ли это экзальтацией после прошедшей ночи или его уверенностью в том, что он, наконец, овладел добычей, о которой мечтал столько лет? Как бы то ни было, Цезарь казался еще более, чем всегда, высокомерным, и когда молодой царь, по его просьбе, явился во дворец, то увидел сидевшую рядом с римлянином гордую Клеопатру.

Возможно, это она, желая взять реванш, пожелала обставить сцену встречи именно так; она знала: четырнадцатилетний мальчишка достаточно умен, чтобы разобраться в том, что здесь происходит. Цезарь из осторожности не должен был этого допускать. Но он, напротив, уступил Клеопатре — или даже ее спровоцировал. И случилось неизбежное: едва увидев свою сестру рядом с римлянином, маленький царь впал в страшную ярость, не захотел слушать ни слова, выскочил из комнаты и побежал к выходу из дворца.

Там ждали его сторонники. Оказавшись перед ними, он стал что-то кричать о предательстве. Тогда они, в свою очередь, впали в истерику и повлекли его, рыдающего и выкрикивающего отрывочные фразы, через весь город. Когда толпа уже достаточно возбудилась, мальчишка театральным жестом сорвал с головы свою полотняную диадему, разорвал в клочья и бросил на землю, а потом стал топтать эти лоскуты ногами и разразился новым потоком проклятий в адрес любовников. В городе тотчас вспыхнул бунт.

За кулисами этой сцены евнух уже потирал руки. Он ни на секунду не заподозрил, что видит начало трагического катаклизма. Случившееся казалось ему одной из тех банальных конвульсий, которые периодически сотрясали тело города с самого дня его основания; он не сомневался, что этот мятеж, как во времена Пузыря, Стручечника или Шкваржи, окажется коротким и веселым развлечением (несмотря на то, что александрийцам никогда еще не приходилось сталкиваться с таким скандалом — чтобы их царица валялась, как девка, в постели у римлянина).

Поэтому, не удосужившись просчитать наперед возможные последствия мятежа, Потин не предпринял ничего, чтобы приостановить его безумный механизм: толпа, как всегда, когда гневалась на своих царей, бросилась, взывая к божественной справедливости, к казармам и стала брататься с солдатами; вскоре повсюду зазвучали военные песни, замелькали копья, кинжалы, мечи, началась обычная суматоха, предшествующая сражению. Наконец, орущая беспорядочная масса двинулась на штурм дворца.

Цезарь с самого утра хладнокровно этого ждал. На сей раз александрийцам предстояло иметь дело не с Пузырем и не с Флейтистом. Пусть римлянин и недооценил злобность юного Птолемея, зато вовремя осознал, что готовится переворот, и открытому сражению, которого безрассудно требовала орущая толпа, предпочел куда более хитрую штуку: он приказал своим легионерам не атаковать противника в лоб, а посредством ловкого маневра отрезать царя от его защитников и, окружив, доставить во дворец.

Такая стратегия оказалась очень эффективной: когда Птолемей внезапно исчез, толпа растерялась, и Цезарь, который прекрасно знал о своей способности воздействовать на массы и о любви александрийцев ко всякой театральщине, немедленно воспользовался этим, чтобы обратиться к бунтовщикам.

Как только он появился, все замерли. Цезарь произнес весьма трогательную речь: поклялся им всеми своими богами, что остался в городе

лишь для того, чтобы восстановить согласие между братом и сестрой; пообещал, что приложит все усилия, дабы добиться этого и гарантировать точное выполнение условий завещания Флейтиста, — затем вытащил из-под полы тоги само завещание и стал читать его *in extenso*^[45]. Люди, растерявшись, слушали его с открытым ртом, потом постепенно начали расходиться. Цезарь закончил еще одну партию. И снова выиграл.

Или ему показалось, что выиграл. Ибо с этого момента начался странный период: александрийцы как будто тоже почувствовали, что, играя теперь уже с Цезарем, а не со своей царицей, они ставят на кон собственную судьбу; и что для того, чтобы уцелеть, им придется применять все меры предосторожности. Поэтому внешне они сохраняли спокойствие и жизнь вошла в свою обычную колею, но искры гнева тлели в каждом квартале и при малейшем поводе пламя мятежа могло разгореться вновь.

*

*

Однако и сам Цезарь понимал все могущество коварства, знал силу молчания. Обретя союзницу в лице Клеопатры, которая тоже мастерски владела приемами этой игры, он выставлял напоказ свою беззаботность и казался человеком, полностью поддавшимся чарам царицы и обаянию Золотого города. Каждое утро, высвободившись из ее объятий, он отправлялся в Мусейон или в Библиотеку, разворачивал папирусы, слушал беседы ученых, задавал бесконечные вопросы и восхищался всем — гробницей Александра, долиной Муз, мраморными мостовыми, подземной сетью каналов и цистерн, снабжавшей город водой, архитектурой Маяка и арсеналов, удобствами двух портов. Эта комедия продолжалась целый месяц и не стоила ему никаких усилий, потому что Александрию он искренне любил; здесь ему постоянно приходили в голову новые идеи, например, по поводу реформы календаря, которую он хотел осуществить в Риме, или градостроительных работ в Вечном городе, которые он тоже давно планировал; а литературные и философские споры, и теперь не смолкавшие в Мусейоне, каждый день дарили ему новый стимул к жизни, возвращали его, даже в большей степени, чем тело царицы, к его молодости, к тому времени — почти тридцать лет назад, — когда он уехал на Родос, чтобы учиться риторике, и сочинял свои первые литературные

опусы. Александрия освежала его, это очевидно, она пробуждала в нем пыл завоевателя. Тем не менее, встречаясь с мальчишкой-царем и с его зловещим евнухом, Цезарь сохранял видимость самой искренней дружбы; но дни шли, и атмосфера во дворце становилась все более удушливой.

Следует сказать, что в истории редко случались ситуации, когда столь многие противоречивые интересы оказывались сосредоточенными в одном месте. Связь царицы с Цезарем очень скоро пробудила унаследованную от предков хищническую натуру ее младшей сестры Арсиной, которой тогда было семнадцать лет. Зависть Арсиной просто бросалась в глаза, царица могла в любой момент перейти во враждебный лагерь. Она ждала лишь подходящего случая и, может быть, как истинная представительница семьи Лагидов, уже планировала, с кем заключит союз и как потом уничтожит своего союзника; подобно всем другим главным участникам событий, Арсиноя имела собственный маленький двор. Юный царь, со своей стороны, не хотел шевельнуть и пальцем, не получив предварительно согласие евнуха и не снискав одобрение окружавшей его своры паразитов^[46] и патентованных льстецов. Цезарь своей железной рукой принуждал коррумпированный персонал дворца к неукоснительному соблюдению введенной им дисциплины. Что касается Клеопатры, то, хотя она жила под охраной римлян, у нее тоже были преданные советчики — из числа тех, кто не так давно имел мужество последовать за ней в пустыню.

Итак, запутанная сеть интриг сплеталась вокруг дворца. Любовники знали об этом, участвовали в этом, играли этим, но продолжали делать вид, будто ничего не замечают. Они даже устроили небывало роскошное пиршество, чтобы, как было сказано, отпраздновать восстановление гармонии в лоне царской семьи. В этом спектакле Цезарь превосходно сыграл выбранную им для себя роль мироустроителя: в конце банкета, со всей подобающей торжественностью, он объявил, что возвращает Арсиное и младшему из ее братьев трон Кипра (который в последние десять лет считался римской собственностью). Таким образом, благодушно закончил он, условия завещания Флейтиста будут не только соблюдены, но даже расширены в пользу Египта, и Птолемеи вновь обретут подобающий им блеск.

Виданное ли это дело, чтобы Волчица выпускала из пасти свою жертву? — негодовал евнух. И доказывал, что римлянин кормит их пустыми обещаниями: недаром в своей речи Цезарь подчеркнул, что для Арсиной и ее брата было бы лучше не отправляться немедленно на Кипр, а пока оставаться здесь, в Александрии, причем желательно во дворце... В том самом дворце, где он продолжал бесстыдно спать с их сестрой; а ей,

между прочим, предстояло стать супругой законного наследника Флейтиста — согласно условиям того самого завещания, на которое Цезарь беспрестанно ссылался...

Чаша терпения евнуха и двух его приспешников переполнилась до краев, и, сохраняя на лицах любезные улыбки, они начали готовить заговор, к которому присоединилась и маленькая хищница Арсиноя, уже готовая зубами и когтями бороться за свою долю пирога.

Цезарь почуял, что обстановка накалилась; он вновь вызвал к себе юного Птолемея и вторично приказал ему расформировать царскую армию и как можно скорее отправить ее на восточную границу, где до сих пор держал оборону Ахилла. Цареныш обещал, но не выполнил своего обещания. Цезарь ничего не предпринимал, по-прежнему щеголял своей беззаботностью, но атмосфера под портиками у моря стала еще более зловещей.

Очень скоро начали распространяться слухи о готовящемся заговоре. Каждая из партий принимала меры предосторожности; теперь обитателям дворца мерещилось, что за каждой драпировкой скрывается шпион или убийца. Один лишь Цезарь не поддавался истерии подозрительности: он просто разместил своих легионеров во всех стратегически важных и плохо защищенных местах.

Однако, как опытный игрок, привыкший повышать ставки до последнего возможного предела, он не собирался менять раз избранной им линии поведения; казалось, опасность лишь возбуждала его провоцировавший окружающих темперамент: он еще упорнее, чем прежде, афишировал свою связь с царицей, и александрийцев возмущали теперь даже не столько их интенсивные сексуальные отношения, сколько духовное сообщничество любовников, которое с каждым днем становилось все более очевидным. Никто в городе уже не сомневался, что они не просто ласкают друг друга, но одновременно вынашивают общие грандиозные замыслы. Что их мечты не имеют границ — как и их радость, как и их наглость. Ибо она, царица, тоже упорно бросала им всем вызов. И делала это по-своему: веселясь. Вопреки и назло всему, она осталась такой же остроумной, так же любила всякие проделки и розыгрыши. Каждое утро, несмотря на удушную атмосферу дворца, она просыпалась с радостной улыбкой и проявляла все то же уникальное умение (принимавшее тысячи разнообразных форм) удивить своего любимого так, что это явственно читалось на его лице. Наконец, никто кроме нее не мог заставить его развеселиться без всяких причин. Какая-нибудь грубоватая шутка, удачное словцо — и он уже сияет. А иногда и прыскает, не в силах сдержаться, и

хохочет во все горло.

Этот смех Цезаря тревожил обитателей дворца куда больше, нежели все непристойности, которые рассказывали о половых отношениях императора и царицы. В стенах дворца он казался настолько неуместным, что начал распространяться слух — в том числе и среди римских легионеров, — будто Клеопатра околдовала Цезаря.

*

Люди шептались о каком-то эликсире или порошке, который она якобы подмешала ему в вино; о том, что она, умастившись некоей мазью, потом прижималась к телу Цезаря и так пропитала этой мазью его кожу.

Однако все знали, что император вообще не пьет. Что же касается магических мазей, которыми якобы славится Восток, то почему Цезарь, обжимавшийся со столькими экзотическими царевнами, ни одной не был околдован? Всех их он равнодушно бросал; и ни в Риме, ни в других местах ни одной женщине не удалось привязать его к себе с помощью брошенной в огонь восковой фигурки или кусочка свинца, с его выгравированным именем. Иррациональные силы — за исключением одной лишь богини судьбы — не имели власти над Цезарем; и ничто другое тоже не могло удержать его возле женщины — ни ее красота, ни искушенность в науке любви, ни рождение ребенка, ни шантаж, ни страх, ни даже ее богатство. Любовь и политика — да, он умел превосходно сочетать то и другое. Но всегда делал это так, как было выгодно ему самому. Даже в период своего страстного романа с Сервилией он ощущал себя совершенно свободным в своих поступках и жестах. Он был из тех мужчин, которых ничто не связывает — ни общественная мораль, ни желания других людей. Очень рано он сформулировал для себя единственное правило поведения: самому ковать свою судьбу, в каждое мгновение жизни. И никогда от этого правила не отступал. Он всегда оставался игроком — это касалось и женщин, и всего прочего. Всегда первым делал выбор, первым уходил.

И вот теперь прошел слух, будто царица поймала его в свои сети; будто Клеопатра, подобно волшебнице Цирцее или нимфе Калипсо, держит Цезаря в незримой тюрьме. И чтобы подтвердить это, сплетники показывали на небо и море, давая понять, что ветры уже начинают дуть с севера. У Цезаря еще есть несколько дней, говорили они, чтобы взойти на корабль и отправиться в Рим, где у него столько дел. Потом будет поздно,

навигация станет невозможной из-за непрерывных бурь, и ни одно судно не выйдет из порта до весны. Но Цезарь даже не упоминает об отъезде и вообще не покидает пределов дворцового квартала. Интересно, что у него на уме; хотя, конечно, если бы он оставался в своем уме, то не проводил бы все ночи в постели царицы, а остальное время — в Библиотеке или Мусейоне, но тоже с ней, всегда только с ней...

*

Прошло несколько дней, и ветер задул с севера, как они и предсказывали. Цезарь не проявлял признаков беспокойства. Слухи становились все более цветистыми.

Так продолжалось до того утра, когда все узнали: Ахилла, все еще находившийся в болотах у восточной границы, внезапно двинулся на Александрию, с войском, построенным в боевой порядок. Цезарь тут же превратился в того энергичного и расчетливого военачальника, каким был всегда: он вызвал к себе юного царя и приказал послать двух эмиссаров к Ахилле, потребовал от последнего немедленного прекращения всяких военных действий.

Подросток, который, видимо, уже успел связаться со своим военачальником, изобразил на лице фальшивую улыбку и согласился; как только его посланцы предстали перед Ахиллой, тот приказал их убить. Точнее, убили одного, а другой спасся, так как его сочли мертвым. Затем военачальник возобновил движение войск к столице, еще увеличив его темпы. Через сорок восемь часов дворец оказался в кольце окружения.

Это была война, открытая война против царицы и Цезаря; и уже никто не сомневался в том, что Цезарь ее желал, ждал, что он надеялся на эту войну; что намеренно позволил запереть себя во дворце вместе с Клеопатрой, юным царем и двумя другими царскими детьми. Цезарь в очередной раз бросил самому себе безрассудный вызов: против двадцати двух тысяч пехотинцев и двух тысяч всадников Ахиллы, против внушительного египетского флота он мог выставить лишь шесть тысяч солдат и около тридцати галер. Правда, армия противника не отличалась дисциплинированностью, а царские дети, присутствовавшие во дворце, фактически были заложниками. Кроме того, император мог вызвать подкрепление — он располагал многочисленными сторонниками на Востоке, в Армении, в Киликии, на Родосе, в Аравии, на Крите, в Сирии. Однако ему приходилось учитывать огромные расстояния, которые должны

будут преодолеть эти солдаты; и, сверх того, считаться с ненавистью александрийцев: с тем, что четыреста тысяч столичных жителей поклялись погубить его и Клеопатру.

Невзирая на тревожную ситуацию, царица рядом с ним продолжала, по своему обыкновению, улыбаться. Впрочем, если присмотреться, в ней появилось что-то новое, будто она про себя молилась или собиралась сделать ему какое-то странное предложение; и еще она обрела прежде не свойственную ей величавость, стала чем-то напоминать колоссальную женскую статую, которая и сейчас несет свою вахту в тени Маяка.

Статую Исиды. Исиды Изначальной, Владычицы всякой жизни, запечатывающей своей печатью все то, что должно быть запечатано; Исиды, без которой не открывается и не захлопывается ни одна западня, без которой не может быть одержана никакая победа.

Той Исиды, без которой не может пробудиться в утробе женщины бессловесная память о переплетенных телах, самая слепая, самая упорная память, память, ничего не желающая знать о сомнениях и вражде в этом мире, — зародыш нового человека.

ЛЮБОВЬ И ВОЙНА

(октябрь 48 — март 47 г. до н. э.)

Шесть месяцев ей пришлось ждать, ни на минуту не теряя бдительности. Всю осень, а потом зиму она была настороже. Ночи и дни проходили в молитвах, часами ее терзал страх. Она испытала тоску во всех возможных формах — медленно подступающую и внезапную, проявляющуюся во вспышках ярости и глухую; пережила и моменты тревоги, и настоящий ужас.

Но она никогда не поддавалась панике, сохраняла самообладание, ибо знала: чтобы добиться лучшего, надо быть готовым к худшему, ни в коем случае нельзя терять душевные силы. И ведь ей это удалось не так просто — воевал ее любимый. Она была женой солдата.

Началось все с осады дворца. Цезарь подавал пример хладнокровия: когда орда Ахиллы бросилась на штурм внешнего пояса укреплений — это была беспорядочная толпа бандитов, наемников, посаженных на кобыл рабов, бывших пиратов, — он, ничуть не растерявшись, прежде всего приказал отвести юного царя в его апартаменты, добавив, что заниматься следует всем по порядку. Она запомнила этот прекрасный урок: даже оказавшись в центре драматических событий, Цезарь не утратил своей иронии.

Атака дворца началась сразу с двух фронтов — с моря и со стороны города, где александрийцы воздвигли баррикады и тройной вал из тесаного камня, кое-где достигавший высоты в двенадцать метров^[47].

Это была партизанская война в городе — первая за всю военную карьеру Цезаря. Конфронтация с самым могущественным из римлян удвоила предприимчивость александрийцев: в мастерских каждый день изготавливалось множество новых копий, сооружались катапульты; воздвигнув на некоторых стратегически важных перекрестках деревянные башни, мятежники затем додумались снабдить их колесами и тросами, чтобы быстро перемещать туда, где в них возникнет необходимость^[48].

Цезарь, сбитый с толку, не мог противопоставить подобным методам ничего, кроме дисциплинированности и опыта своих легионеров; но последние привыкли сражаться на открытой территории, их обычные маневры были не для уличных сражений. Каждая схватка превращалась в кровавую бойню. Ценой лихорадочного напряжения сил римляне в конце

концов отбросили противника; Ахилла; отступив в городе, сразу же перенес военные действия на море, в Большой порт, где его корабли попытались блокировать римские галеры.

Однако Цезарь знал — несомненно, благодаря Клеопатре, — что египтяне, хотя и были превосходными моряками, не имели никакого опыта абордажных боев и тем более рукопашной схватки. Сделав своей базой небольшой остров, расположенный напротив дворца, остров, на котором Птолемеи построили увеселительный дворец и соорудили личный порт, Цезарь бросил свои корабли в атаку на неприятельские суда. Ему легко удалось ими завладеть, и, что было еще большим успехом, он захватил остальные корабли царского флота, пришвартованные в гавани рядом с его собственными лодками.

Все александрийцы, поднявшись на крыши, ожидали исхода морского сражения. Дерзость Цезаря ошеломила их — как, несомненно, и Клеопатру, которая должна была ликовать. Но ее радость оказалась столь же короткой, сколь бурной: поскольку Цезарь понимал, что не сможет долго удерживать порт, и боялся, что стоящие на рейде суда попадут в руки врага, он решил их поджечь. Сто десять римских и египетских кораблей были превращены в пылающие факелы и потонули.

Как все греки, у которых любовь к морю в крови еще с первобытных времен, Клеопатра обожала корабли — эту страсть разделяли все Птолемеи, с тех пор как поселились в Золотом городе. Отвела ли она глаза, чтобы не видеть, как вспыхивают паруса и снасти, как суда, одно за другим, опускаются на дно залива? В текстах ничего об этом не говорится; античные историки, будто пораженные тем же ужасом, что и юная царица, умалчивают и о последовавшей далее трагедии: огонь перекинулся с моря на пристани, складские помещения, арсеналы, а потом — на Мусейон и Библиотеку.

Люди в буквальном смысле не верили своим глазам; дело в том, что александрийцы, где бы они ни выросли — в пригородных трущобах или во дворцах, — были уверены, что город с его архитектурными чудесами построен на века. Они полагали, что эти здания защищены от всех превратностей судьбы колдовскими чарами; что их делают неуязвимыми благословение основателя города и его набальзамированное тело-талисман. Оцепенение и ужас приковали горожан к месту; никто даже не подумал вылить хотя бы ведро воды в пламя, которое жадно пожирало свитки папируса; и так люди стояли часами, словно парализованные, в полном молчании созерцая багровое ночное небо.

Это был настоящий кошмар. Несомненно, юность Клеопатры стала

иссякать именно в ту ночь, когда она смотрела, как гибнут плоды человеческой мысли, прекрасные творение, создававшиеся на протяжении многих веков, — свет, который Александрия вот уже три столетия дарила миру.

*

А трагедия неумолимо продолжала разворачивать свое действие, акт за актом. Сама пьеса была неподражаемой; и казалось, будто Жизнь каждый день вкладывает в свои мизансцены больше таланта и изобретательности, чем мог бы сделать любой самый лучший режиссер, — будто Судьба захотела оказаться достойной тех монументальных театральных подмостков, которые она выбрала, чтобы столкнуть между собой две силы, боровшиеся за власть над миром.

Однако в текстах ни слова не говорится о Клеопатре: на все это время История как бы лишает ее права голоса; низводит до ранга женщины среди других женщин, заточенных во дворце или ждущих на берегу; дает ей второстепенную роль руководительницы хора, которую сила надежды или разрушительный страх часто вообще заставляют онеметь.

И все же, если в деталях проанализировать события, которые происходили тогда во дворце, становится очевидным, что Клеопатра отнюдь не удовлетворялась тем, чтобы быть для Цезаря просто женщиной-тенью, отдыхом воина, изысканной любовницей, каждый вечер заражающей его своим весельем и смехом. Ведь она прекрасно знала и ресурсы города, и его топографию — дороги, по которым можно доставить древесину, необходимую для ремонта судов и сооружения военных машин; пути, которые необходимо перекрыть, чтобы помешать подвозу продовольствия и прибытию подкреплений для вражеской армии; она могла подсказать, каких военных инженеров противника легче подкупить, каких куртизанок и слуг лучше сделать своими агентами. Цезарь мог также рассчитывать на ее знание всех местных языков, на ее опыт дипломатических переговоров с кочевниками пустыни, к которым собирался обратиться за помощью в случае разрастания конфликта. Наконец, она превосходно разбиралась в дворцовых интригах, искусно распутывала все хитрости их общих врагов. Итак, Клеопатра тоже вела войну — только оставаясь в арьергарде, в этом осажденном со всех сторон дворце, и пользуясь тем оружием, которым владела лучше всего: интригой, тайной.

Она была трагической героиней, в полном смысле слова: активно действовала, но при этом помнила, что ее участь находится в руках богов; ежедневно разрывалась между страхом и безумной надеждой, но упорно сопротивлялась Судьбе, признавая ее силу и тем не менее в каждый миг противопоставляя ей свои лучшие качества. И потом, с трагедией ее связывало давнее знакомство: ведь, в конце концов, она, гречанка, знала наизусть Гомера и Еврипида; и, как все эллины, происходили ли они из Афин, Спарты, Эфеса, Антиохии или Александрии, расшифровывала мир через образы трагических персонажей — Андромахи, Пенелопы, Кассандры, Клитемнестры; а образов благонравных или злокозненных женщин, чьи судьбы зависели от исхода войны, хранилось в ее памяти великое множество. Наконец, поскольку сам Цезарь претендовал на происхождение от Энея, единственного троянского героя, которому удалось спастись, он, наверное, воображал во все время этой осады, что Клеопатра возродила те героические времена, когда перенесенные женщинами страдания вознаграждались вечной славой.

Значит, ей приходилось подавлять свой страх, как тем героиням. Обуздывать свою тоску, сдерживать нетерпение. Высокомерно делать вид, будто она не замечает пепла папирусов, которые были ее счастьем и придали форму ее мечтам. И презирать опасность, которая подстерегала ее повсюду: ведь стоило Цезарю покинуть дворец для выполнения какой-то военной задачи, и она могла стать легкой жертвой заговорщиков; а если бы его убили, тем самым решила бы и ее участь.

*

Однако каждый (или почти каждый) вечер Цезарь, подобно Гектору, возвращался к ней; и был таким же неутомимым, как троянский герой, и не переставал удивлять ее, ибо в свои пятьдесят три года всегда оказывался в самом нужном месте, днем и ночью держал свое тело и дух в боевой готовности, всегда обдумывал ближайшую вылазку или сражение.

Например, когда горела Библиотека, он был единственным, кто подумал о том, что будет после; о том, что ему нужно закрепить свою победу, завладев островом Фарос, настоящим маленьким городом, обитатели которого держали под контролем вход в Большой порт — а следовательно, от них зависели безопасность и продовольственное снабжение дворца. Он, образованный человек, писатель, страстно влюбленный в науку, не бросил ни одного взгляда на пылающую

Библиотеку, а думал только о том, что должен послать солдат к острову, оставить там гарнизон. И сделал это в ту же ночь; после чего, вернувшись во дворец и узнав, что в пригороде его войскам никак не удастся подавить мятеж и что александрийцы опять серьезно угрожают дворцу, он, не сходя с места, послал в помощь сражающимся оставшихся у него людей и распорядился о том, чтобы дворцовый участок укрепили длинной оборонительной линией, простреливаемой лучниками.

Ему пришла в голову мысль, что театр Диониса, некогда столь любимый Флейтистом, можно превратить в прекрасный аванпост. Он немедленно отправил туда людей, которые со ступеней амфитеатра стали наблюдать за перемещениями вражеских войск внутри города и, одновременно, за движением в порту; не остановившись на этом, император построил неподалеку от театра маленький форт и соединил его со складами и с заливом. Так всего за несколько дней Цезарь возвел новые линии обороны, которые враги не в силах были форсировать, и двое любовников оказались укрытыми в неприступной цитадели.

*

Результат можно было предвидеть заранее: война приобрела затяжной характер. Повторилась история с Троей.

С той лишь разницей, что ни Цезарь, ни Клеопатра не собирались поддаваться на уловку с каким бы то ни было конем; совсем напротив: они сами уже придумали хитрость, которая, как им казалось, должна была привести в замешательство армию противника. Войсками юного фараона все еще командовал Ахилла, однако, поскольку война затягивалась, солдаты начали роптать. Кому — Клеопатре или Цезарю — пришла в голову идея маневра? Мы этого не знаем. Зато абсолютно точно известно, что всякий раз, когда император находил свое положение угрожающим, он прибегал к одной и той же тактике: сеял раздоры во вражеском лагере; и, независимо от того, предложила ли ему Клеопатра уже полностью разработанную комбинацию или нет, результат мог быть только один: Цезарь взялся за осуществление проекта.

Благо «инструмент» для этого был у них под рукой — та самая Арсиноя, все еще жившая во дворце и неразлучная со своим любимым евнухом, неким Ганимедом, человеком еще более хитрым и амбициозным, чем евнух мальчишки Птолемея. Этот кастрат горел желанием попасть в лагерь противника и возглавить неприятельскую армию. Цезарь и

Клеопатра справедливо решили, что два полководца для одной армии — это будет многовато. Солдаты быстро разделятся на две фракции и найдут во внутреннем конфликте выход для своей неизрасходованной энергии; этим можно будет воспользоваться, чтобы прорвать кольцо осады и наконец подавить мятеж.

Цезарь, возможно, доверил царице подготовку операции: ведь она в совершенстве владела искусством гаремной интриги и уже давно наводнила дворец своими агентами. Арсиноя и ее евнух, которыми умело маневрировали подкупленные Клеопатрой предатели из их окружения, решили, что пришло время покинуть дворец. Цезарь приказал своим солдатам пропустить беглецов через оборонительные линии, будто бы их не заметив, — так начался новый тур игры.

Оказавшись в городе, беглецы уже видели себя настоящими героями. Горожане, очевидно, были с этим согласны, ибо устроили им триумфальную встречу. Один только Ахилла помрачнел: Ганимед, как и предвидели любовники, едва успев появиться в лагере, поцапался с главнокомандующим. Каждый из военачальников хотел найти поддержку у солдат и, чтобы добиться этого, не жалел обещаний и подарков. Пехотинцы пока не принимали ничью сторону и, зубоскаля, хватали что могли; однако, вопреки коварному плану Цезаря и Клеопатры, никаких волнений в армии не наблюдалось. Более того, осуществление их проекта поначалу имело катастрофические последствия: под приветственные клики народа Арсиною торжественно провозгласили царицей.

В Египте теперь было две царицы, одна из которых открыто сожительствовала с иностранцем. Положение Цезаря стало невыносимым, и не только потому, что осада дворца ужесточилась: после того как народ сделал свой выбор, римлянин уже не мог утверждать, будто остался в Египте лишь с целью урегулировать семейную ссору. В один миг Александрийская война предстала перед всеми (и прежде всего перед римлянами) в своем истинном свете: как иностранное вмешательство, осуществленное по инициативе генерала, который жаждет золота и лелеет амбициозные планы, связанные с завоеванием мирового господства.

Тем не менее любовники нисколько не беспокоились. Во-первых, потому, что Цезарь был уверен: римляне, которых зажал в своем железном кулаке энергичный и верный Антоний, ничего против него предпринимать не станут. Во-вторых, потому что в том, что касается дворцовой жизни, их стратегия в конце концов увенчалась неожиданным успехом: осознав, что власть уплыла в другие руки, евнух цареныша впал в страшную ярость; днем и ночью он кипел негодованием, видя, что театр интриг переместился

туда, где его самого нет. Он тоже стал подумывать о бегстве — разумеется, в компании своей марионетки, молодого царя. Но этого второго заложника ни Цезарь, ни Клеопатра выпускать не собирались. В конце концов им все-таки представилась возможность избавиться от одного из своих худших врагов. Они поняли: для этого достаточно убедить евнуха в том, что он не сможет бежать, если не убьет Цезаря.

Принадлежала ли идея этого нового маневра Клеопатре? Может быть, а может быть, и нет; но если Цезарь, как и в первый раз, доверил ей осуществление операции, то, наверное, по той же причине: по чисто техническим соображениям; потому что она родилась в гареме и лучше, чем римлянин, знала его законы. Как бы то ни было, любовники, через своих агентов, без всякого труда убедили евнуха в том, что если он хочет вернуть себе власть, то должен покинуть дворец, предварительно убив Цезаря.

Храбростью он не отличался (как показал эпизод убийства Помпея). Поэтому выбрал яд. Цезаря вовремя известили. Но император продолжал делать вид, будто ни о чем не подозревает. Евнуха поймали с поличным, когда он варил в котле свое смертоносное зелье, процесс приготовления которого занимал одиннадцать часов; ему тут же отрубили голову, а дальше события стали развиваться в соответствии с карикатурными законами, характерными для семьи Лагидов: как только в лагере противника узнали о казни евнуха, там вновь вспыхнуло соперничество, еще более ожесточенное, чем прежде. Ахилла хотел упрочить свое положение, став новым стратегом Александрии; Арсиноя прочила на эту должность Ганимеда, которого она, обретя царское достоинство, уже сделала своим первым министром. Из двух военачальников Ганимед был и более одаренным, и более хитрым. Когда армия начала выражать недовольство Ахиллой, Ганимед сумел сделать так, что его соперник впутался в конфликт с пехотинцами (конфликт, который сам евнух Арсиноей, несомненно, втайне подогревал), и, когда вот-вот должен был разгореться мятеж, внезапно выступил из тени, руками случайных людей ликвидировал Ахиллу, а потом без особых формальностей встал во главе армии.

Из троицы, доставившей столько неприятностей Клеопатре, теперь остался один Феодот, который все еще находился во дворце, рядом с малолетним царем, однако после того как Цезарь отверг его подарок — засоленную голову Помпея, — старался держаться в тени, несмотря на свою любовь к цветистым речам.

Итак, хитрость любовников могла бы принести им немедленную и окончательную победу, если бы не один фактор, который они проморгали:

выдающиеся военные таланты Ганимеда. Всего за несколько дней вражеский генерал дал им понять, что после Харибды им придется иметь дело со Сциллой: уже со следующей недели он начал собирать новый флот и усилил блокаду дворца. Затем, со стороны дворца, воздвиг параллельно оборонительной линии Цезаря свою линию военных укреплений, почти такую же мощную. Дворца западни, в которую попали Цезарь и Клеопатра, захлопнулась еще более плотно.

Тогда Ганимед решил, что пришло время нанести им окончательный удар, прибегнув к силе, о которой до сих пор никто (даже такой блестящий военачальник, как Цезарь) ни разу не вспоминал: к силе жажды.

*

Трудности с водоснабжением были тайным изъяном города, его слабым местом, из-за которого инженеры Александра так упорно возражали против идеи основания столицы именно здесь. В этих песках совсем нет источников, повторяли они, ни реки, ни даже ручья, ни одного колодца между морем и Южным озером, — ничего, кроме бесконечных дюн, пыли, сухого щебня...

Александр терпеть не мог, когда ему возражали. Он был неподатливым, упрямым; и сразу же приказал выкопать между озером и будущим городом длинный канал. Позже Александр повелел создать под фундаментами города другой, подземный город из сотен и сотен резервуаров; некоторые из них были очень глубокими и отличались редкостным великолепием, напоминая сумрачные святилища, в которых постепенно очищался, переходя с этажа на этаж, мутный поток, устремлявшийся сюда из озера, — очищался среди мраморных мостовых, гранитных и порфировых колонн, украшенных такими же капителями, какие можно увидеть в храмах, и арок, и прекрасных сводов, назначение коих состояло в том, чтобы лучше сохранять свежесть воды и ее тайну.

Как и в случае с Библиотекой, никто никогда не только не осмеливался, но даже не думал о том, что можно покуситься на эту совершенную систему. Но Ганимед счел, что у него нет иного выбора: с помощью гигантских машин он пустил морскую воду в канал, который питал цистерны, и сумел заставить ее течь непрерывно. Очень скоро вода в резервуарах стала грязной, потом заразной, а Цезарь даже не понял, почему. Потом ему пришлось смириться с очевидным фактом: вода отравлена^[49].

И вот — опять-таки как в трагедии, герой которой не знает, даровали ли ему боги счастье, чтобы тем вернее его погубить, или, напротив, для того, чтобы у него были силы выдержать новые испытания, — в этот самый момент Клеопатра обнаружила, что беременна.

И вновь ей оставалось лишь молиться и ждать — на протяжении многих дней, недедь, целых месяцев. Начиналась осень; если того пожелают Исида и Владычица судьбы, ей предстояло родить в срок летнего солнцестояния.

*

Сказала ли она Цезарю? Вряд ли. Потому что к тому времени страх охватил римские войска. Легионеры ворчали, обслуживающий персонал — тоже; солдаты не могли понять, как получилось, что гений, который покорил Галлию, пересек Западный океан, победил варваров острова Британия, обратил в бегство германцев, разгромил при Фарсале Помпея, позволил заманить себя в западню. Люди не успокаивались, они желали, наконец, услышать приказ о посадке на корабли и о возвращении в Рим. Между тем они не видели возможностей к отступлению: при первой подобной попытке — это было очевидно — александрийцы отправят их прямоком на дно. Ибо они уже знали, что во втором порту, порту Доброго возвращения, находившемся за дамбой, которая связывала остров Фарос с городом, Ганимед уже начал строить флот; ходили слухи, будто первые суда будут спущены на воду в ближайшие дни.

Цезарь с его острой интуицией уловил эти настроения и прибегнул к приему, всегда ему удававшемуся: собрав солдат, он произнес перед ними одну из тех коротких речей, секрет которых был известен только ему, — лишенных каких-либо украшательств и фигур красноречия, но зато находивших отклик в простых сердцах. В Египте, как и повсюду в других местах, сказал он спокойно, можно рыть колодцы; было бы странно, если бы эта земля, единственная, не имела грунтовых вод. Что касается бегства морским путем, то здесь сотники правы: это слишком рискованно. Следовательно, поправить сложившуюся ситуацию (которую он лично не считает катастрофической) можно только одним способом: немедленно принявшись за поиски воды.

Ворчание мгновенно смолкло. Вся армия взялась за работу, и, в течение одной ночи, был обнаружен огромный горизонт грунтовых вод. Такова, по крайней мере, версия Цезаря, которую он изложил в своей книге

об Александрийской войне. Правда, при описании этого эпизода Цезарь допустил ряд противоречий: он, например, утверждает, что не мог выйти в море, и в то же время — что намеревался искать воду на морском берегу, к востоку и западу от города... Далее он будто бы дает понять, что нашел воду непосредственно в дворцовом квартале; однако странно, что за одну ночь он сумел осуществить то, чего не добились ни инженеры Александра, ни сам македонский завоеватель, ни десять поколений царей, правивших на протяжении трех столетий. Может, дожидаться подкреплений ему помогли проливные дожди, нередкие в здешних краях в зимний период? Или Клеопатра, сведущая во всех дворцовых секретах, указала ему на тайное водохранилище, о котором знали только цари, и благодаря этому он выдержал осаду? Очевидно одно: в странном рассказе о своем неожиданном спасении Цезарь не пытается представить себя любимцем Фортуны — как будто опасается свидетелей, знающих подоплеку этого дела. Впрочем, об этой истории вскоре забыли, ибо почти сразу же после нее в виду Александрийского порта показались корабли с первым римским подкреплением.

Клеопатра вздохнула с облегчением. Однако и на сей раз передышка оказалась недолгой: корабли, спешившие на выручку Цезарю, проскочили мимо Фаросского маяка^[50]; императору пришлось выйти в море и привести их в порт.

На глазах царицы разыгралось морское сражение, долгое и беспощадное. Началось все с того, что галеры Ганимеда атаковали суда ее возлюбленного, чтобы помешать их маневру. Цезарю удалось ускользнуть от некоторых, а другие потопить, после чего он блокировал выход из второго порта. Но удерживать эту позицию долго он не мог, и Ганимед, который был столь же упорен, сколь хитер, не собирался складывать оружие — несколько дней спустя он прорвал блокаду Цезаря.

Император не признал себя побежденным, но ответил таким сокрушительным и молниеносным ударом, что противник вновь обратился в бегство и нашел укрытие на Фаросе, где мог рассчитывать на безоговорочную поддержку многочисленных жителей острова. Узнав об этом — очевидно, на следующее утро, — Цезарь сразу же перебросил туда своих солдат.

Эффект неожиданности принес ему полный успех; он приказал перебить местных жителей, сжег и разрушил до основания все дома, потом попытался завладеть дамбой, связывавшей остров с берегом. Это ему удалось без большого труда; но когда он начал укреплять свои позиции, строя оборонительные рубежи, Ганимед со свежими резервами напал на его

солдат. Для римлян — в том числе и Цезаря — не оставалось иного выхода, как броситься в воду и вплавь добираться до своих кораблей.

Во второй раз с начала войны все александрийцы поднялись на крыши, чтобы наблюдать эту сцену. Они толкали друг друга, ибо каждый хотел видеть, что происходит; в обоих лагерях люди воздевали руки к небу, моля богов о помощи, сжимали в горсти амулеты, давали удивительные обеты — в то время как Цезарь, уже теряя дыхание, плыл под градом метательных копий, стрел и свинцовых ядер.

Пурпурный плащ^[51] сковывал его движения, и он вскоре от него избавился; потом поплыл под водой, чтобы враги не поразили его в спину. Все уже думали, что император утонул, но он вновь появился на поверхности. Красную материю сносило течением в сторону неприятеля, который, не сумев захватить императора, был в восторге от того, что овладел хотя бы этим трофеем. Цезарь еще много раз нырял под воду, а потом, когда египетские стрелы уже не могли его достать, вновь открыто бросил вызов течению и, после долгой борьбы с волнами, в конце концов ступил на твердую землю.

Когда он встретился с Клеопатрой и любовники, обменявшись первыми словами, посмотрели в сторону моря, они увидели, что плащ Цезаря развевается на мачте вражеского судна: Ганимед приказал поднять его туда как трофей. Красная материя, бившаяся на ветру, уже сама по себе символизировала ту участь, которую евнух для них готовил: он хотел, чтобы они захлебнулись в пучине стыда и в собственной крови.

*

Наступила зима с ее резкими ветрами и бегущими по небу тучами; на улицах Александрии похолодало, стало зябко и пасмурно; свинцовая муть притушила блеск мраморных плит, заволокла и будущее, и линию горизонта. Было совершенно очевидно: враг выиграл битву при Фаросе. Ганимед все еще удерживал в своих руках дамбу, соединявшую остров с континентом, а значит, он контролировал и мост, то есть его корабли могли свободно проходить из порта Доброго возвращения в Большой порт, внезапно появляться в виду города и дворца.

Да, конечно, Цезарь спас свою жизнь, но при этом потерял восемь сотен легионеров. На вражеских верфях спускали на воду один корабль за другим, а моряки Александрии продолжали преследовать галеры Цезаря и суда, пришедшие к нему в качестве подкрепления. Император же, со своей

стороны, не имел никаких известий о сухопутных войсках, которые три месяца назад попросил у одного из своих азиатских союзников, Митридата Пергамского, в свое время поклявшегося ему в вечной верности. Не приходил ответ и от первосвященника Иерусалимского храма, которому Цезарь, через своих эмиссаров, попытался объяснить: совсем недавно у них обоих был общий враг, Помпей; и теперь первосвященник поступит весьма дальновидно, если окажет помощь ему, Цезарю, — тем более что (как объяснила римлянину Клеопатра) две пятых населения Александрии составляют иудеи. Уже сам факт вмешательства Иудеи в конфликт мог бы радикально изменить ситуацию: в этом случае евреи столицы не только перешли бы в лагерь Цезаря, но не оставили бы ни одного квартала в руках греков, которые в прошлом так часто их унижали.

Однако, как доносили шпионы Цезаря, на дороге через пустыню не наблюдалось никакого движения. В болотах Дельты они не встречали ни одного военного отряда, пусть даже авангардного, ни одного разведывательного патруля. Дни любовников, как безмятежно полагал Ганимед, были уже сочтены.

*

И вот в этот самый безнадежный период войны Цезарь и Клеопатра решили сыграть еще одну партию. Спровоцировать судьбу, бросить ей вызов. Причем самым рискованным способом: выпустив из рук свой последний козырь — малолетнего царя, который все еще находился в качестве заложника во дворце.

Подходящий случай вскоре представился: египетские офицеры, интриговавшие против Ганимеда, потребовали у римского полководца и царицы освобождения подростка, который, как думали заговорщики, мог оттеснить ненавистного им евнуха. Они клялись, что, как только царь окажется в городе, он возглавит армию и убедит своих солдат прекратить враждебные действия против римлян; тогда абсурдная осада сразу же закончится, честь обоих лагерей будет спасена, а Александрия и Рим смогут, наконец, примириться.

Разумеется, Цезарь и Клеопатра не поверили ни одному их слову. Они были согласны с аргументами заговорщиков только в одном пункте: в том, что Птолемей, которому скоро исполнится пятнадцать, желает править единовластно; а значит, едва получив свободу, он постарается избавиться от Ганимеда. Очевидно, что вопреки прекраснодушным обещаниям мятежных

офицеров молодой царь немедленно бросит свое войско на штурм дворца. Но этот щенок, не имеющий никакого опыта, вряд ли окажется серьезным противником для солдат Цезаря — не говоря уже о том, что Арсиноя, скорее всего, сделает все от нее зависящее, дабы ускорить его поражение.

Итак, Цезарь и Клеопатра согласились выполнить требование заговорщиков, и сцена прощания молодого царя с влюбленными в смысле ее театральности стала одной из вершин того трагедийного действия, которое разыгрывалось во дворце вот уже пять месяцев. В присутствии Клеопатры (которая, несомненно, даже не пыталась притвориться взволнованной) Цезарь нанизывал одну на другую патетические фразы, умоляя подростка восстановить согласие в Египте и оставаться верным союзу с римлянами. Юный Птолемей пообещал выполнить все, о чем говорил император, затем рассыпался в медоточивых любезностях по адресу влюбленной пары и наконец, в миг расставания, картинно расплакался.

Провожая глазами удаляющегося царенка, Цезарь ликовал: он только что узнал, что Митридат со своим долгожданным подкреплением подошел, наконец, к болотам Дельты и что к нему присоединились несколько тысяч иудеев, посланных первосвященником Иерусалимского храма. Расчет Цезаря блестяще оправдался: одного упоминания имени Помпея хватило, чтобы евреи вспомнили о страшной резне, которую этот полководец учинил в Храме пятнадцать лет назад; тотчас же сформировалось войско из добровольцев, которое, пылая жаждой мести, выступило в поход. Один из крупнейших палестинских вельмож, Антипатр, даже предложил обеспечить солдат необходимыми запасами воды и продовольствия на время их недельного перехода через пустыню; и сейчас, когда Митридат уже огибал Дельту, все еврейские общины, попадавшиеся ему по пути, встречали его с ликованием.

Теперь победа императора, казалось, была предрешена, и, чтобы помешать вражескому флоту высадить людей, которые будут преследовать его союзников, Цезарь развязал грандиозное морское сражение, в ходе которого его адмирал, прежде чем сам пошел ко дну, сумел рассеять корабли Ганимеда.

Теперь Цезарю оставалось лишь соединиться с армией Митридата, которая, миновав Мемфис, двигалась к Александрии вдоль западного рукава Нила. Он посадил на корабли всех пехотинцев и всадников, оставив для охраны дворца только небольшой гарнизон.

Это произошло вечером, на заходе солнца. Корабли взяли курс на восток, все огни были зажжены, Цезарь пристально всматривался вдаль,

как всегда, когда обдумывал сложный маневр. Как и все жители города, Клеопатра поднялась на крышу, чтобы наблюдать за их отплытием. Флот растворился в сумерках. Вот-вот начнется последняя битва — первая битва, которую сама Клеопатра не увидит. За ее спиной простирался покрытый пеплом пустырь — все, что осталось от ее давешнего прибежища, Библиотеки, от океана книг. Перед глазами была пустая линия горизонта — она, Клеопатра, теперь ничего больше не имела, кроме ростка жизни, упорно созревавшего в ее животе (который скоро станет таким же округлым, как земной шар).

*

Для завершающего акта драмы, для того, чтобы боги, наконец, насытились кровью и смертью, не хватало только подходящего героя — ослепленного, переполненного своей кипящей молодостью, безрассудно убежденного в том, что он свободен, силен и является единственным хозяином своей судьбы, потому что никто уже не диктует ему, что он должен делать, и потому что он украсил свой торс золотой кирасой. Эту роль предстояло сыграть молодому Птолемею. И он не обманул ожиданий, совсем напротив: оказался идеальным исполнителем.

В полном соответствии с расчетами Цезаря и Клеопатры, юный царь, едва успев пересечь линию римских укреплений, сместил с должности Ганимеда, отстранил от власти свою сестру и решил перейти в решающее наступление. Военачальник не мог ему помешать: Птолемей, этот идиот, был, как-никак, фараоном, а его военный энтузиазм, в сочетании с внешностью подростка, привлек на его сторону солдат, которые все последние месяцы смутно мечтали о золотом веке Александра.

Итак, мальчишка-царь без особого труда заставил признать себя главнокомандующим, посадил солдат на еще оставшиеся у него корабли и приказал плыть по одному из рукавов Нила, рассчитывая уничтожить Цезаря в новом морском сражении.

Тут-то он и узнал, что римлянин покинул Александрию и взял курс на восток. Решив, что Цезарь собирается высадиться на восточном берегу Мареотийского озера, царь поспешил туда.

Однако как только наступила ночь, Цезарь поменял курс, так как Митридат ждал его не на востоке, а на западе. Потушив все огни, корабли двинулись в обратном направлении и пристали к берегу в западной части Дельты, где Цезарь благополучно соединился со своими союзниками, а

затем атаковал египтян со стороны, противоположной той, откуда они его ждали.

Один из многочисленных рукавов Нила разделял обе армии. Кавалеристы Цезаря переправились вброд; пехотинцы срубили деревья, соорудили импровизированные мосты и, в свою очередь, бросились в атаку на противника. Началась ужасающая резня; солдаты Птолемея молили о пощаде, но римские легионеры, озлобленные многомесячной осадой, были беспощадны: кровь лилась рекой, враги гибли тысячами.

Растерявшийся Птолемей в своей парадной кирасе был явно не способен остановить катастрофу. Часть его армии, чтобы спастись, попыталась овладеть возвышавшейся над местностью огромной дюной. Но легионеры Цезаря, поднявшись с другой стороны, по более крутому откосу, успели первыми занять эту позицию.

Когда римляне лавиной устремились на них с горы, солдаты Птолемея бросились к кораблям, ожидавшим их на Ниле. Почти все они были перебиты, прежде чем достигли своих судов. Молодому царю удалось бежать, он прыгнул на плот, но уже началась паника, и перегруженный плот перевернулся. Юноша, который не догадался сбросить с себя тяжелую кирасу, камнем пошел на дно и исчез в волнах.

Цезарь в этот момент проявил удивительное присутствие духа: вместо того чтобы спокойно наслаждаться плодами победы, он немедленно отдал приказ во что бы то ни стало отыскать труп царя. Он хотел получить доспехи погибшего фараона и отправить их в Александрию как доказательство своей победы, чтобы в зародыше подавить всякую попытку нового мятежа. Но главное, он хотел предъявить египтянам тело Птолемея, и уже одно это показывает, как много он успел узнать от Клеопатры о тайнах фараоновской власти: он прекрасно понимал, что египетский монарх, утонувший в Ниле, если его тело не будет найдено, в глазах людей станет избранником Осириса, обретет статус бога и сможет в любой момент вновь объявиться среди своих подданных. Цезарь, который приложил столько усилий, чтобы избавиться от коварного цареньша, не имел ни малейшего желания сражаться теперь с его призраком или, еще того хуже, с самозванцем. Поэтому, как только окончилась резня, начались энергичные поиски погибшего фараона — и уже через несколько часов, среди тростника и прибившихся к берегу окровавленных трупов, солдаты императора углядели поблескивающую царскую кирасу. Под ней скрывалась хрупкое тело с неразвитыми формами: несомненно, тело Птолемея.

Кираса была тут же отправлена в Александрию под охраной

легионеров, которые вошли в город, размахивая ею, как трофеем. Увидев доспехи своего царя, александрийцы окаменели от ужаса. До сих пор они даже на миг не допускали мысли о возможной победе римлян, ибо никогда еще не терпели поражение от иноземцев. Сейчас они поверили в проклятие небес, кричали, что боги отвернулись от их города, молили о пощаде легионеров, уже проходивших парадом по улицам; затем вытащили из храмов статуи своих богов и выставили их на пути у римлян, еще более горячо умоляя о снисхождении. Наконец легионеры их успокоили, объявив, что Цезарь всех прощает.

Гай Юлий Цезарь, действительно, умел проявлять великодушие; однако александрийцы доставили ему столько хлопот, что было бы неудивительно, если бы на сей раз он пожелал отомстить. Если он все-таки предпочел оказать им милость, то, несомненно, поступил так потому, что желал упрочить положение царицы и тем самым создать условия для выполнения грандиозных замыслов относительно Египта и всего мира, которые они с Клеопатрой вынашивали.

Даже в момент окончания этой трагедии Клеопатра остается для нас немой: мы не знаем, как она встретилась с Цезарем, какие чувства испытывала в тот миг, когда поняла, что город вновь оказался в ее власти. Скорее всего, она не хотела думать о чудовищной цене, которую пришлось заплатить за победу: об израсходованных государственных запасах зерна, о потопленном царском флоте, об уничтоженном городе на острове Фарос, о сгоревшей Библиотеке, о разграбленных судах, о стольких ее подданных, погибших насильственной смертью. Она, наверное, оценивала происшедшее в свете того правила, которое давно для себя сформулировала: играть и выигрывать. Ну что ж, за время игры, которая длилась шесть месяцев, она сорвала весь банк: брат, ее соперник и суженый, умер; «трио» ее врагов уничтожено; Арсиною, пытавшуюся было бежать, уже схватили; мятежный город унижен и разгромлен; и, сверх того, она нашла себе мужчину по своей мерке — владыку мира, ни больше ни меньше.

Итак, когда Цезарь вернулся к Клеопатре, у нее были основания встретить его торжествующим взглядом: она вновь стала фараоном, который ни с кем не делит свой трон, Владычицей Обеих земель, Олицетворенным законом, Наследницей благих богов, Славой своего отца, отныне и навеки. А вскоре, если Исида услышит ее молитвы, она станет еще и матерью царя.

ГЕНИЙ И БОГИНЯ

(апрель — июнь 47 г. до н. э.)

А сейчас — пусть будет блестящая жизнь, такая же, как до войны. Золотые оргии, участники которых не помнят ни о мертвецах, ни о пепле. Надо все начать заново, ничего не меняя. Показать себя, как делали все Птолемеи. Показать его.

Она велела достать всю драгоценную посуду, которая уцелела, устраивала роскошные пиршества, хотя Цезарь ел совсем мало, а пил еще меньше. Он никогда не пьянел, но, как ни странно, поддерживал эту игру. Поговаривали, будто в какие-то моменты ей даже удавалось увлечь его, втянуть в этот феноменальный парад: иногда его, человека, который никогда не украшал свои волосы ничем, кроме лаврового венка, видели входящим в пиршественную залу с цветочной гирляндой на голове. В точности такой, какую носили Флейтист, Пузырь, другие цари Египта со времен завоевания этой страны Птолемеями. Такой, какой любили украшать себя все греки, когда чествовали своего Диониса, неизменного покровителя Неподражаемого города.

Кстати, хотя в утро катастрофы опечаленные горожане кричали, что Бог-Освободитель покинул Александрию, их отчаяние продлилось недолго. Великодушие, которое проявил Цезарь, быстро убедило их в том, что Дионис продолжает их защищать и никогда не оставит. Уже на следующий день все были уверены: их поражение — всего лишь краткий эпизод в истории города. Кто знает, чего бог добивается и чего хочет: наверное, всегда одного и того же, возрождения славы Александра. Может быть, он сделает инструментом своей воли эту царицу — почему бы и нет? А если так, зачем им упорствовать в своей ненависти? В конце концов, Клеопатра победила, проявила такую стойкость, такую неколебимую целеустремленность. И потом, она тоже почитает этого бога, бога ее отца, и никогда от него не отрекалась, совсем напротив — всегда, как и Флейтист, верила в округлость мира, в могущество Того, кто придет издалека.

Царица не преминула воспользоваться этими новыми настроениями и уже через несколько дней после своей победы отдала приказ о восстановлении флота. Гавани и верфи наполнились шумом кораблестроительных работ; вскоре, в разгар весны, откроется морская навигация, и тогда торговые суда вновь начнут огибать Фаросский маяк. У

городских ворот, привлеченные неотразимым обаянием Веселого Бога, появились первые караваны; а вслед за ними — коммерсанты, разносчики, мелкие торговцы, продающие все и ничего.

Короче говоря, жизнь вошла в привычную колею — беззаботная и стойкая в своей беззаботности, такая же или почти такая, какой была всегда. И разве это случилось не благодаря ему, Дионису Бесстрашному, Владыке дальних дорог? С Римом или без Рима, но мир продолжал крутиться на греческий манер и греческий язык звучал повсюду, от Гадеса^[52] до Вавилона, от Массилии до устья Инда — а как же иначе, и потом, разве не по-гречески сам Цезарь нашептывал на ушко Клеопатре свои восхитительно-непристойные признания в любви?..

Тогда о чем беспокоиться, почему бы не вверить судьбу Египта ей, этой энергичной маленькой царице, которая так искусно окрутила римлянина? И, главное, зачем теперь лишать себя удовольствий, столь любимых Великим Волосатиком, — театра, маскарадных шествий, плясок под звуки флейты в кабаках Канопа, с портовыми проститутками, которые тоже нынче кажутся более веселыми, чем всегда (еще бы, после шести месяцев войны)? А на следующий день, когда все проспятся и уберут грязь, как приятно будет, словно в былые дни, заняться своей маленькой торговлей. Тем более что теперь у них есть новый партнер — римляне.

Когда слухи из дворца стали расползаться по городу и там тоже узнали, что царица пирует с Цезарем, увенчанным, как и она, венком из цветов, александрийцы, несмотря на недавнее поражение, вновь обрели весь свой былой апломб. На полуразрушенных улицах с новой силой вспыхнула надежда, потому что все понимали: гирлянды из роз на плешивом черепе победителя — не просто банальное выражение вежливости, чисто формальная уступка обычаям страны; нет, будьте покойны, после того как он лизался с царицей шесть месяцев подряд, этот римлянин плевать хотел на приличия! Все дело в том, что он лучше, чем кто-либо иной, Знает силу символов и никогда не прибегает к ним по недомыслию. Эта цветочная гирлянда на его сияющем кумполе есть тщательно продуманный знак, декларация намерений, целая программа. Программа, обращенная не только к Александрии, но и к Риму, и ко всему миру. Он, Цезарь, есть не кто иной, как Новый Дионис, бог-завоеватель, подобие Александра — вот что он хотел показать этой своей короной, а привлекает Цезаря в легенде о Великом Волосатике не столько карнавал или театр, сколько идея похода в Индию.

Вот каков истинный смысл этой цветочной гирлянды: император утверждает, что, подобно Дионису и Александру, обладает властью

открывать пути в неизведанные земли, исследовать тайны округлости мира, примирять противоположности — латинян и греков, Рим и Александрию. Он, Цезарь, который первым пересек Океан Британии и достиг самой западной оконечности Запада, теперь дойдет до самой восточной оконечности Востока, и как раз сейчас, когда он покорил Александрию и обрюхатил последнюю наследницу фараонов, он приступает к осуществлению своей мечты — момент великого свершения, наконец, настал.

И вот всего лишь благодаря тому, что он показался в этой цветочной короне, Цезарь выиграл очередной тур игры: стал первым из претендентов на наследие Александра, которого жители Золотого города не подвергли осмеянию. Несмотря на то, что он продолжал нежиться в постели их царицы и в ближайшее время — так, по крайней мере, казалось — не собирался эту постель покидать, горожане его уважали. И не только потому, что он их победил. А, главное, потому, что Клеопатра, в том феноменальном спектакле, который она разыгрывала после окончания войны, каждым своим действием и жестом показывала: это она, женщина-фараон, и никто другой, подарила римлянину мечту основателя города, и без нее ни один смертный, будь то даже Цезарь, не мог бы претендовать на возрождение этой мечты.

Тем не менее она вовсе не собиралась отводить императору какую-то иную роль, нежели роль любовника; удовлетворилась тем, что приказала воздвигнуть на берегу моря монумент в его честь — действительно великолепный монумент, смесь греческой архитектуры и колоннад фараоновского Египта (такой стиль был характерен для многих дворцов Александрии). А второго из маленьких Птолемеев — он был последним уцелевшим змеенышем, двенадцати лет от роду, и еще ничего не понимал ни в своей семейной истории, ни в событиях недавней войны, ни тем более в особенностях Рима и Александрии — поспешила сделать своим супругом, с соблюдением всех необходимых процедур (хотя сам брак оставался чисто формальным), и в честь этого события даже дала ему второе имя: «Любящий сестру», иными словами, пожизненная марионетка, обязанная исполнять все ее желания, полное ничтожество.

И уж на сей раз она приняла необходимые меры предосторожности: регентский совет состоял из совершенно бесхарактерных, во всем ей покорных людей. А впрочем, кто бы осмелился хотя бы подумать о том, чтобы выступить пусть даже с самомалейшей критикой против этой маленькой царицы, которая уже доказала, что способна быть столь же жестокой, сколь веселой, и которая теперь показывалась на людях не иначе

как вместе с Цезарем?

А может, это Цезарь показывался не иначе как вместе с ней; потому что никогда не возникало такого впечатления, будто она в чем-то уступает ему, совсем напротив: когда они были вместе, то напоминали парные статуи или богов-супругов, которые посетили эту землю — землю, где люди лучше, чем в какой-либо иной части мира, знают толк в подобных вещах.

И самое удивительное, что римлянин, казалось, получал от этого бесконечное удовольствие, радовался этой возможности тактично продемонстрировать свое всемогущество; во всем его облике суховатого и уставшего от битв человека появилась какая-то новая легкость. Да и царица как бы уже не ступала ногами по земле, в ней ощущалась та же, что и в нем, фация — особая, неподражаемая. Они оба витали в облаках.

Было очевидно, что эти любящие друг друга люди имеют общую мечту. Они станут — если уже не стали — людьми-богами. Он — Дионисом, она — Афродитой. Или Марсом и Венерой. Или Осирисом и Исидой — ибо все были уверены, что она родит сына, маленького Хора, младенца Эроса. Когда родится ребенок, они повторят историю Александра и Роксаны — отца этой азиатской царевны белокурый завоеватель победил, а потом женился на ней, женился ради смешения рас, без которого, как он объяснял своим солдатам, заставляя их тоже вступать в браки с местными женщинами, его империя не сможет долго существовать.

Маленький Александр родился после той экзотической коллективной свадьбы, и, если бы не ожесточенная борьба за власть, которая разгорелась после преждевременной смерти Македонца, юный метис, возможно, осуществил бы мечту своего отца и основал династию, которая до сих пор правила бы всем кругом обитаемых земель. Однако им двоим, царице и императору, возможно, удастся дойти до конца Истории и, если случай им улыбнется, замкнуть ее, как пояс, пряжкой легенды. Ведь они уже снискали милость Владычицы судьбы, благословение Тюхе, Исиды, Фортуны. Доказательства тому — их победа и ребенок, который должен родиться. Сын.

«Легче заставить отступить армию, чем остановить мечту, которая уже двинулась в путь» — есть такая пословица у кочевников пустыни. Прошел месяц с тех пор, как пала Александрия, а Цезарь все не мог решиться ее покинуть.

Правда, осада сильно его измотала. С некоторых пор с ним стали случаться короткие обмороки. С помощью бог весть каких уловок он выдавал их за приступы эпилепсии: Александр, как говорят, страдал этой высокой болезнью, и, по общему мнению — к которому присоединялись и врачи, — она была знаком божественного избранничества. На самом деле тело императора просто уже не выдерживало того безумного ритма, которому годами должно было подчиняться; Цезарь, как любой человек, нуждался в отдыхе.

Он всегда увлекался географией. Он знал, что Александрия — это не Египет, но греческий город, возведенный на его северных рубежах, и с самого начала осады страстно желал увидеть саму страну. Наконец, как большинство образованных людей того времени, он был весьма заинтригован двумя тайнами, которые ни один ученый не мог раскрыть: тайной местонахождения истоков Нила и тайной «механизма» его половодья.

Намекнула ли ему царица — полусловом, полуулыбкой, как умела она одна, — что знает и эти, и все другие тайны Египта, о которых Цезарь, еще будучи подростком, узнал (и сразу же был поражен и очарован ими) из сочинения Геродота? Она ли вызвала в его сознании образ этого волшебного путешествия, решившись на которое, он, как в рассказах о походах Александра, будет переходить от одного восторженного удивления к другому, и так до самого юга, поднимаясь вверх по реке, неспешно перебирающей четки своих чудес? Но если идея путешествия по Нилу и была предложена Клеопатрой, очевидно, что царице не пришлось, отстаивая ее, прибегать к сокровищам своего красноречия или лукавства: Цезарь с радостью ухватился за такую возможность. А между тем ему бы следовало немедленно ехать в Рим.

Ибо новости оттуда были плохими, более того, крайне тревожными: несмотря на все празднества и цирковые представления, которые предлагались народу от имени и за деньги Цезаря, Антоний, которого император оставил присматривать за делами, не мог больше сдерживать плебс. Начались грабежи, пожары: город впадал в состояние хаоса, и пришлось дать толпе урок. Смутьянов в конце концов схватили; суд вынес приговор, согласно которому они должны были покончить жизнь самоубийством, бросившись вниз с Тарпейской скалы, но искры насилия и ненависти еще продолжали тлеть; один за другим из тени выступали всякого рода авантюристы и проходимцы — в их ядовитых речах, направленных против Цезаря, все чаще мелькало имя Клеопатры. Между тем страх до такой степени овладел всеми, что даже атлет Антоний не

выходил из дома иначе как в сопровождении отряда преторианцев и, куда бы ни направлялся, пусть даже в священные стены сената, не выпускал из руки меч и не расставался со щитом.

В Александрии же царил мир, цвела весна; через несколько дней море, официально закрытое для судоходства с конца октября, будет торжественно открыто для навигации. У Цезаря больше не было никакого предложения, чтобы задерживаться в Египте; если сейчас он не воспользуется случаем и не отбудет в Рим, слухи о том, что царица держит его под каблуком, подтвердятся и удвоят число его недоброжелателей — тем более что сын Помпея решил отомстить за отца и вновь разжег пламя гражданской войны. Итак, буквально все обстоятельства побуждали Цезаря вернуться в Рим: призывы Антония, положение в сенате, настроения его солдат, соображения осторожности, насущной необходимости, здравого смысла — и даже наличие попутного ветра.

Но он остался в Египте.

*

Это, как всегда, была игра, вызов. Желание посмотреть, до какого предела можно дразнить судьбу. И еще, как обычно, холодная уверенность в том, что иногда самое разумное — показать себя совершенно неразумным. Дерзость, но не слепая; и это высшее умение брать от жизни все, что можно взять в данный момент, но в то же время строить планы на необозримое будущее.

И в самом деле, в сравнении с тем будущим выигрышем, о котором он мог думать, совершая свою прогулку по Нилу, — в сравнении с сокровищами Египта, которые так пригодятся ему, когда он отправится в поход против парфян, а потом в Индию, — что значила одна весна, проведенная вдали от римских дел? Антонию придется туго, это точно; но, с другой стороны, ему вообще свойственно по возможности отлынивать от работы — такому человеку никогда нельзя оставлять свободы выбора между делами и удовольствиями. Сейчас ему предстоит разбираться со всеми затруднениями: ну и прекрасно, что он оказался на месте событий. По крайней мере, в ближайшее время не будет прожигать ночи в оргиях; и, кстати, он уже неоднократно доказывал, что наиболее эффективно действует именно тогда, когда сталкивается с отчаянными ситуациями.

Что касается Египта, то Цезарь держал его под контролем. В битве на Ниле армия наемников, то есть единственная сила, способная осуществить

государственный переворот, была уничтожена. Римские легионы стояли в городе. Часть из них он оставит в Александрии, но в любом случае, учитывая беременность царицы, Египет у него в руках; да и какой римлянин посмеет хотя бы подумать о том, чтобы лишить его, Цезаря, власти — теперь, когда он наложил руку на житницу всего Средиземноморья?

Так вот и получилось, что Клеопатра сумела ненадолго задержать этого вечно спешащего человека: не благодаря своему очарованию и даже не благодаря ребенку, круглившему ее живот под кисейными одеждами, а просто потому, что Цезарь — прежде чем завершить завоевание мира и добиться, наконец, того, чтобы границы его империи совпали с прибрежной полосой окружающего землю Океана, — нуждался в передышке. В том, чтобы спокойно поразмышлять, помечтать. И Клеопатра могла помочь ему в этом, показав Египет.

*

Они, несомненно, отправились в путь после карнавала, великого праздника открытия навигации, который справлялся ежегодно 5 марта. Трудно представить, чтобы царица решила пренебречь таким событием: это было одно из величайших торжеств в честь Исиды, одна из самых роскошных церемоний во всем Средиземноморье, которая, как считалось, не только укрепляла могущество богини и умножала богатства Египта, но и упрочивала торговую гегемонию Золотого города. После войны, опустошившей александрийский порт, этот праздник, более, чем какой-либо иной, символизировал силу обновления. И, поскольку беременность Клеопатры стала уже очевидной, все побуждало царицу к тому, чтобы принять участие — в качестве новой Исиды во всем ее величии — в процессии во славу Владычицы жизни.

Следовательно, вместе с Цезарем или без него, она должна была возглавить этот дивный карнавал, во время которого, по аналогии с превращающимися одно в другое временами года, юноши переодевались матронами, девушки — гладиаторами, ослам привязывали птичьи крылья, а обезьян наряжали как вестников богов. Длинное шествие, под шум трещоток, двигалось вперед, пока не появлялось изображение божества, которое несли на священных носилках с ручками в виде кобры — той самой змеи-защитницы, чьи фигурки украшали корону царицы и фасады многих александрийских домов. И только после того, как верховный жрец,

произнеся особо действенные молитвы, благословил корабли, надписал на их парусах магические формулы и расставил на палубах приношения богам, состоявшие из молока, фруктов и благовоний, а потом, повернувшись на все четыре стороны света, торжественно объявил, что море открыто для навигации до следующей зимы, царица могла, наконец, взойти на свое собственное судно и отплыть вместе с Цезарем.

Корабль ждал их не на море, а на Ниле. И здесь История сливается с чистейшей романтикой, так что пересказывать ее, опуская романтические подробности, становится невозможно по одной простой причине: Лагиды всегда смешивали искусство политической власти с искусством постановки самых что ни на есть театральных мизансцен. Для своих поездок по Нилу — которые были чисто политическими акциями, поскольку речь шла о том, чтобы показаться народу в образе Исиды Осириса, то есть продемонстрировать свое всемогущество как людей-богов, — они соорудили, из лучшей кипарисовой и кедровой древесины, доставленной с Кипра и Ливана, прекрасно сбалансированный корабль длиной в девяносто и шириной в сорок метров, украшение их флота, и прозвали это судно *таламегой*, «гигантской супружеской спальней», имея в виду его огромную и роскошную каюту. На время Александрийской войны это драгоценное судно, наверное, предусмотрительно спрятали в каком-нибудь укромном месте, потому что, когда Клеопатра предложила его Цезарю, оно сохраняло все свое бывшее величие. И в тот миг, когда весла начали размеренно погружаться в воду и роскошная таламега заскользила меж нильских берегов, сопровождаемая четырьмя сотнями судов, на которых разместились придворные и римские легионеры, Цезарь, несомненно, подумал, что достиг не только пределов пространства, но и пределов времени.

Теперь наступил черед триумфа Клеопатры; другим царицам, жившим прежде нее, порой удавалось поймать в свои сети безумцев войны, остановить на какое-то время маньяков власти, но в этот миг она превзошла их всех: сейчас она увозила своего гения в путешествие, которое напоминало восхождение к вечности.

А между тем тот, кому она подарила это дивное приключение, был одним из первых людей на земле, которые поняли, что в нашем мире все меняется, что время не кусает себя за хвост, а формирует себя, конструирует себя посредством меча, законов, выборов, декретов, амбиций: короче говоря, что существует сила по имени История, которая зависит от людей, а не от богов. И этого Цезаря, который был в подлинном смысле *homo historicus*^[53], этого политического гения, на много веков

опередившего свою эпоху, Клеопатра в мгновение ока перенесла в *безвременье*. После душного и тесного пространства осажденного дворца ему хотелось простора, нескончаемой протяженности нильской долины и пустыни; и вот, когда он взошел на этот корабль, так похожий на священную барку богов, перед ним открылось неподвижное время пирамид, храмов, сфинксов, обелисков — сей географический горизонт не только каждый миг давал новую пищу для его ума и воображения, но и стал для него образом той самой нерушимой вечности, которую он хотел сделать фундаментом своей будущей империи.

Двое влюбленных еще никогда не переживали таких чарующих моментов, как сейчас, когда они, никуда не торопясь, медленно перебирают нескончаемые четки сокровищ Египта: гробницы, храмы у кромки воды, священные росписи, таинственные письма, разделенные крошечными бусинками лотосов и крокодилов... О том отрезке пути, что предшествовал их прибытию в Фивы, никаких сведений у нас нет — как будто время и впрямь растворилось в речном потоке. Но там, в древней столице фараонов, История внезапно настигла Цезаря и Клеопатру. Царица встретила жрецов, которые в памятные месяцы изгнания предоставили ей убежище, и должна была их успокоить, убедить в том, что римлянин не представляет угрозы для традиционного порядка вещей, что он не претендует на верховную власть, а, напротив, попытается им помочь после страшных лет засухи, опустошавшей долину. Но все оказалось просто: факт беременности царицы (она была уже на шестом месяце) жрецы восприняли как благоприятный знак, а комедия, которую Цезарь разыграл в самом начале войны, когда заявил о том, что возвращает Кипр Египту, показалась им достаточной гарантией того, что римлянин будет уважать независимость страны и не нарушит мир. Может быть, именно во время этой поездки Клеопатра договорилась со жрецами Гермонтиса о том, что ее сын — если Исида в своей милосердии позволит ей родить мальчика — будет признан сыном бога Амона, воплотившегося в земного отца ребенка, Цезаря. Великий дипломат наверняка не остался безучастным к этим переговорам: прибыв в Фивы, он немедленно принес жертву богу, который, как считали египтяне, уже обитал в его теле...

И на этот раз Цезарь опять, так сказать, шел след в след по стопам Александра. Ибо и Македонец, завоевав Египет, получил благословение Амона: обратившись к оракулу этого бога, который находился в оазисе Сива, в глубине Ливийской пустыни, он узнал, что станет владыкой мира. Сам ли император подстроил упомянутый эпизод, имел ли он на руках крапленые карты? Это маловероятно: хотя он жил в религиозную эпоху,

Цезарь больше верил в самого себя, чем в богов. Однако похоже на то, что во время поездки по Нилу Цезарь окончательно пришел к выводу о невозможности создать стабильную империю, не опираясь на персональный и династический миф (эту идею он защищал с двадцатилетнего возраста, когда, в речи на похоронах своей тетки Юлии, впервые заявил о божественном происхождении своей семьи), и что именно в Египте, сталкиваясь с богами, которых почитали и греки, и римляне, он понял: необходимо как можно скорее заложить основы универсальной религии. Новые боги (такие, как Дионис-Осирис, Сарапис-Зевс-Асклепий, Исида-Афродита) должны выражать достаточно общие принципы, иначе они не смогут обеспечить единство мозаичной империи, которая образуется в результате завоеваний и будет состоять из очень разных земель, населенных лишенными корней народами, — этого универсума, не имеющего надежных ориентиров, подверженного всяческому волнению, крайне неустойчивого.

Итак, пока они поднимались вверх по течению, мечта Цезаря обретала форму, округлялась — по мере того (хочется мне сказать), как округлялся живот царицы. Наконец Цезарь и Клеопатра достигли Асуана. Приблизившись к порогам, они оставили корабль и направились — наверное, их несли на носилках — к храму Исиды на острове Филе, некогда столь любимому Флейтистом. На этом острове, среди хаоса скал и весело журчащих прозрачных потоков, скрываются пещеры, в которых, согласно легенде, втайне готовится великое ежегодное действо Половодья. Храм Исиды расположен в непосредственной близости от пещер; на его стенах можно увидеть силуэты и профили Флейтиста, изображенного в тех же позах и тех же одеяниях, что и древние фараоны. Цезарь и Клеопатра принесли там жертвы, а потом тронулись в обратный путь — под предлогом, что солдаты императора устали и требуют возвращения в Рим.

Описание этого момента в хрониках их путешествия приводит на память рассказы об эпопее Александра: оно кажется слабым оттиском того эпизода, когда, достигнув рубежей Индии и будучи уже так близко от конечной цели похода, солдаты македонского завоевателя, изможденные и охваченные страхом перед чужой для них страной, заставили своего главнокомандующего повернуть назад. На самом деле причины, побудившие к возвращению Цезаря и Клеопатру, наверняка были куда более прозаическими; если «медовый месяц» влюбленных закончился у острова Филе, значит, они, всегда все просчитывавшие наперед, договорились об этом заранее (скорее всего, еще в Александрии). Царица была уже на седьмом месяце; чем дальше они продвигались к югу, тем

более нестерпимой становилась жара. Конечно, женщины той эпохи, будь то царицы или простолюдинки, не боялись рожать где придется. Но Клеопатра почти всю жизнь провела на севере и, поскольку уже приближалось лето, наверное, хотела к моменту родов оказаться в относительной прохладе своего стоящего на берегу моря дворца — тем более что там она в любой момент могла обратиться к лучшим в мире врачам. Что касается Цезаря, то он уже обдумал то, что хотел, и насытил свое воображение. Полностью удовлетворить его любопытство могла только исследовательская экспедиция; чтобы осуществить ее, пришлось бы перетаскивать суда по суше в обход порогов, на расстояние как минимум двадцать километров. Судя по режиму реки, истоки Нила находились гораздо выше по течению; легенда о гротах острова Филе, сколь бы поэтичной она ни была, не раскрывала тайну половодья. Что ж, он отложил поиски рационального объяснения этой географической загадки на будущее и, отбросив эмоции, решил: пора возвращаться в Александрию.

Мы не знаем, когда и как происходило последнее прощание влюбленных. Известно лишь, что Цезарь уехал примерно за месяц до родов, уехал неожиданно, из-за мятежа, который разгорелся на берегах Босфора. Ничто не указывает на то, что Клеопатра при расставании плакала, гневалась на него или испытывала острую душевную боль. Потому что, как говорили египтяне, эти двое познали «земное счастье, выпадающее на долю тех, кто находится во власти богов»; Цезарь (царица всегда это знала) не принадлежал к числу мужчин, которых можно удержать, — но и сама она не была из тех женщин, которыми владеют как собственностью.

Поэтому очень может быть, что они расстались так же, как встретились: как равные, как наиболее искушенные среди политиков, какими они оба были. Он, оставляя свою любовницу на троне Египта и свои легионы — при ней, чтобы ее охранять, был гораздо больше уверен, что эта страна останется под его контролем, чем если бы доверил управление ею наместнику, который наверняка предал бы его при первой возможности. А Клеопатра, в свою очередь, была уверена, что, независимо от того, станет ли она матерью его сына, однажды снова увидит своего возлюбленного и союзника — потому что он не сможет осуществить свои амбициозные планы без сокровищ ее страны. Значит, когда они расставались, их «сообщничество» должно было остаться таким же, каким было всегда: оба, с одинаковой веселой иронией, подыгрывали друг другу — и оба верили в свою звезду.

Роды у царицы начались через несколько недель после отъезда Цезаря,

в момент летнего солнцестояния, что соответствовало ее расчетам; она, как и надеялась, произвела на свет мальчика. Без сомнения, радость ее была совершенной — в чем могла бы она упрекнуть судьбу? Женщины Египта не нуждались в присутствии отца ребенка, чтобы дать этому ребенку имя: согласно местным обычаям имя выбирали именно они. Клеопатра назвала новорожденного Птолемеем (это имя носили почти все мужские представители династии); но она дала ему и второе имя — Цезарь, — таким образом дав понять всем и каждому, кто является отцом ее сына, и заодно подчеркнув, что с рождением этого ребенка Египет приобрел покровительство владыки мира.

Уже само это имя объединило греков и римлян, которые еще накануне были врагами; оно, как и цветочная корона на голове императора, напоминало о старом обещании Диониса, великого умиротворителя, сочетающего противоположности. Александрийцы без труда это поняли и, верные своему обычаю, сразу же придумали прозвище для ребенка, которое на сей раз оказалось одновременно и нежным, и насмешливым; оно (что, конечно, неслучайно) было наполовину греческим, наполовину латинским: Цезарион — «Маленький Цезарь»...

Неизвестно, где и когда Цезарь узнал о рождении своего сына; возможно, это произошло на побережье Черного моря, где он в то время воевал. К императору вернулись его прежняя бодрость и уверенность в себе; в свои пятьдесят четыре года он вновь был способен сражаться, как молодой человек. Скорее всего, Клеопатра получила от него известия раньше, чем он от нее, и прочитала ту лапидарную фразу из шести слогов, которую по завершении молниеносной кампании Цезарь бросил в лицо миру как девиз, выражающий его новые безграничные амбиции: *Veni, vidi, vici*.

Насмешливая царица, наверное, рассмеялась, когда ей перевели этот афоризм. «Пришел, увидел, победил» — полководец не мог бы сказать такого об Александрийской войне... И если Клеопатра не сумела его завоевать, он, Цезарь, победить ее тоже не смог.

НА ВЕРШИНЕ

(июнь 47 — июль 46 г. до н. э.)

Ребенку исполнился год, прежде чем отец впервые его увидел. Весь этот год Цезарь провел в сражениях. После Босфора и короткого пребывания в Италии он отправился в Африку, где вновь подняли голову сторонники Помпея. Новые осады, новые кровопролитные битвы — и всегда он побеждал. Да, но какой ценой: самоубийство Катона, загнанного в крепость Утику^[54]. Потом — Сципиона, который, пронзив себя мечом, бросился в море. Эти люди принадлежали к цвету римской знати. В Риме сенаторы гнули спину перед Цезарем. Но втайне выражали недовольство.

Клеопатра знала об успехах Цезаря, но до нее также стали доходить слухи, что его здоровье вновь внушает опасения, что при Тапсе^[55], в канун решающей битвы, Цезарь был вынужден на день отложить атаку (из-за очередного недомогания, которое он объяснил как приступ эпилепсии?). Поговаривали также, будто по ночам Цезарь иногда просыпается, охваченный смертельным ужасом, и пристально вглядывается во что-то в полумраке своей палатки. Видятся ли ему в такие минуты призраки множества людей, погибших в Галлии ради того, чтобы он удовлетворил свою ненасытную жажду золота и власти, или те римские аристократы, которые предпочли вспороть себе брюхо собственным мечом, лишь бы не принять смерть от его, Цезаря, руки или, еще того хуже, не быть обязанными ему своей жизнью?

Если Клеопатра и знала об этих разговорах, они никак не повлияли на ту линию поведения, которую она определила для себя, еще будучи подростком: никогда не бояться риска и пытаться извлечь максимальную пользу из текущей ситуации. Пока у нее все складывалось наилучшим образом. Царица была совершенно свободна от семейных связей (небывалый случай в истории династии). Ее сестру Арсиною увезли в Рим, и там царевна томилась в тюрьме в ожидании возвращения Цезаря и его триумфа, в ходе которого она, согласно обычаю, будет выставлена на всеобщее обозрение, а потом казнена. Младший брат и муж Клеопатры, тринадцатилетний Птолемей XIV, оставался покорной игрушкой в ее руках. Он даже и не помышлял о том, чтобы предъявить ей свои супружеские права; сама мысль о возможной половой близости с сестрой внушала ему ужас. Три легиона, которые оставил царице Цезарь, — около пятнадцати

тысяч человек — были надежной гарантией против любого вторжения на территорию Египта.

Военачальник, которого Цезарь назначил командовать этими солдатами, ежедневно демонстрировал ей свою безупречную лояльность. Это был один из тех лично преданных ему офицеров, которыми император любил себя окружать, — некто 1^{фин}, скорее всего, сын вольноотпущенника (во всяком случае, не выходец из римской аристократии), человек, не желавший ничего знать о политических интригах. Далекий от того, чтобы попытаться стать двойником Цезаря или отстранить царицу от власти, он прилагал все силы, дабы упрочить просуществовавший уже много веков уклад жизни Древнего Египта. И мир вновь вошел в свой привычный ритм. Нил в надлежащие сроки разливался и оплодотворял поля, сборщики налогов толпами стекались к царским зернохранилищам, все александрийцы оживленно занимались своими делами в мастерских и на пристанях — а Маяк неизменно освещал этот чудесный механизм, производящий золото и все, что нужно для роскошной жизни, механизм, абсолютной владычицей которого была теперь Клеопатра.

Наконец, как бы для того, чтобы ее всемогущество в глазах народа стало еще более очевидным, судьба даровала ей сына. Это был крепкий мальчик, которого жрецы, как они и обещали царице, поспешили признать сыном Амона. Для этого будущего фараона царица, следуя существующей с незапамятных времен традиции, воздвигла «храм рождения» в Гермонтисе, священном городе. На стенах храма выгравировали и ее изображения — величественные и грациозные силуэты царицы, контуры которых соответствуют многовековому иконографическому канону.

Клеопатра не смогла себя узнать в этих образах: она не была ни такой высокой, ни такой худощавой, и профиль ее в жизни казался более резким. Из ее подлинных черт здесь присутствовали, может быть, только хорошо заметная улыбка и живот, еще слегка увеличенный после недавней беременности, и радостный блеск в глазах. Но зато художники не забыли о главном — о символах. О знаках ее священного статуса, знаках власти: короне богини с солнечным диском, обрамленным рогами; магической кобре, украшавшей лоб царицы; амулете в виде иероглифа жизни в ее руке. На изображениях царица прижимала к своей переполненной молоком груди младенца — метафора Египта, матерью коего считала себя Клеопатра.

Да, именно такой смысл заключал в себе этот образ: царица — новая Исида; она восстановила мир в стране, на века и века, ибо ее сын, рожденный от Амона, есть новый Хор. А значит, отсутствием портретного

сходства вполне можно пренебречь; отныне Клеопатра хотела видеть себя именно такой, как на этих храмовых изображениях: Великой Исидой, Единственной и Могущественной, Источником закона, Супругой Бога, Владычицей вод, земли и зерна, неба и звезд, ветров, раздувающих паруса кораблей. И, главное, Божественной Матерью.

Такое представление Клеопатра твердо решила распространить и за пределами своей страны. Потому что Флейтист тысячу раз ей повторял: Египет — это, помимо долины Нила, еще и Кипр, и Ливия, и Нубия, и Иудея; говорят даже, что были фараоны, которые, мчась на боевых колесницах и сжимая в руке лук, раздвигали границы египетского государства до берегов Евфрата. Однако повсюду в этих землях — как и в Риме, как и в Греции — люди сейчас переживали мучительную эпоху. Они уже узнали других богов, помимо своих собственных, и потому сомневались, заблуждались, проживали свою жизнь в страхе и страданиях, не способные увидеть горизонт, понять смысл происходящего. Их, как и египтян, необходимо было привести к новому по дорогам надежды; и могли найтись лучший символ для этой надежды, в которой сейчас так нуждались люди во всех обитаемых землях, чем молодая мать со своим дитятей?

Несомненно, именно поэтому на монетах, чеканившихся на Кипре (острове, который Цезарь вернул египетской короне), Клеопатра в тот период приказывала изображать себя как царицу с младенцем — как мадонну, хочется мне сказать. На этих изображениях царица одета так, как одевалась чаще всего, — в греческую тунику. Лоб ее украшает традиционная диадема из белой ткани, знак царского достоинства; и, в соответствии с тогдашней модой, она носит шиньон, узлом уложенный на затылке. Однако, поскольку она ощущала себя Исидой, Клеопатра (которая, как все женщины высокого положения, наверняка доверила своего сына кормилице) не побоялась распорядиться, чтобы на монетах ее изображали в образе кормящей матери — чего никогда не делала ни одна царица из рода Лагидов.

Этот ребенок, сосущий грудь, был, как и все остальное, элементом театральной постановки, картиной в ряду других мизансцен, выражавших концепцию власти. Однако люди явно воспринимали этот образ так, как рассчитывала Клеопатра, ибо единственное прозвище, которое к ней пристало (и которое, возможно, придумали именно в тот период), совпадает с эпитетом Исиды: «Великая».

Попалась ли сама Клеопатра в ловушку, полностью отождествив себя с этим образом женщины-богини? Убедила ли себя, что только благодаря ей происходят в должные сроки нильские разливы, что от нее, как от Исиды, зависят судьбы мира? Это маловероятно, потому что, в результате общения с Цезарем и многолетних занятий и размышлений в Библиотеке, она тоже поняла, что такое История. Пусть она поняла это менее отчетливо и была менее одержима своим новым знанием, чем император, однако благодаря своей страсти к книгам она уже давно принадлежала к сообществу (в ту эпоху очень немногочисленному) людей, которые сознавали, что Время само себя формирует; и именно тот (поразивший Цезаря) факт, что она сумела сделать это открытие, придал такую прочность их союзу. Это было важнее, чем общность политических интересов, и уж куда важнее, чем рождение ребенка.

И вот, на второе лето после появления на свет Цезариона, когда диктатор^[56] пригласил царицу в Рим, она почти сразу же собралась и выехала из Александрии. Не только потому, что хотела увидеть своего возлюбленного, показать ему его сына; не только чтобы успеть принять участие в празднествах, к которым уже готовились в Вечном городе, или в надежде повторить их былые бурные ночи (уже по просьбам, содержавшимся в его письмах, она поняла, что таких моментов будет немного). На этот раз новая война не отнимет у нее Цезаря. Но задача, которую Цезарь перед собой поставил, потребует от него больше сил и времени, чем любая война. Сейчас он пожелал перестроить Рим, перестроить весь мир. Открыть новую эпоху.

Это было очевидно, проглядывало сквозь строки его писем. Например, он просил царицу привезти с собой в Рим ее инженеров по земляным работам: он узнал, еще когда находился в Александрии, что египтяне уже две тысячи лет назад прорыли канал между Красным и Средиземным морями; сейчас он намеревался осуществить почти столь же грандиозный проект — осушить болота в окрестностях Рима, которые каждую весну заражали город своими ядовитыми испарениями. Но он решил заняться и самим городом, очистить его от грязи и мусора. Поэтому диктатор просил у

Клеопатры, чтобы она прислала ему своих архитекторов, с которыми он обсудит планы сооружения новых городских укреплений и улиц, достаточно широких, чтобы на них могли разминуться две колесницы; он хотел, чтобы его город приобрел такую же четкую планировку, какая была характерна для Александрии, — пусть даже, чтобы добиться этого, придется повернуть вспять Тибр. И этот старый Рим, выстроенный из кирпича, он хотел заменить новым, мраморным. Хотел на месте сумрачной и хаотичной цитадели Ромула возвести другой город, в котором было бы много света и воздуха, город, открытый всему миру. Короче говоря, Александрию на берегах Тибра.

Сверх того, желая вступить в соперничество с Золотым городом, он мечтал о новом форуме, новом гигантском театре, Мусейоне, в котором мог бы разместить коллекции картин и статуй, наконец, о Библиотеке. На сей раз он не просил у Клеопатры разрешения проконсультироваться с одним из ее многочисленных ученых, а предпочел — гордость римлянина обязывала — поручить устройство своей библиотеки одному из величайших умов латинского мира, грамматiku Варрону. Задача, которую император поставит перед этим человеком, будет идентична той миссии, которую Птолемеи доверяли лучшим из своих эрудитов, когда назначали их хранителями Библиотеки: составить сумму, универсальный компендиум всех человеческих знаний. Мифология, история, филология, юриспруденция, грамматика, музыка, арифметика... Цезарь, подобно Птолемею Филадельфу, повелел, чтобы все науки мира были представлены в этой Библиотеке — вплоть до той новой странной дисциплины, о которой римляне узнали от вавилонян, а те, в свою очередь, от египтян^[57]. И еще, опять-таки следуя примеру Птолемея, Цезарь мечтал привлечь в Рим лучших ученых мира, предложить им место, где они могли бы проводить свои диспуты, и даже предоставлять права римского гражданства всем врачам, ораторам, грамматикам, математикам, философам, которые пожелают поселиться в его городе.

Он мечтал об универсальной культуре, это было ясно; хотел сделать Рим центром мира, городом, который собрал бы в своем лоне все многообразные проявления человеческого духа, соединенные в одно целое его усилиями. Он даже собирался провести уникальную денежную реформу: ввести в обращение на всех территориях, завоеванных римскими орлами, единообразные монеты с фиксированным весом. Цезарь пытался сделать универсальным даже время и потому просил Клеопатру привезти с собой ее астрономов: он решил реформировать календарь, усовершенствовать его, чтобы люди во всех концах земли захотели вести

летосчисление по новой, разработанной им системе^[58].

Может быть, именно эта последняя просьба помогла Клеопатре разгадать стратегию Цезаря: он не выступит в поход для завоевания Великого Востока, пока Запад не упрочится на своих фундаментах, пока не станет совершенным во всех своих деталях, пока не будет иметь надежные ориентиры и ферменты единства, которые впоследствии диктатор без труда сможет перенести на всю совокупность обитаемых земель. Когда царица осознала это, для нее прояснился смысл и некоторых других его просьб, на первый взгляд несколько ребяческих. Он, например, просил прислать из Египта обелиски для украшения садов Вечного города. И это не было пустым капризом. Он полагал, что миссия римлян состоит в объединении Востока и Запада, и хотел, чтобы его сограждане «прочитывали» эту идею в самом окружающем их пейзаже. По той же причине он начал — к ужасу всех тех, кто испытывал ностальгию по добрым старым временам, — легализацию практики восточных культов. Он вновь открыл синагоги, прекратил преследования почитателей Исиды и разрушение их святилищ, даже собирался позволить им построить новый храм. Ходили слухи, что и дионисийским братствам, деятельность которых была запрещена уже более полутора веков назад, после ужасного скандала с вакханалиями, вскоре будет позволено свободно отправлять свой культ.

Разумеется, далеко не все проекты Цезаря были вдохновлены открытиями, сделанными им в Египте, и его размышлениями о синтезе культур, к которому стремился Александр. Некоторые гениальные наметки принадлежали ему одному; например, после тайного шифра, который Цезарь изобрел, чтобы его послания могли читать только преданные ему сторонники, он придумал новую форму книги, которая — так он мечтал — станет вечной и универсальной: вместо того, чтобы пользоваться традиционными нескончаемыми *volumen* («свитками»), которые нужно непрерывно раскручивать и скручивать, что затрудняет процесс сопоставления текстов и мешает спокойным размышлениям, он предложил разрезать пергамент на единообразные небольшие страницы и потом, сшивая их вместе, создавать *codex*, «книгу», которая в таком виде имеет неоспоримые преимущества перед свитком, как в смысле транспортировки, так и в смысле удобства обращения с ней.

Это на первый взгляд второстепенное нововведение на самом деле, как и все другие планы Цезаря, отражает его великий замысел: не только завоевать мир, но и реформировать его, заново «изобрести». Ибо его проект состоял вовсе не в том, чтобы повсюду насадить римскую цивилизацию. Нет, проект этот был куда более тонким, благородным и светоносным:

создать, по образцу Рима, но с учетом греческого и египетского опыта, матрицу человеческого общества, достаточно совершенную, чтобы она могла гармонично сочетать в себе множество достижений разных культур. Энергия, которую он вкладывал в осуществление этого проекта, проистекала, конечно, не из желания устроить, перетасовав всю колоду, веселую неразбериху и тем более не из того удовольствия, которое доставляют перемены как таковые. Цезарь имел гораздо более возвышенную и простую цель: он хотел «учредить» новую историческую протяженность — максимально стабильную, почти не подверженную изменениям (вероятно, по образцу той, которую обнаружил в долине фараонов, когда путешествовал по Нилу вместе с Клеопатрой). Короче, он собирался заложить фундамент новой эпохи. И, чтобы ему это удалось, гений нуждался в присутствии богини, хотел видеть ее рядом с собой.

Но он не знал, что стоило Клеопатре подумать о холмах Рима, как в ее сознании всплывали годы стыда и изгнания; что слова «сенат», «Форум», «Капитолий» напоминали ей о том, как униженный Флейтист обивал пороги римских домов, вымаливая поддержку и тайком разбазаривая на взятки алчным и продажным политикам старинные сокровища семьи.

Рим оставался для нее живой памятью, ожогом, так и не переставшим болеть. И еще — возможностью отомстить. Поэтому, когда Цезарь ее позвал, царица без колебаний покинула Египет.

*

Теперь диктатор, в свой черед, решил ее поразить. Из-за того, что он непрерывно шел от одного сражения к другому, у него не было времени праздновать победы — даже самую внушительную из них, победу над Галлией, которую он одержал шесть лет назад. И вот в разгар римского лета, прежде чем заняться преобразованием мира, он решил разом отметить все свои успехи; и хотя всегда отличался неприязнительностью, сейчас пожелал насладиться многолюдным и грандиозным спектаклем, роскошью, превосходящей все, что когда-либо видели в Риме, а может, и во всех других городах, даже в Александрии.

Цезарь держал под контролем все детали подготовки будущих торжеств, вплоть до материала для сооружения носилок, на которых пронесут добычу, захваченную в ходе его военных кампаний. Для галльского триумфа он выбрал в качестве такого материала лимонное дерево; для египетского — аканф; для босфорского — древесину, обитую

черепашьим рогом; для африканского, последнего в этой череде выверенных с ученой педантичностью роскошных парадов, — слоновую кость.

Он нанял художников; за несколько недель, под его неусыпным критическим наблюдением, они должны были изобразить самые эффектные (в театральном смысле) эпизоды его походов: смерть Ахиллы, казнь евнуха Потина, тонущего в африканских водах Сципиона, самоубийство Катона в крепости Утика. Готовились также концерты/балеты, представление, изображавшее морскую битву; меж римских холмов осуществлялись масштабные земляные работы, люди выкапывали водоемы, рыли каналы. Цирк, несмотря на свои внушительные размеры, был тесен для грандиозных сражений гладиаторов, которые диктатор намеревался предложить народу, — и Цезарь приказал его перестроить. Скульпторы трудились над изготовлением монументальных статуй: например, чтобы отпраздновать свою победу над Александрией, Цезарь пожелал провезти на триумфальной колеснице гигантское изображение Фаросского маяка; на его верхней площадке должен был гореть костер — настоящий, с огромными языками пламени.

Потерял ли диктатор голову? Позволил ли себе безрассудно увлечься чередой парадов, которые Клеопатра устраивала в течение нескольких недель после их победы? Хотел ли состязаться в роскоши с ней, своей возлюбленной, или не мог забыть легендарных процессий Птолемеев? Разумеется, дело было не в этом — хотя римляне, действительно, никогда прежде не видели такого великолепия. Устраивая эти триумфы, Цезарь прежде всего рассчитывал произвести определенное впечатление на своих сограждан.

Урок на тему «завоевание мира» — вот что будут представлять собой эти четыре *дефиле*; вот почему диктатор уделяет такое внимание даже мельчайшим деталям, старается максимально обыграть эффекты неожиданности и разнообразия, которые, как известно, составляют основу основ любого педагогического начинания. Например, строгое и возвышенное зрелище, которое он посвятил своей победе над Босфорским царством, разительно контрастировало с тремя другими процессиями: Цезарь пожелал, чтобы по городу пронесли, вместо изображающей эту войну картины, простой плакат со словами, которыми он обессмертил тогдашнюю молниеносную кампанию: *Veni, vidi, vici*. Поразить воображение народа с помощью ясных символов и демонстрации захваченной добычи — вот все, к чему он стремился. Разумеется, за этим скрывалась и другая цель: получить от этого самого народа, когда триумфы

закончатся, средства, необходимые для того, чтобы завершить завоевание мира.

Ибо в Риме триумфальная процессия была важнейшим политическим актом, главным этапом овладения властью — особенно со времен Суллы и Помпея, когда окончательно стало ясно, что Республика есть не более чем пустая скорлупа^[59]. В дни, когда граждане (и аристократы, и плебс) жили томительным предчувствием установления некоей новой системы, которая сможет, наконец, прогнать призрак гражданской войны, триумфальные торжества позволяли им, пусть на время, с радостью обрести свою давно утраченную идентичность, вспомнить мифический Рим изначальных времен, населенный солдатами-крестьянами — грубыми и суровыми героями, которые одного за другим уничтожали врагов благодаря своим нравственным и военным добродетелям. Своими шествиями Цезарь намеревался показать, что эта феноменальная авантюра ныне приближается к концу и что Фортуна, богиня Судьбы, избрала его, и только его, чтобы завершить завоевание мира.

*

Четыре триумфа — по числу сторон света. Начнется все с Запада, с Галлии. Затем последуют триумфы над Египтом, символизирующим Восток, над Босфором, представляющим Север, и, наконец, над Африкой, которая будет изображать Юг. Здесь важны даже не столько приблизительные географические соответствия, сколько торжественная презентация Вселенной: благодаря многообразию действия, наличию множества пленных, животных, экзотических предметов, которые будут выставляться напоказ в каждом из четырех актов спектакля, народ получит визуальный «инвентарь» мира, его описание. А чтобы смысл этого зрелища дошел до всех, для него подберут образы одновременно символические и монументальные; в Риме уже распространились слухи, будто Цезарь приказал своим скульпторам создать статуи не только рек, которые попадались ему на пути во время его походов, — Роны, Рейна, Нила, — но и самой ойкумены, круга обитаемых земель, которую изобразят в виде женщины с пышными формами, с головой, увенчанной тяжелой зубчатой короной; однако все эти чудеса, шептались люди, затмит гвоздь программы — колоссальная золотая статуя, изображающая Океан.

Даже немногие слухи, которые доходили до Клеопатры, позволили ей понять (к тому моменту, когда галеры вошли в устье Тибра), что ее

возлюбленный по-прежнему мечтает о том же, о чем она, и так же, как она, одержим своей неизменной идеей: создать империю, охватывающую весь круг обитаемых земель.

*

Историки отрицают участие Клеопатры во втором из этих триумфов — том, который состоялся в начале июля и был посвящен победе Цезаря над Александрией. Одни предполагают, что Клеопатра предпочла прибыть в Рим уже после праздника, связанного с Египтом, другие — что она просидела весь тот день взаперти, в великолепной вилле с садами на берегу Тибра, которую диктатор купил и предоставил в распоряжение своей возлюбленной.

Эти предположения ничем не оправданы: в Риме, так же как и в Александрии, Цезарь не скрывал своих отношений с царицей. Был только один момент, в связи с которым он проявлял крайнюю осторожность: факт его отцовства, никогда впрямую не упоминавшийся; даже своим боевым товарищам диктатор не позволял обсуждать эту тему. Что касается Клеопатры, то она рассматривала его победу над Александрией как их общий успех, хотя и отдавала себе отчет в том, что без своего любовника-римлянина не могла бы уничтожить врагов и обуздать недоброжелателей.

А раз так, то ради чего стала бы она отказываться от участия в процессии? Да, конечно, отдельные детали триумфа — например, картины, представлявшие насильственную смерть двух евнухов, или колесница, на которой везли монументальное изображение Александрийского маяка, могли навести римских простолюдинов на мысль, будто Египет был аннексирован. Там, где царица прочитывала намек на уничтожение ее смертельных врагов, средний римлянин видел подтверждение того, что его блистательный император завоевал некое эльдорадо, страну неисчерпаемых богатств. Сенаторы, со своей стороны, были убеждены, что Цезарь посредством какого-то феноменально ловкого фокуса завладел египетскими сокровищами. Следовательно, в день триумфа Цезарь любыми средствами должен был доказать толпе, что уважал и продолжает уважать независимость Египта. В отчете о событиях в Александрии, который он диктовал в те дни преданному ему офицеру Гирцию, настойчиво подчеркивается та же идея: Цезарь задержался в Египте лишь по причине неблагоприятных ветров и потому, что по своей доброй воле захотел выступить арбитром в ссоре между членами царской семьи. Значит,

присутствие Клеопатры на торжествах было для него совершенно необходимо: только египетская царица могла подтвердить его версию происшедшего.

Да и сама Клеопатра была в этом заинтересована: то обстоятельство, что ее пригласил как почетную гостью полководец, достигший пика своей славы, укрепляло ее положение женщины-фараона, абсолютной владычицы египетского государства, и ее статус «союзника и друга римского народа», необходимое условие личной безопасности и территориальной целостности ее страны.

Наконец, что радовало ее больше всего, приглашение Цезаря позволяло ей очевидным образом взять реванш над всеми аристократами из сената, которые во времена изгнания столь откровенно игнорировали ее отца — а иногда и просто бесстыдно присваивали его подношения, не выполняя ни одного из своих обещаний. Вот почему в то летнее утро, когда Цезарь открыл торжественную процессию, которая должна была прославить его победу в Александрийской войне, начался триумф не только самого диктатора, но и Клеопатры.

*

Это был зенит в жизни Клеопатры. Апогей, полдень. Летнее солнцестояние ее славы (совпавшее с лучшими днями римского лета), апофеоз. Никогда еще она не ощущала себя столь близкой к небесам. А между тем она оставалась лишь зрительницей, триумф праздновал Цезарь — это его лицо было вымазано красной краской, его плечи покрывал пурпурный плащ, его голову венчали лавры, он стоял, выпрямившись, со скипетром в руке, в колеснице, которую влекли вперед двенадцать белых коней.

*

С тех пор прошло двадцать веков, и тем не менее воображение не подвело кинорежиссера: я имею в виду Манкевича и его фильм, посвященный египетской царице. Снимая сцену триумфа, он, прекрасно знавший исторические реалии, намеренно сделал Клеопатру главным действующим лицом процессии, а императору отвел роль зрителя — разумеется, зрителя, сидящего в первом ряду, в курульном кресле^[60]. Но

неподвижного, и потому кажущегося персонажем второго плана.

Эта сцена, совершенно неправильная, с точки зрения фактов, тем не менее является гениальным интуитивным прозрением — что станет очевидным, если мы попытаемся охватить одним взглядом те тридцать девять лет, которые прожила на свете последняя царица Египта. Ибо тогда мы поймем: после этого дня Клеопатра никогда больше не достигала таких высот *félicitas*, «счастья» (в латинском понимании слова, подразумевающим и расположение к человеку богов, и то, что он собрал все возможные в земном мире блага). Очарование молодости, счастье материнства, близкие отношения с владыкой мира, уникальное «сообщничество» с величайшим гением эпохи, аура экзотической таинственности, несравненные богатства и престиж — в тот миг Клеопатра имела все. Этим и объясняется, почему Манкевич принял именно такое режиссерское решение, когда должен был изобразить триумф на экране, почему именно так построил свой визуальный ряд, создающий полную иллюзию, будто мы сами были свидетелями придуманной им сцены: владычица Египта проезжает на огромной триумфальной колеснице под грандиозной триумфальной аркой, и ни на одно мгновение, даже в тот миг, когда она видит перед собой лицо Цезаря, не нарушается ее безмятежное спокойствие — даже из-за легкого подрагивания движущейся колесницы, даже из-за того, что от сознания собственного величия у нее кружится голова.

*

Эта сцена по сути совершенно правдива, хотя факты ей противоречат: дело в том, что в Риме иноземный правитель мог участвовать в триумфальном шествии только в роли побежденного. Обычно его заставляли идти пешком, и это страшное публичное унижение чаще всего заканчивалось — по завершении парада — казнью несчастного. Да и в тот радостный день, когда по улицам везли гигантское изображение Маяка и носилки из аканфа прогибались под тяжестью египетского золота, гостям Цезаря предлагалось еще и зрелище унижения Арсинои.

Значит, Клеопатра видела, как перед ней проходит ее родная сестра, которой тогда едва исполнилось двадцать лет, — в цепях, прихрамывая из-за тяжести оков, — а солдаты эскорта всю дорогу осыпают ее градом непристойностей.

Юная пленница отважно приняла обрушившееся на нее испытание. Ее лицо не выдавало никаких эмоций — разве что желание показать всем, что

даже в глубочайшем унижении она, македонская царица, принадлежащая к столь благородному семейству, зависит только от закона, который сама для себя сформулировала: сохранять достоинство, любой ценой. А ведь она знала, что ее, как и Верцингеторига^[61], который несколько дней назад был задушен в своей подземной темнице в Туллиануме^[62], в конце триумфа ждет смерть.

Наблюдая за своей сестрой, Клеопатра не могла не отметить, что та обладает удивительной силой духа. Это мужество, это царственное безразличие — Клеопатра прекрасно понимала, откуда Арсиноя их черпает; та же удивительная энергия была свойственна самой царице, ту же несгибаемую отвагу проявляли все женщины из их семьи, другие Береники, Клеопатры и Арсинои, которые никогда не плакали и не сдавались, не отступали ни перед чем — ни перед инцестом, ни перед изгнанием, ни перед смертью своих детей, ни перед войной, ни перед необходимостью хладнокровно уничтожать противников (будь то даже их дети, братья, сестры, матери или мужа). У Арсинои — то же врожденное умение при всех обстоятельствах сохранять величие, та же своеобразная смесь гордости, коварства и упорства. И, главное, абсолютное презрение к смерти.

Римская толпа сразу же прекратила свои издевки. Люди, пришедшие, чтобы насладиться праздничным зрелищем, вдруг почувствовали какую-то неловкость; замолчали даже солдаты. Кое-кто заплакал, стали раздаваться крики, обращенные к Цезарю. Граждане Рима желали, чтобы он пощадил юную пленницу.

И вот, в тот миг, когда Клеопатра поверила, что теперь, когда она имеет такого возлюбленного и такого сына, Вселенная, наконец, полностью раскрылась перед ней и готова удовлетворить ее ненасытный аппетит; когда царица могла подумать, что, наконец, прикоснулась к чему-то, более могущественному, чем само могущество, и более величественному, чем само величие, атмосфера семейной трагедии вновь сгустилась над ней. Из соображений элементарной безопасности царица хотела смерти своей соперницы; и вдруг, когда она уже почти добилась осуществления этого желания, римляне потребовали, чтобы ее злейшему врагу сохранили жизнь.

Цезарь мгновенно почувствовал, что ветер переменился. Примирить желания толпы и желания его возлюбленной не было никакой возможности — и он тотчас отступил, дал народу понять, что разделяет его чувства. Он действительно после триумфа пощадил Арсиною, позволил ей жить в храме Эфеса, наложив на нее лишь одно ограничение: она никогда не

должна была покидать пределы храмовой территории.

Клеопатре, наблюдавшей со своего места эту сцену, не оставалось ничего иного, как проглотить обиду; и, подобно Арсиное, она приложила все усилия, чтобы на ее лице ни на секунду не промелькнуло то особое выражение суровой невозмутимости, которое, отчетливее, чем что-либо другое, показало бы всем: пленница в лохмотьях и роскошно одетая царица — родные сестры.

*

Итак, едва Клеопатра оказалась на вершине, судьба уже начала втайне готовить ее падение. Чем выше ты поднялся, тем опаснее твое положение. Этот закон универсален, безжалостен: на вершинах долго оставаться нельзя. В старой римской пословице та же мысль выражена так: «Тарпейская скала находится рядом с Капитолием»^[63].

Кстати, уже в вечер первого (галльского) триумфа, когда Цезарь, в сопровождении семидесяти двух ликторов, направился к тому самому Капитолию, чтобы, в соответствии с обычаями, принести жертву Юпитеру, у него сломалась ось колесницы, что было дурным знаком. Диктатор упал, и ему удалось остаться невредимым — и сохранить достоинство — лишь, благодаря его легендарному хладнокровию.

Римлянам, которые во всем видели указания богов (в том, например, что человек оступился, перешагивая через порог, или что ворон прилетел с левой стороны, или даже в простом чихании), это предзнаменование должно было показаться очень тревожным — тем более что инцидент произошел перед храмом, посвященным Фортуне, единственному божеству, к которому Цезарь испытывал некое подобие религиозного чувства.

Следовало ли понимать это так, что судьба вскоре отвернется от диктатора? Что Цезарь, после своих триумфов, будет обвинен в государственной измене и сброшен с отвесных скал, примыкающих к тому самому святилищу, где он собирался принести жертву Юпитеру?

Все знали, что диктатор не верит в предзнаменования. По этому поводу рассказывали десятки анекдотов; говорили, например, что однажды, когда Цезарь собирался предпринять какое-то важное начинание, прорицатель, который, следуя ритуальному церемониалу, извлек внутренности жертвенного животного, объявил, что у животного нет сердца и что, следовательно, диктатор должен отказаться от своего проекта.

Цезарь даже не наклонился над животным, дабы самому удостовериться в истинности того, что сказал прорицатель. А просто ответил (не без высокомерия, ибо был, как-никак, великим понтификом): «Все будет хорошо, коли я того пожелаю, а то, что у скотины нету сердца, неудивительно»^[64]. То есть он проигнорировал знамение, как делал и во многих других случаях, — и ничего плохого с ним не случилось.

Однако он знал, что большинство сограждан не разделяют его презрения к якобы несомненным знамениям. И знал также, что некоторые из его врагов подстраивают такие «знамения», чтобы напугать толпу и сдержать его, Цезаря, продвижение к вершинам власти. Поэтому он заранее предусмотрел возможность подобного инцидента и окружил себя эскортом из сорока слонов; а чтобы никакая случайность не нарушала той символической значимости, которую он намеревался придать своему восхождению на Капитолий, была приготовлена запасная триумфальная колесница.

И здесь, как на войне, он показал, что в совершенстве владеет самым утонченным из всех искусств, искусством использовать эффект неожиданности; итак, в сопровождении этого удивительного эскорта — такого же, какой, согласно легенде, окружал Диониса во время его триумфального возвращения из Индии, — Цезарь все-таки поднялся к святилищу, где, согласно обычаю, принес жертву Владыке богов.

Внутри храма, по слухам, его ждали приготовленные сенаторами подарки: каменная колесница, которую он должен был посвятить Юпитеру, и отлитое из бронзы изображение земного круга, на которое он должен был ступить. В посвятельной надписи о диктаторе говорилось как о полубоге. Однако мы не знаем, исполнил ли он этот не им предусмотренный ритуал. По некоторым сведениям, Цезарь предпочел сойти с колесницы у подножия Капитолия. Он поднимался на холм на коленях, преодолевая ступень за ступенью, а достигнув святилища, просто принес свою жертву, даже не взглянув ни на каменную колесницу, ни на изображение земного круга — и уж тем более не обратив никакого внимания на надпись, присваивавшую ему ранг божества.

Он поступил так из-за «дурного предзнаменования»? Или потому, что презирал почести, которыми, не столько по доброй воле, сколько желая польстить могущественному диктатору, осыпали его сенаторы? Как бы то ни было, когда церемония закончилась и Вечный город погрузился во тьму, Цезарь спустился с Капитолия в сопровождении своих слонов, на спинах которых теперь были укреплены огромные горящие факелы, — то есть, опять-таки, в образе Диониса, возвращающегося из Индии.

Понял ли Рим этот символ? Догадались ли люди, что Цезарь — в мужском, римском варианте — разыгрывает ту же роль, которую Клеопатра исполняла на Востоке, выступая в образе Исиды, хранительницы мира и его судеб? Вряд ли, да и стратегия Цезаря состояла, скорее, в том, чтобы, последовательно используя целую серию эффектов, дать римскому народу возможность постепенно освоиться с новой концепцией мира, которую диктатор собирался ему предложить. Так или иначе очевидно, что мизансцена со слонами была поставлена виртуозно — от нее захватывало дух. Она не только сразу же пресекла все слухи о неблагоприятном знамении, но закончилась подлинным апофеозом: когда пурпурный плащ триумфатора и колышущееся пламя факелов слились с распространившимся на полнеба заревом заходящего солнца.

И на протяжении всего того лета диктатор оставался Цезарем Великолепным — точно так же, как Клеопатра, восемнадцать месяцев назад, в Александрии, в продолжение всех роскошных празднеств и шествий, которые последовали за завершением войны, оставалась Единственной и Блистательной. Их триумфы, апогеи их жизненного успеха, похожи как близнецы. Эти двое и переживали их одинаковым образом: все заранее просчитывая, но искренне радуясь результату. Они были счастливы, но при этом не теряли головы. Потому что оба воспринимали эти безудержные демонстрации роскоши не как завершение пути к славе, но как грандиозное начало их общего проекта.

Мало кто в городе это понимал. И еще меньше было тех, кто отдавал себе отчет в масштабах их замысла. Однако самые проникательные сознавали, что Цезарь хочет превратить Рим в центр Вселенной.

*

Но Рим станет таким центром на миг, на один только миг, думала Клеопатра. Потому что Цезарь, она это знала, при первой же возможности выступит в поход против парфян. И тогда начнется последний этап завоеваний — покорение восточных рубежей Востока. В новом, таком огромном мире наверняка возникнет потребность в другой столице. Почему бы Александрии не взять на себя эту роль?

Там будет видно. А пока царица должна продолжать свою игру. Маневрировать, мгновенно реагировать на происходящее. Очаровывать императора. Смеяться. Выслушивать его пространственные речи и отвечать одним метким словом. Удивлять его. Может быть, родить ему еще одного

ребенка. Использовать в своих интересах малейшее проявление его слабости. Как всегда. Как раньше. Но сейчас это будет нелегко, потому что ее любимый мужчина уже не заперт вместе с нею в осажденном дворце. Перед ним распахнулся мир, его ждут дороги к последним тайнам бытия. И он очень спешит.

Однако Клеопатра, как и Цезарь, давно была к этому готова. И, как всякий настоящий политик, умела ловить удовольствия, как ловят счастливый случай: в любой момент, когда возникает такая возможность. На лету, ничего не упуская.

И потому все то лето их радость оставалась чистой, светлой, беззаботной, кружащей голову. Они не ведали страха. И не знали меры — ни в чем.

ЭКЗОТИЧЕСКАЯ ЖИРАФА (июль 46 — начало 45 г. до н. э.)

Но безмерность была как раз по ее мерке, а величие Цезаря идеально соответствовало ее представлению о собственном величии. Как и ее возлюбленный, Клеопатра не обращала внимания на брюзжание некоторых аристократов, которые, замешавшись в толпу, ругали Цезаря за излишества и напоминали народу об обычаях предков, об их простой и воздержанной жизни: эти ворчуны так торопились попасть в пиршественные залы, что, несмотря на благородную кровь, порой гибли, задавленные до смерти в толпе...

Правда, искушение действительно было велико: Цезарь ничего не жалел. Например, для одной пирушки, на которую пригласил шесть тысяч человек, он закупил две тысячи килограммов самой дорогой рыбы, какую можно было тогда найти, — мурен, — не говоря уже о лучших винах, которые покупались из такого расчета, чтобы на каждого гостя пришлось по семь литров... За этим банкетом последовал другой, еще более роскошный; он, как и первый, сопровождался поразительными аттракционами: концертами и балетными номерами, военными плясками, исполнявшимися сыновьями азиатских вельмож, танцами на улицах, в которых участвовали мальчики из самых благородных семейств, трехдневными кулачными боями между лучшими атлетами Средиземноморья, состязаниями колесниц, скачками. Наконец, наступил момент, о котором говорили уже много недель, «сражения»: на искусственном озере, которое диктатор приказал соорудить специально для этого случая, четыре тысячи гребцов разыграли морскую битву между двумя фантастическими флотами, защищавшими цвета Тира и Египта. Потом, в Большом цирке, пять сотен пехотинцев, триста всадников и двадцать слонов представляли сухопутное сражение^[65]. Наконец, в деревянном амфитеатре, тоже специально воздвигнутом для этого праздника, на арену выбежали гладиаторы и бились друг с другом парами. Когда эта битва закончилась, началось самое долгожданное зрелище, «охоты». Первой была коррида; Цезарь познакомился с тавромахией во время одной из своих кампаний на севере Греции и решил перенести сей обычай в Рим. А затем, следуя традиции, вошедшей в моду со времен триумфов Суллы, Цезарь выпустил на Форум львов; каждый желающий

мог испытать свою удачу, сразившись с хищниками. Когда-то Сулла пожертвовал для такого увеселения сто львов, Помпей — триста двадцать пять. Цезарь превзошел их обоих: он отдал четыре сотни львов на растерзание жаждущей крови толпы. И, сверх того, одного жирафа — римляне еще никогда не видали такого странного зверя.

Толпа пришла в экстаз. Каждый, будь то раб, гладиатор или аристократ, хотел помериться силами с животными. Звериные травли продолжались пять дней. Июльское солнце добела накаляло камни Форума. Желая доставить максимальное удовольствие зрителям этого спектакля, Цезарь велел натянуть над частью площади огромный тент. И, проявив верх утонченности, пожелал, чтобы тент этот был из шелка.

Из той же ткани, какую в иные вечера видели на Клеопатре.

*

Как выглядели под этой гигантской вуалью памятники Форума, какие тени отбрасывали статуи, трибуны, ступени, колонны, когда беспощадное солнце стояло в зените, а по камням мостовой потоками струилась кровь зарезанных животных, — или ночью, при свете факелов? Невозможно сказать, невозможно даже представить — шелк всегда увлекает куда-то вдаль, за экран его собственного свечения.

Вероятно, римляне воспринимали эту материю как самый яркий символ роскоши и Востока. Возможно, до того дня они вообще видели и трогали ее лишь однажды: десять лет назад, во время игр в честь Аполлона, организованных Лентулом Спинтером, и она оставалась такой редкостью, что в латинском языке еще даже не существовало для нее слова. К ней прикасались, ее ощупывали, восторгались ею, но не могли ничего сказать, кроме того, что ей свойственны беспредельная мягкость и поразительная прочность, — а дальше пускались в нескончаемые рассуждения о том, откуда она происходит. Соглашались все лишь в одном: пути, по которым привозят шелк, охраняют парфяне.

И был еще этот странный шелест, который ткань издавала при каждом дуновении ветра, — как предсказание о новом счастье.

Шелк-зеркало: в эти дни триумфа два мира, Восток и Запад, разделенные твоим экраном и еще не знающие друг друга, впервые захотели друг друга найти.

А потом, в какой-то день, праздник закончился. Распределив добычу между солдатами, Цезарь вернулся к своей главной задаче. У него было очень мало времени: сыновья Помпея не сложили оружия, в Испании возник новый очаг гражданской войны. Через несколько недель император должен будет собрать свои легионы и вернуться к тому, на что потратил большую часть жизни, — к войне.

Как Клеопатра и предвидела, она не делила ни дней, ни ночей с отцом своего ребенка. Но она, по крайней мере, могла испытывать удовлетворение, видя, что Цезарь уже приступил к реализации своих великих проектов. Причем блестящие стратегические способности, которые он при этом проявлял, несомненно, заставляли ее еще более им восхищаться.

Ему нужно было торопиться: по окончании триумфов римляне вновь вспомнили о своих постоянных страхах — страхе перед гражданской войной, перед временем, которое будто обезумело, перед пространством, которое им уже не удавалось держать под контролем. Чтобы окончательно подчинить себе все римские институты, Цезарь должен был максимально эффективно использовать тот короткий промежуток времени, когда люди еще находились под ослепляющим впечатлением от недавних торжеств.

И он не стал мешкать. В учреждения, которые могли сковывать свободу его маневра, — например, в сенат — ввел людей, находившихся у него на содержании. А затем взялся за осуществление своей программы с точностью, быстротой и методичностью, которые поражали многочисленных секретарей и доверенных лиц, окружавших его в последние годы.

Работая как одержимый, Цезарь за несколько месяцев сумел провести в жизнь большую часть реформ и мероприятий, которые обдумывал на протяжении многих лет: объединил ряд политических фракций, прекратил давнюю борьбу между плебеями и аристократами, реорганизовал систему общественной помощи, ввел мораторий на плату за жилье и закон о должниках, боролся со злоупотреблениями владельцев недвижимой и движимой собственности, преследовал тех, кто слишком явно кичился своим достоянием и выставлял напоказ собственные богатства, — не говоря уже о реформе календаря, которую он осуществил благодаря помощи верного приверженца Клеопатры, астронома Сосигена (если отвлечься от некоторых мелких деталей, мы и сегодня отсчитываем время

по этой системе).

В эти месяцы после завершения триумфов Цезаря вдохновляет уже не только — как было во времена его встречи с Египтом — желание стать царем. Теперь он хочет при жизни получить статус бога. И объясняется это не тем, что он вдруг стал одержим манией величия или переживает мистическое озарение, ничего подобного и в помине нет: он по-прежнему ни во что не верит, разве что в самого себя и в свою звезду. Но сейчас его мечта предполагает нечто гораздо большее, чем овладение пространством. Он хочет овладеть и временем.

Ибо благодаря общению с Клеопатрой и знакомству с двумя разновидностями монархической власти, которые обе олицетворены в ней одной, — властью фараонов и властью Александра — Цезарь понял, что в действительности представляет собой царь: нечто гораздо большее, чем просто царя. Царь — это не *rex*, не попирающий законы тиран (как думают римляне с той поры, когда ликвидировали царскую власть и установили республику), но существо, в котором заключена загадка судьбы, которое живет в точке пересечения Истории и того, что не подвластно памяти. Он — медиум, поддерживающий связь между тайной вечности и мимолетными человеческими судьбами, привилегированный посредник между профанным миром и универсумом сакральных сил. И неважно, что сами цари смертны; главное — они могут создавать иллюзию того, что не подвластны времени.

Убежденный, как и Клеопатра, в том, что его современники — римляне и неримляне — обречены на гибель, если в ближайшем будущем не найдут ответ на мучающий их вопрос о смысле жизни; уверенный, что римская религия, этот беспорядочный арсенал крайне ритуализированных обрядов, не сможет исцелить его народ от тоски, Цезарь хладнокровно решил создать вокруг своей личности цельную идеологию, в соответствии с которой его военные экспедиции приобретут характер учреждения космического порядка. В действительности в эти лихорадочные месяцы он пытался стать, как сказали бы греки, *космократором*, «владыкой порядка, управляющего миром», — позже Церковь присоединит этот эпитет к имени Христа.

*

Головокружительный парадокс: человек, который не верил в богов, хотел сам казаться богом, чтобы не дать людям погрузиться в пучину

лишенного богов мира... Вот почему первое из его преобразований было связано с календарем, вот почему он сделал так, что месяц его рождения, *квинтилий*, был торжественно назван его, Цезаря, фамильным именем и стал *юлием*, июлем («месяцем Юлия»). Вот почему, наконец, он, подобно фараонам, присвоил себе множество титулов и делал все, чтобы стать олицетворением закона. Всего за несколько недель его власть приобрела абсолютный характер: он был назначен диктатором сначала на десять лет, потом пожизненно, а его статуи уже стояли почти во всех храмах, в том числе в самом почитаемом святилище Рима, в храме Квирина^[66], или Ромула, основателя Вечного города.

Однако встреча с греко-египетским миром подсказала Цезарю еще одну идею: о необходимости пребывания рядом с царем его женской ипостаси, царицы. Этим и объясняется, что почти в то же время, когда его статуя была воздвигнута в храме Квирина, Цезарь совершил второй, «симметричный» жест: в новом храме, недавно посвященном Венере, которую он считал прародительницей своей семьи, диктатор повелел поставить, рядом со статуей упомянутой богини, вторую великолепную статую из золота. Эта вторая статуя имела черты Клеопатры.

Именно тогда по городу поползли слухи.

*

Отчасти в их появлении была повинна сама Клеопатра, это следует признать. Цезарь, если отвлечься от вышеупомянутого мистико-политического жеста, хотя никогда не боялся вести себя вызывающе, на сей раз проявил осторожность и предпочел поселить свою любовницу не на священной территории города, а за пределами городских стен, на своей вилле, которая находилась на другом берегу Тибра. Это имение, включавшее огромные сады, было необычайно большим и роскошным. На первые критические замечания Цезарь вполне мог ответить, что хочет лишь надлежащим образом отблагодарить союзницу, которая во время его пребывания в Египте столь великолепно его принимала.

На поверхностный взгляд это казалось правдоподобным. Но действительность была более сложной. Как и Цезарь, Клеопатра знала, что она производит на римских аристократов такое же завораживающее, очаровывающее воздействие, как те экзотические животные, которых проводили перед ними во время четырех триумфов. Двое любовников, отнюдь не растроганные этим наивным интересом, решили его

использовать. И тогда на вилле в Трастевере Клеопатра начала устраивать приемы. Или, точнее, Цезарь рассылал приглашения на обед, а те, кто получал такие приглашения, чуть ли не бегом устремлялись на виллу. И не только потому, что спешили сложить к ногам владыки мира очередную порцию льстивых восхвалений. Главное, они хотели видеть Клеопатру. Хотели понаблюдать за царицей с близкого расстояния и понять, что она собой представляет. Попытаться, глядя на нее, вообразить Египет. Ими владело жадное, слепое любопытство. Однажды побывав у царицы, они уже не могли об этом забыть. Говорили о ней целыми днями, месяцами. Как об экзотической жирафе.

Клеопатра имела небольшой круг приближенных к ней лиц, своего рода двор, куда входили ее супруг, ее сын, ее слуги, несколько музыкантов и по крайней мере два советника — некие Аммоний и Сара. К ее окружению относились также астроном Сосиген, главный разработчик проекта реформы календаря, и, вероятно, один или несколько астрологов — а может, должность главного прорицателя занимал сам Сосиген, что было бы оправдано, ибо в ту эпоху изучение звезд служило основой для предсказаний.

Уже сам по себе факт присутствия рядом с Клеопатрой прорицателей интриговал римскую элиту. Их методы предсказаний — унаследованные от вавилонян, «скрещенные» с ритуалами получения оракулов, которые практиковались в египетских храмах, и, может быть, обогащенные за счет некоторых приемов брахманов, чьи общины уже появились в Александрии, — безумно интересовали римлян, одержимых идеей близкой гибели города, которая, как они считали, совпадет с концом мира. Чтобы доказать это, они пускались в бесконечные спекуляции. Например, вспомнили об идее пифагорейцев, утверждавших, что ритм развития мира определяется космическими циклами по триста шестьдесят пять лет, именуемыми «большими годами». Переход от одного «большого года» к другому, разумеется, всякий раз бывает отмечен поразительными катаклизмами — и неизвестно, следует ли ожидать таковых со страхом или с энтузиазмом.

Вскоре должен был наступить семьсот тридцатый год со времени основания Рима, то есть завершение второго «большого года». Что же произойдет в момент перехода к третьему космическому циклу? Возвращение к золотому веку или катастрофа? Никто точно не знал, как следует интерпретировать Книги Сивилл. Некоторые полагали, что мир спасет некий царь, другие — что Рим погрузится в пучину крови и вновь должен будет заплатить за убийство Рема его братом Ромулом. Реки потекут вспять, луна расщепится надвое. Что скажут об этом восточные маги, не

окажутся ли они более способными распутать клубок мировых судеб?

Мы не знаем, пыталась ли Клеопатра играть на смятении тех, кто собирался у нее в доме, пробовала ли поразить их, предоставляя в их распоряжение своих прорицателей. Очевидно одно: она верила, что может превратить окружавшую ее ауру таинственности в козырь, сделать из своей экзотичности инструмент оболыщения и власти; и при этом не понимала, что толпившиеся вокруг нее люди разрывались между противоречивыми чувствами — восхищением и тайным ужасом. Представители римской элиты, которые жили в постоянном страхе, так как чувствовали, что первое же политическое сотрясение подорвет основы их государства, более всего хотели избавиться от внутреннего болезненного конфликта между ностальгией по старым временам и желанием нового, перемен. Они искали «козла отпущения». И царица Египта, эта странная иностранка, как нельзя более подходила для такой роли.

Гениальность Клеопатры заключалась в том, что обычно, рассматривая ту или иную ситуацию, она всегда видела в ней две стороны. Но сейчас, понимая, что оказывает на своих гостей гипнотическое воздействие, она не прочитывала в этом феномене ничего, кроме того, что посетители ослеплены, восхищены ею.

То же можно сказать и о Цезаре. Он, как всегда, следил за своими согражданами взглядом, исполненным насмешливого презрения. Правда, надо сказать, что, когда римляне впервые попадали на виллу, они не уставали восхищаться царицей, бывали удивлены, ошарашены — словом, вели себя, как настоящие простофили.

Клевали крошки у нее с руки. И просили, чтобы их приглашали снова и снова. Поистине, она была для них экзотической жирафой. Только Клеопатра забыла, что этого красивого зверя из саванн любители триумфальных игрищ зарезали, как и львов.

*

В числе первых, кто поспешил, рассыпаясь в любезностях, предстать перед хозяйкой садов Трастевере, был Цицерон. Поговорить о литературе, щеголяя перед молодой женщиной своим превосходным знанием греческого языка и риторики, умением изящно носить тогу, глубиной культуры, — стареющий оратор не устоял перед таким искушением. А между тем он уже давно боролся с Цезарем. Диктатор усмирил его, как и других; но, подобно другим, оратор кипел от еле сдерживаемой злобы и

был готов выпустить ее наружу при первом удобном случае.

Первая такая вспышка произошла во время реформы календаря, когда Цицерон рискнул, несмотря на свой страх перед владыкой Рима, произнести убийственные слова: «Цезарь настолько уверен в своей силе, что хочет сейчас заставить солнце и звезды повиноваться приказам сопровождающих его преторианцев». Если Цезарь и знал об этом высказывании, то предпочел не обращать на него внимания. Так или иначе, Цицерон одним из первых получил приглашение в Трастевере.

Покрасоваться перед Клеопатрой, снискать уважение женщины, которая, как говорят, столь образованна... Цицерон примчался сразу.

Да и Другие именитые римские граждане поспешили по его следам; они так хотели поскорее увидеть царицу, что в своем лихорадочном нетерпении даже забывали восхититься садами, которые, между прочим, были самыми великолепными, самыми удивительными во всем городе. Однако ничто там не привлекало взгляда гостей — ни каскады фонтанов, источником воды для которых служил бассейн, устроенный в искусственном фоте, ни даже миниатюрные пирамиды и фантастические обелиски, которые вырисовывались за галереями из вьющихся растений...

Наблюдая, как они семят ей навстречу в этих длинных тогах, смеялась ли Клеопатра своим безудержным смехом или удовлетворялась тем, что произносила какую-нибудь колкость, одно из тех метких словечек, которые слетали с ее искривленных презрительной улыбкой уст в самые неожиданные моменты? Или просто в глубине ее глаз появлялся — как в те времена, когда при ней унижали ее отца, — тот странный сфокусированный свет, из-за которого взгляд ее казался поразительно бездонным? Во всяком случае, она наверняка поднимала голову выше, чем обычно. Они хотели ее видеть? Что ж, пусть смотрят.

И они смотрели. Очень скоро по Риму стало гулять словечко, как бы подводившее итог их впечатлениям от увиденного: *superbia*^[67].

Надменная женщина. Спесивая. Гордая, подавляющая других. Привыкшая смотреть на людей свысока. Великолепная и высокомерная. Дерзкая. Ведь, в конце концов, она была гречанкой. Восточной гречанкой — без сомнения, развращенной, жестокой женщиной, предательницей (достаточно вспомнить, с каким равнодушием она смотрела на свою несчастную сестру во время второго триумфа). Забыла ли она, что без этого мужчины, который имел слабость затащить ее к себе в постель, она, Клеопатра, тоже была бы сейчас ничем, была бы побежденной?

Цицерон задавал тон подобным пересудам. Но делал это исподтишка, шепотом, так как слишком боялся Цезаря. А между тем он снова и снова

возвращался в Трастевере. И чем чаще встречался с Клеопатрой, тем больше ее ненавидел.

Этот оратор, несомненно, испытывал животную ненависть к умным и влиятельным женщинам: в свое время его первая жена, Теренция, пытаясь вмешиваться в общественные дела, серьезно повредила его карьере. Однако в последнее время эта мода распространилась в среде римской аристократии: многие женщины освободились от опеки своих мужей, самостоятельно занимались делами, имели любовные связи; но главное — и это раздражало Цицерона больше всего — женщины (например, Сервилия, бывшая любовница Цезаря, или Фульвия, на которой недавно женился Антоний) начали совать свой нос в государственные дела...

Цицерону исполнилось шестьдесят лет, и все в его жизни пошло под уклон: возвышение Цезаря положило конец его карьере. Его талант оратора, его умение маневрировать, даже его непревзойденная философская культура были бессильны перед диктатором. Всю свою жизнь он растратил на судебные процессы, произносил речи, выигрывал, проигрывал, но в конечном итоге — Цицерон не мог этого не признать — оказалось, что он проповедовал в пустыне. Что касается его частной жизни, то и здесь дело обстояло не лучше: по наущению бог весть какого демона он женился, после крушения своего долгого союза с Теренцией, на молодой девушке, Публилии, которая была на два или три года моложе Клеопатры. И опять-таки — там, где повезло Цезарю, Цицерон ухитрился сесть в лужу: уже через несколько месяцев его нежная возлюбленная превратилась в домашнего тирана. Старый хрыч притих, но в душе не мог смириться с таким положением.

Чтобы его по достоинству оценили, чтобы он мог опять поверить в себя — вот чего он хотел от Клеопатры. И не получил этого. Сам он как-то признался: «Они [Клеопатра и ее окружение], похоже, не только не находят меня остроумным, но думают, что я вообще не способен ни на какие чувства».

И тогда Цицерон дал полную волю своей ненависти к царице (слово «ненависть» он употребил сам). Ненависти тем более яростной, что ее постоянно сдерживал страх и подпитывала все возраставшая неприязнь к Цезарю.

Дело в том, что Цицерон, человек, несомненно, весьма проницательный, не мог не уловить сути программы Цезаря, не осознать ее масштабности и исторической значимости. Однако вместо того, чтобы сразу же выступить против этого проекта с логическими контраргументами, он позволил одержать верх своему идеализму, своей

эмоциональной привязанности к традиционному порядку вещей. Его ясный ум на какое-то время поддавался потоку неотчетливых ощущений, в котором смешивались горечь от того, что не он, Цицерон, стал тем человеком, от которого зависят судьбы Рима, тайная зависть к гению Цезаря и смутный страх перед мистическим аспектом его проекта. Увидев Клеопатру, он сразу понял, что диктатор нашел свою силу на том самом Востоке, который, по мнению Цицерона и многих людей его круга, был виновником упадка Рима; и, главное, он догадался, что мечта Цезаря обрела окончательную форму не без помощи женщины.

Молодой женщины — почти такой же молодой, как та маленькая bestия, что отравила его, Цицерона, жизнь. И, что самое ужасное, женщины, которая имела собственные идеи. Цицерона раздражало уже одно ее имя: «Клеопатра» — слишком много славы в этих немногих слогах. В частных беседах со своими друзьями из сената он называл ее не иначе как *regina*: это слово, женская форма от *rex*, сразу же вызывало в сознании образ тирании и в устах республиканца звучало как худшее оскорбление.

Но Клеопатра и на этот раз не почувствовала опасности. Правда, она жила не в городе, и если даже бывала там время от времени, знала лишь тот Рим, который ей показывал Цезарь: мир светских людей, осыпавших ее комплиментами, восхищавшихся ее драгоценностями, ее экзотическими нарядами. И она продолжала относиться к своим посетителям на восточный манер: считала их продажными политиками, пленниками системы, которая вот-вот испустит дух и которую ее возлюбленный намеревается окончательно смести. И когда гости покидали ее дом, она, как некогда Флейтист, дарила им серебряные или золотые блюда, до которых они были так охочи, потому что старалась обеспечить себе надежные тылы, хотя ее возлюбленный был человеком-богом.

Среди этих «придворных» Цицерон представлял собой довольно жалкое зрелище. Он, наверное, тоже был не прочь получить в подарок драгоценный сосуд, но сохранил достаточно самолюбия, чтобы ничего не просить. От Клеопатры он всегда хотел лишь одного — чтобы она проявила хоть каплю интереса к его прекрасным речам, — и тогда, вернувшись домой, он мог бы с большей уверенностью противостоять двадцатилетней гарпии, с которой имел слабость сочетаться законным браком. Но сколько бы раз он ни приходил на виллу в Трастевере, Клеопатра по-прежнему смотрела на него как на пустого фразера, молодящегося старика, льстеца, выскочку, кичащегося своей мнимой культурой (потому что единственная культура, которую она признавала, была ее собственная, греческая).

Кроме того, между нею и Цицероном стоял (хотя она этого не знала)

умерший Катон. Смерть Катона глубоко опечалила оратора, тогда как царицу бесконечно обрадовала, удовлетворив ее жажду мести; а между тем речь шла о поистине героическом самоубийстве: запертый в цитадели Утика, этот верный адепт стоической философии предпочел погибнуть от собственного меча, лишь бы не попасть в руки Цезарю.

В глазах некоторых римских аристократов этот жест превратил Катона в мученика за дело Республики и (утраченной) свободы. Цезарь же, понятное дело, не признавал за погибшим подобного статуса; диктатор испытывал к Катону такую ненависть, что даже через несколько месяцев после смерти своего врага нашел время, чтобы написать на удивление злобный памфлет, само название коего, «Антикатон», в полной мере раскрывает его содержание.

Цицерон, следовательно, имел все основания полагать, что «пакт» между Цезарем и Клеопатрой был скреплен ненавистью, которую оба они питали к человеку, которого сам оратор считал героем, — к Катону. Цезарь, со своей стороны, сделал все, чтобы подкрепить такую точку зрения. Например, во время триумфа, посвященного его победе над Африкой, он с искренним удовольствием выставил напоказ тошнотворную картину, изображавшую, как Катон, после своего харакири, пожирает собственные внутренности; и Клеопатра не могла не увидеть в этом мстительный намек на не менее тошнотворный сеанс, который Катон когда-то устроил для бежавшего из Александрии Флейтиста, — знаменитый эпизод со стульчаком. Иными словами, любовники были согласны в том, что красная цена Катону — куча дерьма.

Захотел ли Цицерон, которому было известно, что царица прекрасно знает философию стоицизма и сама относится к смерти с таким же презрением, как стоики, побеседовать с ней о самоубийстве Катона? Или Клеопатра первой заговорила об этом со старым оратором? Обменялись ли они хоть какими-то словами по этому поводу? Скорее всего, нет: Цицерон слишком боялся Цезаря и хорошо знал, что благодаря своей сети тайных агентов — целой бригаде опытных негодяев, которые уже очень давно следят за друзьями и врагами диктатора, — Цезарь, как бы далеко он ни уехал из Рима, днем и ночью остается в курсе всего, что говорят и делают за его спиной. Что же касается Клеопатры, то она никогда не снисходила до споров с людьми, которых презирала.

Поэтому, видимо, на велеречивые излияния Цицерона она отвечала только улыбкой, молчанием. И еще было нечто, что так часто ускользает от внимания даже лучших виртуозов искусства владеть собой: искорка иронии в глубине ее глаз. Худшее из возможных оскорблений для старого,

уязвленного в своих чувствах мужчины.

*

Итак, в этом пустячном моменте Клеопатра ошиблась. В первый раз в жизни удивительная интуиция царицы ее подвела. И это была не просто мелкая оплошность, а ошибка — по ее мерке — фундаментальная. На протяжении всей своей жизни, и даже после смерти, Клеопатра будет за нее расплачиваться.

Ибо, разглядев в Цицероне раненое животное, царица должна была бы его приласкать, как она это умела, искусно утешить, привязать к себе. Должна была притвориться, будто склоняет голову перед этим человеком, который так целеустремленно пробивался в первые ряды. Увы — она уже вошла в свою новую роль, привыкла смотреть на всех свысока, и шея ее не сгибалась.

Два советника царицы, Сара и Аммоний, вечно пребывавшие под ее сенью, с удовольствием копировали ее манеру поведения, ее презрительную улыбку — и это еще больше злило оратора. *Superbia*, ворчал Цицерон всякий раз, как покидал сады Трастевере. И все-таки снова и снова возвращался туда и повторял свои попытки понравиться, свои эффектные позы, свои комплименты. Но царица по-прежнему не проявляла к нему ни малейшего интереса.

У литератора, который хочет исцелить свои раны, есть только одно орудие — слово. Пустив в кругу своих ближайших друзей это словечко *superbia*, талантливый Цицерон сделал удачный ход. Слово было еще более оскорбительным, чем предыдущее — *regina*, — и именно оно открыло широкую дорогу для клеветы.

Однако оратор не был лишен маленьких трогательных слабостей: например, испытывал болезненную потребность оправдываться в своих поступках. Позже — когда Цезаря уже убили и царица осталась в одиночестве, без какой-либо поддержки, — он вдруг захотел объяснить, почему так упорно пытался исподтишка очернить Клеопатру. Лучше бы он от этого воздержался, потому что причина, на которую он ссылается в письме к своему другу Аттику, умопомрачительно нелепа: царица не сочла нужным прислать ему единственный подарок, который он у нее попросил, — какую-нибудь книгу!

Через Антония, который сам терпеть не мог Цицерона, Клеопатра, возможно, узнала этот анекдот. И, наверное, рассмеялась — тем

убийственным смехом, который означал, что она, наконец, раскусила какого-то человека, проникла в самое его естество. Ибо за ничтожной обидой, о которой вспомнил Цицерон, она увидела глубинную правду: очень давнее недоброжелательство завистливого и подозрительного Рима к той цивилизации, которая задолго до его возникновения уже дарила миру свет своей мысли. Эту злобу Цезарь мечтал подавить, осуществив окончательный синтез двух культур. Однако любовники не приняли во внимание ту силу, которой обладают литераторы; и получилось так, что в жизни Клеопатры (в этом видится жестокая ирония судьбы, если вспомнить, что речь идет о женщине, чей дух сформировался в библиотеке) решающую роль сыграла сущая безделица — забытая книга.

ЕГИПТЯНКА

(начало 45 — октябрь 45 г. до н. э.)

Однако уже поздно что-либо менять, зло свершилось: по городу поползли слухи, родные братья ненависти, такие же коварные, как она сама; выдумки, переодетые правдой; сплетни, которые суть не что иное, как питательная почва для смутных страхов и одновременно страх, облаченный в слова...

Люди, например, шептались: Цезарион не мог родиться от Цезаря, ибо диктатор стерилен — в противном случае, если учесть, сколько у него было любовниц, он наплодил бы уже легион сыновей. И царица Египта прекрасно это знала, когда с ним спала; пока он сражался на улицах Александрии, она дала себя обрюхатить первому попавшемуся самцу; она, эта Клеопатра, не имеет ни чести, ни совести, она предательница, шлюха, и Цезарь не был ее первым мужчиной, отнюдь нет — еще до Цезаря она соблазнила его теперешнего врага, сына Помпея, который, попавшись в ее сети, высадился в гавани Александрии и попросил у нее корабли и продовольствие для своего отца...

Однако те немногие аристократы, которые видели Цезариона, восхищались его сходством с императором — и понимали, почему Цезарь принимал такие меры предосторожности, чтобы не афишировать присутствие этого ребенка в Риме. Кроме того, все знали, что император по крайней мере однажды стал отцом, и этот факт никогда не подвергался сомнению: от своей первой жены, Корнелии, Цезарь имел дочь Юлию, которая умерла в возрасте тридцати одного года и чья смерть так глубоко его потрясла. Иногда те же самые люди, которые клялись, что Клеопатра не могла родить ребенка от Цезаря, утверждали, что Брут, сын его бывшей любовницы Сервилии, является плодом незаконной связи императора и честолюбивой патрицианки...

Однако слухам не вредит их противоречивость, они плавают в мутной воде, в океане призрачных страхов; и в этих нечистых потоках люди ищут того, чего на самом деле нет, чего они не могут выразить словами. Рим — больше, чем чего-либо иного — боялся собственного страха; а поскольку враги Цезаря все еще не осмеливались открыто нападать на него самого, они вдруг ни с того ни с сего говорили, указывая на пирамиды в его садах или на обелиски, которыми он усеял весь город: разве не в Египте родились

астрологи Клеопатры? А новомодные магические культы, которые две или три гарпии, живущие в сомнительном кладбищенском квартале, предлагают в последнее время патрицианкам-прелюбодейкам, — откуда они могли взяться, если не из этой же страны, где женщины знают все средства, помогающие подчинить мужчин их похотливым желанием? Где лучше, чем в Египте, умеют навести порчу? Недаром все, кто там побывал, наперебой рассказывали: там с помощью одного лишь заклинания излечивают укус змеи или скорпиона, умиротворяют злых духов, которые посылают плохие сны; там даже можно встретить людей, способных перейти из человеческого времени во время богов и проникнуть в тайны устройства мира. Как же бороться с такими сильными чарами? Ведь это чары волшебницы Исиды, владычицы всех хитростей, которая знает и произносит тайные слова...

...Той самой Исиды, которую почитает царица (это правда). В чьих одеждах царица иногда появляется, чьими благовониями пользуется. Той Исиды, чьи храмы хочет восстановить Цезарь (правда). Исиды, покровительствующей куртизанкам и проституткам; той Исиды, за которую недавно стала выдавать себя самая бесстыжая патрицианка Рима, Клодия, когда переспала со своим братом, Клодием, человеком, помогавшим Цезарю в самых грязных делах (тоже правда).

Но, переходя от *правды* к *правде*, слухи возвращаются на круги своя и должны откуда-то почерпнуть новую силу. И тогда начинает звучать самая примитивная песня, вечно повторяющийся мотив, столь любимый в эпохи декаданса: куда подевались непорочные девы доброго старого Рима? Ныне интриганы и шлюхи заполнили весь Город: их можно встретить даже в домах матрон, которые обманывают своих мужей, прилюдно и никого не стыдясь, с первым встречным — и при этом не получают заслуженного наказания, а наоборот, требуют за свою похотливость жемчугов и благовоний, не говоря уже о более дешевых вещах, и, хуже того, хотят сами выбирать себе мужчин. Где найти нынче таких женщин, как Лукреция, которая, будучи изнасилованной, предпочла смерть позору, или как Корнелия, мать Гракхов, отказавшаяся от всех драгоценностей ради своих сыновей, — куда подевались *mater families* («матери семейства»), которых было так много в прошлые века и все честолубие которых сводилось к тому, чтобы спокойно прясть шерсть в своих домах, дожидаться прихода мужа и растить детей?

Осталась, может быть, лишь одна такая женщина: Кальпурния, третья супруга Цезаря, которая действительно целыми днями молча ожидает возвращения своего императора и мужа, навещающего ее тогда, когда ему

угодно. Кальпурния, о которой никогда не сплетничают и которая сама никогда не сплетничает, — даже чтобы пожаловаться на то, что ей выпала печальная судьба оставаться бездетной.

А между тем об этом браке многое можно было бы рассказать: разве Цезарь, согласно все тем же слухам, не собирался просить сенат узаконить полигамию? Поговаривали, что хотя в Риме его законной женой является Кальпурния, в Александрии он сочетался браком с Клеопатрой. И самое страшное в этом деле то, добавляли сплетники, что император вступил в своего рода мистический брак с женщиной, которая поддерживает связь с темными силами. От этого брака родится еще худшее бедствие: империя с двумя головами.

Два Рима. Чудовищная идея, которая могла прийти ему в голову только в Египте, когда он проезжал через место, где Дельта переходит в речную долину, когда смотрел на двойную корону царицы, когда слышал ее титул: Владычица Обеих земель. И это извращение, после смерти диктатора, наверняка породит следующее: раздел завоеванных стран. Наследником территорий, добытых на Востоке римскими орлами, станет ребенок Клеопатры, которого Цезарь по легкомыслию считает своим.

А к кому перейдет империя Запада? Никто не отваживался назвать имя. Прежде всего потому, что даже для людей, распространявших подобные слухи, гибель императора была чем-то невообразимым; да и сам Цезарь сделал все для того, чтобы его считали неподвластным смерти. Например, упорно отказывался Составить завещание.

И все-таки он должен будет решить этот вопрос, говорили клеветники. Пусть даже в последний момент, перед походом против парфян. К тому времени, точно, он женится на Египтянке. И она убедит его перенести столицу мира на Восток.

Да и вообще, сколько времени Цезарь провел в Риме с тех пор, как вбил себе в голову идею переустройства мира? За последние четыре года — в общей сложности не более десяти месяцев. Но ни Галлия, ни Испания, ни даже Британия, где он надеялся отыскать жемчуг, не произвели на него такого впечатления, как Восток, — не пробудили в его душе столько тайных страстей. Несколько раз — правда, в довольно неопределенных выражениях — он уже намекал на возможность перемещения римских институтов в новую столицу. В такие мгновения, казалось, его томило желание завершить сотворение собственной легенды: проделать в обратном направлении путь своего предка Энея и основать Рим на руинах Трои.

Это все глупости, утверждали другие. Когда диктатор разобьет парфян, завершит завоевание обитаемых земель и (судя по всем признакам)

женится на Египтянке, он действительно перенесет Рим в Азию. Но не в Трою, а в Александрию.

*

Что-то должно было произойти, это казалось неизбежным. Но ничего не происходило.

Даже в Испании, где Цезарь, начиная с декабря, сражался с теми упрямыми, которые еще надеялись отомстить за Помпея. С самого начала кампании его преследовали неудачи. Он заболел. Это было не легкое недомогание, как в Тапсе, а болезнь, привязавшая его к постели на много дней. Однако, как и прежде, он не склонен был думать о неизбежной смерти. Оправившись от недуга, он не пожелал впредь более бережно относиться к своему здоровью и, например, продолжал ездить с непокрытой головой, писать и читать одновременно, диктовать по четыре письма сразу четырем стенографистам. Болезнь, похоже, никак не отразилась на его интеллекте: он никогда не терял нити своих рассуждений и даже выкраивал какой-то досуг — во время переходов, которые предшествовали решающей битве, — для написания поэмы, само название которой многое говорит о его тайных помыслах: «Путь».

Итак, он оставался неутомимым. И тем не менее в середине марта, когда его легионы при Мунде встретились с армией сына Помпея, Цезарь решил, что удача ему изменила. Его войска дрогнули, сражение превратилось в резню. В гуще бившихся врукопашную бойцов он соскочил с коня и перебежал от одного солдата к другому, пытаясь вернуть им мужество. «В мои пятьдесят пять лет, — кричал он, — я предпочту быть убитым здесь на месте, лишь бы не попасть в руки этого мальчишки!» Подняв дух одной центурии, он бросился к другой и вновь стал кричать: «Я не желаю промотать в один день ту славу, которую снискал за целую жизнь, полную побед!»

Ничто не помогало, гекатомба продолжалась, он уже потерял половину своих людей. И тут в одно мгновение судьба переменилась: враги не поняли смысла одного из его маневров и, охваченные паникой, обратились в беспорядочное бегство. Армия Цезаря в полной мере воспользовалась создавшейся ситуацией: за один день его легионеры перебили тридцать три тысячи неприятельских солдат. Тем не менее уже после битвы диктатор признал, что «он часто сражался за победу, теперь же впервые сражался за жизнь»^[68].

И через несколько недель, когда ему передали голову сына Помпея^[69] (убитого в пещере, где он прятался после того, как потерял лошадь), Цезарь уже не плакат. Этой победой — несомненно, самой тяжелой и самой кровавой за всю его жизнь — он наслаждался с рассудочной радостью. И тут же решил извлечь из нее максимальную пользу. С помощью одной из тех махинаций, секрет которых знал только он, ему удалось скрыть факт своей победы: и он подстроил все так, что эта новость пришла в Рим в самый канун годовщины основания Города.

*

Эффект был в точности таким, как рассчитал император: среди царившего тогда радостного ослепления никто и не задумался о том, когда же в точности произошел разгром последних сторонников Помпея и в силу какого странного и чудесного стечения обстоятельств известие о случившемся дошло до Города именно в эти праздничные дни. Гражданская война, наконец, закончилась — вот все, что понял народ; и люди предались ликованию, крича, что в этой последней кровавой бане родился новый Рим, отцом-основателем коего является Цезарь.

Радость толпы перешла в иступленный восторг через несколько недель, в октябре, когда диктатор отпраздновал свой пятый триумф и по городу пронесли испанскую дань на носилках, затмивших своей роскошью все предыдущие: они были сделаны из чеканного серебра. И были другие празднества и пиры, и нечто еще лучшее: конкурс театральных представлений, которые устраивались по всем кварталам города и на всех языках.

И вновь эти празднества выдают амбиции Цезаря, то видение мира, которое, как он думал, уже разделял его народ. Устраивая эту театральную оргию, за которой ясно просматривалось его желание объединить все языки, слить в общей радости все представленные в городе общины, он тем самым открыто поставил эти торжества под знак Диониса, бога-завоевателя и собирателя земель. Таким образом, его триумф вышел за рамки праздника мести врагам: это был, скорее, праздник Универсума.

Переживала ли Клеопатра эти моменты с той же радостью, что и Цезарь? Доходили ли до нее слухи о его болезни, волновалась ли она за его здоровье? В документах нет ни одной, даже самой мелкой подробности, которая позволила бы нам представить ее тогдашнее состояние духа. Если сплетники и желали довести до ее сведения какие-то новости (которые

могли ее ранить), то, наверное, это были слухи о новой связи Цезаря во время его испанской экспедиции: даже в самые тяжелые моменты войны диктатор всюду появлялся вместе с Эвной, супругой своего главного союзника, царя Богуда, что происходило с согласия ее мужа; последний, хотя и был мавром, видимо, не испытывал ревности — во всяком случае, он оказал Цезарю значительную помощь в страшном сражении при Мунде.

Не из-за боязни ли, что Цезарь променяет ее на другую царицу, Клеопатра по-прежнему оставалась в Риме и покинула его лишь на несколько недель — несомненно, в то время, когда ее любимый воевал в Испании, — чтобы совершить инспекционную поездку в Египет? Это возможно, хотя Клеопатра, скорее всего, должна была прийти к выводу, что Эвния не представляет для нее серьезной опасности. Ибо кто, кроме солдат, воевавших в Испании, знал эту маленькую мавританскую царицу; кто мог бы сказать, каково ее происхождение, какими землями она владеет, наконец, красива ли она? Что касается ее власти (достаточно небольшой), то она имеет ее лишь благодаря мужу; и когда Цезарь захотел вознаградить этого рогоносца за его снисходительность, то уделил ему лишь маленький кусочек завоеванных земель — тогда как ей, Клеопатре, во время Александрийской войны возвратил остров Кипр, и даже без всяких просьб с ее стороны...

Значит, она всего лишь темная варварка, ни больше ни меньше, эта жена царька. И связь с нею — мимолетная интрижка, очередной эпизод в карьере циника, который не останавливается ни перед чем, когда желает удовлетворить свои амбиции. Впрочем, ведь и она сама, Клеопатра, тоже ни перед чем не останавливается...

И тем не менее, может быть, в глубине души Клеопатра чувствовала себя оскорбленной. Если это так — хотя ничто на это не указывает, — она, наверное, мобилизовала те же ресурсы, которые позволили ее сестре Арсиное не уронить своего достоинства во время триумфального шествия: гордость царевны из дома Лагидов, то есть нечто совсем иное, нежели самолюбие простых смертных. Цезарь ее обманул — и что же? Следует ли требовать от полководцев, чтобы они сохраняли верность своим возлюбленным во время военных кампаний? Завоевание мира, независимость ее государства, будущее ее ребенка — пожертвовать всем этим из-за подобного пустяка? Это было бы смешно. И, с другой стороны, разве он предложил ей покинуть виллу в Трастевере? Удалил ее из Рима, разрушил их союз, отказался от их общего великого замысла? Ничего подобного: в начале этой зимы не было и намека на что-либо в таком роде.

Цезарь собирал всю свою энергию для осуществления давней мечты,

сейчас он был одержим одной идеей: победить парфян, отмстить за то поражение, которое они нанесли Крассу, об этом он прямо говорил. Когда же его спрашивали о возможности перенесения Рима в Азию, отвечал уклончиво. Похоже, в душе он мучительно переживал конфликт, суть которого чувствовал, но не мог выразить словами: неустранимую несовместимость Рима и Востока. Это была не взаимная ненависть, обусловленная политическими или военными причинами, но изначальный, почвенный антагонизм, вероятно, связанный с географическими условиями, — *αμιξία*, как сказали бы греки, прибегнув к красивой метафоре: это слово обозначает физическую невозможность смешать масло и воду. И тем не менее, хотя *αμιξία* заложена в неизменном порядке вещей, Цезарь не желал с ней смириться.

*

Значит, опять вызов. Он должен попытаться осуществить невозможное. Спровоцировать судьбу — быть может, в последний раз. В сентябре император составил свое завещание. Понял ли он, после Мунды — этой битвы, исход которой висел на волоске, — что отпущенное ему время уже сочтено? Или, может, в разгар борьбы, как полагали некоторые, почувствовал искушение совершить самоубийство? Думал ли он, из-за участвовавших в последнее время болезней, что его гложет какой-то тайный недуг? Мы этого не знаем. Цезарь хранил в тайне содержание завещания и для пущей сохранности поместил этот документ в абсолютно недосягаемое место: в храм Весты.

И вот тогда самые сокровенные надежды Клеопатры совпали с худшими опасениями римлян: она была убеждена в том, что диктатор завещал Восток Цезариону.

Разумеется, это означало, что она не хочет видеть ничего, кроме своей мечты, — но ведь и Рим, в ту же эпоху, не желал видеть ничего, кроме своего страха. И при этом все верили, что Цезарь неуязвим, что он умрет не раньше, чем станет владыкой мира, мирового круга.

Кто посмеет бросить камень в Клеопатру? Все вокруг нее разделяли эту веру в неуязвимость диктатора — вплоть до Антония, великолепного воина, которого Цезарь, после краткого периода охлаждения между ними, вновь возвысил до ранга второго человека в государстве. За десять недель до октябрьского триумфа, в августе, по дороге в Нарбонн, куда Антоний выехал, чтобы встретить Цезаря, его, Антония, известили о готовящемся

заговоре.

И он, этот славный Антоний, доверенное лицо Цезаря (а в настоящее время, можно сказать, его тень), человек, который не пропускал ни одного вечера в Трастевере, ничего не захотел слушать. Несмотря на то, что прекрасно знал римских аристократов, со всеми пружинами их поведения и комплексами, несмотря на свою превосходную интуицию, умение разбираться в людях и в ситуациях, Антоний принял сообщение о заговоре за очередной пустой слух — и не предупредил Цезаря, вообще никого не предупредил.

Это был способ доказать самому себе, что он ничего не боится; не боится и самого страха, пусть даже в худшем его обличье, — страха увидеть Цезаря убитым накануне завершения дела всей его жизни.

Абсолютное молчание, презрение к темным слухам: но ведь и египетская царица вела себя точно так же. И уже одно это объединяло Антония и Клеопатру — в то время, когда они были едва знакомы, обменивались при встречах обычными любезностями и не могли даже вообразить дальнейшие перипетии сценария, который властно влек их к тому, что оба они в первый момент воспримут как крушение мира: к смерти Цезаря.

КАНУН КОНЦА МИРА

(октябрь 45–15 марта 44 г. до н. э.)

А между тем окончание драмы было вопросом уже не месяцев, а недель. Продолжив театральную аналогию, можно сказать, что каждый из персонажей работал на приближение развязки. Вплоть до тех темных сил, которые управляют Вселенной.

Началось все с того, что восемнадцать месяцев назад, когда Цезарь поднимался на Капитолий, у его триумфальной колесницы сломалась ось — непосредственно перед храмом Фортуны; потом ритм появления знамений ускорился и сами они умножились; тем не менее, согласно хронистам этого «объявленного убийства», сама жертва упорно не замечала столь очевидных предвестий.

По мнению историков (начиная с Николая Дамасского и кончая Плутархом и Дионом Кассием), которые на протяжении трех последующих веков составляли подробные описания тех странных дней, смерть Цезаря произошла в полном соответствии с неумолимым законом, управляющим, как они считали, судьбами трагических героев: ни одно важное событие не нарушает ход индивидуального бытия без того, чтобы боги заранее не предупредили человека о неминуемости этого события. Люди, как бывает в театральных пьесах, со страхом наблюдают эти знамения, но оказываются не в состоянии их расшифровать, ибо убежать от судьбы нельзя и она, безжалостная, не снимает печати со своей тайны.

Древние историки скрупулезно составили для нас каталог знамений, предвещавших покушение. Если им верить, в течение всей зимы, предшествовавшей убийству Цезаря, сама природа, в ее целостности, вопияла о том, что должно произойти. Всякий раз, когда авгуры вспарывали утробы жертвенных животных, чтобы по внутренностям прочесть будущее, плоть этих животных оказывалась больной или деформированной: какие-то органы отсутствовали, другие были чудовищно увеличены. Люди замечали на небе странные вспышки света, блуждающие в атмосфере химеры; были еще одинокие птицы, спускавшиеся на Форум среди бела дня, — верный знак того, что смерть скоро поразит кого-то и в тот фатальный миг никто и ничто его не спасет. Священные кони Цезаря — те самые, на которых пять лет назад он пересек Рубикон и которых затем посвятил богу этой реки, — тоже, казалось, предчувствовали

надвигающуюся трагедию: они отказывались что-либо есть и бродили по полям, днем и ночью проливая потоки слез.

Даже древнейшие святилища Города не избежали эпидемии дурных предзнаменований: особенно странный феномен наблюдался в Регио [\[70\]](#), где хранился, вместе с анналами Рима, щит, который, согласно преданию, упал с неба семь веков назад, во времена царя Нумы. Говорили, что от этого щита зависит судьба Рима. Чтобы его не украли, Нума повелел выковать одиннадцать точно таких же щитов; их все сложили в глубине святилища, вместе с другим оружием, которое, как считалось, принадлежало богу Марсу. Так вот, той зимой, когда знамения следовали за знамениями, некоторые люди клялись, будто, бог весть по какой таинственной причине, много раз видели и слышали, как все эти предметы вооружения колотились друг о друга.

Потом, утверждают хронисты, поскольку римляне все еще не могли расшифровать смысл посланий небес, боги решили высказать свою волю ясно: когда Цезарь подарил своим ветеранам землю в Капуе, поблизости от Неаполя, те, начав восстанавливать этот город, обнаружили гробницу Капия [\[71\]](#), его первооснователя. Помимо костей и нескольких древних сосудов они откопали бронзовую табличку с текстом, написанным по-гречески. Текст содержал более чем очевидную угрозу: «Когда потревожен будет Капиев прах, тогда потомок его погибнет от руки сородичей и будет отмщен великим по всей Италии кровопролитием».

Итак, гибель Цезаря была предрешена; за ней должна была последовать гибель Рима. Катаклизм. Среди этого вороха знамений с тревожным постоянством вновь и вновь упоминается огонь: например, некоторые уверяли, будто видели, как огненные шары пересекали небо из конца в конец; или будто вдруг сталкивались нос к носу с людьми, пылающими, как живые факелы, которые исчезали так же внезапно, как и появлялись. Другие римляне утверждали, что прямо в городе, в присутствии множества свидетелей, рука одного солдата непонятным образом воспламенилась, но, казалось, это не причиняло человеку никакого страдания, и потом на коже его не видели ни малейших следов ожога [\[72\]](#).

Все эти огненные феномены явно предвещали какое-то скорбное событие — очевидно, намекали на погребальные костры. Если не на что-то еще более ужасное: например, на то, что Рим погибнет в судьбоносном пожаре, как Троя восемь веков назад. А может — почему бы и нет — на вселенский пожар, который, как полагали некоторые, станет концом мира.

*

Что касается Трастевере, то там жизнь не изменилась. Ребенок потихоньку рос; по вечерам часто устраивались званые обеды; гостей в садах Цезаря было больше, чем прежде. За одними царица следила издали, с другими пыталась познакомиться поближе. Мы не знаем, проникали ли тревожные слухи (вместе с приглашенными) в ее дом; не знаем, просила ли она своих астрологов, когда в садах вновь становилось тихо и безлюдно, понаблюдать за ночным небом и расшифровать его знаки.

*

Prodigia, так это называется по-латыни: необыкновенные факты, предшествующие событиям, которые тоже являются беспримерными и никогда впоследствии не повторятся. Понятно, что рассказы об этих «знамениях» по большей части были придуманы уже после убийства Цезаря и потом распространялись — часто вполне чистосердечно — античными историками: ведь последние не допускали и мысли о том, что судьбами народов управляют какие-то иные законы, кроме законов трагедии, а потому, даже подозревая, что такого рода анекдоты могли быть сфабрикованы, они не решались полностью их отбросить.

Тем не менее мы не должны считать их рассказы о неделях, предшествовавших убийству Цезаря, просто нравоучительными выдумками. Воображение — во все беспокойные эпохи и во всех обществах, еще близких к традиционным, — оказывает сильное влияние на восприятие событий, и этот репертуар фантазмагорических явлений, даже если он был составлен *post factum*, может раскрыть нам некоторые истины.

Истины, непереносимые для человека, — и, значит, такие, которые невозможно сформулировать. Сам латинский язык сознается в этом своем бессилии: убийство Цезаря в нем часто квалифицируется термином *infandum*^[73], первое значение которого — «невыразимое», «несказанное». И в самом деле, пытаясь разобраться в этом убийстве, мы вступаем в сферу семейных тайн — под «семьей» в данном случае имеются в виду римские аристократы, которые все были теснейшим образом связаны друг с другом неизбежными узами браков, адюльтеров, наследственных дел, займов, хищений, ненависти, альянсов и контральянсов (расплывчатых и имеющих самую разную природу). И первая из этих тайн, столь упорно хранимых,

состоит в том, что, в продолжение дюжины недель, предшествовавших убийству, почти все аристократы знали: Цезарь подвергается очень большому риску быть убитым.

*

Как это могло быть? И почему? Собственно, ответ содержится уже в самом термине *infandum*: «несказанное» — то, что все чувствуют, но что невозможно выразить словами. Этот бесформенный ком болезненных, нестерпимых истин каждый человек отбрасывает в ту область своего сознания, куда язык доступа не имеет; там существуют только тишина и таинственные импульсы. Римляне всю зиму прожили в смутном предчувствии смерти Цезаря; время от времени вспыхивали и слова — сначала чисто символические, потом все более и более отчетливые, уже заключавшие в себе идею того, что замышлялось.

Дело в том, что идея покушения, хотя и зародилась в сфере подсознания, позже стала осознанной; и, согласно одному анекдоту (который скорее всего описывает подлинный факт), Цезаря очень точно известили о том, что его ждет, — известил один из самых авторитетных прорицателей Рима, авгур Спурина. Предсказатели будущего, следуя методу, который редко их подводит, обычно из осторожности прибегают к двусмысленным формулировкам. Однако Спурина решил высказаться вполне ясно и предупредил Цезаря, что тот должен «остерегаться опасности, которая ждет его не позднее, чем в иды марта».

Однако презрение Цезаря к знамениям в последнее время не уменьшилось. Он понял смысл предсказания, но воспринял его так, как и должен был воспринять: как угрозу, как ультиматум, — и, верный себе, предпочел эту угрозу проигнорировать.

Пересказывая этот анекдот (через полтора века после интересующих нас событий), историк Светоний уточнил, что авгур произнес свое предсказание в тот момент, когда убивал жертвенное животное. И это не просто деталь, а факт капитальной важности: Светоний таким образом подчеркивает, что убийство Цезаря было не банальным преступлением и даже не политическим убийством, как долгое время квалифицировала его официальная история. Речь шла ни больше ни меньше как о ритуальном жертвоприношении.

И тем не менее на протяжении многих недель желание убить Цезаря, возникавшее у разных лиц, оставалось лишь робкой умственной игрой. Абстрактным проектом, о котором иногда заговаривали в частных беседах, но к которому относились как к фантазии; ни к чему не обязывающей ненавистью, бесконечным пережевыванием собственной злобы и зависти к этому человеку. Между тем, если говорить о тех немногих людях, которые уже задумывались о возможностях ликвидации Цезаря, никто из них, в последние недели жизни императора, не попытался помешать его продвижению к абсолютной власти. Они тоже попустительствовали тому, что его назначили диктатором сначала на десять лет, потом пожизненно и что он навечно стал императором. Это благодаря их инертности Цезарь мог теперь единовластно, без всякого согласования, решать вопросы войны и мира; отдавать, кому захочет, должности наместников провинций; посылать в завоеванные страны людей, находящихся у него на содержании. И он пользовался этим: ведь магистраты поклялись, что никогда не будут возражать даже против малейшего из его желаний.

Но еще удивительнее то, что никто из людей, уже планировавших убийство императора, не попытался выступить против предоставления ему хотя бы одной из тех почестей, которыми в последние месяцы он был буквально осыпан. Некоторые из этих почестей даже превосходили ожидания Цезаря. Понятно, что в большинстве случаев подобные инциденты инспирировал сам диктатор; в других случаях ему старались угодить, подыгрывая его мечте о культурном синтезе Востока и Запада. Например, он, как некогда Птолемей, был торжественно объявлен «Спасителем», а потом — как Дионис — «Освободителем»; наконец, ему, словно восточному монарху, подарили золотое кресло.

Маленькая клика, которая начала плести против него нити заговора, не выражала в подобных случаях никакого недовольства. Молчала она и тогда, когда сенат присвоил Цезарю прозвание «отца отечества» и повелел поставить на трибуне, которая возвышалась над Форумом, две статуи в его честь: на одной был венок из дубовых листьев (в знак того, что император избавил своих сограждан от стыда поражения), а на другой — из травы, символа вражеских территорий (в знак того, что он защитил армию, отбив атаки египтян, и спас Рим от Помпея). Потом ему подарили статую из слоновой кости, с чертами портретного сходства, и решили проносить ее по улицам Рима всякий раз, когда он будет устраивать игры в Большом цирке.

Цезарь, конечно, согласился с этим решением. Никто не протестовал, когда ему предоставили право сидеть — в сенате — в курульном кресле, более высоком, чем кресла двух консулов. Никто не возмутился и тогда, когда он потребовал для себя права первым высказывать свое мнение по обсуждаемым вопросам; и когда захотел диктовать свою волю народным трибунам. Кстати, последние, как и сенаторы, теперь должны были вставать, когда император проходил мимо. Это нововведение, само по себе весьма красноречивое, тоже не вызвало очевидных проявлений недовольства. Казалось, это чрезмерное властолюбие одного и раболепство всех прочих не будут иметь конца, ибо сенат оказал Цезарю еще две почести, которые своей нелепостью превзошли все предыдущие: даровал ему право украсить свой дом фронтоном (словно это был храм) и право помещать его капитолийскую статую на *pulvinar* — ложе, предназначенное только для статуй богов^[74].

Император теперь не передвигался по городу иначе как на носилках, постоянно носил пурпурный плащ и не снимал с головы лаврового венка триумфатора. Уже объявили, что его юбилей будет отмечен публичными торжествами; была введена клятва «Фортуной Цезаря», и произошло это одновременно с учреждением нового культа, никогда прежде не упоминавшегося в анналах Рима: культа его *гения*, таинственного бога-хранителя, который, как считалось, с самого момента рождения Цезаря стоял за всеми его словами и жестами. Решили даже назначить особого жреца для отправления культа этого уникального божества. Уже называли имя человека, который скорее всего получит столь удивительную должность, — Антоний, — и имя это никого не удивляло, ибо повсюду, где появлялась фигура сухопарого Цезаря, рядом с ней видели упомянутого молодого атлета, который и в самом деле казался инкарнацией мифического бога-хранителя императора.

И опять — никаких признаков оппозиции. Враги Цезаря, будто пораженные недугом бессилия, одобряли все подобные меры, иногда даже горячо их приветствовали, втайне продолжая лелеять свою ненависть. Но не находили в себе сил, чтобы проявить эту ненависть публично, пусть даже в какой-то вспышке негодования, потому что Цезарь вовсе не раздувался от самодовольства, а принимал все почести с неизменным равнодушием. Несмотря на свой золотой лавровый венок и пурпурный плащ он выглядел таким же, как всегда: холодным политиком, который ничего не боится и прекрасно разбирается во всех тонкостях своего ремесла.

Хладнокровие Цезаря имело религиозную и правовую основы: его

личность официально признавалась «священной». А следовательно, любое покушение на нее было бы расценено как святотатство. Иными словами, добившись всех этих многочисленных почестей, Цезарь как бы очертил вокруг себя магический круг. Прорвать этот круг, попытаться каким-то образом помешать игре диктатора, оскорбить его — значило бы совершить преступление, наказуемое смертью. Все божественные силы, которые с незапамятных времен покровительствовали городу, теперь — и это признавалось официально — охраняли также и диктатора. Поэтому он считал себя неприкосновенным и даже распустил свою гвардию.

Однако, как это ни парадоксально, именно тогда заговор стал реальностью; все, что еще накануне было лишь смутными желаниями или бахвальством его врагов, в одночасье превратилось в заговор, соответствующий всем законам данного «жанра»: как только личность диктатора официально признали священной, человек двадцать сенаторов, из самых непримиримых, собрались в храме и торжественно поклялись, что каждый из них пронзит Цезаря своим кинжалом. После этого им не оставалось ничего иного, как привести свой план в исполнение.

Они хотели это сделать как можно быстрее. Однако даже для самих заговорщиков природа убийства, которое они намеревались совершить, оставалась чем-то не поддающимся определению. Каждый из них смутно сознавал, что, покусившись на личность Цезаря, они совершили *infandum* — акт, который есть нечто совсем иное, нежели противодействие какому-то человеку: они посягнули на табуированное существо. Чтобы найти силы для выполнения своей клятвы и энергию, необходимую для ее реального воплощения, они должны были убедить себя в том, что сам Цезарь нарушил другое табу — еще более священное, чем тот магический круг, которым он себя окружил; заговорщики должны были убедить себя в том, что, нарушив этот запрет, диктатор сделал будущее убийство неизбежным и, более того, необходимым.

Повод для убийства — предполагаемое святотатство диктатора — был найден сразу: уже на первой своей встрече заговорщики поклялись, что убьют Цезаря, потому что он хочет стать царем.

*

Слово *rex*, «царь», было худшим из возможных политических оскорблений, ибо вызывало в сознании длинный ряд образов крови и смерти, начиная с убийства основателя Города, Ромула, которого, согласно

мифу, закололи кинжалами сенаторы (они все принимали в этом участие) в стенах самого сената.

Вновь основать город, пролив кровь, повторив то изначальное убийство, — такова, следовательно, была цель, которую ставили перед собой заговорщики. А когда весь ужас святотатственного преступления дошел, наконец, до их сознания, они вспомнили другие легенды: разве каждое из радикальных изменений в римском обществе не сопровождалось подобными жертвоприношениями? Например, конец царского периода был точным повторением эпизода с убийством Ромула — если не считать той детали, что последнего царя, Тарквиния Гордого, убил, как говорили, один человек, некто Луций Юний Брут; этот Брут, согласно тем же преданиям, основал республику, заставив своих сограждан поклясться, что никогда Рим не подчинится царю, не испытывав сперва все возможные средства, чтобы его убить.

Эти предания об основании и ранней истории Города были известны всем; а греческая трагедия с ее образами тиранов, с которой Рим впервые познакомился сто лет назад, сделала еще более популярной идею о том, что любой монарх всегда имеет неумеренные претензии, бывает ослеплен своей гордостью и жаждет крови. Фигура царя, так часто мелькавшая в речах ораторов, испытывавших ностальгию по республиканским традициям, стала своего рода пугалом; с ней постоянно ассоциировались одни и те же четыре греха: жестокость, насилие, гордыня и извращенная сексуальность.

Именно эти представления позволили заговорщикам закрыть глаза на истинную природу акта, который они собирались совершить: на то, что он станет нарушением табу.

И из-за тех же представлений на протяжении всей зимы, предшествовавшей убийству, заговорщики с удвоенной энергией распространяли сплетни об императоре. Началось все с самого простого: говорили о страсти Цезаря к женщинам, вспоминали количество его любовниц и их имена, подчеркивали его вкус к мальчикам и уточняли (понятное дело, без доказательств), что он всегда предпочитал играть пассивную роль в сношениях со своими любовниками — а это было очень серьезным обвинением в Риме, где за свободными гражданами признавалось право только на активную гомосексуальность. И вновь пошли пересуды о его первой любовной связи, превратившей его в «маргаритку» царя Вифинии, — Цезарь действительно в отрочестве пользовался благосклонностью этого восточного монарха. Этот слух, возникший давно, теперь оказался как нельзя более актуальным: он был особенно хорош тем,

что позволял объединить в одном кратком анекдоте два греха, в которых подозревали Цезаря, — тиранию и содомию. Анекдот расцвелили эпизодами оргий с вифинским царем; и очень скоро на всех стенах Рима стали появляться граффити, в которых диктатор именовался не иначе как «царицей Вифинии».

Одновременно все с большей настойчивостью распространялся слух о том, что Цезарь намеревается узаконить бигамию, чтобы в Александрии жениться на Клеопатре. К этому прибавились новые сплетни: Цезарь будто бы пытался добиться права вступать в брак со столькими женщинами, со сколькими пожелает, дабы увеличить свои шансы иметь потомство; иными словами, его обвиняли в том, что он, подобно какому-нибудь царю, хочет любыми средствами основать династию, породить своего рода цезарианскую гидру, насаждая царей своей крови по всей земле. Вывод напрашивался сам собой: необходимо убить тирана прежде, чем он успеет навлечь на всех подобное бедствие.

Однако приписать Цезарю еще два порока из тех, в которых обычно обвиняли монархов, — насилие и жестокость — было не так просто. Разумеется, за время своего неуклонного восхождения к абсолютной власти Цезарь лишил должностей многих людей, которые надеялись, что сохранят свое положение на всю жизнь; да и в периоды африканской и испанской экспедиций он безжалостно расправился с последними сторонниками Помпея. Тем не менее все римляне понимали, что в последнем случае им двигало желание положить конец затянувшемуся конфликту; и потом, рассматривая его карьеру в целом, нельзя было не признать, что он избежал худшего: гражданской войны в стенах самого Рима, проскрипций и кровавых злодеяний, столь памятных всем со времен Мария и Суллы. Своих противников Цезарь (как правило) уничтожал только на полях сражений. Правда, его великодушие объяснялось циничной уверенностью в развращающей силе денег и тем, что он мастерски владел искусством играть на маленьких человеческих слабостях. И все же подобное поведение сковывало инициативу его недоброжелателей: еще бы — сколько сторонников Помпея, четыре года назад переживших битву при Фарсале, было обязано ему своей жизнью... Цезарь же руководствовался чисто стратегическим расчетом: пощадить своих врагов, заставить их понять его, императора, идеи и склонить их на свою сторону — для него это значило избежать повторения гражданской войны; но еще это значило продемонстрировать совершенно недвусмысленным образом всю меру своего презрения к ним. Потому заговорщики и обвиняли его в последнем из четырех царских пороков, который обозначался словом *superbia*,

«гордыня», — мы помним, что именно это качество ставили в вину Клеопатре.

*

Кстати, как раз это словечко и подстегнуло энергию заговорщиков утром 14 февраля, когда они выходили из храма Венеры-Прародительницы. Делегация сенаторов явилась туда для того, чтобы торжественно вручить Цезарю декреты, наделявшие его правами пожизненного диктатора. Цезарь сидел перед статуей Венеры и второй, золотой статуей, так напоминавшей облик царицы Египта. Холодность, с которой император принял драгоценные документы, не удивила сенаторов: это была его обычная манера. Их возмутило то, что, несмотря на торжественность момента, на их ранг аристократов и, наконец, на святость самого места проведения церемонии, Цезарь не пожелал встать, когда декреты ему передавали.

Superbia, цедили сквозь зубы сенаторы, покидая святилище (они имели в виду гордыню монарха, ослепленного своим всемогуществом); и, уже не таясь, добавляли еще одно словечко: *tyrannus*, «тиран». Однако теперь данный термин уже не звучал в их устах как страшное слово из театральной пьесы, которое они вспоминали всякий раз, когда Цезарь, пользуясь их неизменной мелочной трусостью, вырывал у них очередную льготу или привилегию. В этот миг, когда заговор уже обрел форму, слово, позаимствованное непосредственно у Еврипида и Софокла, помогло им убедить себя в том, что они стали актерами в драме, которая станет легендой, в великолепной театральной постановке, по ходу которой Рим очистится от своих страхов и возродится к новой жизни; и рассуждая, как лучше расставить ловушку для Цезаря, они одновременно убеждали друг друга в том, что уже окружены особой аурой, свойственной героям лучших трагедий.

А между тем в глубине души эти люди чувствовали, что преступление, которое они готовились совершить, не имеет ничего общего с грандиозной мстью Ореста или Аякса. Они прекрасно понимали (хотя не могли признаться в этом даже самим себе), что возрождают дикарские рефлексy времен основания Рима, инстинкт стаи, который был характерен для той жестокой эпохи, когда сыновья Волчицы, грубые и воинственные пастухи, убивали друг друга при первой возможности из-за украденного скота, изнасилованных женщин или ссор, связанных с межеванием земель, — а потом, в часы отдыха, рассказывали об этом в своих жалких хижинах, где

вперемешку жили мужчины, женщины, дети, скотина. Теперь, семь веков спустя, цвет римской аристократии, уже успевшей поверхностно познакомиться с самыми светлыми достижениями средиземноморской культуры, вспомнил об этих архаических обычаях; и то, что замышляли заговорщики, не умея сформулировать для себя суть предстоящего, было не чем иным, как коллективным принесением в жертву вождя племени, жуткой попыткой присвоить себе, пролив кровь своей жертвы, ее могущество — первобытным убийством Отца.

Да и за пределами узкого круга заговорщиков, в среде той самой аристократии, которая еще совсем недавно вершила закон в Риме и теперь не могла смириться с тем, что ее отстранили от власти, абсолютно все чувствовали неизбежность этого ритуального убийства. Этим и объясняется осведомленность авгура Спуринны: он не только назвал жертве время, которое ей еще оставалось прожить, но и точно указал смысл будущего убийства, ибо произнес свое предсказание именно в тот момент, когда расчленил тушу жертвенного животного.

Цицерон тоже едва не высказал «несказанное»: в тот день, когда подло порадовался, что статую Цезаря поместили в храм Ромула-Квирина, а не в старый храм богини Салус, «Здоровья», как сперва собирались сделать. Оратор имел в виду, что в результате этого изменения Цезарь лишился магической защиты и сам обрек себя на такую же страшную муку, от какой погиб первый римский царь.

А между тем Цицерон не входил в число заговорщиков: они предпочли обойтись без него, так как боялись, что он может проболтаться. Но Цицерон, как и все остальные сенаторы, знал: рано или поздно оккультные силы, которые охраняют императора, обратятся против него. Безжалостно и при первом удобном случае Цезарь будет убит горсткой привилегированных заговорщиков, убежденных в том, что они освобождают людей своего круга от власти кровавого тирана, — тогда как на самом деле речь идет лишь об экзорцизме, изгнании их собственных страхов. И боятся они даже *не* конца мира, а конца своего мирка.

Слишком тяжело, чтобы это можно было высказать вслух, поддающееся осмыслению и все же немислимое: *infandum*. Вот почему римлянам всюду мерещились явственные знаки надвигающейся беды — в небесах, во внутренностях жертвенных животных, в полете хищных птиц над площадями города, даже в грохоте священного оружия, хранящегося в сокровенных покоях храмов. Сенаторы, снедаемые злобой и завистью, плебеи, сбитые с толку всевозможными пророчествами и противоестественными феноменами, нарушавшими существовавший с

незапамятных времен порядок, — все они в эти странные недели были парализованы невыразимым ужасом: не поддающейся определению тоской, которая приковывала их к месту и за которой не просматривались иные горизонты, кроме еще худшего страха; они уже предчувствовали, что пропасть, куда им предстоит низвергнуться, окажется бездонной.

*

В то время стало передаваться из уст в уста одно предсказание из Книги Сивилл. Между тем сам император не обращался за консультацией к хранителям этого сборника. Вот уже добрых три месяца — несомненно, с помощью географов Клеопатры — диктатор занимался почти исключительно подготовкой к парфянской войне. День его отъезда был уже назначен: через три дня после ид, 18 марта.

Цезарь мобилизовал шестнадцать легионов и собирался взять с собой десять тысяч всадников; он уже начал, через надежных эмиссаров, договариваться о поддержке, которую окажут ему царьки, чьи территории тянулись вдоль Босфора; он поставил во главе своих восточных легионов, наделив громким титулом «начальника конницы»^[75], одного из своих внучатых племянников — порочного, хилого и болезненного молодого человека по имени Октавий, — и послал его в Аполлонию, в южную Иллирию, поручив подготовить там плацдарм для будущей экспедиции. Потом диктатор занялся разработкой плана новой кампании, которую подготавливал с большей методичностью и тщательностью, чем все предыдущие.

Он решил, что сперва сокрушит народы, населяющие левобережье Дуная. Затем вторгнется на дикие земли, расположенные между реками Галис и Евфрат и отрогами Тавра. Покорив тамошнее население, он вступит на парфянскую территорию и будет применять свою излюбленную тактику, постепенно заманивая врага в такое место, откуда тот не сможет ускользнуть. Одержав победу, он продолжит свой путь через Кавказ, Скифию, Германию и, наконец, Галлию — совершив таким образом круговое движение, сама траектория которого подтвердит, что он, Цезарь, в полном объеме осуществил свою мечту.

Для этого потребуются три года переходов и сражений — так он рассчитал. Он предусмотрел все, кроме возможности своего поражения. Верный себе, Цезарь отказывался допустить — хотя бы чисто формально — даже мысль о том, что однажды удача может ему изменить. Он был

уверен в победе над парфянами — этими варварами, которые не только убили Красса и истребили его легионы, но и имели наглость поддержать в Сирии последних сторонников Помпея; он вернет в Рим орлов, которые, к стыду сограждан, попали в руки парфян.

Заговорщики (а некоторые из них входили в число доверенных лиц Цезаря) следили за этими приготовлениями с неослабным вниманием. Они заметили, что, назначив Октавия «начальником конницы», Цезарь одновременно присвоил то же звание и своему другу Лепиду — полномочия последнего распространялись на западные территории. Никогда прежде в римской армии не было двух «начальников конницы». Соответственно, еще более усиленно стали распространяться слухи о том, что диктатор задумал раздел мира и намеревается перенести столицу в Александрию; теперь к ним прибавилась еще одна сплетня: говорили, будто, согласно Книгам Сивилл, парфян может победить только царь.

Цезарь не просил, чтобы ему прочли этот сборник предсказаний. Книги оставались там, где находились всегда: под присмотром специально приставленных к ним жрецов, в храме, где они хранились. Значит, слух не соответствовал действительности; Цезарь, который всегда был прагматиком и относился к оккультизму с полным безразличием, готовясь к войне, полагался только на географов и на свой стратегический гений.

Однако в очередной раз слух сокрушил правду, слова оказались более сильными, чем вещи; и когда Цезарь назначил заседание сената на 15 марта (в этот день истек срок осуществления угрозы, сформулированной несколько недель назад прорицателем Спуриной), никто не сомневался в том, что у данного мероприятия может быть только одна цель: перед своим выступлением в поход против парфянской империи Цезарь хочет любой ценой получить титул, само звучание которого, напоминающее сухой треск, по мере распространения слухов все в большей мере воспринималось как провозвестие беды, — *rex*.

Мужской вариант титула Клеопатры, *regina*, — единственного имени, под которым ее знали в этом городе.

*

Не из-за царицы ли Цезарю приписывали амбиции, которых он не имел? Не из-за ее ли таинственного, упорного присутствия на другом берегу Тибра, в этом огромном саду, окруженном стенами, сквозь которые не просачивалась наружу никакая информация, тогда как царица

умудрялась узнавать обо всем, что происходило в Городе?

Покров тьмы навсегда скрыл от нас эти странные недели; тогдашнюю Клеопатру трудно представить себе иначе, нежели в образе насторожившейся кошки: неподвижная, застывшая, замкнувшая в себе гнев и страх, она терпеливо ждет своего часа — своей добычи.

*

Заговорщиков было двадцать четыре — то есть меньше трех процентов состава сената, который насчитывал девятьсот членов. По меньшей мере четыре заговорщика на всем протяжении своей карьеры пользовались явным покровительством диктатора, можно даже сказать, что он осыпал их своими милостями. Двое из этих персонажей, Требоний и Альбин, даже входили в число особо приближенных к нему лиц.

Остальные относились к категории «раскаявшихся»: бывших сторонников Помпея, которых Цезарь пощадил после Фарсала и которых великодушие диктатора побудило перейти на его сторону. Некоторые из этих аристократов, молодых и старых, спасших свою жизнь ценой отказа от прежних убеждений, впоследствии, благодаря Цезарю, приобрели огромные состояния. Но себе они этого не простили.

Иногда их злоба проистекала из еще более мелочных причин: многих Цезарь в тот или иной момент публично унизил своей едкой иронией, и они не сумели ничего ему возразить. Они поклялись, что однажды отмстят, однако, каждый по отдельности, никогда не нашли бы для этого сил. Люди с более сильными характерами порой подпитывали свою ненависть к диктатору совсем пустячными обидами: так, энергичный Кассий не мог забыть, что Цезарь конфисковал у него многочисленных львов^[76], которых он, Кассий, предполагал использовать, чтобы низкой ценой снискать себе популярность в народе. Император присвоил этот зверинец и потом нашел ему применение во время празднования собственного триумфа. С того самого дня Кассий кипел от ярости.

Итак, старые разочарованные ворчуны и молодые нетерпеливые карьеристы сплотились в эту непрочную группу заговорщиков, членов которой объединяла только злоба. Они нуждались в лидере, «сильной руке», и таким лидером стал Кассий (кстати, он был одним из немногих римских военных, спасшихся после разгрома легионов Красса парфянами). Несмотря на постоянно глодавшую его ненависть к Цезарю, Кассий оказался достаточно проницательным, чтобы понять: заговор не увенчается

успехом, если не найдет для себя солидного нравственного оправдания — и, главное, если среди его участников не будет человека, само имя которого сможет произвести глубокое впечатление на народ. И тогда Кассию пришла в голову мысль (или, во всяком случае, именно он эту мысль осуществил) привлечь к заговору юношу, которому предстояло стать самой заметной фигурой среди участников покушения, — Марка Юния Брута, сына Цезаря и Сервилиии.

*

Страстная любовь Сервилиии к Цезарю, несомненно, наложила заметный отпечаток на личность Брута, и, вероятно, в еще большей степени на него повлиял сильный характер матери: ора была настоящая *virago*, то есть «женщина-мужчина», матрона, которая ведет себя как патронесса, — подобные ей персонажи в последнее время все чаще встречались среди римских аристократок. Каждый римлянин знал, что Сервилиия была единственной женщиной, с которой император имел длительную связь; все помнили и о том, что Цезарь едва не разорился из-за нее, ибо подарил ей в память об их ночах жемчужину чудовищной величины, — эпизод, который давно стал легендой.

Брут был зачат в одну из тех ночей, и ему это было известно. Если сама Сервилиия (которую Цезарь оставил, когда ей еще не исполнилось сорока) не открыла сыну секрет его рождения, его просветили на сей счет слухи (что, конечно, гораздо хуже). Его озлобленность со временем только возрастала — возможно, на протяжении последних лет разжигаемая неприязнью к диктатору его матери. Оппозиционность Брута по отношению к Цезарю проявлялась с первых его шагов в общественной жизни: он принял сторону Помпея (который, кстати, за тридцать лет до того хладнокровно предал казни первого мужа Сервилиии). Молодой мятежник не пострадал в ходе катастрофы при Фарсале. После разгрома помпейцев Цезарь, разумеется, его пощадил. Позже диктатор осыпал его своими милостями — как, впрочем, и Сервилиию, состояние которой увеличил чуть ли не в десять раз.

Хотел ли он таким образом умерить злобу своей бывшей любовницы, предоставлял ли Бруту всякого рода почести для того, чтобы приглушить ревность его матери? Мы этого не знаем; очевидно лишь, что в начале того года Цезарь собирался назначить своего сына одним из двух консулов (вторым должен был стать Кассий...), которым в период его отсутствия

предстояло управлять Римом.

Брут соглашался со всеми нововведениями Цезаря и, подобно другим сенаторам, склонялся перед его волей. Однако, несмотря на почести, которыми ублажал его отец, он оставался таким, каким был всегда: крайне ранимым юношей, в характере которого соединялись слабость и сила, ясный ум и ослепляющая ненависть, — олицетворением муки. И это было заметно, поскольку его душевная боль не имела ничего общего с уязвленным самолюбием других сенаторов. Замкнутый, высокомерный, всегда небрежно одетый, с растрепанными волосами, Брут казался живой аллегорией тоски. В частной жизни он не мог удержаться от постоянных демонстраций своей оппозиционности по отношению к Цезарю: например, когда ему пришло время жениться, он выбрал Порцию, дочь Катона и вдову Бибула, — то есть женщину, близко связанную с самыми непримиримыми врагами диктатора.

Наверное, именно для того чтобы походить на героя Утики, Брут так часто становился в позу философа-стойка, афишировал свои грубые манеры, свои мизантропические мании. Почти все это понимали, и в любом случае он не имел ничего общего с тем добродетельным героем, которого хотели в нем видеть (уже после убийства Цезаря) потомки. Да, он всегда давал в долг деньги, когда у него просили, но потом не стеснялся взыскивать со своих должников сорок восемь процентов ростовщической прибыли...

Кассий, когда решил обратиться к Бруту, не мог не понимать, что вторгается в чудовищное змеиное гнездо. Еще бы: ведь он, Кассий, был женат на родной сестре молодого сенатора, той самой Терции, которую (согласно упорным слухам) Сервилия, почувствовав, что ее прелести надоели диктатору, толкнула в объятия своего любовника — а девочке было тогда всего четырнадцать или пятнадцать лет. И Кассий знал также, что в центре проклятого треугольника, образованного Брутом, его матерью-прелюбодейкой и его отцом Цезарем, неизбежно присутствует призрак Катона. Ибо, вдобавок ко всему прочему, Сервилия была сводной сестрой самоубийцы из Утики...

Когда они еще были любовниками, диктатор как-то воспользовался ею, чтобы унижить своего соперника. Это старая история, не более чем анекдот, — но в свое время над нею потешался весь Рим. Дело происходило в сенате, во времена заговора Каталины, в момент расцвета романа Цезаря и Сервилии. Страстно влюбленная Сервилия не смогла удержаться и послала Цезарю записку — которую ему передали прямо на заседании, — не оставлявшую никаких сомнений относительно характера

их связи. Наблюдая, с каким возбуждением Цезарь читает эти таблички, Катон убедил себя, что в них идет речь о готовящемся государственном перевороте. Он вскочил со своего места, стал кричать о заговоре и о том, что Цезарь принял сторону мятежников. В зале поднялся невообразимый шум. Тогда Цезарь спокойно протянул крикуну таблички Сервилиии. Текст послания, очевидно, был более чем фривольным, ибо добропорядочный Катон залился краской и швырнул таблички Цезарю со словами «Возьми, пьяница» — но при этом у него был такой смущенный вид, что все присутствующие поняли, в чем дело, и разразились гомерическим хохотом. Рим смаковал эту историю в течение нескольких лет. Этого тоже — может быть, в первую очередь именно этого — Брут не мог простить Цезарю.

*

Однако, пожелав прозондировать настроения своего шурина, Кассий не стал напоминать ему о старых обидах. А просто спросил: разве не носит Брут то же имя, что и убийца Тарквиния Гордого, последнего царя?

Кассий прекрасно знал, что герой, которого он упомянул, умер, не оставив потомства, и что, следовательно, совпадение имен в данном случае является чистой случайностью. Брут тоже это знал. Поэтому сделал вид, будто не понял намека, и уклонился от ответа.

Тогда Кассий решил усилить нажим. Сперва на Брута пытались воздействовать косвенным образом — просто путем публичных оскорблений, которые всегда воспринимаются очень болезненно. На цоколе статуи предполагаемого предка Брута стали появляться надписи: «Нам нужен Брут!», «Если б Брут жил теперь!» и прочее в том же духе. Потом сыну Сервилиии стали открыто говорить, что по материнской линии он происходит от человека, который четыре столетия назад героически убил одного из своих сограждан из-за одного лишь подозрения в том, что тот хотел стать царем. А поскольку Брут продолжал притворяться глухим, однажды утром, открывая заседание, он обнаружил на своей преторской трибуне уже совершенно недвусмысленную надпись: «Брут, ты спишь?».

Он ни на что не реагировал, так как понимал, в какую противоестественную ловушку хочет заманить его Кассий: речь шла о том, чтобы смешать в единый клубок незаконность его, Брута, рождения и незаконность притязаний Цезаря на царскую власть. Кассий провоцировал Брута (не выражая свои мысли прямо, ибо дело касалось *infandum'a*), чтобы тот, убив собственного отца, доказал свою принадлежность к роду, имя

которого носил. Юний против Юлия, Брут против Цезаря. Короче говоря, Кассий призывал незаконнорожденного юношу доказать законность своего рождения с помощью кровопролития. Этот акт — отцеубийство — является святотатством в такой же мере, как и покушение на табуированную личность. Следовательно, чтобы убедить Брута (как, впрочем, и других заговорщиков), Кассий должен был найти оправдание будущему преступлению в легендах.

Но Брут чуял подвох и сопротивлялся изо всех сил. Кассий и его приспешники тоже не складывали оружия. Брут находил на своей трибуне все новые надписи: «Нет, ты не настоящий Брут» и прочее. А потом обнаружил еще более ясное послание, чуть ли не угрозу: «Ты мертв?».

Это преследование стало настолько очевидным, что слухи о нем дошли до Цезаря. Диктатор уже понял, что против него готовится заговор, и ему даже сообщили (несомненно, чтобы запутать следы), имена двух предполагаемых зачинщиков — преданных ему Долабеллы и Антония. Цезарь не дал себя обмануть этим маневром; он наверняка уже знал, что если ему суждено быть убитым, то падет он от рук Кассия и Брута, и он ответил доброхоту, который хотел заставить его заподозрить Антония и Долабеллу: «Я не боюсь этих славных здоровяков с красивыми волосами и свежим цветом лица. Те, кому я не доверяю, — хилыки с бледной кожей»^[77].

Этого суммарного портрета хватило, чтобы все римляне поняли, на кого он намекает: на Кассия и своего собственного сына. Когда Цезарю во второй раз сообщили о готовящемся покушении, доносчик, очевидно, имел самые лучшие намерения и к тому же был прекрасно информирован, потому что сказал, что душой заговора является Брут.

Цезарь рассмеялся ему в лицо; потом показал из-под полы тоги свою руку профессионального воина, загорелую и крепкую, и спросил: «Как? Неужели вам кажется, что Брут не выждет гибели этого бедного тела?»

В этой реплике, как и в большинстве других высказываний Цезаря, не было ни легкомыслия, ни гнева, ни страсти. Он взвесил каждое слово и, виртуозно владея искусством двусмысленностей, на сей раз добавил к словам еще и жест, чтобы все поняли точный смысл его ответа: даже если Брут завидует ему как завоевателю и политическому гению, даже если ненавидит абсолютизм его власти до такой степени, что желает ему, Цезарю, смерти, сын не найдет в себе силы для того, чтобы поднять руку на плоть, из которой вышел.

Цезарь тем самым, видимо, затронул глубоко сокрытую от посторонних глаз рану Брута. Почерпнул ли незаконный сын в этой

последней провокации мужество для совершения отцеубийства — или, напротив, упомянутая фраза заставила его еще раз усомниться в почти уже принятом решении? А его мать Сервилия, чье женское очарование уже успело поблекнуть, — использовала ли она эту фразу, как полагают некоторые, чтобы склонить сына к участию в заговоре и таким образом отмстить за давнюю измену императора и за непереносимое зрелище того, как теперь он афиширует в Риме свою связь с царственной любовницей, иностранкой, женщиной на тридцать лет моложе ее самой, которая недавно, как и она, родила Цезарю сына? Нам остается лишь гадать. Очевидно лишь, что заговорщиков эта фраза возбудила еще больше и что в последние недели жизни Цезаря его прошлое стало для него ловушкой, обступило его со всех сторон.

По жестокой иронии судьбы величайший гений античности превратился в жертвенное животное, которое ведут на заклание, не из-за своих политических решений или ослепительных военных побед, а из-за банальных эпизодов личной жизни: ревности бывшей любовницы, конфликтов с людьми, обиженными его чрезмерно резкими высказываниями, пустячной истории с конфискованными львами...

Если, конечно, не считать Брута, единственного по-настоящему трагического актера в этой пьесе: ведь для него речь шла вовсе не о том, чтобы принять участие, под влиянием бог весть какого стадного инстинкта, в ритуальном убийстве племенного вождя. Он не готовился убить Отца-прародителя. Он должен был убить собственного отца — и этот его родитель сам бросил ему вызов.

Тем не менее Брут притворился, что принял аргументы остальных двадцати трех заговорщиков; а в конце концов убедил себя в том, что происходит по прямой линии от того Брута, который избавил Рим от последнего из его царей, и стал еще более чопорным, чем всегда; для него тоже слова в итоге оказались более сильными, чем обозначаемые ими истины. Он застыл в позе героя-цареубийцы; ловушки были расставлены, и оставалось только ждать; то, что задумали заговорщики, свершилось: Брут перешел на их сторону.

С этого дня, когда (для него и для его сообщников) фантазии стали сильнее реальности, он до конца оставался самым упорным и пылким из двадцати четырех.

Долгое время заговорщики колебались между несколькими возможными планами. Они хотели сбросить Цезаря с мостков и потом задушить^[78], подстеречь его у выхода из дома, напасть на его носилки, когда он будет пересекать Форум, направляясь к Священной дороге, — но в конце концов решили действовать в курии Помпея, в день мартовских ид, то есть 15 марта.

Что касается Цезаря, то он по-прежнему обходился без личной охраны. Время от времени заговаривали о том, что его статую следует поместить в храм богини Салус, «Здоровья», но он не давал соответствующего распоряжения. Это было не близорукостью, но опять-таки вызовом; он прекрасно знал содержание распространявшихся слухов, и трудно представить, чтобы из своих носилок он не видел тех надписей, которые множились на стенах римских домов. Он не мог оставаться глухим и к выкрикам «*Rex!*», которыми преследовала его толпа, когда он появлялся на улицах во время торжественных публичных церемоний; через своих секретных агентов он даже знал, кто именно подсказывает плебеям это слово, чуял ненависть, таящуюся в сердцах приветствующей его массы; и он понял, благодаря шпионам, которыми наспиговал Рим, что овации толпы могут однажды перейти в кровавую расправу над ним — для этого достаточно вмешательства горстки злоумышленников.

Однако Цезарь считал, что его враги не решатся нарушить табу. Он продолжал заниматься своими многочисленными делами с привычными для него энергией и методичностью, ибо верил в действенность своего магического щита; но он забыл о том, что сакральную (неприкосновенную) личность отделяет от сакральной (обреченной на гибель) жертвы не такое уж большое расстояние.

И когда толпа вслед ему кричала «*Rex!*», он ничего не отвечал до тех пор, пока ее возбуждение не стало чрезмерным. И лишь тогда успокоил ее сухой фразой: «Я Цезарь, а не царь!»

Однако в другой раз он сказал со своей обычной высокомерной иронией: «Я скорее предпочту быть консулом и иметь на своей стороне право, нежели быть царем и нарушать его»; и все, кто при этом присутствовал, задумались: не намекает ли император на то, что хочет добиться официального присвоения ему титула *rex*? Сенат, фактически, им куплен; он сможет добиться всего, чего пожелает и когда пожелает.

Тогдашние мысли диктатора для нас непроницаемы. Скорее всего, он вел себя, как на войне: прежде чем переходить к наступлению, наблюдал за передвижениями противника, прощупывал почву. А может, даже еще не знал, будет ли наступать, еще ничего не решил. Но, как всегда, действовал в

зависимости от обстоятельств — он был превосходным тактиком и стратегом. И в ту зиму, когда до него непрерывно доходили слухи о готовящемся заговоре, он лавировал между внешним безразличием к происходящему и двусмысленными заявлениями, причем делал это с таким блеском, что его противники уже не могли оправдать будущее покушение иначе, как заставив Цезаря открыто высказаться в пользу царской власти.

Они осуществили свое намерение в мгновение ока: однажды январским утром римляне, проснувшись, обнаружили, что все статуи императора, сколько их ни есть в городе, имеют на головах белые повязки.

Диадемы — такие же, как та, которую носит Клеопатра. На сей раз Цезарь понял, что нужно что-то предпринять, решительно пресечь кривотолки и перестать плавать в мутной воде двусмысленностей. Для этой цели он выбрал ближайший праздничный день, когда справлялся старинный ритуал очищения и плодородия (Луперкалии), все еще очень популярный: мужчины, одетые только в опоясания из козлиных шкур, оббегают вокруг Палатинского холма, древней крепости Ромула, и бьют плетью женщин, подставляющих себя под их удары, — обычно это бывают бездетные матроны, надеющиеся таким образом забеременеть.

Цезарь, сидевший в своем золотом кресле, наблюдал за этой сценой с трибуны Форума. Антоний, который уже давно принадлежал к живописному братству «дедов с розгами», совершил ритуальный бег с таким же усердием, как всегда, и с таким же скрупулезным соблюдением традиции. Если не считать одной детали: спускаясь по окончании церемонии на Форум, чтобы приветствовать диктатора, он размахивал в воздухе лавровым венком, в который была вплетена белая лента.

Еще одна диадема. Однако на этот раз она сочеталась с другим, чисто римским символом — лавровым венком воинской славы. Превосходная эмблема того политического синтеза, к которому стремился Гай Юлий Цезарь, — брачного союза между Востоком и Западом.

Толпа оцепенела. Другие бегуны воспользовались этим, чтобы пробиться к Антонию, и подняли его на свои плечи, на высоту трибуны. Антоний попытался возложить корону на голову императора. Цезарь отшатнулся. Народ зааплодировал. Антоний повторил свою попытку. Цезарь вновь уклонился.

Теперь в толпе раздались крики, люди жестикулировали и, казалось, разделились на две партии: одни роптали, другие аплодировали диктатору. Антоний вновь попробовал осуществить свое намерение, но теперь Цезарь резко его оборвал, оттолкнул корону, поднялся и приказал с посерьезневшим лицом, чтобы венок отнесли на Капитолий, в храм

Юпитера, и чтобы о его, Цезаря, отказе носить корону немедленно сделали запись в фастах, официальных анналах Римской республики.

Разумеется, все это было не более чем мизансценой, подготовленной и разыгранной Антонием и Цезарем, маленьким фарсом, цель которого состояла в том, чтобы прозондировать настроения плебса и, главное, обезвредить ловушку, расставленную Кассием и его агентами. Однако этот искусный маневр не достиг своей цели: все нити заговора уже были сплетены, его участники не могли и не хотели отказаться от задуманного.

С того дня прорицателям, авгурам и ясновидцам повсюду стали мерещиться предвестия беды: огненные шары, пересекающие небо, орлы, которые среди бела дня опускаются на площадь; и с еще большим возбуждением, чем прежде, люди шептались о том, что для Рима наступают проклятые дни.

*

Сам Цезарь ни на минуту не отказывался от позы высокомерного безразличия — вплоть до своего последнего обеда у Лепида^[79], в канун ид, когда один из сотрапезников спросил его, какой род смерти он предпочитает. Цезарь сухо ответил (это была его последняя бравада): «Неожиданный!» И рано ушел из гостей. Он отправился в свое семейное гнездо, к Кальпурнии, а не на виллу в Трастевере, где все еще жила Клеопатра.

И в ту ночь, которая была такой тяжелой, — Цезарь просыпался несколько раз, у него немели мускулы, он чувствовал боль в суставах; потом, когда ему удалось заснуть, двери и ставни в его доме вдруг распахнулись и стали хлопать, словно под воздействием невидимой бури, — именно ее, молчаливую Кальпурнию, боги избрали для того, чтобы открыть императору его судьбу. Она тоже очень плохо спала. Ее преследовали кошмары, она стонала во сне: ей снилось, будто фронтон их дома обрушился на нее и на ее мужа; потом — что она обнимает обескровленный труп Цезаря.

Утром она пересказала свои кошмары мужу, а поскольку на него это, как казалось, не произвело впечатления, повторила ему последний слух, ходивший по Риму: будто накануне, в стенах самой курии (именно там, куда собирался идти Цезарь), стая птиц разорвала на куски маленькую одинокую птичку — короля.

Диктатор и бровью не повел. Тогда Кальпурния бросилась к его ногам

и стала умолять не ходить на заседание сената. Цезарь заколебался. В этот момент явились его друзья, в том числе Антоний и несколько жрецов. Отчаяние Кальпурнии, ее убежденность в собственной правоте произвели на них сильное впечатление. Они попытались убедить императора послушаться жены. Цезарь все еще колебался, но вдруг почувствовал приступ головокружения и решил остаться дома.

Десять утра; заседание сената должно открыться через три часа. Кальпурния выиграла эту партию.

Но тут приходит какой-то человек^[80], сенатор, он явно не в духе. Цезарь говорит ему, что не пойдет в сенат. Человек начинает кричать, что это блажь, что император постоянно унижает ассамблею.

Антоний и его друзья вмешиваются, пытаются защитить своего патрона, объясняют, что удерживает его у семейного очага. Человек раздражается смехом, обвиняет императора в том, что тот верит «рассказням жрецов и женщин». Задетый за живое, Цезарь все же сдерживает свои эмоции; и тогда этот человек, определенно очень хитрый, воспользовавшись моментом, убеждает диктатора, что тот должен, хотя бы из простой вежливости, пойти в сенат и сам объяснить, почему хочет отсрочить заседание.

Цезарь соглашается последовать за ним. Человек, разумеется, — один из заговорщиков, которого остальные двадцать три послали на разведку, ибо от лихорадочного нетерпения не имели сил пребывать в бездействии еще три часа.

В тот момент, когда Цезарь переступает через порог своего дома (магическую черту), его статуя, стоящая в вестибюле, падает на землю. И этот шум падающей статуи — последнее, что мы знаем о судьбе Кальпурнии. Полотно Истории на мгновение прорвалось, и образ этой женщины мелькнул перед нашими глазами, чтобы тут же исчезнуть. Цезарь не успел повернуться спиной к своему дому, как ее жизнь вновь стала для нас незримой.

*

Но в этой странной хронике отсутствует и другое, гораздо более значимое лицо: сама Клеопатра.

Поразительная лакуна: Клеопатра, которая никогда не умела жить, где бы она ни находилась, не выставляя себя напоказ; которая никогда не принимала ни одного решения, не обсудив его предварительно со своим

эскадром шпионов, тайных агентов и стукачей; которая обладала прекрасной интуицией и наперед просчитывала каждый свой ход; которая, наконец, привезла с собой прорицателей и магов, оказывавших чуть ли не завораживающее воздействие на римлян, — неужели она до такой степени не понимала неотвратимость грозящей диктатору беды, была невосприимчива к знакам, ее предвещавшим? Или она предупреждала Цезаря — она тоже, — а он не хотел ее слушать, как не захотел услышать Спуринну, Кальпурнию? Называла ли она ему имена заговорщиков; уверяла ли, как другие, что видит в небе над Трастевере огненные шары; распознавала ли в рисунках расположения планет, которые составляли для нее астрологи, мрачные знаки, предвещающие смерть; мучили ли ее, как Кальпурнию, кошмары; казалось ли ей, что, когда проходит император, статуи падают и разбиваются на куски, а двери начинают хлопать без всякой причины?

Мы этого не знаем и никогда не узнаем. В текстах нет и намека на какие-то ее страхи, предчувствия, жесты. О ней нет вообще никаких сообщений; не известно даже, при каких обстоятельствах Клеопатра увиделась со своим возлюбленным в последний раз. Описывая момент, когда ее жизнь приближалась к катастрофе, тексты умалчивают о ее действиях и словах. Полное забвение, ничто: История не сохранила для нас даже нескольких ее реплик — наподобие тех, которые остались от Кальпурнии.

Однако причина умолчания здесь совсем другая: если историки, описывая этот ключевой момент в судьбе царицы, ничего не говорят о ней самой, то объясняется это тем, что, как умелые драматурги, они приберегают ее для второго акта драмы, когда она появится на сцене в объятиях Антония. Они берегут ее для романтической интриги, для эпизода любви — той самой латинской *amor*, которая, по мнению римлян, представляет собой эмоциональную западню, унижающую, отбрасывающую на дно жизни любую попавшую в нее жертву. Потому-то, пока разыгрывается трагедия мартовских ид, историки держат Клеопатру за кулисами; они вновь выпустят ее на сцену, лишь переодев в мишурный костюм роковой женщины, греческого чудовища-самки, которое станет проклятием для Антония.

А между тем первый историк, который рассказал об убийстве Цезаря, сириец Николай Дамасский, входил в число приближенных к царице лиц: через несколько лет после мартовской трагедии, уже будучи любовницей Антония, царица именно его выбрала в качестве воспитателя для своих детей. Николай Дамасский оставался у нее на службе вплоть до ее

самоубийства; возможно, он находился и в той свите, которую она привезла с собой в Рим во времена своей связи с Цезарем. Поэтому трудно представить себе, чтобы он вообще ничего не знал о жизни царицы до мартовских ид, в сам этот день и в ближайшее время после него.

И тем не менее он об этом умолчал, ибо в то время, когда Николай Дамасский описывал заговор (через двадцать лет после трагедии), Клеопатра была мертва. А Николай Дамасский перешел на службу к Октавиану, который стал владыкой Рима под именем Октавиана Августа, и император сам попросил историка вставить в рассказ о его, Августа, жизни отчет о мартовских идах. Это был заказной текст, а Октавиан Август и после смерти Клеопатры продолжал ненавидеть ее с поразительным ожесточением, пытался всеми средствами очернить ее память и избегал всего, что могло бы напомнить о ее связи с Цезарем, об их общей мечте, и тем более о рожденном ею от Цезаря сыне.

Николай Дамасский без всяких угрызений совести пошел навстречу желаниям своего нового хозяина: в ту эпоху в сфере исторической науки определяющим нередко становился тот же принцип, который действовал на полях сражений, — *Vae victis*, «горе побежденным». Только в Истории «горе побежденных» часто носит имя «забвение».

*

Итак, в то время, когда готовилось убийство отца ее ребенка, когда человека, который открыл перед Римом путь в будущее, приносили в жертву во имя прошлого, Клеопатра оставалась где-то на заднем плане. Немая фигура вне основного места действия.

Но из этого вовсе не следует, что она не принимала участия в игре. Да, конечно, она жила за стенами своей виллы, и детали римской политики, вероятно, нисколько ее не волновали. И тем не менее поскольку Цезарь и Клеопатра имели общую мечту, у нас есть все основания думать, что царица внимательно следила за ходом подготовки восточной кампании. Разумеется, у нее был несколько иной взгляд на вещи, чем у диктатора, поскольку Рим как таковой ее не интересовал; а кроме того, возможно, после проведенных здесь полутора лет ей уже не терпелось вернуться в Александрию.

Во всяком случае, у нее наверняка не было намерения отправиться вместе с римскими легионами в далекую экспедицию, но, поскольку парфяне уже разбили свои лагеря в сирийских болотах, она знала, что

Цезарю непременно понадобится Египет как база для обеспечения части его операций. Значит, в какой-то момент их пути обязательно пересекутся, но сейчас, в первые дни марта, Клеопатра, скорее всего, готовилась покинуть Рим сразу же после того, как ее возлюбленный выступит в поход.

В этой перспективе представляется очевидным, что, даже если Цезарь, как можно предположить, держал царицу в курсе многочисленных инцидентов, которые, в последние недели перед мартовскими идами, создавали некоторые препятствия для его отъезда, Клеопатра и сама день за днем получала точные отчеты о происходящем от своих агентов. Она с детства знала, как выглядит лицо ненависти, разбиралась в механике интриг — это была ее стихия. А значит, от нее не могло укрыться, что назревает некий заговор против императора. С учетом этих условий логично предположить, что она пыталась составить собственное мнение о сложившейся ситуации. Да, конечно, она не говорила на латыни и жила за пределами города. Однако ничто не мешало ей в любой момент смешаться с многоязыкой толпой, заполнявшей улицы и Форум, пойти туда, где лица, гомон, движения человеческих масс могут сказать несравненно больше, чем любые секретные донесения, — особенно человеку, обладающему такой пронизательностью и интуицией, какие были свойственны ей.

Да, но в таком случае мартовский заговор, который все предчувствовали и о котором открыто говорили, должен был казаться ей верхом глупости. Клеопатра привыкла к гораздо более умело замаскированным изменам, к несравненно более запутанным интригам. Она, наверное, считала, что гений Цезаря, как всегда, блестяще справится с этим испытанием и извлечет из него максимальную выгоду.

Что касается *prodigia*, этих зловещих символов, которые заранее извещают будущую жертву убийства о ее скорой гибели, то они, в большинстве своем, были совершенно чужды ментальному универсуму Клеопатры. Даже если царица смотрела на происходящее отчасти и с точки зрения египетской магии (некоторые тайны которой она, несомненно, знала), идея о том, что Цезаря убьют, как Ромула, в ходе своего рода жертвоприношения, должна была либо совершенно выпасть из поля ее восприятия, либо, в лучшем случае, показаться химерой закосневших в своей глупости плебеев. Иными словами, и в Риме царица продолжала жить, действовать, мыслить как дочь Греции и воспитанница Александрийской библиотеки.

Наконец, если Клеопатра и была хотя бы отчасти посвящена в тайну семейных интриг, которые затягивались вокруг Цезаря гибельной петлей, — если знала об адюльтере Сервилии, об истинном происхождении Брута,

— то все это вряд ли казалось ей заслуживающим серьезного внимания: в истории Лагидов происходили гораздо худшие вещи; и дома, в этом змеином гнезде, она всегда выбирала в подобных случаях одно из двух: либо делать вид, что ничего не замечаешь, либо резать по живому. Цезарь предпочел первое: почему же она должна усомниться в его правоте? Тем более что он обладает таким могуществом — он самый могущественный из всех.

Итак, скорее всего, Клеопатра, несмотря на многогранность своего дарования, в те недели проводила чисто стратегический анализ ситуации, совершенно не учитывая ее культурные аспекты. И эта кардинальная ошибка не имеющего себе равных игрока может привести нас лишь к одному выводу: когда горстка злоумышленников решает убить человека, им — сколь бы глупыми и неумелыми они ни были, — как правило, удается осуществить свой замысел; тупая, животная ненависть чаще всего одерживает победу именно над самыми светлыми, утонченными умами. И все же трудно понять, почему царица вовремя не предупредила Цезаря.

К несчастью, у нас нет никакой зацепки, позволяющей ответить на этот вопрос. Документы упорно молчат. Тотальная амнезия. От всего, что происходило в канун трагедии, История сохранила только дурные предчувствия Кальпурнии, да еще воспоминание о дверях и ставнях в доме Цезаря, которые непрерывно хлопали в безветренной ночи.

*

Наконец, Юлий Цезарь на протяжении всех этих последних недель вел жизнь одинокою мужчиной. Делился ли он с Клеопатрой подробностями тех тонких маневров, посредством которых день за днем укреплял свою власть над сенатом? Нет, конечно, — и уж тем более не рассказывал ей о неприятных инцидентах, связанных с его последними публичными появлениями. По его мнению, это были чисто римские дела, а ведь он и в Александрии не вмешивался в дворцовые интриги, считая их личным делом своей молодой любовницы.

Кроме того, в те дни февраля и начала марта Цезарь чувствовал: что-то в Риме от него ускользает; настроения толпы слишком переменчивы, зависят от каких-то подводных течений, над которыми он не властен. Но стал ли бы этот римлянин поверять свои сомнения женщине, к тому же иностранке? Да, конечно, она оставалась его любовницей и матерью его сына, делила с ним его мечту. Но ведь она, как и он, гордилась собой,

радовалась, что не уступает ему в силе, и могла взять верх над своим партнером при первом проявлении его слабости. И, следует подчеркнуть, это была молодая женщина, на тридцать лет моложе его, энергичная и здоровая — тогда как император уже чувствовал, что собственное тело изменяет ему.

Повторяющиеся головокружения, боли в суставах, судороги, которые отравляли краткие часы его сна, — в ту пору конца зимы болезни Цезаря, казалось, умножились. Однако у нас нет никаких свидетельств о том, что он кому-то жаловался на свои недомогания. Свою феноменальную экспедицию против парфян, самую рискованную за всю карьеру, он готовил так, как будто ему было двадцать лет. А когда болел, разыгрывал перед близкими обычную комедию эпилепсии — «священного недуга», указывающего на то, что в брненное человеческое тело вселился бог. И тем не менее Цезарь не мог не спрашивать себя: сколько еще времени он будет в силах разыгрывать эту пантомиму? Что станет с его величием, до сего дня неприкосновенным, если он внезапно умрет от какой-нибудь банальной болезни? И если ему суждено скончаться в своей постели, то не лучше ли, чтобы это случилось, как с Александром, в Вавилоне — или где-нибудь еще дальше, в глубине безымянных степей (и тогда этот недостойный Цезаря конец легко можно будет выдать за героическую смерть)?

*

А ведь император был поражен еще одной, гораздо более серьезной болезнью — из тех, в существовании коих люди его склада не признаются даже самим себе. Сколько бы он ни говорил, что соскучился по рукопашной схватке, сколько бы ни мечтал о войнах, сражениях, завоеваниях, реван-шах, которые сделают его владыкой всего мира, на самом деле Цезарь устал. Несколько месяцев назад в разговоре с близкими он как-то вскользь заметил, что уже получил от жизни все. Более того: его при жизни почитали как бога; его, который не верил в богов и ничего ни от кого не ждал — разве что от потомства. То есть от смерти.

И еще — изоляция человека, облеченного властью, возрастающая по мере того, как он приближается к вершинам славы, прежде даже не представимым; одиночество мужчины, который всегда одерживал победы, но вдруг почувствовал, что начинает стареть...

Тогда как она, Клеопатра, в эти дни, когда созревают зерна будущего несчастья, — в полном расцвете своих двадцати шести лет. Она счастлива,

потому что прижимает к груди ребенка, сына, который подхватит ее мечту, — ее и своего отца. В эти дни начала марта, после стольких месяцев, проведенных в городе, которым овладели темные силы, она, несомненно, думает только о весне, о том, что скоро море откроется для навигации, о солнце Египта, о сверкающем мраморе Александрии. И даже если она предупредила своего возлюбленного о грозящих ему опасностях, то через три дня после их последней встречи наверняка забыла о том, что он не бессмертен.

Что касается Цезаря, то он уже бросил свой вызов: он презирает судьбу — презирает смерть. Времени для разговоров не осталось. Молчание — способ продлить двусмысленность, его последний оплот. Врага он встретит молчанием и будет в этот миг один. В поединке нет места женщине. Даже такой, которая поддерживала его самую великую и самую давнюю мечту.

Вот почему в роковой день 15 марта не просто разбились надежды и мечта Клеопатры, но и лопнула сокровенная пружина ее бытия: она потеряла не только любимого, первого в ее жизни мужчину, не только отца своего ребенка, не только гениального стратега, который вернул ей корону. Цезарь был единственным человеком, помимо ее отца, с которым она говорила, по-настоящему говорила. Даже в их физической близости присутствовали словесное общение, искусство молчания, улыбок, смеха. Но когда они расставались, в последний момент... Фраз, которые могли бы помочь ее возлюбленному, спасти его (пусть и не спасли бы, пусть думать так значит обманывать себя, но сама мысль, что она сделала все возможное, потом служила бы утешением), — ничего подобного не было, Цезарь ей в этом отказал; и за порог смерти он шагнул без нее.

Двойное потрясение для Клеопатры. Глубокая, незаживающая рана, которая в большей мере, чем что-либо иное, объясняет серию бурных событий, отмечавших последние тринадцать лет ее жизни. В окружении царицы никто не подозревал об этом ее внутреннем надломе, сама же Клеопатра прилагала максимум усилий, чтобы его скрыть. И все же не может быть никакого сомнения в том, что утром 15 марта, когда Цезарь лежал, распростертый, на полу курии и из его тела ключом била кровь, вместе с этой кровью вытекла и юность Клеопатры.

*

Как она узнала о трагедии? Кто ей сообщил, где она была в тот миг —

гуляла ли по городу, играла ли со своим сыном в садах Цезаря? Кто поспешил в Трастевере, чтобы все ей рассказать, — какой тайный агент, какое доверенное лицо — и сколько времени прошло с момента преступления?

Или она догадалась о несчастье по тишине, которая вдруг, как грозовая туча, нависла над крышами домов, стоящих на другом берегу Тибра: при первом известии о злодеянии римляне попрятались, улицы, даже самые маленькие, опустели, все двери были заперты, в лавках не осталось ни продавцов, ни покупателей. Жители сидели в своих укрытиях и ждали возвращения проклятых времен Мария и Суллы, когда на перекрестках и во всех проулках валялись горы обезглавленных трупов, которые становились добычей собак и червей; в домах, где жалась по углам и дрожала от страха беднота, люди уже шептались о том, что скоро пойдут кровавые дожди.

О миге, когда Клеопатра должна была услышать то, что невозможно слушать, смириться с тем, с чем смириться нельзя, История опять-таки хранит абсолютное молчание. Именно тогда, когда царица переживает самую острую боль, незримый режиссер скрывает ее от наших глаз, прячет за кулисы, хотя она — одно из главных действующих лиц драмы, которая еще отнюдь не закончилась. И все же мы не ошибемся, предположив: то, что ей рассказали о последних минутах Цезаря, наверняка почти ничем не отличалось от дошедших до нас сообщений античных историков — и в смысле богатства деталей, и в смысле нарастающего по ходу повествования трагического чувства. Эта поразительная точность в передаче фактов, уверенность в том, какова была их хронологическая последовательность, на самом деле не должны нас удивлять: убийство имело место, как и планировали заговорщики, в курии Помпея, на глазах у девятистот свидетелей, сенаторов; и с того момента, как Цезарь покинул свой дом, за его носилками следовала все увеличивавшаяся толпа — до самого места преступления. Дорога заняла у него более часа, так что множество свидетелей видели все, что происходило вокруг императора.

Первый факт, который им потом вспомнился, первый момент, изумивший людей, заключался в следующем: в ста метрах от дома Цезаря, через несколько минут после того, как он вышел, возникла какая-то толкотня. Некий посыльный из всех сил пытался пробиться сквозь толпу, которая следовала за носилками диктатора. Этот человек — несомненно, раб — должен был передать Цезарю письмо. Содержания письма он не знал. Впоследствии стало известно, что в этих табличках было предупреждение о заговоре.

Посыльный так спешил добраться до дома императора, с таким трудом

протискивался сквозь двигавшуюся ему навстречу толпу, что не заметил, как разминулся с носилками Цезаря. В конце концов, когда он оказался возле нужного дома, ему сказали, что хозяин недавно вышел; однако, поскольку этот человек не знал, о чем говорилось в письме, он, вместо того чтобы попытаться догнать диктатора, решил дожидаться его возвращения.

Тем временем носилки Цезаря продолжают свой путь по улицам Рима, с прежними трудностями, ибо приходится пересекать строительные площадки, преодолевать рытвины, пробиваться сквозь скопления народа. В последний раз, через головы ликторов, а также сопровождающих его друзей и секретарей, Цезарь оценивает своим жестким взглядом ход работ, которые по его распоряжению ведутся в Городе, — он видит, например, новую площадь, названную в его честь Форумом Юлия, затем только что построенный храм, посвященный богине Фортуне, до сего дня не оставлявшей его своими милостями. На каждом мосту, на каждом перекрестке толпа вокруг него все более уплотняется. Ему протягивают прошения, ему рукоплещут.

В ста метрах от курии его носилки вдруг резко останавливаются: за них схватился какой-то неизвестный. Этот человек — кажется, грек — размахивает свитком, который хочет во что бы то ни стало передать Цезарю. Император думает, что речь идет об очередном прощении и, не читая, передает свиток одному из своих ликторов. Позже выяснится, что этот маленький пергамент тоже содержал сообщение о заговоре, но гораздо более подробное.

Носилки трогаются с места. Человек, на минуту растерявшийся, бросается вслед. Он снова хватается за них и настойчиво требует, чтобы диктатор немедленно прочел его письмо. Цезарь кивает в знак согласия, но не разворачивает свиток. Он, кажется, очень спешит.

Вот он уже перед курией. Спускается с носилок. Он — сухой, невозмутимый, как обычно; малоподвижный в своем золотом лавровом венке и пурпурной тоге, тоже отделанной золотом. Перед зданием его встречает группа заговорщиков с Брутом и Кассием во главе. Их нервы напряжены до предела: они ждут императора уже четыре часа; в течение этого нескончаемого срока жена Брута, Порция (нелишне напомнить, что она была дочерью Катона), уже много раз присылала посыльных, чтобы узнать последние новости. Это было крайне неосторожно. Не привлекла ли она внимание друзей Цезаря? Не подозревает ли сам диктатор, что ему подстроили ловушку, что мечи заговорщиков уже готовы обрушиться на него? И тут один из сенаторов отделяется от группы. Он торопливо подходит к императору, очень тихо говорит ему несколько слов.

Брут и Кассий уверены, что уже разоблачены, и подают другим заговорщикам условный сигнал: лучше заколоть себя собственными кинжалами, чем пасть от руки тирана. Но Цезарь слушает своего собеседника совершенно спокойно. Речь, видимо, идет о каких-то вполне безобидных вещах.

Спуринна тоже здесь. Цезарь окликает его: «А ведь мартовские иды наступили!» Но прорицатель отвечает очень серьезно: «Да, наступили, но не прошли!» И добавляет, что этим утром все авгуры определили начавшийся день как несчастливый.

Верный себе, Цезарь не обращает на это внимания. Он входит в курию. И все еще сжимает в руке непрочитанный свиток с предупреждением о заговоре.

Помещение курии выглядит торжественно, можно даже сказать, роскошно; ее построил Помпей, который смог оплатить столь дорогостоящие работы благодаря добыче, захваченной на Востоке; статуя самого Помпея возвышается в центре зала. Старый завоеватель, тучный и похожий на свинью, изображен нагим, как греческий герой-атлет; в руке он держит земной шар — символ той мечты о завоевании мира, которую Цезарь отнял у него в битве при Фарсале и осуществлением которой намеревается (уже через два дня) заняться сам, если только удача и дальше будет ему сопутствовать.

Антоний еще не вошел в курию. Заговорщики справедливо полагают, что он, даже действуя в одиночку, способен сорвать их план: этот атлет все подмечает, он постоянно живет в тени Цезаря и не стесняется давать волю кулакам. За несколько минут он может уловить, что здесь что-то неладно. Поэтому одному из заговорщиков — несомненно, тому самому, которому бойкими речами удалось выманить Цезаря из дома, — поручают задержать Антония у дверей. Здесь, как и в доме у императора, уловка прекрасно срабатывает: Антоний останавливается у крыльца курии и слушает болтовню своего собеседника.

План заговорщиков очень прост: как только Цезарь сядет на свое место, они его окружат. Таким образом, другие сенаторы не смогут видеть, что происходит. Маневр будет легко осуществить, потому что перед началом заседаний в зале всегда царит суматоха: каждый переговаривается со своим соседом. Всякий раз приходится ждать по несколько минут, пока все успокоится и можно будет перейти к делу; из-за этого беспорядка вокруг диктатора неизменно происходит какое-то движение: люди протискиваются к нему, чтобы выторговать для себя ту или иную милость либо подать прошение.

Сегодня первый проситель, который подходит к Цезарю, это один из заговорщиков, Кимвр. Ему предстоит сыграть решающую роль.

Из сидящих на скамьях сенаторов никто не удивляется тому, что Кимвр, старый друг Цезаря, пристаёт к нему со своими просьбами: ведь диктатор отправил в ссылку его брата. Кимвр умоляет вернуть брата в Рим. Император наотрез отказывается. Кимвр настаивает. Цезарь повторяет свой отказ. Тогда Кимвр опускается на колени и хватается обеими руками тогу императора. Цезарь раздраженно отталкивает его.

Это ключевой момент заговора: сейчас все зависит от ловкости Кимвра — он должен начать стаскивать с Цезаря тогу и тем самым парализовать движения его рук, обнажив шею, которая окажется в идеальном положении для удара мечом.

Маневр удался: в одно мгновение Цезарь лишен возможности двигаться, превращен (как они и хотели) в жертвенное животное, подставленное под тесаки храмовых служителей.

Диктатор кричит: «Но это покушение!» — и пытается освободиться. Он отбивается из последних сил, так энергично, что Кимвр с трудом его удерживает. Что касается заговорщиков, то они растерялись, так как уверены, что их план вот-вот рухнет, и не смеют шевельнуться.

Однако крик Цезаря тонет в общем гвалте, и, как и было рассчитано, другие сенаторы ничего не замечают. Выбившийся из сил и испуганный тем, что остальные заговорщики ничего не предпринимают, Кимвр, чувствуя, что император ускользает от него, бросает своим сообщникам: «Чего же вы ждете?»

Тогда Каска первым вонзает кинжал в Цезаря. Однако лезвие не попадает в цель — Каска, несомненно, метил в сонную артерию — и наносит лишь поверхностную рану под ключицей.

Заговорщики в панике, ибо Цезарь высвобождается, ему удается подняться. Император не вооружен, но у него есть грифель для письма; он хватается Каску за руку и пронзает ее этим острым предметом, которым пользовался, чтобы делать записи на воощенных табличках. Затем он выходит на середину зала и кричит, чтобы привлечь внимание сенаторов и разорвать проклятый круг из двадцати трех заговорщиков, которые тем временем обступают его и обнажают свои кинжалы.

Вопли Цезаря отдаются эхом в мраморных колоннах и хорошо слышны даже в глубине зала, но ни один сенатор не двигается с места. На Цезаря обрушивается второй удар, кинжал попадает в область желудка и сразу вызывает сильнейшее кровотечение; из двадцати трех ударов, которые получит диктатор, этот окажется единственным смертельным. И,

как в совсем уж преувеличенно театральной мизансцене, Цезарь падает у подножия статуи Помпея. Его рука все еще сжимает свиток с предупреждением о заговоре.

Подобно мстительному привидению, тень статуи Помпея касается тела Цезаря. На скамьях девять сотен сенаторов застыли в священном ужасе, тогда как круг заговорщиков сжимается еще теснее вокруг упавшего человека. Можно начинать бойню.

Один за другим, как было оговорено в их клятве, заговорщики замахиваются кинжалами и склоняются над телом своего поверженного врага. Цезарь больше не пытается сопротивляться: среди маячащих перед ним искаженных ненавистью лиц он узнал лицо Брута. И шепнул ему на одном дыхании: «И ты, дитя мое».

Цезарь не просит его пощадить, никого не прокликает, никого не зовет, не кричит, не шепчет божественное имя — он молчит; и только, собрав последние силы, укрывает лицо полой тоги, чтобы, когда он умрет, близкие могли изготовить восковую маску, которая сохранит для потомства его черты. Чтобы остался его необезображенный образ, который будет храниться в семье вместе с другими портретами предков, — вот все, о чем думает Цезарь в то время, когда кинжалы кромсают его плоть.

Еще несколько ударов, и трагедия закончена, лужа крови расплзается у подножия статуи Помпея, Цезарь испускает дух; и убийцы, будто внезапно испугавшись этой красной жидкости, которой становится все больше, забывают завершить свой план: а ведь они намеревались подвесить труп на крюк для говяжьих туш, с триумфом провезти его по улицам Рима и потом бросить в Тибр, чтобы он исчез под водой и — худшая кара для тирана! — никогда не обрел покоя в могиле.

Заговорщиков охватывает паника, ужас перед совершенным святотатством; они выбегают из курии. Но вместо того чтобы после превосходно сыгранной пьесы отдохнуть за кулисами театра, они, оказавшись на улице, сталкиваются лицом к лицу с римскими прохожими: гуляющими зеваками, которые тут же обращают внимание на их запачканные кровью тоги, испуганные лица.

А тем временем внутри курии девятьсот сенаторов, тоже насмерть перепуганные, постепенно осознают, что тело главного актера драмы совершенно неподвижно, что кровь у цоколя статуи Помпея — настоящая, что на полу действительно лежит труп; одним словом, что Гай Юлий Цезарь мертв.

Если до сих пор они были парализованы страхом, то теперь ими тоже овладевает паника; и они, беспорядочно толкаясь, спешат покинуть курию,

словно хотят вырваться из заколдованного круга, а истекающее кровью тело диктатора так и остается на полу, возле статуи его старого врага.

Тело Цезаря будет еще около часа лежать в опустевшей курии, — пока три раба императора, преданных своему хозяину, не найдут в себе мужества войти в этот зал, доступ в который им, в принципе, запрещен.

Acta est fabula, как говорили римляне в конце театрального представления: пьеса закончена, и каждый актер, изображал ли он главного или второстепенного персонажа, сыграл свою роль превосходно. Даже император, который никогда не увлекался драматургией (хотя и сочинил одну трагедию, «Эдип», впоследствии утраченную).

Судьба оформила его уход с подмостков как нельзя более эффектно, к тому же сцена эта была отмечена иронией, не уступавшей тем едким репликам, которыми Цезарь оскорбил стольких своих современников: когда Брут занес свой кинжал и, вслед за другими заговорщиками, мог выбрать место, куда нанести удар, он поразил Цезаря в детородный орган.

*

Во что вылилась скорбь Клеопатры? Был ли это тот же страх, что охватил сенаторов, — страх, который замораживает жесты и слова и не позволяет даже крикнуть? Или ужас греческих героинь, Андромахи и Электры, которых известие о несчастье поразило как удар молнии? Или стенания Ифигении, Кассандры, Медеи, Алкесты, готовившейся спуститься в могилу? Потеряла ли царица сознание под воздействием шока, выла ли от горя, царапала ли себе щеки и грудь, как делали женщины Александрии, когда смерть отнимала у них мужа или ребенка, ушла ли в себя, в молчание, как те, кто уже давно научился покорно сносить удары судьбы?

На эти вопросы тоже нет ответа. Лакуну нечем заполнить — а между тем мы час за часом можем проследить те чувства Клеопатры, которые она испытывала через тринадцать лет, когда умирал Антоний.

Однако на сей раз нет смысла предъявлять претензии к текстам: в них царит та же тишина, которая в тот трагичный час нависла над Римом, — тишина смерти, эхо небытия; и в ней, этой тишине, слышны были только последние слоги, которые пробормотал Цезарь, когда сын его бывшей любовницы занес над ним свой кинжал: *И ты, дитя мое...*

Как многие умирающие, император в тот миг заговорил на языке, который был первым в его жизни, — не на латыни. Он вспомнил слова, которым научился еще во младенчестве, когда сосал грудь своей

кормилицы, рабыни, попавшей в их семью после бог весть какой восточной войны. «*Καί σύ τέκνον*», — выдохнул Цезарь непосредственно перед тем, как испустить дух. Пусть слабое, но утешение для Клеопатры: свои последние слова он произнес по-гречески.

ПОСЛЕ КАТАСТРОФЫ (16 марта — июль 44 г. до н. э.)

Где и как нашла Клеопатра силы чтобы жить дальше, мы не знаем. Не сохранилось ни строчки о том, что она говорила или делала в первые часы после шока; никто не удосужился сохранить для потомства память о ее жалких или величественных жестах — жестах, с помощью которых впавшие в отчаяние люди пытаются облегчить для себя мысль о небытии и которые уравнивают царей и нищих.

И тем не менее очевидно, что уже очень скоро ей пришлось поднять голову, вновь обрести свою царственную гордость и, главное, способность предвидения — единственную гарантию безопасности на ближайшее время, которое, как она хорошо понимала, будет весьма беспокойным.

Может быть, она начала с того, что попросила какого-нибудь жреца из своей свиты пропеть для нее плач Исида над умершим Осирисом, эту древнюю, как мир, жалобу женщины, внезапно низвергнутой в пучину скорби: «Вот я осталась в доме без друга, с которым могла говорить, без господина, на которого могла опереться [...]. За его образом нет больше лица, на которое я могла бы смотреть [...]. Ту, которая верна тебе, зачем ты так внезапно покинул — не ответив, не выразив свою нежность, — приди обратно! С тобой одним я люблю делать то, что люблю; поговори со мной, мой супруг, вспомни: я будила твой дом звуками арфы, радовала тебя переливами флейты [...]. Мое сердце не перестает плакать, не может насытиться слезами, оно замерло, оно превратилось в труп. Можно подумать, что и оно вот-вот покинет землю, оно тоже».

Ибо все в сегодняшней драме Клеопатры напоминало судьбу этой неподражаемой богини: Цезарь, подобно Осирису, хотел наложить на мир отпечаток своей личности, распространить в нем блага цивилизации. И, в точности как бог Сет, Брут, его враг и ближайший родич, заманил его в ловушку, чтобы убить; и в роковой день убийства новая Исида тоже прокляла силы пустыни — в Риме они приняли обличье бесплотных химер, проявились в омертвлении душ, уже давно иссушенных жалкими амбициями.

И наконец, Клеопатра, как и Исида, даже в горе не могла не думать о своем будущем торжестве над врагами, потому что у царицы — хотя бы в этом одном она имела преимущество перед богиней — уже рос сын,

мальчик Цезарион, который когда-нибудь отмстит за отца, завершит его великое дело, истребит силы зла...

Скорбящая Клеопатра не разыгрывала из себя Исиду, она была Исидой. Если не считать одной детали, одной слабости царицы, которая безжалостно привязывала ее к миру людей: хотя все верили, что Клеопатра в совершенстве владеет магическими знаниями, никакие заклинания, никакие волшебные зелья не могли вернуть к жизни человека, на которого она возлагала все свои надежды. В отличие от бога-основателя Египта, Цезарь окончательно и бесповоротно умер, и даже его труп находился на другом берегу Тибра, не доступный для ее любящих прикосновений.

Уже одна эта мысль (а следует помнить, что греки представляли себе смерть как царство теней, населенное блуждающими душами и неизменно печальное) должна была бесконечно угнетать Клеопатру; и, может быть, желая подарить царице проблеск надежды, кто-то из ее окружения — скажем, астроном Сосиген или ее советники Аммоний и Сара, чьи имена свидетельствуют об их связи с египетской культурой, — продекламировал ей в садах Трастевере грозные слова, которыми заканчивается жалоба Исиды: «Тот, кто разбил мое счастье, сокрушил меня, но и я сокрушу того, кто разбил мое счастье! Смерть пожелавшему разлучить мужа и жену!»

Упала ли Клеопатра в тот миг в утешительные объятия Ирады и Хармион, единственных ее прислужниц, чьи имена, благодаря Плутарху, дошли до нас (если, конечно, во времена Цезаря эти преданные женщины уже входили в ее ближайшее окружение)? Мне бы хотелось так думать; и хотелось бы верить, что именно в песнопениях неподражаемой богини царица нашла — когда сумела справиться с первым, самым страшным приступом отчаяния, — источник своей невероятной энергии. Но эта тайна навечно сокрыта в анналах Истории, как и все, что касается жизни царицы в канун трагедии; и если бы не ненависть к Клеопатре Цицерона, мы бы даже не знали, когда она, наконец, вернулась в Александрию.

*

Оратор, как и все люди его круга, был вовлечен в водоворот событий, перевернувших жизнь Города. Каждый день что-то происходило, политическая ситуация становилась все более запутанной, а предугадать настроения плебса было невозможно.

Цицерон развил бурную деятельность: ему исполнилось шестьдесят, и смерть Цезаря давала ему последний шанс достичь цели, к которой он

стремился на протяжении последних десятилетий: стать спасителем агонизирующей республики.

Однако всякий раз, как он заканчивал свои (построенные по всем правилам классической риторики) выступления в храмах и на площадях, нечто, чему он не мог противиться, побуждало его наводить справки о царице.

Представьте себе: царица продолжает оставаться в городе, где ничто ее не задерживает, даже готовность кораблей, — ведь диктатор и она еще накануне убийства планировали через трое суток отплыть на Восток.

Логично предположить, что Клеопатра собиралась дожидаться оглашения завещания Цезаря, церемонии, которая состоялась через два дня после гибели императора, 17 марта, а потом — его похорон, 20 марта. Однако и в середине апреля она все еще находилась в Городе, хотя никакое официальное постановление не препятствовало ее отъезду. Ни один политик не попытался воспользоваться смертью ее покровителя, чтобы оказать на нее какое-то давление и таким образом наложить руку на Египет; ни у одного противника Цезаря даже и в мыслях не было сделать ее заложницей.

С другой стороны, никто ее и не гнал: ничто не свидетельствует о том, что ее дальнейшее присутствие в Риме рассматривалось как нежелательное. Клеопатра имела полную свободу действий. Потому что на нее просто не обращали внимания. Римляне плевать хотели на то, остается она или уезжает. У них были другие заботы. Интересовался ею один Цицерон.

Вывод напрашивается сам собой: если, вместо того чтобы вернуться в Александрию, царица Египта через три недели после погребения Цезаря все еще находится в Риме, значит, ее удерживают там какие-то важные соображения. В условиях политической неразберихи никто за нею не следит. Никто, кроме одного человека, который в предшествующие месяцы, проводя долгие вечера в Трастевере, не мог устоять перед чарами ее культуры, молодости, обаяния и презрительной иронии: кроме старого лиса Цицерона.

Если верить ему (а он не формулирует свою мысль прямо, но она легко прочитывается между строк, потому что Цицерон говорит о царице — даже после ее отъезда — только в уклончивых и двусмысленных выражениях), Клеопатра представляла для Города скрытую угрозу. Он никогда не уточняет характер этой угрозы, ибо последняя, как и убийство Цезаря, по сути есть *infandum* — нечто, не передаваемое словами. Однако ни один документ не подтверждает того, что Клеопатра тогда занималась какими-то

интригами. Чем же было опасно для Рима это затянувшееся пребывание иностранной царицы?

Никакой загадки здесь нет: в этой женщине, еще недавно так больно задевавшей его тайные слабости, оратор теперь видит мать ребенка, который, повзрослев, возможно, отмстит Бруту, — и еще политика, достаточно талантливого, чтобы в нынешние тревожные дни склонить чашу весов в пользу ненавистной ему партии. Тем более что, согласно не поддающимся проверке новым слухам, она опять беременна от Цезаря. Предполагаемый второй ребенок Клеопатры беспокоит Цицерона не сам по себе, а с точки зрения той выгоды, которую столь амбициозная и способная женщина может извлечь из своего материнства: она наверняка попытается возродить великий проект Цезаря — проект создания универсальной монархии.

И старый пройдоха прав. В сгущающихся над Римом сумерках только он один ясно видит: Клеопатра принадлежит к числу тех, кто, однажды решив осуществить свою мечту, уже никогда от нее не отречется. И если она осталась в Риме, вместо того чтобы поспешить домой, куда, казалось бы, все ее призывает, значит, она ищет способа приблизиться к своей цели.

Ищет что-то — или кого-то.

*

Антония? Это исключено. В первые часы после убийства он думал только о том, как спасти собственную шкуру. Он чуял опасность и не верил Бруту, который заявил, что месть не распространится на сторонников Цезаря.

Как только Антоний услышал, стоя у крыльца курии, новость об убийстве, он бросился бежать по прямым улицам, примыкающим к Форуму. В первом же переулке он, словно герой плохого романа, сорвал туннику с какого-то раба, поспешно напялил ее на себя, опустил капюшон на лицо и, наконец добравшись до дома приятеля, забаррикадировался изнутри.

Целый день он провалялся в прострации, не в силах шевельнуться, проронить слово, — как человек, которого ударила молния; а главное, был совершенно не в состоянии принять хоть какое-то решение в самый ответственный момент, когда Рим погрузился в хаос.

Сами заговорщики не имели плана действий на ближайшее будущее: как это ни парадоксально, все настолько привыкли полагаться на

политическую дальновидность Цезаря, единолично распорядившегося судьбами мира, что убийцы и не заглядывали вперед дальше его смерти... Как только первое оцепенение прошло, народ собрался на Форуме и потребовал у них отчета. «Освободители» — так называли себя сами заговорщики — испугались и поднялись на Капитолий. Долабелла, хотя и был старым боевым товарищем Цезаря, присоединился к ним; и если бы Лепиду не хватило хладнокровия вызвать на Форум солдат, чтобы они сдерживали возмущенную толпу, римляне взяли бы штурмом священный холм и прикончили убийц.

Итак, резни удалось избежать. Известие ли об инициативе Лепида вырвало Антония в ту опасную ночь из состояния прострации? Во всяком случае, едва услышав новость, он пробудился от летаргического сна и за несколько часов, проявив виртуозную ловкость, сумел взять ситуацию в свои руки. Он, например, вступил в переговоры с Брутом и в знак своей доброй воли отправил к нему в качестве заложника собственного сына — ребенка, которому еще не исполнилось и года. Сенаторы единодушно одобрили его предложение о проведении на следующий день заседания в храме Земли.

К Антонию явно вернулось самообладание: прежде чем произнести свои умиротворяющие речи перед убийцами, он тайно отправил гонцов к ветеранам Цезаря, рассеянным по всей Италии, призывая их как можно скорее вернуться в Город. С согласия Кальпурнии и ее отца, которые видели в нем единственного военного, способного отомстить за Цезаря, он также перенес в свой дом шкатулку с деньгами императора — подлинное золотое дно. И, что еще более важно, забрал все его архивы, в том числе и документы, касающиеся парфянского похода.

Для Клеопатры эти бумаги были бы бесценны. Но что хорошего могла она ждать от человека, который, когда разразилась буря, повел себя как последний трус? Впрочем, надо еще посмотреть, что он предпримет дальше.

И, действительно, царица ждала не напрасно. На заседании сената в храме Земли Антоний показал себя превосходным тактиком: пообещав простить убийц и намекнув на скорое прибытие в Рим ветеранов, он добился того, что сенаторы подтвердили законность всех решений, принятых Цезарем.

Далее последовала странная ночь дружеских пирушек: Брут обедал у Лепида, Кассий — у Антония, а все остальные сенаторы, заговорщики и те, кто не принимал участия в заговоре, цезарианцы и их противники, тоже устраивали совместные банкеты. Символически отведав одних и тех же

блюдо, наладившись одним и тем же вином, они тем самым скрепили свое примирение — союз, который, как было понятно каждому, может развалиться в любой момент.

Это была, короче говоря, прощальная трапеза, своего рода Тайная Вечеря — если отвлечься от того факта, что Спаситель (Цезаря тоже так называли) ко времени пиршества успел превратиться в искромсанный труп, который уже начинал гнить в доме по соседству и над которым плакала, несомненно, одна Кальпурния.

*

Мы, опять-таки, не знаем, как восприняла Клеопатра новость об этих странных кутежах. Или как она истолковала инцидент, которым закончилась та ночь. Антоний, прежде чем расстаться с Кассием, внезапно его спросил: «Правда, что ты всегда носишь кинжал под мышкой левой руки?» Кассий ответил: «Что ты веришь всякой чепухе!» А потом, ухмыльнувшись, добавил: «Ты, главное, помни, что у него хорошее лезвие, — если вдруг тебе тоже придет в голову идея разыгрывать из себя тирана!»

Во всяком случае, царица должна была понять, что кровавая бойня не за горами. Но пока длится пауза, период хитрых маневров. И, значит, для нее очень важно остаться еще на какое-то время в Городе.

*

Итак, в момент, когда в Риме возобновилось соперничество амбиций, в Клеопатре вновь пробудился политический хищник. В сердце ее, несомненно, зияла глубокая рана. Но голова была здорова, и в эти четыре недели именно голова царицы — ее яростная воля, живой ум — не давала сердцу сбиться с ритма.

Цезарь умер, начиналась новая шахматная партия, в которой ей следовало принять участие. И с самого начала игры она должна была смириться с мыслью о том, что — по крайней мере, в ближайшее время — ей придется довольствоваться ролью пешки. А может, в этом и заключается ее сила? Разумеется, если она воспользуется стратегией хищника, попавшего во враждебное окружение: постарается стать совсем незаметной, невидимой. Растворится в пейзаже, но будет незримо в нем присутствовать. Все видеть, но не попадаться на глаза другим. Остаться

на месте и в то же время беспрестанно рыскать вокруг, подстерегая добычу.

Устраивать засады — особое искусство. Но Клеопатра владеет им в совершенстве: это ее повседневная практика с тех пор, как она пришла к власти, вот уже десять лет.

Значит, придется забыть сожаления, слезы, угрызения совести. И начать действовать. Двигаться в тени, пользоваться услугами маленького мирка шпионов, благодаря которым, за шестнадцать месяцев пребывания на берегах Тибра, ей удалось подкупить самых могущественных римлян. Царица знает наизусть все мелкие и крупные грешки римских аристократов: многие сенаторы — в том числе и некоторые заговорщики — побывали у нее в гостях, на вилле в Трастевере, еще при жизни императора; и она никогда не упускала случая (действуя за спиной у Цезаря, а иногда и с его ведома) узнать о них побольше.

Благодаря этому огромному запасу наблюдений она, несомненно, очень скоро разобралась в причинах убийства возлюбленного и поняла, что, если не считать идеи ритуального убийства, ни у одного заговорщика не было политического проекта — ни на ближайшие дни, ни на ближайшие недели. Отсюда первый вывод, урок Флейтиста: она должна остаться в Риме, чтобы найти себе союзников. И чтобы иметь возможность правильно оценить врага.

Ибо рано или поздно — это так же неизбежно, как новая война, в которой римляне будут истреблять друг друга, — Город захочет причинить зло ей, Клеопатре. Во-первых, потому что убийство Цезаря — это отчасти семейный заговор; потому что старые и темные дела, связанные с любовными отношениями императора, перемешались с политическими мотивами преступления, как нередко случалось и в истории Лагидов; а Клеопатра, хочет она того или нет, вовлечена во все это самым опасным образом: она, иностранка, царица, египтянка, родила убитому сыну. Ее ребенок ныне пребывает в добром здравии, и в его сходстве с отцом не может быть никакого сомнения; более того, он носит имя отца — Цезарион.

В данный момент, если не считать Цицерона, римляне как будто о ней не помнят. Но эта амнезия продлится недолго: кто знает, не придет ли вдруг в голову одному из «освободителей» просто-напросто уничтожить ее и ребенка? И все же паковать вещи еще опаснее, чем оставаться: пусть сейчас у нее мало возможностей для маневра, однако, напомнив о себе, она лишится и этого.

Значит, нужно молчать и терпеливо ждать, решает Клеопатра, как было принято во дворце Птолемеев, где так часто случались заговоры. Пользоваться уроками Флейтиста, методами Цезаря: главное — это

хладнокровие, бдительность, коварство, умение маневрировать. И, когда представляется случай, брать то, что плохо лежит, переходить в наступление, укреплять свои позиции.

Надо захотеть вновь встать на ноги. Игра — единственная форма траура, приемлемая для политика, будь этот политик мужчиной или женщиной. И ничего не бояться. В самом деле, что она может потерять — теперь, когда Цезарь мертв? Сына, только своего сына. Этого маленького греко-римлянина, ребенка-метиса, похожего на того, которого родила вдова Александра, его восточная супруга, красавица Роксана. Через несколько лет Роксана и ее ребенок погибли в результате дворцовых интриг. Но она, Клеопатра, примет все меры предосторожности, чтобы у нее не вырвали Цезариона, будет биться за него зубами и когтями. И она не из тех вдов, что позволяют другим распоряжаться своей судьбой, она посадит сына на трон рядом с собой, в Египте, который, пока она жива, никогда не достанется убийцам Цезаря.

Все ее женские надежды, вся сила царицы воплощены в этом мальчике, так похожем на своего отца; и прежде всего ради него, ребенка, едва научившегося говорить, она остается в Риме, самом ненавистном для нее городе. Ради него все просчитывает наперед, ради него окружает себя аурой таинственности, хотя в действительности сама пытается угадать неизвестное: кто из всех этих римлян, живущих по ту сторону Тибра, — Кассий ли, Брут, Антоний, Лепид — сорвет в игре самый крупный куш? У кого из них больше шансов выйти из неминуемых в ближайшем будущем трагических перипетий живым, могущественным?

Нельзя уезжать, пока она этого не узнает. А с трудностями лучше разбираться в порядке их появления. Первая из них — предстоящее оглашение завещания Цезаря. Есть ли там пункт о разделе мира? Кого диктатор сделал своим идейным и политическим наследником? И если он предчувствовал, что будет умерщвлен людьми своего круга, то не указал ли имени того, кто за него отмстит?

В Городе в этой связи упоминают только одно имя: прежнего «начальника конницы», самого верного из сторонников Цезаря, помощника императора как в больших, так и в малых делах, человека, который в эти последние месяцы всюду следовал за ним как тень. Речь идет об Антонии: ему сорок лет (самый плодотворный для мужчины возраст), он обладает несравненным военным опытом, видел и знает все, что касается сражений Цезаря в Галлии, на Востоке, при Фарсале, во время гражданской войны; он в курсе всех маневров сената, инцидентов на Форуме. Ничто, кажется, не может его утомить — ни война, ни баснословные оргии с льющимся

рекой вином и множеством женщин.

Но как объяснить его странное бегство после убийства Цезаря, в тот день, когда он не проронил ни слова и лежал, безразличный ко всему, словно новорожденный младенец? Тогда на несколько часов словно приоткрылась другая душа, которую раньше нельзя было разглядеть за первой: душа жалкого существа, скрывающегося под обликом красавца-гладиатора, душа ребенка, побежденного прежде, чем он начал жить.

*

Как бы то ни было, именно по настоянию Антония было открыто (с согласия семьи Кальпурнии) завещание, которое Цезарь составил шесть месяцев назад, в тиши своего загородного имения, на хрупких воцеленных табличках, пользуясь грифелем, как любой римский гражданин.

Антоний был уверен в своих правах, уверен, что унаследует после Цезаря и Город, и мир. Это он отдал распоряжение отыскать документ в храме Весты и торжественно доставить к нему домой. Он объявил, что чтение будет публичным, и пригласил прийти на оглашение завещания всех, кто пожелает.

Когда прочли первые таблички, все (в том числе и Антоний) потеряли дар речи: Цезарь завещал свое состояние племянникам и внучатым племянникам, в том числе некоему ничем не примечательному сироте восемнадцатилетнему Гаго Октавию — хилому юноше, которого он несколько недель назад послал к границам Иллирии с поручением подготовить базовый лагерь; исполнительный и ничего не подозревающий Октавий до сих пор находился там.

Ситуация была бы комичной, если бы в конце завещания император не заявил, что, воспользовавшись присутствием нотариуса, усыновил упомянутого Октавия^[81]. И ни словечка об Антонии и его друзьях: в завещании они упоминались только как «наследники во второй степени»^[82]. Зато каждому гражданину Рима Цезарь оставил по триста сестерциев и подарил народу свои сады.

Выходит, Цезарь перетасовал колоду отнюдь не в пользу Клеопатры. Разумеется, она прекрасно знала, что с точки зрения династических интересов ей нечего ждать от этого завещания: сколь бы могущественным и циничным ни был Цезарь, человек его ранга не мог признать своим незаконного ребенка, родившегося от иностранки, азиатки и к тому же

царицы. Но ей и в голову не приходило, что он захочет усыновить эту темную лошадку, какого-то внучатого племянника...

Тем не менее приходилось считаться с фактами: теперь, помимо Цезариона, у него был еще один, законный сын. Октавиан, хотя его связывает с Цезарем отдаленное родство, объявлен его наследником, а поскольку воля умершего священна, отныне он всегда будет защищен аурой императора.

Но хватит ли этому дохляку дерзости, чтобы принять такое наследство? В ситуации, которая сложилась сейчас в Городе, объявить себя сыном покойного диктатора — значит со дня на день ждать собственной смерти. А как представить себе, что имя Цезаря будет носить это тощее, словно жердь, существо, о котором известно лишь то, что оно ненавидит войну и, независимо от времени года, страдает ужасными приступами кашля?..

Итак, в первые часы после оглашения завещания Рим терялся в догадках по поводу выбора покойного: почему он столь очевидным образом обошел Антония? Почему вытащил на свет из мрака неизвестности этого «Молокососа», как обозвал его Цицерон, вечно сморкающегося и кутающегося^[83] мальчишку? Только потому, что император переспал с ним несколько лет назад, как уверяли злые языки? Или просто Цезарь решил, что страсть Антония к вину и девкам помешает ему, несмотря на выдающийся военный талант, держать в кулаке Рим и все огромные завоеванные территории? Но все-таки — почему Цезарь выбрал именно этого рахитичного прыщавого юнца? Разве три недели назад он сам не заявил, что не доверяет «хилякам с бледной кожей»?

Может, диктатор еще надеялся иметь ребенка от Кальпурнии — ведь в документе упоминались поименно несколько лиц, которых он хотел сделать воспитателями в случае, если жена, уже после его смерти, родит ему сына? А может, он думал в тот день, когда излагал свои последние желания, что всегда сможет их изменить? Или предполагаемая интимная близость с Молокососом позволила императору разглядеть в нем политического гения?

Разгадать эту тайну не было никакой возможности; помимо всего прочего, в завещании Цезаря не содержалось ни строчки о том, что станет после его смерти с Римом. Полное молчание. Иными словами, Цезарь простился с политикой так же, как прощался со своими любовницами: без объяснений. Будто сказал: после меня хоть потоп.

*

Итак, несколько фраз на воцеленных табличках повергли Рим в хаос. Родственников дохляка Октавиана охватила паника; они тут же послали ему с нарочными известие о смерти его двоюродного дедушки и настойчиво советовали отказаться от наследства.

Клеопатра не утратила своего хладнокровия: она осталась в Риме. Потому что партия еще не закончилась. Пока ее позиции не пошатнулись. Но, как и накануне трагедии, как и в сам тот день, все могло в одночасье перемениться.

*

Похороны состоялись через сорок восемь часов после только что описанного события. Еще до оглашения завещания Антоний, хотя и был уверен, что станет преемником Цезаря, предусмотрительно добился от сената согласия на проведение торжественной церемонии за счет государства. Собирался ли он теперь воспользоваться похоронами, чтобы возбудить народ, склонить его на свою сторону и захватить власть? Его враги допускали такую возможность. На самом деле ничто на это не указывало, но римляне все же волновались.

Утром в день кремации народ казался непредсказуемым как никогда. Ветераны Цезаря съехались в Рим — все они были вооружены. Согласно обычаю церемония началась с погребальных игр. На Форуме соорудили декорацию, которая изображала храм Венеры-Прародительницы. Находилась ли там и статуя Клеопатры-Исиды, как в настоящем храме? Мы этого не знаем. Наверняка известно лишь то, что тело покойного положили на роскошное ложе из слоновой кости и накрыли пурпурным золототканым покровом. И что у изголовья, будто в театральной мизансцене, поставили маленькую колонку, с которой свисала порванная окровавленная тога покойного диктатора.

Актеры, нанятые для этого случая, декламировали под аккомпанемент флейты отрывки из трагедий — во всех стихах звучали призывы к мести. Каждый знал, кто был режиссером этого мрачного спектакля: Антоний. Однако, ко всеобщему удивлению, он держался на заднем плане, а когда пришел его черед выступать (после глашатая, который торжественно перечислил все человеческие и божественные почести, коих при жизни

удостоился император), удовлетворился краткой и нейтральной речью.

Затем процессия должна была сопроводить погребальное ложе на Марсово поле, где перед монументом, воздвигнутым в память о Юлии, дочери Цезаря и супруге Помпея, уже сложили погребальный костер. Это место, символ примирения двух фракций, борьба между которыми так долго терзала Рим, было выбрано единогласно. Тем не менее когда — еще на Форуме — кортеж двигался мимо трибун, толпа начала волноваться. Одни кричали, что тело следует сжечь на Капитолии, другие предлагали храм Юпитера, третьи желали, чтобы кремация имела место там, где произошла трагедия, то есть в курии Помпея.

Антоний воспользовался случаем: под предлогом восстановления порядка он своим звучным голосом попросил слова и несколько раз обошел вокруг погребального ложа, будто в эти мгновения получал вдохновение свыше.

Все замолчали. Антоний вобрал в легкие воздух и начал речь, сочетавшую в себе театральные и ораторские эффекты: он воздевал руки к небу, громогласно заявляя, что родился новый бог, а в следующий миг давился рыданиями, сетуя, что потерял друга. Он настолько искусно чередовал восхваления и плачи, что толпа буквально окаменела. Наконец, почувствовав, что все совершенно околдованы, он внезапно завершил свое выступление, прибегнув к великолепному трюку: схватил окровавленную тогу и стал махать ею в воздухе.

Это знамя мести сразу воспламенило эмоции многотысячной толпы. Но Антоний, очевидно, детально продумал и отрепетировал свой план, потому что в тот самый момент двое вооруженных мужчин завладели восковыми факелами, горевшими у погребального ложа, и подожгли покров, которым было накрыто тело.

Покров вспыхнул, и почти тотчас же толпа вошла в транс. Каждый хотел принять участие в создании импровизированного погребального костра, люди ломали помосты, скамьи, трибуны, прилавки; в неопишуемой неразберихе на Форуме сносили все, что только могло гореть; а когда языки пламени уже коснулись тела Цезаря, актеры и флейтисты прорвались к костру, стали срывать с себя одежды, раздирать их на куски и бросать в огонь.

Ветераны императора, видя это, начали бросать в огонь свое оружие. Истерия охватила всех; матроны устремлялись к костру и швыряли в него драгоценности; некоторые раздевали своих детей и бросали в пламя их тоги и буллы^[84], как бы желая дать обет, что их потомство отомстит за Цезаря.

Антоний не вмешивался. Все римляне имели возможность пройти перед погребальным костром; наконец наступил черед иностранцев, которые жили в Городе и которым сенат позволил оказать последние почести Цезарю: делегация от каждого народа исполняла ритуалы, принятые в соответствующей общине.

Возглавляла ли Клеопатра делегацию египтян? Смотрела ли, окруженная плакальщицами, прижимая к груди своего ребенка, как пламя пожирает тело ее первого возлюбленного, которого ударил в детородный орган его сын от другой женщины (ее соперница, несомненно, тоже присутствовала в толпе)? Держалась ли Клеопатра с тем же высокомерием, что и на вилле в Трастевере? Или ее скорбь прорвалась наружу с такой же неудержимой силой, как безутешное горе иудеев, потерявших римлянина, который вновь открыл им синагоги? Приходила ли царица сюда в последующие ночи, как они, чтобы поплакать на месте погребального костра Цезаря?

И об этом мы тоже ничего не знаем. Однако если бы Клеопатра выразила свое страдание в каких-то необычных формах, хроники, очевидно, отметили бы сей факт; кроме того, царица Египта — как и Цезарь, как теперь и Антоний, — никогда не устраивала театральных сцен спонтанно, а только с определенным умыслом. Поэтому если Клеопатра присутствовала на похоронах своего любимого, то, скорее всего, прекрасно поняла смысл этой «пьесы». Главную роль в ней Антоний оставил для себя; попытавшись затмить его, царица ничего бы не выиграла. Следовательно, она, наверное, сохранила прежнюю тактику: присутствовать и одновременно отсутствовать, раствориться в пейзаже. И, когда церемония закончилась, вернулась, не оглядываясь назад, в сады Цезаря (уже ставшие собственностью народа), чтобы, оставаясь там, ждать. Ждать чего?

*

Ведь, собственно, ничего не происходило, ничто не становилось более ясным. Напротив, по мере того как проходили часы и дни (а всеобщее бурление продолжалось), ситуация делалась все более запутанной. Еще когда горел костер диктатора, сотни римлян, вооружившись щипцами, выхватывали из него головни и потом поджигали дома заговорщиков. Целые кварталы Рима оказались под угрозой пожара, пришлось посылать туда солдат. Той ночью разгневанная толпа растерзала несчастного^[85], вся вина которого заключалась в том, что он был однофамильцем одного из

заговорщиков.

Антоний, казалось, оставался хозяином ситуации; несомненно, именно он разрешил Клеопатре продлить ее пребывание на вилле Цезаря. Поскольку архивы Цезаря находились у него, он единолично решал все вопросы: назначал новых сенаторов, освобождал пленных, возвращал в город тех из ссыльных, кому благоволил, редактировал, как ему было удобно, тексты законов и погашал свои огромные долги за счет денег из шкатулки диктатора, которую так неосторожно доверила ему Кальпурния.

*

Эти его действия не могли шокировать Клеопатру: в ее семье властью всегда распоряжались именно так. Но тогда почему через каких-то двадцать дней она внезапно решила отплыть в Александрию? Из Египта не поступало никаких неприятных известий. Что касается Рима, то там ситуация словно застыла: Антоний продолжал этим пользоваться к своей выгоде, но никто не возмущался его поведением, не было даже слухов. Если не считать разговоров о письме, прибывшем из далекой Иллирии: об ответе Октавиана на послания родичей, призывавших его отказаться от наследства Цезаря. Поразмыслив несколько дней, Октавиан прислал свой ответ — строку из «Илиады», из того знаменитого места, где Ахилл прерывает жалобы своей матери Фетиды, заявляя, что хочет отомстить, пусть даже ценой собственной смерти, за гибель Патрокла: «О, да умру я теперь же, когда не дано мне и друга / Спасти от убийцы!»^[86]

Через своих шпионов Клеопатра, несомненно, узнала, что Октавиан уже отправился в путь и скоро будет в Риме. Конечно, Антоний, как и Цицерон, как и все римские политические деятели, считал его недоноском, ничтожной пешкой, которую ликвидируют при первой возможности. Однако суждение Клеопатры было иным: разве сама она не принадлежала к числу тех, от кого ничего не ждут? В ней тоже никто не видел будущую наследницу трона, и если Октавиану, скромно державшемуся в тени Цезаря, доводилось посещать виллу в Трастевере, она не могла не заметить его пронизательных глаз и замкнутого лица.

Поэтому в середине апреля, услышав, что Октавиан, еще только двигаясь к Риму, уже требует от сопровождающих, чтобы они называли его Цезарем, она должна была вспомнить альфу и омегу поведения Птолемеев, законы египетского двора: следует остерегаться змей, особенно если они маленькие. И она приказала своим морякам поднять паруса: ибо

рассуждала как мать, как гречанка, как царица из дома Лагидов — и как наследница Александра.

В данный момент судьба Цезаря, казалось ей, вновь совпала с историей македонского завоевателя: объединитель мира умер, не успев завершить свой труд; и, прежде чем остынет пепел погребального костра, наследники вступят в борьбу за его наследство. Они не могут расчленивать его тело, но будут рвать на куски, дробить завоеванные им земли, и горе тому, кто станет на пути у их армий...

Значит, прежде чем начнется резня, надо скрыться. Бежать от infernalного круга вендетт, забыть свою поверженную мечту, сделать ответный ход быстро и уверенно, спасти то, что еще можно спасти, защитить свое главное достояние — Египет, свое царство, ключ ко всему Востоку. И своего сына.

Между тем с гор угрюмой Этрурии пришло и распространилось по Риму новое предсказание, весьма зловещее, но которое считалось правдивым, потому что вышло из уст старейшего прорицателя: «Возрождается монархия древних времен. Все римляне будут низведены до положения рабов — кроме одного».

Кто именно станет счастливым победителем, прорицатель не сказал; однако на улицах Города плебеи уже шептались о том, что на всех, кто так или иначе был замешан в убийстве Цезаря, обрушится беспощадная месть богов.

Значит — в море, и как можно скорее. Острова, пробегающие мимо, весенний ветер, солнце, водяные брызги, штиль или бури... Это все неважно; главное, однажды вечером на горизонте вспыхнет свет Маяка, а уже на следующее утро водная гладь расступится перед сверкающим чудом Александрии.

*

Она отплыла примерно 13 апреля. И, наверное, сразу повернулась спиной к италийским берегам: в самом деле, ни при жизни отца, ни в те месяцы, когда делила с Цезарем его мечты и постель, она не была счастлива в этом городе на Тибре. Ее постоянно бросало от надежды к отчаянию, а после гибели возлюбленного, который (прежде, чем пасть под ударами убийц) так решительно отстранил ее от своей смерти, она узнала холодное, неприязненное молчание римлян — еще один лик страдания.

Новость об отъезде Клеопатры несказанно обрадовала Цицерона. Но он был беспокойной натурой. В портах Средиземноморья у него тоже имелись осведомители, и все время, пока длилось плавание царицы, он наводил о ней справки.

По мнению некоторых, оратора особенно интересовала ее предполагаемая новая беременность, и, как говорят, он почувствовал огромное облегчение, узнав, что в пути Клеопатра потеряла этого второго ребенка.

Но то были всего лишь догадки, разрозненные слухи. Поговаривали, будто в тот год солнце чаще всего скрывалось за пеленой тумана, погода стояла прохладная и фрукты сгнивали на ветвях, не успев созреть. Словно сама природа, узнав о смерти Цезаря, носила по нему траур.

Мы никогда не узнаем, действительно ли у царицы случился выкидыш и, вообще, были ли обоснованы слухи о ее второй беременности; да это и не так важно: сам анекдот, соответствовал ли он действительности или нет, есть не что иное, как символ утраченной мечты. Мечты, которой было суждено возродиться.

Ибо даже в знамениях, которые посылали боги, промелькнул несомненный знак надежды: примерно через восемь недель после возвращения Клеопатры в Египет ее астрономы заметили на зодиаке хвост кометы. Комету можно было наблюдать в течение всего семи дней; тем не менее вскоре прошел слух, что ее видели и в небе над Римом — и сразу нарекли «звездой Цезаря».

Итак, молчание ее возлюбленного стало молчанием бесконечных пространств, но оно обрело форму — стремительную, сверкающую, какой была сама его жизнь, — превратилось в яркую кисть звездного шарфа.

БУРЯ

(июль 44 — октябрь 42 г. до н. э.)

И вот она уже огибает Маяк. Вдоль полукруглой линии залива вытянулись мраморные дворцы. Порт с его ароматами ладана и мирры, заглушаемыми запахом рыбьей чешуи. Десятки кораблей, покачивающихся на волнах. Мачты и паруса, набережные, заполненные прохожими, рыбацьи сети, тюки с шелком и папирусом, амфоры, старые якоря... Можно сказать, ничего не изменилось.

Кроме, пожалуй, вида на город со стороны моря: памятник в честь Цезаря, который начали сооружать три года назад, уже готов. Достаточно ли этого, чтобы забыть о прошлом? На месте Библиотеки — дыра, развалины; и хотя Клеопатра привезла из Рима своего сына, рожденного от Цезаря, ее сопровождает также брат и законный супруг, последний мужской отпрыск рода Лагидов, которому сейчас пятнадцать и который еще не сказал своего слова. Он по-прежнему всюду следует за ней и, кажется, не имеет других дел, как только оправдывать свое имя: «Птолемей, любящий сестру». А в действительности наверняка ее ненавидит: разве могут измениться нравы в змеином гнезде?

Скорее всего, он настолько боится старшую сестру, что заглушает в себе злобу, но все равно «советники» будут подстрекать его к бунту — тем более что уже нет диктатора, который мог бы сдерживать их порывы. Им не терпится поскорее возобновить старый ритуфель: заговоры, убийства, дворцовые перевороты; а чтобы заменить царицу, у них есть готовый кандидат — ее младшая сестра Арсиноя, которую Цезарь пощадил в день своего триумфа.

Молодая царица и сейчас прозябает под сенью храма Артемиды в Эфесе. Тем не менее, будучи достойной дочерью Птолемея, она не отказалась от планов мести. Она надеется, что еще победит Клеопатру, взойдет на трон вместе с младшим братом, и эта надежда переполняет ее радостью. Дает силы жить в полутемных храмовых покоях.

*

Клеопатра знает, какую смертельную ненависть питает к ней сестра, и

удваивает бдительность. Но притворяется равнодушной, поглощенной рутинной дворцовой жизни. Обманчивое спокойствие: через четыре или пять месяцев после возвращения Клеопатры в Александрию (она ждала так долго, чтобы соблюсти приличия?) внезапно умирает ее супруг-брат, и его преемником царица объявляет своего сына. Потом, с тем же спокойствием, решает изменить собственную титулатуру. Из «Богини, любящей брата», она превращается в «Богиню, любящую своего отца и своего сына». Что ж, ей нельзя отказать в холодной логике: ведь именно по ее приказу был убит юный Птолемей.

Из всего выводка змей остались только Арсиноя и она. Рано или поздно одна сестра попытается избавиться от другой. А пока все преимущества у Клеопатры.

Условности требуют, чтобы она публично продемонстрировала новый династический расклад — для этого и нужны длинные и странные цепочки титулов, которые представляют собой политические декларации. Своей новой титулатурой Клеопатра хочет сказать, что считает себя связанной с родом Лагидов только через покойного Флейтиста и своего сына-метиса; в титулатуре ребенка-фараона, которую она меняет одновременно со своей, более настоятельно, чем когда-либо прежде, подчеркивается его происхождение: «Птолемей-Цезарь, Бог, любящий своего отца и свою мать».

Полагает ли она, что имя Цезаря, уже ставшее магическим, испугает Арсиною и ее агентов? Или думает прежде всего о том, что наследство Цезаря должно достаться ее сыну, а не Октавиану? Несомненно, и то и другое сразу; и в любом случае тот, кто принадлежит к роду Лагидов, никогда не знает покоя: его всегда гложет какая-нибудь давняя обида, злоба, которая должна быть утолена. Очевидно одно: титул, который Клеопатра дала своему сыну, означал, что рано или поздно мальчику предстоит сыграть роль Хора-Мстителя; а чтобы это дошло до всех, царица, в те первые месяцы, когда вновь стала вести жизнь фараона, повелела изготовить для верхнеегипетских храмов несколько барельефов, изображавших Цезариона как бога-сокола.

Тем не менее царица не забыла и о мире людей. Александрийская война и перипетии истории семьи — политические интриги, в которых, один за другим, все более увязали Пузырь, Клеопатра-Супруга, Шкваржа, Сын потаскухи, Стручечник, Береника и Флейтист, — всегда присутствовали в ее памяти. Она извлекла урок из ошибок своих предшественников: в том, что касается вопросов наследования, владыки Александрии уже не могут избежать вмешательства Рима. Да, им еще

позволяют убивать — но и на это, как и на все остальное, они должны получить санкцию сената. Клеопатра, ясное дело, велела отравить своего брата. Однако это еще не значит, что она обеспечила легитимность своего сына как фараона. Если она не сделает так, чтобы Рим признал его права, Арсиноя пробудится от своей спячки, и тогда дни царицы, как и дни ее ребенка, будут сочтены.

Клеопатра сумела-таки, с помощью каких-то опытных посредников, добиться от сената официального признания совершенного ею государственного переворота. Вопрос о том, чтобы она сама вернулась для переговоров в город на семи холмах, даже не стоял: как и предсказывал старый этрусский прорицатель, Рим стал добычей сил хаоса. Роли новых Ромула и Рема взяли на себя Антоний и Октавиан; этот последний за несколько месяцев показал себя гораздо более опасным противником, чем можно было предположить. С дерзостью и жестокостью, удивительных для его возраста, он отстоял свое право на наследство Цезаря. Как бы это ни злило убийц диктатора, он носил его имя и, что еще удивительнее, задира л голову перед Антонием, хотя тот был старше Октавиана на двадцать лет. Едва появившись в Риме, Октавиан потребовал, чтобы Антоний вернул ему имущество императора — и представил отчет о переговорах, которые вел с Брутом и Кассием после мартовских ид.

После нескольких бурных недель, в течение которых отношения между Антонием и Октавианом несколько раз доходили до грани открытого столкновения, Антоний был вынужден признать, что с этим дохляком необходимо считаться: он уже знал о власти все, обладая превосходным инстинктом (как и Клеопатра). Октавиан (так же, как египетская царица) любил власть. Расчетливый политик, умеющий очаровывать людей, он мгновенно извлек всю возможную выгоду из имени Цезаря и оставшегося после него состояния. С помощью разных тонких уловок (как сделала бы она сама) он выполнил обещание Цезаря и выплатил римлянам причитающиеся по завещанию суммы. Благодаря этому он за очень короткое время приобрел поддержку народа и (еще одна удача дебютанта) вскоре привлек на свою сторону двух талантливейших людей: Агриппу, адмирала и несравненного стратега, и молодого этруска Мецената, денди, питавшего страсть к произведениям искусства, настолько утонченного и образованного, что если он встречался с Клеопатрой, то наверняка ее не забыл (тем более что сам принадлежал к царскому роду). Однако в те хаотические дни Октавиан приблизил к себе этруска не из-за того, что последний культивировал все прекрасное, а из соображений чистого прагматизма: во всем Риме не было лучшего посредника или более

коварного игрока, чем Меценат, этот гений по части сбора информации. От его внимания не ускользала ни одна альковная тайна, ни один слух о заговоре; Меценат обладал врожденным литературным вкусом и чутьем полицейской ищейки.

Между тем Антоний по-прежнему нравился простонародью и Октавиан, несмотря на свой быстрый взлет, не мог его оттеснить. Наконец, Октавиану приходилось считаться с Лепидом, человеком столь же молчаливым, сколь амбициозным — и непредсказуемым. Цицерону, крутившемуся в этой неразберихе, пришлось констатировать печальный факт: никто из претендентов на власть не нуждался в его услугах. К тому же он сам не мог решить, к какой партии ему лучше примкнуть. Во имя республики он бы отдал свои симпатии убийцам Цезаря, однако, желая гражданского мира, уже начинал сожалеть о мартовских идах.

За неимением лучшего дела он публично обличал Антония^[87], что явно доставляло удовольствие Октавиану. Однако старый оратор как чумы боялся этой жерди, так умело окружившей себя выдающимися личностями. Что касается Брута и Кассия, то они только радовались разногласиям в стане врага и воспользовались ими, чтобы набрать легионы и удрать в Азию, где теперь готовились к захвату власти.

Следует признать очевидное: через восемь месяцев после мартовских ид дело Цезаря было полностью погублено и вновь началась гражданская война. Ни одному из политических лидеров не удалось решительным образом доказать свое превосходство над остальными. В конце концов всеобщий беспорядок стал настолько вопиющим, что через полтора года после убийства императора Октавиан, Антоний и Лепид вынуждены были принять наихудшее из всех возможных решений: они договорились править втроем.

Это соглашение было скреплено клятвой, а также браком Октавиана и приемной дочери Антония, затем триумвиры обсудили свои действия в отношении врагов. Клубок семейных и политических противоречий к тому времени настолько запутался, что головы некоторых стали объектом торговли и нескончаемых препирательств; Антоний потребовал голову Цицерона; Октавиан этому противился, но в конце концов уступил, выторговав взамен голову дяди Антония. Триумвиры согласились с условиями этой сделки. Затем Лепид, Октавиан и Антоний вошли в Рим во главе своих воинских отрядов и началась запланированная ими беспощадная вендетта: проскрипции, узаконенные массовые убийства, как при Сулле. Имена подлежащих уничтожению людей вносились в выставленные для всеобщего обозрения списки, и людей этих убивали.

Гонения оправдывались политическими соображениями, но каратели чаще всего исходили из личных мотивов: давняя ссора из-за наследства, подозрения в адюльтере... Жена Антония, Фульвия, не отличалась от других, когда вносила в списки имена своих личных врагов: например Руфа, которого ненавидела за то, что он отказался продать ей свою виллу.

При этом режиме за несколько месяцев была истреблена значительная часть римской аристократии — как минимум две тысячи человек. Самой знаменитой из жертв этой кровавой вакханалии стал Цицерон, которого задушили, когда он пытался бежать. Его труп обезглавили (что удалось сделать только с третьей попытки), а потом покойному отрубили руки, которые и доставили вместе с головой к Антонию^[88]. В обмен Антоний уступил Октавиану голову своего дяди; он открыто ликовал.

*

Возможно, вместе с известием о смерти старика до Клеопатры дошел и слух, которым заканчивается эта история: увидев голову Цицерона, жена Антония, Фульвия, обрадовалась даже больше, чем ее муж. Она стала плевать в мертвое лицо, осыпать его бранью, затем, обезумев от злобы, пронзила язык оратора своей шпилькой. Антоний позволил ей все это проделать, и ему пришлось ждать довольно долго, прежде чем он вырвал у нее злосчастную голову, которую, вместе с отрубленными руками, велел прибить к трибуне Форума.

Кем же на самом деле был Антоний, если не сумел сдержать жестокость своей супруги, этой мужеподобной фурии, вечно кипящей от злобы? Какой изъяс скрывался в душе этого жизнерадостного вояки, который, как говорили люди, так же быстро прощал, как впадал в гнев? Какое тайное влечение к женской жестокости, какая слабость, известная ему одному, могли привести его к этому головокружительному ликованию на краю бездны небытия?

*

Несомненно, то же влечение и та же слабость, какие были свойственны Клеопатре. Но только в те дни, когда она вновь стала жить как «Владычица Обеих земель», как женщина-фараон, Клеопатра еще отказывала себе в этой дрожи наслаждения, в этом опьянении. Что бы она

ни делала, куда бы ни спешила, ее сын всегда находился где-то поблизости. Мальчик, который рос и всего на свете ждал от нее, — как и она всего ждала от него.

Поэтому ее не ужаснула смерть Цицерона. Но, с другой стороны, она слишком презирала оратора, чтобы радоваться его гибели; в новостях, которые распространялись по свету, ее интересовали только их достоверность и та выгода, которую она лично могла из них извлечь. Она доверяла прежде всего своим эмиссарам, тем донесениям, которые они регулярно ей присылали — несмотря на то, что обмен письмами в ту эпоху был делом весьма ненадежным и ему всегда могли помешать кораблекрушение, буря, нападение пиратов, не говоря уже о превратностях вновь вспыхнувшей гражданской войны.

Но ее разведывательная сеть с честью выдержала все испытания: в те бурные времена царица с такой точностью представляла себе ситуацию в Риме, что каким-то чудом ухитрилась направить в сенат свою просьбу именно в тот очень краткий период, когда Антоний имел верховенство над Октавианом.

Поэтому сенат без малейших затруднений подписал соглашение о независимости Египта и признал Цезариона фараоном, а Клеопатру — его соправительницей; в результате бразды правления снова оказались в руках царицы. И теперь, сверх того, у нее был талисман, гораздо более действенный, чем все амулеты фараонов былых времен: имя Цезаря.

Ибо Рим менее чем через два года после смерти императора причислил его к сонму богов. Теперь его будут называть не иначе как «Божественным Юлием»; на месте его погребального костра построят храм, день его убийства объявят несчастливым днем, его статую, вместе со статуей Венеры, будут проносить в процессиях по случаю открытия цирковых игр; наконец, его маска больше не будет храниться вместе с другими изображениями предков, которые семья Юлиев, как и все другие знатные римские семьи, выносила на улицу в моменты очередных похорон: он — истинный бог и потому не имеет отношения к культуре мертвых. На человеческой памяти ни один владыка во всей ойкумене не удостоивался после смерти подобных почестей — кроме, может быть, Александра и египетских фараонов.

Придет день, Клеопатра в этом уверена, когда их наследник, Цезарион, тоже приобщится к сей вечной славе: в момент рождения мальчика-царя жрецы древних храмов в долине Нила объявили, что по материнской линии он происходит от богов-основателей Вселенной; а теперь и Запад фактически подтвердил, что мальчик связан с миром звезд через отца,

Цезаря, который отныне с небес наблюдает за судьбами смертных.

*

Но тогда почему в этот год все складывается наперекор Клеопатре: почему не пришло нильское половодье, почему голод вновь опустошает страну, почему некий авантюрист, блуждая по дорогам Египта, кричит на все стороны света, что он — младший брат Клеопатры, что царица пыталась от него избавиться, но он не умер и трон по праву принадлежит ему?

Совершенно очевидно, что человек этот — ставленник Арсинои. Ее сестра не сложила оружия и никогда не сложит. При первом же промахе царицы она перейдет в наступление.

А совершить промах очень легко: по сирийским пустыням парфяне неуклонно приближаются к северной границе Египта. Чтобы остановить их, Антоний, сам оставаясь в Риме, послал в Сирию алчного и циничного Долабеллу. Старый товарищ Цезаря охотно отправился на Восток. Не столько для того, чтобы попытаться разбить парфян, сколько в надежде на быстрое обогащение; и, в соответствии с неизменным сценарием, который управляет римской политикой с тех пор, как сыновья Волчицы впервые открыли для себя Восток, Кассий поспешил вслед за Долабеллой, чтобы его уничтожить.

С момента возвращения в Александрию Клеопатра чувствовала надвигающуюся опасность и помнила, что ее город, со времени основания, как во дни мира, так и во дни войны, обязан своим величием только морю. Поэтому она уже успела снарядить великолепный военный флот.

Долабелла обратился к ней за помощью. Она, конечно, не забыла, что сразу после гибели Цезаря Долабелла переметнулся к его убийцам. Тем не менее в заговоре он не участвовал, и Клеопатра также знала, что диктатор считал его своим другом. Поэтому царица предпочла стать на его сторону и, как верный союзник, послала подкрепление: те самые легионы, которые оставил ей Цезарь и которые так эффективно поддерживали порядок в Египте во время ее отсутствия.

Однако Кассию удалось загнать Долабеллу, как в ловушку, в одну сирийскую крепость — тот самый Кадеш, под стенами которого Рамсес II когда-то разгромил хеттов^[89]. Старый соратник Цезаря покончил жизнь самоубийством. Легионеры, которых Клеопатра послала Долабелле, перешли на сторону победителя. Кассий возликовал и тут же решил

двинуться маршем на Египет, который, как он надеялся, сам упадет ему в руки, словно спелый плод.

Клеопатра уже считала себя погибшей; однако в тот самый момент, когда перед ней замаячил призрак второй Александрийской войны, царицу спас чисто театральный поворот сюжета: обеспокоенный новостью о примирении Антония и Октавиана, Брут вызвал Кассия в Смирну.

Кассий с сожалением отказался от своей египетской мечты. В любом случае сейчас было не до Египта, приближалась финальная схватка: Октавиан и Антоний уже готовились к высадке в Греции. Брут и Кассий не особенно этого боялись: они имели девятнадцать легионов. Тем не менее битва казалась неизбежной, а им не хватало решающего козыря: верховенства на море.

Тут Кассий и вспомнил об армаде, которую строила Клеопатра. И без зазрения совести попросил царицу о помощи.

Клеопатра оказалась перед выбором в духе трагедий Корнелия: Кассий — убийца Цезаря, тогда как Октавиан — сегодняшний враг ее сына; и с тех пор, как император был обожествлен, Октавиан все более очевидным образом извлекает выгоду из цезарианской легенды: он выпустил монеты, на которых именуется Цезарем, торжественно вошел в храм Венеры-Прародительницы... Если она примет участие в уничтожении Октавиана, мистический ореол, связанный с именем покойного императора, немедленно перейдет на Цезариона.

При условии, что Кассий позволит ей и далее оставаться на египетском троне... Но она отнюдь в этом не уверена: один за другим восточные царьки спешат выразить свои верноподданнические чувства двум убийцам; и в довершение всего наместник, которого она назначила, чтобы управлять Кипром, некий Сарапион, последовал их примеру. Он так мало считается с царицей, что, даже не посоветовавшись с ней, послал в помощь убийцам несколько судов. Очевидно, что этот предатель, как и самозванец, рыскающий по дорогам Египта, является марионеткой в руках Арсиной.

Клеопатра понимает, что, если сейчас откажет Бруту и Кассию в помощи, они немедленно попытаются заменить ее младшей сестрой. А теперь, когда легионы Цезаря покинули Египет, у нее, Клеопатры, даже нет армии, которая могла бы ее защитить.

В этой отчаянной ситуации она выбирает самую простую стратегию: тянуть время, выжидать и заставлять ждать других, давать уклончивые ответы, прибегать к всяческим уверткам. Тем более что у нее есть веское оправдание: голод, который уже второй год подряд опустошает Египет. Но

она продолжает рассылать своих шпионов по всему Средиземноморью и благодаря этому узнает, что Октавиан и Антоний собираются перейти в наступление, что они договорились отложить вопрос о разделе Востока до того времени, когда будет одержана окончательная победа над убийцами Цезаря.

Ей удастся затянуть переговоры с Брутом и Кассием на несколько недель. Однако дальше так продолжаться не может, и тут наступает черед второго резкого сюжетного поворота: в тот самый миг, когда она уже не знает, на что решиться, приходит долгожданная новость — Антоний и Октавиан, наконец, атаковали противника. Тогда царица мгновенно принимает сторону наследников Цезаря и во главе египетской армады спешит на выручку тем, кого уже считает своими союзниками.

*

Царица, командующая военным флотом, — такого еще никогда не видали в Средиземноморье. Отсутствие прецедентов не пугает Клеопатру. И все же напрасно она так полагается на свою звезду; едва скрылись из виду берега Египта, как поднялась буря — один из тех внезапных осенних ураганов, обладающих невиданной мощностью, которые случаются только в Средиземном море и которые сумел описать один Гомер: «Так он [Посейдон] сказал и, великие тучи поднявши, трезубцем *Воды взбуровил и бурю воздвиг, отовсюду прикликав* Ветры противные; облако темное вдруг обложило *Море и землю, и тяжкая с грозного неба сошла ночь*. Разом и Евр, и полуденный Нот, и Зефир, и могучий, *Светлым рожденный эфиром, Борей взволновали пучину. [...]* В это мгновенье большая волна поднялась и *расшиблась* Вся над его головою; стремительно плот закружился...»^[90]

Ураган обрушился на крепкие корабли царицы, как некогда на утлый плот Одиссея, и разметал их по волнам, словно охапку щепок. Часть судов потонула, другие были отнесены к берегам Ливии и даже к высоким утесам Пелопоннеса. Сама царица спаслась лишь чудом, и ее охватил такой страх перед морем, что она приказала своему адмиралу как можно скорее вернуть флот в Александрию.

Кое-кто потом утверждал, что этот приступ страха был лишь предлогом; что Клеопатра с детства привыкла к морю, обожала корабли, никогда не боялась бурь и воспользовалась ураганом, дабы замаскировать истинную причину своего отступления: на самом деле, уже подходя к берегам Пелопоннеса, она будто бы увидела на горизонте корабли Кассия и

поняла, что они не пропустят ее флот. Как бы то ни было, буря действительно имела место, корабль Клеопатры отнесло течением далеко в сторону, и многие ее корабли потонули. Учитывая чрезвычайную неопределенность ситуации (и с военной, и с метеорологической точек зрения), Клеопатра не нашла иного выхода, как смириться с обстоятельствами и вернуться в порт.

Там было удобнее ждать, когда небо прояснится. И ждать пришлось недолго: в то время как она, ожесточенная, но не сломленная, начала строить на своих верфях новый военный флот, она узнала, что бог Войны предпочел стать на сторону Антония и Октавиана. В результате битвы при Филиппах, которая длилась несколько дней, месть за Цезаря свершилась. Легионы Брута и Кассия были уничтожены, а двое убийц покончили с собой.

Буря или страх перед морем помешали ей принять участие в битве. Хорошо это или плохо — кто знает? На данный момент ей не о чем жалеть: без малейших усилий с ее стороны она сохранила свое царство. И все же, возможно, к этой буре следовало бы отнестись как к тому урагану, который выбросил Одиссея к дому Навсикаи, — то есть увидеть в ней указующий перст Судьбы.

Куда же вынесет ее ураган — к каким неведомым берегам Времени?

МОЛОКОСОС

(октябрь 42 г. до н. э.)

Узнала ли она, в те ключевые недели, что другой участник битвы — Октавиан, молодой человек, в котором она уже давно распознала врага, — тоже в решающий момент заболел? Клеопатра не могла не быть в курсе всех его действий и жестов, так как понимала, что в судьбах этого и других ее противников вот-вот произойдет поворот, которого она давно ждала.

Октавиан, напротив, никогда не видел в Клеопатре соперницу. Во время битвы при Филиппах его беспокоил только Антоний, он ни на секунду не задумывался об угрозе, исходящей от Цезариона. Вероятно, это объяснялось его молодостью и незнанием Востока. А также было связано с темпераментом; с этой точки зрения трудно себе представить двух столь противоположных людей, как Октавиан и Клеопатра: если царица в совершенстве знала ресурсы своего тела и духа и радовалась им как музыкант-виртуоз радуется своему инструменту, вполне сознавая весь диапазон доступных ему возможностей, то молодой человек себя не любил. Хилый, раздражительный, нервный, он постоянно мучился от изнурявших его страхов. Если, к примеру, он встречал карлика или человека с каким-то изъяном, то требовал, чтобы существо это тотчас убрали с его дороги, ибо не мог выносить вида физического уродства^[91]. Каждую ночь он по нескольку раз просыпался; чтобы унять его тоску или избавиться от кошмаров, ему читали сказки, как ребенку. И тело его тоже непрерывно страдало: в начале каждой весны у него случались желудочные расстройства; при первом же дуновении южного ветра он схватывал насморк и дальше уже не переставал чихать, не мог избавиться от мигреней; наконец, каждый раз, как наступал его день рождения, он впадал в состояние апатии. Он одинаково боялся и летней жары, и зимних морозов, и в любое время года испытывал столь сильный зуд по всему телу, что вынужден был подолгу счищать струпы со своей кожи с помощью маленького металлического скребка.

Он, однако, не казался безобразным, несмотря на то, что из-за раннего ревматизма слегка хромотал и к тому же некоторые находили в его лице сходство с мордочкой куницы. Когда он успокаивался и забывал о своих болезнях, реальных или мнимых, его даже можно было назвать красивым. Однако серьезные недомогания Октавиана редко проходили совсем; что же

касается бесчисленных лекарств, которые он поглощал, то ни одно из них не приносило длительного облегчения. Этот юноша не пил, ел очень мало и неохотно и имел только один грех: слабость к женщинам.

Неспособный влюбиться по-настоящему, он преследовал их только ради секса. Во время этих холодных вакханалий его лицо еще сильнее заострилось и взгляд оживлялся жестокостью, более откровенной, чем обычно: тогда становилось очевидным, что это хладнокровное животное создано не для великих страстей, а для того, чтобы оставаться в тени, ходить окольными путями, пользоваться ловушками и прибегать к умелым манипуляциям. Это был римлянин нового поколения.

Но Рим по-прежнему заискивал перед военными, и Октавиан считал нужным попытаться счастья на полях сражений. Кроме того, поскольку юноша принял имя Цезаря, он тоже возымел великие мечты: решил, что мир по праву принадлежит ему, что он, Октавиан, повсюду оставит свой след, что весь земной шар окажется под его сандалиями.

Однако в этом великом проекте не было абсолютно ничего эпического или романтического. Одна только воля — такая же холодная, как и все остальное в личности Октавиана. Тем не менее Октавиан очень торопился и (что, собственно, и приблизило катаклизм, который должен был вот-вот обрушиться на Рим) умудрился с невероятной скоростью пройти все обязательные этапы политической карьеры. Он сосредоточил в своих руках колоссальные полномочия, которые в принципе не мог получить такой молодой человек. Но он смеялся над принципами, не чтит законов, предпочитал полагаться на преступления (разумеется, при условии, что совершать их будут другие); и не знал жалости. Говорили, будто он готовил заговор против Антония. Заговор провалился. Октавиану, за неимением доказательств, не смогли предъявить никаких обвинений. Но долго ли еще проживет этот болезненный недотепа?

Клеопатра, как и все остальные, презирала Октавиана и полагала, что он долго не протянет. Этот мальчишка слишком молод, слишком нервозен, слишком хрупок — и, подумать только, тоже одержим игрой в солдатики! Несомненно, здесь сказывается роковое влияние имени Цезаря: хотя Октавиан лучше всего чувствует себя, когда, закутавшись в шерстяной плащ, плетет интриги со своим Меценатом, он постоянно испытывает желание изображать из себя императора, набирать легионы, сажать их на корабли — он, кого выворачивает наизнанку даже при небольшой качке... Каждый раз повторяется один и тот же сценарий, почти без изменений: в самый важный момент восстает все его естество, он корчится от боли, его тошнит, начинается недержание желудка, и справиться с этим невозможно

— его рвет, он испражняется под себя.

При Филиппах, накануне и во время битвы, никаких улучшений в этом смысле не наблюдалось: он заболел, как только ступил на берег Македонии; его пришлось нести на носилках, делая совсем короткие переходы, до того места, где его легионы должны были соединиться с армией Антония. При первом же столкновении Брут, совершив одну или две атаки, отбросил Октавиана с его позиций и обратил в бегство (еще немного — и изрубил бы на куски^[92]). Поэтому Октавиан охотно уступил Антонию право руководить боевыми действиями, и так продолжалось целый месяц, вплоть до победы, то есть до конца октября. Однако затем запах крови и суэта, связанная с разделом добычи, быстро оживили этого дохляка. Он выразил желание лично руководить казнью пленников высокого ранга. Антоний не мог ему в этом отказать. Прежде чем пленники были обезглавлены, Октавиан осыпал их бранью; тем, кто просил не лишать их чести быть погребенными, он ответил: «Об этом позаботятся птицы!» Отцу и сыну, просившим о пощаде, он приказал решить жребием, кому остаться в живых. Отец предпочел умереть. Его задушили на глазах у сына, а тот потом бросился на меч. Октавиан спокойно созерцал эту сцену, как будто находился в театре.

Цезарь иногда показывал себя жестоким, но всегда делал это с определенным умыслом и часто с сожалением; особой радости подобные инциденты ему не доставляли. Его наследник, напротив, не мог насытиться ужасами: когда Антоний собирался сжечь тело Брута и, прежде чем возложить на костер, накрыл его своим плащом, Молокосос потребовал, чтобы тело обезглавили, — он хотел отослать голову в Рим. Антоний уступил его желанию. Потом Октавиан вернулся в Италию, еще более больной, чем всегда, с полным набором своих обычных фобий, но зато с сундуками, до отказа наполненными всяким добром: он думал, что награбленные сокровища позволят ему получить безраздельную и не ограниченную во времени власть.

Однако в Риме никто (кроме Мецената и Агриппы) в это не верил, и в Александрии тоже: как он мог бы добиться своей цели, оставаясь в тесных границах Италии, без поддержки Востока? Клеопатра с тем большим скепсисом относилась к планам Октавиана, что в момент раздела армии он, по слухам, получил только три легиона и четыре тысячи всадников. Антоний же имел десять тысяч всадников и восемь легионов (не считая тех двадцати четырех, которыми он располагал в Галлии).

Итак, после битвы при Филиппах царица не могла не разделять общего мнения: выиграв (исключительно благодаря собственным талантам) эту

баталию, Антоний показал, что он — единственный, кто способен стать владыкой мира; тем самым он морально уничтожил Молокососа, который и в физическом смысле вряд ли дотянет до весны.

Кроме того, словно желая подчеркнуть, что готов взять на себя задачу завоевания ойкумены, Антоний отправился на Восток. В его дорожных сундуках находились бумаги Цезаря. И в том числе самые драгоценные из них: план похода против парфян.

От Афин до Эфеса все восточные города встречали Антония как триумфатора. Все восхищались его фигурой атлета, его великолепным голосом, его щеками, разругавшимися от ветра и вина; и этому жизнерадостному здоровяку, обожавшему лошадей, повсюду предшествовал один и тот же слух: люди с изумлением говорили, что он, когда готовился к последней битве, ни в чем не менял своих привычек — ночи напролет пил, слушал игру флейтистов, перекачивался с одной бабы на другую, вволю обжирался.

ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ ОЩУТИЛ СЕБЯ ГРЕКОМ (октябрь 42–41 г. до н. э.)

Он испытал в жизни все, и она это знала. Воровал, насиловал, убивал, грабил, прожигал целые состояния, познал страх во всех его обличьях, тысячу раз смотрел в лицо смерти своими дерзкими и веселыми глазами, улыбался ей чувственным ртом гуляки. Она, Клеопатра, еще помнила, как Антоний (ему тогда исполнилось двадцать пять, а ей — тринадцать, она была невзрачной девочкой-подростком, а он — атлетом в зените своей красоты) вел немногих оставшихся с Флейтистом людей через дюны и пустынные болота, маршрутом, которым прежде него осмелился пройти лишь один человек: Александр, ее герой.

И еще ей было известно, что о женщинах он тоже знал все, что спал без разбора с актрисами, рабынями, шлюхами, разыгрывавшими из себя матрон, и матронами, которые вели себя как шлюхи, — ему, Антонию, всегда было наплевать и на расовую принадлежность, и на возраст, и на общественное положение... И тем не менее Антоний, как это принято у греков, начал свою половую жизнь с гомосексуальной любви, в шестнадцать лет, когда воспылал безумной страстью к юному извращенцу из хорошей семьи, с которым делил деньги своего отца, девочек, скандалы, амбиции, ночные кутежи. Именно по вине этого Куриона — от которого он никогда не отрекался, даже после того как их любовные отношения кончились, и который умер лет восемь назад, — Антоний пристрастился к алкоголю. И уже не мог освободиться от однажды приобретенного порока. Пока он чувствовал под собой горячего коня, пока мчался по лесам или пустыням со своими солдатами, Антоний забывал о вине; но как только он одерживал победу, спешивался и выпускал из рук оружие, неизменно срабатывал один и тот же механизм: должен был начаться праздник! Он хотел женщин (первых попавшихся), флейтистов, комедиантов, танцев, всякого рода непристойностей — и пил до утра.

А потом бывало тяжелое похмелье, ему случалось выbleвывать остатки своих пиршеств прямо на Форуме, в присутствии своих друзей. Но он не видел в этом большого зла, гордо поднимал голову, бормотал, что больше в рот не возьмет подобной отравы; затем, при первом удобном случае, все повторялось сначала.

Правда, временами ему удавалось взять себя в руки, жить как подобает поистине великому римлянину, будущему императору, могущественному Цезарю. Тогда в нем обнаруживался тонкий политик, выдающийся военачальник, но потом вдруг, в одно прекрасное утро, инстинкты оказывались сильнее его и он уже не мог обходиться без шума и ярких зрелищ. Например, в период гражданской войны, патрулируя италийские горы, он внезапно вызвал к себе самую красивую женщину Рима, актрису, дарившую свою благосклонность всем, кто платил большие деньги. Она согласилась сопровождать армию при условии, что ее будут нести на носилках, как императора. Антоний не только пошел навстречу капризу любовницы, но, сверх того, приказал, чтобы повсюду, в ущельях и долинах, вслед за ее паланкином двигалась процессия колесниц, нагруженных серебряной и золотой утварью, будто эта шлюха собиралась праздновать триумф; сам же он, когда вступал в завоеванные города во главе своего войска, ехал на колеснице, в которую ради подобных случаев запрягали вместо коней львов.

Еще один Дионис, возвращающийся из Индии: видно, этот римлянин, как и многие другие, не устоял перед чарами Востока. Но только он разыгрывал свой спектакль, находясь в состоянии опьянения. А это совсем не характерно для римлян.

*

Клеопатра давно его знала. О том молодом человеке, который когда-то спас ее и отца, она, несомненно, имела лишь смутные воспоминания, но в Трастевере, где она провела много месяцев, у нее было достаточно времени, чтобы изучить Антония. Чтобы заставлять его пить, смеяться, говорить. Чтобы слушать его.

Невозможно забыть его греческий язык: он смакует эллинские слова словно дорогое вино. И в этом смысле похож, как близнец, на Клеопатру.

Он тоже наблюдал за ней, слушал ее. Но между ними сохранялась дистанция. Во-первых, потому что царица была любовницей Цезаря, а Антоний тогда обожал свою жену, Фульвию, и шел у нее на поводу во всем, если не считать его повторяющихся оргий. Во-вторых, потому что Клеопатра знала: Цезарь не может положиться на Антония из-за его распушенности. И, как и ее возлюбленный, не питала к этому гуляке ни малейшего доверия; Антоний, со своей стороны, тоже не доверял царице.

После мартовских ид их союз был продиктован чисто тактическими

соображениями: оба считали, что все средства хороши, лишь бы не подпустить к власти Октавиана. Но как только Клеопатра почувяла опасность, она бежала из Рима.

В общем, это были два хищных зверя, не выпускавшие друг друга из виду. Порой, конечно, они встречались, прикидывались безобидными, но один из них всегда отчетливо сознавал силу и ненасытность другого.

Потом Клеопатра вернулась в Египет. Несмотря на разделявшее их теперь расстояние, игра продолжалась; тем не менее время незаметно подкидывало козыри царице: вынужденный громить своих врагов с трибуны Форума или гоняться за ними по дорогам Италии и в других странах, непрерывно конфликтовавший с Октавианом, Цицероном, Лепидом, Брутом, Кассием и сенатом (не говоря уже о попойках и периодических встрясках, которые устраивала ему жена, эта женщина-вулкан), Антоний постоянно был по уши в делах. А значит, не имел времени для размышлений. Тогда как Клеопатра в эти два траурных года могла и думать, и вспоминать; а благодаря сети преданных ей агентов продолжала накапливать — месяц за месяцем, неделю за неделей — свое единственное истинное богатство: капитал наблюдений.

Итак, из двух хищных зверей один предвидел, что другой вскоре объявится на его территории. Как и когда это произойдет, Клеопатра еще не знала. Но зато была уверена, что на сей раз не останется в стороне, будет играть очень осторожно и обязательно победит.

А пока ей не остается ничего иного, как молчать, ждать. Да и зачем ей что-то предпринимать? Антоний, опьяненный своей победой, сейчас, более чем когда-либо прежде, ищет забвения в греческих словах и винах, увлечен Востоком — в одиночестве поглощает предназначенную для него приманку.

*

Ближе к началу зимы, через два месяца после битвы при Филиппах, Клеопатра должна была почувствовать, что решающий момент наступит очень скоро: Антоний, как она узнала, находился в Афинах, где очаровал всех своей любовью к гимнастическим состязаниям и спорам ораторов, которые почти никогда не прекращались под портиками агоры.

Для нее в этом не было ничего удивительного; еще со времен их встреч в садах Трастевере она знала, на что способен Антоний, и догадывалась, какими сомнительными методами он завоевывал

расположение афинян: наверняка повторял им свою старую песню о том, что происходит не от грубых мужланов, которые были родоначальниками лучших римских семей, а имеет несравненно более благородную кровь, ибо является прямым потомком Геркулеса по линии одного из сыновей древнего героя, Антона (отсюда и имя его семьи — Антонии).

И, как всегда, на фоне толпы солдафонов, которых он вечно таскал за собой в гимнасии, Антоний смотрелся еще более эффектно: развитые бицепсы, широкая грудь, мускулы — от шеи и далее вниз, — могучие, как у быка, ягодицы без грамма лишнего жира, сильные икры, не говоря уже о том, что он на две головы выше обычных смертных; и этот его нос с горбинкой, в точности как у победителя немейского льва, и та же, как у того, манера есть, целоваться, испражняться... И потом, кажется, будто он, как некогда Геркулес, за одну жизнь прожил несколько жизней, столько было у него испытаний, осад, военных кампаний, столько покоренных лесов и пустынь, столько уничтоженных врагов, никому неизвестных и знаменитых — Верцингеториг, Цицерон, Брут, Кассий... Наконец, он отмстил за Цезаря и задушил гидру гражданской войны.

Но в ту зиму Антоний уже не удовлетворялся тем, чтобы красоваться в гимнасиях. Его часто видели на площадях, где греки привыкли говорить обо всем на свете: о погоде и о быстротечности времени, о ценах на всевозможные вещи и о вещах, которые не имеют цены, — например, об истине или о красоте; и там он производил такое же сильное впечатление на окружающих, как когда напрягал свои смазанные маслом мускулы в полумраке спортивных залов.

Афиняне замечали его рослую фигуру издали и, когда видели, что он принимает торжественную позу и собирается произнести речь, поступали так, как с незапамятных времен ведут себя все греки, когда чужестранцы пытаются им доказать, что владеют ораторским искусством лучше, чем они: улыбались и прерывали свои беседы, чтобы послушать наглеца. Просто чтобы развлечься, чтобы посмотреть, как далеко он зайдет в своем самомнении.

Однако на сей раз чужеземец одержал верх: афинян, этих непревзойденных экспертов по части приемов красноречия и театральных жестов, Антоний околдовал точно так же, как римлян у погребального костра Цезаря.

Во-первых, потому что этот человек, который строил из себя красавца, и в самом деле был красив, причем не только из-за своего роста и мускулатуры, — он имел также правильные, благородные черты лица. И Антоний это знал (позиция вполне нормальная с точки зрения афинских

эстетов): чтобы еще более усилить свое сходство с Геркулесом, он отрастил бороду и стал одеваться на греческий манер, что удивительно ему шло. Кроме того, он в совершенстве владел всеми тонкостями эллинистической риторики. Конечно, он излишне украшал свою речь, пользовался сложными оборотами, как делают на Востоке, но ведь следует учитывать, что учился он, несомненно, у ораторов из Эфеса или с Родоса. Но самым удивительным было другое. Впервые они видели римлянина, который знал греческую культуру изнутри, постиг ее чувствами, а не головой. Пропустил через свое сердце, а не вызубрил наизусть. Для Антония греческий мир стал родным. Как бывает, когда принимают в свою семью друга. Или усыновляют ребенка.

Когда он говорил по-гречески, в этом участвовало все его тело, каждый мускул: стоило ему, к примеру, произнести слово *таласса*^[93], и окружающим чудилось, как при чтении «Одиссеи», будто они воочию видят винноцветное море и пробегающие мимо борта острова Эгеиды. Когда с его губ слетали слова *немесис* или *гюбрис*^[94], казалось, все мстительное безумство великих трагиков внезапно воплощалось в это тело колосса; а когда он заговаривал о логосе, легко было представить, что вернулись времена, когда Платон или Аристотель рассуждали на агоре о разумности языка и о языке разума. Когда же пьяный в стельку Антоний появлялся на улицах в обнимку с девами и без умолку рассказывал всякие непристойности, он выглядел в точности как Аристофан, сопровождаемый толпой актеров (те тоже были постоянно перепачканы виноградом, воняли, как козлы, и смущали добрый народ невообразимыми сальностями). Греция — страна, где едят оливки, майоран, кресс-салат, зажатый между двумя ломтями хлеба, жареных осьминогов, посыпанный луком творог; старая Эллада коз, пастушеских дудочек, пустошей, спрятанных в горах священных источников, дев с тяжелыми бедрами, бедных хижин, но также вечного страха перед змеями, землетрясениями, убийственными морскими штормами, слепотой, которой люди заболевают из-за невыносимого блеска мрамора (а все подобные ужасы обычно случаются среди бела дня, приходят нежданно и приносят смерть), — эта подлинная Греция жилкой билась в висках Антония, трепетала в его широкой груди, кипела в его крови и сперме; вот почему его речь так околдовывала других людей, была столь неотразима. И, несомненно, по той же причине афиняне, когда Антоний попросил, чтобы они посвятили его в самый странный из своих культов — элевсинские мистерии, не смогли ему отказать.

Последняя новость насторожила Клеопатру: чего ищет красавец

Антоний в населенном змеями логове Богини-Матери; какое опьянение, более сильное, чем то, что бывает от вина, какая тайная болезнь заставляют его молить богиню о спасении в тот самый миг, когда он достиг вершины славы?

Может быть, в эпоху надежд на новое возрождение его преследует та же тоска, какую познали многие мужчины в разных концах Средиземноморья, — желание молиться дарующим утешение улыбчивым полногрудым богиням, которые, как им хочется верить, излечивают душевные и телесные недуги? Это, вне всякого сомнения, так: ведь сам Антоний рассказывал, что испытывает те же страхи, какие некогда терзали героев, являющихся для него образцом, — поэтому и пьет ночи напролет.

Очевидно, что этот человек, переживающий апогей славы, какой-то частью своего естества неудержимо стремится к бездне. Он жаждет взрыва, страдания — как необходимой стадии на пути к невиданному прежде блаженству. Легендарные греки, перед которыми он преклоняется и судьбе которых завидует, — Дионис, Орфей, Геракл — все умерли страшной, насильственной смертью, были разорваны на куски или погублены разъяренными женщинами, прошли через чудовищные потрясения, связанные с женским желанием и женским гневом, и только благодаря этому обрели высшее счастье: бессмертие.

Кое-кто полагал, что страсть Антония к культам Богини-Матери отчасти объясняется тем влиянием, которое оказывала на семью Антониев его собственная прародительница. Говорили, будто этот образ был для него столь же влекущим, сколь и отталкивающим; будто, несмотря на свои военные успехи, он никогда не забывал об этой ужасной основательнице их рода — подтверждением тому может служить страсть, которая семь лет назад толкнула его в объятия женщины-фурии, имевшей так много общего с супругой Геракла: Фульвии.

Что ж, очевидно, жена не сумела его утешить, ибо в своей тоске он стал обращаться к другим всемогущим владычицам — к тем богиням Востока, чья плоть напоминает жертвенные дары. Наверняка это случилось потому, что в Фульвии было слишком много от Рима. Она казалась излишне суровой, негибкой. Мрачная женщина — разве Антонию не приходилось, чтобы заставить ее рассмеяться, пересказывать неслыханно грубые шутки? Ей не хватало светоносности, этой Фульвии, не хватало греческой элегантности. В ней безнадежно отсутствовали все черты, делающие столь привлекательными восточных женщин. А между тем этот мужчина ждал от нее даже не столько властной силы, сколько радости. Покоя. Сочувствия его страху перед загробным бытием. Надежды на воскресение. Короче,

поскольку он, сам того не сознавая, был Осирисом, следовало предложить ему Исиду.

Египет мог утолить тоску Антония. Однако последнему и в голову не приходило явиться туда и попросить о чем-то подобном. Сменялись недели и месяцы, а вопрос об этом даже не вставал.

*

Между тем Антоний уехал из Афин в Азию, вступил в Эфес, ощущая себя греком еще больше, чем когда-либо прежде, одетый как Дионис, с ног до головы увитый плющом, сопровождаемый музыкантами, которые создавали какофонию звуков, обычную для Благого Дурака, — тогда как впереди него двигалась толпа ряженных, изображавших свиту Божественного Безумца: мужчины, женщины, дети, разнузданные, тоже увешанные гирляндами, оружие, что Антоний есть воплощение Бога, олицетворенное Милосердие, Доброта, спустившаяся с небес на землю, Отец всяческой радости.

Для Клеопатры это было предупреждением. Новая экстравагантная выходка Антония не шокировала царицу, совсем напротив: она показала, до какой степени Антоний хотел быть греком, считал себя греком; и сейчас, когда города Востока приветствовали его как Нового Диониса, в ней вновь проснулась химерическая мечта, вдохновлявшая ее при жизни Цезаря: руками мужчины завоевать весь земной крут. Правда, в данный момент на ее пути воздвиглось серьезное препятствие: Арсиноя, ее сестра, которая все еще жила при храме Артемиды, в том самом Эфесе, куда Антоний недавно вошел как триумфатор. По-прежнему зачарованный образами Вселенской Матери — здесь ее изображали со множеством грудей, — он посетил храм и принес богине великолепную жертву. Наверняка в тот день Арсиноя пробилась к нему, молила о милости, пыталась смягчить его сердце, а может, и обольстить. И она была далеко не единственной женщиной среди тех, кто в последние недели стремился заручиться его поддержкой: привлеченные слухами о его любовных похождениях, царицы Азии одна за другой наносили ему визиты, щеголяли дивной роскошью, осыпали подарками, соревновались в жеманстве и показном величии. Поговаривали, будто самая красивая из них достигла своей цели: оказалась в конце концов в постели Антония и попросила его вернуть ей отнятые у нее земли; само ее имя, Прекрасносложенная, показывало, чему именно в этой истории можно верить.

Нетерпение Клеопатры, а также, несомненно, ее ярость достигли наивысшего накала: что ей оставалось, кроме как цепляться за умозрительную надежду на то, что рано или поздно у Антония кончатся деньги?

Впрочем, банкротство действительно было единственной возможной перспективой для человека, вокруг которого кишели толпы шутов и проходимцев, музыкантов, комедиантов и поваров, с момента его приезда в Азию не перестававших обирать от его имени население. За несколько месяцев восточные провинции оказались совершенно обескровленными. Антоний ничего не замечал. Ослепленный атмосферой непрерывных празднеств, которую угодливо поддерживали его паразиты, он решил взыскать налоги (уже взысканные ранее).

Однако местные царьки не могли позволить кому-либо садиться себе на шею и ответили ему, что, коли он так нуждается в овечьей шерсти, а на их выстриженных спинах уже не осталось ни клочка, для него, пожалуй, будет лучше поохотиться где-нибудь в других местах на еще не тронутого ножницами барана. Антоний, задетый за живое, наконец сообразил, что его одурачили собственные прихлебатели, и, поскольку его натуре вообще были свойственны переходы из одной крайности в другую, мгновенно протрезвел.

Антоний теперь мало говорил, он размышлял, и ему пришло в голову, что вообще-то его привела на Восток идея завоевания мира, и он вновь принялся мечтать о походе против парфян. Но для этой авантюры тоже требовались деньги, причем в гораздо большем количестве, чем для празднеств.

Так и получилось, что по истечении этих шести или восьми месяцев кутежей, помогавших ему ощущать себя греком, Антоний снова вспомнил о том, что он — римлянин. А заодно вспомнил — как вспоминает свой дом вернувшийся с грязной улицы гуляка — и о Египте, и о его царице.

*

В этот исторический момент Судьба для исполнения своего замысла уже не нуждалась ни в чем, кроме лакея — одного из тех невзрачных и пронырливых существ, которые появляются на сцене только два или три раза, но без которых не может завязаться сюжет драмы. Таких пройдох в свите Антония хватало, но самым изворотливым из всех был Деллий.

Судя по всему, он уже давно пользовался полным доверием своего

патрона. Согласно упорным слухам, Деллий принадлежал к числу старейших приятелей Антония по кутежам и в ночи оргий они не раз спали вместе. Мне это кажется весьма сомнительным. Деллий, конечно, очень любил мальчиков, однако не брезговал и женщинами: он всегда умел находить для Антония девок, если у того внезапно возникала такая потребность, независимо от места и времени суток. Деллий увлекался сексом еще больше, чем его хозяин. Он обожал говорить непристойности и особенно излагать их в письменном виде — в посланиях, которые адресовал (несмотря на свою страсть к эфебам или, может быть, именно по причине этой страсти) матронам из лучшего общества.

Этого-то ловкого негодяя Антоний и отправил в Александрию, чтобы уговорить Клеопатру оставить царство и явиться к нему, Антонию. Он изучил планы Цезаря, понял их смысл и рассчитывает превратить Египет в базу для своей экспедиции против парфян, но не желает отправляться в поход, не разобравшись прежде во всех деталях поведения царицы в период войны с Брутом и Кассием: почему легионы, оставленные императором в Египте, перешли к врагу; при каких обстоятельствах египетские корабли с Кипра были посланы убийцам Цезаря; как в действительности обстоят дела с египетским флотом и с двумя неурожайными годами, которые, как уверяет Клеопатра, якобы разорили ее царство? И что произошло с ней самой, когда буря настигла ее перед битвой при Филиппах, — испугалась ли она легионов Кассия или правда бежала от урагана?

Антоний отнюдь не уверен в том, что Клеопатра сумеет найти приличествующие случаю, то есть умные, почтительные и одновременно уклончивые ответы. Но, так или иначе, он хочет встретиться с ней. Просто чтобы показать, кто здесь командует. И чтобы царица поняла: новый владыка мира — это он. И чтобы в будущем, независимо от того, голодный выдался год или нет, штиль ли на море или ураган, когда он потребует у нее денег, она — какова бы ни была требуемая сумма — не смела лавировать или тянуть время, а тотчас бы раскошелилась.

*

Легко представить, с каким чувством Клеопатра выслушала этот нагоняй из уст Деллия: с величайшей яростью. Однако по своему обыкновению она скрыла охвативший ее гнев за высокомерной улыбкой; и когда эмиссар закончил свою речь, ответила ему с такой изысканной любезностью, что Деллий понял: по части двуличия и умения

маневрировать царица намного его превосходит.

Он тотчас смекнул, что, столкнувшись с этим политиком в юбке, Антоний не сможет долго придерживаться раз избранной им жесткой линии. Тогда отчасти из любви к запутанным ситуациям, отчасти же, чтобы заранее подготовиться к надвигающимся событиям и в любом случае от них не пострадать, Деллий переменял тон, заговорил очень мягко и стал уговаривать царицу принять предложение его патрона, изображая последнего в самом благоприятном свете.

Царица, наверное, про себя смеялась: чего стоит Антоний, она знала давно. Она помнила опасения, которые высказывал по его поводу Цезарь, но даже если бы подобных разговоров не было, завещание императора, в котором об Антонии не говорилось ни слова, уже в достаточной мере показывало, как следует оценивать этого человека. В довершение всего теперь, когда Антоний направил к ней эмиссара — стратегическая ошибка, которую Цезарь никогда бы не допустил, — стало совершенно очевидно, что он заинтересован в их встрече не меньше (а может, и больше), чем она.

Поэтому комплименты, советы и просьбы Деллия, вероятно, произвели на нее не больше впечатления, чем суровое начало его речи. Если бы Деллий, перед самым уходом, не влил в свои слова каплю яда, от которого царица, несмотря на знание жизни, не имела иммунитета: он упомянул, между прочим, как любят Антония женщины и как живо сам император помнит ее, Клеопатру, несмотря на прошедшие с момента их последней встречи годы.

Несколько оброненных вскользь фраз, а может, и того меньше — пять или шесть слов... Но для женщины еще молодой, мечтающей о власти, уже три года живущей в одиночестве и скрывающей в душе глубокую рану, связанную с насильственной смертью единственного возлюбленного, этого хватило, чтобы забыть о прошлом и сбросить с плеч его груз: она почувствовала непреодолимое желание соблазнить Антония.

ВОЖДЕЛЕННОЕ ТЕЛО

(лето — осень 41 г. до н. э.)

Приготовления. Царица очень торопится, но не показывает этого. Прогуливаясь от дворца до верфей, она еле сдерживает свое лихорадочное нетерпение, жажду действовать; ее фантазии становятся все более конкретными, воображение все более изобретательным по мере того, как проходят недели. Она одержима одной идеей: ослепить римлянина. Дать ему увидеть то, чего он никогда не забудет.

Она начинает с заурядных вещей: в старой родовой сокровищнице выбирает драгоценную посуду, шелковые ткани, считает мешки, набитые монетами. Римлянин, она это знает, давно не платил жалованье своим солдатам. Деньги обрадуют его даже больше, чем золотая и серебряная утварь.

Потом переходит к самому трудному: продумывает мизансцену свидания, которое он имел наглость ей назначить — ей, никогда не подчинявшейся никому, кроме Цезаря (да и его, Цезаря, главенство она признала лишь потому, что сама этого захотела). Однако сейчас ей придется согласиться: Антоний упорно вызывает ее к себе и не отступится от своего решения; он желает, чтобы Египет явился к нему на поклон, и нет ни малейшего шанса на то, что он сам пожалует в Александрию.

А ведь он властвует лишь над половиной мира, да и то только в силу человеческих законов, законов войны и законов Рима, которые по сути своей ничтожны, тогда как она, Клеопатра, — царица по божественному праву; она унаследовала свою власть от фараонов, правивших этой страной с незапамятных времен, еще с той эпохи, когда предки Антония жили, словно нищие, в жалких хибарах. Но, так или иначе, она явится на свидание, которое Антоний ей назначил. И тогда этот римлянин осознает всю меру своей глупости: Египет никогда не нуждался в том, чтобы увидеть что бы то ни было в чужих краях, — напротив, другие приходят, чтобы увидеть Египет. И даже если Египет сдвинется с места, все равно он не станет глазеть по сторонам, а все вокруг будут с изумлением пялиться на него.

Поэтому царица готовит свою мизансцену с такой же тщательностью, с какой разрабатывала бы план сражения или убийства. Этот спектакль будет задуман и осуществлен, как задумывают и осуществляют

преступление. Она не может себе позволить ни малейшей ошибки. Картина должна быть совершенной. Должна быть моментом чистой красоты, который останется в памяти людей. Останется не на несколько месяцев — на века. И будет в буквальном смысле неподражаемым.

Да, такая игра — в ее духе. Но неослабное внимание, с каким Клеопатра занимается своими приготовлениями, богатство фантазии, которое она в них вкладывает, отчасти объясняются и ее возрастом: прошли те времена, когда она могла отдать свою судьбу на волю слепого случая, выскочив из пакета с грязным бельем, брошенного к ногам самого могущественного человека в мире. Еще каких-нибудь четыре или пять лет, и она достигнет рубежа, на котором умер Александр, — ей исполнится тридцать три. Мудрость веков гласит, что это идеальный срок для окончания человеческого бытия, момент, когда смертные, исчерпав свою молодость, могут без сожаления оставить землю. Именно в этот момент человек впервые осознает быстротечность своего существования и судьба начинает вести безжалостный счет всему, чем он так дорожит, — времени, красоте, здоровью, воле к жизни. Единственное средство хоть как-то уменьшить чудовищный ростовщический процент, который взимают годы, — умение самому все рассчитывать; и профессионализм.

А значит, она больше не может позволить себе никаких случайностей. Должна бросить вызов судьбе, отрицая ее неизбежность. Должна предусмотреть все, даже самые мельчайшие детали, чтобы быть уверенной в своей победе. И тогда будет видно, кто окажется сильнее — римский солдат или владычица самой древней в мире монархии.

Будет видно: эти слова беспрестанно крутятся у нее в голове, за неимением лучших. Царица, так прекрасно владеющая речью, эта гречанка, которая знает все риторические приемы и обыгрывает возможности своего голоса как музыкант, подчеркивающий мелодические достоинства цитры, решила, что ее битва с Антонием произойдет в полном молчании. Если воспользоваться словами Цезаря по поводу войны с Босфорским царством, то, слегка их переиначив, можно сказать, что она *придет, покажет себя, и Антоний увидит*. Он просто застынет на месте с разинутым от удивления ртом. И мгновенно, не услышав и не проронив ни единого слова, поймет, что это такое — Египет, женщина-фараон, династия Лагидов, наследие Александра.

Дело в том, что на randevу, навязанное ей римлянином, Клеопатра решает прибыть так, как подобает царице моря, дочери Александрии, владычице *bojîh* и ветров, перед которыми сыновья Волчицы с древних времен и по сию пору испытывают страх. И она приказывает, чтобы на ее

верфях в кратчайший срок построили роскошный корабль, который сможет беспрепятственно пересечь море и затем подняться вверх по течению реки до назначенного Антонием места встречи: до города Тарса, расположенного там, где почти прямая (в Иудее и Сирии) линия средиземноморского побережья вдруг резко ломается под прямым углом и уходит в сторону Эгеиды.

Клеопатра знает этот порт, когда-то принадлежавший Птолемеям: он раскинулся в полукруглой долине у подножия гор, по обеим берегам маленькой реки. Грандиозная декорация — а значит, вполне подходящая для ее замысла. Там, в Тарсе, она наверняка найдет и достойную публику: со времен Сардапнапала, Кира и Александра иудеи, греки, сирийцы, персы с удовольствием приезжали туда и даже навсегда обосновывались в этой долине, лежащей на перекрестке дорог, которые ведут в Тир, Пальмиру, Антиохию, Петру, Иерусалим, Эфес, Смирну и еще дальше — в Вавилон, Сузы, Ниневию, Экбатаны. Наконец, Таре построен в устье реки Кидн и является морским портом, а по морю в нашем округлом мире можно добраться куда угодно.

Она хочет показать себя даже не столько Антонию, сколько этим людям Востока: тем, что странствуют по дорогам, возделывают пальмовые рощи, водят караваны, торгуют на базарах, чувствуют себя как дома в чужих портах и на далеких островах, заключают денежные сделки, — всем, кто не боится бросить вызов Неведомому, пуститься в авантюру. Благодаря им слухи о ее театрализованном прибытии в город распространятся повсюду, проникнут даже в отдаленные оазисы пустынь, в безвестные гавани того моря, которое римляне имеют наглость называть *Mare nostrum*^[95]. Тогда как на самом деле это море принадлежит грекам и египтянам; все должны осознать, что оно никогда не станет римским и что морская царица — она, Клеопатра.

Итак, на верфях Александрии начинают строить корабль, какого не видели никогда прежде, еще более удивительный, чем та *таламега*, на которой царица катала Цезаря по Нилу. Этот корабль сам по себе должен символизировать мир. Значит, он будет, как мир, округлым и тяжелым — и полным чудес. Станет плавучей Александрией. Но до момента, когда он вынырнет на линии горизонта, никто не должен о нем знать, ибо то, о чем люди знают, они как бы уже видели.

И вот корму судна обшивают золотом, а весла по всей длине покрывают серебряной фольгой. Паруса окунают в чаны с краской из моллюсков и в результате они получают пурпурными — знак всемогущества владычицы корабля. Для трона царицы, который будет

установлен в носовой части, изготавливают балдахин из золотой парчи.

Потом, как достойная дочь Флейтиста, который прекрасно понимал, что такое театр, Клеопатра начинает «прослушивание актеров». Среди детей Александрии она находит самых толстощеких, самых грациозных малышей и учит их, как, выстроившись полукругом вокруг трона, они будут обмахивать ее опахалами. Потом из своих многочисленных служанок отбирает самых обворожительных девушек и распределяет между ними роли: когда корабль войдет в устье реки Кидн, они, передевшись лесными нимфами и nereидами, возьмут на себя управление судном. А пока им предстоит научиться стоять у руля, убирать и поднимать паруса, отчаливать и бросать якорь. Другим юным красавицам царица объясняет, что, когда судно встанет на рейд, они должны будут, спрятавшись за бортовыми люками, воскуривать благовония — и делать это так, чтобы ароматы достигали обоих берегов реки. Наконец царица собирает своих гребцов и заставляет часами тренироваться, чтобы их весла двигались точно в ритме монотонных мелодий, которые исполняет (на флейтах, цитрах и свирелях) стоящий на палубе оркестр.

Они репетируют целыми днями и вечерами, не зная отдыха. Ибо царица твердит, что нет ничего более печального, чем вид прекрасного судна, растворяющегося во мраке; поразить римлянина именно ночью гораздо важнее, чем сделать это днем. Ночные тени следует превратить в занавеси, которые, раздвигаясь, приоткрывают тайну, ночную тьму сделать дорогой к чуду — иного выхода нет.

Клеопатра хочет, чтобы с началом сумерек ее судно было полностью освещено, но в основе этой иллюминации, как и всего остального, должен лежать принцип неожиданности. На одной части палубы многочисленные светильники будут образовывать симметричные линии, на другой — прямоугольники, на третьей — круги. Кроме того, сотни фонариков будут подвешены к мачтам, парусам, реям, ко всем снастям, вдоль бортов, у выхода на наружный трап, на корме и на носу. Но при этом не должно быть однообразия: следует тонко варьировать угол наклона светящихся гирлянд, чтобы римлянин, куда бы ни направлял свои шаги, не переставал тарашить глаза, не зная, куда раньше смотреть, чтобы он был оглушен, изумлен, ошарашен, раздосадован, чтобы у него перехватило дыхание — и не возникало ни желания, ни даже мысли о том, чтобы, наконец, оторваться от волшебного зрелища.

Подготавливая с такой маниакальной тщательностью все эти сценические эффекты, думала ли Клеопатра о том, что затащит Антония в свою постель? У нас нет данных, позволяющих утверждать это с уверенностью. Сохранившиеся свидетельства говорят нам лишь следующее: будучи истинной представительницей рода Лагидов, она — в точности так, как поступили бы на ее месте Пузырь, Стручечник или Флейтист, — намеревалась продемонстрировать всю полноту своей власти. Сразу же после окончания официальных церемоний должен был начаться политический поединок, и она, по своему обыкновению, не собиралась остаться в проигрыше. Хотела ли она воспользоваться своим телом как разменной монетой? Вряд ли царица решила это заранее: хотя она и имела очень точную информацию об Антонии, но все же ни разу не видела его за Последние три года; а кроме того, несмотря на свою страсть все рассчитывать, она умела, когда надо, положиться на мгновенное вдохновение, на свой инстинкт и на максимум, которая лежит в основе политического оппортунизма, — «будь что будет».

И потом, обольщение, которое само по себе есть попытка добиться цели способом наиболее быстрым, тем не менее, как правило, выбирает окольные пути; и его стратегия часто диктуется побуждениями, которые остаются столь же туманными для того, кто обольщает, сколь и для того, кого обольщают. В конце лета, когда Клеопатра лихорадочно обдумывала последние детали своего прибытия в Тарс, она, несомненно, хотела обольстить Антония; но «обольстить» в широком смысле этого слова: то есть заставить свернуть с избранной им прямой дороги, забыть об интересах Рима. Ибо она еще не потеряла голову, и голова эта была головой политика: Клеопатра и теперь, как в свои восемнадцать лет, была одержима идеей величия, независимости и могущества Египта, она не отказалась от грандиозной мечты, которую не так давно делила с Цезарем: завоевать весь Восток, завершить дело Александра и сделать свой город центром ойкумены. Если ее тело могло стать инструментом для осуществления сего замысла, она, несомненно, была к этому готова. Но, как и во времена Цезаря, оценивала себя очень высоко.

Таковы, по крайней мере, были осознанные соображения Клеопатры — те, что диктовались ее опытом и разумом и основывались на точке зрения, которую разделяли все наблюдатели тогдашних событий, от Рима до Александрии: если забыть о недавних экстравагантных выходках Антония (а их можно оправдать его усталостью после трудной борьбы, которую он вел непрерывно после мартовских ид), если попытаться хладнокровно оценить нынешнее состояние его дел, нельзя не признать,

что сейчас он находится примерно в том же положении, какое было у Цезаря в день, когда Клеопатра выскочила из свертка у его ног. Антоний, как когда-то Цезарь, управляет Галлией. Благодаря своей темпераментной супруге, слепо ему преданной, которая в его отсутствие играет в Италии роль сторожевого пса, он сохранил власть над Римом. Сенат безропотно подчиняется всем желаниям Фульвии, которая, с помощью брата Антония, командует солдатами так энергично, как если бы сама была полководцем. Нет никакого сомнения в том, что, продолжая действовать подобным образом, она в конце концов уничтожит Октавиана — если, конечно, у Молокососа не окажется достаточно вкуса, чтобы, не дожидаясь насилия, самому отойти в мир иной. Что же касается последнего члена триумvirата, Лепида, то фактически он уже отстранен от власти и, судя по всему, благоразумно смирился со своей участью.

Наконец, Антоний, несмотря на свои незаконные поборы и оргии, продолжает пользоваться популярностью на Востоке: люди думают, что он один обладает достаточным могуществом, чтобы навсегда ликвидировать угрозу парфянского нашествия, которая вот уже несколько лет нависает, словно грозовая туча, над всем восточным Средиземноморьем, ибо парфяне непрерывно совершают набеги на Иудею и Сирию. Между прочим, скорее всего именно страх перед их стрелами, а не туманные мистические мечтания, побудил народы Азии приветствовать Антония как Бога-Освободителя: если он сумел отомстить за Цезаря, что помешает ему избавить их от парфян? Когда это случится, откроются пути на дальний Восток, как во времена Александра. И тогда будет изобилие золота, коней, благовоний, шелковых тканей; римлянин, разумеется, станет владыкой мира, но зато вся Вселенная насладится благоденствием, миром.

Клеопатра, которой приходилось с тревогой наблюдать, как парфяне рыщут у самой границы египетских песков, разделяла ту же надежду. Однако, поскольку у нее было достаточно времени, чтобы изучить Антония в период ее пребывания в Риме, а потом, благодаря хорошо налаженной разведывательной сети, детально следить за всеми его действиями и жестами, она, единственная, поняла следующее: Цезарь, даже в мельчайших своих решениях, никогда ни от кого не зависел, полагался только на самого себя, тогда как Антоний нуждался в руководителе. И, как показывало его прошлое, таким руководителем могла быть только женщина.

Итак, именно о такого рода власти думала Клеопатра в тот час, когда, наконец, приказала погрузить на корабль драгоценности, наряды, благовония, съестные припасы. Но сама надежда ее оставалась туманной: была ли царица одержима влечением к власти или испытывала и плотское влечение, и жажду власти одновременно? Знала ли она это, хотела ли знать?

Может быть, ею двигало просто желание вернуться к жизни. Жажда блеска — истинного блеска. Потребность совершать безумства, жить ярко — ведь прошло так много времени, три года, с тех пор, как она отказалась от всего этого, притворилась смиренницей. А сама непрерывно думала о последних днях Цезаря, о внезапно возникшей между ними непреодолимой дистанции, о молчании, которым он ее оттолкнул. Три года без мужчины — этим все сказано. Но она никогда не признается в этом! Даже самой себе.

Между тем судьба есть не что иное, как форма, которую люди придают своему желанию; судьба и желание рождаются в одной ночи. А ночная жизнь Клеопатры в тот момент ее бытия, жизнь, которая будоражила ее, но которую она ни за что не решилась бы допустить в свое дневное сознание, заключалась в том, что царица была уже готова забыть о стратегии и открыться навстречу опасной силе, некогда сделавшей ее царицей: любовной страсти.

Днем и ночью царица неутомимо придиралась к мельчайшим недостаткам своего корабля. Ничто не могло ее остановить; ее упорство, ее желание во что бы то ни стало ослепить римлянина были сопоставимы лишь с атмосферой таинственности, которой она окружила свою деятельность. Таким образом она пыталась скрыть от самой себя то, что, со времени визита эмиссара Антония, медленно созревало в самых сокровенных и неведомых глубинах ее естества.

*

Тем не менее она не утратила своей привычки все рассчитывать заранее; и слухи о ее приготовлениях, несмотря на грандиозность и кропотливость этих работ, не просочились за пределы Александрийского порта — судя по тому, что Антоний вторично послал к ней гонца с приглашением.

Царица вновь дала уклончивый ответ; и римлянин, не зная, что ему еще предпринять, обратился с просьбой о посредничестве к восточным царским домам, к последним родственникам и друзьям семьи Лагидов. Те и

другие принялись уговаривать Клеопатру; и, несомненно, обращали ее внимание на то, что невозможно было бы выбрать для свидания более удачное место, чем город, где ее ждал Антоний: ведь Таре всегда поддерживал Цезаря. В худший период гражданской войны его жители не побоялись переименовать свой город в Юлиополь, и потом убийцы императора подвергли их за это жестоким репрессиям.

Клеопатра, как всегда, выслушивала своих собеседников, улыбалась, соглашалась с ними; но потом вновь принималась разыгрывать комедийную роль безалаберной и забывчивой женщины, тогда как на самом деле дни и ночи напролет готовилась к своему сражению. Между тем время шло; тактика бесконечных проволок становилась бессмысленной и опасной; к тому же ее плавучий театр и актерская труппа были уже в полном порядке. Итак, по всей вероятности к началу сентября, в канун наступления сезона бурь, она, наконец, собралась в дорогу.

*

Дата ее появления перед Антонием, несомненно, была продумана с той же тщательностью, что и вся мизансцена прибытия в Таре. Проблема заключалась в том, как сделать, чтобы после их randevu Антоний, какие бы новости ни приходили из Италии, уже не мог вернуться в Рим. Назначив свой приезд на последние дни перед периодом осенних и зимних ветров, Клеопатра была уверена, что добьется желаемого: с октября по март ни один корабль, если только его капитан не сумасшедший, не покинет пределов своего порта. Как только море закроется для судоходства, ловушка Востока захлопнется за спиной Антония; и у нее, Клеопатры, будет достаточно времени, чтобы этим воспользоваться.

*

Через сто пятьдесят лет после описываемых событий в Средиземноморье все еще захлеб рассказывали легенду, которую Клеопатре удалось вписать в анналы истории в тот день, когда ее корабль вошел в устье Кидна. Люди вновь и вновь вспоминали о том, как судно поднималось вверх по реке, а за ним тянулся Щлейф ароматов; как полуобнаженные девушки выполняли работу матросов; как стайка малышей нежно обмахивала опухшими ресницами царицу, восседавшую на троне под

золотым балдахинном. Но самым удивительным было то, чего она не могла предвидеть заранее (хотя хотела предусмотреть все): толпы людей, от самого устья реки бежавших по обоим берегам вслед за кораблем; жители Тарса, которые, едва завидев паруса царицы, ринулись к морю, — мужчины, женщины, дети, солдаты, рабы, матросы, погонщики караванов, богатые купцы и мелкие торговцы, ослепленные одним и тем же волшебным видением; наконец, сам Антоний, застывший как воплощение римской суровости на возвышении, где, должным образом разодетый, в лавровом венке и кирасе, он ожидал прибытия Клеопатры; Антоний видел, как приглашенные им почетные гости при приближении корабля сорвались со своих мест и смешались с местным населением, увлекаемые тем же чувством, тем же непреодолимым желанием — приблизиться к царице, влить свой голос в общий хор приветствий.

Антоний, все еще сохранявший величественную позу мужчины, полководца, и убежденный в том, что именно он является главным действующим лицом предстоящей церемонии, даже не понял, что произошло. Он вдруг осознал, что остался в полном одиночестве на своей трибуне и растерянно стоит, опустив руки, тогда как корабль продолжает бороздить воды Кидна, приветствуемый ликующими криками толпы.

Все в один голос выкрикивали одни и те же радостные слова: сама Афродита вышла из моря, в котором родилась, чтобы встретиться с Дионисом на освобожденной им земле; они двое, вступив в священный брак и слив воедино силы воды и земли, подарят людям мир и процветание.

Феноменальный взрыв коллективной фантазии, пробудившаяся мечта, импровизированное театральное действие, прилив энтузиазма настолько спонтанный, что даже в самых лихорадочных видениях, посещавших ее на протяжении последних недель, царица не могла вообразить ничего подобного...

И никто из этой толпы даже ни разу не взглянул в сторону человека, который в приветственных выкриках фигурировал под именем Бога-Освободителя; все напрочь забыли о римлянине; это к ней, женщине-богине, устремлялись люди, ее восхваляли как Афродиту, хотя прекрасно видели, что она явилась к ним как Египтянка, в наряде Исиды, с лентой, завязанной под грудью узлом Матери, Богини с мириадами имен; и потом, под своим балдахинном царица приняла величественную и изящную позу, которая характерна только для Единственной, Справедливой, Вечной Утешительницы, Блаженного Прибежища, принявшего облик женщины, для той, что дарит наслаждение, но всегда остается целомудренной, для Прародительницы всего существующего, которая отделила небо от земли,

установила законы моря, подарила мужчинам воинскую доблесть, научила женщин рожать детей, которая есть солнечный свет и источник всех законов. Достаточно просто посмотреть на нее, как она восседает на носу своего корабля; разве не понятно, что она, воистину, — царица ветров и всех соленых вод, госпожа реки, дождей и бурь, та, что открывает море для навигации и поднимает из его пучин на поверхность новые острова; наконец, что она — Владычица Всего, от которой зависят очертания земель и география людских судеб, единовластная Царица Времени?

Декламировал ли в тот миг кто-то из стоявших на носу корабля старую египетскую молитву, которая с каждым годом все чаще звучала в городах Востока и даже Запада, — гимн, обращенный к Матери и к Спасителю, который отомстит за своего отца? Мы не знаем; ясно лишь, что миг этот, как и хотела Клеопатра, был воплощением чистой красоты; чудом, пришедшим в наш мир и слишком желанным, чтобы пытаться определить его точные географические рамки, чтобы, скажем, привязать его к пирамидам, Фаросскому маяку или Родосскому колоссу.

Волшебство, придуманное Клеопатрой, было движущимся, мимолетным видением; и тем не менее слух о нем пережил века. Может быть, так получилось из-за последней картины, которой закончилось это чудо, еще более поразительной, чем оно само: в момент, когда корабль встал на якорь, когда толпа увидела, что он сделан из дерева, как все корабли, и что им командует женщина, а не богиня, все повернулись в сторону города, Антония. Римлянин показался им персонажем из фарса: один посреди совершенно пустой трибуны, одетый в роскошную военную кирасу, он застыл, как и предвидела Клеопатра, в нелепо величественной позе — и с разинутым от удивления ртом.

*

Он располнел, она сразу это заметила, и теперь кое-где его мускулы покрывал солидный слой жира. Ничего удивительного: когда мужчине сорок два года, десяти месяцев непрерывных кутежей и безделья вполне достаточно, чтобы его фигура слегка расплылась. Но, с другой стороны, отечность на лице, небольшое брюшко свидетельствовали о том, что влияние Антония значительно выросло. Сам Геркулес (римлянин наверняка прожужжит ей о нем все уши) всегда жрал, как пятнадцать человек. Что мешало ему совершить двенадцать подвигов и перепортить столько нимф и цариц, сколько их тогда носила земля.

Клеопатра знала, что, едва будет брошен якорь, явятся эмиссары Антония и предложат ей принять участие в какой-нибудь пирушке. Она не ошиблась. Выйдя из своего ступора, римлянин первым делом послал к ней людей с приглашением на банкет.

Он хотел, чтобы она посетила его в тот же вечер. Она отказалась и настояла, чтобы он первым нанес ей визит. Корабль, да и сама царица заинтриговали римлянина. Он согласился; как только сгустились сумерки, перед самым его приходом, на корабле, в полном соответствии со столь тщательно разработанным планом, зажглась иллюминация. У Антония, во второй раз за этот день, перехватило дыхание.

После обеда, возвращаясь домой, взволнованный и, несомненно, втайне раздраженный Антоний сказал себе, что должен перещеголять царицу. К несчастью, до ее визита оставалось всего несколько часов — да и он был всего лишь римлянином.

Он сделал все, что мог; но с первых минут обеда, на который пригласил Клеопатру, понял, что потерпел фиаско.

Смирившись со своим поражением, он рассмеялся. Она — тоже. Тогда он почувствовал себя более уверенно и рискнул рассказать пару-другую анекдотов. Она подхватила тему, сама что-то рассказала. Он осмелел, перешел к более хлестким историям. Она тоже знала такие — ничто, казалось, ее не смущало: ни сомнительные намеки, ни откровенные вольности, ни даже прямая похабщина. Он, разумеется, заговорил о Геркулесе. Царица ответила, что в этом смысле она и Антоний могут считаться кузенами: Лагиды тоже претендуют на то, что вышли из геркулесовых чресл...

Антоний в третий раз был застигнут врасплох — хотя считал себя знатоком женщин и думал, что со времени вечеров в Трестевере знает о царице все. А ведь она не похорошела с тех пор. Присутствие ли Цезаря, заставлявшее Антония инстинктивно сдерживать свои порывы, или страстное увлечение Фульвией сделали его тогда невосприимчивым к обаянию Клеопатры? Сейчас просто в глаза бросалось, что ее манера вести себя совершенно неповторима: эти движения, улыбки, интонации, это сочетание дерзости и мягкости, которое создает иллюзию, будто все легко и осуществимо и обещает если не счастье, то, по крайней мере (на данный момент), удовольствие...

Клеопатра будто скрывала в себе стрекало, добавляет в этом месте своего рассказа грек Плутарх, единственный историк, который собрал (через два поколения после описываемых им событий) устные свидетельства о связи Антония и царицы Египта. Эти слова можно понять в

том смысле, что Антоний пытался сопротивляться чарам Клеопатры, но таинственное «стрекало» — по-гречески *κεντρον* — помешало ему; с того момента, как оно коснулось Антония, его судьба, по мнению историка, была решена.

Образ, использованный Плутархом, несмотря на его очевидную расплывчатость, при ближайшем рассмотрении оказывается весьма красноречивым: слово *κεντρον* обозначает острый конец палки, которой погоняют норовистого коня, или хлыст с металлическим шариком на конце, обрушивающийся на его спину; а также жало осы или скорпиона. То есть историк изображает последнюю царицу Египта как первую из роковых женщин. Клеопатра опаснее, чем Елена, соблазнившая Париса, потому что, в отличие от последней, побеждает не благодаря своей блистательной красоте, но с помощью тайного оружия; она — колдунья, наподобие нимфы Калипсо или волшебницы Цирцеи, достаточно могущественная, чтобы превратить мужчину в слепо подчиняющееся ей существо.

Уже само грамматическое построение фраз в дальнейшей части рассказа Плутарха настойчиво подчеркивает ту же мысль: с момента, когда Антоний становится любовником Клеопатры, историк, описывая его состояния, применяет почти исключительно пассивные конструкции. Это роман, написанный с мужской точки зрения — писателем, который через полтора века все еще испытывает шок перед всемогуществом страсти, сыгравшей определяющую роль в данном эпизоде. С другой стороны, Плутарх не показывает нам события во всей их сложности, со всем богатством деталей. Он не говорит, чем закончился банкет у Антония, потому что одержим мыслью о другом конце: трагедии, которая десять лет спустя унесла жизни обоих любовников.

Мы, следовательно, не знаем, в тот ли или на следующий вечер Клеопатра стала любовницей Антония; не знаем, упала ли она в его объятия, как всегда потом говорили, с единственной целью — полностью подчинить себе; или, устав от многомесячного ожидания, она, как и он, выпила лишнего, покоряясь взгляду, в котором угадала то же влечение к бездне, какое было свойственно ей самой, и потом, без всяких мыслей, просто отдалась мужчине, который повсюду — от Галлии до Сирии — умел привлекать к себе женские сердца. Была ли то власть желания или желание власти — разобраться непросто; и если мы хотим хоть что-то понять, нам придется удовлетвориться словом, которым пестрят все рассказы об их долгой связи: *έρως*. Оно обозначает не любовь, но наркотик секса, который, как считали древние, попадает в кровь, подобно яду. Человек к нему привыкает. И испытывает, как они говорили, боль, бесконечное

наслаждение, бог весть что еще — это не важно, потому что единственным исходом подобной болезни может быть смерть, которая наступает очень быстро.

Но почему мы должны приписывать царице Египта роль соблазнительницы-колдуньи, почему с самого начала должны видеть в Антонии ее жертву? Столько женщин были без ума от него, начиная с Фульвии, его законной супруги... Почему не поверить, что Клеопатре в тот осенний вечер, когда с моря повеяло прохладой, захотелось сильного мужского тела, пусть и слегка отяжелевшего от обильной азиатской пищи и вин, что она нуждалась в его нежности, желала забыть на несколько часов свое царство, свой город, свои интриги, своего ребенка? Не будем же отказывать ей в том, что так естественно для других женщин: в праве на передышку, на неосознанное стремление изгладить из своей памяти первое любимое тело, ныне ставшее пеплом, — Цезаря.

Антоний — человек прямодушный, жизнерадостный, открытый. Любовь, которую он предлагает, на первый взгляд кажется успокоительным прибежищем, во всяком случае, чем-то совершенно отличным от ощущений, которые Клеопатра испытывала в объятиях Цезаря: император, конечно, тоже был либертином, и притом из числа самых опытных, но занимался любовью так же, как воевал, — как стратег наслаждения, рассчитывающий все, не оставляющий места для самозабвенного экстаза. Антония же самозабвение — в моменты празднеств, радости, всевозможных бесчинств — доводило почти до безумия. Таким же был и Флейтист, и многие мужчины из дома Лагидов до него. Почему же ей, Клеопатре, не последовать их примеру?

Начинается ночь, свободная и радостная, — начинается с голода и жажды, с желания жить. Пусть же в ней звучат, как заклинания против смерти, шорохи и смех, пьяная мужская отрыжка; пусть в ней будут хмельное вино, слившиеся губы, раздвигающиеся женские ноги, поцелуи в засос, запахи подмышек и паха. И пусть все закончится единственным оцепенением, способным освободить: блаженным сном двух тел, теперь слегка отстранившихся друг от друга.

*

С того ли самого вечера они начали разыгрывать друг перед другом комедию, навязанную им толпой в момент прибытия корабля Клеопатры: стали изображать божественный брак, Афродиту в гостях у Диониса,

Исиду новых времен, которая, ради спасения мира, открывает свои объятия и свое чрево для нового Осириса? Мы этого не узнаем; как не узнаем и того, пили ли любовники до утра или продлили свой праздник, прихватив еще и следующую ночь, что очень скоро вошло у них в привычку; и еще мы не знаем, носила ли Клеопатра уже тогда кольцо с выгравированным на нем словом *μέθη*, «(сладостное) опьянение».

На протяжении веков многие люди, заразившись неистребимой ненавистью, которую испытывал к Клеопатре Октавиан, повторяли на все лады рассказы о том, что уже с первого вечера царица, дабы обольстить и привязать к себе Антония, пользовалась тайными снадобьями, прозрачными одеждами, ласками, каких римлянин никогда прежде не знал, колдовскими чарами и приворотными зельями. Конечно, как истинная дочь Александрии, Клеопатра должна была иметь благовония, ароматы которых ее любовнику прежде редко доводилось вдыхать; и она наверняка пришла на его праздник в самом красивом из своих нарядов. Но, чтобы пробудить плотское желание, не нужны колдовские приемы — тем более что царица делила свою постель только с Цезарем, а после его смерти отказывала себе в тех радостях, которыми может одарить мужчина. Что касается Антония, то ему вскоре предстояло вернуться к походной жизни; он, как и его предшественник, хотел сравняться с Александром — и вот теперь сжимал в своих объятиях наследницу великого македонского полководца...

Поэтому ничто не заставляет нас думать, что этот их первый вечер был чем-то большим, нежели мгновением передышки, вырванным у жестокой жизни, блуждающим пузырьком в пучине времени, случайным приключением, которое, как они оба думали, останется без последствий, несколькими часами наслаждения, никак не связанного с их непосредственными интересами. Часто любовники последними понимают, что именно у них общего и как получилось, что они, легкомысленные и свободные существа, вдруг оказались соединенными прочнейшими узами. Впрочем, в первое время после встречи в Тарсе Антоний и Клеопатра, судя по сохранившимся свидетельствам, вели себя так, будто все еще оставались хозяевами своих судеб или, по крайней мере, сохраняли иллюзию своей полной свободы.

Итак, эти ночи Клеопатры окутаны покровом тайны еще в большей мере, чем ее отношения с Цезарем (потому что, думая о тогдашней юности царицы, мы порой можем догадаться о том, о чем умалчивают хроники), и навсегда останутся во власти другой царицы наших сновидений — фантазии.

Уверенность двух любовников в том, что они по-прежнему свободны, могла укрепить переговоры, которые они вели в последующие дни и которые почти в точности соответствовали их предварительным планам. Антоний без очевидных затруднений вернулся к своему первоначальному сдержанному тону и строго спросил у Клеопатры, в силу каких таинственных обстоятельств легионы, оставленные Цезарем в Египте, перешли к Кассию; потом он потребовал у нее разъяснений относительно эпизода с бурей: действительно ли присоединиться к его армии ей помешал ураган, или же она просто предпочла вести двойную игру?

Эта встреча двух хищников проходила при свидетелях. По словам последних, Клеопатра нисколько не смутилась, услышав обвинения Антония, и отвечала настолько искусно, что быстро убедила его в своей лояльности.

По своему обыкновению, она захотела как можно скорее извлечь выгоду из достигнутого успеха. И немедленно попросила у Антония голову того мошенника, что выдавал себя за одного из ее покойных братьев. Она преследовала самозванца по всему Египту, но он сумел скрыться в каком-то сирийском храме; и теперь, живя там и пользуясь священным правом убежища, продолжал с отчаянной энергией заявлять о своих правах на египетский престол.

Антоний без колебаний согласился нарушить неприкосновенность храмовой территории и казнить преступника. Тогда Клеопатра набралась смелости и потребовала смерти Сарапиона, вероломного наместника Кипра, который послал корабли убийцам Цезаря.

Она без труда добилась и этого. Потом, в том же мстительном порыве, царица ополчилась против верховного жреца эфесского храма, на территории которого все еще прозябала ее сестра. Клеопатра утверждала, будто этот человек поддерживал попытки ее соперницы захватить трон Египта; она также хотела, чтобы Антоний выполнил ее самое заветное желание, в котором ей столь решительно отказал Цезарь: уничтожил Арсиною.

Святотатства никогда не пугали Лагидов, однако римляне с большой осторожностью относились ко всему, что касалось богов, особенно если эти боги были чужими. Кроме того, посягнув на неприкосновенность святилища в Эфесе, Антоний нанес бы оскорбление самому большому и почитаемому храму во всем мире.

Мы не знаем, каким образом Клеопатре удалось добиться своей цели; может быть, именно в этот момент переговоров она бросила к ногам Антония мешки со звонкой монетой, которые прежде прятала в трюме и в которых он так нуждался, чтобы заплатить жалованье солдатам. Как бы то ни было, Антоний согласился.

Правда, жизнь верховного жреца он все-таки отстоял. Во-первых, потому, что при получении известия о предстоящей казни этого человека жители Эфеса подняли невообразимый шум. И они были правы: разве не в храме Артемиды Эфесской Антоний шесть месяцев назад принес жертву Богине-Матери? Великолепие этой церемонии было под стать искреннему благочестию, которое он проявил. Жители Азии еще, пожалуй, допустили бы, чтобы он уничтожил женщину, которая была врагом Цезаря; однако причинить зло жрецу — совсем другое дело, это преступление неминуемо навлечет самые худшие небесные кары на них и, в еще большей степени, на Антония.

Антоний, собственно, и сам так думал: поспорить с азиатами — это еще куда ни шло, но он и помыслить не смел о том, чтобы разгневать Божественную Матерь. Поэтому он выслушал жалобы эфесян, постарался успокоить царицу Египта и, не знаю уж как, заставил ее смириться с его решением. Арсиноя была казнена, но верховного жреца пощадили: сказанное означает, что Антоний, несмотря на давление со стороны Клеопатры, вполне сохранил независимость своих суждений. Когда же царица предложила, чтобы он приехал в Александрию (а ее побуждали к этому как законы гостеприимства, так и дипломатические соображения), Антоний ответил, что у него имеются срочные дела и что он не сможет принять ее приглашение, пока их не закончит.

Ей нечего было возразить. Он поступал так, как требовали и здравый смысл, и ее собственные интересы: некоторые бывшие царьки греческих городов в Азии, которые не желали терпеть над собой опеку Рима, бежали к парфянам; эта коалиция, избравшая в качестве своей базы оазис Пальмиры, перекресток восточных торговых путей, непрерывно совершала набеги на Сирию.

Клеопатра попыталась максимально поднять ставки в игре. Все еще одержимая мечтой Флейтиста — аннексировать Иудею, Сирию и пустыню, через которую пролегают пути к Вавилонии, то есть восстановить Египет в границах времен его величайшей славы, — она нарисовала перед Антонием блестящую перспективу союза с ней, египетской царицей: благодаря ее помощи в плане обеспечения тыла и снабжения армии он мог бы не только победить парфян, но и продвинуться гораздо дальше тех рубежей, которых

в свое время достиг Александр. А потом, в награду за эти услуги, почему бы ему не поставить ее во главе величайшей империи Востока?

Антоний, наверное, на мгновение отдался мечтам, но потом взял себя в руки. И ответил ей (вполне разумно с военной точки зрения), что в данный момент его ждут более насущные дела: он должен изгнать из Пальмиры союзников парфян. И, в любом случае, начинать всегда следует с начала. Что будет дальше, выяснится в свое время; сейчас же великие проекты не стоят в повестке дня.

Царица вновь была вынуждена одобрить его позицию. У нее тоже хватало дел: два неурожайных года опустошили ее государство. Но Египет и после этого оставался богатейшей страной. Разве не было бы разумно, наверное, добавила она, чтобы он приехал к ней и лично в этом убедился? Антоний не устоял перед сладкими грезами и принял предложение. Она, несомненно, дала понять, что будет ждать его сколько нужно; и вежливо добавила, что в Александрии его в любой момент примут как желанного гостя.

Итак, они расстались, как говорят, добрыми друзьями. Клеопатра, без каких-либо видимых эмоций, вернулась на свой роскошный корабль. Антоний, тоже как будто без сожалений, двинулся по направлению к сирийским оазисам.

Но царица, в отличие от него, знала, что она (если воспользоваться выражением Плутарха) — ἀψυκτος, «неизбежная», то есть что от нее невозможно убежать. По причине гораздо более простой и надежной, чем любое колдовство: к тому времени, когда Антоний наведет порядок на караванных путях, море закроется для навигации.

НЕПОДРАЖАЕМАЯ ЖИЗНЬ (осень 41 — осень 40 г. до н. э.)

Рейд Антония в пустыню закончился полной неудачей; этим, быть может, и объясняются странные события последующих недель — не только тот факт, что римлянин очень скоро приехал в Александрию, но и вызывающая вакханалия, которую двое любовников в течение целой зимы разыгрывали на глазах города и всего мира и которую потомки увековечили под именем «неподражаемая жизнь» (так сама Клеопатра назвала братство, основанное ею и Антонием, — и одно это название уже было провокацией).

Между тем вначале эта история развивалась по запланированному сценарию: Антоний, как и намеревался, отправился в глубину пустыни, к Пальмире. Однако на городских укреплениях он не увидел ни одного защитника. Он беспрепятственно вошел в Пальмиру и обнаружил, что город пуст, что ни в святилищах, ни на складах нет никаких сокровищ: жители бежали, прихватив с собой все свое добро. Нечего грабить, нет ни одного предателя, за которого можно было бы потребовать выкуп, ни единого парфянина, чтобы пронзить его мечом.

Антоний по своему обыкновению постарался встретить неудачу с легким сердцем. Его солдаты нуждались в отдыхе, море закрылось для навигации, Восток дремал в зимней неге. Он отложил наведение порядка в Сирии на более поздний срок, поручил командование войсками одному из своих офицеров, а сам решил хорошо провести время и поспешил в Александрию.

Царица, вероятно, не ждала его так скоро; но ее ничто не могло заставить врасплох. С момента его приезда она — как это и принято, когда встречают почетного иностранного гостя, — устраивала в его честь один праздник за другим.

В первое время не происходило ничего особенного; Антоний вел ту же жизнь, что и в Афинах предыдущей зимой: он одевался, как грек, избегал всех отличительных знаков своего воинского достоинства и (несомненно, помня о том агрессивном приеме, который семь лет назад жители Александрии оказали Цезарю) старался держаться как гость в суверенной стране. Ему предоставили царской роскоши апартаменты в старом дворце Лагидов, и он покидал их только ради посещения храмов и гимнасиев, либо

когда хотел пообщаться с философами и учеными Золотого города.

Царица не пыталась скрыть их с Антонием любовные отношения, о них судачил весь город. Но, словно ей мало было этих слухов, она, именно в тот момент, когда ее приключение с римлянином перешло на стадию афишируемой связи, решила основать некий кружок. Она собрала вокруг себя и своего возлюбленного немногих друзей (их, вероятно, было десять); и уже само блистательное название этой ассоциации представляло собой поразительно дерзкий вызов, который царица адресовала своим современникам: *σύννοδος ἀμιμητόβιον*, «общество неподражаемого образа жизни»; или, как потом стали говорить, «кружок неподражаемых».

*

Загадка, связанная с этим эпизодом, одним из самых интригующих в жизни Клеопатры, состоит не в том, что она основала некое братство. Во всем эллинистическом мире, на протяжении нескольких последних веков, во множестве возникали общества взаимопомощи и другие частные ассоциации. Как правило, все они находились под покровительством того или иного бога; праздники и пирушки, которые устраивались на членские взносы, являлись обязательной частью собраний, проводившихся в точно установленные дни и в соответствии со специфическими для каждого из таких кружков ритуалами. Однако никогда еще не бывало, чтобы две такие заметные в обществе личности, как царица и полководец, рискнули позволить себе жест, столь явно низводящий их до уровня частных лиц. Кроме того, никто никогда не слышал, чтобы римлянин очень высокого ранга так тесно общался с эллинами в рамках ассоциации чисто греческого типа.

И наконец, это название — «неподражаемые»... В мире, которому чуждо само понятие личности, в котором индивид считался чем-то совершенно ничтожным, а вся общественная мысль — и у греков, и у римлян — определялась понятиями «пример (для подражания)» и «модель», как могли они набраться дерзости и провозгласить себя существами настолько уникальными, что у них не могло быть ни предшественников, ни последователей? Ведь в том ментальном универсуме, где жили современники Антония и Клеопатры, какое бы поприще ни избрал для себя человек — политическое, художественное, нравственное, военное, литературное, — он должен был прежде всего ссылаться на своих предшественников, соответствовать общепринятым

формам, притворяться, что лишь дублирует сделанное до него; допускался только один вид оригинальности: если кто-то хотел любой ценой познать славу, ему оставалось лишь максимально ярко проиллюстрировать достижения своих предшественников — чтобы самому стать примером для подражания. Какой же дерзостью надо было обладать, чтобы столь очевидным образом отвергнуть традицию и не признавать иного закона, кроме собственной воли?

И как страстно стремились к легенде эти любовники, еще даже не успевшие по-настоящему узнать друг друга; как они сумели заявить всем, что едины в своей единственности; как с самого начала игры заставили мир сделать их двоих персонажами мифа...

От кого же могла исходить эта идея, если не от царицы, которая так долго жила в атмосфере культа другой Неподражаемой, Исиды (именно Исиду впервые называли «единственной» и именно в подражание ей Клеопатра теперь часто облачалась в длинную тунику из белого льна)?

Зато число членов, допущенных в кружок, — судя по всему, их было двенадцать, включая двух любовников, — наверняка продиктовал Антоний: римляне всегда видели в этой цифре счастливое предзнаменование. Однако остальное — непрерывный праздник, который начался той зимой, культ совершенного мгновения, искусство раздвигать границы наслаждения силою мечты, упорное стремление сделать каждый день таким, чтобы не оставить потомкам ни малейшей надежды на его повторение, — инициатором всего этого, вне всякого сомнения, была Клеопатра.

*

Каждое утро, каждый вечер царица изобретательна, как опытный полководец в трудном сражении; кажется, будто она выступила в поход для завоевания мира, мира, в котором ее ждут не новые земли, а неведомые наслаждения; и каждый раз она выходит из битвы победительницей, неумоимо разрушает границы мечты — словно тот бог, черты которого упорно пытается разглядеть в лице своего возлюбленного.

А он, Антоний, в основном удовлетворяется тем, что следует за ней по пятам, предоставляет ей делать то, что она хочет; он заранее побежден, очарован происходящим и повторяет себе, что Бог масок подарил ему маленькую пикантную интермедию, театральную игру и ничего более (так он полагает), зимние каникулы.

Как бы то ни было, царица виртуозно владеет искусством варьировать удовольствия, и в конце концов все это начинает напоминать то умиротворение, о котором говорят философы, отдых души, о возможности коего Антоний, несмотря на свои ученые беседы и свою начитанность, никогда прежде даже не подозревал.

И все же время от времени им овладевает мрачное настроение, он ловит на дне своей чаши с вином какой-то неясный отблеск — и, может быть, задумывается о том резервуаре слабости, который, как он догадывается (в мгновения, когда внезапно испытывает потребность в очищении), скрывается в глубинах его естества. Но он отбрасывает сомнения — ведь зима коротка — и вновь погружается в иллюзию, которую всегда предпочитал реальности. Благодаря царице он получил возможность насладиться игрой и больше не будет прерывать партию.

Тем более что Клеопатра — идеальный партнер, несравненно лучший, чем та актриска, которую он когда-то посадил в носилки и таскал за своим войском. Только Антоний, на свою беду, не видит, что Клеопатра, действительно прекрасный игрок, на сей раз играет всерьез. И прячет от него свою игру — настоящую. Ибо за той игрой, которую она предлагает римлянину, скрывается другая. Обманчивая видимость маскирует истину: царица отчаянно нуждается в нем, Антонии.

Гораздо больше, чем нуждалась в Цезаре, единственном мужчине, которого по-настоящему любила, — потому что ее юность уже иссякла в изнуряющей игре, она это чувствует. И сейчас факты таковы, что ей нужен этот мужчина, этот — и никакой другой. Нужен в ее постели, на границах ее царства, на укреплениях ее города; нужен для ее страны, для ее будущего, для будущего ее сына, для ее подданных, для ее легенды. Она сама не знает, как произошло, что Антоний стал образом из ее снов, формой ее жизни. Она, конечно, зашла слишком далеко. Но ей ли, претендующей на имя Неподражаемой, бояться излишеств?

А он, Антоний, по-прежнему ничего не замечает (или, скорее, позволяет себе потеряться в этом нагромождении обманок), он согласен на все, лишь бы вино было превосходным, а мясо — приготовленным по его вкусу, лишь бы царица блистала красотой и играла изысканная музыка. И он, словно грек (и ощущая себя греком), мгновение за мгновением перебирает четки жизни, смакует свою радость, грезит. Ведь он Неподражаемый, так сказала Клеопатра, и член братства

«неподражаемых», находящегося под двойным покровительством их с царицей любимых богов — Исида и Диониса. Почему же, в конце концов, он должен отказываться от подобных удовольствий? Если они могут сделать его ночи менее тягостными...

И царица, вечер за вечером, грезит вместе с ним. Твое имя, шепчет она, облетит весь земной круг, ты будешь перешагивать через океаны, придавать форму Вселенной ударами твоего меча, ты построишь на море города из кораблей, и из твоего плаща дождем золотых монет посыпятся острова и континенты...

Она, царица, непрерывно обволакивает его своими речами, не перестает грезить наяву и смеяться; и он тоже грезит, и смеется, и говорит ей в тон, что их звезды суть близнецы, что их судьбы будут подобными одна другой — бесподобными...

Она снова смеется в ответ на его слова, хотя знает, что на самом деле их звезды вовсе не следуют одним и тем же курсом: у нее — слишком много сил и амбиций, у Антония — эта тайная вялость, слабость. Но что ей остается делать: разве у нее есть возможность выбора, есть время?

Значит, надо играть, как всегда. Положиться на искусство, которым она владеет в совершенстве: умение быть обаятельной, устраивать праздники, иллюминации, маленькие фарсы, сюрпризы; и еще — на силу иллюзии.

Великолепная декорация, воздвигнутая перед лицом небытия. Но, чтобы удержать римлянина, она не нашла ничего другого — пока не нашла.

И потом, нужно положиться на естественный ход вещей. Ибо у нее, Клеопатры, есть по крайней мере одно преимущество перед Антонием: даже если бы он был самым легкомысленным из мужчин, все равно рано или поздно он, как и все, попадет (она это знает) в ловушку серьезности.

*

А пока они должны были оставаться на высоте того вызова, который бросили миру. И пускались во все более рискованные похождения.

Античные историки, которых эти выходки одновременно отталкивали и привлекали, с удовольствием составляли перечни того, что они называли ночными оргиями, феноменальными пьянками, глупыми бравадами, бесчисленными детскими шалостями и скандалами. К этому каталогу следует подходить с большой осторожностью: по большей части он был продиктован злобным воображением Октавиана и всех тех, кто вслед за ним возмущался дерзостью «неподражаемых». Хроникеры старались

собрать в одном месте все сведения о подобных безобразиях, не заботясь о хронологической последовательности, с единственной целью — убедить потомков в безволии Антония и, главное, очернить Клеопатру.

Тем не менее очевидно, что некоторые экстравагантные выходки, отнесенные античными историками к первым месяцам романа Антония и Клеопатры, на самом деле имели место гораздо позже, в момент, когда эти двое уже порвали все связи с реальным миром и, непрерывно устраивая разнообразные провокации, пытались отвлечься от мыслей о своем будущем.

Часть таких историй носит легендарный характер: рассказывают, например, будто Антоний однажды устроил для царицы особенно дорогостоящий праздник. В конце этого пиршества (поскольку у «неподражаемых» было правило, в соответствии с которым каждый из них всегда старался казаться еще более неподражаемым, чем другие) Антоний побился с Клеопатрой об заклад, что она не сможет промотать за время одного ужина больше денег, чем он. Согласно традиции, Клеопатра ответила на вызов мгновенно: она потребовала, чтобы ей принесли кубок с уксусом. Антоний так и не понял, что она собирается делать, до того момента, когда Клеопатра, как говорят, сорвала со своей шеи огромную жемчужину — именно такие Цезарь обожал дарить своим любовницам, — бросила ее в уксус, подождала, пока драгоценность растворится, и протянула кубок возлюбленному.

Это одна из самых знаменитых страниц истории Золотого города, и одновременно самая лживая: ни один ювелир никогда не видал, чтобы жемчужина превратилась в порошок под воздействием ложки маринада. Однако анекдот, хотя и неправдоподобен, весьма красноречив: он показывает, как сильно Клеопатра потрясла своих современников (одновременно оттолкнув их и очаровав) уже одним тем, что основала свой кружок, — потрясла гораздо больше, чем в те времена, когда жила в Риме и они приходили клевать крошки с ее руки, а потом называли ее презрительной кличкой «Египтянка».

Может быть, она вообще придумала эту штуку с «неподражаемыми» лишь для того, чтобы взять реванш над теми, кто тогда глумился над ней. И все же в период, о котором мы говорим, ее бравада еще не перешла в систематическую провокацию, обращенную к римскому миру; и если мы проанализируем самые надежные источники (в первую очередь Плутарха, получившего информацию от лучшего друга своего деда — Филота, врача, который в ту зиму учился в Александрии), то поймем, что Клеопатра не только не стремилась любой ценой погубить Антония, как настойчиво

повторяют античные авторы, а наоборот, подчинялась (и приближенных заставляла подчиняться) малейшим прихотям своего возлюбленного.

Например, никогда не было точно известно, в какой час Антоний пожелает обедать. Может быть, после возвращения из очередного храма (он иногда проводил там целые дни, обутый в такие же белые сандалии, какие носили греческие жрецы) он захочет сразу сесть за стол. А может, сперва будет много часов подряд пить вино или вести нескончаемые философские беседы. Но, в любом случае, как только Антоний проголодается, он потребует, чтобы его накормили немедленно — и чтобы мясо было приготовлено в точности по его вкусу.

Филот чувствовал себя настолько своим человеком во дворце, что мог заглянуть на кухни или прогуляться поблизости от обеденной залы. Как-то он узнал, что вечером будет прием на двенадцать человек (несомненно, речь идет о собрании «неподражаемых»). Подстрекаемый любопытством — чего только не болтали в городе об этом кружке, основанном царицей, — Филот проник на кухню и увидел множество рабов, которые суетились вокруг гигантской жаровни, переворачивая вертела: он насчитал не меньше восьми кабаньих туш. Филот вытаращил глаза и спросил у повара, что происходит. Тот объяснил, что готовит столь обильную пищу каждодневно — с тех пор, как Антоний поселился во дворце: поскольку римлянину не нравится пережаренное мясо, царица приказала, в соответствии с точными кулинарными расчетами, насаживать на вертела одну за другой восемь цельных туш, так, чтобы в любой момент можно было отрезать кусок, который нравится Антонию, и чтобы мясо оказалось приготовленным совершенно по его вкусу.

Смысл этого анекдота понятен: капризничала не Клеопатра, а Антоний; царица же, вместо того чтобы варить в отдаленных покоях дворца бог весть какой любовный напиток, муштровала своих слуг, приучая их исполнять все, даже самые вздорные желания ее возлюбленного. Чтобы удержать его в Александрии, она не нуждалась в приворотных зельях: для этого достаточно было потворствовать его прихотям.

Из сказанного вовсе не следует, что Клеопатра, в период своей второй связи, отбросила всякий политический расчет. Напротив, она собиралась сделать из Антония преемника Цезаря, гаранта политической независимости и территориальной целостности ее государства. И добиваясь от слуг, чтобы по первому требованию Антоний получал свое сочное филе кабана, царица не забывала говорить с ним самим — в постели или за столом — обо всех вещах, которые могли бы подогреть в нем желание стать завоевателем еще более блистательным, чем Александр, еще

более гениальным, чем Цезарь: о том, сколько новых континентов откроется перед ним, как только он разобьет парфянский заслон, за пустынями и степями... А потом он станет владыкой не только чудес пространства, но и чудес времени; войдет в легенду — и она, конечно, вместе с ним, ибо они вместе осуществят (не правда ли?) эту мечту, один с помощью другого, один ради другого; они останутся в бесконечности веков, объединенные одним желанием — неслыханным, таким, которое невозможно воспроизвести, которое останется неподражаемым навсегда.

Навсегда, повторял Антоний и требовал еще вина, чтобы запить свой кусок мяса, — почему бы и нет, ведь, в конце концов, он уже идет по стопам Цезаря, целую зиму милуется с царицей, пока нет войны. Если они и вправду «неподражаемые», пусть начинается праздник, что же касается всего остального — да пропади оно пропадом!

И он придумывал новые и новые капризы. А она неизменно с ним соглашалась и выполняла их с той же тщательностью, какую прилагала ко всему, что делала. Более того: она предугадывала его желания, старалась придумывать еще не виданные удовольствия. И каждый раз, заметив на лице Антония выражение крайнего удивления — как в Тарсе, когда он застыл перед ней с разинутым ртом, он, будущий завоеватель мира, — она смеялась и поздравляла себя с выигранной партией.

Но с этим мужчиной каждое утро все приходилось начинать заново; и, что бы царица ни предпринимала, она не могла уловить в глазах своего возлюбленного отблеск той великой надежды, которой вдохновлялась сама.

*

Тем не менее она пробовала все, не отставала от него ни на шаг, была рядом, когда он тренировался в гимнасии, беседовал с людьми, когда вдруг решал устроить учение для своего маленького военного эскорта, поиграть в кости, поохотиться на уток в тростниковых зарослях Мареотийского озера, поудить там рыбу, когда пил до утра, когда инкогнито бродил по улицам Александрии, — сопровождала его повсюду. И даже когда на Антония нападала тоска — это внезапное отвращение ко всему, от которого его взгляд становился тусклым, как у умирающего, — она умела одним словом вернуть его к жизни.

Он не мог ей противиться, даже в такие мгновения, потому что она уже знала в общих чертах все его склонности, например, любовь к переодеваниям (это была настоящая страсть, как некогда у Флейтиста, и он

находил ей применение даже на войне) — свойство, которое у римлян встречается нечасто. Но он, Антоний, всегда смешивал жизнь и игру и в этом действительно походил на греков; можно было подумать, что в нем самом есть что-то женское, как во многих актерах.

Что ж, Клеопатра тоже станет актрисой, она сбрасывает тунику Исиды, надевает поношенное платье слуги и заключает пари с Антонием, что в таком виде, переодетая мужчиной, пройдет по улицам Александрии.

Какая царица до нее осмеливалась на подобное? Ни одна. Ну и что? Клеопатра же говорила, что она неподражаема...

Скоро ночь, пробил час, когда последние гуляки, сморенные усталостью, собираются, наконец, укладываться спать. Антоний тоже облачается в маскарадный костюм, парочка незаметно выскальзывает из дворца и отправляется в рейд по спящим улицам. Оба, как всегда, изрядно выпили, это точно. Они выбирают первую попавшуюся дверь, начинают барабанить в нее, зовут на помощь, выкрикивают ругательства. За переплетами окон появляются мужские и женские головы. Царицу и Антония принимают за тех, кем они и хотели казаться: за подвыпивших слуг. На них обрушивается град оскорблений — и дождь нечистот. Перепачканные с ног до головы, они делают непристойные жесты, кричат громче; тогда двери распахиваются, выскакивают какие-то люди с дубинами в руках, любовники убегают прочь по темным переулкам, продолжая вопить на ходу. Весь квартал просыпается, приключение слишком затянулось; шутники, запыхавшиеся, но умирающие от смеха, растворяются в ночи.

На другой день все, конечно, должно повториться. Но повторение не получится таким же забавным: у него будет привкус *déjà vu*^[96]. Действительно пикантным — неподражаемым — было бы, если бы они позволили себя поймать, отколошматить как следует и при этом вовремя унесли бы ноги. Кто — Антоний или царица — предложил такое пари, мы не знаем. Известно лишь, что любовники вновь переоделись и разыграли под каким-то окном свою маленькую комедию. Антоний, как и обещал, позволил себя поймать. Его отдубасили на славу, как лист папируса; только потом он сказал, с кем они имеют дело. Он был сплошь покрыт синяками — но пари выиграл.

На следующее утро слух о ночном маскараде разошелся по всей Александрии. Однако вместо того, чтобы возмутиться, возненавидеть царицу за ее детскую шалость, как они ненавидели Флейтиста, вместо того, чтобы обличать Антония, как когда-то обличали Цезаря, горожане стали смеяться — они тоже хотели поучаствовать в этой пьесе, вписать свою

часть сценария в этот фарс.

Когда в последний раз Александрия любила своих владык? Несомненно, во времена первых Птолемеев, Филадельфа и Арсиной, которые основали Библиотеку и Мусейон, построили Фаросский маяк. А когда горожане испытывали дружеские чувства к римлянину? Такого прежде вообще не было.

Зато теперь ни одна кошка не бросалась в ноги Антонию, ни одной злой насмешки не звучало, когда он проходил по улицам; если к нему и обращались с шуткой, то как к приятелю, и в жанре, который он любил: это были грубоватые, бьющие точно в цель остроты. И он отвечал в том же тоне, всегда находил нужное слово, ибо прекрасно знал и греческий язык и самих греков.

Так что когда Антоний поворачивался спиной, тот из присутствующих, кто отваживался что-то о нем сказать, обычно величал его великим актером, достаточно одаренным, чтобы играть трагедийные роли в Риме и комедийные — на улицах Александрии. Подобные слова в Золотом городе — лучший комплимент. В самом деле, говорили они, этот римлянин — презабавный. А царица, сделавшая его своим любовником, неподражаема; это так же верно, как то, что она сама об этом заявила.

И вот, каждую ночь вся Александрия не спит и ждет: не вернутся ли царица и ее любимый, чтобы опять поиграть в прятки. Ожидания никогда не бывают напрасными: эти двое приходят. Устраивают новые проделки, еще более забавные, чем старые; и теперь весь город придумывает ответную шутку, она срабатывает, все кругом хохочут, держатся за бока от смеха; горожанам, как и любовникам, кажется, будто они снова нашли путь радости.

Александрия в такой же мере забывчива, в какой царица влюблена. Серия кровавых убийств во дворце, тяготы войны — все растворяется в этом детском празднике; и горожане, как и царица, убеждают себя в том, что в Антонии, столь похожем на Диониса, они, наконец, обрели единственного бога, который способен затмить славу Александра, самого неподражаемого из всех завоевателей.

Но только уж кто-кто, а гениальные полководцы определенно не имеют права на забвение, по крайней мере на длительное; Антоний же, отдавшись потоку удовольствий, которые предлагала ему Клеопатра, не хотел видеть ничего, кроме текущего мгновения.

Взять хотя бы этот случай с рыбалкой, когда не было клева. Клеопатра, как всегда, сопровождала Антония. Он чувствовал себя униженным от того, что ему не везло в ее присутствии. И хотел любой ценой спасти свое

реноме; поэтому шепнул одному рыбаку, более удачливому, чем он сам, чтобы тот, когда царица отвернется, нырнул под воду и незаметно прицепил к крючку Антония свою рыбу.

Этот маневр, конечно, не укрылся от Клеопатры. Но она притворилась, будто ничего не заметила; а на другой день, когда Антоний пожелал вновь подразнить рыбок, вместо того, чтобы думать о более серьезных вещах — например, о парфянах, которые, по слухам, уже замыслили новый набег, — царица подготовила для него нравоучительный урок в своем стиле, басню без слов. Он хочет рыбачить — что ж, они отправятся на рыбалку; а там будет видно, что он поймает.

В самом деле, не успел Антоний забросить удочку, как леска натянулась. Окрыленный успехом, он бросился на свою добычу. Но вытащил всего лишь понтийскую вяленую сельдь — из тех, которые продаются целыми бочонками на пристанях Александрии, — к тому же вонючую. От неожиданности он потерял голос — и всю свою радость. Клеопатра рассмеялась: «Удочки, император, оставь нам, государям фаросским и канопским. Твой улов — города, цари и материки». Шутка-предостережение...

Впрочем, зима уже кончалась, и Клеопатра, видимо, адресовала свою побасенку не только Антонию, но и самой себе. Сезон любви близился к завершению, она это знала: на горизонте, за спиной статуи Исиды Фаросской, небо очистилось от облаков; а в порту уже готовились к церемонии открытия навигации.

Но зачем оглядываться назад? Она заключила еще одно пари: о том, что устроит праздник более длительный, более совершенный, чем все, что были в ее жизни прежде. Город и мир и так навсегда запомнят эти несколько зимних недель, ей осталось лишь завершить их достойным образом — моментом абсолютной красоты.

Начала ли тогда Клеопатра разрабатывать грандиозную мизансцену, о которой мечтала, более удивительную, чем все торжества, которые придумывала до тех пор? Это вероятно, но доказательств тому мы никогда не получим, потому что в конце февраля, примерно за месяц до праздника открытия морской навигации, гонцы доставили из пустыни очень плохую новость: парфяне наводнили всю Сирию.

Они взяли ее в клещи, напав одновременно с севера и с юга, и им помогал римский предатель, избежавший гибели в бойне при Филиппах; за безопасность Иудеи теперь никто не поставил бы на кон и ломаного гроша.

Антоний понял, что обязан немедленно вмешаться: бездействие в данном случае означало бы конец его восточной мечты. И конец

Клеопатры: ибо одна из колонн захватчиков уже подошла к границам Египта.

Антоний собрался за одни сутки и покинул царицу; почти в это же время (несколькими днями позднее) Клеопатра узнала еще одну новость: она забеременела.

ДРУГАЯ ЖЕНЩИНА (март — октябрь 40 г. до н. э.)

И что же? Он ее бросил. Бежал — от нее, от которой убежать невозможно. Она играла, делала все, чтобы победить. И потерпела поражение.

Его больше нет здесь, ни для чего. Ни для любви, ни для войны. Чтобы защититься от врагов, которые сосредотачиваются на северной границе, у царицы остаются только ее флот и несколько сотен египетских солдат.

Все, на что она может надеяться, — это что парфяне не перейдут в наступление, что они, например, захотят для начала проглотить Иудею (тем более что уже захватили Иерусалим и депортировали тамошнего царя).

В довершение всего Антоний, едва показавшись в Сирии, покинул Восток. Сел на корабль и взял курс на Запад. Поехал на Родос, как ей сообщили, потом в Афины; а оттуда, вне всякого сомнения, направится в Италию.

Конец всем планам войны с парфянами. Не успев даже начать эту войну, Антоний повернулся спиной к пустыне, ее оазисам, царствам, полным сокровищ, к которым ведут караванные пути. Он отказался от идеи завоевания мира; и, главное, сделал это ради женщины — ради Фульвии, своей законной жены.

Эта Фульвия, разыгрывая из себя мужчину и полководца, появляясь повсюду с мечом у пояса и отдавая истеричные приказания легионерам своего мужа, умудрилась каким-то чудом менее чем за три месяца вновь ввергнуть Италию в хаос. Доведенная до иступления тем, что хвори Октавиана все никак не уносят его в могилу, она пожелала натравить на него пехотинцев Антония и стала соответствующим образом настраивать народ. Но Октавиан, худосочная тварь, не собирался сдаваться, а окопался, как обычно, в надежном укрытии и ответил ей провокацией в своем стиле, одним из тех хитроумных оскорблений, за которые невозможно отомстить, не попавшись в ловушку: он вернул ей ее дочь, ту самую Клодию, которую Фульвия родила в первом браке и на которой Октавиан был вынужден жениться, чтобы гарантировать мир.

Развод обернулся позором для Клодии: за два года их совместной жизни Октавиан, чье увлечение девственницами было общеизвестно, ни разу к ней не притронулся. И, прежде чем ее выгнать, похвастался этим.

Как и следовало ожидать, Фульвия взъярилась; она собрала солдат Антония и бросила их в атаку на легионы Молокососа. Тот, понятное дело, ускользнул; военным сражениям он предпочитал другую тактику, которой владел в совершенстве, — войну слов — и непрестанно осыпал супругу Антония десятками маленьких отравленных стрел. Он сочинял убийственные эпиграммы и распространял их по всему Риму. Народ их охотно подхватывал; говорили, например, Фульвия воюет лишь потому, что Антоний ей изменил, у нее зуд в ягодицах и ей не терпится переспать с Октавианом, да только он, Октавиан, ее не хочет, как не захотел ее дочери: «Или ты меня поцелуешь, или будет война, заявила мне Фульвия. Но мне моя свобода дороже жизни! Так что, трубачи, играйте сигнал атаки!»

Фульвия не пожелала оправдываться, осталась во главе своих легионов, и именно ее трубачи первыми подали сигнал к бою. Октавиан, который по-прежнему впадал в нервозность при одной мысли о том, что ему, быть может, придется принять личное участие в сражении, выставил против нее своего лучшего стратега, Агриппу. Агриппе за несколько недель удалось кардинально изменить ситуацию: он запер сторонников Антония в крепости Перузия^[97]; и в то время как сам Антоний, не подозревая об этой драме, предавался в Александрии утехам «неподражаемой жизни», им пришлось выдержать одну из самых тяжелых осад за всю историю Италии. В феврале, отчаявшиеся и отощавшие, высохшие, как скелеты, они сдались.

Тогда Октавиан выполз из своей норы и распорядился, чтобы их обезглавили; когда же раздались протесты против этой новой бойни — убийства не менее чем трех сотен римских аристократов, — он ответил, что их кровь будет принесена в жертву манам Цезаря. Сам город был сожжен. Так менее чем за три месяца Италия, из-за глупости Фульвии, оказалась в руках Молокососа. Испуганная Галлия тоже перешла на его сторону (ему даже не пришлось посылать туда войска), а затем ее примеру последовал весь Запад. Итог очевиден: за время своих зимних «каникул» Антоний потерял все или почти все. У него остался только Восток. Но оттуда он сбежал.

*

Он снова увяз в паутине глупых амбиций, мелочных склок между Октавианом и Фульвией, внутрисемейных, домашних ссор, мизерных войн, в которых участвуют такие же мизерные полководцы — какая гадость... Куда девались великие мечты «неподражаемых»? И что теперь делать ей?

Смеяться? Плакать?

Но от слез царица отказалась давным-давно, оставив их людям заурядным, тем, кто еще не понял, что удары судьбы следует встречать, как встречают врага: с высоко поднятой головой, бравируя своим презрением к опасности, с сухими глазами, выпрямив спину. Что касается ее смеха, то после отъезда Антония он утратил былую искренность, звонкость и стал каким-то скрипучим, желчным, отражающим нараставшую в ней злобу, — было ли то предчувствие небытия?

Однако сейчас ей нужно жить и произвести на свет новую жизнь. Во второй раз она станет матерью ребенка, лишеного отца, царицей без царя. Роды должны быть в октябре, а может, и раньше: она ощущает себя гораздо более грузной, чем тогда, когда носила своего первенца; и не припомнит, чтобы в тот раз ее живот рос так быстро, раздувался до таких размеров.

*

Что ж, остается ждать осени. Тяжелее всего будет летом; да и сейчас по ночам ее мучает бессонница, память о возлюбленном.

Ждать, глядя на море. В ее городе все, кто потерял надежду, обращают свой взгляд в ту сторону.

Вон парусник огибает остров Фарос, лавирует, чтобы не налететь на риф. И сразу забилось сердце: ведь как только море открылось для судоходства и волны стали улыбчивыми, словно стихи «Одиссеи», царица вновь разослала своих шпионов, чтобы они бороздили проливы и высаживались на архипелагах. От Родоса до Самоса, от Делоса до Эфеса и Афин, на Корфу, в Брундизии, Неаполе, Анции, Остии — повсюду они охотятся за новостями, вылавливают секреты; и теперь, один за другим, начинают возвращаться к ней.

Она живет в ритме их появлений, колеблется между отчаянием и надеждой. И, прочитав и перечитав очередное послание, выслушав вестника и заставив его повторить рассказ еще раз, неизменно задает одни и те же вопросы: что произошло в самое последнее время? И что делает Антоний в данный момент?

Не нужно, значит, позволять себе смотреть туда, куда сам собой обращается взгляд: на море. Лучше снова и снова обдумывать письма — терпеливо, не торопясь; и постепенно выстраивать из разрозненных кусочков мозаичную картину жизни отсутствующего.

Сначала, сообщают агенты Клеопатры, Антоний отправился в Афины:

именно там назначила ему свидание Фульвия, вынужденная после своего поражения бежать из Италии. Но Фульвии даже не пришлось оправдываться в своих действиях: Антоний обрушил на нее такой взрыв негодования, на какой способен лишь разгневанный Юпитер, и она предпочла немедленно удалиться.

В первый раз Антонию хватило смелости, чтобы противостоять воле жены. Откуда же он мог почерпнуть для этого силы, если не из ночной «неподражаемой жизни» в Александрии? Он не попытался догнать Фульвию, а, как только она уехала, успокоился, обрел прежнее хладнокровие и направился в противоположную сторону — по своим делам.

Антоний, увы, спешил в Италию (так сообщили шпионы Клеопатры), в порт Брундизий, где его поджидал по-прежнему коварный и все более наглевший Октавиан.

*

Война неминуема, уверяют царицу ее осведомители, и нет никакой уверенности, что победа достанется Антонию: с тех пор, как Октавиан стал владыкой Запада, на его сторону перешло много талантливых людей; и потом, нельзя не признать, что Молокосос — гений по части вероломства, хитроумных ловушек.

Доведется ли ей когда-нибудь вновь увидеть Антония? Ждать с каждым часом труднее. Уже середина лета, корабли приходят и уходят, привозят многочисленные слухи из гаваней и с караванных путей, слухи, которые часто оказываются бесполезными, потому что никто не знает, соответствуют они действительности или нет. Однако наступает день, когда сведения из разных источников совпадают: говорят, будто здоровье Фульвии сильно пошатнулось.

Царица сияет, злорадствует, на устах ее — горькая улыбка: после отъезда Антония она способна радоваться только таким образом. Но она еще не насытилась мстительной надеждой, хочет большего, гораздо большего: знать о другой женщине все.

Фульвия, докладывают ей, нашла прибежище поблизости от Коринфа. Гложет ли супругу Антония какая-то болезнь или отчаяние? Никто не знает; известно лишь, что она больше не покидает своих покоев и хиреет на глазах.

Новый взрыв злорадного смеха. Ибо она, Клеопатра, напротив,

набирает силу, толстеет и уже сейчас похожа на передвижную башню — тяжелая, грузная, могучая, как Исида во всем величии ее беременности.

Антонию бы она понравилась и такая. Но он уехал, чтобы разыгрывать из себя римлянина, играть в войну. Кто-то все-таки сообщил ему, что царица скоро родит. Он в ответ прыснул со смеху и заявил, что видит в этом лишнее доказательство своего родства с Геркулесом: тот тоже всюду, куда ступала его нога, оставлял после себя обрюхаченных баб...

Одна из тех грубых шуток, которые любит Антоний — и над которыми Клеопатра сама охотно смеялась прошлой зимой, когда они вдвоем куролесили на улицах Александрии. Но чтобы так унижить царицу, уподобить шлюхе ее, последнюю из рода Лагидов...

А ведь Антоний первым тогда, в праздничной Александрии, сказал, что она — самая неподражаемая из женщин... Неужели он и вправду является тем чудовищем, которое увидел в нем Цицерон, — злодеем и грязным развратником, олицетворением порока?

Но ведь нельзя не признать, что именно из-за его плотоядной ненасытности, из-за этой жадности хищника, не признающего над собой никаких законов, она так привязана к нему, хотя и не любит его по-настоящему. Она — пленница, чья зависимость обусловлена неутолимым голодом. Жаждой плоти во всех ее формах, будь то лежащий на блюде кусок кабаньего мяса или обнаженное, доступное для ласк тело.

*

Она вспоминает те мерцающие мгновения перед самой зарей, когда Антоний, пресытившись сексом и алкоголем, забывал, наконец, все роли, в которых сам путался, — Геркулеса, тренирующегося в гимназиях, грека, философа, мистика, оратора, — и тогда верх одерживала другая часть его естества, наименее известная окружающим, истинная: он становился женщиной, какой, несомненно, был для своего первого возлюбленного, Куриона.

Глубокая человечность Антония — вот что привязывало ее к его телу; желание, которое, несмотря даже на отсутствие этого человека, неудержимо влекло к нему царицу, подогревалось еще и тем, что они могли делиться друг с другом самыми сокровенными переживаниями. Например, говорить о том неизгладимом потрясении, которым стала для них обоих смерть Цезаря.

Однако не нужно вспоминать — ни о первом мужчине, ни о втором.

Надо заставить себя сосредоточить все мысли на текущем мгновении.

К счастью, на северной границе пока все спокойно — парфяне заняты тем, что пытаются удержать Иудею; а племянник бывшего иудейского царя, молодой Ирод, сумел бежать из Масады, пересек пустыню и теперь явился в Александрию, чтобы просить у нее, Клеопатры, помощи для освобождения его родины от захватчиков.

Значит, как обычно, ей нельзя расслабляться. Нужно вести торг, не упуская из виду ни одной мелочи, очаровывать собеседника и в то же время просчитывать последующие ходы, подписывать соглашения, договоры. А когда все закончится, когда она останется одна в духоте раскаленного летними ветрами замкнутого пространства, вновь обратить свой взгляд к морю. И, как прежде, как всегда — ждать, молиться, надеяться...

*

И вот однажды, благодаря своему неослабному вниманию ко всему, что происходило за пределами ее страны, она узнала, что в Италии возобновилась гражданская война. Очевидно, по инициативе Октавиана. Но Антонию очень скоро удалось запереть своего противника в порту Брундизий. У Молокососа, как обычно, случился приступ рвоты, потом он призвал на помощь Агриппу, и тот в очередной раз вытащил его из ловушки. Тогда Октавиан сказал себе (тоже как обычно), что вполне мог бы справиться с ситуацией и сам, отослал Агриппу, собрался с духом и выступил против легионов Антония. Но, едва завидев противника, потерял контроль над собой и обратился в бегство; его войска сдались, даже не начав сражения.

Антоний наверняка восстановит свою власть над Италией и Галлией. А потом, когда Рим будет принадлежать ему одному, вернется на Восток — сюда, в Александрию. И выступит вместе с ней, царицей, в поход для завоевания мира.

На горизонте, там, где высится Маяк, море вновь начинает улыбаться. Кажется, будто и боги сменили гнев на милость, потому что однажды корабль привозит Клеопатре новость, которая радует ее еще больше: Фульвия умерла.

Злорадная радость. И счастье от того, что она чувствует в себе хищную жизненную силу; и, что еще лучше, ощущает другую жизнь, развивающуюся в ее лоне, — еще более неудержимую, еще более буйную.

Уже не море придает форму надежде, а ее живот — огромный, какого

не видали никогда. Он один заключает в себе весь мир.

*

Клеопатра упустила только один момент, хотя обычно от ее внимания не ускользало ничего: Италия была обескровлена и люди молили своих вождей о мире; а в Риме, когда политические противоречия обостряются, обычай требует, чтобы, прежде чем начнется непримиримый военный конфликт, враждующие партии в последний раз попытались достичь компромисса. Это своего рода искупительный ритуал, знак доброй воли, который адресуют богам. И он всегда осуществляется при посредстве женщины: девственницы или вдовы, принадлежащей к одному из двух кланов, которую выдают замуж за лидера враждебной партии.

В конце того лета представился очень удобный случай: Антоний овдовел, и старшая сестра Октавиана потеряла своего мужа. Между двумя фракциями начались переговоры, Антонию прожужжали все уши о превосходных качествах молодой женщины: Октавия еще молода — ей двадцать девять лет, — она благородна, терпелива, любит детей (их у нее уже двое). Она очень умна и (что не может не понравиться вдовцу) отличается впечатляющей красотой. Наконец, в отличие от Фульвии, она испытывает ужас перед политикой и, в еще большей степени, перед войной.

Слова доброхотов падали на благодатную почву: в Риме было всего около сотни аристократических кланов, вершивших закон, и в этом маленьком мирке все друг друга знали; Антоний, прекрасно разбиравшийся в женщинах, давно заметил Октавию. Просто сейчас он опасался какого-нибудь подвоха со стороны Молокососа, ему казалось, что он чует западню.

Оба лагеря все настойчивее давили на Антония; в этом принимали участие все — даже изворотливый Меценат, уговаривавший его согласиться на женитьбу, даже пехотинцы Октавиана, которые прислали к нему большую делегацию и умоляли о том же...

Антоний колебался, возражал, что заключению брачного союза препятствует одно обстоятельство: закон, запрещающий вдовцам вступать в повторный брак ранее чем через десять месяцев после кончины супругов. Что ж, исключительно ради него закон был изменен; и не успела наступить осень, как Антоний и Октавия, ко всеобщему ликованию, поженились.

Они казались влюбленными друг в друга, и это удваивало радость народа; а в тот день, когда стало известно, что молодая женщина

беременна, атмосфера всеобщего энтузиазма, в которой проходила свадьба, перешла в мистический восторг. На всех улицах Рима прорицатели возглашали, что мир, наконец, спасен, что возвращаются изначальные времена, что ребенок, который должен родиться, принесет на землю мир золотого века; и один молодой поэт, Вергилий, увековечил эти дни надежды (столь же смутной, сколь и чрезмерной) в возвышенных стихах:

Круг последний настал по вещанью пророчицы Кумской,
Сызнова ныне времен зачинается строй величавый,
Дева грядет к нам опять, грядет Сатурново царство.
Снова с высоких небес посылается новое племя.
К новорожденному будь благосклонна, с которым на смену
Роду железному род золотой по земле расселится.
Дева Луцина...^[98]

А пока римляне, вместе с поэтом, пытались разглядеть под одеждой Октавии округлость, намекающую на скорый приход в сей мир божественного отпрыска, Клеопатра уже склонялась над двумя младенцами — это было все, что у нее осталось после зимы «неподражаемых».

Она родила двойню, которая казалась нераздельной, как Верхний и Нижний Египет. И такой же совершенной в своей нераздельности, как Афродита и Дионис, как Исида в объятиях Осириса, как она сама, Клеопатра, когда открывала свою плоть навстречу желанию Антония. Ибо один из новорожденных был девочкой, а другой — мальчиком.

На этот раз боги определенно дали ей знак; и смысл их послания не вызывал никаких сомнений: судьба разыграет свою партию не в Риме, а в Александрии. Рождение двойняшек означало, что, как давно надеялась царица, она еще при жизни войдет в вечность — со всем своим потомством, своей славой, своими амбициями.

И вот, одинокая в этом выборе, как была одинокой на всем протяжении беременности и во время тяжелых двойных родов, царица распрямляется над двумя колыбельками и решает, что ее дети войдут в легенду уже благодаря своим именам: девочка будет, как и она, Клеопатрой, а мальчик получит имя в честь завоевателя, сравняться с которым его отец не сумел, — Александра.

СПРУТ

(осень 40 — лето 37 г. до н. э.)

Она не отречется от своей мечты, никогда. Она поклялась, что вместе с этим мужчиной завершит дело Александра; вместе они снесут парфянскую преграду, мешающую завоеванию мира, и пояс их истории будет скреплен пряжкой, круглой, как мир, прежде чем затеряется в вечности.

Значит, она должна упорствовать, сохранить холодную голову, преисполниться черной энергии. Быть прагматичной и беспощадной. Развить в себе самые темные качества Птолемеев.

И вот не успела еще Октавия родить, как Клеопатра сумела ввести в окружение Антония своих людей. Философ Тимаген предоставил в ее распоряжение одного из своих агентов, Алексу; вторым же, чрезвычайно важным для нее агентом стал некий астролог.

Ибо вовсе не забвение дарила царица Антонию в ту «неподражаемую» александрийскую зиму — вопреки слухам, распространявшимся по Риму и по Италии. Совсем напротив: она привила ему страсть к разгадыванию будущего, страсть, которая оказалась ядом замедленного действия. В Александрии она знакомила его с вавилонскими магами, жрецами, приехавшими из Индии, со всякого рода прорицателями, утверждавшими, будто деяния людей направляются некоей сокровенной силой, с которой бесполезно бороться, но которую можно попытаться понять и использовать наилучшим образом. Тогда Антоний сразу же загорелся, пожелал узнать все о зодиаке и небесных домах; и теперь, когда он вновь начал изображать из себя римлянина, стал, по настоянию Октавиана, верховным жрецом Божественного Юлия и совершал жертвенные обряды, такие же грубые, как во времена Ромула, он по-прежнему втайне увлекался гороскопами — до такой степени, что решил обзавестись личным астрологом.

Ему казалось, что он сам выбрал подходящую кандидатуру; однако совершенно очевидно, что маг этот был ставленником Клеопатры. И не просто шпионом, как Тимаген или Алекса, а, можно сказать, ее правой рукой.

Этот человек досконально знал все слабости римлянина; всякий раз, когда Антоний обращался к нему, астролог говорил, что его, Антония, ждет самое блестящее будущее, но только судьба его шурина пока что неблагоприятно воздействует на его судьбу. И советовал как можно скорее

отдалиться от брата жены: «Твой гений боится его гения, сам по себе он высокомерен и кичлив, но вблизи от него впадает в смирение и уныние».

Антоний слушал астролога, но не очень ему верил: с тех пор как он и Октавиан подписали союзнический договор и передали его на хранение в храм Весты, в Риме воцарился мир; они с шурином жили в добром согласии, и последний, как кажется, даже выказывал дружеское расположение к Антонию. Например, часто предлагал ему сыграть в кости, устроить перепелиные или петушиные бои в миниатюрном цирке — как будто они были не лидерами двух кланов, которые только что разделили между собой мир, а скучающими мальчишками, маленькими шалопаями.

Между тем в этих детских играх Антоний почти всегда проигрывал; и хотя он считал для себя делом чести смеяться над своими поражениями, коварные слова мага, видимо, не пропадали втуне, ибо всякий раз, когда Антоний терпел очередную неудачу, он желал немедленно отыграться.

А прорицатель все повторял ему, что он непременно должен расстаться с Октавианом. Повторял с таким постоянством, что еще до наступления зимы, когда один из подчиненных Антонию командиров, Вентидий Басс, выбил-таки парфян из Сирии и Иудеи, Антоний убедил себя, что его судьба и вправду решается на Востоке. И отправился в Афины, откуда собирался начать свое финальное наступление, которое — он был в этом совершенно уверен — сделает его владыкой мира и навсегда заткнет рот Молокососу.

Антоний уехал со своей женой. Маг прожужжал ему все уши о шурине, но пока что опасался говорить, что с той же фатальной неизбежностью, с какой сейчас он покидает Рим, Антоний однажды покинет и Октавию.

*

Маг не говорил этого, потому что Антоний ее любил; и Октавия вполне заслуживала любви: она во всех отношениях была подобна жемчужине, которую супруг подарил ей перед первой брачной ночью. Нежная, мягкая, деликатная, она обладала бесконечным терпением и за два месяца совместной жизни превратила своего необузданного мужа в кроткого агнца. Кончились все безобразия, оргии. И при этом Антоний не только не ощущал себя пойманным в ловушку, но, наоборот, казался счастливым. Очевидно, Октавия сразу же затронула самые сокровенные струны его души: угадала, что перед ней, по сути, испуганный ребенок. И ей помогло не знание бог весть каких тайн — нет, она шла своим,

спонтанным, естественным путем, путем света. Потому что не знала другого; и потому что сама всегда была такой: лучезарной и полной покоя.

*

Подобных качеств Клеопатра никогда не имела. И при одном упоминании имени Октавии впадала в ярость — хотя бы уже потому, что эти звуки напоминали ей о брате Октавии, человеке, который узурпировал права ее старшего сына, да к тому же теперь чеканил монету, которая прославляла его как императора Цезаря...

Император — этот трус, который пускается наутек, едва завидев тень вражеского копья? И он еще осмеливается прибавлять к этому титулу имя Цезаря — хотя сам искушен лишь в вероломстве и приобрел могущество только благодаря глупости своих врагов...

Горькое время для Клеопатры: раненая гордость, отвращение ко всему, вопросы и сомнения, которые всю ночь лезут в голову и не дают спать. И худшая из пыток: ощущение, что проходят недели и месяцы, а жизнь остается пустой и бесполезной. Сердце ожесточилось, увяло — в нем поселился спрут ревности.

Но что она может против Октавии? Когда была жива Фульвия, ей, Клеопатре, не составляло труда казаться царицей наслаждений; однако новая жена Антония — ее ровесница и, по всеобщему мнению, кладезь всех совершенств. «Чудо, а не женщина», — так говорят все, кто общался с Октавией, очарованные ее чистой, типично римской красотой, белизной ее кожи, гармоничностью ее облика, в которой усматривают знак божественного благословения; ничего этого у Клеопатры нет; бесполезно обманывать себя: она — всего лишь маленькая смуглая азиатка, проворная и энергичная, умеющая одеваться и пользоваться духами...

И все-таки Октавия — женщина, никакая не богиня; а значит, сколь умна и красива она бы ни была, у нее обязательно рано или поздно должно обнаружиться какое-то слабое место.

Нужно вести войну на истощение, как бывает при осаде города. Положиться на время; и на помощь звездочета, который все еще ходит за Антонием по пятам: в сущности, этот ее агент даже лучше троянского коня...

*

Ждать придется очень долго, царица это знает; ей потребуются терпение, бесконечное упорство: римлянка, хотя и привыкла ко всем благам цивилизации, превосходно переносит свое «изгнание» и, как кажется, нисколько не страдает от того, что живет вдали от семьи, от матрон, воспитанных так же, как она. Она даже умеет превратить свою повседневность в праздник: взять, хотя бы, тот день, когда Антонию, только что прибывшему в Афины, взбрело в голову одеться на греческий манер и выступить в качестве арбитра на поэтических состязаниях. Она не стала его отговаривать, совсем напротив, еще подзадоривала; а чуть позже сама увлеклась идеей нового праздника, который ее муж придумал для афинян: когда Антоний решил предстать перед ними в образе Диониса, он попросил, чтобы Октавия сопровождала его, наряженная Афиной... Она так и сделала; и народ ликовал.

Клеопатру эта новость опечалила еще больше, чем все остальные: как могли греки позволить дурачить себя подобным маскарадом — ведь весь мир знает, что именно она, царица Египта, научила Антония тому, что значит божественная чета; и точно так же все знают, что произошло между ней и Антонием после ее великолепного прибытия в порт Тарса. И нет никого, кто бы не знал, что после их священного совокупления боги благословили ее столь редким знаком своей милости: у нее родилась двойня, мальчик и девочка...

Тогда как другая женщина, несмотря на все усилия Антония, сумела произвести на свет только девочку, жалкого сосунка женского пола — вместо Спасителя мира, которого обещали римлянам всякие шарлатаны и горе-прорицатели...

Но бесполезно даже мечтать о том, что Антонию когда-нибудь наскучит его римлянка: Октавия не хуже, чем сама Клеопатра, умеет вести изысканные беседы, знает, в какие моменты лучше молчать и в какие говорить. Наконец, она страстно влюблена в Восток, как и Антоний. Впрочем, она любит все, что любит он. То есть, иными словами, любит его. А он — он тоже ее любит.

Значит, ночами, перед тем как уснуть в ее объятиях, Антоний рассказывает ей о том, что узнал в Александрии, повторяет ей фразы самой Клеопатры — о чудесах, коими соблазняла его царица, о странах, обильных золотом, которые простираются по ту сторону степей, о жемчужных реках, сбегających с гор Индии; он обещает победить парфян, чтобы окутать ее шелками — теми самыми шелками, которые так любил срывать с Клеопатры в прежние, пьяные александрийские ночи...

Нет, их союз невозможен: Октавия — женщина разумная, разумная во

всем. У нее есть чувство меры, она всегда обдумывает свои поступки, правильно оценивает вещи. А ни одной женщине еще никогда не удавалось изменить мужчину — по крайней мере надолго. Даже если римлянка сумела на мгновение открыть перед беспокойной душой Антония врата умиротворения, предложив ему вместо алкоголя свою нежность — этот мед, которого ему никогда прежде не доводилось отведать, — все равно, он не создан для счастья. Ибо жажда безмерного, желание во всем нарушать все формы и границы (короче говоря, его безумие) не могли перестать преследовать его только потому, что он встретил обаятельную женщину. И даже если в данный момент он кажется разумным и рассудительным, это не более чем очередная проходная роль; ибо есть всего лишь одна роль, которая всегда ему соответствовала: та, которую он играл в Александрии, та, которую считает своей и царица, — роль Неподражаемого.

Но этого Антоний не может сказать другой женщине. Она — римлянка, к тому же сестра Октавия. Он не посмеет. И как раз в этом заключается слабое место их союза: в том, что он не все может с ней разделить. В молчании, в страхе. В сгустке темного хаоса, который, несмотря на сияющее лицо Октавии и на яркое афинское солнце, сохранился в его душе.

Сюда и следует вбивать клин. Этим займется астролог.

А сейчас, этой бесполезной ночью, нужно заставить спрута ревности сложить щупальца. Затаиться в молчании, стать маленьким. Незаметным, но готовым в любое мгновение нанести удар. Потому что пощады, как всегда, не будет. Другая женщина от него не уйдет.

*

А Антоний ничего не видит. Ни того, что готовится на Востоке, ни того, что происходит на Западе. И маг ничего ему не говорит — оставил римлянина в его ослеплении.

В первую зиму своего пребывания в Афинах Антоний так и не смог выступить в поход против парфян, Октавиан призвал его на помощь: последний оставшийся в живых сын Помпея, обосновавшись на Сицилии, не переставал донимать его своими вылазками^[99], и он был вынужден попросить зятя срочно прибыть в Брундизий. Октавиан, терзаемый болезненным страхом перед переворотом, прежде чем явиться на свидание, которое сам назначил, хотел в точности узнать, сколько воинов будут сопровождать его соперника. Поэтому сам он пока окопался где-то в

стороне, а в порту собрал чудовищное количество военного снаряжения — все, что ему удалось найти.

Антоний, не застав Октавиана на месте, был взбешен, но, хотя и с трудом, сдержал свои эмоции. Однако следующей ночью, когда он спал в палатке, на часового, который ее охранял, напал волк. В лагере никто не услышал шума; хищник сожрал несчастного солдата чуть ли не целиком — нетронутым осталось только его лицо.

Мы не знаем, приехал ли в Брундизий и астролог, но, во всяком случае, очевидно, что Антоний не забыл его предостережения: на следующее утро, обнаружив следы ночной драмы, он решил убраться отсюда подальше, не дожидаясь Октавиана. Он вернулся в Афины, где опять занялся своим планом наступления на парфян.

И с этого момента удача вновь начала ему улыбаться, еще прежде, чем он успел отдать хоть одно распоряжение своим солдатам: 9 Июля, ровно через пятнадцать лет (день в день) после ужасного поражения, которое нанесли Риму парфяне, Вентидию Бассу удалось убить их царя. Тысячи вражеских солдат были уничтожены, остальные обратились в бегство и откатились за Евфрат.

Антоний сказал себе, что это новый благоприятный знак. И нет никакого сомнения в том, что астролог с ним согласился.

Через месяц Антоний приехал к своему блестящему офицеру в Месопотамию, захватил всю добычу, какую мог, а потом вернулся в Афины и отправил Вентидия в Рим, чтобы тот получил почести, подобающие триумфатору.

Удивительный жест: Антоний сам мог бы собрать все лавры, как, несомненно, поступил бы на его месте Цезарь. Однако из-за своего возрастающего страха перед Октавианом он от этого воздержался. Не понимая, что все больше отдаляется от центра власти.

И что это фатально и незаметно сближает его с Клеопатрой. Даже Октавиан что-то такое учуял и начал вмешиваться в восточные дела.

В результате отношения между Афинами и Римом неуклонно ухудшались; и не нужно было быть магом, чтобы понять: Октавия скоро совершит ошибку. Ошибку, обусловленную лучшими ее качествами — миролюбием и добротой.

*

Подходящий для этого случай представился в конце второй зимы.

Октавиан, которого атаковал в морском сражении последний непотопляемый отпрыск Помпея, потерял часть флота и без зазрения совести потребовал, чтобы Антоний одолжил ему свои суда.

Октавия, снова беременная, умоляла мужа согласиться. Антоний в конце концов дал себя уговорить: несносные парфяне вторглись в Армению; эта новая ситуация, а также изучение архивов Цезаря подвели его к странному выводу — чтобы окончательно разгромить врага, ему требуются еще двадцать тысяч солдат. Предложение шурина показалось ему желанной возможностью обменять часть своих кораблей, в которых он не особенно нуждался, на итальянские легионы.

Но Октавиан не стал дожидаться его решения. Он заставил свои верфи работать день и ночь и отремонтировал достаточно галер, чтобы отразить любую атаку сына Помпея; и когда Антоний, в сопровождении жены, прибыл в Брундизий, где должно было состояться это второе свидание, Октавиана не только не оказалось на месте, но даже вход в порт был перекрыт.

Антоний решил порвать все отношения с шурином, а пока, в ожидании дальнейших событий, его триста судов стали на якорь в Тарентском заливе. Но в дело вновь вмешалась его неутомимая жена, которая на сей раз принялась уговаривать Октавиана: «Я самая счастливая из женщин, не дай же мне стать самой несчастной! Теперь все взоры с надеждою обращены на меня — сестру одного императора и супругу другого. Но если зло восторжествует и дело дойдет до войны, кому из вас двоих суждено победить, а кому остаться побежденным, — еще неизвестно, я же буду несчастна в любом случае».

Октавиан несколько смягчился; и молодой женщине, путем многократных обращений к ним обоим, а также воздействия на Агриппу и Мецената, удалось-таки добиться компромисса, который стал то ли апогеем трагедии, то ли кульминацией фарса: соперники условились встретиться на борту простой барки, одни, без всякого эскорта; и там, в море, вдали от суеты, без свидетелей, они должны были попытаться понять друг друга.

Встреча прошла в полном соответствии со сценарием: обменявшись любезностями, они продлили срок действия предыдущего соглашения о разделе мира и договорились, что Антоний предоставит Октавиану сто судов, а взамен получит от своего соперника двадцать тысяч легионеров.

Антоний, человек прямодушный и бесхитростный, немедленно выполнил свое обещание и передал Октавиану все корабли; тогда как последний из двадцати тысяч солдат, обещанных зятю, прислал только тысячу, поклявшись всеми богами, что остальных отправит позже.

Антоний же, все еще находившийся под влиянием своего мага, так торопился выйти в море, что предпочел поверить клятве Октавиана. И сразу же взял курс на Афины, по-прежнему сопровождаемый женой. Однако в порту Корфу супруги расстались. Может быть, Октавия, изнуренная беременностью, тяготами морского плавания, попытками примирить мужа и брата, которые отняли у нее столько дней и ночей, внезапно заболела? Или между ней и Антонием произошла ссора, а прорицатель вовремя подлил масла в огонь? Или ее усталость, приступы тошноты вдруг сделали для Антония непереносимым ее присутствие? Или они поспешно решили, что она больше поможет мужу, если поедет к брату, попытается умерить его раздражение, чем если будет прозябать в тени Антония в Афинах?..

В текстах нет ни одной зацепки, которая позволила бы ответить на эти вопросы; возможно, как это часто бывает, все перечисленные причины сыграли свою роль. Или еще проще: Октавия почувствовала, что атмосфера вокруг нее накаляется, и предпочла уложить свой багаж. Как бы то ни было, но с конца весны она и Антоний уже не живут вместе. Октавия — в Риме, готовится к родам; а он, в Афинах, по-прежнему грезит о завоевании парфянского царства. В конце лета он уже в Сирии, в Антиохии. И вдруг — резко, без всяких объяснений, не слушая возражений офицеров, — отдает одному из своих эмиссаров приказ отправиться в Александрию и доставить к нему Клеопатру, немедленно.

Царица готова броситься к нему бегом. На этот раз — никаких мизансцен, никаких задержек с отъездом; ей не нужны ни наряды, ни показная роскошь; она еще раз превосходно сыграла свою партию — и выиграла, сорвала весь банк. Три года она ждала этого мгновения.

АНТИОХИЙСКАЯ СВАДЬБА

(лето 37 — лето 36 г. до н. э.)

И вот, наконец, этот мужчина, когда-то исцеливший ее от печали и немоты, — он вернулся; и в ней вновь оживает надежда, упрямая мечта о величии.

Она не думает о причинах, побудивших его так внезапно отослать от себя другую женщину, — подействовали ли на него слова астролога, или нежность жены в конце концов показалась ему пресной в сравнении с ночами «неподражаемых»; главное, сейчас он здесь, ждет ее, как прежде ждала его она.

Самое трудное — последняя минута перед тем, как они, обнявшись, застывают на месте, ощущая полную умиротворенность. Потом, пытаясь соединить свои руки, натыкаются на близнецов. Малышам уже по три года, и их глаза — как звезды.

Антоний не в силах устоять, поднимает их на руки, подбрасывает одного за другим высоко в небо. Теперь пути назад нет: он признал их своими.

Что ж, пора играть свадьбу, и как можно скорее. Ибо теперь Клеопатра хочет быть его супругой; и никаких отлагательств, как во времена Цезаря, — она не станет подвергать себя риску оказаться жертвой нового удара судьбы. Она царица, пусть же он будет царем; а кроме того, пусть вспомнит о том, что предсказала римская Сивилла в своей пророческой книге: парфян может победить только монарх. Пусть же он публично соединит свою руку с ее рукой; и пусть отныне на всех монетах будут чеканить оба их профиля.

В Риме, конечно, ее назовут похитительницей чужого мужа, пойдут пересуды о том, что она околдовала Антония магическими зельями, начнут распространяться и другие подобные сплетни. Но факты говорят сами за себя: на это свидание в Антиохии, свидание царицы и полководца, кто кого позвал?

На этот раз римлянка — беременная и брошенная; она же, Клеопатра, наслаждается местью: око за око, зуб за зуб, как написано в Книге иудеев. Теперь, когда судьба завершила свой круг, когда Антоний женится на ней в тот самый момент, когда другая вот-вот должна родить, пусть эта другая испытает то же унижение, ту же горечь, через которые сама Клеопатра

прошла три года назад.

А кроме того, от этого брака, которого сейчас требует царица, Антоний никогда не отречется, не сможет отречься; тут дело даже не в брачной клятве: уже одним тем, что вызвал ее в Антиохию, он показал, что не может больше жить, не пытаясь осуществить цель, которую сам перед собой поставил в «неподражаемую» александрийскую зиму, — превзойти Александра; даже не сознавая, что делает, он отказался от Рима, раз и навсегда выбрал для себя Восток: мир пустынь, караванов, долгих разговоров, странностей и загадок, мир, где помыслы людей столь же извилисты, как те дороги, что ведут на край света, к невиданным чудесам.

Его мечта о славе, долго созревавшая в потаенных глубинах души, теперь вырвалась на яркий солнечный свет; и потому Антоний, еще прежде, чем соединил свою руку с рукой Клеопатры, оказался в полной зависимости от царицы.

*

Они еще даже толком не поговорили, но царица уже знает, чего он от нее ждет: праздничных ночей, конечно, и ее тела, и ее чарующего голоса — но прежде всего помощи в предстоящей войне.

Действительно, Антоний просит у нее именно этого; и по мере того, как он говорит, она понимает: в своих планах ее любимый продвинулся дальше всех, кто когда-либо хотел помериться силами с парфянами; но тут он заканчивает свою речь, замечая, что не может выступить в поход, пока не будет уверен, что оставляет в своем тылу крепкие и преданные ему царства.

Что ж, сразу отвечает Клеопатра, эта проблема будет решена, как только он восстановит империю фараонов в границах от Евфрата до Нубии, империю времен славы Рамсесов и Птолемея III, тот Великий Египет, о котором всю жизнь грезил Флейтист.

Антоний немедленно соглашается на все — или почти на все. Что это, безумство любви, как полагают его ошарашенные офицеры, непреодолимая фатальная страсть, которая вспыхнула в нем с новой силой, как только он увидел отроги Тарса? Или, как возражают другие, главнокомандующий на самом деле вызвал Клеопатру лишь для политических переговоров, но, встретившись с ней, вновь запутался в силках ее чарующего голоса, ее фраз, похожих на колдовские заклинания, таких странных и сладостных, что, слушая их, не улавливаешь смысла?

Однако царица тоже, должно быть, потеряла голову, если просит передать ей в полную собственность земли, которые давно уже принадлежат Риму; надо быть поистине безумной, чтобы вообразить, будто Октавиан допустит такое.

Она что — сошла с ума или просто дала волю самым темным инстинктам и в результате утратила свою гениальную способность все хладнокровно просчитывать? Но ведь семь лет, после смерти Цезаря, она вела чуть ли не растительное существование, подавляя свое честолюбие; и, что еще хуже, три последних года (с тех пор, как появилась другая женщина) страдала от бессильной ярости. Так что теперь, подобно женщинам архаической Греции — Медее, Клитемнестре, фессалийским колдуньям, тем македонским стервам, от которых произошли Лагиды и все прежние Клеопатры, — она, в слепом и злобном стремлении к реваншу, готова на все, чтобы утолить свою жажду власти.

То, чего она требует, — это прежде всего контроль над морем, от Африки до Анатолии. Значит, ей нужны порты (как на севере, так и на востоке Средиземноморья): Акко, сирийское побережье. Затем — лесистые территории, где можно добывать древесину для строительства флотов: Кипр, как легко было предвидеть, но также все вообще леса Востока, от Киликии до Ливана; и пахотные земли — Баальбека, Галилеи; и добрая часть городов, которые тянутся вдоль Иордана. И Иерихон — из-за его пальмовых рощ и плантаций мирровых деревьев; и берега Мертвого моря — чтобы она одна получала битум, который так ценят ее строители, ее врачи, ее бальзамирники. И Синай — весь; и пески, которые простираются между Средиземным и Красным морями, — чтобы можно было спокойно тащить волоком корабли от одного моря до другого. Наконец, она требует то, что дороже всего остального: Тир, Сидон и Иудею.

Антоний, который уже согласился на все предыдущие просьбы, теперь однозначно отказывает. Клеопатра настаивает, он не уступает. Она раздражается упреками, происходит бурная сцена; он упорствует. Потом они начинают торговаться; вместо Иудеи она в конце концов получает все побережье Палестины, за исключением портовых городов Газы и Аскалона. И вот она — царица половины Востока; прибыль с этих земель вскоре сделает ее несказанно богатой.

Затем они отпраздновали свадьбу. Мы не знаем, как именно это происходило; скорее всего, Антоний, помня об Октавии, уговорил царицу, чтобы церемония была очень скромной, чисто формальной, то есть в минимальной степени удовлетворяющей ее самолюбие. Однако по крайней мере одно событие наверняка стало известным за пределами ближайшего окружения новобрачных: по случаю свадьбы двойняшки получили новые имена; отныне маленькую Клеопатру должны были называть Клеопатрой-Луной, а Александра — Александром-Солнцем.

Тем самым супруги как бы заранее объявили о своей победе над парфянами: ведь царь парфян всегда именовался «Братом Луны и Солнца», теперь же, еще до решающего сражения, они узурпировали его титул.

Это была еще одна провокация, в которой безошибочно узнается почерк Клеопатры. Дав своим детям такие имена, она как бы заявила, что если золотой век, о котором все еще продолжают говорить, действительно вернется на землю благодаря некоему богу-спасителю, то Произойдет это, конечно, не в Риме, а здесь, на Востоке. И что богов-спасителей, на египетский манер, будет двое — двое супругов, которых ничто, даже вечность, не сможет разлучить.

Антоний вновь предается безудержным грезам. Да, он будет Бессмертным, богом-царем и отцом царственных детей; это так же верно, как то, что Клеопатра — богиня-царица и человеческая ипостась небесной Неподражаемой. Благодаря ей он превзойдет Александра, ибо царица, его супруга, наделена благодатью делать любые мечты осуществимыми. Все, впрочем, очень просто: увидев ее, он, Антоний, возродился, как возродился Осирис в объятиях Божественной Матери; они воистину составляют божественную пару, соединены священным браком, браком Востока и Запада, — он, величайший из полководцев, и она, самая блестящая из египетских цариц, он, мужчина, который без ума от лошадей, и она, женщина, обожающая корабли; они двое воплощают в себе всю округлость мира, их судьбы — близнецы, как и их дети.

Клеопатра ликует и, поскольку лучше, чем кто-либо иной, знает силу символов, решает, что с первого сентября египетский календарь будет изменен — счет годов ее царствования, по которым датируются все события, отныне будет вестись так: «шестнадцатый год, он же первый...».

Итак, она открывает новую эру и сразу же связывает ее с войной против парфян — последней битвой, которая, как думают и она, и Антоний, откроет перед ними новый мир. И, не откладывая дела в долгий ящик, супруги начинают собирать все необходимое для этой войны: коней, людей, продовольствие, вооружение.

Антоний имеет в своем распоряжении шестьдесят тысяч солдат, из них десять тысяч отборных всадников, галлов и иберов, к которым в Армении должны присоединиться еще и восточные воины, такие же свирепые, как парфяне. Все сплетни вокруг Антония смолкают; его легионы готовы следовать за ним, они полны энтузиазма, потому что его план отличается безупречной точностью и его разум, кажется, вновь вернулся к нему: прежде чем выступить в поход, он успел привести в порядок свои тылы, реорганизовав в маленькие крепкие царства мозаику городов и народов, составляющих Восток. Верность Клеопатры ему тоже обеспечена: царица ждет от него еще одного ребенка.

Более того, в конце зимы, когда огромная колонна легионов трогается в путь, царица, несмотря на свою беременность, сопровождает мужа; в мае (к тому времени ее срок достигает уже шести месяцев) караван, наконец, выходит на берег Евфрата. Здесь супруги расстаются: приближается лето, жара становится невыносимой. Антоний торопится в Месопотамию, где его ждет враг; царица возвращается в Александрию, чтобы успешно завершить свою войну — родовые схватки.

Ей нужно во что бы то ни стало произвести на свет мальчика: ведь в Риме другая женщина разродилась еще одной дочкой.

ПАРФЯНСКАЯ СТРЕЛА

(лето 36 — осень 34 г. до н. э.)

Клеопатра, как и надеялась, родила сына; удивительно, что в тот период своей жизни она вдруг приобрела способность получать от судьбы все, чего только пожелает, — можно подумать, будто она и впрямь была колдуньей, как говорили в Риме.

Итак, менее чем за десять лет она родила четверых детей, по числу сторон света. Теперь не хватало только мира, который она могла бы разделить между ними, как четвертинки плода, — мира, на поиски коего уже отправился Антоний.

И чтобы показать всем, что слава вновь осенила древний род Лагидов, царица назвала своего младшего Птолемеем Филадельфом, в честь создателя Фаросского маяка. Уже одни имена ее детей — Птолемей Цезарь, Александр-Солнце, Клеопатра-Луна и, наконец, имя новорожденного — звучат как перечень героев, полубогов-полуцарей. Как литания в память об умерших прославленных правителях; и как заклинание, с помощью которого она хочет вылепить из своих грез реальное будущее.

Она позволяет себе захмелеть от ощущения собственной силы, мгновенно забывает все то, чему ее научила жизнь: что необходимо просчитывать и взвешивать каждое событие и каждый свой шаг, всегда смотреть дальше сиюминутных радостей, знать, что счастья либо вообще не существует, либо оно — не более чем самообман. Она думает, что всегда оказывается права, тогда как другие ошибаются; на ее глаза падает пелена слепоты.

Здесь, может быть, сыграл свою роль возраст, ей уже тридцать пять, в ней появилась какая-то новая хрупкость: она чувствует, что у нее остается последний шанс, что приближается время, когда, участвуя в мужских играх, она уже не будет обладать правом выбора оружия. Об этом затаенном страхе можно догадаться хотя бы по ее новым изображениям на монетах. Например, она изменила прическу: если раньше просто укладывала волосы в узел, то теперь, разделенные пробором и завитые, они спускаются по щекам, образуя сложный рисунок; на затылке прядки, которые не держатся в этом умело возведенном сооружении, собраны в маленький пучок. Равным образом она отказалась и от строгих греческих одеяний, которые еще четыре или пять лет назад носила постоянно (за

исключением тех дней, когда появлялась на людях в образе Исиды), и предпочла им платья, расшитые жемчугом. Наконец, словно желая колдовством отсрочить тот миг, когда кожа ее потеряет блеск, она теперь всю себя осыпает драгоценностями — вплоть до вуали, прикрепленной к диадеме; вплоть до локонов, между которыми сверкают длинные низки камней.

Но более всего поражает выражение ее лица: высокомерное, почти угрожающее. Ясно, что она, словно хищный зверь, готова всеми силами защищать эти территории, эти города и провинции, которые только что выманила у Антония, и что от одной мысли о ее безраздельной власти над ними у нее кружится голова. Потому что она, гордая царица Великого Египта, уже видит себя супругой нового Александра, будущей владычицей всего Востока.

Сейчас она, как никогда, уверена в себе и спокойно ждет новостей. И в январе, наконец, их получает. Антоний вернулся с войны, он расположился лагерем в крошечном безвестном городке на сирийском побережье^[100].

Едва услышав название места, где он ее ждет, Клеопатра понимает, что ее супруг хочет спрятаться от всех и что он вернулся не победителем, а побежденным.

*

Он просит ее приехать как можно скорее. Говорит, что у него ничего нет — пусть она срочно привезет провиант, одежду для солдат, у которых остались одни лохмотья, деньги, чтобы выплатить им жалованье; похоже, он и сам до предела измотан.

Море закрыто для навигации. Тем не менее собрав все, что он просит, царица поднимает паруса, бросается к нему на помощь.

Заплакал ли Антоний в палатке, где принимал царицу, — как в тот миг, когда, под градом парфянских стрел, протрубил сигнал к отступлению? Ему было о чем плакать: экспедиция окончилась полным провалом. И причиной катастрофы была не какая-то фатальная неизбежность, а, скорее, его феноменальные попойки. Сначала, в Армении, он хотел во что бы то ни стало дождаться легионов, обещанных Октавианом, — но они так и не появились. Пришлось признать, что шурин его предал, и выступить против парфян; уже началось лето, и, поскольку ему непременно нужно было одержать победу до осенних дождей, он решил с ходу атаковать вражескую столицу.

Вопреки всем ожиданиям город устоял. Антоний осадил его и направил эмиссаров в тыл, чтобы они поискали триста куда-то запропастившихся телег, груженых катапультами и таранами. Эмиссары нашли только пепел и трупы: парфяне давно знали о существовании этого обоза, так как день за днем получали информацию от царя Армении, которого Антоний считал своим союзником. При первом же удобном случае они напали на обоз и сожгли его. До самого горизонта простирались голые степи — ни леса, ни группы деревьев, из которых можно было бы построить хоть одну боевую машину, — и от осады пришлось отказаться. Тогда Антоний решил уничтожить противника тем методом, который использовал в Галлии и при Филиппах, — посредством одной из своих гениальных кавалерийских атак. Но лошади парфян были более быстрыми, чем его собственные, и все его попытки кончились ничем.

Наступила осень. Антоний все еще не желал выпускать добычу, попробовал выторговать у парфян то, чего не дала ему война, и сообщил их царю, что покинет страну, если ему вернут орлов, в свое время захваченных у Красса. Увы, царь прекрасно знал цену своему трофею; вместо ответа он лишь провел пальцем по тетиве лука, заставив ее слегка зазвенеть: это было угрозой смерти.

Зачастили дожди. Антоний, отчаявшись, приказал трубить сигнал к отступлению. На его армию одно за другим обрушивались всевозможные бедствия: наводнения, голод, жажда, дизентерия, непрерывные атаки вражеских лучников — вплоть до массовых отравлений какой-то дикорастущей травкой, которая ввергла в беспамятство, а потом в безумие всех солдат, которые объедались ею, дабы хоть чем-то набить свои пустые желудки^[101]. Люди умирали сотнями; после перевалов Армении им предстояло еще преодолеть сирийские горы; и там, когда поход уже почти закончился, тысячи солдат погибли от недоедания и холода.

За шесть месяцев кампании Антоний потерял двадцать тысяч пехотинцев и четыре тысячи всадников. И случилось это именно тогда, когда в грандиозной морской битве Агриппа, наконец, разгромил сына Помпея и тем самым сделал Октавиана абсолютным владыкой Запада.

*

Факты говорят сами за себя: мечта Александра оказалась Антонию не по плечу; и он со своей потрепанной армией останавливается в крошечном сирийском городишке именно потому, что знает это лучше всех.

Но Клеопатра, верная себе, не хочет смириться с несчастьем, бросает вызов беде и старается внушить Антонию, что он — как и она, царица, — должен презирать неблагоприятный поворот судьбы. Несколько слов, может быть, само ее присутствие — и римлянин оживает; он, как и она, снова убежден в том, что власть есть не что иное, как удачно поставленная мизансцена, а жизнь — театральная пьеса, ничего больше.

Антоний поднимает голову, до него постепенно доходит, что в Риме, как и в Александрии, никто — даже Октавиан — не заинтересован в том, чтобы афишировать очередную победу парфян над всемогущей Волчицей.

И тогда между Клеопатрой и Антонием происходит что-то, возвращающее их к их первой зиме, — устанавливается некое подобие согласия. Но едва они оба успокаиваются, как царица делает попытку извлечь из этого выгоду, а именно, получить, в обмен на привезенные ею деньги и обмундирование, единственный подарок, в котором ее любовник-супруг ей отказал: Иудею.

И тут вспыхивает бурная ссора. Мы не знаем, кто из них двоих больше кричит и при каких обстоятельствах происходит эта стычка — наверное, когда они, как обычно, пьют или занимаются любовью. Опомнившись, Антоний все равно не собирается уступать: уж лучше он не станет расплачиваться с солдатами деньгами царицы, а постарается содрать, что можно, с местного населения.

Клеопатра смиряется с его решением. Внешне; ибо, отказавшись от Иудеи, она тут же требует в качестве компенсации, чтобы Антоний провел в Александрии остаток зимы.

Однако этому препятствуют новости, приходящие из Рима: Октавиан, как в недавнем прошлом Цезарь, окружил свою личность ореолом святости. Он манипулирует сенатом, как хочет, и в скором времени, несомненно, попытается вообще его упразднить. Антонию следовало бы съездить в столицу, повидать своих друзей, родителей...

В таком случае он встретится и с Октавией. Клеопатра уже согласна забыть об Иудее, но уступить его другой женщине — об этом не может быть и речи. Ревность совсем лишает ее разума; ей ли самой или кому-то из окружающих ее паразитов удастся уговорить Антония, мы не знаем; но, как бы то ни было, в конце концов он принимает ее доводы, вновь начинает мечтать о войне, о завоевании мира. Разумеется, ему нужно вернуться в Рим. Однако, сделав это прямо сейчас, он потеряет год: любая кампания, начатая позже первых дней весны, заранее обречена на провал, что в достаточной мере подтверждается его нынешним положением. С другой стороны, если он проведет зиму в Александрии, то уже в конце февраля

будет готов к войне. В начале марта он сможет спокойно добраться до Евфрата, вместе с царицей (почему бы и нет?), как в прошлом году; но только на сей раз, поскольку он выступит в поход вовремя, он обязательно победит.

Очень скоро новые известия, которые приходят к Антонию из Рима, подкрепляют его решение: его соперник, как и предвидела Клеопатра, делает вид, что верит в якобы одержанную им победу. Хотя Октавиан, как и все остальные, прекрасно представляет масштабы постигшей Антония катастрофы, он устраивает публичные торжества в его честь и требует у сената, чтобы статуи их двоих — Октавиана и Антония — были воздвигнуты в храме Согласия; и, словно этот поток наград кажется ему недостаточным, добивается принятия декрета, в соответствии с которым его зять, как и он сам, отныне может пировать в упомянутом храме вместе со своей женой и детьми, когда того пожелает.

В этом декрете прочитывается злая ирония: вот уже два года, как Антоний не видел Октавию. Что же касается ее детей, то о них он думает меньше всего: он даже не знает, на кого похожа его младшая дочь. А значит, за всеми этими чрезмерными почестями скрывается западня — одна из тех ловушек, которые умеет устраивать только Молокосос.

Но Антоний ничего такого не подозревает; у него на уме только Восток, горы Армении, степи, где он хочет любой ценой взять реванш над парфянами, — можно подумать, будто его преследует неотступное видение пустоты, в которой захлебнулись его кавалерийские атаки.

Царица же, которая одна могла бы почувствовать угрозу, больше не хочет рассуждать. Сейчас она жаждет только чувственных удовольствий, и это притупляет ее интуицию хищного зверя, сужает поле ее разума и ее мечты: для нее все сосредоточилось на присутствии Антония, на его зрачках, расширившихся и будто притягиваемых бездной, на его ненасытных устах.

*

Мы не знаем, удалось ли супругам, в течение нескольких последующих недель, вновь пережить благословенное время первой зимы «неподражаемых». Если и удалось, то счастье их было очень коротким: начало весны застает их уже в пути, в Сирии. И там, непосредственно перед выступлением в поход, Антоний получает письмо от Октавии.

Он будто падает с облаков. До сих пор его занимали только планы

кампании: он узнал, что в парфянской империи начались междуусобицы и, следовательно, атаковать ее надо сейчас или никогда; к тому же мидийский царь месяц назад дал ему знать, что он, Антоний, может на него рассчитывать. Эта новость настолько его обрадовала, что он тут же заключил союз с Мидийцем и отправил в Рим отчет об условиях их соглашения.

И вот в ответ он получает письмо от своей римской жены. Октавия наивно сообщает ему, что смогла получить у брата не обещанные двадцать тысяч солдат, а только две тысячи отборных легионеров, деньги на их содержание и несколько десятков прекрасных выючных животных. Корабли со всеми людьми и грузом уже взяли курс на Восток, и она сама тоже едет. Она сделает остановку в Афинах, а потом направится к нему — если он не возражает.

Антоний наконец понял маневр Октавиана, эту ловушку, более опасную, чем все парфянские засады: либо он примет жену и в результате потеряет своего главного союзника в войне, египетскую царицу, либо отвергнет Октавию, и тогда между ним и его шурином начнется беспощадная война.

Согласно Плутарху, Антоний предпочел бы Октавию, если бы не безмерная хитрость царицы, которая противопоставила маневру Молокососа свои, не менее коварные контрмеры: «Чувствуя, что Октавия вступает с нею в борьбу, Клеопатра испугалась, как бы эта женщина, с достойною скромностью собственного нрава соединившая теперь твердое намерение во всем угождать мужу, не сделалась совершенно неодолимою и окончательно не подчинила Антония своей воле. Поэтому она прикидывается без памяти влюбленной и, чтобы истощить себя, почти ничего не ест. Когда Антоний входит, глаза ее загораются, он выходит — и взор царицы темнеет, затуманивается. Она прилагает все усилия к тому, чтобы он почаще видел ее плачущей, но тут же утирает, прячет свои слезы, словно бы желая скрыть их от Антония»^[102].

Потом, как рассказывает Плутарх, кишевшие вокруг Антония льстецы приняли эстафету из рук царицы и начали убеждать его в том, что Октавия вышла за него замуж по политическому расчету, тогда как Клеопатра искренне любит его — любит так страстно, что, ежели он ее оставит, она этого не переживет.

У нас нет причин сомневаться в том, что царица в самом деле разыгрывала эту маленькую комедию: она с юности демонстрировала таланты актрисы и широкий диапазон своего актерского дарования. Кроме того, она давно поняла, что есть только один способ контролировать

неконтролируемого Антония: ни на миг не выпускать его из виду и всегда оставлять за собой последнее слово. Наконец, ставки в этой игре были действительно крупные: в последний раз, когда Антоний вырвался в Рим, его там быстренько женили. Ей пришлось ждать три года, прежде чем она увидела его вновь; и вообще, после Тарса она потратила столько усилий, чтобы его удержать, что вовсе не собиралась начинать все сначала из-за какого-то курьера.

Как бы то ни было, рассказ Плутарха свидетельствует о том, что сперва римлянин склонялся к выбору в пользу Октавии и что, прежде чем Клеопатра сумела победить соперницу, ей пришлось бороться отчаянно — и долго. Может быть, несколько недель: ибо между тем моментом, когда Антоний получил письмо жены, и тем, когда он резко ответил ей, чтобы она направила к нему свои корабли, а сама оставалась там, где есть, прошло столько времени, что начинать войну с парфянами уже не имело смысла.

Что ж, он вернулся в Александрию. И покинул город только следующей весной, после третьей зимы, проведенной в обществе Клеопатры и «неподражаемых». Очередные каникулы не только не расслабили его, но, наоборот, окончательно привели в чувство, ибо в тот же год, в ходе блестящей кампании, он, наконец, отомстил царю Армении, захватил его в плен, наложил руку на его сокровища и доставил их в Египет, чтобы в триумфальном шествии пронести по улицам Александрии.

*

Мизансцена праздничного кортежа ничем не уступала аналогичным зрелищам времен первых Птолемеев: царица, одетая Исидой, ждала Антония, сидя на золотом троне, установленном в самой высокой точке города, на крыльце храма Сараписа. По этому случаю там воздвигли помост, который по приказу царицы был целиком облицован серебряными плитками; оттуда она и наблюдала, как Антоний проходит, возглавляя парадное шествие, по улицам, а перед ним движутся повозки с добычей и бредет сам царь Армении, закованный — положение обязывает — в тяжелые золотые цепи. Триумфатор, как и следовало ожидать, играл роль Диониса и был чуть ли не с головы до ног увит плющом.

Царица могла ликовать: благодаря ей, благодаря ее упорству и хитрости Греция, наконец, взяла реванш над Римом; она, царица, одержала победу надо всем, что противостояло ее жажде власти, — над

Молокососом, над другой женщиной. И, главное, над слабостью Антония.

*

Это была черная радость, не имевшая ничего общего с тем детским ликованием, которое охватило толпившихся у подножия ее трона жителей Александрии. Царица испытывала мстительное возбуждение и злорадное удовольствие, сознавая, что уже не является той женщиной, которой когда-то пришлось присутствовать на триумфе сына Волчицы. Теперь ей нет нужды хитрить, притворяться, придумывать сложные комбинации. Пришел ее черед наносить смертельные удары, показывать свою силу. И она хочет, чтобы об этом знали все — во всех концах обитаемого мира.

Спектакль получился настолько экстравагантным, что, конечно, о нем узнали, как она и желала. Но Рим ответил на эту новость полным молчанием. Ничем не выдал, что его гордость уязвлена, не разразился ни одной диатрибой, не обнаружил и тени гнева. Не позволил себе даже намек на угрозу — в отличие от того парфянского царя, который словно в рассеянности провел пальцем по тетиве лука...

ЦАРИЦА ЦАРЕЙ

(осень — 31 декабря 34 г. до н. э.)

Дело в том, что Октавиан чувствовал: скоро она совершит ошибку, промах, который ничем нельзя будет загладить. И, хотя был далеко, предвидел, как именно это произойдет: Клеопатра не выдержит тяжести собственного величия.

А раз так, то ни к чему метать громы и молнии, лучше молчать, терпеливо ждать подходящего момента для атаки. И тщательно ее готовить. Постепенно и незаметно разжигать войну — пока все не поверят, что ее объявила именно царица, по причине своего высокомерия.

Ибо Молокосос (каковым он, по сути, уже не был — ему почти исполнилось тридцать) наконец осознал, что ничего не добьется, если упорно будет делать мишенью своих нападков одного Антония. Разумеется, Октавиан по-прежнему желает избавиться от своего врага. Однако понимает, что не может пренебрегать мнением римлян, которые устали участвовать в межклановой борьбе. Поэтому новая гражданская война обязательно должна принять обличье конфликта с иностранной державой (вроде Карфагена или Галлии). Ему надлежит убедить всех, что за его личностью стоит Волчица, которой нанес оскорбление далекий спесивый народ, владеющий опасными тайнами, — чтобы, когда он, Октавиан, станет агрессором, люди поверили, будто жертвой агрессии стал именно он. Клеопатра идеально подходит для того, чтобы пробудить эту старую химеру римлян: она — монарх в силу божественного права, восточный монарх и к тому же женщина.

На полях сражений Октавиан по-прежнему, мягко говоря, не блещет талантами, всеми недавними победами обязан своим военачальникам; однако за прошедшие годы он стал выдающимся стратегом психологической войны. А в эту осень с гениальной прозорливостью понял: если царица прилагает такие усилия, чтобы удержать Антония, значит, она, в тот самый момент, когда достигла вершины славы, почувствовала страх.

Ибо все, что у нее есть, она имеет только благодаря Антонию. И если потеряет его, потеряет все. Своих детей, свою власть, свое царство — даже то представление о себе самой, которое сложилось у нее в последнее время. Ее постоянно гложет беспокойство: она боится, что дети, повзрослев,

станут соперниками в борьбе за власть, как часто бывало в семье Лагидов; боится, что Антоний вернется в Рим; боится угрозы, исходящей от Октавии; наконец, мучительно ощущает, как уходит ее молодость. Единственное, что она может противопоставить своим страхам, — это деньги, то золото, которое она вот уже три года выкачивает с территорий, хитростью выманенных у Рима и образовавших Великий Египет. Однако ее опасения настолько тяжелы, что этот золотой куш, сколь внушительным бы он ни был, не может их развеять.

А чем больше страхов, тем больше ошибок. Наступит день, когда ее промахи соединятся в длинную цепочку. Царица неизбежно в ней запутается и упадет.

Со времени скромной далматинской кампании, когда он впервые узнал о событиях в Александрии, Октавиан понимает: такой враг, как Клеопатра, может попасться только в одну ловушку — ловушку собственной личности; и еще: та юная царица, умная и все наперед просчитывавшая, которая была несравненным стратегом и непогрешимым игроком и с которой он встречался при жизни Цезаря, за прошедшие годы превратилась в охваченную тревогой женщину, постоянное беспокойство которой не могло не оказать негативного влияния на ее аналитические способности и талант предвидения. Короче говоря, эта хищница уже ранена.

А значит, отныне он будет играть по очень простым правилам: противопоставлять Октавию Клеопатре, Рим — Александрии. Он с тем большей легкостью сможет контролировать ход игры, что каждый из актеров, не сознавая того, будет четко придерживаться отведенной ему роли: сейчас, когда вся ее унаследованная от предков ненависть к римлянам сосредоточилась на Октавии, Клеопатра скорее умрет, чем уступит ей Антония; что же касается римского народа, то химерический образ Египтянки ныне, как и во времена Цицерона, пробуждает в его сознании самые архаические страхи: страх перед всем иноземным, боязнь утратить свои традиции, наконец, тот ужас, что все еще вызывают в стенах Города факты, свидетельствующие о распространении новых религий.

И, как в канун убийства Цезаря, чтобы вести эту войну, не требуется никаких денег: главное оружие здесь — слова. Достаточно назвать врага и сделать его имя ненавистным; сделать так, чтобы имя это ассоциировалось со всеми разговорами о проклятых землях, о пороках, о колдовстве, о тайнах, которые убивают. Вместо того чтобы сразиться с Антонием на поле брани, он, Октавиан, будет сражаться с женщиной. Сражаться, оставаясь вдалеке от нее и прикрываясь самым надежным щитом: клеветой.

Победа в такой войне обеспечена заранее. И этой осенью, когда он

окончательно овладел Римом, у Октавиана уже нет поводов волноваться — разве что его беспокоит вопрос о том, как именно он будет сдерживать, в течение нескольких ближайших недель, поток ненависти, который вот-вот снесет все преграды. Однако за десять лет упорной борьбы за власть он, общаясь с преданными ему военачальниками, успел узнать: чтобы одержать блистательную победу, надо суметь навязать противнику не только место, но и момент сражения. Поэтому, несмотря на клокочущую в нем желчь, Октавиан сдерживается и ждет.

*

И Октавиан не ошибся, все само собой складывается в его пользу: не успел Антоний отпраздновать свой триумф, как его уже видят возглавляющим другой праздник, еще более поразительный, чем недавнее победное шествие, — церемонию Дарений, в ходе которой он торжественно делит между четырьмя детьми Клеопатры все земли, которые Рим, за последние сто лет, завоевал на Востоке.

Так, по крайней мере, представляли это событие римлянам агенты Октавиана. Им не трудно было исказить факты: царица превратила упомянутую церемонию в зрелище, далеко превосходившее своей роскошью триумфальное шествие; достаточно было просто рассказать о нем во всех подробностях, чтобы пугающий образ Египтянки, как бы в силу сработавшего инстинкта самосохранения, ожил во всех умах.

Супруги пожелали, чтобы церемония имела место в гимнасии Александрии, одном из самых больших зданий города. Там собралась добрая часть населения; на помосте, облицованном серебром, как в день триумфа, теперь были установлены два золотых трона. Клеопатра появилась в одеянии Исиды, в традиционной белой тунике; скорее всего, ее диадема была украшена эмблемой фараонов, священной коброй, а в руке царица держала золотой систр богини.

Римлянин на сей раз отказался от костюма Диониса и даже от туники и греческих сандалий, которые так любил. Он вышел к толпе как триумфатор, задрапированный в пурпурный плащ, с мечом у пояса. Уже сама воинская строгость его наряда показывала, что он намеревается сделать особо важные заявления.

Ниже тронов располагались четыре кресла. Эти места заняли дети Клеопатры: старший, которому должно было исполниться четырнадцать лет и чье сходство с Цезарем становилось все более очевидным; близнецы,

недавно отпраздновавшие свой пятый день рождения, и, наконец, самый младший, Птолемей Филадельф, двухлетний.

Мы ничего не знаем о том, как были одеты Цезарион и Клеопатра-Луна. Поскольку старший сын Клеопатры официально считался соправителем матери, он, вероятно, предстал перед собравшимися в традиционном облачении фараонов; что касается его сестры, то она, должно быть, выглядела как любая греческая царевна, ибо ее вид не вызвал никаких комментариев у свидетелей сцены — в отличие от внешнего облика двух младших мальчиков, который поверг всех присутствовавших в полное изумление: маленький Александр, словно персидский царевич, был одет в длинное платье, расшитое пестрыми узорами; его голову покрывал огромный тюрбан, украшенный не менее огромной тиарой и плюмажем из павлиньих перьев. Самого младшего нарядили македонцем: хотя ему исполнилось всего два года, он появился в красном плаще, в маленькой шапочке, традиционной для царевичей из дома Лагидов, в характерных для них мягких сапожках, доходящих до середины икры.

Символика этих одеяний прочитывалась совершенно ясно: каждый из четырех детей был живой эмблемой одной из частей мира, который пока находился под властью Антония, но который римлянин решил оставить им в наследство. Он что, потерял голову? Похоже, что так; вот он берет слово и произносит длинную речь, в которой объясняет — по-гречески — суть своего плана.

Он вкладывает в эту речь весь свой темперамент, всю силу убеждения; и людям уже кажется, что они вновь видят перед собой великого политического хищника, который, когда Цезарь отсутствовал, умел на протяжении многих месяцев крепко держать в кулаке Рим, Италию, Галлию; впрочем, и проект, который он сейчас излагает жителям Александрии, есть не что иное, как давешний план покойного диктатора: Антоний хочет основать династическую империю, достаточно прочную, чтобы она могла объединить в одно целое мозаичные разнородные элементы — народы и языки, — которые, занимая пространство от Македонии до Ливии, от Каспийского до Красного моря, от Персии до Нубии, вместе составляют ту подвижную и расплывчатую общность, что с незапамятных времен принято именовать Востоком.

Итак, в этот момент жизни у Антония не было никакой мании величия, не было и акта выражения верноподданнических чувств перед жадной до почестей царицей, находившейся в вассальной зависимости от Рима, как пытался представить дело Октавиан. А была простая, честная предусмотрительность со стороны человека, который достиг рубежа

пятидесятилетия и знает, что болезнь или война могут в любой из ближайших годов положить предел его жизни. Была озабоченность отца, который хочет привести свои дела в порядок, прежде чем ответственность за них перейдет к его детям; был также опыт воина, который в ходе своих кампаний сталкивался с самыми разными людьми и теперь пытается найти средство, чтобы надежно объединить их под общим знаменем. Наконец, был долг полководца, который вместе с назначением на должность получил мандат, обязывающий его организовать гигантские территории, переданные под его водительство, так, как он сочтет нужным.

Только вот еще что следует учесть: уже шесть лет Антоний не видел Рима, целых шесть лет он поддерживал связь с этим центром власти только через своих эмиссаров; и три последних года Клеопатра следовала за ним по пятам, не оставляла его почти никогда. Мысли царицы, ее манера поведения, образ жизни и чувства наложили глубокий отпечаток на личность Антония; он сохранил свою свободу выбора, но невольно стал пользоваться методами осуществления власти, характерными для Клеопатры, что было очень неосторожно. Для Антония сейчас имеют значение только масштабность его проекта, возвышенность замысла, его желание осуществить мечту Цезаря, объединив и умиротворив ойкумену, пройдя ее из конца в конец в качестве Бога-Спасителя, восстановив, подобно Дионису, радость первобытных времен. В результате в этом гимнасии, где он по-гречески обращается к грекам и рассказывает им об ойкумене, которую мечтает сделать греческой (ибо за время своих войн и путешествий по Востоку не видел иной основы для единства, кроме греческой культуры), Антоний забывает, что является римлянином и что Волчица в силу самой своей природы с недоверием воспринимает все чужое. Так вот: для того, чтобы этот грандиозный план стал приемлемым для Рима, его следовало бы сузить; и приступить к его выполнению незаметно и постепенно, камуфлируя свои истинные намерения, как делал Цезарь. Или, по крайней мере, нужно было прикрыть суть этого плана метафорическими образами и описательными выражениями, как требуют правила риторики. Но поздно, Антоний уже усвоил, сделал своим образ мыслей Клеопатры: его может удовлетворить лишь то, что обладает подавляющим человека величием, яркой зрелищностью театрального спектакля; свой проект он хочет представить слушателям сразу, во всей его красе, — и, значит, не прикрыв наготу его сути.

Поэтому, даже не пытаясь настроить в свою пользу Октавиана и сенат, он объявляет, что возвращает статус монархии территориям, которые еще накануне считались римскими провинциями. И он не только завещает эти

территории своим детям, но (что гораздо хуже) бесстыдно провозглашает: Цезарион является сыном Цезаря и будет царствовать совместно со своей матерью, в соответствии с законами фараонов, над Египтом, Кипром, а также отдельными территориями Галилеи, Ливана и Иудеи; что же касается Клеопатры, то отныне она должна именоваться «царицей царей и матерью детей, которые суть цари».

Подобного титула, на человеческой памяти, не носила ни одна женщина; не обладал им и ни один монарх, кроме разве что персидского владыки...

Потом Антоний называет одно за другим имена своих детей. Птолемей Филадельф, помимо Киликии и финикийского побережья, получает добрую часть Анатолии (до реки Геллеспонт). Маленькой Клеопатре-Луне достаются Крит, Киренаика и Ливия, то есть плацдарм для возможного завоевания Западной Африки. Наконец, старшему из своих сыновей, Александру-Солнцу, Антоний передает все земли, простирающиеся между Арменией и Индом.

Последнее царство — фантом; оно еще не завоевано даже на треть. Однако Антоний представляет эти территории как свои собственные и дарит их шестилетнему мальчику, год назад обрученному с дочерью мидийского царя. Неподделенными остаются только Греция, Македония и половина Анатолии — колыбель семьи Лагидов, колыбель унаследованной Клеопатрой культуры.

Собирается ли Антоний завещать эти области Антуллу, своему старшему сыну от Фульвии? Все как будто на это указывает — начиная с привязанности римлянина к упомянутому молодому человеку, который пока живет с Октавией, но которого отец собирается при первом удобном случае вызвать в Александрию.

Наконец, не подверглась разделу и Иудея, причем вовсе не из-за недостаточного упорства со стороны царицы: как только Антоний отбыл в Армению, Клеопатра поспешила к Ироду, чтобы как-нибудь поймать его в западню. Однако все ее усилия оказались напрасными: царь, ненавидевший ее так же сильно, как и она его, принял ее роскошно, однако не захотел вести с ней какие бы то ни было переговоры. Антоний узнал об этом, и настойчивость Клеопатры не только не поколебала его, а, наоборот, укрепила в решении не уступать ей Иудею...

Уже одно это свидетельствует о том, что он вполне сохранил свободу принимать решения и что царица склонялась перед его выбором. Потому что, в конечном счете, ни один мужчина не предлагал ей такого роскошного подарка: Антоний вознес Александрию на вершину пирамиды царств,

чтобы она стала живым сердцем мира, отныне и до конца времен.

*

Несомненно, именно в тот период Антоний составил свое завещание, которое затем было скреплено, помимо его собственной печати, печатями двух его ближайших боевых соратников, Планка и Тита, и отправлено в Рим, а там, подобно завещанию Цезаря, передано на хранение в храм Весты.

На основании этого жеста вовсе не следует делать вывод, что Антоний неотступно преследовал страх смерти: просто ему уже исполнилось пятьдесят и он поступил так, как поступили бы большинство его сограждан, считавших, что лучше распорядиться своим имуществом и своим телом, пока то и другое еще пребывают в цветущем состоянии, а не в момент, когда внешние бедствия или упадок физических сил могут негативным образом повлиять на разумность последних решений.

Не в то же ли время и Клеопатра начала строить свою гробницу, сей театр, в котором пройдут последние дни ее жизни и который благодаря этому войдет в легенду? Цари из династии Лагидов, как и большинство восточных монархов, обычно воздвигали свои погребальные сооружения задолго до окончания земного пути; и часто с маниакальной тщательностью наблюдали за всеми этапами строительства этих в большинстве случаев очень импозантных памятников. Однако у нас нет никаких свидетельств, позволяющих предполагать, что последняя царица Египта хотя бы задумывалась о чем-то подобном ранее момента, о котором мы говорим; и мы наверняка знаем, что через три с половиной года, когда случилась трагедия, оборвавшая жизнь Клеопатры, ее гробница еще не была завершена. В период же начала строительства гробницы царица, несмотря на терзающие ее страхи, словно бы подводит черту под прежней своей жизнью, как сделал это и Антоний: если до сих пор ее беременности, столь очевидно желанные, с точностью часового механизма отмечали этапы ее политической карьеры, то теперь, кажется, она уже не считает нужным пользоваться материнством как средством для завоевания власти. Птолемей Филадельф, родившийся два года назад, останется ее последним ребенком; а ведь царица еще около четырех лет будет проводить ночи в объятиях Антония. Сделалась ли она в результате последних родов бесплодной? Или просто решила, что, достигнув вершины славы, став «царицей царей и матерью детей, которые суть цари», она уже получила через свое женское

естество все, на что могла рассчитывать, и что возвращаться к этому не стоит?

Тот факт, что церемонии Дарений был придан характер окончательного и необратимого раздела мира, заставляет нас склониться в пользу второй гипотезы; очевидно, в последующие годы Клеопатра избегала новых беременностей, обращаясь к помощи лучших врачей того времени и пользуясь своим глубоким знанием целебных трав и бальзамов. Решение царицы было вполне разумным: ее четыре ребенка — старший сын и другой, младший мальчик, как бы обрамляющие пару разнополых близнецов, — являли миру образ идеального потомства; и, несмотря на страх, который не переставал ее мучить, она не захотела нарушать этот образ; ведь жизнь есть театр, единственное, что имеет значение, — совершенство зрелища, и она любой ценой должна была добиться того, чтобы спектакль до конца оставался совершенным.

*

И она замкнула свою жизнь на том чувстве удовлетворения, которое давали ей ее слава, ее сокровища, ее титулы, присутствие Антония. Ее взгляд, прежде такой открытый и пытливый, теперь был устремлен только на этого римлянина, дарившего ей деньги, величие, детей, свою любовь, чувственное наслаждение. Так «неподражаемая жизнь» из непрерывной творческой провокации превратилась в форму ослепления царицы. Клеопатра повелела воздвигнуть в храмах Александрии, рядом со своими статуями, статуи Антония; по ее приказу на монетах теперь чеканили профили их обоих, причем мастера должны были изображать царицу и ее супруга настолько похожими, чтобы они казались чуть ли не близнецами.

Можно подумать, что все ее честолюбие теперь свелось к единственному безумному желанию: сделать так, чтобы ее душа, ее тело, ее власть слились с духом, плотью и силой Антония. Можно подумать, что округлость мира, необозримость еще не побежденных пространств есть не более чем замкнутый заповедник, в котором она охотится за счастьем.

Тогда зачем беспокоиться о новостях, которые, несмотря на то, что море закрыто, все-таки доходят до Рима, где, как прекрасно знают любовники-супруги, Октавиан терпеливо ведет счет всем их экстравагантным выходкам? Антоний и Клеопатра смеются над этим — или, точнее, веселятся, потому что нынешней зимой их, как кажется, уже ничто не связывает с Италией, кроме удовольствия, которое они получают,

когда бросают в лицо врагу свою радость.

Какое, к примеру, наслаждение вообразить себе ярость, которая охватит Октавиана, когда он узнает, что Планк, римлянин, с головы до ног вымазался синей краской, прежде чем явился на пир «неподражаемых»; что он напялил на голову веночек из тростника, а к ягодицам прицепил хвост дельфина; что затем он, совершенно нагой, исполнил пантомиму, в ходе которой, стоя на коленях перед Антонием и царицей, изображал морское божество, кувыркающееся в волнах... Кстати, вероятно, этот самый Планк имел наглость заказать какому-то скульптору статую Антония и, чтобы все об этом узнали, приказал выгравировать на ее черном гранитном цоколе шутовскую посвятельную надпись: *«От Блюдолиза — Антонию Великому, служителю Афродиты, Неподражаемому»*.

Октавиан скрупулезно собирает все слухи, и смутные и достоверные, особенно если они могут подкрепить те сплетни, коими он намеревается поделиться с римским народом. Однако, вопреки похабным анекдотам, которые он хочет предать гласности, Антоний вовсе не проводит свои дни в пьяном отупении, изредка прерывая его, чтобы размять мускулы или сыграть свою маленькую партию в оркестрованной Клеопатрой музыкальной пьесе. Действительно, на ночных пиршествах «неподражаемых» царит полная раскованность, там исполняют неприличные танцы, устраивают розыгрыши и рассказывают непристойности, причем царице все это удается блестяще. Но в остальное время Антоний, как любой полководец, чья армия находится на зимних квартирах, посвящает все свои силы подготовке новой кампании, которую опять планирует провести в Армении. Когда у него остается какой-то досуг после занятий с солдатами и совещаний со штабными, он, как некогда в Афинах, тратит его на чисто интеллектуальное общение с учеными Александрии; в таких случаях его сопровождает Клеопатра — по свидетельству одного современника, она получает от этого «удовольствие, которое носит явно чувственный характер». Если царице приходится остаться во дворце, чтобы обсудить что-то со своим министром (евнухом — нравы семьи Лагидов не изменились), или если она предпочитает побеседовать со своими медиками, которые Антония как будто не интересуют, она посылает своих людей, чтобы они сопровождали императора. Обычно эту роль исполняют два интеллектуала, имеющие ярко выраженную антиримскую ориентацию: Тимаген и, прежде всего, Алекса — тот самый агент, которому удалось снискать расположение Антония в момент женитьбы последнего на Октавии. Кстати, когда Антоний подумывал о том, чтобы вернуться к Октавии, именно Алекса убедил его не

делать этого.

Итак, пока ее супруг-возлюбленный, как он полагает, свободно общается с богами, с учеными, со звездами или с теми книгами, которые еще остались в Неподражаемом городе, Клеопатра, находится ли она близко или далеко, ни на минуту не выпускает его из виду, контролирует его, наблюдает за ним: она удерживает его около себя, воздействуя не на его чувства, но на его разум.

И именно здесь таится опасность: в ее рассудке, который еще недавно мог мгновенно охватить самую широкую перспективу, но под воздействием страха стал малоподвижным, замутненным — до такой степени, что царица теперь уже не способна думать ни о чем, что происходит за пределами городских укреплений Александрии.

*

Октавиан пока, так сказать, оттачивает свои стрелы; и делает это тем более успешно, что уже успел подчинить себе почти все римские институты. Он уже зрелый человек; не испытывая склонности к завоевательным войнам, он предпочел попытаться понять, чего ждут от него Рим и Италия.

И осознал, что ожидания эти совершенно элементарны: все хотят просто мира. Однако мира не только в смысле прекращения военных действий; новое веяние состоит в том, что теперь римляне принялись мечтать о счастье в некоем особом понимании этого слова.

Для них «счастье» — не величие, не почетная карьера, не бесконечная череда военных успехов, а маленькие скромные радости частного порядка, праздность и обывательские удовольствия, «золотая середина», как вскоре назовет это все поэт Гораций: осенним утром — жареные каштаны и бокал молодого вина; летом — тень увитой виноградом беседки, лепет фонтана в глубине сада; возможность почитать нежную поэму, насладиться, не торопясь, местным вином, свободной одеждой, тишиной и ласками рабыни.

Как только Октавиан это понял, он решил предложить римлянам форму власти, которая соответствовала бы сложившемуся в их сознании образу: отныне законом станет разум, а в пространственном смысле новая власть удовлетворится уже завоеванными землями, заключенными в разумно установленные границы. Рациональная организация «внутреннего» мира империи придет на смену лихорадочным попыткам покорить хаос огромного «внешнего» мира.

А значит, больше нет места для Диониса. В силу особенностей своего темперамента Октавиан никогда не принадлежал к числу тех, кто умеет дать себе полную волю, потопить свои горести и печали в безумии карнавала или в вине; однако сейчас, когда гений Октавиана созрел, сам дух, вызываемый к жизни культом Бога-Освободителя, стал для него непереносим; он всем своим существом отвергает мистику, которая вдохновляет Антония, и слепое желание последнего завоевать ойкумену, положившись на силы спонтанности, энтузиазма, творческого беспорядка. Цель Октавиана состоит в том, чтобы разметить известный мир межевыми знаками, а потом насадить в этом надежно организованном пространстве цивилизацию, которая будет распространяться медленно и неуклонно, через посредство цельной и связной концепции управления людьми. Будет распространяться из Рима, единственного возможного центра осуществления власти.

Политическое видение Октавиана тоже отличается масштабностью и, главное, оно совершенно необычно. Соперничество Октавиана и Антония теперь переходит в новую фазу: речь уже не идет о соревновании между амбициозным юношей и влиятельным зрелым мужем. Октавиан, как некогда Цезарь, мыслит исторически: по его мнению, жажда экспедиций, имитирующих походы Александра, больше не соответствует ожиданиям времени. Он считает, что нынешние страдания людей невозможно уменьшить, прибегая к чуждым и темным силам, силам безумия и свободы; и убежден, что человечество обретет покой только в мире, вполне поддающемся расшифровке; поэтому ему, императору, следует не соблазнять своих подданных чарами тайны, а решительно обратиться к силам света.

Соответственно, он избирает в качестве покровителя своего проекта бога Аполлона и, несомненно, в это же время устраивает любопытный праздник (о котором кратко упоминает историк Светоний), подражая обычаям кружка «неподражаемых» во всем, вплоть до числа приглашенных: двенадцать участников пиршества изображают богов Олимпа; сам Октавиан появляется в костюме Аполлона, показывая тем самым, что ориентируется на строгий порядок звезд, тогда как Антоний, сбившись с пути, попал в подземный мир, связался с силами хаоса и потому заранее обрек себя на поражение.

Этот банкет, в принципе, должен был остаться тайной для непосвященных. Но слухи о нем вскоре распространились повсюду. И тогда все, от Рима до Египта, поняли, что между Октавианом и Антонием вскоре вспыхнет открытый конфликт и что эта битва будет самой опасной

из всех: будет сражением между силами «верха» и «низа», войной богов.

ЗЕМЛЯ ПРОТИВ НЕБА

(1 января 33 — весна 31 г. до н. э.)

Финальный конфликт между Октавианом и Антонием будет продолжаться два года. Октавиану, очевидно, не терпелось перейти в наступление, потому что он сделал это при первой же возможности, в первый день нового года, в момент, когда во второй раз получил должность консула.

Согласно обычаю он должен был произнести речь перед сенатом и описать в ней текущее положение дел. Едва успев открыть рот, он принялся поливать Антония грязью: назвал его пьяницей, деревенщиной, солдафоном, находящимся на содержании у женщины, которая соединяет в себе наихудшие пороки — алчность, гордыню, жестокость, нимфоманию, жажду абсолютной власти.

Раз начав, Октавиан уже не переставал изрыгать потоки ядовитой хулы; и за несколько недель Клеопатра стала для всех римлян объектом ненависти, пугалом, внушающим такой страх, что вместо ее имени предпочитали употреблять, как это делал Октавиан, абстрактное выражение *tristissimum periculum*, «самая зловещая опасность».

И, как если бы одних слов было недостаточно, в мастерских Ареццо стали изготавливать маленькие керамические статуэтки, представлявшие собой карикатуру на Антония и изображавшие его в виде переодетого Геркулеса: облаченный в женское платье, он прят шерсть у ног мифической царицы Омфалы, окруженной толпой прихлебателей, которые держали над ней тент. Царица, задрапированная в шкуру немейского льва, подносила к устам чашу с вином, а в другой руке сжимала дубину, которую отобрала у своего дыхателя и которой угрожала ему, чтобы он исправно работал.

Невозможно было бы выразиться яснее. Те, кто ненавидел Клеопатру, вдохновившись этим изображением, разродились множеством свежих клеветнических измышлений, которые бесконечно варьировали громогласные обвинения Октавиана, прозвучавшие в начале года. «Эта Клеопатра — просто проститутка», — возмущались многие римляне. «Не проститутка, а содержательница публичного дома, — поправляли их другие. — Вспомните, сколько ей лет!» А раз так, то, очевидно, что Цезарион не сын Цезаря, этот ребенок родился от неизвестного отца.

И все же против последней идеи кое-кто возражал: люди, в свое время

близкие к покойному императору, говорили об удивительном сходстве между этим юношей и его предполагаемым отцом. Однако Октавиан не сдался и отыскал некоего свидетеля, о котором прежде никто не слышал, но который торжественно поклялся, что присутствовал при том, как сам Цезарь опроверг слухи о своем отцовстве.

Во время этой клеветнической кампании, продолжавшейся около двадцати месяцев, на все лады повторялись рассказы о том, что Клеопатра — колдунья, причем одна из самых опасных, если учесть, в какой стране она родилась и как усердно изучала всякую тарабарщину; что, тайком подмешивая магические зелья в вина, которыми ежедневно спаивала Антония, она, незаметно для него самого, превратила его в восточного деспота, который смещает и назначает своих вассалов по ее капризу; по ее вине герой Алезии и Фар-салы, победитель в битве при Филиппах стал карнавальным персонажем, чье любимое удовольствие — видеть, как толпы преклоняют колена, когда он проходит мимо, с восточным кривым мечом у пояса и с золотым скипетром в руке.

Затем слухи, так сказать, разветвились, сконцентрировались на людях, играющих роли второго плана, на отдельных деталях повседневной жизни египетского двора. Говорили, например, что реально Востоком управляют парикмахерша Клеопатры и министр-евнух^[103]; что Антоний теперь заботится лишь о том, чтобы при всех обстоятельствах ему подавали напитки и кушанья только в драгоценной посуде, — и даже малую и большую потребности не желает справлять иначе, как в горшок из литого золота. Рассказывали, наконец, что в день своего триумфа, когда Антоний поднялся к храму Сараписа, он приветствовал Клеопатру так, словно она была Юпитером Капитолийским.

И уточняли, что этого потребовала сама царица, а он ей подчинился. Потому что фактически уже стал ее слугой, ради любви к царице отрекся ото всего — вплоть до своего достоинства свободного человека и гражданина; он даже уже не краснеет, слыша, как она при каждом удобном случае бросает слова: «Это так же верно, как то, что я однажды покараю Рим!»

И, как всегда, клевета находила себе самую надежную опору в крупницах правды: действительно, в момент, когда он повел свои легионы в Персию, Антоний, игнорируя обвинения Октавиана, выдал всем солдатам щиты, украшенные монограммой Клеопатры, — как если бы и в самом деле царица пожелала, чтобы его соратники преклоняли перед ней колена, в знак уважения перед ее новым титулом «царица царей».

И тогда возмущение римлян достигло апогея, даже слухи на некоторое

время прекратились: их место заняли сетования по поводу страданий Октавии и оскорблений, которые ей непрерывно приходится терпеть, — а между тем она не покинула дом своего супруга и продолжает воспитывать не только детей, коих родила Антонию, и своих детей от первого брака, но и двух сыновей Фульвии. Люди вспоминали о ее возрасте — ей было тридцать семь лет, как и Клеопатре, — и восхваляли ее красоту, которая, по их мнению, естественно, превосходила красоту египетской царицы. Наконец, подчеркивали, что всякий раз, когда у Антония появлялись важные дела в Риме, он направлял к ней своих друзей; и Октавия, всегда отличавшаяся душевным благородством, принимала их и всячески помогала им в исполнении их миссии.

К тому времени, когда сочувствующие закончили составлять список страданий «другой женщины», ненависть к Антонию и Клеопатре вновь обрела былую силу. И клеветническая кампания возобновилась — теперь она была еще более грязной и еще более ожесточенной, чем прежде.

*

Антоний и Клеопатра долго ее игнорировали. Это, несомненно, делалось намеренно; царица, вероятно, просто придерживалась правила, которое сформулировала для себя двадцать лет назад, когда впервые оказалась у кормила власти: никогда не показывать, что тебя задевают оскорбительные высказывания врага, которого ты презираешь. Очевидно, она не изменила своего мнения об Октавиане: считала его претенциозным ничтожеством, не имеющим никакого авторитета.

Антоний, как обычно, разделял ее точку зрения. Или, может быть, просто не спорил с царицей, потому что, как ему казалось, его ждали более важные дела: новая война в горах Армении.

Итак, во все время его отсутствия — до осени — александрийский дворец не отвечал на выпады Рима. В Риме же между тем клеветническая кампания набирала силу: там утверждали, что Антоний оставил для охраны Клеопатры большой отряд легионеров и что эти солдаты, как и он сам, повинуются каждому ее жесту и взгляду. Но до Клеопатры дошел и более тревожный слух: теперь ее тоже обвиняли в алкоголизме, из-за надписи, которую она повелела выгравировать на своем любимом перстне с аметистом, — *Μέθη*, «опьянение».

Клеопатра не стала оправдываться. Поняла ли она маневр Октавиана, осознала ли, что, направляя все свои стрелы на нее, он хочет представить ее

любовника как жертву, а ее саму — как злую колдунью? Предпочла ли остаться в тени и, чтобы избежать ловушки, дать слово самому Антонию, когда он вернется? Да и стоит ли объяснять этим невеждам, что надпись на ее перстне подразумевает вовсе не пьянство, а священную одержимость приверженцев Диониса и Осириса, которая, как считается, открывает людям путь к познанию всех добродетелей? К тому же римляне, в своем большинстве, ничего не знают о Египте: даже те, кто не думает, что эта страна сплошь населена астрологами, шарлатанами и проститутками, непоколебимо убеждены в том, что все ее жители — пьянчуги. Пытаться доказать им противное, значит, попусту терять время — и унижать себя.

Однако именно в этом и состояла хитрость Октавиана: он хотел поймать царицу в ловушку ее собственной гордости, ее презрения. Ибо, игнорируя слух, пришедший из Рима, Клеопатра тем самым признавала, что она именно такова, какой ее рисует этот слух: владычица, которая без ума от самой себя, опьяненная собственным высокомерием, спесивая до такой степени, что отказывается признавать очевидное превосходство Волчицы над всеми народами ойкумены.

Так из-за одного лишь молчания царицы Октавиан получил решающее преимущество; и, незаметно для нее самой, стал подводить ее к тому, что было ему нужно: к войне, в которой надеялся нанести окончательное поражение и ей, и своему сопернику.

*

Это сразу же понял Антоний, когда в начале осени вернулся к Клеопатре, возобновив свой союз с мидийским царем и завершив усмирение Армении. Обнаружив, до какой степени разрослись слухи, и, очевидно, раздраженный их подлым характером, он решил нанести ответный удар и отправил Октавиану письмо, исполненное редкостной ярости и настолько злое, что оно — исключительный случай! — бережно хранилось последующими поколениями и дошло до наших дней.

По прошествии двух тысяч лет нас все еще поражает его полная раскованность, но никаких сомнений в подлинности этого документа нет. Впрочем, Антоний никогда не стеснялся прямо говорить то, что думает. «С чего ты озлобился? — грубо обращается он ко второму владыке мира. — Оттого, что я живу с царицей? Но она моя жена, и не со вчерашнего дня, а уже девять лет. А ты как будто живешь с одной Друзиллой? Будь мне неладно, если ты, пока читаешь это письмо, не переспал со своей

Тертуллой, или Терентиллой, или Руфиллой, или Сальвией Титизенией, или со всеми сразу, — да и не все ли равно в конце концов, где и с кем ты путаешься?»^[104]

Атака должна была сильно уязвить соперника: Антоний напоминает здесь о Ливии Друзилле, которую Октавиан соблазнил шесть лет назад, когда эта молодая женщина была замужем за другим и ходила на шестом месяце беременности. Октавиан женился на ней, потом постоянно ей изменял; но Ливия, которая была так же умна и амбициозна, как и ее муж, закрывала на это глаза и виртуозно играла роль матроны стародавних времен — занималась домашним хозяйством, прядением и ткачеством, была живым примером возвращения к древним традициям, к легендарным обычаям предков и к их нравственным нормам, которые Октавиан намеревался возродить в римском обществе (и которые сам не соблюдал — по крайней мере в том, что касалось его любовных походов).

Таким образом, Ливия была одним из главных политических козырей Октавиана. И он почувствовал себя задетым за живое; а Антоний, как только это понял, уже не оставлял в покое больное место своего врага; видимо, той же зимой — которую он провел в Эфесе, вместе с Клеопатрой, — Антоний написал направленный против Октавиана памфлет «О моем пьянстве».

Попытался ли он объяснить в этом сочинении то, что не смогла или не захотела объяснить Клеопатра: мистический и философский аспекты своего культа Диониса? Или же просто ответил — в саркастическом тоне и свободно употребляя непристойные словечки — на те клеветнические обвинения, которыми на протяжении многих месяцев осыпал его Октавиан? Мы никогда этого не узнаем, ибо текст памфлета не сохранился — несомненно, потому, что, одержав победу, Октавиан приказал его уничтожить. Как бы то ни было, скорее всего, именно находясь в Эфесе, Антоний решил наносить своему шурина такие же низкие удары, какие сам от него получал.

Так, Антоний обвинил Октавиана в том, что тот спал с Цезарем и потому был им усыновлен; и что потом он, Молокосос, продался секретарю Цезаря, Гирцию, за триста тысяч сестерциев. Антоний собирал и распространял сведения о маленьких интимных маниях Октавия — например, о том, как тот прижигал себе икры скорлупой ореха, чтобы волосы на них были мягче. Он также напомнил во всех деталях обстоятельства женитьбы Октавиана на Ливии и рассказывал о том, как Октавиан поручал своим друзьям подбирать для него любовниц среди матрон и молодых девушек из лучших семейств, которых будто бы сперва

раздевали и детально осматривали, чтобы узнать, соответствуют ли они вкусу хозяина. Наконец, Антоний пустил в обращение и анекдот о празднике, который Октавиан устроил в подражание пиршествам «неподражаемых» и на котором изображал Аполлона. На сей раз маневр супруга Клеопатры оказался столь удачным, что по Риму поползли слухи, будто боги сочли этот праздник великим святотатством и оскорбленный Юпитер даже бежал с небес, которые отныне глухи к молитвам Молокососа.

Продолжение не заставило себя ждать: Октавиан объявил Антония самым чудовищным воплощением безумного бога — Дионисом-Каннибалом. В ответ Антоний отождествил Октавиана с самой отвратительной человеческой ипостасью солнечного божества: Аполлоном-Мучителем. После чего вновь наступило временное затишье: каждый окопался на своих позициях.

*

Однако естественным ходом вещей положение становилось все более благоприятным для Октавиана: дело в том, что Антоний мог изменить его в свою пользу, только приехав в Италию; однако теперь, когда Египтянка стала пугалом для всех римлян, Антоний, вздумай он вернуться на родину вместе с иноземной царицей, которую обвиняли в алкоголизме и колдовстве, подверг бы себя слишком большому риску.

С другой стороны, Клеопатра никогда не отпустила бы его в Рим одного — из-за Октавии. Так что, если Антоний хотел жить с царицей, он был вынужден оставаться на Востоке и, как и раньше, вести свои дела наихудшим из всех возможных способов — прибегая к посредничеству друзей.

А между тем существовал один очень важный вопрос, который, несмотря на его простоту, мог быть удовлетворительно решен только при условии личного присутствия Антония в Риме: вопрос о ратификации «Дарений» сенатом. До сих пор Антоний откладывал это дело, но далее так продолжаться не могло, иначе завещание потеряло бы свою законную силу.

Для столь умелого политика, как Октавиан, сделать следующий ход не составляло труда: нужно было убедить сенат отклонить прошение о ратификации, и тогда Антоний оказался бы вне игры.

Октавиан так и поступил. Документы, которые Антоний отправил в Рим в начале зимы, были представлены на рассмотрение ассамблеи 1

февраля — дату выбрал сам Антоний, ибо два консула, которые в тот день должны были вести заседание, Соссий и Агенобарб, относились к числу его самых преданных сторонников.

Сначала все шло, как он предполагал: Соссий открыл заседание хвалебной речью в адрес Антония; затем великолепно уравнил ее убийственной диатрибой против политики Октавиана.

Последний, разумеется, в этот день тоже явился в сенат. Его приверженцы позволили Соссию закончить торжественное выступление, а потом трибун просто наложил вето на решения Антония. Ситуация зашла в тупик.

Тогда Октавиан вызвал со всей Италии своих сторонников; и в тот день, когда ассамблея собралась снова, чтобы найти выход из кризиса, он пришел в курию в сопровождении эскорта сенаторов, у каждого из которых меж складок тоги легко можно было разглядеть рукоять кинжала.

При одной мысли о том, что драма мартовских ид может повториться, собравшиеся окаменели от ужаса. Октавиан воспользовался этим, чтобы взять слово, оправдать свою политику и, разумеется, в очередной раз вылить на Антония ушат грязи. Никто и пикнуть не посмел. К концу этого заседания Антоний уже был политическим трупом; произошел, фактически, государственный переворот.

Два консула обратились в бегство, вскоре за ними последовали еще триста сенаторов. Большинство из них хотело присоединиться к Антонию на Востоке. Октавиан не стал чинить им препятствий; он уже добился того, чего хотел: поместил Антония в ту же ситуацию, в какой десять лет назад оказались убийцы Цезаря.

С одной лишь разницей: сейчас у него, Октавиана, было огромное стратегическое преимущество. Его соперник не мог вернуться в Италию, не порвав предварительно свои отношения с Клеопатрой. А значит, Октавиан одержал решающую победу — выиграл словесную войну.

*

С этого момента две жертвы Октавиана становятся подобными птицам, которым только что отрубили головы, но которые, вопреки всему, еще продолжают свой безумный бег: они что-то делают, верят в близкую победу и отказываются признать, хотя бы на один миг, что их судьба уже бесповоротно решена. Единственное, что еще отсрочивает их поражение, это инерция движения войск, месяцы, необходимые для того, чтобы две

соперничающие армии встретились лицом к лицу, — и закрытое на зиму море. Однако, хотя, по видимости, все происходит очень медленно, механизм самоослепления царицы и ее супруга неуклонно набирает обороты. Ни Антоний, ни тем более Клеопатра не отдают себе отчета в том, что они являются всего лишь марионетками в руках насмешницы-судьбы — или в руках демиурга Октавиана, который, оставаясь в Риме, наблюдает, как они, неделю за неделей, перебирают длинные четки своих ошибок.

А события теперь следуют одно за другим с механической неотвратимостью: из Армении, где он получает известие о государственном перевороте в Риме, застигнутый врасплох и потрясенный Антоний быстро приезжает в Эфес и собирает вокруг себя всех своих офицеров. С той же неизбежностью Клеопатра спешит присоединиться к нему. Соратники Антония требуют, чтобы она вернулась в Александрию. Антоний сперва соглашается с ними. Царица делает вид, будто готова подчиниться, но вызывает к себе одного из офицеров, напоминает ему, что без ее золота и без ее кораблей Антоний не сможет выиграть войну, и, предложив этому человеку порядочную сумму денег, убеждает его попытаться изменить мнение его командира. Офицер берет деньги, излагает свои доводы Антонию, и тот почти сразу же решает удовлетворить желание царицы. В результате она остается в Эфесе, где очень быстро (и тоже неизбежно) вступает в конфликт с двумя самыми близкими товарищами Антония, Планком и Титием, членами кружка «неподражаемых». Не желая терпеть оскорбления царицы и чувствуя, что ветер вот-вот переменится в пользу Октавиана, эти двое бегут в Рим.

Тем временем Октавия, тоже действуя как автомат, по-прежнему разыгрывает роль прекрасной оскорбленной матроны. Римляне вновь начинают оплакивать судьбу этой достойной восхищения женщины, такой чистой и так несправедливо покинутой. И машинально, нескончаемо рассуждают о том, как их тошнит от Антония, как ненавистна им Клеопатра.

А они, Антоний и Клеопатра, уже стоящие на пороге гибели, ничего не видят, ничего не слышат и, как обычно, вновь и вновь повторяют себе, что являются самыми счастливыми, самыми могущественными, что благословение богов пребывает с ними, где бы они ни находились — в пустыне или, как сейчас, на берегу улыбающегося моря, в Эфесе или на Самосе, в Афинах или на Корфу; и в то время, когда по всему Средиземноморью сухопутные войска и экипажи кораблей готовятся к последнему сражению, они по-прежнему радуются жизни и устраивают празднества в честь Бога-Освободителя — такие же неподражаемые, такие

же уверенные в себе (и упрямые), какими были всегда.

*

И был этот праздник на Самосе, певческое и театральное состязание, которое продолжалось много недель. Говорили, что на острове не смолкают звуки флейт и лир; цари и царицы со всей Азии стекались сюда и наперебой старались предложить Антонию и Клеопатре самое красивое зрелище, самый роскошный подарок; каждое утро один из царственных гостей (в порядке установленной очередности) приносил в жертву целого быка.

Жители Самоса ежедневно спрашивали себя, как же эти двое будут праздновать свою победу, если сейчас идут лишь приготовления к войне, а остров уже стал свидетелем безупречно великолепного триумфа...

А они, двое супругов, как ни удивительно, даже не улавливали этого несоответствия; они вдохновлялись своей верой и были убеждены, что все люди, увидев их, разделят их ликование, что, когда они поплывут на Запад, их повсюду будут встречать с тем же энтузиазмом, с каким некогда встречали Александра на дорогах Востока. Вселенная, так им казалось, сама раскрывается им навстречу; мир — это остров, сияющий и круглый, как Самос. И целые народы, восхищенные тем, как горделиво они шествуют во главе своего войска, увидев их, будут пускаться в пляс, словно захмелевшие актеры или словно корабли в бухте, которым не стоит на месте под вечерним летним ветерком.

*

Да и почему они должны сомневаться в своей удаче: Антоний — первый со времен Александра военачальник, который контролирует все море, от Корфу до Пергама, от Фасоса до Александрии; в Греции он собрал более полумиллиона Солдат, которые все (благодаря египетскому золоту) сыты, одеты, вооружены, тогда как Октавиан, в Италии, не имеет денег, чтобы платить жалованье своим легионерам...

Правда, некоторые офицеры Антония понимали, что из огромной массы собранных им людей боеспособны в лучшем случае две трети; остальные — снабженцы, повара, слуги всех родов — нужны лишь для того, чтобы придать его армии тот внешний блеск, каким обладало войско

Александра три века назад. У Октавиана, конечно, гораздо меньше солдат, но они все — или почти все — умеют сражаться, а кроме того, ими руководят гениальные полководцы, такие, например, как Агриппа.

Однако царица была спокойна; и ее уверенность в себе все более возрастала по мере того, как она приближалась к греческим берегам, к колыбели ее предков; и она постепенно приходила к убеждению, что решающая битва произойдет на море — там, где никто и никогда не мог одержать верх над Александрией. Что же касается легионов Октавиана, то ей казалось: поскольку они не получают жалованья, их легко будет подкупить; и она уже заслала в Италию нескольких агентов, которые начали терпеливо искать подходы для осуществления ее замысла.

В тот момент Антонию следовало бы атаковать неприятеля. Но он этого не сделал. Что ему помешало, мы не знаем.

Может быть, между ним и Клеопатрой произошла очередная бурная сцена, одна из тех бесконечных ссор, которые случались после каждой их встречи и неизменно следовали одному и тому же сценарию: Антоний, под воздействием внезапного порыва — обусловленного, несомненно, и его инстинктом солдата, и жизненным опытом, — вновь ощущает себя римлянином, с картинной воинственностью драпируется в свой императорский плащ и во всеуслышание объявляет, что выступает в поход (тем самым отстраняя Клеопатру от участия в дальнейших событиях). Царица столь же внезапно мобилизует все свои ресурсы трагической актрисы и начинает разыгрывать из себя Федру, Медею, Клитемнестру, Кассандру, Электру, покинутую Ариадну. Крики, слезы, заверения в неминуемой скорой смерти царицы — затем, столь же неизбежно, следуют умелые маневры ее друзей и контрманевры офицеров Антония; Антоний начинает сомневаться, сожалеет о своей грубости, боится потерять царицу, вспоминает их общее счастливое прошлое. И тут члены кружка «неподражаемых», его товарищи по пирушкам, в свою очередь, подхватывают трагические жалобы якобы отвергнутой царицы. Антоний по-прежнему отстаивает свою точку зрения. В переговоры с ним вступают самые хитроумные из друзей царицы; он их выслушивает, спорит с ними, защищается. Но эти люди — александрийцы, никто не способен перещегоолять их в искусстве запутанных софистических рассуждений. Антоний не может не признать убедительности их аргументов и в конце концов уступает. Он никуда не уедет, останется с Клеопатрой — тем более что, пока длился этот фарс, благоприятная возможность была упущена.

Разумеется, Октавиан воспользовался нерасторопностью своего врага. Он собрал налоги, выжал из населения все, что смог. Начались волнения, которые он подавил самым элементарным способом: быстро и щедро расплатился со своими солдатами, и те без труда урезонили возмущившийся было народ.

Римляне смирились, им даже понравилось, как решительно Октавиан восстановил спокойствие, они признали в нем поборника порядка, человека, чья жесткость оправдана благой целью: ведь он хочет возродить обычаи предков, вернуться к Риму изначальных времен. И потом, разве он не собирается выгнать из Города всех звездочетов, приехавших с Востока?

Октавиан, почувствовав, что его усилия увенчались успехом, решил заняться обработкой общественного мнения, незаметно настроить людей так, чтобы в должный срок они безропотно приняли весть о физическом уничтожении Антония. Между августом и октябрём он распространит на всю Италию клеветническую кампанию, которая так удачно прошла здесь, в Риме.

И вот, в течение нескольких недель, пока собираются его легионы, он переезжает из города в город, неутомимо возглашая во всех общественных местах, что царица Египта, опираясь на помощь Антония, которого она превратила в своего раба, намеревается утвердиться на Капитолии, построить для себя дворец на месте храма Юпитера и установить в Италии худшую из возможных тираний — тиранию женщины.

В каждом городе при одном упоминании слова *regina* толпами людей овладевает смятение. И тогда Октавиан перестает их пугать и требует, чтобы они принесли ему клятву верности ввиду предстоящей битвы. И повсюду происходит одна и та же сцена: охваченные страхом люди клянутся, что будут сражаться на его стороне.

В этот момент, как кажется, и выходят на сцену два персонажа, которых одних только не хватало, чтобы завязка трагедии состоялась: два предателя, бывшие члены кружка «неподражаемых», Планк и Титий.

Торопясь спасти свои шкуры, они являются к Октавиану и, без дальнейших околичностей, открывают ему содержание завещания

Антония. Так, по крайней мере, сообщает нам традиция; но знали ли они в действительности содержание документа? Ничто на это не указывает. Тем не менее завещание было скреплено их печатями; о чем в нем говорилось, Октавиан мог придумать сам — лишь бы они это подтвердили.

Перебежчики, скорее всего, не предлагали ему подобный маневр, Октавиан сам был достаточно хитер, чтобы понять: поскольку Титий и Планк нуждаются в его покровительстве, совершенно очевидно, что они выступят в качестве свидетелей всего, что бы ему ни вздумалось рассказывать о завещании.

Октавиан притворился, будто охвачен священным гневом, ворвался в храм Весты и потребовал таблички Антония; весталки подняли крик, но не смогли ему помешать. Он вошел в хранилище, по видимости успокоившись, вскрыл документ, сделал вид, что не спеша читает и конспектирует его; затем, приняв позу оскорбленного достоинства, назначил экстренное заседание сената, на котором и огласил свои записи.

Завещание — по крайней мере, в том виде, в каком его представил Октавиан, — лишало наследства двух дочерей Антония от его законной супруги. Согласно Октавиану, Антоний оставил все свое состояние детям, которых родила ему Клеопатра, и торжественно подтвердил, что Цезарион является сыном Цезаря. Кроме того (опять-таки по словам Октавиана), Антоний выразил желание, чтобы после смерти тело его пронесли в торжественной процессии по Форуму, а затем похоронили в Александрии, рядом с телом Египтянки.

Изумление сенаторов было безмерным. Некоторые из них поражались тому, как Октавиан дерзнул обнародовать документ, который по самой своей природе мог быть прочитан лишь после смерти автора; другие, напротив, приняли за чистую монету последние желания, которые Октавиан приписал Антонию, и возмущались их святотатственным характером. Однако те и другие испытывали страх — тот же самый, что приковал их к месту в день мартовских ид и во время недавнего государственного переворота.

Именно на это и рассчитывал Октавиан. Воспользовавшись внезапной растерянностью присутствующих, он без труда убедил их одобрить предложенное им решение: Антоний был лишен всех своих титулов и низведен до положения частного лица. Затем один из самых верных приспешников Октавиана, Кальвизий, разразился диатрибой в адрес Антония, в которой, как обычно, смешал истинные и вымышленные факты. Если даже действительно, как он утверждал, Антоний подарил Клеопатре двести тысяч свитков из Пергамской библиотеки, чтобы она забыла о

пожаре, когда-то уничтожившем сокровища Александрии, то разве можно поверить, что Антоний каждый раз бросал все дела и кидался за носилками царицы, если видел, как ее проносят по улице? Или что Клеопатра, желая быть уверенной, что Антоний помнит о ней, даже когда выполняет свои общественные обязанности, приказывала прилюдно передавать ему ее любовные записки, выгравированные на табличках из оникса или хрусталя...

Но Октавиану, прежде чем начинать войну, нужно было любой ценой очернить врага; и в это смутное время, когда молодые римляне, очевидно нарушая обычаи предков, начали воспевать удовольствия *militia amoris* («любовной войны»), он принялся сплачивать народ, играя на одном из самых древних психозов — маниакальном страхе перед безумствами, на которые толкает человека любовная страсть. Римляне непременно должны были услышать сказки о том, как Антоний бежит за носилками царицы или получает от нее пылкие послания на табличках из хрусталя, — иначе этих людей, мечтавших только о своем маленьком личном счастье, никакая сила не заставила бы вновь взяться за оружие. И, главное, забыть, что боятся они не столько Египтянку, сколько самих себя.

*

Между тем Октавиан пока не собрал все свои войска (некоторые легионы шли издалека — из Испании, из глубины Галлии) и не завершил строительство флота.

Значит, у Антония еще была возможность первым атаковать противника. Но он ею не воспользовался. Обеспокоенные инертностью своего лидера, его сторонники послали к нему гонца, Геминия, суть миссии которого можно выразить в одной фразе: он должен был убедить Антония расстаться с Клеопатрой.

Едва увидев этого человека, царица почуяла опасность. Но ее политическое здравомыслие уже настолько притупилось, что она приняла Геминия за агента Октавиана и решила во что бы то ни стало помешать ему встретиться с Антонием наедине. Она призвала на помощь своих прихлебателей, и, по ее указке, они стали наносить Геминию одно оскорбление за другим.

Однако римлянин был терпелив, настойчив и спокойно сносил все эти выходки. Каждый раз во время вечерней трапезы его сажали в конце стола и он оказывался под шквальным огнем злых шуток. Казалось, эта игра

будет длиться бесконечно. Геминию все никак не удавалось поговорить с Антонием с глазу на глаз; тем не менее, несмотря на враждебность окружающих, он не собирался складывать оружие. Клеопатра первой потеряла терпение. Однажды за обедом она решила сыграть ва-банк и попросила гостя объяснить перед всеми собравшимися, какие дела привели его в Грецию.

Геминий ничуть не смутился и холодно ответил, что речь идет о деле, о котором имеет смысл говорить только на трезвую голову; зато одно он знает наверняка, пьян ли он или трезв: все пойдет на лад, если Клеопатра вернется в Египет.

От гнева лицо Антония налилось кровью, он вскочил с места, но царица, на которую, несомненно, произвело впечатление спокойное мужество Геминия, жестом успокоила мужа и удовлетворилась тем, что бросила римскому гонцу: «Умница, Геминий, что сказал правду без пытки».

Мы не знаем, удалось ли Геминию поговорить с Антонием. Известно лишь, что через несколько дней он уехал в Рим и там объявил своим друзьям, что их дело проиграно.

Так оно и было на самом деле; ибо на Западе людей охватило лихорадочное возбуждение, связанное не с радостью, а с прямо противоположным чувством — страхом.

*

Но не успел Геминий убраться восвояси, как Антоний вновь резко сменил курс — несомненно, под воздействием одного из тех внезапных поворотов, которыми всегда заканчивались очередные туры борьбы за влияние между его офицерами и Клеопатрой.

Может быть, от него до сих пор скрывали дело с завещанием, может быть, он только теперь узнал содержание последних сплетен, которые распространял на его счет Октавиан. Как бы то ни было, воспылав гневом, он внезапно решил направиться в сторону Италии, сделать остановку на Корфу и затем в ходе молниеносной атаки разгромить Октавиана.

Взял ли он с собой Клеопатру, мы не знаем. Да это и не так важно; его акция, на которую он решился слишком поздно, закончилась провалом: за два месяца, пока Антоний колебался, Октавиан успел развернуть свои корабли, и, выйдя в открытое море, Антоний наткнулся на его эскадру.

Антоний тут же повернул назад и в результате превратился из осаждающего в осажденного: ибо вражеский флот занял одну из

важнейших позиций его собственной оборонительной линии, тянувшейся вдоль западных берегов Греции, — самую северную точку, Корфу. Антоний не стал вступать в сражение и оставил этот остров противнику.

В это время случился маленький шутовской эпизод: Октавиан, который наверняка знал, что его соперник больше не отважится появиться в Италии, объявил, что готов позволить ему высадиться на итальянский берег вместе с войсками, чтобы решающая битва между их армиями произошла на родной земле. Антоний отказался, но, в том же тоне, предложил Октавиану сразиться с ним в личном поединке. Октавиан, разумеется, отклонил предложение, после чего Антоний решил, что они квиты, и спокойно отправился в Афины, где Клеопатра желала насладиться теми же почестями, какие тамошние жители когда-то оказали Октавию.

Немного южнее Корфу имеется прекрасное место для стоянки кораблей, укромный залив с узким входом, над которым доминирует Высокий мыс, по-гречески Ακτιον (Актий). Антоний оставил там свой флот на зимовку, а сам прибыл в Афины, где, как ранее на Самосе, начались бесконечные празднества.

*

Не по настоянию ли Клеопатры, которая торопилась взять реванш над его прежней женой, Антоний так легко отказался от острова Корфу? Источники не подтверждают эту версию. Но, с другой стороны, и не опровергают ее; а упорное желание Клеопатры получить от афинян те же почести, которые они воздавали «другой женщине», как кажется, свидетельствует о том, что всеми ее действиями и жестами управляло стремление утвердить — при всех обстоятельствах — свое превосходство над соперницей; и теперь, оказавшись в местах, где Антоний любил Октавию, царица горела желанием показать, до какой степени она унизила эту женщину.

В это же время Антоний послал разводное письмо своей римской жене. Затем, по-прежнему уверенные в том, что именно они задают тон и уничтожат брата с такой же легкостью, с какой избавились от его сестры, Антоний и Клеопатра уехали в Патры, где возобновили игру в «неподражаемую жизнь», то есть проводили свои дни в философских беседах, а по ночам устраивали праздники и пиршества, состязались в непристойных шутках и шутовских проделках.

Однако даже у самых верных сторонников Антония часто не было

настроения веселиться. В приверженности царицы Дионису, в ее культе мистического опьянения им теперь виделась пугающая недостоверность, все это представлялось им гротескной пляской перед лицом катастрофы; да и за масками Бога-Освободителя они, в некоторые вечера, будто бы различали темный лик беды. Как и их шеф, они в лихорадочном нетерпении ожидали начала битвы, часто обсуждали с ним будущие маневры, стратегию, тактику; но не могли скрыть от самих себя то, что уже задумываются о возможностях перехода в лагерь противника.

Кампания, так блестяще организованная Октавианом, близилась к завершению. Оставалось лишь формально объявить войну. Войну, разумеется, не против Антония, который как-никак был римлянином, а против Клеопатры — иностранки, колдуньи.

*

Октавиан намеревался возродить архаичный ритуал, введенный шесть веков назад, в правление третьего царя Рима, Тулла Гостилия, когда тот пожелал начать войну с соседним городом, начинавшим ему мешать, — Альбой Лонгой.

Эта церемония, весьма торжественная, отличалась чрезвычайной сложностью. Правильно провести ее было непросто, а любое нарушение ритуала сделало бы его бесполезным. Однако Октавиана заинтересовало именно то, что ритуал был устарелым и непонятным: сам архаизм его обрядов заставлял людей вспомнить о древнейших обычаях предков — никакие слова здесь не требовались.

Октавиан собрал двадцать жрецов, имевших право провести эту церемонию^[105]. Все они были облачены в белые одеяния и имели на головах венки из травы вербены; шествие возглавил сам император, державший в руке скипетр. Процессия остановилась перед храмом богини войны Беллоны. На земле с величайшими предосторожностями наметили маленький участок: он изображал Египет^[106]. Затем Октавиану подали копьё, вырезанное из кизилового дерева. Его наконечник, в точности как шесть веков назад, предварительно обожгли на огне и погрузили в свежую кровь.

Октавиан взял копьё и в полный голос прочитал длинное монотонное заклинание, с которого вот уже более пятисот лет начинались все «священные и справедливые войны» Рима против тех, кого римляне

считали своими худшими врагами, — против людей, нарушивших *fides*, данное ими слово.

Ибо, хотя Октавиан и собирался издать дикий и примитивный воинский клич, он, как всякий римлянин, позаботился о том, чтобы боги сочли его дело правым. Несколько дней назад сенат путем голосования одобрил проведение церемонии. Тем самым римский народ объявил, что война будет вестись не против частного лица, пусть даже иностранного происхождения, и, конечно, не против какой-то женщины. А против вассала, совершившего худшее из преступлений — нарушившего свою клятву верности.

Итак, Октавиан, одетый в странную одежду древнего римского жреца, замахивается своей хилой рукой и бросает архаическое копье в нарисованную на земле перед храмом фигуру; и, хотя не может похвастаться развитой мускулатурой, попадает точно в цель.

С этого момента римлянам повсюду начинают мерещиться предзнаменования победы. Самые разнообразные и нелепые: в одном месте, например, в храме видели обезьян, в другом — сов. Статуи божеств покрывались потом и кровью; рассказывали, что молния сожгла храм Геркулеса в Патрах, а в Афинах ураган вырвал изображение Диониса из фриза «Битва с гигантами»; даже вулкан Этна приветствовал объявление войны извержением; в эти странные времена поговаривали и о том, что двухголовый змей, на протяжении нескольких месяцев опустошавший поля Этрурии, чудесным образом погиб от удара молнии.

Все эти рассказы распространялись с тем большей готовностью, что нужно было любой ценой заглушить новый страшный слух, пришедший с другого конца Средиземноморья: как и в канун убийства Цезаря, из уст в уста передавалась весть о приближении конца мира.

*

От Клеопатры ли исходил этот слух, или старые маги Востока сами решили поддержать ее в войне против людей Запада? Нет ничего более запутанного, чем оракулы; даже когда до нас доходят фрагменты подобных записей, мы не можем определить, когда они были составлены, — известно лишь, что оракулы внезапно набирают силу в момент, когда люди готовятся к катастрофе, к битве, которая, как все предчувствуют, изменит лицо мира; и в такой момент Восток наверняка пытался противопоставить магическому дроту Октавиана свое самое старое колдовское оружие —

предсказания.

Большинство тогдашних пророчеств было так или иначе связано с очень древним предсказанием, согласно которому могучее войско внезапно хлынет из глубин Азии, чтобы открыть «эру восходящего Солнца»; некий Спаситель уничтожит Рим, нанеся ему страшной силы удар, после чего честь народов Востока будет, наконец, восстановлена, а униженному Риму придется платить им дань, втроекратно превосходящую ту, что прежде взимал он сам.

Из всех подобных пророчеств наиболее любопытным, вне всякого сомнения, было то, в котором говорилось: некая женщина, обладающая огромной властью и именуемая Госпожой или Вдовой, уничтожит Рим, этот новый Вавилон. Его жители погибнут под звездным дождем, сама же женщина настолько могущественна, что вернет людей к золотому веку; она разделит свою власть с бессмертным царем, человеком-солнцем, тоже Спасителем, который восстановит мир во всех обитаемых землях.

На Востоке обычно считали, что Вдова — это Клеопатра, потому что, согласно другому пророчеству, Козерога (Октавиана) должен был уничтожить Телец (Антоний); да и название этого пророчества — «Битва звезд» — говорило само за себя.

Однако имелись и иные, куда более мрачные пророчества, тоже пришедшие из глубин Востока: те, кто верил в них, утверждали, что в момент, когда весь огромный мир окажется в руках Вдовы, небо обрушится на землю в виде огненного дождя, который будет изливаться непрерывно в течение многих дней. Земля и даже море погибнут в гигантском пожаре, и больше никогда не будет ни ночи, ни дня, ни восходов, ни закатов, ни весны, ни лета, ни осени, ни зимы — ничего, кроме Единственного и Чистого, кроме Страшного суда этого неизвестного и могущественного бога, безмятежного владыки, царствующего среди небытия.

*

Наконец, повсюду — и в Греции, и на Востоке, и в Риме — находились лукавые или мудрые люди, которые не верили ни во что, кроме игры случая; они, к примеру, дрессировали пару ворон и одну учили говорить: «Виват Антонию, победоносному императору!», а другую — произносить то же приветствие, но в адрес Октавиана; и готовились свернуть шею одной или другой птице, в зависимости от исхода борьбы.

БЕГСТВО

(весна — осень 31 г. до н. э.)

Царица думает только о предстоящей битве, ее ничто не пугает — ни четыреста кораблей, собранных Октавианом, ни семьдесят тысяч пехотинцев и двенадцать тысяч всадников, которых весной он выставил против армии Антония. Она до конца останется непоколебимо уверенной в себе; и всякий раз, когда ее сторонники будут терять мужество, будет неустанно им повторять, что у них столько же всадников, сколько у противника, а легионеров даже на пять тысяч больше, и что их флот насчитывает пять сотен кораблей.

И она будет упорно следовать за Антонием, куда бы он ни отправился, — даже в начале марта, когда приблизится вражеская армия и он уедет устраивать лагерь в комарином гнезде, у входа в залив, где оставил свой флот. Все шесть месяцев, предшествующих битве, она неизменно будет оставаться рядом с ним — за исключением разве что кратких его отлучек для наблюдения за строительством укреплений или руководства кавалерийскими атаками против людей Октавиана; и будет принимать участие во всех военных советах...

Она продолжала обманывать себя, жить в каком-то ослеплении; например, не захотела, чтобы Антоний позвал на помощь Ирода, и добилась своего. Никогда еще сторонники Антония не были так встревожены; они не понимали, как их командующий может допустить, чтобы женщина делила с ним тяготы походной жизни. Или, скорее, слишком хорошо понимали: она оплачивает все расходы, и потому он не имеет решающего слова. Он нашел в ней новую Фульвию, женщину, которая ничего не боится — ни смерти, ни войны — и чья энергия неисчерпаема; а самые старые боевые товарищи Антония узнавали в Клеопатре черты его матери, неукротимой Юлии, которая во времена Суллы, в начальный, самый кровавый период репрессий, сумела подчинить домашних своей воле и спасла их от худшего из свойственных эпохам террора бедствий — страха смерти.

Очевидно, именно за это Антоний любил царицу. Во всяком случае, по мере приближения фатального срока он все сильнее в ней нуждался — а Клеопатра прилагала все большие усилия, чтобы скрыть от него, что конец близок.

Однако она и сама попала в ловушку этой извращенной игры, сама хотела слепоты, ибо мысль о неминуемой катастрофе была для нее непереносима; в этой добровольной слепоте она черпала силы для своей тордости, для того, чтобы оставаться такой, какой была всегда: женщиной, которая даже в худшие моменты умеет ответить судьбе и, вступив с ней в спор, оставить последнее слово за собой.

Наконец, Клеопатра просто не могла отступить. Она слишком хорошо знала, что участь ее определена в тот день, когда Антоний женился на Октавии, а сама она решила любой ценой вернуть любимого и никогда больше не отпускать от себя. Именно в тот день она совершила ошибку, обрекла себя на войну. Ибо она, хладнокровный и ясно мыслящий игрок, в тот момент под влиянием страсти позволила себе смешать все: величие Египта и свое собственное величие, любовь к Антонию и жажду власти, желание славы и плотское желание.

Но она была не из тех женщин, кто оглядывается назад, она никогда не испытывала угрызений совести или сожалений, и именно это помогло ей выжить, уничтожить «змеиный выводок» и вынести тяжелейшие испытания: изгнание, смерть отца, убийство Цезаря. Жребий брошен, как когда-то сказал император. Однако царица еще может попытаться сыграть ва-банк; а чтобы забыть, что имеет все шансы проиграть партию, будет и дальше опьянять себя иллюзиями.

И все же, хотя бы время от времени, к ней должно было возвращаться прежнее здравомыслие: например, когда в лагере Антония свирепствовали болезни или учащались случаи дезертирства. Но в такие моменты она превращала слепоту в акт мужества, принуждая голос разума к молчанию; или использовала свой интеллект, чтобы найти единственное средство, позволяющее в подобной ситуации не падать духом, — юмор. За катастрофу она мстила единственным известным ей способом, не связанным с кровью, — смехом; а потом вновь заставляла себя забыть все уроки своего долгого жизненного опыта, начиная с тех, которые получила от Цезаря, в период Александрийской войны.

Тогда, семнадцать лет назад, когда она день за днем следила в своем дворце за всеми перипетиями сражений римских кораблей с египетским флотом, царица ясно поняла: более, чем любая иная война, война на море требует от полководца способности рационально мыслить. Однако теперь она упрямо повторяет, что, даже если Антоний проиграет сухопутную битву, он все равно победит на море и в итоге восторжествует над противником. А ведь она прекрасно знает — с тех пор, как они живут вместе, — что Антоний всегда был тактиком, а не стратегом, и что великие

битвы, в которых он отличился, например осада Алезии или разгром белгов в Артуа, были операциями, с начала и до конца разработанными Цезарем. Что же касается других войн, то, по большей части, он побеждал в них благодаря своему легендарному таланту организовывать кавалерийские атаки, благодаря грубым ошибкам своих противников или значительному численному превосходству своих войск. Однако на сей раз ему предстояло столкнуться с очень коварным противником; сухопутные силы врага лишь немного уступали его собственным; на море же ситуация складывалась скорее в пользу Октавиана. Его четыреста кораблей были совершенно готовы к бою, тогда как пятьсот кораблей Антония не имели достаточного вооружения и более половины из них составляли тяжелые транспортные суда...

Но Клеопатра не желала об этом думать; она упорно игнорировала и тот факт, что сообщение с Египтом всецело зависит от надежности созданной Антонием длинной линии укрепленных портов, которая тянулась от Корфу через Крит к Киренаике. Корфу они безрассудно оставили перед наступлением зимы, и Агриппа поспешил занять остров; теперь ему достаточно было овладеть еще хотя бы одним из этих фортов, и вся их линия обороны рассыпалась бы, как карточный домик.

И все же царица упорно отрицала приближение катастрофы; а ведь обычно именно потому, что люди закрывают глаза на возможность изменения ситуации к худшему, это худшее в конце концов происходит.

*

Мы ничего не знаем о том, как она жила на протяжении этих шести месяцев, проведенных в армии Антония, как приспосабливалась к лагерному порядку, к суровой военной дисциплине. Известно лишь, что ни одно решение не принималось без ее согласия и что ее тело, как и ее дух, успешно противостояли всем обрушивавшимся на лагерь несчастьям: дизентерии, жажде, малярии и, главное, отчаянию. С начала марта и до момента битвы, до конца августа, почти все поступающие в штаб известия были плохими. Еще до открытия морской навигации Агриппа, во главе эскадры Октавиана, совершил бросок к Пелопоннесу и захватил врасплох крепость Метону, находившуюся в центре оборонительной линии Антония. Царь-мавр, начальник тамошнего гарнизона, пал в сражении. В результате одной этой операции Агриппа нарушил их сообщение с Египтом.

С этого момента армия Антония могла кормиться только за счет

поборов с греческих территорий. Однако, вопреки его ожиданиям, местное население не хотело идти ему навстречу: греки как будто забыли, что являются подданными Римской империи, и не желали голодать ради того, чтобы набить желудки солдат, сражающихся в междоусобной войне. Пришлось прибегнуть к реквизициям; работать носильщиками принуждали всех способных к этому людей, которых удавалось найти, — вплоть до случайных путников на дорогах.

Потом в течение нескольких недель Агриппе удалось захватить большую часть фортов Антония, расположенных вдоль береговой линии Греции: Левкаду, Патры, Итаку, Кефаллению, Коринф, Закинф. На сторону противника переметнулась и Спарта. Крит пока еще оставался верным Антонию; но на его помощь нельзя было рассчитывать: поговаривали, будто в его войсках и среди его жителей имеются сторонники как той, так и другой партии. Из всех своих позиций Антоний сохранил, кроме Актия, только мрачный залив на юге Пелопоннеса, у мыса Тенар.

Получив это известие, Октавиан, который до тех пор из осторожности не покидал пределов Италии, решил пересечь море вместе со своими легионами. Ему это удалось без труда, и вместе со своей двадцатичетырехтысячной армией он начал продвигаться к входу в залив, в котором все еще стоял на якоре флот Антония.

*

Но даже в этот момент, когда опасность, наконец, обрела отчетливую, осязаемую форму, царица упрямо противопоставляла фактам свой разрушительный смех. Узнав, что Октавиан, по пути к их лагерю, остановился в местечке Торина — на ее языке так называлась ложка с длинным черенком, которой размешивают рагу или кашу, — и заметив, что Антоний помрачнел, она бросила ему одну из своих шуточек, имеющих непристойный подтекст: «Ничего страшного! Пусть себе сидит задницей на мешалке!»

А между тем Октавиан подходил все ближе; и в одно прекрасное утро они увидели, как он разбивает свой лагерь прямо напротив них, на другом берегу залива, там, где имеется открытая бухта, в которой и бросили якорь его суда. Со своего холма он мог наблюдать за происходящим вокруг; туда не доходили ядовитые испарения с залива и не долетали комары; наконец, в отличие от людей Антония, солдаты Октавиана не страдали от жажды: недалеко от их лагеря из земли бил источник.

Однако не в этом заключалось самое худшее: главное, флот Антония все еще находился в глубине залива. Антоний хорошо укрепил свою позицию, но факт оставался фактом: поскольку армия и эскадра Октавиана контролировали выход из залива, он, Антоний, оказался в положении осажденного, а его флот был блокирован.

*

Осознал ли Антоний свою ошибку, понял ли, что предстоящее столкновение не будет иметь ничего общего с двумя великими сражениями времен гражданских войн — битвами при Фарсале и при Филиппах? Судя по всему, нет: вплоть до начала августа он, кажется, не сомневался в том, что вовлечет Октавиана в сухопутное сражение и разгромит его тем же способом, каким Цезарь уничтожил Помпея, а сам он, десять лет назад, — Брута и Кассия.

Поэтому он возвел вторую линию укреплений, привел в порядок все свои оборонительные сооружения, но по-прежнему не обращал внимания на ядовитые испарения ближайших лагун, заражавшие его лагерь; он также не придавал должного значения тому факту, что весной и летом туман над заливом мешает следить за передвижениями противника. Клеопатра же, как обычно, поддерживала его иллюзию, позволяла ему думать, что он сумеет навязать Октавиану удобный для себя план действий и уничтожит его, как многих своих прежних противников, посредством блестящей кавалерийской атаки.

Антоний начал с того, что захватил источник, из которого солдаты его соперника брали воду. Но на Октавиана это не произвело большого впечатления: он контролировал море и мог подвозить воду на кораблях. Антоний не пал духом и бросил своих всадников в атаку на неприятельский лагерь, который они должны были взять в клещи, напав одновременно с севера и с юга. И тут он столкнулся с бывшим «неподражаемым» Титием, который долго служил под его началом, прошел хорошую школу и, нанеся еще более сильный ответный удар, вынудил Антония отступить.

Тогда Антоний, уже сильно нервничая, приказал своим пехотинцам совершать постоянные набеги на лагерь Октавиана: он все еще не понял, что его соперник, имея сильную позицию, не станет поддаваться ни на какие провокации. Октавиан, как можно было предвидеть, не выпустил за ворота ни одного своего солдата, и, если не считать единичных стычек,

усилия Антония оказались совершенно бесплодными.

Наступило лето. Малярия начала косить солдат. В довершение всего, когда установилась жара, вода сделалась заразной. Теперь ее, как и зерно, приходилось доставлять с гор, форсированным маршем, по узким и круто спускающимся тропинкам. Мулов не хватало, набирали носильщиков. Но люди, как и животные, уставали, отлынивали от работы; тех и других можно было заставить двигаться только с помощью кнута.

Вся Греция выражала свое недовольство; союзники Антония, цари Фракии и Пафлагонии, а также начальник галатского кавалерийского отряда, насчитывавшего две тысячи отборных воинов, перешли в лагерь противника. В лагере Антония, после болотных лихорадок, началась эпидемия дизентерии. Октавиан узнал об этом и, воспользовавшись испытанным приемом, стал подбрасывать письма, в которых призывал солдат своего противника дезертировать.

Люди вспомнили о крайней жестокости, которую Октавиан проявил после битвы при Филиппах и осады Перузии, о той холодной радости, с которой лично руководил казнями. Очень быстро между офицерами из обоих лагерей завязались контакты, начались переговоры, которые проходили ночами, на рыбацких лодках, вокруг мыса. Солдаты Антония братались с солдатами из другого лагеря, сообщавшими им новости из Италии, которую сами они не видали уже много лет; и, по прошествии нескольких дней, переходили на сторону врага.

А Клеопатра по-прежнему смеялась, презирала опасность и с непоколебимой уверенностью повторяла, что, если война будет проиграна на суше, они выиграют ее на море; и, с новым приступом смеха, показывала пальцем на моряков Октавиана, на другом конце залива, — запертые на своих кораблях, они день и ночь качались на волнах, словно на ярмарочной карусели.

Что касается ее самой, то этим летом, так напоминавшим адское пекло, она ни разу не проявила слабость, не высказала ни одной жалобы. Даже не заболела.

Или, если у нее и бывали какие-то недомогания, она их скрывала. В любом случае, никто ни о чем подобном не слышал.

*

Тем не менее ее постоянное присутствие рядом с Антонием становится причиной раздоров в армии; часть солдат, пораженные

мужеством и хладнокровием Клеопатры, горячо ее поддерживают; другие, которые втайне уже поддались пропаганде Октавиана, возмущаются ее влиянием и видят ее такой, какой ее рисует римская пропаганда: ведьмой, околдовавшей их командира.

В палатках всерьез обсуждают вопрос: ради чего, собственно, они будут сражаться — ради Антония или ради благополучия египетской царицы? И в ходе этих дебатов солдаты все яснее понимают, что ставка в предстоящей битве будет совсем не та, что в битвах при Филиппах и Фарсале: они бросятся на копья врагов не во имя свободы и даже не для того, чтобы отомстить банде убийц, а чтобы раз и навсегда выбрать имя владыки мира и тот порядок, который воцарится во Вселенной. Но разве Октавиан уже не восстановил порядок — в Риме и на тех территориях, которые подчиняются его власти? И откуда же, если не из Города на семи холмах, следует распространять этот порядок по всему кругу обитаемых земель?

Сомнения нарастают и превращаются в страх в тот день, когда самый давний и самый верный соратник Антония, старый Агенобарб, решает перейти к противнику. Антоний еще предпочитает делать вид, будто смеется над этим, и велит отнести предателю, в лагерь Октавиана, те ценные вещи, которые тот бросил, когда бежал; затем объявляет солдатам, что Агенобарб — всего лишь похотливый старик, которому не терпится встретиться в Риме со своей слишком молодой любовницей.

В этом эпизоде ощущается почерк Клеопатры: старик всегда с неодобрением относился к тому, что она пользуется слишком большим влиянием. Как она ни настаивала, он упорно отказывался преклонять перед нею колена и называть ее «царицей царей»; она же пыталась отстранить его от участия в собраниях, на которых принимались важные решения. Он держался до конца, пока малярия не положила конец его упорству; от нее он и скончался — почти сразу же, как прибыл в лагерь Октавиана.

После бегства Агенобарба случаи дезертирства настолько участились, что Антонию расхотелось шутить по этому поводу: узнав, что двое из подчиненных ему командиров — римлянин и вождь арабских кочевников — хотят, в свою очередь, переметнуться к Октавиану, он задержал их и приказал казнить.

Несомненно, именно в это время, в разгар летней жары, случилось еще более тревожное происшествие: на Антония, когда он отправился осматривать укрепления, напала группа вражеских солдат, неизвестно каким образом проникших в его лагерь, — они хотели его похитить.

Он спасся лишь благодаря своей превосходной реакции, пустившись

бежать вдоль маленькой дамбы, на которой они застали его врасплох^[107]. Ему пришлось во второй раз признать очевидный факт: Октавиан хотел победить его, даже не вступая в сражение; он, Антоний, действительно попался в ловушку, и теперь у него оставался только один выход — попытаться из нее ускользнуть.

*

Теперь с ним только пятеро старых преданных соратников: Канидий, самый умный и самый доблестный; Соссий, Октавий и Попликола, которого не пугала перспектива морского сражения; и, наконец, незаменимый Деллий — человек, который организовал встречу в Тарсе и, со времен их первого знакомства, участвовал во всех перипетиях жизни Антония, в его оргиях, в его военных кампаниях, в его переговорах с Римом, в интригах александрийского дворца, в безумствах «неподражаемых».

И вот в присутствии царицы собирается новый военный совет, чтобы разработать план эвакуации. Канидий предлагает отступить по суше, через горы, во Фракию. Там, как он уверяет, их войска получают подмогу от армии гетов, непревзойденных всадников; а когда враг придет туда, они смогут его уничтожить, как при Фарсале и Филиппах, в регулярном сражении, тактикой которого Антоний превосходно владеет.

Клеопатра немедленно выдвигает свои возражения против этого плана. Война будет выиграна на море, вновь повторяет она, необходимо прорвать блокаду Октавиана; что же касается сухопутных войск, то их следует направить через Македонию в азиатские провинции, где они смогут присоединиться к оставленным там семи легионам Антония. Часть людей надо посадить на корабли и переправить на мыс Тенар; оттуда они доберутся до Киренаики и соединятся с четырьмя легионами, которые там расквартированы. Таким образом, одиннадцать легионов будут охранять Египет, и тогда посмотрим, отважится ли Октавиан двинуться на Александрию и преуспеет ли там, где до него потерпели поражение Помпей и даже сам Цезарь: Египет неприступен, еще со времен первых Птолемеев.

И все же Канидий не сдастся. Он говорит, что этот план, безусловно, очень хорош, однако не учитывает одного капитальной важности факта: а именно, что Агриппа — превосходный адмирал. Столкновение с ним крайне опасно. К тому же, посадив свои легионы на корабли, Антоний не

сможет эффективно их использовать; их численное преимущество будет иметь значение на суше, на море же окажется совершенно бесполезным. И разве зазорно уступить море Октавиану, если в конечном счете это делается для того, чтобы тем вернее его уничтожить?

Однако у Клеопатры, как всегда, на все готов ответ: план Канидия, возражает она, основан на вере в дружеские чувства царя гетов и в его готовность поддержать римлян своей кавалерией. Но как можно полагаться на этих мелких царьков: ведь все другие правители Северной Греции предали Антония! И, наконец, Канидий слишком легко распоряжается судьбой украшения их армии, флота; а между тем флот принадлежит лично ей, царице. Что станет со всеми этими кораблями, если будет принято решение отступить по суше? Их либо оставят Октавиану, либо потопят. Великолепные корабли, которые она сама вооружала, финансировала... А сколько понадобится времени, чтобы на верфях Александрии построили еще одну такую эскадру? Месяцы, может быть, годы. А сколько золота придется за это заплатить? Ее план, во-первых, несравненно менее дорогостоящий; во-вторых, его неоценимое преимущество заключается в том, что он позволяет одновременно спасти обе части армии. Наконец, кто может поручиться, что Октавиан на этот раз не будет придерживаться своей любимой стратегии: всячески избегать регулярных сражений?

Антоний снова заколебался. Он знает выдающиеся способности Агриппы, и потому идея морского сражения с самого начала ему не понравилась; тем не менее аргументация царицы отнюдь не бессмысленна, ее доводы в большинстве своем справедливы; а главное, он чувствует, что, если примет сторону Канидия, тот, как и многие до него, вскоре потребует, чтобы он, Антоний, отослал Клеопатру.

В общем, он в очередной раз согласился с царицей (так этот военачальник, который любил лошадей, еще прежде, чем был разбит Октавианом, потерпел поражение от женщины, всегда предпочитавшей коням корабли)...

*

Теперь остается лишь прийти к единому мнению относительно способа прорыва морской блокады; и поскольку корабли Антония, как и все военные корабли, не могут менять галс и идти против ветра, весь тактический план должен быть увязан с часом, когда поднимается попутный ветер.

Сейчас, в конце августа, он начинает дуть примерно с полудня — сначала с северо-запада, потом с севера, постепенно усиливаясь. Принимается решение, что все транспортные суда перед отплытием будут сожжены в заливе. Останется только военная эскадра, сто семьдесят кораблей Антония и шестьдесят кораблей Клеопатры, которыми будет командовать она сама, со своего флагманского судна «Антониада» (уже одно это имя говорит о ее любви к мужу). В ночь перед отплытием на него перенесут большую часть сокровищ, предназначенных для оплаты военных расходов, — сундуки с драгоценной посудой, золотыми и серебряными монетами. На рассвете все начнут двигаться к выходу из залива. Эскадры Антония, Октавия, Соссия и Попликолы будут следовать первыми, в таком порядке. Корабли Клеопатры будут замыкать конвой; во все время маневра их капитаны должны ориентироваться на пурпурные паруса «Антониады». Затем, выйдя из залива, флот развернется полукругом: задача Соссия состоит в том, чтобы удержать позицию на юге; на севере Антоний, затягивая «петлю», с помощью своих крупных кораблей будет отбивать атаки Октавиана. Эскадра Клеопатры вырвется из залива, проскользнув в оставшуюся посередине брешь; другие корабли будут прикрывать ее маневр. Как только она окажется в открытом море, остальные корабли двинутся за ней и возьмут курс на юг, к мысу Тенар, действуя в соответствии со строгой схемой: каждая эскадра будет покидать залив под прикрытием следующей, пока корабли не выстроятся в единую линию; затем все вместе они направятся к месту сбора.

План безупречен, к Антонию возвращается надежда на успех, а Клеопатра, как обычно, не перестает его подбадривать: разве все время, пока длилась блокада, он не занимался снаряжением своих кораблей? В итоге они превратились в плавучие крепости... На их палубах, и так достаточно высоких, были возведены огромные деревянные башни с гигантскими катапультами; как доносят ее шпионы, у врага нет ни одного столь тяжелого и столь хорошо вооруженного корабля. При таких условиях взятие на абордаж любого вражеского судна будет напоминать осаду города, а тактикой осады Антоний владеет блестяще. К тому же их трюмы набиты крючьями, свинцовыми дубинками, металлическими таранами, и царица уже видит, как все эти орудия ломают палубы вражеских кораблей. Двадцать тысяч пехотинцев, две тысячи отборных лучников будут посажены на борт; и на каждом корабле — от четырех до десяти рядов гребцов. Наконец, к моменту отплытия все будет подготовлено таким образом, чтобы корабли могли выйти в море как можно быстрее: если по обычаю перед морским сражением все снасти убирают, обеспечивая тем

самым гребцам и солдатам максимальную свободу движения, то у них мачты с реями будут стоять на месте, паруса будут распакованы^[108]. Поэтому, когда огромные бронзовые ростры, укрепленные на носах судов, отобьют у врага всякую охоту к попыткам абордажа, все корабли при первом же дуновении ветра выйдут в открытое море — и, свободные, поплывут к Египту.

*

Клеопатра забыла только об одном: когда ты подвергаешься большой опасности и делишься секретами с близкими тебе людьми, следует избегать ссор. Однажды за обедом Деллий, всегда имевший влияние на Антония, неосторожно пожаловался на качество поданного вина: сказал, что, дескать, их потчуют прокисшею бурдой, а Сармент в Риме пьет фалернское (Сармент был одним из мальчишек-любимчиков Октавиана).

Эта банальная реплика — но ничего не бывает банальным, когда находишься в осаде, — означала, что беззаботные времена прошли и что уныние охватило даже Деллия, самого последовательного приверженца «неподражаемой жизни». Так, по крайней мере, поняла смысл сказанного Клеопатра; а поскольку у Деллия язык был подвешен не хуже, чем у нее, между ними, должно быть, возникла словесная перепалка (наверняка еще более язвительная, чем та, что недавно вспыхивали между царицей и Геминием), потому что Деллий давно мечтал залезть в постель к Клеопатре; по слухам, он, посылал ей длинные непристойные письма, она же отвечала ему полным презрением. Со временем он озлобился и скис — как то вино, которое только что раскритиковал. Но Деллий всегда умел склонить Антония на свою сторону, и, подумав, что он может настроить мужа против нее, Клеопатра не на шутку испугалась.

Она, как всегда в таких случаях, принялась плести интригу со своими приближенными — несомненно, с Алексой, который все еще ходил по пятам за Антонием, и, главное, со своим врачом. Деллий, который был так же хитер, как она, и прекрасно знал все ее повадки, ибо наблюдал за ней уже десять лет, понял, что его собираются отравить. Поэтому он быстренько «смотал удочки» и, никем не замеченный — ибо не было человека пронырливее его, — перешел через линию фронта.

Антоний мог бы предвидеть такой исход: прежде чем присоединиться к нему, в конце гражданских войн, Деллий успел дважды поменять хозяев... Однако на сей раз Деллия побудил к дезертирству не

политический оппортунизм: сама мысль о том, что он рискует быть убитым женщиной, которую так страстно желал, приводила его в ярость. Сейчас он хотел ей отомстить; и, оказавшись перед Октавианом, Деллий немедленно выдал ему секретный план.

*

Начало операции было назначено на 29 августа. Как и предполагалось, Антоний сжег свои транспортные корабли и все суда, которые казались ему слишком легкими, чтобы выдержать морское сражение. Он потратил несколько дней на то, чтобы посадить на корабли своих солдат; однако в момент отплытия — первый удар судьбы — поднялась буря.

Людям запретили покидать стоявшие на якоре корабли. Врагу все было отлично видно; Агриппа понял, что столкновение произойдет, как только стихнет ветер; ни о каком эффекте неожиданности уже не могло быть и речи.

На кораблях солдат содержали не очень щедро, и некоторые из них начали ворчать; один старый пехотинец преградил дорогу Антонию, обнажил грудь, показал свои шрамы и упрекнул полководца в том, что тот возложил все надежды, как он выразился, «на коварные бревна и доски» — вместо того, чтобы пойти в атаку на твердой земле и победить врага силою мечей.

Вместо ответа Антоний лишь пристально посмотрел на него, неопределенно качнул головой, дотронулся до плеча ветерана, а потом отвел глаза и пошел дальше.

*

Это был жест человека, смертельно уставшего от всего, изнуренного испытаниями: вот уже тридцать лет, как Антоний воюет во всех концах света, от Галлии до Персии: грабит, насилует женщин, умерщвляет варваров и своих собственных сограждан. Тридцать лет он почти не вылезает из седла, осаждаёт города, руководит армиями, пьянствует, перекачивается с одной шлюхи на другую; а те краткие моменты передышки, когда ему удастся вырваться на родину, тратит на усмирении плебса, вечно голодного и вечно бунтующего. Если он, в свои пятьдесят два года, еще имеет какую-то энергию, то обязан этим женщине — но разве

скажешь такое старому солдату, который чувствует приближение катастрофы? Он сам, Антоний, тоже видит, как сгущаются тучи; и в этот миг, когда ветеран показывает ему свои раны, они оба ведут себя словно дети, боящиеся смерти.

И вот Антоний, после этого двусмысленного жеста, выражающего то ли покорность судьбе, то ли усталость (трудно сказать, что именно), идет дальше, одинокий, так и не проронив ни слова, к своему командному посту; а мысли его, как обычно, заняты единственным существом, которое еще дает ему силы жить: Клеопатрой.

И дело вовсе не в том, что она его околдовала, как думают все; не в том, что он мечтает о наслаждении, которое еще может испытать в ее объятиях. Как и она, он уже давно — шесть месяцев, проведенных в этом садке, — не знает ни удовольствий, ни радости. Просто в тот миг, когда перед ним, наконец, разрывается пелена иллюзии и он ощущает приближение момента последнего перехода из рождения в смерть, он все еще нуждается в ней, царице.

*

Утром 2 сентября ветер, наконец, стих и флот Антония смог двинуться к выходу из залива. Но, не успев проскользнуть через его горловину, столкнулся — это было неизбежно — с эскадрой Октавиана, которой командовал Агриппа.

Две армии, оставшиеся на суше, выстроились одна напротив другой. Восходит солнце, отражается в спокойных водах. На море — полный штиль; два флота ожидают попутного ветра.

Ветер поднимается около полудня, он дует с северо-запада, как и было предусмотрено; потом — с севера, постепенно усиливаясь. В соответствии с планом, принятым на военном совете, Соссий выводит свои корабли в открытое море и занимает позицию в южной части «дуги». Октавиан, со своего корабля, видит это и ликует: информация Деллия оказалась совершенно точной, а значит, контрманевр, предложенный Агриппой, должен увенчаться успехом. Благодаря тому, что его гребцы обучены справляться с противным ветром, Агриппа разыгрывает сцену, будто его флот, охваченный ужасом, спасается бегством, намереваясь вернуться в бухту, где раньше стоял на якоре.

В эскадре Антония, на ее северном фланге, один из командующих, Попликола, немедленно попадает на эту уловку: он убежден, что

Агриппу испугали его тяжелые корабли — действительно весьма впечатляющие. Ему кажется, что он без труда уничтожит противника, выиграет битву и добудет себе славу. Поэтому, в нарушение разработанного на совете плана, он по собственной инициативе начинает преследование вражеского адмирала. С этого момента план действий, так тщательно разработанный Антонием, нарушается. Агриппа немедленно разворачивает свои корабли, сближается с кораблями Попликолы и обрушивает на них град дротиков с горячей паклей на остриях.

Клеопатра с борта «Антониады» видит, что принятые на совете решения уже не соблюдаются. Она взвешивает все шансы и, поскольку линия фронта сильно растянута, приказывает своим гребцам набрать максимальную скорость и провести корабль в образовавшуюся в этой линии брешь, не ввязываясь в кипящее вокруг сражение; за ней следует вся ее эскадра.

Уже четыре часа пополудни, момент, когда ветер дует с наибольшей силой; она отдает матросам приказ поднять паруса, и корабли на полной скорости устремляются к югу. Антоний видит, как они удаляются, и понимает, что царица решила, несмотря на глупую выходку Попликолы, продолжать действовать в точном соответствии с планом. Теперь его черед принимать решение: либо он тоже будет придерживаться стратегии, разработанной на военном совете, либо останется здесь, в гуще боя, рискуя уже никогда не вырваться на свободу.

Антоний выбирает первый вариант. Примерно шестидесяти кораблям удается оторваться от противника и последовать за ним. Остальные в этом диком месиве из горящих дротиков, абордажных крючьев, непрерывно стреляющих катапульта^[109] даже не замечают его маневра. Сражение продолжается до ночи; между тем волнение на море усиливается. Многие корабли Антония сожжены; другие, протараненные, идут ко дну. В час заката на поверхности воды плавают пять тысяч трупов; однако восемьдесят судов спасаются бегством и находят укрытие в глубине залива.

Итак, к вечеру того дня, который римляне назовут «победой при Акции^[110]», Октавиану на самом деле было еще далеко до победы: сухопутная армия его противника не потеряла ни единого человека, части флота Антония удалось вернуться на место стоянки; сам Антоний, его злейший враг, бежал вместе с царицей (которая вообще никак не пострадала) и даже сохранил все свои сокровища.

Октавиан старательно распространял легенду — ее затем повторяли на все лады на протяжении многих веков, — согласно которой то, что случилось при Акции, было регулярным морским сражением (а не прорывом блокады, успешно осуществленным Антонием). Если верить той же легенде, Антоний потерпел поражение потому, что Клеопатра в последний момент его предала: увидев, что в линии фронта образовалась брешь, куда могут проскользнуть ее корабли, она предпочла, так сказать, выйти из оркестра и сыграть сольную партию; Антоний же настолько потерял голову от любви, что не мог смириться с ролью покинутого и, бросив своих людей и суда, поспешил за царицей.

По прошествии более чем ста лет после сражения историк Плутарх подхватывает эту версию и расцвечивает ее новыми романтическими подробностями: «Вот когда Антоний яснее всего обнаружил, что не владеет ни разумом полководца, ни разумом мужа, и вообще не владеет собственным разумом, но — если вспомнить чью-то шутку, что душа влюбленного живет в чужом теле, — словно бы сросся с этою женщиной и должен следовать за нею везде и повсюду. Стоило ему заметить, что корабль Клеопатры уплывает, как он забыл обо всем на свете, предал и бросил на произвол судьбы людей, которые за него сражались и умирали, и, перейдя на пентеру [...] погнался за тою, что уже погибла сама и вместе с собой готовилась сгубить и его. Узнавши Антония, Клеопатра приказала поднять сигнал на своем корабле. Пентера подошла к нему вплотную, и Антония приняли на борт, но Клеопатру он не видел, и сам не показался ей на глаза. В полном одиночестве он сел на носу и молчал, охватив голову руками»^[111].

Согласно Плутарху, парусник предводителя спартанцев, некоего Эврикла, попытался взять их судно на abordаж: отца этого человека, который был пиратом, Антоний в свое время взял в плен и приказал обезглавить. Антоний ненадолго вышел из своей летаргии и отбил атаку. Пират, правда, захватил другое флагманское судно (и находившуюся на нем золотую столовую посуду). После этого, опять-таки согласно Плутарху, Антоний вернулся на свое место и опять впал в депрессию: «Антоний снова застыл в прежней позе и так провел на носу три дня один, то ли гневаясь на Клеопатру, то ли стыдясь ее. На четвертый день причалили у Тенара, и здесь женщины из свиты царицы сперва свели их для разговора, а потом убедили разделить стол и постель»^[112].

Все это более чем неправдоподобно: ведь пока Антоний не прибыл на мыс Тенар, он еще мог надеяться, что его сухопутная армия, которой

командовал стойкий и доблестный Канидий, разобьет Октавиана. Он также знал, что Италию вновь раздирают мятежи и бунты. Что касается его самого, то он бежал из Актийского залива, ставшего для него ловушкой, и сумел спасти половину своего флота. Он действительно, как утверждает Плутарх, передал командование флагманским судном своему помощнику, а сам перешел на борт «Антониады»: однако что может быть естественнее, чем желание командующего, после окончания битвы, обсудить ее результаты со своим главным союзником, будь то мужчина или женщина? Кроме того, как свидетельствует сам Плутарх, у Антония тогда еще оставалось достаточно энергии, чтобы обратиться в бегство морского разбойника...

Поэтому весьма вероятно, что если Антоний и поддался унынию, то произошло это у мыса Тенар, когда он напрасно ждал прибытия остальных кораблей и в конце концов понял, что они не придут никогда, так как либо уже лежат на дне, либо стали пленниками Актийского залива. Из ловушки, очевидно, смогли вырваться лишь несколько парусников, но они принесли дурные известия: корабли, которым удалось вернуться в залив, почти сразу же сдались неприятелю, даже не попытавшись продолжить битву. Все его офицеры, участвовавшие в морском сражении, перешли на сторону Октавиана. Многие его корабли были сожжены, другие стали военной добычей.

Даже в этот момент Антоний не сложил оружие: он тут же направил гонцов к Канидию, чтобы передать ему приказ об отступлении в Азию, через Македонию; однако спустя какое-то время, непосредственно перед отплытием в Африку, узнал, что его легионы отказались сражаться против легионов Октавиана и что Канидий, будучи бессильным что-либо изменить, ночью, одинокий и отчаявшийся, бежал из лагеря.

Только теперь Антоний понял, что его партия проиграна. Проявив большое душевное благородство, он разделил между своими друзьями часть военной казны и отпустил этих людей^[113]. В остальном он придерживался линии, которую выработал еще до сражения: взял курс на Киренаику, чтобы там присоединиться к оставшимся у него легионам. Видимо, именно во время этого плавания он и впал в протрацию: сидел, как рассказывает Плутарх, одинокий и молчаливый на носу судна, охваченный тем же оцепенением, которое парализовало его в первые часы после убийства Цезаря.

Или это была форма медитации — единственный способ сосредоточиться и принять, наконец, столь трудное для него решение о необходимости расстаться с царицей? Такое тоже возможно, ибо не успел

флот встать на якорь у берегов Киренаики, как супруги разделились: Антоний остался на месте, в маленьком городке с названием Паретоний^[114], чтобы там дожидаться своих легионов, тогда как Клеопатра предпочла вернуться в Александрию. Впервые за последние два года их пути разошлись — и, очевидно, на сей раз никаких ссор между ними не было.

Следует ли искать объяснение происшедшему в той стене молчания, которой Антоний, еще на борту корабля, сумел отгородиться от царицы? Палуба судна, качающегося на волнах, действительно является не совсем подходящей сценой для трагической актрисы: в этом тесном пространстве трудно двигаться, варьировать эффектные приемы — крики, жалобы, гнев, слезы, — которыми так виртуозно владеет Клеопатра. Однако она никогда не допускала, чтобы кто-то навязывал ей правила игры, — и менее всего готова была позволить подобное Антонию. Поэтому можно предположить, что, столкнувшись во время плавания с его упорным молчанием, она мудро решила на этот раз оставить его в покое и уехала в Александрию одна, уверенная, что рано или поздно Антоний непременно вернется к ней.

Подобная тактика имела и еще одно преимущество: пока они будут в разлуке, она может попытаться вступить в переговоры с Октавианом; она всегда умела играть на нескольких досках одновременно — почему же ей не попробовать, как в период борьбы триумвиров с Брутом и Кассием, потянуть время, маневрируя между побеждающим и проигрывающим? Это даст Антонию передышку, он соберет своих людей. А потом наступит момент, когда он захочет возобновить борьбу; и в тот день, хотя бы потому, что столкнется с необходимостью платить жалованье своим солдатам, он обязательно вспомнит о ней.

Значит, нынешняя разлука — всего лишь несчастливый период, который вскоре закончится, нужный для того, чтобы Антоний, побыв в одиночестве, снова почувствовал вкус к жизни. А жить, она это знает, он может только рядом с ней.

Если же вдруг ее супруг и возлюбленный поддастся противоположному желанию, уступит зову смерти, тогда тем более он не сможет обойтись без нее.

ОБЩЕСТВО СТРЕМЯЩИХСЯ К СМЕРТИ

(сентябрь 31—1 августа 30 г. до н. э.)

Она, как всегда, не пожелала уронить своего достоинства. И прибегла к испытанному средству: к театральному зрелищу. Прежде чем войти в александрийский порт, повелела украсить свой флот, как украшают победившую армаду. Вдоль бортов, снастей, мачт ее матросы натянули длинные гирлянды цветов. Она набрала певцов, флейтистов; и когда корабли огибали Фарос, до берега долетали звуки триумфальных песнопений.

Тем не менее вернувшись во дворец, царица сразу поняла, что горожане недовольны; некоторые из них, люди далеко не глупые, кричали, что при Актии она, как какая-нибудь мелкая рыбешка, попала в расставленные сети, что Октавиан уже марширует по землям Востока и очень скоро Александрия подвергнется осаде. Царица быстро узнала имена подстрекателей, они были арестованы и казнены, а их имущество конфисковано. Затем она решила собрать дополнительные налоги.

Через несколько недель все поняли, для чего это было нужно: на верфях срочно изготавливали специальные клетки для транспортировки судов. Флот уже стоял на якоре у перешейка, отделяющего Средиземное море от Красного. Туда привезли и эти машины. На них погрузили первые корабли и волоком потащили к противоположному концу перешейка: царица собралась бежать в Индию.

Бежать по морю, вместе со своей армией, своими детьми, своими министрами и, главное, своими сокровищами: она уже знала, что время для этого у нее есть, ибо в Риме, в отсутствие Октавиана, вновь начались волнения. Плебс, как всегда голодный, требовал хлеба, а легионеры — свое жалованье за актийскую кампанию. Агриппе и Меценату нечем было с ними расплатиться, они торопили Октавиана с возвращением, так как считали, что только его присутствие может успокоить солдат.

Однако Октавиан не слишком к ним прислушивался: уж очень соблазнительным казался ему последний золотой куш, оставшийся на Востоке после того, как римляне полтора века назад подчинили себе эти земли, — сокровища Египта; тем более что после «Дарений» Антония царица весьма значительно пополнила свою казну. Посетив Афины, где ему

оказали такие же почести, каких недавно удостоился Антоний, Октавиан (опять-таки как до него Антоний) принял посвящение в элевсинские мистерии и затем двинулся в Азию. Его повсюду встречали радостными приветствиями; те самые цари, которые на Самосе, год назад, простирались ниц перед Антонием и Клеопатрой, теперь гнули спины перед ним. Даже Сирия не была уже надежным оплотом Антония; что же касается Ирода, то он, по слухам, вступил в переговоры с Октавианом.

То, что тогда происходило, было не новой войной, а последним туром запутанной и грязной игры между Римом и Египтом — игры, которая началась сто пятьдесят лет назад и в ходе которой Пузырь, Шкваржа, Сын потаскухи, Стручечник и Флейтист пытались, каждый по-своему, противостоять алчности Рима.

*

Царица приняла брошенный ей вызов и ответила на него наилучшим образом: решила покинуть Египет и обосноваться в том самом месте, где Александр прервал свой поход, — в Индии, куда она доберется морем.

В результате она не только станет владычицей мирового круга, но и завладеет пряжкой времени. Перенеся в те края власть, добытую в походах Александра, она тем самым замкнет пояс Истории — и благодаря ей, Клеопатре, на этой крайней оконечности Востока восторжествует, наконец, греческая идея универсализма.

Итак, несчастье вернуло Клеопатру к ней самой, прежней: она увидела в нем знамение богов, указующее на то, что ей следует достичь крайних пределов Вселенной, подняться на еще неведомые высоты Величия. И в эту осень, которая окажется для нее последней, она вновь становится той отважной авантюристкой, которая когда-то насмеялась над «змеиным выводком», презирала тяготы изгнания, раскрывала все направленные против нее заговоры, терпеливо переносила свои горести и страхи — без слезинки, без крика. Она вновь готова прожить тысячу жизней, забыв те, что уже прожила; вновь обрела пыл своей юности. И сейчас, когда море теряет свой летний блеск и приобретает серый оттенок, она, уже почти сорокалетняя, с иссушенной беременностями утробой, не побоялась бы вновь пересечь пустыню на верблюде или ночью обогнуть в рыбацкой лодке Фаросский маяк, чтобы неожиданно предстать перед победителем.

Решилась ли она наконец расстаться с Антонием? Их разлука не требует от нее смирения или мужества: ведь царица знает, что он уже не

может вернуться в Рим и что она навсегда избавилась от «другой женщины». Поэтому мелочная ревность, которая ослепляла ее на протяжении долгих девяти лет, улетучилась; и Клеопатра снова стала такой, какой была всегда: к ней вернулись воля, энергия, воображение и, главное, энтузиазм, в подлинном смысле этого слова; ибо теперь, когда мечта внезапно позвала ее в Индию, она ощущает, что в ней воплотился ее бог, Дионис Владыка далеких земель: как и он, она будет странствовать по всему миру, ничего не боясь, — ведь он защитит ее, раздвинет для нее все пределы и поможет достичь Прекрасной Цели. Что же до Октавиана, то сколько бы он ни прославлял своего Аполлона на улицах Рима или Афин, его бог все равно ничего не знает о страждущих, бессилён им помочь: только Дионис, Поэт и Весельчак, способен освободить людей от цепей скорби, от бремени неудач; без созидательной энергии Великого Безумца Вселенная погибнет.

И даже если, в момент расставания с Антонием, царица поняла, что ее любимый никогда не сможет стать долгожданным Спасителем, это ее не обескуражило: она, она сама является богиней, а не только царицей; она была и останется Новой Исидой; и именно она завершит незаконченное дело Александра, Цезаря и Антония. Отважится на то, на что никто прежде не отваживался: оставит Египет и двинется на Восток. По морю.

*

У нее есть все, чтобы добиться успеха: корабли; люди, которые знают ветры и береговые линии, звезды и числа (наблюдая за небом, они сумеют точно определить местоположение судна, вычислить расстояния); наконец, ей давно известен секрет свободы: море — такое же круглое, как земля.

В Мусейоне до сих пор хранятся сведения обо всех морских экспедициях на Восток, начиная с экспедиций Евдокса, осуществленных восемьдесят лет назад, настолько дорогостоящих, что о них до сих пор вспоминают в счетной палате дворца.

Чиновникам, упрекавшим его в том, что он промотал деньги фараона, Евдокс в свое время ответил, что наука не имеет цены; и Все ученые Александрии его поддержали, потому что он первым из навигаторов понял: океан, отделяющий Африку от Индии, подчиняется режиму меняющихся направления ветров, которым арабы дали имя *маусим*, «сезоны путешествий», — муссонов.

Со времени долгого путешествия Евдокса всем известно, что, если

отплыть в тот момент, когда ветер начинает дуть в сторону Востока, корабль наверняка доберется до Индии; а ровно через шесть месяцев ветер меняет свое направление на противоположное и гонит корабли к Западу, к африканскому побережью, откуда они легко могут, через Красное море, вернуться в Египет.

Тем не менее в какой-то момент, может быть, вспомнив о Галльской войне, Клеопатра загорается другой идеей: флот Октавиана сейчас контролирует западную часть Средиземного моря, но она могла бы обогнуть Африку и через Западный океан попасть в Испанию с ее серебряными рудниками, потом в Галлию, о сказочных богатствах которой ей рассказывал Цезарь; и оттуда, вместе с Антонием, грозить Риму. Она не имеет ни малейшего представления о том, сколько времени продлится такое плавание, не знает даже, где начинается Западный океан. Но это неважно: она говорит себе, что выступит в поход с четырьмя легионами, которых Антоний ждет в Паретонии; в Испании и Галлии к ним присоединятся тамошние солдаты (суровые воины и, судя по слухам, несравненные всадники); потом они двинутся против сыновей Волчицы, на Рим, где Антоний, наконец, овладеет Капитолием...

Царица недолго тешит себя этой химерой: еще никто, насколько она знает, не осмеливался обогнуть Африку; а в конце пути, помимо знаменитых рудников, о которых говорили Цезарь и Антоний, ее ждут холод и варвары — тогда как Индия обещает столько великолепных, осязаемых чудес, влекущих, как шелка... Кроме того, моряки и погонщики караванов, прибывающие с дальнего Востока (а их в Золотом городе становится все больше), уверяют, будто в Индии до сих пор имеют хождение монеты, которые Александр чеканил во время своего похода, — даже в тех местах, куда не ступала его нога; и будто там можно найти целые долины, жители которых упорно продолжают говорить по-гречески, жить, поклоняться богам и почитать своих умерших в соответствии с греческими обычаями.

Так стоит ли сомневаться, бояться покинуть то, что до сих пор составляло всю ее жизнь, — Нил, Фарос, храмы, мраморные дворцы? Александр, тот никогда не колебался: разве в двадцать лет он не повернулся спиной к своей родине, чтобы отправиться на завоевание мира? Он никогда больше не увидел места своего детства, но и никогда не плакал, вспоминая дворец в Пелле, дикие равнины, где учился скакать верхом; он управлял всей Вселенной — вплоть до неведомых оазисов, городов, издавна защищенных внушаемым ими страхом, базаров на перекрестках дорог, где под лишенными влаги небесами развеваются знамена с адскими

иероглифами. И умер в Вавилоне, ни о чем не жалея.

Величие, дерзость, мужество: только такой ответ следует давать жизни, обладающей слишком скудным воображением, и глупой судьбе.

И все же: пока животные и люди, надрываясь, тащат первые клетки с судами через каменистую пустыню, думает ли царица об Антонии, который, в песках Паретония, продолжает ждать прибытия своих последних четырех легионов? Мы этого не знаем; может быть, она разделяет мнение сопровождающих конвой погонщиков караванов, которые часто повторяют старое присловье: «Жизнь человека подобна дороге; там, где один кончает свой путь, другой готовится его начать...»

*

А боги, кажется, вновь ей улынулись: на Самосе Октавиан получает отчаянное послание Агриппы. Вновь вспыхнули волнения, более сильные, чем когда-либо прежде, они охватили всю Италию. Ни тяжелая длань самого адмирала, ни изворотливость Мецената не могут утихомирить плебеев и солдат, которые не желают ничего слушать, не отступаются от своего: они голодают, требуют хлеба; и если император, вместо того чтобы приехать и принять какие-то меры, задержится на Востоке, они ввергнут всю страну в огонь и кровавый хаос.

Октавиан, ужасно раздосадованный, вынужден прервать свое победоносное турне, отказаться от египетских сокровищ и, хотя его выворачивает наизнанку при одном виде корабля, спешно отплыть в Италию, причем в самое неблагоприятное время — когда море закрыто для навигации.

Это дает Клеопатре большой выигрыш во времени; и, поскольку часть ее флота уже стоит на якоре в Красном море, она начинает собирать свое золото. Не только ее личные запасы, но и запасы храмов и даже, как говорят, предметы погребальной утвари, которые уже много веков хранятся в гробницах Птолемеев.

Делает ли она это втайне? Мы не знаем. Известно лишь, что по прибытии в Брундизий Октавиан, как если бы у него не осталось даже мелочи, чтобы успокоить ярость своих солдат, просит их набраться терпения и торжественно клянется, что расплатится с ними золотом Египтянки. В первый же день открытия навигации, обещает император, он отправится на Восток и так быстро, как только сможет, приберет к рукам ее сокровища.

А Антоний все еще находится в Паретонии, ждет прибытия своих легионов. Он направил уже нескольких эмиссаров к их командующему, Скарпу; но гонцы пока не вернулись.

Чтобы убить время (и, несомненно, чтобы унять растущее беспокойство), он целыми днями гуляет по пескам, в сопровождении только двух друзей: некоего римлянина, Луцилия^[115], и греческого ритора по имени Аристократ.

Судя по тому, как Плутарх излагает этот эпизод, какие термины употребляет, можно предположить, что Антония не тяготило внезапное одиночество, что он даже воспринимал его как желанную передышку. Однако историк не скрывает того факта, что полководец жил тогда в полной изоляции; и даже не боится вставить в свой рассказ об этом странном периоде жизни Антония ненавистное грекам слово *έρημία* («уединенность, покинутость»).

Древние боялись одиночества, считали его наихудшим из страданий, полагали, что оно опустошает душу, является крайней формой заброшенности, чуть ли не прообразом смерти; и это понятно, потому что весь мир человека той эпохи конструировался на основе спасительной силы группы — города, армии, коллективов, организованных по возрастному принципу, обществ взаимопомощи или религиозных братств (примером последних вдохновлялись, кстати, и «неподражаемые»).

Потому ли Антоний находил облегчение в одиночестве, что отличался от своих современников? Плутарх этого не утверждает; напротив, он, хоть и не прямо, объясняет возникшее у римлянина ощущение передышки другой причиной: Антоний в это время избавился от постоянного контроля со стороны агентов Клеопатры. Очевидно, Алекса уже не состоял в его свите (хотя до того десять лет подряд не отставал от него ни на шаг и даже во время прорыва актийской блокады умудрился оказаться с ним на одном корабле); да и Тимаген куда-то исчез.

Понял ли наконец Антоний, когда плыл к берегам Африки и так долго находился в прострации, что его неразрывная связь с Клеопатрой обусловлена не только судьбой, но и усилиями самой царицы, действовавшей через своих приспешников? Все как будто на это указывает; в момент расставания с царицей Антоний (по всей видимости, под воздействием того же импульсивного порыва) прогнал от себя и всех этих надоедливых советчиков, наполовину философов, наполовину шпионов, от

которых его римские друзья уже многие годы его предостерегали.

И тем не менее форма, которую Антоний придал своему ожиданию, — эти долгие блуждания по пескам — не предвещала ничего хорошего, хотя внешне казалась выражением безмятежности духа. Прогуливаясь вдоль пляжей, уже обдуваемых резкими осенними ветрами, беседовал ли он со своими двумя друзьями о тщете человеческих чаяний, о непостоянстве вчерашних союзников, которые, как он теперь узнавал, переходили на сторону врага? Или, как на борту своего судна, он замкнулся в молчании? Плутарх по этому поводу ничего определенного не говорит; зато подчеркивает, что прогулки Антония не преследовали никакой конкретной цели, — так что у нас есть основания полагать, что если он и вышел из своей протрации, то все равно был погружен в меланхолию; а друзья, скорее всего, сопровождали его в этих странных блужданиях просто потому, что боялись, как бы он не наложил на себя руки.

Как бы то ни было, он все еще ждет возвращения своих гонцов. Значит, не совсем потерял надежду; и как будто верит, что Канидий, не справившийся с солдатами-изменниками при Акции, сумеет привести к нему оставленные в Азии легионы.

Это была, конечно, отчаянная надежда, в которую он вложил свою последнюю энергию: потому что в день, когда Антоний узнал, что Скарп приказал убить его послов и перешел на сторону Октавиана, он неожиданно выхватил меч и попытался покончить с собой.

Друзьям удалось его остановить. Удалось, несомненно, потому, что в глубине души Антоний еще не был готов к смерти; и хотя он обладал обостренным чувством чести, хватило одного слова, чтобы заставить его отказаться от рокового шага: имени царицы.

Слово это произнесли друзья — и, видимо, не один раз, потому что через несколько дней маленькая группа уже двигалась по дороге на Александрию.

*

Явившись во дворец и услышав о проекте Клеопатры, он, конечно, был ошеломлен; и, вдохновленный ее дерзостью и энергией, наверное, сам воспрянул духом: она сказала ему, что, как только флот сконцентрируется в Красном море, а азиатские легионы придут в Александрию, они переправят сокровища под надежным конвоем на корабли, поднимутся на борт флагманского судна и потом, на всех парусах, поплывут к Индии.

План царицы был превосходным, если не считать одной детали: она забыла, что даже в глубине пустыни все обо всем знают; и что у нее там есть враги, которые уже давно, ничем не выдавая своих замыслов, думают о том, как ее погубить, — набатейцы. Они не забыли, что она выпросила у Антония то, что прежде являлось основой их богатства: монополию на добычу битума; и с тех самых пор ищут способа вернуть свое достояние. И они нашли такой способ: сообщили о ее маневрах наместнику Сирии, человеку, преданному Октавиану, который тут же заключил с ними союз. Затем эти номады, базировавшиеся в Петре, совершили неожиданный налет на ее корабли и подожгли их; за несколько часов красноморская эскадра выгорела дотла.

Новость потрясла супругов. Разумеется, у Клеопатры оставалось еще много кораблей, далеко не все ее парусники были переправлены по пескам в Красное море; однако пираты, тоже пользовавшиеся покровительством наместника Сирии, теперь постоянно угрожали ее берегам; и в любом случае, даже если бы, несмотря на их атаки, удалось доставить корабли к Красному морю, их бы там снова подожгли или потопили. Следовательно, путь в Индию был отрезан, а ее последняя мечта — порушена.

В довершение всего, как бывает в плохой мелодраме, примерно в это же время Канидий приехал в Александрию и тоже привез катастрофическое известие: все азиатские легионы перешли к Октавиану. У Антония и царицы нет больше ни армии, чтобы защищаться, ни парусников, чтобы бежать. Египет попал в кольцо окружения: потому что, согласно все более настойчивым слухам, Ирод тоже готов совершить предательство. Теперь уже не Актийский залив, а собственная страна оказалась для царицы ловушкой.

И они даже не могут скрыться со своими сокровищами в пустыне: при первом известии об их отбытии из Александрии все бандиты с большой дороги бросятся за ними в погоню. Значит, остается лишь один выход, самый мучительный, но и самый благородный: умереть, унеся с собой в могилу свое золото.

А пока Клеопатра размещает остатки войск на границах страны. Не питая, впрочем, никаких иллюзий; что же касается ее золота, серебра, денежной наличности от последнего сбора налога, всех старинных семейных сервизов, ее кубков, украшений, жемчугов, слоновой кости, изумрудов, мебели из эбенового дерева, рулонов шелка, запасов пряностей, мирры, ладана, других благовоний, то она решает, что при первой тревоге прикажет отнести эти сокровища (вместе с легко воспламеняющимися веществами — паклей, смолой, фитилями, лучинами) в единственное

место, где она сможет их уничтожить, устроив гигантский пожар, чтобы они не достались Октавиану: в свою гробницу.

*

И вот наступает зима, последняя в их жизни. Период дождей, низких облаков, резких ветров. Когда-то это время года было для них «сезоном любви»: именно в зимние, часто холодные месяцы царица зачала троих из своих детей.

Однако сейчас, когда пришла беда, любящие снова расстаются. Может быть, они поссорились из-за Иудеи: ведь Клеопатра тысячу раз повторяла Антонию, что ему следовало не превращать эту землю в независимое царство, а отдать ей, египетской царице; что, доверяясь Ироду, он сам готовил почву для предательства, и она всегда это знала. Как бы то ни было, ссорились они или нет, Антоний теперь хочет жить один: на краю города, недалеко от театра и рынка, на выдающемся в море скалистом мысу он велит возвести для себя длинную дамбу. В этом уединенном месте, говорит он, в непосредственной близости к волнам, он чувствует себя счастливым, избавленным от пустой суеты мира; чувствует себя настолько свободным, что хотел бы жить здесь до часа своей кончины.

И он приказывает рабочим построить для него дом. Они стараются, быстро заканчивают свое дело, и он переезжает в новое жилище. И объявляет, что никого больше не желает видеть.

А царица вновь остается одна в своем дворце, и на сей раз ей даже некого за это ненавидеть: у нее нет иной соперницы, кроме охватившей Антония печали.

Но она не позволяет себе впасть в уныние и, как всегда деятельная, начинает производить подсчеты: пока откроется морская навигация, пока Октавиан приедет в Грецию, сосредоточит там свои войска, потом двинется на Восток, минует Сирию, приблизится к воротам Александрии, пройдет от семи до девяти месяцев. Срок беременности; только плод, который она, царица, будет вынашивать и которому предстоит появиться на свет в результате тяжелых родов, — это смерть.

И тут ее мысли переключаются на детей: как обеспечить им жизнь, достойную их положения — положения отпрысков самой прославленной, самой древней династии? И как сделать, чтобы они тоже могли иметь потомство — плоть от плоти, кровь от крови своей, — которому передадут свои имена и царства?

Только думать о решении этой последней, самой важной задачи ей придется одной: супруг не поддержит ее в ее родительских чувствах. Антоний, впав в меланхолию, забыл, что у них трое детей; более того, в своем доме на дамбе он не вспоминает даже об Антулле, старшем своем сыне от Фульвии, которого сам вызвал в Александрию. Клеопатра, следовательно, несет ответственность за судьбы пятерых детей; и если этой зимой она не примет каких-то мер, чтобы спасти их от мести Октавиана, их ожидает самая жестокая участь. Но какое средство может она найти, чтобы их защитить?

*

Сейчас, когда все вокруг рушится и идет прахом, Антоний придумал для себя новую роль: внезапно заявил, что хочет окончить жизнь философом. Он даже отрекся от клятвы «неподражаемых» и выбрал для себя новую модель: по его словам, он желает воспроизвести последние дни жизни Тимона Афинского — старого брюзги, современника Алкивиада, в судьбе которого Антоний будто бы узнает собственную судьбу, потому что Тимон тоже глубоко страдал от человеческой несправедливости и неблагодарности друзей. Немногих близких, которые отваживаются навестить его, Антоний немедленно прогоняет прочь, крича, что возненавидел все человечество.

Перед этими преданными ему людьми он и разыгрывает свою новую роль — с криками, разглагольствованиями о разочаровании в жизни, мрачными репликами. Сколько же времени будет он изображать своего нового персонажа? Невозможно сказать: никто, по правде говоря, не знает, как он проводит свои дни — пустота ли царит в его сознании, или он жалуется на судьбу, предается воспоминаниям. Устремляя взгляд на Фарос, на волны, разбивающиеся о дамбу, пытается ли он найти силы, чтобы совершить то, что не удалось ему в Паретонии, когда он хотел пронзить себя мечом? Самое странное во внезапно происшедшей в нем перемене — не его отречение от «неподражаемой жизни», а та модель поведения, которую он для себя избрал: за всю историю Греции не было человека более озлобленного, чем Тимон. А Антоний — вплоть до момента окончания Актийской битвы — так горячо любил жизнь... Если не считать редких моментов уныния, которые никогда не длились долго, он всегда сохранял веру в будущее, жил радостно. Щедрый, совершенно не злопамятный, доверчивый — даже слишком доверчивый, особенно по

отношению к Октавиану, — он никогда не пережевывал старые обиды. Он не мог измениться так быстро, так радикально; и в своем одиночестве, подражая своему новому герою, он, конечно, не искал мудрости, а хотел найти какой-то секрет, суть которого даже не умел выразить словами.

Надеялся ли он, укладываясь спать в своем пустом доме, что смерть придет к нему незаметно, во сне? Или, прежде чем встретиться с Октавианом в битве, исход которой был заранее предрешен, хотел в тишине и покое подготовиться к неизбежному концу? Никто этого не знал, никто не смел его спрашивать: как все чистосердечные существа, прозрачные в своей ненависти, своих удовольствиях, своих слабостях и своем величии, Антоний в тот момент, когда погружался в самые темные глубины своего подсознания, становился абсолютно непроницаемым — и вдруг выясняется, что, помимо черт характера, общих для всех людей его эпохи и его положения, в нем можно обнаружить множество тайн.

Например, почему он так упорно желает жить у самого моря — ведь, как всякий римлянин, он всегда предпочитал качающемуся на волнах паруснику скачущего галопом коня? Преследует ли его мысль об Акции, пытается ли он понять, наблюдая за прибоем, какие чары завлекли его в эту фатальную ловушку? Составляет ли в уме нескончаемый список ошибок, которые совершил с тех пор, как встретился с царицей; думает ли об астрологах, о Тимагене и Алексе, которым всецело доверял и которые на протяжении более чем десяти лет готовили его гибель; вспоминает ли, стоя на берегу закрытого для навигации моря, о Риме, о подлостях Октавиана, о прекрасном лице своей жены, о детях, которых она ему родила и которых он никогда не видел, о том, как она сумела сдержать слезы, когда он расставался с ней, беременной, в виду скалистого острова Корфу (кстати, недалеко от Акции), семь лет назад?

Или он вспоминает мертвецов, которых оставлял за собой во всех своих битвах, вновь видит лица десятков солдат, казненных по его приказу ради поддержания в лагерях воинской дисциплины, перекошенные лица врагов, гибнущих во время атаки под копытами его коня? Но ведь известно, что, когда убивал он сам, смерть его не пугала. Видеть, как она приближается к тебе самому, медленно и неотвратно, — вот что страшно.

Тогда, наверное, за пеленой дождя, скрывающей стены Фаросского маяка, Антонию мерещатся посиневшие лица людей, умиравших рядом с ним в горах Армении; он вспоминает тоскливые дни, пережитые им самим во время второй гражданской войны, под Мутиной^[116], когда он утолял голод корнями, дикими травами, подошвами своих сандалий... Но в те времена, когда с ним случались несчастья, он всегда шутил: даже тем, кто

мучился в агонии, умел сказать что-то настолько смешное, что не раз видел, как их последний вздох превращается в улыбку...

И вот теперь в его душе сгустился мрак; и его тело — которое ведь не сбросишь; как одежду, — давит на него хуже любой кирасы. Ибо он не только обратился в ничто — он, который когда-то удостоился всех возможных почестей, — но и не может найти для себя никакого пристанища: он, римлянин, из-за того, что сам пожелал быть греком, теперь готовится к смерти в городе, где смешались все народы мира, и даже не уверен, что в момент его кончины кто-то произнесет слова, совершит жесты, посредством которых у него на родине близкие помогают умирающим отойти в иной мир. Его тело, разумеется, не пронесут в процессии по Форуму — а ведь он одержал столько побед, подарил Риму столько новых земель; и, что еще хуже, никто из членов его семьи — кроме разве что Антулла — не подожжет его погребальный костер, не проводит урну с его пеплом до гробницы предков и не наденет его маску; да и в родительском доме не найдется места для его изображения на алтаре богов-ларов^[117]...

Как он мог так низко пасть — после того, что столько дней подряд философствовал о смерти... Смерть необходимо приручить, кричат, перебивая друг друга, афинские, да и здешние философы. И он, Антоний, говорил то же, что и они, повторял: смерть нужно лелеять, как домашнего зверька, каждый день кормить с руки своими мыслями — затем, чтобы перестать ее бояться...

Сейчас, когда час его уже пробил, слова эти кажутся пустыми. Сам Цезарь признался, что умирать нелегко: чувствуя, что слабеет, он публично выразил желание, чтобы смерть пришла к нему неожиданно.

Антонию судьба отказывает даже в такой надежде: он пышет здоровьем, никто не плетет против него заговора, он все еще живет как свободный человек, в городе, который еще сохраняет свою суверенность, в стране, куда еще не пришла война. Он даже мог бы, если бы захотел, пуститься на авантюру, попытаться бежать в пустыню. Но нет, как раз этого он не может: слишком горячая у него кровь, слишком он жаден до жизни; и потом, он ведь римлянин до мозга костей, привязанный к армии, к храмам, к городу. Как же ему быть, если он, в этих условиях, не хочет умирать, тогда как судьба, со своей стороны, подает ему знак, что пришло время покинуть сей мир?

Вот он и разыгрывает эту комедию мизантропии. Лишь для того, чтобы забыть о своем истинном поражении; не о разгроме при Акции и даже не о той катастрофе, о которой узнает только сейчас, постепенно, —

об измене союзников и последних легионов. Свою главную битву Антоний проиграл в Паретонии — в момент, когда захотел обратить против себя самого свой меч и не сумел этого сделать. Только тогда он был окончательно побежден. Побежден злейшим своим врагом: самим собой. Не быть ему ни Катоном, ни Брутом: вне полей сражений он уже не герой. А просто человек — человек, который слишком сильно любит жизнь.

Как же ему с ней расстаться? — вот о чем он вопрошает море, утром и вечером, стоя у кромки воды. А между тем город за его спиной может предложить множество ответов на его вопрос: там есть книги, философы, врачи, звездочеты, мудрецы, путешественники, наконец, Клеопатра, которая всегда знает все.

Кстати, по поводу Клеопатры друзья Антония недавно рассказали ему любопытную вещь: несмотря на свои многочисленные заботы, царица в последнее время принялась усердно изучать яды. По слухам, не проходит и дня, чтобы она не экспериментировала на приговоренных к смерти. Предельно сосредоточенная, как всегда, когда что-то просчитывает, она наблюдает за их агонией и пытается найти такое отравляющее вещество и такую дозировку, которые наиболее безболезненным способом освобождают человека от запутанного узла жизни. Поговаривают, будто она заинтересовалась ядом змей: собрала всякого рода рептилий и одну за другой испытывает их, словно магические зелья, на несчастных, переполняющих ее тюрьмы.

Все это глупости, решает Антоний, царица уже давным-давно в совершенстве овладела искусством уничтожать своих врагов так, чтобы никто ничего не заподозрил. На самом деле эксперименты нужны ей для того, чтобы найти наилучший способ эффектно обставить собственную смерть. Но только его, Антония, от театра — еще больше, чем от всего остального, — тошнит.

И он опять поворачивается спиной к городу, величественной и славной декорации, которая теперь представляется ему обманкой, заслоняющей собой смерть: чтобы понять это, достаточно взглянуть на хаос погребальных сооружений на территории дворца, хотя бы на мавзолей Александра. Как до него Цезарь, Антоний еще недавно прочитывал в очертаниях этого сооружения обещание ожидающей его в будущем славы. Сейчас оно кажется ему усыпальницей всех его надежд, ярким символом его поражения.

Однако когда он, вопреки всему, обращает в ту сторону свой взгляд, то замечает еще и башню, которая растет с каждым днем: гробницу Клеопатры. Сооружение, которое царица решила во что бы то ни стало

закончить и в строительство которого вкладывает — как и во все, чем занимается, — последнюю энергию. Она, разумеется, хочет, чтобы ее гробница была самой красивой, самой величественной из всех; она намеревается погибнуть именно здесь, вместе со своим золотом, и упорно возводит этаж за этажом, добавляет один склеп к другому.

Эту женщину, точно, ничто не в силах остановить. Ее не только не пугает медленное приближение смерти, но она полна решимости до конца оставаться владычицей своей судьбы. Возникает даже ощущение, что близость конца придает ей дополнительные силы; достаточно взглянуть на эту гробницу, словно бросающую вызов облакам, чтобы понять: царица превратит свою кончину в венец всей предшествующей жизни.

И Антоний вдруг чувствует, как его любимый персонаж, Тимон, начинает расплываться в воздухе, теряет плотность, превращается в сморщенную ветошь, с которой он уже не может себя отождествлять. Он смотрит на море, потом на город, потом опять на море: царица так часто говорила ему, что море округло, как мир, тот мир, который они должны были завоевать вдвоем; вот только мечта эта оказалась непосильной для его бедного тела, оказалась химерой, подобной песку, засасываемому прибоем, перемешанному с обломками ракушек, обрывками водорослей, ржавой пылью, кусками старого дерева, жалкими остатками забытых войн, — песку, который скоро растворится в универсальном «ничто».

И тут его взгляд неизбежно возвращается к лесам, возведенным вокруг мавзолея царицы: Клеопатра, наверное, давно знает о смерти все, если в самый ужасный момент катастрофы так упорно достраивает и украшает свою гробницу! В безмерности ее устремлений, в ее безумстве таится какой-то секрет — он-то и привязывал к ней Антония, пусть и не отдававшего себе в этом отчет; в любом случае, если есть на земле существо, способное сделать невозможное — заставить его полюбить смерть, — то таким существом может быть только она, царица.

Сказав себе это, он покидает дом на дамбе, чтобы никогда больше туда не возвращаться: тот длинный туннель, который ведет к последней тайне, он преодолет вместе с Клеопатрой.

*

И на Антония нисходит покой. Хотя именно в этот момент он узнает самую жестокую новость: Ирод отправил Октавиану письмо, в котором предложил союз и обещал поддержку со стороны размещенных в Иудее

римских когорт; торопясь снискать расположение нового владыки, царь иудеев упомянул и о том, что перед битвой при Актии много дней подряд уговаривал Антония убить царицу. Октавиан получил документ, простил Ирода и принял его предложение о союзе.

Это означало, что не позднее чем через несколько месяцев Египет падет. Тем не менее Антоний никогда еще не чувствовал себя таким счастливым. Он отказался от всех своих амбиций и надежд, понял, что ему не быть тем Спасителем, которого ожидает мир. Но его будто отпустила какая-то тяжесть, он с легким сердцем покинул дом на дамбе и направился во дворец, как мальчишка, который окончил игру и теперь возвращается к своей нежной матери.

Беззаботно и весело он побежал к Клеопатре, которая одна, как он думал, обладает такой силой, что, открывая ему дверь, одновременно откроет тайну смерти.

*

И царица действительно сделала это — или нечто подобное. Потому что не успел Антоний вернуться, как они приняли решение распустить кружок «неподражаемых» и немедленно создать вместо него новую ассоциацию, которой дали еще более странное название, чем первой: «Общество совместно стремящихся к смерти».

Зима закончилась. Октавиан, как они знали, в первый же день открытия навигации поднял паруса и взял курс на Восток; но, невзирая на это, во дворце царицы вновь сменяли друг друга праздники и банкеты.

И этот период любви царицы и Антония, несомненно, был прекраснейшим из всех — в смысле чистоты и бескорыстности их чувств; Антоний вернулся к ней сам; что же касается ее, то она уже могла не бояться соперницы (даже такой, как уныние Антония). Их связь теперь представляла не что иное, как совместное ожидание конца; они уже ничего не ждали от жизни, кроме тех радостей, которые в каждое мгновение дарили друг другу.

Согласно Плутарху, они ни в чем себе не отказывали, второй кружок ничуть не уступал первому «в роскоши и расточительности»: «В него записывались друзья, решившиеся умереть вместе с ними, а пока жизнь их обернулась чередой радостных празднеств, которые они задавали по очереди»^[118].

Так, с неслыханным блеском были отпразднованы дни рождения

Цезариона и Антулла (первому исполнилось шестнадцать, второму — четырнадцать лет)^[119]. Этими праздниками руководил Антоний: он пожелал, чтобы на улицах Александрии пели и танцевали; по его распоряжению на всех перекрестках были установлены буфеты и горожане получали бесплатное угощение и выпивку. С тех пор и он, и царица использовали любой предлог, чтобы устраивать все более веселые, и шумные праздники.

И горожане тоже отдались этому праздничному вихрю: они, как и Антоний, искали в нем спасения от страха; ибо все знали, что в первый день открытия навигации Октавиан посадил своих солдат на корабли и вскоре бросит на Египет десятки легионов, которые без труда справятся с армией Антония. Если бы не волна казней, осуществленных по приказу Клеопатры после ее возвращения из Актя, александрийцы подняли бы бунт; но сейчас они не осмеливались на подобные вещи и, не будучи в состоянии ничего предпринять, вели себя так же, как их правители, — пели, танцевали, предавались обжорству.

Не то чтобы горожане, как Антоний и Клеопатра, приготовились совместно умереть, совсем напротив: очевидно было, что при первой тревоге они перейдут на сторону победителя, ибо никогда, никогда больше не допустят, чтобы, как во времена Цезаря, на их улицах воздвигали баррикады, чтобы поджигали их склады, чтобы катапульты бомбардировали их дома. Но Александрия также знала, что с приходом Октавиана что-то в ней самой умрет навсегда — может быть, ее душа, ее очень старая душа, родившаяся из того вдохновенного взгляда, которым однажды утром, три века назад, красивый белокурый юноша впервые окинул здешний песчаный берег. И эту мечту, с которой она прощалась, Александрия, как и ее царица, хотела проводить прекрасным праздником, целиком отдавшись радости настоящего мига.

Однако Клеопатра, хотя и участвовала во всех развлечениях — безмятежная, сияющая, как всегда, острая на язык и безудержная в веселье, — втайне продолжала (с единственным помощником, своим врачом) изучать науку ядов и неумоимо испытывать их на заключенных.

*

Для уничтожения своих врагов она всегда прибегала к ядам медленного действия, которые приводят человека к смерти лишь по прошествии двух-трех месяцев и создают иллюзию длительной болезни;

жертва умирает незаметно, как бы под воздействием тайного недуга; еще в те времена, когда посещала Мусейон и Библиотеку, царица узнала, что самые быстрые яды легче всего обнаружить, а главное, что они вызывают наибольшие мучения.

Ее опыты над приговоренными к смерти подтвердили такой вывод: она видела, как содрогались их тела, как люди, привыкшие всегда сохранять достоинство, издавали крики, низводившие их до уровня животных. Пока она наблюдала за их агонией, мысль о том, что ей придется перенести подобные физические мучения, становилась для нее все более неприемлемой. Но, с другой стороны, выбрав яд медленного действия, она не сможет сохранить контроль над своей смертью. Царица хотела, чтобы ее самоубийство не зависело ни от каких случайностей, чтобы она сама выбрала для него место и время, определила, как именно оно произойдет, то есть, иными словами, превратила его в театральное зрелище; чтобы, как бы ни сложились обстоятельства ее гибели, последнее слово осталось за ней, а не за ее врагом.

Она, разумеется, по-прежнему считала, что ее сокровища ни в коем случае не должны достаться Октавиану; и не нашла другого способа добиться своей цели, кроме того, который обдумывала с начала зимы: поджечь свою гробницу и, когда начнется пожар, заколоть себя кинжалом. Однако кто мог предсказать, как сложится ее судьба? Может быть, как во время Александрийской войны, она окажется запертой в своем дворце — или в какой-нибудь темнице, под надзором врага, без оружия, без яда, отрезанная от преданных врачей.

Вот почему она неутомимо продолжает свои эксперименты. И, как в годы юности, эти занятия, требующие сосредоточенности и терпения, приносят ей успокоение — именно в них она черпает силы, чтобы потом возвращаться на банкеты «стремящихся к смерти», пить, веселиться, как все остальные, смеяться, радоваться жизни; и чтобы, как и ее друзья, делать вид, будто этим празднествам никогда не будет конца.

*

Подробностей тогдашних пиршеств мы не знаем, не знаем даже, кто на них присутствовал; во всяком случае, Алексы там не было, потому что он тоже оказался предателем. Он перешел в лагерь Ирода; Антония это известие оставило равнодушным, зато Клеопатра впала в такую ярость, что, если бы могла, удавила всех евреев, какие есть на земле. Немного

остыв, она, как обычно, погрузилась в изучение ядовитых веществ — и в праздничные развлечения.

Судя по всему, собрания нового кружка подчинялись строгим ритуалам, известным лишь посвященным в дионисийские мистерии. Вероятно, этот кружок, как и кружок «неподражаемых» или то общество, что присутствовало на организованном Октавианом пародийном празднике, состоял из двенадцати членов; сами же пиршества должны были напоминать те веселые семейные трапезы, которые александрийцы устраивали в своих гробницах, в определенные дни, чтобы обеспечить загробное существование своих дорогих усопших.

Исполняли ли певцы — в залах, где собирались «стремящиеся к смерти», — те старые песни, посредством которых египтяне, вот уже несколько тысячелетий, пытались заглушить свой страх перед иным миром: «Человек благородный и любящий вино, проведи праздничный день в своем доме вечности...»; или знаменитый отрывок из «Беседы разочарованного со своей душой»: «Смерть сегодня встает передо мной, как запах цветов лотоса, как пребывание на берегах опьянения»? Хотелось бы думать, что да, но никаких подтверждений тому у нас нет. Наверняка можно утверждать лишь то, что культ Осириса, с его верой в посмертное воскресение и ритуалами, связанными с питьем вина, уже давно смешался с дионисийскими мистериями. Перед лицом неизбежной смерти адепт греческого бога вполне мог повторить, как свою, формулу, заимствованную из древних египетских книг: «Ты уходишь отсюда не мертвым, но живым...» Но, как бы ни были приятны песни, радостны лица, превосходно вино, вкусна еда, в конце концов наступало утро, и пустыми оказывались кувшины, и увядали цветы в венках, украшавших головы гостей; и тогда кто-нибудь обязательно вспоминал таинственные слова Бога-Освободителя: «Даже в самые счастливые моменты никогда не забывай о судьбе, которая уже здесь».

Ибо в те дни Антоний и Клеопатра, которые прежде были любовниками, сознательно готовились к тому, чтобы стать братом и сестрой в смерти, и у них уже не оставалось иного будущего, кроме их детей.

*

Только ради детей они еще продолжали борьбу; и делали это как все, кто знает, что обречен, и хочет лишь спасти своих близких: неловко,

унижая себя.

Нужно признать, что в этой борьбе они оба были одинаково неумелы, одинаково наивны; и Октавиан, который всегда отличался душевной черствостью, черпал в этом неожиданном повороте событий неизъяснимое наслаждение, которое смаковал на протяжении многих недель.

Он высадился в Сирии. Клеопатра сразу же отправила к нему гонца, чтобы сообщить о своем намерении отречься от власти и просить его оставить египетское царство ее детям. В знак доброй воли она послала ему свой скипетр и диадему. Октавиан ответил уклончиво — но драгоценные подарки оставил у себя.

Тогда Антоний направил к нему своего сына, юного Антулла, которому недавно исполнилось четырнадцать лет и который во время встречи двух триумвиров в Таренте, ради обеспечения мира, был обручен с дочерью Октавиана. Юноша привез Октавиану огромную сумму денег и сообщил, что его отец просит позволить ему вести жизнь частного лица, в Александрии или в Афинах, как пожелает Октавиан, и торжественно обещает, что никогда больше не будет вмешиваться ни в военные действия, ни в политику. По поручению отца Антулл открыл Октавиану, где скрывается один из последних оставшихся в живых убийц Цезаря, Децим Турудлий: он нашел прибежище в глубине острова Кос.

Октавиан взял деньги, принял к сведению сообщение и тут же послал своих головорезов убить Децима, но, как и во время визита гонца Клеопатры, не дал никакого ответа на просьбу Антония.

Затем Клеопатра, по своему обыкновению, решила сыграть ва-банк и послала к Октавиану наставника своих детей, Эвфрония, который тоже привез несколько мешков золота и повторил просьбу царицы: принять ее отречение, но оставить на троне фараонов ее детей.

На сей раз Октавиан снизошел до ответа, правда, совершенно чудовищного: он дал ей знать, что, ежели она умертвит Антония или выгонит его из страны, он, Октавиан, поступит с ней по справедливости. Разумеется, он не уточнил, что именно имеет в виду под «справедливостью»; и, словно ему было мало уже причиненных ей мучений, послал в Александрию (с этим письмом) очень красивого молодого человека по имени Тирс, чья феноменальная способность соблазнять женщин могла сравниться лишь с его же пронырливостью.

Этот вольноотпущенник начал льстить Клеопатре, без конца повторять ей, что сражен ее чарами. Царица увидела в Тирсе возможного союзника; она, как всегда в таких случаях, стала устраивать в его честь роскошные праздники; и, хотя вообще презирала бывших рабов, непрерывно оказывала

ему всяческие знаки внимания.

Тирс ли слишком открыто разыгрывал комедию, изображая из себя робкого влюбленного, или царица, в свою очередь, поддалась его очарованию, обрела новую надежду, дала ему понять, что, если он спасет ее детей, она сумеет его отблагодарить? Как бы то ни было, ситуация стала настолько двусмысленной, что Антоний, внезапно воспылав ревностью, приказал хорошенько высечь вольноотпущенника; потом, окровавленного, отослал его к Октавиану.

В результате все усилия, все надежды царицы оказались напрасными; между ней и Антонием, вероятно, произошла ссора, потому что он тут же пожалел о содеянном и отправил Октавиану письмо, в котором попытался оправдать свое поведение.

К сожалению, этот его поступок был еще более нелепым: он приказал избить Тирса потому, пишет Антоний с обычной своей прямоотой, что молодой фронт раздражал его своей заносчивостью и высокомерием; а в тех несчастливых обстоятельствах, в которых он, Антоний, ныне находится, любой пустяк выводит его из себя. И, еще раз обнаруживая свою слабость, он добавляет: «Впрочем, если ты сочтешь это оскорблением, то у тебя мой отпущенник Гиппарх, — высеки его как следует, и мы будем квиты»^[120].

Фактически Антоний признался, что Октавиан держит его судьбу в своих руках. Царица пришла в отчаяние; но, как кажется, в тот момент ее больше тревожило уныние, вновь охватившее Антония, нежели будущее детей. Она уже смирилась с мыслью, что случится худшее — и с ними тоже. Говорят, что ее никогда не видели более влюбленной, более нежной; она стала вдвойне внимательной по отношению ко всем своим близким — но особенно по отношению к Антонию.

*

Дело в том, что в этом вихре празднеств она была единственной, кто уже заглянул в вечность. Она покорила судьбе и знала, что ее дети умрут, как и их родители, — или отправятся в изгнание, далеко от блистающего золотом дворца, где прошло их детство. И тем не менее она продолжала играть свою роль; все оставались в уверенности, что жизнь для нее легка. Более того, она прилагала героические усилия, чтобы сделать жизнь приятной для всех, кто ее окружал: например, для Антулла, которому

позволяла брать все, чего он пожелает, в царской сокровищнице^[121]; а когда Антоний переживал очередной приступ страха, обвинял ее в предательстве или неверности, она с бесконечным терпением пыталась его успокоить. Всякий раз, когда он гневался на нее, она исчезала с его глаз (это почти мгновенно приводило его в чувство), а потом находила новое средство, чтобы одурманить его, отвлечь от печальных мыслей.

Так, очень скромно отметив свой собственный день рождения, в честь дня рождения мужа она устроила столь великолепный праздник, что он затмил своей роскошью все предыдущие; и, не удовлетворившись этим, после окончания банкета осыпала всех гостей такими дорогими подарками, что, как пишет Плутарх, «многие из приглашенных, явившись на пир бедняками, ушли богатыми»^[122].

Клеопатра опять стала той молодой женщиной, которая во времена Цезаря умела смеяться надо всем на свете и заново изобретать жизнь; а между тем день за днем, посещая тюрьму, она продолжала свои эксперименты над ядами и змеями — и уже простилась с самым любимым из своих детей, Цезарионом, которого втайне отправила в пустыню, в сопровождении воспитателя и с частью царской казны: он должен был спуститься по Нилу до Коптоса, а потом караванным путем выйти к самому южному порту Красного моря, Беренике, сесть на корабль и отплыть в Индию, осуществив мечту своих родителей.

Теперь ей оставалось позаботиться о судьбе десятилетних Клеопатры-Луны и Александра-Солнца, а также младшего Птолемея, которому должно было скоро исполниться шесть. Но у царицы уже не было времени: с конца июля Октавиан перешел в наступление. Он хотел взять Египет в клещи, атаковать его сразу на двух фронтах: со стороны Ливии, куда двинулся флот под командованием друга Вергилия, поэта Галла, которому на суше должны были оказать поддержку легионы предателя Скарпа, и с востока, через Пелусий, при поддержке еще одного предателя, Ирода. Октавиан на этот раз сам выступил во главе своей армии; и, едва он появился в виду Пелусия, город пал.

*

В Александрии распространился новый слух: говорили, будто сама Клеопатра приказала начальнику гарнизона Пелусия сдаться без боя; будто, как и при Актии, она предпочла спасти себя, предала Антония, как до него

предавала всех остальных; чтобы убедиться в этом, достаточно вспомнить все ее поступки за последние двадцать лет — когда возникла угроза утраты египетского трона, царица боролась за него, не останавливаясь ни перед чем.

Услышав сплетню, Клеопатра впала в такую ярость, какой не знала очень давно. Потом решила подавить слух в самом зародыше: поскольку арестовать начальника гарнизона было невозможно (он перешел к Октавиану), она приказала схватить и немедленно предать казни его жену и детей.

Антоний ничего не знал об этих событиях: он отплыл к Паретонию во главе флотилии из сорока судов, посадив на них большой отряд пехотинцев, чтобы попытаться отразить вражеское наступление на западном фронте. Приблизившись к городу, он понял, что Галл им уже завладел. Не собираясь складывать оружие, Антоний высадился на берег и, обратившись к легионерам Скарпа, попытался убедить их вернуться в его лагерь. Галл настолько опасался его красноречия, что приказал своим трубачам играть как можно громче, дабы заглушить его голос. Антоний повернул назад и попытался взять город приступом, но потерпел неудачу; его флоту тоже не удалось выбить из порта вражескую эскадру. Тогда, крайне удрученный, Антоний вернулся в Александрию.

Там Клеопатра уже начала приводить в исполнение свой план: забаррикадировалась в своем мавзолее со всеми сокровищами. Октавиану, который из Пелусия двинулся форсированным маршем на Александрию, сразу об этом сообщили. Сильно обеспокоенный, он стал посылать царице одно письмо за другим, умоляя ее не покушаться на свою жизнь и клянясь всеми богами, что обойдется с ней очень милостиво.

Антоний, разумеется, об этом узнал. И, в свою очередь, написал Октавиану, что готов пожертвовать собственной жизнью, если противник торжественно пообещает ему пощадить Клеопатру.

Октавиан даже не потрудился ему ответить. Он галопом скакал к Александрии и вскоре уже был в Канопе, пригороде столицы.

Еще несколько стычек, и он наконец завладеет сокровищами Египта — если, конечно, ему хватит времени, чтобы уговорами или силой заставить царицу отказаться от ее губительного замысла.

*

И тут начинается странная трагедия, в которой участвуют три

персонажа: по обеим сторонам сцены мы видим двух римлян, как бы братьев-соперников, Антония и Октавиана; а между ними — женщину-иностранку, Клеопатру, которая послужила поводом для вспыхнувшей между ними войны.

Клеопатра и есть главная ставка в игре — из-за своих сокровищ, из-за Египта, который для Октавиана является единственным средством сохранить собственную власть, управлять Римом и Вселенной. Но Клеопатра играет на своем поле, знает здесь все ходы; кто же из них двоих заманит другого в ловушку? А Антоний — такой непостоянный, всегда готовый перейти от одной роли к другой — не поддастся ли он снова приступу слабости, не разрушит ли одним махом хитроумные планы царицы?

Пьеса, написанная Судьбой, построена превосходно; повороты сюжета следуют один за другим с безупречной логикой; мы можем проследить чуть ли не по дням действия и жесты персонажей, и каждый раз, когда драма приближается к кульминационной точке, поражаемся роскошному обилию подробностей.

Итак, Октавиан продолжает свой марш на Александрию. Вот он уже приблизился к городским укреплениям, к воротам Солнца; прямо за воротами, сейчас надежно охраняемыми, начинается длинная улица, которая пересекает город с востока на запад и выходит к другим воротам, воротам Луны.

Уже вечер; Октавиан разбивает свой лагерь рядом с ипподромом. Антоний хочет любой ценой проучить противника. Во главе своей кавалерии он предпринимает столь молниеносную атаку, что легионы Октавиана, охваченные паникой, спешно отступают в свой лагерь. Тогда Антоний возвращается в город и, с гордо поднятой головой, как триумфатор, проводит войска по его улицам.

С верхнего этажа своей гробницы царица видела и его атаку, и парад. Она покидает свой мавзолей и спешит во дворец, где встречается с Антонием, который при всех, даже не сняв кирасы, пылко ее обнимает.

В самый канун катастрофы Антоний начинает играть новую роль: он ощущает себя Гектором, обнимающим Андромаху в осажденной Трое. Подобно этому гомеровскому герою, он представляет Клеопатре одного из своих солдат, особо отличившегося во время атаки. Царица немедленно подхватывает игру мужа и, со своей стороны, делает столь же благородный жест: дарит этому человеку золотую кирасу и золотой шлем. Той же ночью солдат дезертирует, не забыв прихватить с собой доставшееся ему сокровище.

С рассветом легионеры Октавиана возобновляют продвижение к городу. Антоний уже забыл, что изображает воина гомеровских времен; он вновь становится римлянином и совершает весьма прозаический поступок: забрасывает вражеских солдат стрелами с привязанными к ним записками, в которых обещает горы золота всем, кто перейдет в его лагерь. Легионеры Октавиана никак на это не реагируют и продолжают сосредоточиваться у стен города. Тогда Антоний вновь вспоминает о Гомере и посылает Октавиану изысканное письмо: он, словно герой «Илиады», предлагает решить исход войны поединком двух главнокомандующих.

Прочитав это послание, похожее на отрывок из литературного произведения, Октавиан остается холоден как лед. Со времени мартовских ид он преследует одну цель: уничтожить соперника, которого ненавидит. Уже пятнадцать лет он мечтает об этом; и вот, наконец, Антоний у него в руках, и придуманная им, Антонием, уловка слишком неудачна: Октавиан не собирается из-за глупого тщеславия поднимать руку на великана, который может повергнуть его наземь одним ударом. Тем более что у него, Октавиана, есть дела поважнее: он должен во что бы то ни стало завладеть сокровищами Клеопатры.

И он удовлетворяется тем, что велит передать Антонию лаконичный ответ: если его противник твердо решил расстаться с жизнью, то для него «открыто много других дорог к смерти»^[123].

Антоний понимает, что пришел час последней битвы. Он решает начать сражение на следующий день, 1 августа, атаковав Октавиана одновременно с моря, силами оставшейся у него части флота, и на суше, разом бросив в бой всех своих солдат.

Потом он приглашает друзей на последний ужин. Очевидно, он надеется пасть на поле сражения. «За обедом, — рассказывает Плутарх, — он велел рабам наливать ему полнее и накладывать куски получше, потому что, дескать, неизвестно, будут ли они потчевать его завтра или станут прислуживать новым господам, меж тем как он ляжет трупом и обратится в ничто»^[124].

В этот момент его друзья стали плакать. Антоний почувствовал, что его искренность не совсем уместна, взял себя в руки и добавил (опять-таки согласно Плутарху): «Я пойду сражаться не для того, чтобы найти себе славную смерть, но чтобы обрести спасение и победу»^[125].

Историк не уточняет, ужинал ли Антоний в компании своих офицеров, или это было последнее собрание общества «стремящихся к смерти»; и не говорит, присутствовала ли там Клеопатра. Однако все указывает на то, что

царица оставалась рядом с мужем, — вплоть до чувств, владевших участниками этой последней трапезы, очень похожей на другую, которая имела место шестьдесят три года спустя, в Иерусалиме, когда двенадцать приглашенных собрались вокруг тринадцатого человека, тоже готовившегося на следующее утро встретить смерть: вокруг человека по имени Иисус.

*

Неизвестно, спали ли Антоний и царица в ту ночь; однако на рассвете, как и было предусмотрено, он, подтянутый и уверенный в себе, разместил своих пехотинцев на холмах Александрии, затем стал наблюдать за маневром флота, который, согласно плану, на всех парусах двигался навстречу вражеским кораблям.

В любой момент — в зависимости от того, какой поворот примет морское сражение, — Антоний должен быть готов бросить своих людей против легионов Октавиана. Тем не менее он на удивление спокоен.

Он видит, как его корабли, действуя в соответствии с полученным приказом, собираются взять противника на abordаж; но в тот самый момент, когда его моряки должны начать бросать крючья, таранить вражеские суда, стрелять из катапульт, они вдруг застывают на месте, тогда как гребцы на всех судах одновременно поднимают весла, приветствуя матросов Октавиана, которые отвечают им тем же. После чего два флота соединяются и, резко изменив курс, направляются в сторону города.

Тогда Антоний поворачивается к всадникам, самым верным своим солдатам, с которыми еще накануне столь блестяще атаковал лагерь Октавиана. Но и они, показав ему спину, галопом скачут прочь; и с холма, на котором он остался в одиночестве, бессильный остановить это нелепое бегство, Антоний видит, как легионы Октавиана устремляются на его пехотинцев и уничтожают их одним ударом.

Он спускается с холма, мчится, нахлестывая коня, по улицам Александрии, уже не владея собой, кричит, что его предали, что ему надо было опасаться царицы, Клеопатры, — ведь ему говорили, что именно она отдала приказ коменданту Пелусия сдать город; что эта женщина была предательницей с самого начала, всегда, она всегда думала только о себе — а он, дурак, позволял ей управлять собой, как жалкой марионеткой.

Клеопатра оставалась во дворце. Она слышит его крики, видит, как он скачет. В ужасе от его состояния, которое на сей раз похоже на чистое

безумие, и еще более испуганная известием о победе Октавиана, она бежит к своей гробнице и, войдя внутрь, велит опустить подъемные решетки, задвинуть тяжелые засовы, закрепить их цепями; с ней вместе там остаются две самые преданные ее прислужницы, Ирада и Хармион. Потом, надеясь, что Антоний уже пришел в себя, она направляет к нему гонца, чтобы сообщить, где находится, и передать, что они оба должны осуществить свой последний план: поджечь мавзолей и умереть вместе.

Однако растерявшийся слуга понял царицу так, что ему следует известить Антония о ее смерти. Он добросовестно исполняет то, что считает своей миссией; и Антоний, который все еще находится в состоянии аффекта, ни на секунду не подвергает сомнению его слова. Вновь впад в театральный тон, он корит себя за малодушие и произносит тираду, будто дословно заимствованную у героев Эшила или Софокла: «Что же ты еще медлишь, Антоний? Ведь судьба отобрала у тебя последний и единственный повод дорожить жизнью и цепляться за нее!»^[126]

Затем он входит в свою спальню, расстегивает и сбрасывает кирасу и (так, по крайней мере, передает происшедшее Плутарх) восклицает: «Ах, Клеопатра, не разлука с тобою меня сокрушает, ибо скоро я буду в том же месте, где ты, но как мог я, великий полководец, позволить женщине превзойти меня решимостью?!»^[127]

К несчастью, эта возвышенная декларация не помогает ему собраться с силами, чтобы обратить меч против себя, и тогда он призывает самого верного из своих рабов, грека по имени Эрот, которого уже давно заставил поклясться, что тот убьет Антония по первой его просьбе. «Раб взмахнул мечом, — рассказывает Плутарх, — словно готовясь поразить хозяина, но, когда тот отвернул лицо, нанес смертельный удар себе и упал к ногам Антония. «Спасибо, Эрот, — промолвил Антоний, — за то, что учишь меня, как быть, раз уже сам не можешь исполнить, что требуется». С этими словами он вонзил меч себе в живот и опустился на кровать»^[128].

Потеряв много крови, Антоний впадает в беспамятство; но к тому времени, как он приходит в себя, кровотечение останавливается. Он собирается с духом и зовет на помощь. Сбегаются люди; он умоляет их его прикончить. Они тут же в испуге исчезают; тогда Антоний, сотрясаемый жестокими конвульсиями, вновь начинает кричать. Это продолжается до тех пор, пока не появляется Диомед (секретарь Клеопатры, как уточняет Плутарх), «которому царица велела доставить Антония к ней в усыпальницу»^[129].

Текст Плутарха, если понять его внутреннюю логику, позволяет

совершенно ясно представить картину случившегося: Клеопатра через слугу хотела сообщить Антонию, что, несмотря на его гнев, назначает ему свидание в своем мавзолее — чтобы они умерли вместе, согласно договоренности, к которой пришли в момент создания своего нового общества. Однако гонец, как в плохой мелодраме, неправильно понял ее слова; и это дало Октавиану повод утверждать впоследствии, будто царица до конца вела себя подло, будто даже в момент, когда она потеряла свой город, у нее было только одно желание: отделить свою участь от участи Антония, толкнуть его на самоубийство, чтобы после гибели этого человека, ею же и подстроенной, вступить в переговоры с его врагом.

Это, конечно, низкая клевета; и все же даже в тот печальнейший миг судьба играла на руку Клеопатре: известие о смерти царицы Антоний воспринял как приказ, которому не мог не повиноваться, ибо он исходил от самого близкого ему, Антонию, существа.

И таким образом, благодаря этому трагичному недоразумению, Клеопатра сдержала слово, данное ею шесть месяцев назад человеку, который, в конце концов, тоже стал для нее самым любимым существом: она помогла ему умереть — после того, как дала испытать великолепнейшие из всех земных наслаждений.

*

Но в результате весь детально продуманный план их совместного ухода из жизни оказался под угрозой; Антоний, почувствовав приближение агонии, вспомнил об их договоренности и попросил слуг отнести его к мавзолею царицы, чтобы он мог умереть в ее объятиях, прежде чем она подожжет гробницу и, в свою очередь, заколет себя кинжалом.

Рабы быстро выполняют его просьбу и зовут царицу, которая видит окровавленного Антония у них на руках. Однако, забаррикадированная за всеми этими цепями, подъемными решетками и засовами, она понимает, что, пока будет открывать вход в гробницу, пройдет слишком много времени — а враг уже ворвался в ворота Александрии; увы, она не подумала о том, что втаскивать в комнату на последнем этаже квадратной башни, где она укрылась, придется не пышущего здоровьем атлета, а умирающего.

И все же ее ничто не может остановить: она сбрасывает сверху веревки и приказывает слугам обмотать ими раненого.

И начинается ужасная сцена, что-то вроде снятия с креста, только

наоборот: три женщины изо всех сил тащат вверх окровавленное тело Антония, а он в отчаянии простирает руки к окну, словно умоляя о спасении. «Клеопатра, — продолжает свой рассказ Плутарх, — с искаженным от напряжения лицом, едва перехватывала снасть, вцепляясь в нее что было сил, под ободряющие крики тех, кто стоял внизу и разделял с нею ее мучительную тревогу»^[130].

С помощью Ирады и Хармион ей удалось, наконец, втащить тело внутрь башни. И тут она, проявляя поразительное самообладание, мгновенно превращается в того персонажа, которого Антоний хотел увидеть в мавзолее: в Исиду-утешительницу, склонившуюся над телом Осириса, который стал жертвой ненависти своего завистливого брата. Подобно этой богине, она укладывает его на постель, снимает с него тунику, разрывает ее на полосы и перевязывает раны своего мужа-любownika; потом, тоже воспроизводя действия богини, раздирает свою грудь ногтями, нанося себе глубокие раны, снова склоняется над Антонием, так что их кровь смешивается, прижимается лицом к его телу. «Клеопатра... звала его своим господином, супругом и императором, — добавляет Плутарх. — Проникшись состраданием к его бедам, она почти забыла о своих собственных»^[131].

Антоний постепенно успокаивается, он чувствует, что уже готов принять смерть; и зная, что, если выпьет чего-нибудь, это ускорит его агонию, просит Клеопатру поднести ему бокал вина.

Сценарий их совместной смерти она продумала в мельчайших деталях, так что в гробнице имелся запас вина. Она повинуется. Антоний утоляет жажду, потом произносит несколько последних фраз: он уже забыл, что она тоже хочет расстаться с жизнью, и советует ей, как мог бы сделать герой Софокла или Еврипида, попытаться спастись, сохранив, если это возможно, свою честь. Затем в голове его всплывает смутное воспоминание, и он говорит, что из приближенных Октавиана ей лучше не доверять никому, кроме Прокулея. Наконец, он снова возвращается к театральщине и убеждает ее не оплакивать его участь. Он был, говорит он ей, самым прославленным, самым могущественным из людей и покидает этот мир без стыда, потому что его, римлянина, победил римлянин.

Клеопатре больно слышать, как человек, которого она так хотела сделать настоящим греком, в момент кончины возвращается к словесным формулам и нравственным ценностям Волчицы. Но в этот день, определенно, все оборачивается против нее: в тот самый миг, когда агония Антония достигает конечной стадии, кто-то начинает стучать в дверь

гробницы.

Это тот самый Прокулей. Он явился по поручению Октавиана, узнавшего о местопребывании Антония и о том, что его враг находится при смерти.

Но царица уже поняла, что предательство распространилось повсюду, и, едва взглянув на этого римлянина, возвращается к умирающему. Антоний выпускает дух. Внизу Прокулей продолжает колотить в дверь; но Клеопатра, сознавая, что Октавиан хочет сохранить ей жизнь лишь для того, чтобы провести по улицам в своем триумфальном шествии, где будут выставлены напоказ и ее сокровища, упорно не открывает.

Была ли у нее уже тогда, в той комнате, где нашлись бокалы и бурдюки с вином, корзина со змеями? Наверняка нет: ведь они с Антонием намеревались поджечь гробницу и, когда начнется пожар, вместе с Ирадой и Хармион покончить самоубийством, заколов себя мечами. И потом, под туникой, запачканной кровью Антония, Клеопатра прятала очень острое лезвие, незаметное и смертоносное оружие: пиратский кинжал.

Но хитрый Прокулей начинает, стоя под окном, говорить с ней о ее детях: они станут сиротами, кричит он, сиротами, лишенными всех прав, и, несомненно, будут казнены, если она не откажется от своего замысла. Царица попадает в ловушку, вступает в переговоры: если Октавиан поклянется, что сохранит за ними египетский трон, она не станет поджигать гробницу.

В этот момент появляется самый надежный офицер Октавиана, Галл. Он тоже, оставаясь внизу, у двери, пытается внушить ей надежду; и настолько преуспевает в этом, что, слово за слово, между ними завязывается разговор. Между тем люди Октавиана прохаживаются вокруг гробницы, то и дело докладывают о положении дел самому Октавиану, который расположился поблизости; он выслушивает их сообщения, размышляет, отдает приказы. Галл уговаривает царицу спуститься на первый этаж, под предлогом, что им будет легче разговаривать, если они встанут по разные стороны двери. Она дает себя уговорить. Прокулей тут же пользуется этим, чтобы применить силовой прием: он приставляет к стене гробницы лестницу, мгновенно взбирается по ней и через окно вспрыгивает в комнату, где лежит тело Антония.

Одна из двух камеристок успевает крикнуть, чтобы предупредить царицу. Клеопатра возвращается наверх; Прокулей подбегает к ней. Тогда она достает кинжал и пытается убить себя. Римлянин перехватывает ее руку, отбирает оружие, потом резко отряхивает на ней платье, желая убедиться в том, что нигде не спрятан флакон с ядом.

И, как всегда в подобных случаях, ее уверяют, что ей не причинят никакого вреда, что Октавиан мягкосердечен и вскоре продемонстрирует ей свое великодушие; и, чтобы доказать ей это, к ней вскоре присылают одного из вольноотпущенников победителя, Эпафродита, который получил задание выполнять малейшие ее желания, но строжайшим образом надзирать за ней — и, главное, ни в коем случае не допустить, чтобы она лишила себя жизни. Ее сразу же ведут во дворец, под надежной охраной, по улицам Александрии.

*

Вспоминает ли она по дороге странный шум, который раздавался на этих самых улицах прошлой ночью, около полуночи, как раз когда закончился банкет «стремящихся к смерти»? Среди унылой тишины, в которую погрузили город страх и напряженное ожидание завтрашних событий, вдруг раздались крики, пение, характерные звуки танцующей дионисийской процессии, какофония флейт, топот ног — очевидно, двигалась одна из тех групп ликующих мужчин, женщин и детей, которые в последние пятнадцать лет так часто преграждали путь Антонию; одно из тех шествий, которые со времен первого Птолемея сотни раз проходили по улицам города.

Александрийцы, услышав этот гвалт, кинулись к своим окнам. Но на улицах не было видно ни одного фонаря, ни одного факела, они оставались пустыми, если не считать этой незримой веселящейся толпы. Полная тьма, и только эти бесчисленные голоса, которые горланят во всю глотку гимн Свободному Богу, распирающий несуществующие грудные клетки; и еще, в ночи, эта призрачная павана, непрерывно и настойчиво исполняемая сотнями флейт.

Люди заметили и другую, еще большую странность: вместо того чтобы вскоре остановиться и затем, как обычно, повернуть к центру Александрии, невидимая ликующая процессия двинулась к городским укреплениям, к воротам Солнца, к занесенным песком пригородам, к лагерю Октавиана. По мере того как она удалялась, гвалт становился все более невыносимым. В момент, когда она проходила через ворота, впору было затыкать себе уши. И тут все разом смолкло.

Смысл знамения совершенно ясен; она, Клеопатра, могла бы и раньше его истолковать: вчера Бог-Освободитель покинул город; и теперь, когда небо одержало победу над силами земли, царица осталась на сцене одна,

чтобы попрощаться с Александрией, которую теряла.

ПРОЩАЯСЬ С АЛЕКСАНДРИЕЙ, КОТОРУЮ ТЕРЯЕШЬ...

(2—29 августа 30 г. до н. э.)

Впереди ее ждет небытие — но и пьеса, которую надо доиграть до конца.

Значит, несмотря на гнетущую печаль (которую даже не выразить словами, ибо она безмерна, как жизнь, велика, как море), она должна использовать все ресурсы своего воображения. Нить трагедии выскользнула у нее из рук, и необходимо любой ценой найти эту нить, завязать новый узел. И уйти со сцены так, чтобы вся Вселенная запомнила ее навсегда.

Но она — пленница дворца, ее сокровища потеряны, Октавиан одержал абсолютную победу. Узнав о смерти своего соперника, он удалился к себе в палатку, пролил для вида притворные слезы; а когда понял, что не сумел никого обмануть, его лицо приняло обычное лицемерное выражение, он собрал всех своих друзей и прочитал им последние письма, которые присылал ему Антоний. Послушайте, насколько он был вульгарен и высокомерен, будто говорил Октавиан, тогда как я писал ему только справедливые и благожелательные вещи.

Потом он решил войти в Золотой город. Он предпочел, чтобы в этот важнейший момент его сопровождали не вооруженные когорты легионеров, а один-единственный друг, некий грек, человек, родившийся в Александрии. Его звали Арий, он был профессиональным философом и уже много лет входил в свиту Октавиана. Октавиан взял его с собой, и так, неспешно беседуя, держась за руки, они прошли по улицам Александрии: как будто император хотел показать горожанам, что завоевал их не как других, силою оружия, но обратил против них их собственную силу, силу духа; и что именно поэтому его победа абсолютна. Так, в компании Ария, он дошел до гимнасия. И там, в том самом месте, где четыре года назад состоялась церемония «Дарений», он потребовал, чтобы для него, как когда-то для Антония и Клеопатры, воздвигли большой помост.

Множество александрийцев, раздираемых противоречивыми чувствами — страхом и желанием поскорее со всем этим покончить, — быстро собрались и выполнили его требование; и когда римлянин взгромоздился на помост, они в едином порыве простерлись перед ним ниц.

Октавиан, по своей привычке, обвел их холодным взглядом; потом, все с тем же высокомерным видом, сказал, что прощает их. Ради памяти Александра, уточнил он; и еще потому, что их город велик и красив. И, наконец, потому, что он хочет угодить своему другу, который здесь родился.

Он не мог бы более ясно выразить горожанам свое презрение. Затем он покинул гимнасий, вернулся к своим солдатам и отдал приказ умертвить Антулла, старшего сына Антония. Юноша попытался найти убежище возле статуи Цезаря, цеплялся за нее, взывал к манам Божественного Юлия. Октавиан ничего не пожелал слушать, и Антуллу тут же отрубили голову. Дальше император занялся лихорадочными поисками Цезариона. С этой целью он стал подкупать различных людей из дворца, послал по следам молодого человека самых опытных шпионов.

Другие дети, трое маленьких метисов, как кажется, его не интересовали; он оставил их на попечении воспитателей и пока ничего не менял в их образе жизни. Помимо Цезариона, чью голову он тоже желал непременно получить, его волновала только участь царицы, но по прямо противоположной причине: он боялся, что еще до триумфа, во время которого собирался провести ее по улицам Рима, она вновь попытается лишиться себя жизни.

Ибо таков был Октавиан: ему хотелось давить, унижать своих врагов все больше и больше; его жажду мести ничто не могло утолить. А между тем ему удалось уничтожить Антония, и он, наконец, стал единственным владыкой Рима. Теперь, когда он завладел сокровищами Египтянки и точно знал, что, вернувшись домой, успокоит волнующиеся в Риме войска и голодный плебс, он низвел Египет до положения простой римской провинции — то есть добился того, чего до него не сумел добиться никто, даже Цезарь. Но он ничего не мог с собой поделаться, всего этого ему было мало, ему требовалась царица — чтобы еще больше унижить ее перед тем, как убить.

И это желание мучило его до такой степени, что он волновался даже больше, чем накануне последней битвы с Антонием. Можно было подумать, что на него, нового владыку этого столь ненавистного и все же столь желанного для него города, вдруг напала орда демонов, вышедших из темных глубин его собственного естества, и что они толкают его к тому, чтобы он всецело отдался единственной радости, которую умел получать от жизни: к удовлетворению его природной жестокости.

Для начала он хочет увидеть ее, царицу, хочет созерцать ее несчастье.

Увидеть эту женщину, чье тело познал и оплодотворил его отец; отец волей собственного слова, который сделал его, Октавиана, тем, кто он есть сейчас, начертав грифелем пару строк на недолговечном воске.

Он хочет насладиться зрелищем этой побежденной плоти, которую когда-то (в лучшую пору ее юности) любил тот же самый человек, что проник и в его, Октавиана, тело — тело двенадцати-тринадцатилетнего мальчишки.

Хочет подарить себе возможность созерцать ее страдание, раны, которыми царица покрыла свое лицо и грудь, когда видела, как умирает тот, кого она сделала своим супругом, — Антоний.

Антоний, которого природа так зримо наделила всеми качествами великого полководца: силой, храбростью, атлетической красотой, способностью подчинять своей воле (не прилагая к этому никаких усилий) мужчин и женщин и внушать любовь к себе тем, кто ему подобен, щедростью и, наконец, высшим из всех благ — энтузиазмом, радостью. Ничего этого он, Октавиан, никогда не имел и не будет иметь. И именно поэтому все это уничтожит.

Он уже отдал приказ, чтобы в городе разрушили все, что напоминает о его сопернике: его статуи, мраморные архитектурные детали и даже самые маленькие стелы, надписанные его именем; потом то же сделают и с изображениями царицы: после смерти Клеопатры он сотрет ее упоминания на камнях. Однако все это — рутина, банальность: на протяжении многих веков победители в разных концах Средиземноморья (да и здесь, в Египте) осуществляли подобные акции. Ему, Октавиану, чтобы разделаться с Египтянкой, потребуется более долговечная, более утонченная месть, способная принести куда более сложное чувство удовлетворения.

Ибо, не испытав этого упоительного удовлетворения, Октавиан не сможет замкнуть круг своей судьбы: доказать самому себе, что он, хотя и не вышел из чресл Цезаря, достоин того, чтобы зажать в своем кулаке все обитаемые земли.

Чтобы стать этим единственным и неоспоримым властителем, владыкой новых времен, абсолютным сувереном пространства, завоеванного римскими орлами, он должен подавить другую мечту, разрушить ее, не оставив ей никакого шанса на возрождение. Только тогда он сможет соревноваться с великой тенью Цезаря, с памятью о нем, которая так тяжело давит на его, Октавиана, плечи. И, как Цезарь, поднимется на последнюю вершину: обретет величие, святость.

Впрочем, он уже решил, что, как только покончит с этим египетским

делом, изменит свое имя: отныне его будут называть Августом, «Священным»; и тем же словом назовут восьмой месяц года, в память о прекрасных летних неделях, когда он, наконец, усмирил Египтянку. Пройдет еще тридцать дней, не больше, и он покинет пески Египта, этой ненавистной ему земли; и потом, менее чем через три месяца, царица, закованная в цепи, пройдет по улицам Рима перед его триумфальной колесницей, как некогда шла перед упряжкой Цезаря несчастная Арсиноя; затем ее бросят в какое-нибудь темное подземелье, куда палач, когда сочтет нужным, спустится, чтобы ее задушить.

*

Но Октавиан не знает одного: того, что Клеопатра, по сути, живет уже не в этом мире, а в вечности.

Туда, к берегам реки молчания, обращены каждый ее вздох, каждый скупой жест, остаток сил, который еще сохранился на дне ее скорби.

К вечности привел ее тот бесконечно долгий миг, когда она, подобно Исиде, обмывала тело Антония, бодрствовала над ним, готовила его к переходу в мир мертвых. Она не побоялась попросить у Октавиана этой милости. И он ей не отказал: потому что изощренные мучения, которые изобретал для нее, отложил на более поздний срок. А сейчас хотел, чтобы она прошла через первый круг скорби: простилась с любимым телом; приятно будет постепенно, на протяжении многих дней, показывать ей, как неисчерпаема бездна страданий.

Итак, он позволил себе благородный жест: приказал своим людям, чтобы труп принесли во дворец (где она содержалась под усиленной охраной) и предоставили в ее полное распоряжение.

*

Ходили упорные слухи, будто царица, как только увидела труп Антония, решила его забальзамировать и осуществила свое намерение собственными руками.

Это чистая выдумка, легенда, которую распространил Дион Кассий, античный историк, настроенный по отношению к Клеопатре весьма враждебно. Он, несомненно, не знал того, что, дабы забальзамировать тело, согласно египетским обычаям, требуется не менее семидесяти дней.

Царица в юности действительно увлекалась вскрытием трупов. Говорили, что она часто посещала кварталы бальзамировщиков; следовательно, ей было известно, что существуют и более быстрые способы мумификации и что за несколько дней можно сделать так, чтобы на скелете умершего художественно сохранилось немного плоти.

Однако все эти способы предназначались для людей низкого происхождения. А все свидетели утверждают, что Клеопатра хотела — и сумела — устроить для Антония похороны, достойные царя; и что погребальная церемония состоялась менее чем через неделю после его смерти.

С другой стороны, хотя греческое население Александрии, традиционно приверженное кремации, на протяжении последних (предшествовавших описываемым событиям) десятилетий все чаще предпочитало ритуалы мумификации, наверняка известно, что придворные вельможи — особенно те, в чьих жилах текла царская кровь, — продолжали сжигать своих умерших на погребальных кострах, в соответствии с древними греческими и македонскими обычаями. Очевидно, факт бальзамирания тела Александра был единственным нарушением этой традиции, но он объясняется чрезвычайными обстоятельствами, которые сопутствовали кончине великого полководца. Застигнутые врасплох внезапной смертью Александра, его военачальники в течение целой недели занимались тем, что пытались обеспечить дальнейшее незыблемое существование империи и разделить между собой завоеванные покойным суверенные земли; они были настолько поглощены своими спорами, что просто забыли о теле царя, лежавшем где-то во дворце (они уже и не помнили, где именно). Потом они спохватились: шел месяц июнь, а в Месопотамии это пик жары. Военачальники думали, что найдут полуразложившийся труп; однако, к их великому удивлению, тело покойного сохранилось настолько хорошо, что они пришли к убеждению: Александр действительно был сыном бога Амона, как объявил, во время пребывания Македонца в Египте, оракул Сивы. Поэтому они приказали извлечь из тела внутренности и наполнить его брюшную полость ароматическими веществами.

С тех пор мумия Александра стала своего рода фетишем; наследники полководца буквально вырывали ее друг у друга — до того момента, пока основателю династии Лагидов не удалось выкрасть ее у одного из своих соперников и перевезти в Александрию, где телесная оболочка завоевателя, чудесным образом сохранившаяся, была помещена в мавзолей и превратилась в талисман города.

Однако никакие археологические данные, ни один текст не указывают на то, что правители из династии Лагидов когда-либо впоследствии прибегали к ритуалам мумификации: ведь это означало бы, что они претендуют на тот же ранг — магический и божественный, — каким обладал основатель города. Даже самые амбициозные из них — например, Пузырь — никогда не выдвигали подобных претензий. Кроме того, утром 1 августа Клеопатра приняла решение погибнуть в пламени в своем мавзолее, устроив пожар, который уничтожит и все ее сокровища: уже одно это показывает, как мало значения она придавала сохранности своего тела *post mortem*^[132]. Что же касается самого Антония, то ему, сколь бы ни был велик его интерес к египетской цивилизации, мумификация, как и любому уроженцу берегов Тибра, должна была представляться экзотическим варварским ритуалом, очень любопытным с научной точки зрения, но совершенно не достойным римского гражданина.

Упоминание о том, что царица забальзамировала тело Антония, встречается только у Диона Кассия — историка, через два с половиной века после трагедии продолжавшего повторять те клеветнические измышления, которыми Октавиан на протяжении многих лет упорно пытался опорочить память об умерших любовниках. Утверждая, будто царица мумифицировала Антония, Дион Кассий тем самым упрочивал в римском мире ее репутацию колдуньи; а также показывал, что даже после смерти своего любимого она оказывала губительное влияние на его судьбу, ибо не позволила совершить над ним священные ритуалы его родины, той цивилизации, которая, по мнению этого историка, очевидным образом превосходила все прочие.

Итак, если мы хотим представить себе этот трагичный эпизод, надежнее будет положиться на его беглое описание у Плутарха: «Многие цари и полководцы вызывались и хотели похоронить Антония, но Цезарь оставил тело Клеопатре, которая погребла его собственными руками, с царским великолепием, получив для этого все, что только ни пожелала»^[133].

Может быть, в те августовские дни, когда на Александрию обрушилась страшная жара, царица захотела принять какие-то меры, чтобы тело Антония не начало разлагаться прежде, чем будет возложено на погребальный костер; а поскольку ей требовалось несколько суток, чтобы подготовить грандиозную церемонию, она и в самом деле могла применить один из сокращенных способов мумификации (с использованием большого количества ароматических веществ) и даже (почему бы и нет?)

собственными руками извлечь из тела внутренности. Однако, судя по всему, Антоний был кремирован в точном соответствии с тем пышным и торжественным ритуалом, который, на протяжении всей истории Лагидов, оставался привилегией их царей.

Позволив ей это сделать, Октавиан получил еще одно решающее преимущество: продемонстрировав свое великодушие, он одновременно наглядно показал всем, что его соперник стал жертвой Египтянки, что Антоний был полководцем, одержимым манией величия, который поддался худшему из искушений: возомнил себя наследником тиранов — самых гнусных и развращенных из всех, каких знал Восток. Клеопатра не могла расстроить планы Октавиана, ибо должна была похоронить Антония как своего мужа; и прекрасно знала, что эта погребальная церемония — последний в ее жизни шанс предстать во всем царственном блеске и, перед пылающим костром, еще раз утвердить славу своего рода.

*

Пока что Октавиан из осторожности воздерживался от того, чтобы осуществить одно из самых заветных своих желаний: произвести опись царских сокровищ, все еще нахо-лившихся под надежной охраной в мавзолее; тут нельзя было обойтись без содействия царицы, потому что, как он предполагал (несомненно, справедливо), она могла спрятать некоторые из своих драгоценностей в тайниках, известных только близким ей людям.

К несчастью для него, на следующий день после похорон Клеопатра заболела. Раны, которые она нанесла себе во время агонии Антония, воспалились и загноились, началась лихорадка. Ей оставалось лишь надеяться, что она умрет от этого недуга, потому что, после тщательного обыска, из ее апартаментов убрали все предметы и вещества, с помощью которых она могла бы попытаться лишиться себя жизни. Она решила не препятствовать естественному развитию болезни и, чтобы ускорить приближение смерти, не принимать никаких лекарств и воздерживаться от любой пищи.

Она заручилась поддержкой своего личного врача Олимпа: раскрыла ему свой план, и он не только перестал ее лечить, но даже усердно подсказывал, какими еще способами она может ухудшить свое состояние.

Октавиан первое время ничего не подозревал. Он позволял Олимпу навещать Клеопатру, уверенный, что врач прилагает все усилия, чтобы

восстановить ее здоровье. Однако он был настолько одержим желанием увидеть, как закованная в цепи Клеопатра идет перед его триумфальной колесницей, что то и дело спрашивался о ней. Узнав, что она отказывается принимать пищу, он не на шутку встревожился, приказал, чтобы за царицей и Олимпом непрерывно шпионили, и, несмотря на все их предосторожности, вскоре догадался о том, что происходит.

Чтобы воспрепятствовать намерениям царицы, он прибегнул к самому надежному средству: шантажу. Если она не начнет нормально питаться, велел он ей передать, он больше не отвечает за жизнь ее детей. «И угрозы эти, — рассказывает Плутарх, — словно осадные машины, сокрушили волю Клеопатры, и она подчинилась заботам и уходу тех, кто хотел сохранить ей жизнь»^[134].

*

Прошло восемь дней с момента смерти Антония. Октавиан решает, что необходимые приличия уже соблюдены и что теперь он может, наконец, позволить себе удовольствие, о котором мечтал с тех самых пор, как в качестве победителя вступил в город: нанести визит своей жертве.

Мы не знаем точно, что произошло во время этого свидания. Дион Кассий, разумеется, утверждает, будто Клеопатра попыталась соблазнить Октавиана и использовала для этого все возможные средства обольщения; однако если учесть, в каком тяжелом физическом состоянии она тогда находилась, такая версия представляется совершенно неправдоподобной. Значит, мы должны рассматривать ее как чистую клевету.

И все же версия Диона Кассия, хотя и направлена против царицы, независимо от воли автора выдает тот факт, что Октавиан испытывал тайное влечение к Клеопатре — с тех пор, как три года назад решил вести войну именно против нее, чтобы тем вернее уничтожить Антония. Очевидно, в те долгие недели, когда ему приходилось терпеливо ждать благоприятной возможности для вторжения в Египет, он лелеял фантазию, что рано или поздно победит своего соперника и тогда Клеопатра предложит ему свое тело в обмен на жизнь; и он, садист и развратник, воображал, как ответит ей отказом: одной из тех своих сухих реплик, которые были неременной частью его излюбленной роли, роли добродетельного римлянина...

Итак, что касается этого эпизода, то и здесь свидетельство Плутарха внушает гораздо больше доверия: во-первых, потому, что автор

«Сравнительных жизнеописаний» получал свою информацию от людей, близких к придворным кругам; во-вторых — что еще важнее — потому, что в момент, когда он писал биографию Антония, Плутарх мог консультироваться с отчетом (ныне утраченным) о последних днях царицы, составленным ее врачом, тем самым Олимпом.

Согласно оригинальному тексту Плутарха, Октавиан посетил царицу во дворце. Только из-за неправильной интерпретации этого отрывка первым из современных переводчиков Плутарха, Амиотом, возникла легенда о том, что царица будто бы покончила с собой в своей гробнице, — легенда, ставшая фундаментальной частью мифа о Клеопатре, существующего со времен Шекспира. Однако текст Плутарха совершенно ясен: после смерти Антония Клеопатра содержалась как пленница в царском дворце, в своей спальне (*δωμάτιον*), где и произошла ее встреча с Октавианом.

В день этого визита царица имела самый жалкий вид. «Телесное ее состояние, — скупно замечает Плутарх, — казалось, было ничуть не лучше душевного»^[135]. В самом деле, на ее груди еще оставались следы нанесенных ею самою увечий; лицо было страшно искажено, а голос, раньше такой мелодичный, дрожал.

Тем не менее когда пришел Октавиан, она, несмотря на свою слабость, попыталась подняться. Но римлянин, верный своей тактике показного великодушия, уговорил ее снова лечь и присел рядом.

Царица совсем не знала Октавиана. Она иногда встречалась с ним во время своего пребывания в Риме, и с тех пор у нее осталось воспоминание о ничтожном франте, Молокососе, над которым подсмеивались все, начиная с Цицерона. Судить о том, каким он стал, она могла только по его курьерам и гонцам. Но тогда ее ослепляла ненависть к Октавии; а потом, в последние месяцы своего правления, все ее силы были направлены на то, чтобы бороться с мучившими Антония приступами уныния, вспышками отчаяния или ревности. Октавиан и она несколько раз посылали друг к другу послов и курьеров; но на протяжении тех шести месяцев ей приходилось сражаться на стольких фронтах одновременно, у нее скопилось столько срочных дел, а вокруг царило такое смятение, что у нее, конечно, не оставалось сил, чтобы интересоваться характером своего старого врага, его недостатками и достоинствами.

Зато сейчас, когда Октавиан сидит рядом с ней, в доме, который еще восемь дней назад принадлежал ей и который он превратил в ее тюрьму, она может досконально изучить его лицо, расшифровать его мимику, жесты — даже запах, исходящий от его тела. И Клеопатра вновь становится тем

хищным зверем, каким была всегда, мобилизует свою последнюю энергию, и — под видом беседы — вступает с Октавианом в такой род борьбы, к которому не смог принудить его Антоний: в поединок один на один.

*

Она, как всегда, показала себя превосходным дипломатом, раскрывающим свои козыри постепенно, в соответствии с тщательно продуманным планом. Теперь, потеряв все, она думала только о детях; и ее единственная цель состояла в том, чтобы не позволить Октавиану ее шантажировать.

Сперва (и уже по одному этому видно, что ее способность все рассчитывать нисколько не пострадала) она оправдывает себя, объясняя прегрешения, в которых ее обвиняют, отчасти фатальной неизбежностью (слишком легковесное объяснение), а отчасти — страхом, который, как она говорит, всегда внушал ей Антоний.

Второе утверждение является ложью лишь наполовину: она действительно всегда боялась потерять этого человека. Однако настоящему Антоний пугал ее только в последние шесть месяцев своей жизни, после того, как впал в прострацию на корабле и потом бессмысленно блуждал по пескам Паретония, когда стали умножаться его экстравагантные выходки и приступы ярости и он, следует признать, стал чуть ли не сумасшедшим.

Этот тур игры Клеопатра сыграла удачно: Октавиан, как она знала, всегда испытывал в присутствии Антония тайный страх — примитивный, физический страх тщедушного человека, столкнувшегося лицом к лицу с гигантом. Однако Октавиан был не менее умен, чем Клеопатра, он не попался на эту удочку и принялся пункт за пунктом опровергать ее аргументы.

Как только Октавиан начал нанизывать один на другой свои софизмы, все более изощренные, царица поняла, что ей нечего от него ждать; и догадалась, наконец, зачем он нанес ей визит, зачем так любезно присел на край ее постели: чтобы заморочить ей голову пустыми словами, чтобы не дать ей умереть, чтобы доставить себе удовольствие — провести ее по улицам Рима в день своего триумфа, и только потом, измучив не только ее тело, но и ее душу (и так уже пережившую множество испытаний), окончательно уничтожить.

Она тут же выработала новый план: поскольку Октавиан хотел

злоупотребить ее доверием, он сам будет обманут. И в одну секунду вооружилась единственным оружием, которое у нее оставалось: волей.

*

Когда Октавиан окончил свою красивую речь, она мобилизовала все свои актерские способности, приняла умоляющий вид и стала взывать к его милосердию, к его жалости. И чем усерднее она упрашивала его о снисхождении, тем больше ликовал Октавиан, убеждая себя, что царица всем своим существом привязана к жизни.

Она поняла, что рыбка проглотила крючок; и, продолжая разыгрывать комедию, притворилась, будто хочет облегчить свою участь путем пошлой торговли: стала перечислять ему, как если бы от этого зависела ее жизнь, все принадлежавшие ей сокровища.

Свидетелем этой сцены был один из дворцовых интендантов. Этот предатель, тоже поверив в разыгрываемый царицей спектакль и, несомненно, желая выслужиться перед новым господином, заметил (наверняка справедливо), что список сокровищ не полон и что Клеопатра утаила от Октавиана часть своих драгоценностей.

Услышав это, царица впала в такой гнев, что, несмотря на свою слабость, умудрилась схватить интенданта за волосы и дать ему пощечину. Октавиан, еще не понимая, что его заманивают в ловушку, не смог сдержать улыбки. Все с тем же лицемерным состраданием, которое демонстрировал с начала их встречи, он принялся успокаивать царицу, про себя убежденный, что она именно такова, какой он ее представлял: ничтожная, загнанная в тупик интриганка, готовая, ради спасения своей шкуры, на самую низкосортную лесть. И Клеопатра, которая уже читала его мысли как открытую книгу, немедленно ответила репликой, обрадовавшей Октавиана еще больше. «Но ведь это просто неслыханно, Цезарь! — коварно воскликнула она. — Ты, в моих жалких обстоятельствах, удостоил меня посещения и беседы, а мои же рабы меня обвиняют, и за что? За то, что я отложила какие-то женские безделушки — не для себя, несчастной, нет, но чтобы поднести Октавии и твоей Ливии и через них смягчить тебя и умиловать!»^[136]

Октавиан ликует. Он застывает в позе благородного героя и не без пафоса говорит, что «охотно оставляет ей эти украшения» и что «все вообще обернется для нее гораздо лучше, чем она ожидает»^[137].

После чего, уверенный, что во время триумфа покажет царицу своему народу, Октавиан покидает ее апартаменты и, окончательно успокоившись, начинает отдавать необходимые распоряжения относительно отъезда в Рим.

*

С этого момента все немногое время, которое у нее осталось, Клеопатра использует для того, чтобы подготовить свой уход из жизни. Она знает, что Октавиан не покинет Египет раньше, чем через две-три недели: он должен оценить состояние страны, заложить основы стабильной власти, наконец, собрать царские сокровища и конфисковать в городе все то, что привлекает его алчный взгляд. Срок вполне достаточный, она успеет тщательно продумать свою последнюю мизансцену. Хотя царица и находится во дворце, попавшем в руки врага, осуществить задуманное ей будет не так уж трудно; она не зря почти сорок лет прожила среди интриг и сумеет достать, когда пожелает, то немногое, что ей еще нужно: пару-другую этих маленьких гадюк — единственных из всех рептилий, с которыми она проводила эксперименты в последние месяцы, способных подарить ей спокойную, то есть почти безболезненную и почти мгновенную смерть.

Этих маленьких змей с белым брюшком, с двумя бугорками над глазами, с чешуйчатой, крапленой рыжими точками спиной можно найти в пустыне сколько угодно, стоит только миновать пригороды Александрии. В обычном, свернутом состоянии они не длиннее локтя; значит, их легко спрятать: например, в кувшине с водой или в корзине с фруктами — почему бы и не в корзине, ведь Октавиан, чтобы не дать царице умереть, приказал хорошо кормить ее и удовлетворять все ее гастрономические капризы...

Царице, чтобы осуществить свой план, необходимы сообщники; но во дворце у нее еще осталось достаточно верных слуг, которые из сочувствия к ней найдут несколько таких змеек, не спрашивая, зачем они ей нужны, и принесут, спрятав так, как она им скажет, в назначенный ею момент.

В Александрии, между прочим, никто никогда не боялся змей. Напротив, их называли «добрыми духами», в память об Александре: потому что, как говорили, Олимпию, мать завоевателя, сделал беременной змей, а не царь Филипп; а другой змей показывал Александру дорогу во время ужасного перехода через пустыню, к оазису Сива, к храму Амона, жрецы которого признали в Македонце единственного воителя, достойного

стать наследником строителей пирамид.

В память о завоевателе александрийцы, еще в эпоху основания города, завели обычай жить вместе со змеями. Они берут их в дома, кормят утром и вечером (после того, как сами поедят) мукой, смешанной с вином и медом. Щелчок пальцами, и змеи, уже зная, что их сейчас будут кормить, выползают из своих укрытий; потом, когда насытятся, еще один щелчок — и они вновь исчезают в норе, и никогда никого не кусают, даже детей.

А поскольку змеи, как считается, приносят счастье, их изображают над входной дверью, чтобы в дом пришло процветание: чаще всего в виде двух маленьких гадюк, симметричными извивами оплетающих палочку. Сам Гермес, бог дорог, приключений и богатств, доставляемых из Великой Дали, держит в руке этот магический знак; а многочисленные врачи Золотого города интерпретируют то же изображение как символ жизни, представляющей собой, по их мнению, смешение противоположных сил, идеальное равновесие которых и порождает здоровье. В блистательной Александрии всем управляет божественный змей — даже сейчас, когда, после победы Октавиана, Дионис, другой владыка сил земли, предпочел покинуть город.

Значит, ни один слуга не побоится, чтобы помочь царице, поймать в пустыне несколько таких змей. Да и можно ли лучше закончить историю славной династии, основанной соратником Александра, чем связав имя последней ее представительницы со змеей? Тем более что другая змея, царская кобра, вот уже несколько тысячелетий украшает корону фараонов — а иногда и изображения Исиды...

Что ж, решено, именно так она сойдет со сцены — ведомая змеей; так выиграет последнюю битву, обеспечив победу сил земли над силами неба. Искушавшись, возложив на себя оставшиеся у нее украшения, облачившись в царские одежды, с белой диадемой на лбу, она, после своего последнего ужина, просто протянет руку к маленьким белокожим гадюкам из пустыни. Хармион и Ирада, ее верные прислужницы, помогут ей в этой последней битве. Все, что от них требуется, — это чтобы они не позволили ей, царице, увидеть змеек в момент смертоносного укуса. Змеи должны быть спрятаны между листьями, прикрывающими смоквы, — если, конечно, она остановится на мысли (которая, впрочем, кажется превосходной), что их доставят в корзине с фруктами. Корзину принесет слуга, с самым невинным видом, в конце ужина. Эти идиоты римляне увидят ее, царицу, уже мертвой; но прежде она доставит себе последнее удовольствие: напишет Октавиану письмо, в котором попросит захоронить урну с ее прахом рядом с прахом Антония. По одной этой фразе он поймет, что

проиграл. И что последнее слово, как всегда, осталось за ней.

*

В течение ближайших двух недель она делает все, чтобы Октавиан сохранил иллюзию, будто держит ее судьбу в своих руках. Однако, чтобы ее план удался — а на этот раз у нее нет права на ошибку, — она должна узнать из надежного источника точную дату его отбытия в Рим; и потом определить день своей смерти.

Ей удастся завоевать симпатию одного из друзей Октавиана, который сочувствует ее судьбе. Узнав, на какой день назначен отъезд из Золотого города, он сразу же ей об этом сообщает: на второе сентября, годовщину битвы при Акции. Октавиан посадит свои войска на корабли не в Александрии, а в Сирии, куда они будут добираться сухопутным путем. Оттуда морем император вернется в Рим; детей Клеопатры он возьмет с собой [\[138\]](#).

Клеопатра просит, чтобы Октавиан оказал ей милость — позволил проститься с прахом Антония. Октавиан, который еще не вышел из своей роли великодушного победителя, а главное, по-прежнему убеждение том, что царица находится в его власти, тут же дает согласие.

В сопровождении своих прислужниц царица приходит в мавзолей, совершает ритуальные возлияния на погребальную урну Антония; потом, тоже в соответствии с обычаем, возлагает венок из свежих цветов, залог вечной жизни, целует камень гробницы и возвращается во дворец, где, как и было предусмотрено, велит приготовить себе ванну и заказывает особенно изысканный ужин. Все ее приказания тщательно исполняются: Октавиан, более чем когда-либо, заинтересован в том, чтобы она ощущала свою привязанность к жизни.

*

И в этот момент судьба вновь склоняется перед волей Клеопатры. Последняя сцена безусловно совершенна: у дверей комнаты стражники восхищаются огромными смоквами, которые слуга принес на десерт царице; корзину передают двум прислужницам.

Клеопатра прилегла на постель. Письмо Октавиану уже отправлено. Недалеко от царицы — окно, выходящее на море. Разбуженные и

растревоженные веретеном, которым женщины ворошат фрукты, гадюки выползают из корзины.

И царица вдруг перестает их бояться. Смотрит прямо в глаза змее, шепчет: «Так вот ты где!» и обнажает до локтя руку.

В самом деле, жизнь идет своим чередом, Октавиан наверняка схватит Цезариона, велит его обезглавить, потом поступит так же и с другими ее детьми, — если только не предпочтет и дальше играть роль милосердного правителя, раз уж ее, Клеопатры, все равно не будет на свете. Может быть, он пощадит маленькую Клеопатру-Луну, может, даже выдаст ее замуж за какого-нибудь царька, отошлет в отдаленную провинцию, чтобы как можно скорее забылась история Птолемеев; остальное — в руках Владычицы Судеб. Он, ее враг, несомненно, тоже получит свою долю горестей и печалей, и в конце концов его тоже заберет смерть. И, как знать, не взойдет ли на его трон, по иронии судьбы, потомок Антония...

Но он, Октавиан, не победит парфян, не откроет шелковый путь, земной круг останется непокоренным; чтобы это случилось, потребуются века и, может быть, столько династий, сколько сменилось фараонов в той линии, что ныне заканчивается на ней; а к тому времени и самого Рима уже не будет...

Последняя сцена и в самом деле безупречна; даже змеи великолепно исполняют свою роль: вот они кусают Ираду, потом Хармион, потом уползают, скользят прочь, к морю, оставляя на подоконнике легкий след.

Море неукротимо, как и она; у него легкий пульс, оно что-то нашептывает, словно шелковая ткань; но она уже смутно различает горизонт, все смешивается — голос отца, поцелуи детей и возлюбленных, вкус вина на языке, кровь врагов, свежая вода источников, таящихся в дюнах, зимние дожди, пристальный взгляд Цезаря, лампа, освещающая могучее тело Антония; потом, кругом, какие-то обломки материи, идущей на дно, — золотые слитки, глыбы мрамора, куски мозаичных полов, осколки потускневшего стекла. И, наконец, оцепенение: плоть делается легкой, время свертывается в кольцо с быстротой и гибкостью змеи; ибо небытие тоже замкнуто в круг — как мир, как свитки книг, писанных чернилами по страницам ветра, по тому, что уходит, по Великому Ничто...

А за окном, выходящим на море, меркнет свет Маяка.

КРАТКАЯ ХРОНОЛОГИЯ [\[139\]](#)

- 323 — Смерть Александра.
101 — Рождение Цезаря.
83(?) — Рождение Марка Антония.
80–51 — Правление Птолемея XII Авлета в Египте.
69 — Рождение Клеопатры.
63 — Рождение Октавиана.
58 — Первое пребывание Антония в Греции. Кипр становится римской провинцией.
57–56 — Антоний в Сирии и Иудее.
55 — Габиний и Антоний возвращают Птолемею XII власть над Египтом.
54 — Антоний, в качестве легата, присоединяется к Цезарю в Галлии.
53 — Крассе разгромлен и убит парфянами при Каррах.
52 — Антоний принимает участие в битве при Алезии.
51 — Птолемей XIII и Клеопатра VII — цари Египта.
49 — Антоний, народный трибун, управляет Италией в отсутствие Цезаря. Начало гражданской войны между Цезарем и Помпеем.
48 — Победа Цезаря при Фарсале. Клеопатра, отстраненная от власти Птолемеем XIII, бежит в Верхний Египет и потом в пустыню. Убийство Помпея Птолемеем XIII. Александрийская война: Цезарь возвращает трон Клеопатре.
48–47 — Антоний — «начальник конницы» Цезаря.
47 — Рождение Цезариона, сына Цезаря и Клеопатры.
47–46 — Антоний разводится с Антонией и женится на Фульвии.
46–44 — Пребывание Клеопатры в Риме.
44, 15 марта — Убийство Цезаря. Клеопатра возвращается в Александрию.
43, август — Октавиан становится владыкой Рима. Ноябрь — Образование второго триумvirата. Проскрипции. Убийство Цицерона.
42, 1 января — Обожествление Цезаря.
Октябрь — Брут и Кассий при Филиппах разгромлены Антонием и Октавианом и кончают жизнь самоубийством.
41 — Интриги Фульвии в Риме. Встреча Антония и Клеопатры в Тарсе.
Зима 41/40 — «Неподражаемая жизнь» в Александрии.
40 — Парфяне вторгаются в Сирию. Короткая встреча Антония и

Фульвии в Афинах.

Октябрь — Соглашение в Брундизии — раздел империи между Антонием и Октавианом. Антоний женится на Октавии, сестре Октавиана, в Риме. Свадьба Октавиана и Скрибонии. Секст Помпей обосновывается на Сицилии и Сардинии.

Кон. 40 — нач. 39 — Рождение детей Антония и Клеопатры (Александра и Клеопатры).

39, лето — Мисенское соглашение между триумвирами и Секстом Помпеем. Антоний и Октавия проводят зиму 39/38 г. в Афинах.

38, январь — Октавиан женится на Ливии. При Мессине Октавиан терпит поражение от Секста Помпея. Антоний и Октавия проводят зиму 38/37 г. в Афинах.

37, весна — Продление триумvirата на пять лет. Антоний предоставляет свой флот Октавиану для действий против сына Помпея. Антоний и Октавиан расстаются (больше они никогда не увидят друг друга). Встреча Антония и Клеопатры в Антиохии. Реорганизация Востока Антонием. Клеопатра вводит новое летосчисление.

36 — Лепид лишается власти над Африкой и своего титула триумвира.
весна: Экспедиция Антония против парфян (Клеопатра проделывает часть пути вместе с мужем). Парфянская кампания Антония оканчивается провалом. Рождение Птолемея Филадельфа, третьего ребенка Антония и Клеопатры.

35, январь — Клеопатра присоединяется к Антонию под Беритом (совр. Бейрут); вместе они возвращаются в Александрию. Начало кампании Октавиана в Иллирии и Далмации. Секст Помпей убит в Азии. Антоний запрещает Октавии ехать к нему в Сирию, где он находится вместе с Клеопатрой. Антоний и Клеопатра проводят зиму в Александрии.

34 — Антоний слагает с себя консульские полномочия. Победа Антония в Армении, триумф в Александрии. «Александрийские Дарения». Антоний и Клеопатра проводят зиму 34/33 г. в Александрии.

33 — Октавиан становится консулом. Его разрыв с Антонием. Антоний и Клеопатра проводят зиму в Эфесе.

32 — Антоний разводится с Октавией. Рим объявляет войну Клеопатре. Антоний и Клеопатра проводят зиму в Греции.

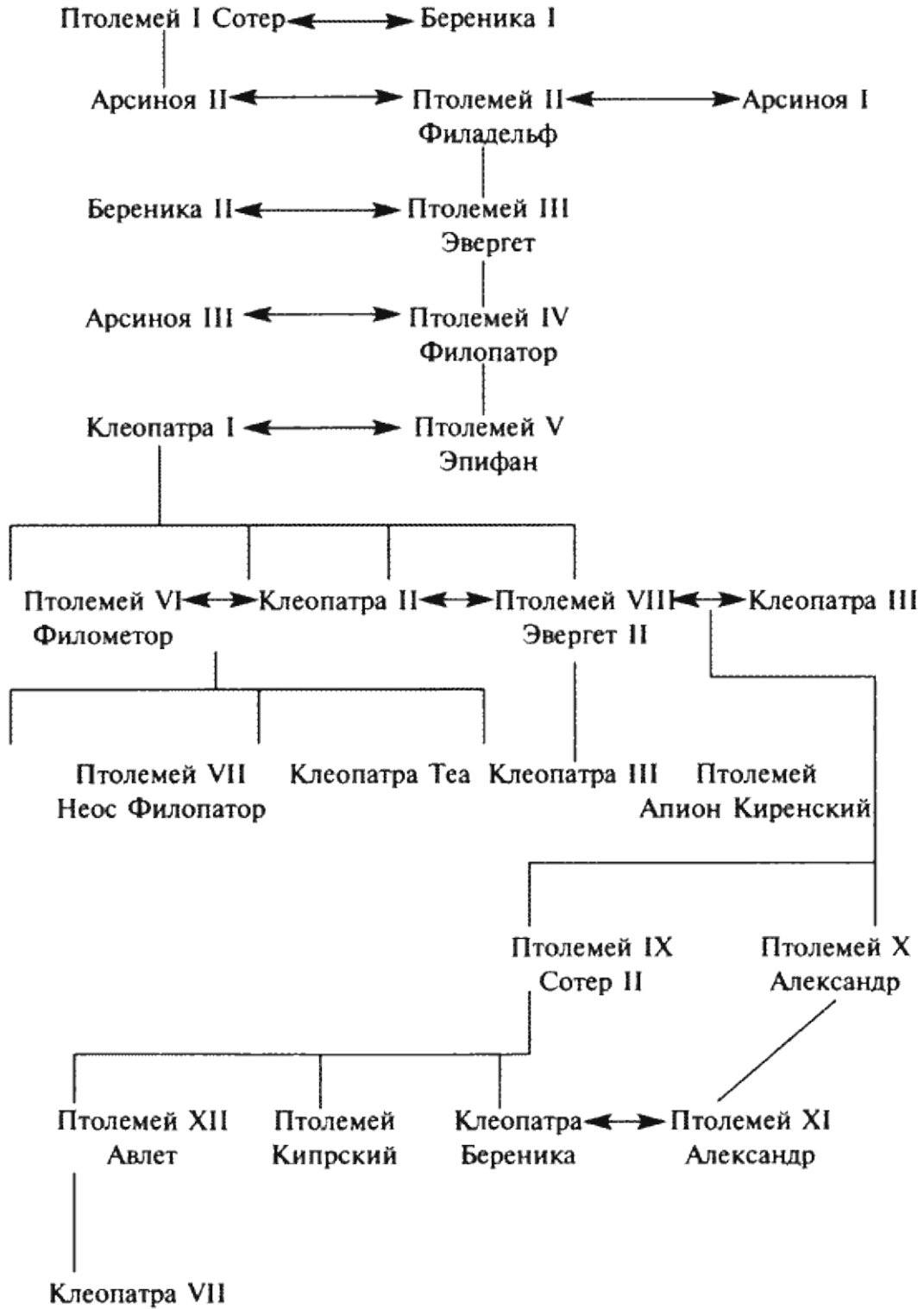
31 — Октавиан вновь становится консулом и будет исполнять эту должность до 23 г.

2 сентября — Битва при Акции.

30 — Самоубийство Антония. Взятие Александрии Октавианом (1 августа). Самоубийство Клеопатры. Убийство Цезариона. Египет

становится римской провинцией.

**УПРОЩЕННАЯ ГЕНЕАЛОГИЯ
ПТОЛЕМЕЕВ**



БИБЛИОГРАФИЯ

ИСТОЧНИКИ

Аппиан. Гражданские войны (II–V). См.: Аппиан Александрийский. Римская история / Отв. ред. Е. С. Голубцова. — М., 1998.

Октавиан Август. Деяния Божественного Августа. Хрестоматия по истории Древнего Рима. — М., 1987.

Гай Юлий Цезарь. Записки о галльской войне; Записки о гражданской войне; Александрийская война. См.: Сочинения Юлия Цезаря. Записки о его походах. Пер. А. Клеванова. — М., 1876 (все три работы).

Марк Туллий Цицерон. Письма, пер. и коммент. В. Горенштейна. Т. 1–3. М; Л., 1949–1951.

Филиппики. См.: Речи, пер. В. Горенштейна. Т. 1–2. — М., 1962.

Дион Кассий. Римская история. См.: Поздняя греческая проза. — М., 1961.

Иосиф Флавий. Иудейские древности. Т. 1–2. — Минск, 1994 (XIV–XV); Иудейская война. — Минск, 1991 (I).

Луций Анней Флор. Эпитомы (рус. пер. 1792) (II).

Гораций. Оды и эподы. См.: Квинт Гораций Флакк. Собр. соч. СПб., 1993.

Марк Анней Лукан. Фарсалия, или Поэма о гражданской войне. — М.; Л., 1951.

Николай Дамасский. Жизнь Цезаря. См.: Вестник древней истории. 1960. № 3–4.

Книги Сивилл. — М., 1996.

Плутарх. Сравнительные жизнеописания. Т. 1–3. — М., 1961–1964 (Антоний, Брут, Цезарь, Цицерон).

Проперций Секст. Элегии. См.: Валерий Катулл. — Альбий Тибулл. — Секст Проперций. — М., 1963.

Страбон. География. Пер. и предисл. Г. А. Стратановского. — Л., 1964 (XVII).

Гай Светоний Транквилл. Жизнь двенадцати цезарей. Пер. и примеч. М. Л. Гаспарова. М., 1966 (Цезарь, Август).

Патеркул Веллей. Римская история. См.: Сокращенные греческие и римские истории. Пер. Ф. Моисеенкова. СПб., 1774.

Марон Публий Вергилий. Буколики. См.: Вергилий. Сельские поэмы. Буколики. Георгики. М.; Л., 1933; Энеида. Пер. В. Брюсова и С. Соловьева. — М; Л., 1933.

МОНОГРАФИИ

Guy Achard. *La Femme à Rome*. Paris, Presses universitaires de France, 1995.

Jean-Marie André. *Le Siècle d'Auguste*. Paris, Payot, 1974.

André Bemand. *Alexandrie la Grande*. Arthaud, 1966; nouv. éd., Paris, Hachette, 1996.

Jérôme Carcopino. *César*. Paris, Presses universitaires de France, 1950; 6^e éd., 1990.

François Chamoux. *La Civilisation hellénistique*. Paris, Arthaud, 1981; *Marc-Antoine, dernier prince de l'Orient grec*. Paris, Arthaud, 1986.

Michel Chauveau. *L'Égypte au temps de Cléopâtre 180-30 av. J.-C.* Paris, Hachette, 1997.

Françoise Dunand et Christiane Zivie-Coche. *Dieux et Hommes en Égypte 3000 av. J.-C.-395 apr. J.-C.* Paris, Armand Colin, 1991.

Robert Etienne. *Jules César*. Paris, Fayard, 1997.

Paul Faure. *Alexandre*. Paris, Fayard, 1985; *Parfums et aromates de l'Antiquité*, Paris, Fayard, 1987.

E. M. Forster, *Alexandrie*. Paris, Quai Voltaire, 1993; nouv. éd., 10–18, trad. Claude Blanc, 1995.

Michael Grant. *Cleopatra*. London, Weidenfeld and Nicolson, 1972.

Peter Green. *D'Alexandre à Actium*, trad. Par O. Demange. Paris, Robert Laffont, «Bouquins», 1997.

Nicolas Grimai. *Histoire de l'Égypte ancienne*. Paris, Fayard, 1988.

Pierre Grimai. *Les Jardins romains*. Paris, Presses universitaires de France, 1969; nouv. éd. Fayard, 1984; *L'Amour à Rome*. Paris, Hachette, 1963.

Mary Hamer. *Signs of Cleopatra*. London, Routledge, 1993.

Geneviève Husson et Dominique Valbelle. *L'État et les institutions en Égypte des premiers pharaons aux empereurs romains*. Paris, Payot, 1991.

Naphtali Lewis. *La Mémoire des sables. La vie en Égypte sous la domination romaine*, trad. par P. Chuvin. Paris, Armand Colin, 1988.

Paul M. Martin. *Antoine et Cléopâtre. La fin d'un rêve*. Paris, Albin Michel, 1990; *Tuer César!* Bruxelles, Complexe, 1988.

- Jean-Pierre Néraudau. *Auguste*. Paris, Les Belles Lettres, 1996.
- Claude Nicolet. *L'Inventaire du monde. Géographie et politique aux origines de l'Empire romaine*. Paris, Fayard, 1988.
- Sarah B. Pomeroy. *Women in hellenistic Egypt from Alexander to Cleopatra*. Detroit, Wayne State University Press, 1990.
- Pascal Quignard. *Le Sexe et l'Effroi*. Paris, Gallimard, 1994.
- Michel Rambaud. *César*. Paris, Presses universitaires de France, 1967.
- Jean-Noel Robert. *De Rome à la Chine*. Paris, Les Belles Lettres, 1997;
- Éros romain*. Paris, Les Belles Lettres, 1997.
- Daniel Rondeau. *Alexandrie*. Paris, NIL éditions, 1997.
- Ronald Syme. *La Révolution romaine*. Paris, Gallimard, 1967.
- Robert Turcan. *Les Cultes orientaux dans le monde romain*. Paris, Les Belles Lettres, 1992.
- John Whitehome. *Cleopatra*s. London-New York, Routledge, 1994.

КОЛЛЕКТИВНЫЕ ТРУДЫ

- Alexandrie à IIIe siècle av. J.-C.* Paris, éd. Autrement, 1992.
- Claude Nicolet (dir.). *Rome et la conquête du monde méditerranéen; t. II. Genèse d'un empire*. Paris, Presses universitaires de France, 1978.

БЛАГОДАРНОСТИ

Прежде всего хотела бы поблагодарить Николая Грималю, без чьей помощи не смогла бы познакомиться с современным состоянием исследований о птолемеевском Египте эпохи Клеопатры. Я безмерно ценю тот дружеский прием, который он оказал мне во Французском институте восточной археологии в Каире (IFAO), наши частые беседы, его внимание ко мне — если бы не все это, мне вряд ли удалось бы разобраться в некоторых спорных или загадочных аспектах личности последней царицы Египта.

Хочу также выразить глубокую благодарность Жан-Иву Эмпери, директору Центра александрийских исследований, который показывал мне Александрию и таким образом разделил со мной свою любовь к Золотому городу; и Яну Фошуа — за то, что он своим зорким глазом просмотрел мой текст.

Наконец, от всей души благодарю Дени Маравалю, который поддерживал и сопровождал меня как в моих египетских экспедициях, так и в долгом караванном пути от одной главы к другой...

Ирэн Фрэн

ПОЯСНЕНИЯ К ИЛЛЮСТРАЦИЯМ ВМЕСТО ПОСЛЕСЛОВИЯ

Какой была знаменитая Клеопатра? Во всяком случае не занудной — не стала бы она писать никаких пояснений. Благодаря сочинениям античных авторов слава о последней египетской царице докатилась до нашего времени. Жгучий интерес к ее внешности и судьбе, особенно экзотический способ ухода из жизни, этакая точка, ставшая огромным бескомпромиссным восклицательным знаком, возбуждали вдохновение художников и скульпторов с эпохи Возрождения. Великий Шекспир создал драму «Антоний и Клеопатра», оценив красоту сюжета; не прошел мимо него Б. Шоу и многие другие. Ей посвящены исторические труды и романы^[140], и Ирэн Фрэн далеко не первая, кто из знаменитой троицы выдвигает на передний план именно Клеопатру, а не Антония и даже не Цезаря. Образ неподражаемой царицы стал находкой для современной массовой культуры: она является главной героиней художественных фильмов (самая известная исполнительница этой роли — Элизабет Тэйлор), мультимедиа и комиксов (популярный «Астерикс»), ее имя бесконечно используется в рекламе как символ неувядающей красоты и магического очарования.

Впрочем, последние две тысячи лет взгляд на Клеопатру в европейской культуре был почти исключительно мужским. Иногда очень лестным для царицы. Профессор египтологии в университетах Йены и Лейпцига, ученик великого Р. Лепсиуса и учитель не менее великого А. Эрмана, Георг Эбере (1837–1898) пишет в своем предисловии к роману о Клеопатре: «Автору хотелось поближе изучить личность несчастной царицы и на основании множества сохранившихся источников создать образ, которому он прежде всего сам мог бы поверить. Годы прошли, пока он достиг этого, теперь же, вглядываясь в созданный уже образ, он боится, что многим его краски покажутся слишком розовыми. Но ему нетрудно было бы подтвердить документально каждый тон, каждую черту. Если во время работы он полюбил свою героиню, то это случилось потому, что чем яснее обрисовывалась для него личность этой замечательной женщины, тем более он убеждался, что при всех своих недостатках и слабостях она заслуживает не только сострадания и удивления, но и той преданности, которую умела возбуждать в людях»^[141] (курсив мой. — О. Т.). Г. Эберс

изучил все, что было тогда известно о Клеопатре, тем не менее признавался, что ее характер «представляет труднейшую психологическую загадку».

Вот здесь и важен «женский взгляд», причем в данной книге он получился по крайней мере трижды женским — и текст, и его перевод, и редактирование и подбор иллюстраций — все осуществлено женщинами. Странно, но даже консультантами по римским реалиям были в основном женщины... Однако абсолютно чистым образчиком продукта женской психологии книгу не назовешь, не получится замазать важность мужской роли в издании — по крайней мере, роль главного редактора и художника. Спасибо им, они удержали нас от крайностей оголтелого феминизма. С этих позиций Клеопатру не понять, хотя она была весьма эмансипирована и сумела остаться яркой индивидуальностью рядом с двумя великими мужчинами, которых любила.

В русской культуре Клеопатра оказалась «скомпрометирована» гением Александра Сергеевича:

Чертог сиял. Гремели хором
Певцы при звуке флейт и лир.
Царица голосом и взором
Свой пышный оживляла пир;
Сердца неслись к ее престолу,
Но вдруг над чашей золотой
Она задумалась и долу
Поникла дивною главой...

И пышный двор как будто дремлет,
Безмолвны гости. Хор молчит.
Но вновь она чело подьемлет
И с видом ясным говорит:
В моей любви для вас блаженство?
Блаженство можно вам купить...
Внемлите ж мне: могу равенство
Меж вами я восстановить.
Кто к торгу страстному приступит?
Свою любовь я продаю;
Скажите: кто меж вами купит
Ценою жизни ночь мою? —...

Импровизация, настоящая на древних исходящих из Рима сплетнях, очерняющих опасную для Волчицы чужеземку: ведь ее избранниками стали два выдающихся римлянина. Ее единственными избранниками, коих она одарила детьми! Где же многочисленные любовники? Только в сплетнях. Тот же Гораций называет ее женщиной, не способной на что-либо низкое, и где — в стихотворении, посвященном победе над ней Октавиана!

Впрочем, образ жизни «неподражаемых» был плодородной почвой для пересудов. Забавно, что Ирэн Фрэн сравнивает свою героиню с «экзотической жирафой», привезенной в Рим всем на удивление. Действительно, Клеопатра не могла, даже если бы захотела, никого оставить равнодушным — она «высовывалась». А если уж высунулся, будь готов стать мишенью.

Итак, любвеобильность Клеопатры — миф. Другое разочарование — она не была ослепительной красавицей. Опять же, по мнению античных авторов. Любопытно было бы проверить эту информацию, но до нас не дошло ни одно подписанное ее именем изображение. Еще хуже с Марком Антонием — Октавиан Август приказал уничтожить его статуи после присоединения Египта к Риму. Все-таки кое-что до нас дошло — вероятно, благодаря Клеопатре, по приказу которой этих статуй было довольно много. Похоже, один из прекрасных мраморных портретов самой царицы был заказан после ее смерти ее дочерью, Клеопатрой-Селеной: супруга мавританского царя могла позволить себе увековечить свою мать. Самыми надежными с точки зрения реальности считаются портреты на монетах, поэтому им уделено столько внимания в иллюстрациях к данному изданию. Античные монеты — памятник совершенно особый. В них поражает высокое качество миниатюрного изображения (конечно, если всемогущее Время не потерло его своими наждачными пальцами), резко контрастирующее с не абсолютно круглой, неправильной формой. Причем древние монеты отнюдь не плоские. Этаким примитивный округлый кусочек металла, одновременно демонстрирующий ставшую классической красоту античного гения. Для историков монеты — сложный, но важный источник, порой наглядно представляющий то, чего нельзя вычитать из древних рукописей. Легенды — надписи на монетах — в концентрированном виде (монетное «поле» очень маленькое, это как раз тот случай, когда «мал золотник, да дорог») дают главную информацию о реальности или том образе реальности, который заказчики хотят всем внушить.

Первые древнеегипетские монеты относятся приблизительно к

середине Позднего царства (747–332). На них бывает трогательная иероглифическая надпись: «хорошее золото». Монеты Птолемея — результат уже более развитой техники изготовления, но нумизматам они задают много загадок. Во-первых, практически все они имеют изображение основателя династии на лицевой стороне (аверс), а на оборотной (реверс) — орла на пучке молний, а также стандартную легенду: [монета] «царя Птолемея». И так от Птолемея I до XV! Даже в моей маленькой выборке есть подобные монеты: Птолемея XII Авлета, Клеопатры VII и Цезариона (см. с. 474, 475, 478). Глядя на орлиные профили Лагидов на аверсе, понимаешь, почему гордая хищная птица на реверсе столь органична. На птолемеевских монетах бывают цифры, но не вполне ясно, обозначают они года правления или серийные номера монетных дворов. Тот факт, что они чеканились не только на монетном дворе Александрии, но и в других эллинистических центрах, например на Кипре, в Финикии, отнюдь не способствует какому-то их единообразию.

Еще сложнее проблема датирования монет цариц — здесь моделью являлись изображения обожествленной Арсиной II, на реверсе же помещали вместо «мужского» символа — орла — более подходящий для слабого пола рог изобилия. Кстати, с последним в руках, подобно богиням, царицы соглашались быть увековеченными в скульптуре (например, та же Арсиноя II). Добавьте к этому одеяния и короны богинь, с удовольствием «примеряемые» женщинами царской семьи — многие статуи без надписей поэтому определяются специалистами таким образом: богиня или царица. Плутарх сообщает, что Клеопатра являлась народу в одежде Исиды. Одевалась ли она так, когда по приглашению Юлия Цезаря жила на вилле Трастевере? Если да, то, несомненно, она способствовала распространению этого культа в Риме, культура которого уже развилась до уровня, когда ее носители активно интересуются чужеземными, особенно экзотическими верованиями. Впрочем, древнеегипетский образ Исиды с сыном Хором на коленях трудно назвать «экзотическим» — пройдет совсем немного времени и он станет прообразом Богоматери.

Вернемся к нумизматическим проблемам. Как правило, нет уверенности, была ли монета выпущена при жизни царицы или позднее. Плюс чуть расширенный по сравнению с Птолемеями выбор женских имен. Не удивительно, что к Лагидам в серьезных научных трудах приклеились не только торжественные эпитеты, которыми они, желая отличаться от предшественника, украшали себя сами, но и клички, подаренные им острыми на язык александрийцами. Если на аверсе женский профиль, бедная голова нумизмата кружится в хороводе Береник, Арсиной

и Клеопатр.

Однако что касается последней Клеопатры — похоже, стандартны лишь ее ранние монеты (см. с. 474), затем она — по своему обыкновению — «высовывалась», приказывая изображать себя как суверенную правительницу. На реверсе ее монет можно видеть сочетание мужских и женских символов власти: орел и рог изобилия. Мне неизвестны ее монеты с кем-либо из Птолемеев. Вот с Марком Антонием — много. Есть изображения профилей обоих на аверсе (причем Клеопатра на переднем плане); или на аверсе — она, а на реверсе — он. В честь его победы над Арменией Антоний поменялся местами с царицей — был перенесен на аверс.

Какова же царица на этих маленьких — 2–3 см диаметром — миниатюрах? Классических египтологов эти изображения не порадуют: Клеопатре VII часто приписывают любовь и особый интерес к древней культуре долины Нила, но на монетах это никак не отразилось. Как и ее любимый город — Александрия — Клеопатра все-таки была *ad* — «при» — Египте, а не в нем. Подобно всем ее царственным родственникам, она представлена в нумизматических источниках как исключительно эллинистическая правительница — в типичном для Лагидов царском венце (ленте-диадеме), с характерной античной прической, в ожерелье, вероятно, жемчужном. Разве что ее поздний портрет 34 г. до н. э. — с драгоценностями в волосах (см. с. 477) несколько по-восточному роскошный, что очень привлекало эллинистических монархов, но — никаких древнеегипетских штучек. Никаких атрибутов Исиды или Хатхор, только в некоторых легендах четко и весомо: «новая богиня».

В каноническом древнеегипетском виде Клеопатра представлена на рельефах построенных Птолемеями храмов долины Нила — в Дендере, Ком-Омбо. Здесь — наоборот, нет греческих элементов. Священная традиция жрецов была настолько сильна, что в виде типичных фараонов изображали даже римских императоров! Таковы же отец Клеопатры — Птолемея Авлет, побивающий врагов Египта — и сын, Цезарион, вместе с матерью поклоняющийся местным богам. Сама царица — в узком платье-пенале, венце в виде грифа и короне богинь Хатхор или Исиды, с систрами или священными посохами и лотосами в руках. Эмблемы, определяющие функции царей в долине Нила и легко прослеживаемые на памятниках с начала III тыс. до н. э. Правда, нельзя не заметить — художественное качество поздних рельефов явно уступает более древним. Впрочем, сам Птолемея Авлет предпочитал изображать Диониса — в одной частной европейской коллекции есть даже бронзовая статуэтка, запечатлевшая его в

этом образе. Можно было бы порассуждать о древнеегипетской параллели Диониса — Осирисе, но памятники Флейтиста-Диониса совершенно греческие. Наверное, Клеопатре было приятно видеть подобный наряд на Антонии...

Портреты на рельефах очень стилизованы, и разные Клеопатры похожи друг на друга как близнецы, но все-таки характерный птолемеевский носик у той, которая вошла в династийные списки под номером «VII», можно разглядеть. Как раз фамильные черты прослеживаются на нумизматическом материале (или их специально утрировали, чтобы все легко и прослеживали?). Глубоко посаженные глаза, выпуклый нос и выступающий подбородок — вряд ли они украшали Клеопатру, хотя, безусловно, указывали на ее происхождение.

Что же тогда пленяло в царице? Ее высокий статус? Ее сокровища? Думаю, можно доверять Плутарху: «... в ее обхождении было что-то неизбежно завлекавшее в ее сети. Внешность ее, при ее умном разговоре и всех особенностях ее характера, производила сильное впечатление. В самом ее голосе было что-то чарующее; ее язык походил на музыкальный инструмент..., из которого она легко извлекала... струны любого наречия...» (*Сравнительные жизнеописания. Антоний.*)

Была еще одна пленяющая особенность царицы, привлекавшая внимание знавшего толк в женщинах Юлия Цезаря и подчеркнутая Ирэн Фрэн, — умение смеяться. Клеопатра была истинной дочерью Александрии, эллинистической столицы смеха. В коллекции александрийского Греко-римского музея гротескные маски корчат невообразимые рожи, а терракотовые статуэтки почтенных матрон запечатлели их с юбками, задранными до пупа! Совершенно не изучены многочисленные эротические статуэтки — подозреваю, что ученые стесняются ими заниматься, заботясь о своей репутации. А в музеях их не решаются выставлять... Безусловно, многие из них связаны с магией плодородия, но невозможно не заметить здесь порой просто брызжущий юмор.

К сожалению, большая часть античного города, возможно, хранившего останки Александра Македонского [\[142\]](#), лежит под водой, в ласковых волнах Средиземного моря. Французские, польские и другие экспедиции ведут там раскопки, вернувшие нам интересные архитектурные памятники, в частности детали Фаросского маяка, разрушенного землетрясением только в начале XIV века, но работы там хватит еще многим поколениям археологов. Александрия, одна из главных героинь этой книги, осталась

несколько обойденной вниманием в иллюстрациях — хотелось использовать изображения сооружений именно эпохи Клеопатры, а с ее смертью жизнь здесь не замерла и украсилась римскими слоями.

«Добрать» иллюстративный материал помогли скульптура и монеты. Раз не удастся полновесно построить декорации, то хотя бы действующие на сцене истории лица должны быть представлены. Конечно, это люди, оказавшиеся самыми важными в ее судьбе — отец, любимые мужчины, коварный Октавиан. Надеюсь, читателю будет любопытно увидеть соперницу Клеопатры — благодетельную Октавию, старшую сводную сестру Октавиана (см. с. 476). На реверсе золотой монеты весом 8 граммов — ее профиль, а на аверсе — Антония. Первой из римлянок она была удостоена портрета на монете, но не благодаря своему совершенству, а из-за политических амбиций брата и мужа. Бедняжка Октавия: по тонкому замечанию Плутарха, она вредила Антонию, вовсе того не желая: «его ненавидели за то, что он оскорбляет такую редкую женщину». Знаменитые скульптурные портреты — так называемые «черная» и «зеленая» головы — дают представление о высокопоставленных египтянах, которые могли быть в окружении царицы.

Особая тема — образ Клеопатры в памятниках мировой культуры. Этот раздел иллюстраций можно значительно расширить, но предпочтение сознательно было отдано памятникам древности. Замечу, что редко у кого получалось так красиво ^[143]:

И вот уже сокрылся день,
Восходит месяц златорогий.
Александрийские чертоги
Покрыла сладостная тень.
Фонтаны бьют, горят лампы,
Куруется легкий фимиам.
И сладострастные прохлады
Земным готовятся богам.
В роскошном сумрачном покое
Средь обольстительных чудес
Под сенью пурпурных завес
Блестит ложе золотое.



КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ МОНЕТ



Бронзовая монета Клеопатры VII (диаметр 2,7 см).

Выпущена в Александрии, 51–30 гг. до н. э.

Аверс: профиль Клеопатры VII в царской диадеме. Реверс: орел на пучке молний, слева — рог изобилия; легенда: [монета] «царицы Клеопатры».



Серебряная тетрадрахма Клеопатры VII (диаметр 2,6 см).

Выпущена в Александрии, 44–43 гг. до н. э.

Аверс: профиль Птолемея I в царской диадеме. Реверс: орел на пучке молний; легенда: [монета] «царя Птолемея».



Серебряный денарий Юлия Цезаря (диаметр 1,9 см).

Выпущена в Риме, 44 г. до н. э.

Аверс: профиль Юлия Цезаря в венке триумфатора, слева — жезл авгура и чаша, справа — легенда: «Цезарь, император». Реверс: Венера, считавшаяся прародительницей рода Юлиев. В правой ее руке — богиня победы Виктория.



Серебряная тетрадрахма Цезариона (диаметр 2,4 см).

Выпущена в Александрии, 37–36 гг. до н. э.

Аверс: профиль Птолемея I в царской диадеме. Реверс: орел на пучке молний; легенда: [монета] «царя Птолемея».



Триумвиры: Марк Антоний, Лепид и Октавиан.



Серебряный денарий (диаметр 1,9 см). Неизвестный восточный монетный двор, 33 г. до н. э.

Аверс: профиль Антония. Легенда: «Антоний, авгур, трижды император, трижды консул, триумвир для установления республики». Реверс: легенда: «Антоний, авгур, трижды император».



Римский золотой ауреус (8 г). 39 г. до н. э.

Аверс: профиль Антония. Легенда: «Антоний, император, триумвир».

Реверс: профиль Октавии, жены Антония.



Бронзовая монета (диаметр 2,5 см). Выпущена в г. Дора, Финикия, 34–33 гг. до н. э.

Аверс: профили Клеопатры VII и Антония. Реверс: богиня Тюхе как персонификация города.



Серебряная тетрадрахма (диаметр 2,8).

Выпущена в Антиохии на Оронте, Сирия, 34–33 гг. до н. э.

Аверс: профиль Антония, легенда: «Антоний, трижды император, триумвир». Реверс: профиль Клеопатры VII, легенда: «царица Клеопатра, новая богиня».



Мелкая бронзовая монета (диаметр 2 см). Выпущена в г. Халкис, Финикия.

Аверс: профиль Клеопатры VII, легенда: [монета] «царицы Клеопатры». Реверс: профиль Антония, легенда: «21 год, [или] 6 год новой богини».



Серебряный денарий (диаметр 1,9 см). Выпущена в нелокализованной восточной мастерской.

Аверс: профиль Антония, слева — армянская тиара; легенда: «Антоний, победитель Армении». Реверс: профиль Клеопатры VII в царской диадеме, с украшениями в волосах, справа — нос корабля; легенда: [монета] «Клеопатры, царицы царей и сыновей царей».



Серебряный денарий Антония. 39 г. до н. э.
Аверс: профиль Антония. Редкое изображение Марка Антония с бородой.

Серебряный денарий Клеопатры VII. 30 г. до н. э. Аверс.



Денарий Антония. 32–31 гг. до н. э.
Аверс: военный корабль с веслами и штандартами, снаряженный для битвы при Акции; легенда: «Антоний, авгур, триумвир, установитель республики». Реверс: эмблемы легиона (орел между штандартами).

Монета Птолемея XII Авлета, отца Клеопатры. Стандартный для птолемеевских монет профиль Птолемея I. Аверс.



Денарий Октавиана Августа, 28 г. до н. э. (на аверсе профиль Октавиана). Реверс: крокодил, символ Египта; легенда: «захватил Египет». Памятная монета в честь победы при Акции.

Ольга Томашевич

P. S

Когда наша книга уже была сдана в печать, имя Клеопатры вновь прозвучало в средствах массовой информации — в связи с сообщением об открытии голландского ученого П. ван Миннена. Речь идет об указе на папирусе 33 г. до н. э., хранящемся в Берлинском музее. Согласно тексту, Публию Канидию позволялось беспошлинно вывозить из Египта 10000 мешков пшеницы и ввозить туда 5000 амфор вина. Под документом по-гречески написано: «Да будет так». Ван Миннен уверен: это «подпись» Клеопатры, подкупившей друга Марка Антония, Канидия. Последний «отработал» сей дар — поддержал роковую идею царицы о решающей битве на море. Правда, потом передумал, но, видимо, поздно. Неблагоприятные для Антония предзнаменования сбылись...

ИЛЛЮСТРАЦИИ



Фреска.



Александрийские порты и дамба Гептастадий. *Реконструкция.*



Бог Хор в одежде римского полководца. Бронза. I в. Лондон, Британский музей.



Богиня Бастет, защитница матерей и детей. Известняк. I в. до н. э.
Германия, музей в Хильдесхайме.



Маска с мумии богатой дамы. I в. Бруклинский музей. На руках дамы — модные браслеты в виде змей.



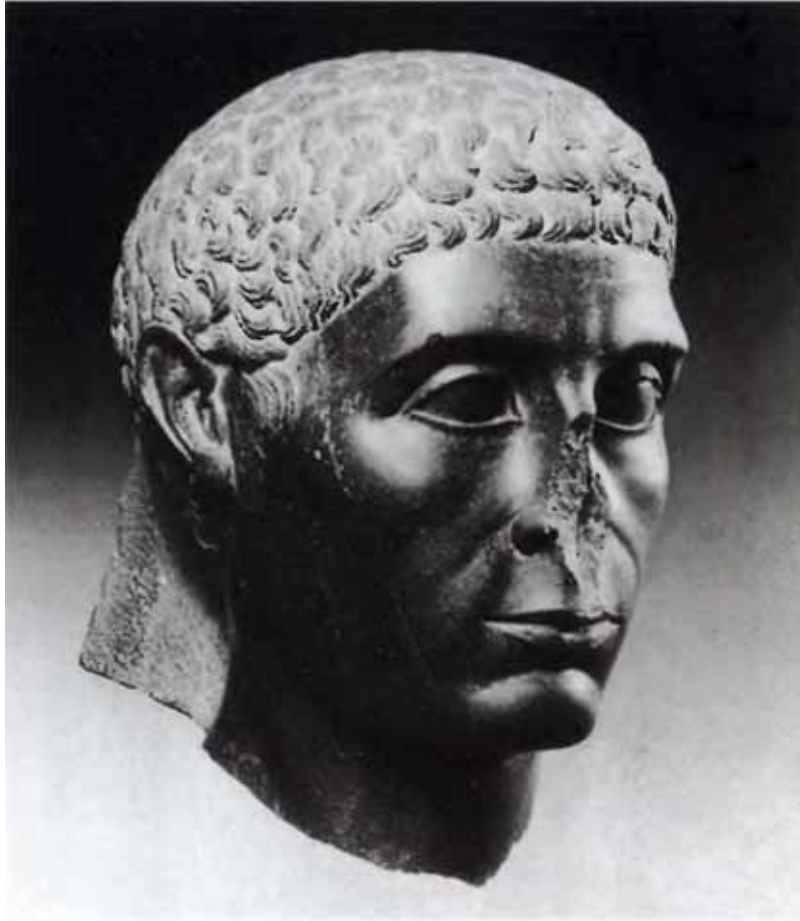
Египетская богиня неба Нут. Красный гранит. Внутренняя крышка саркофага фараона Псусеннеса (21 дин., ок. 1200 г. до н. э.). Каир, Египетский музей.



Монета Птолемея XII Авлета, отца Клеопатры. Серебряный денарий Клеопатры VII.



Стела с изображением Клеопатры, жертвующей вино богине Исиде. 51 г. до н. э. Париж, Лувр. Клеопатра изображена как фараон и в греческой подписи названа «богиней».



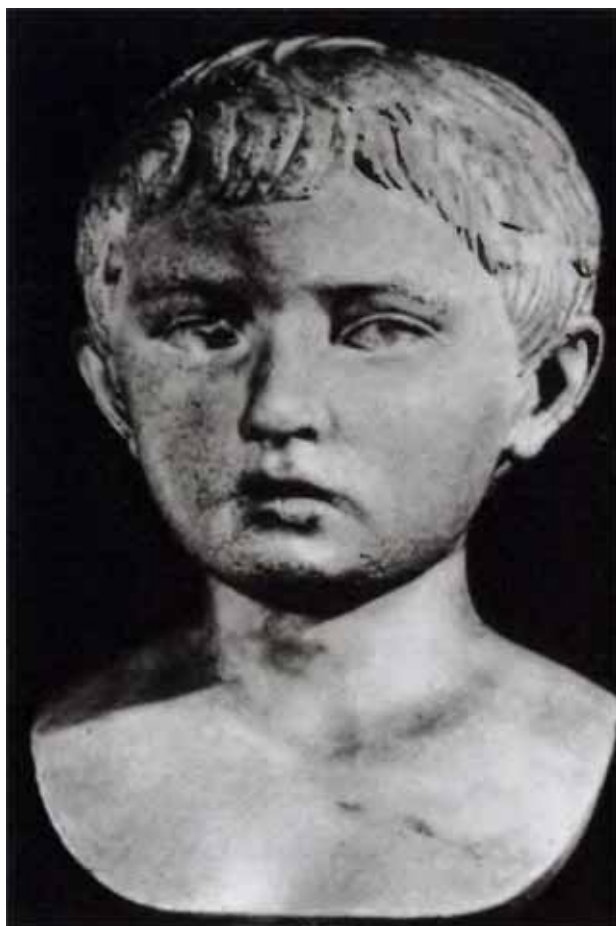
Предположительно портрет верховного жреца. Нью Йорк, Бруклинский музей.



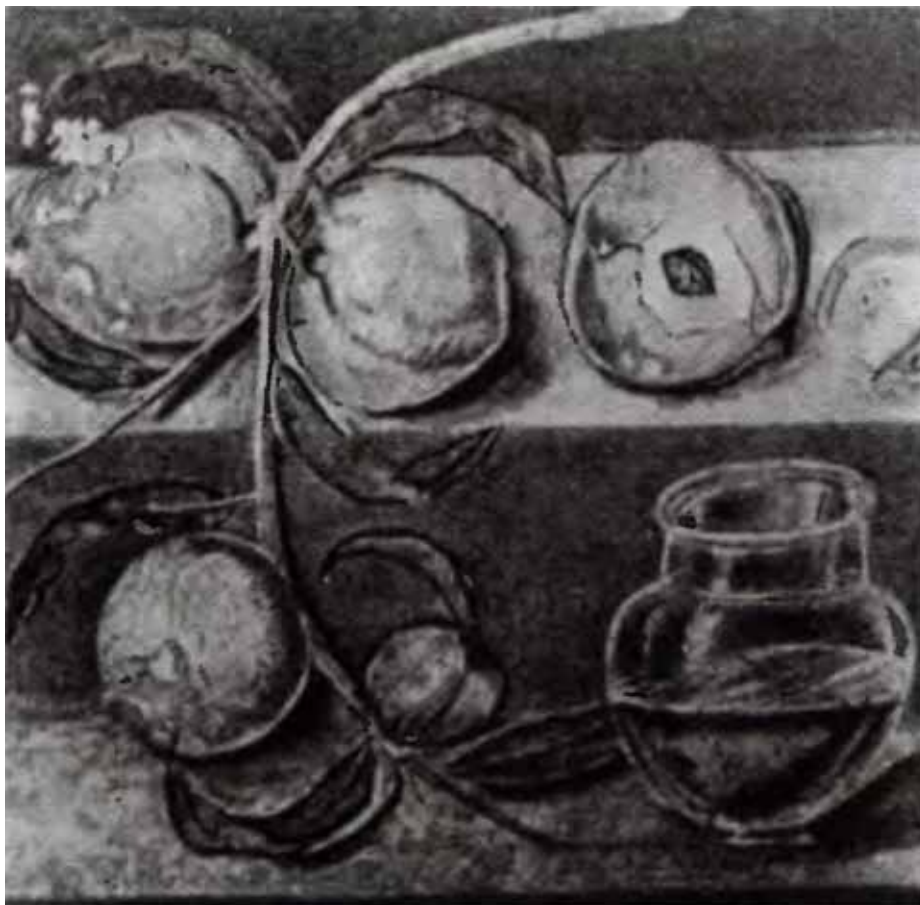
Так называемая «зеленая голова». I в. Берлин, Египетский музей.
Предположительно портрет верховного жреца.



Портрет римлянки. 2-я пол. 1 в. Мрамор. Рим, Капитолийский музей.



Портрет римского мальчика. I в. Мрамор. Санкт-Петербург, Государственный Эрмитаж.



Натюрморт. Помпеи. I в. Неаполь, Национальный музей.



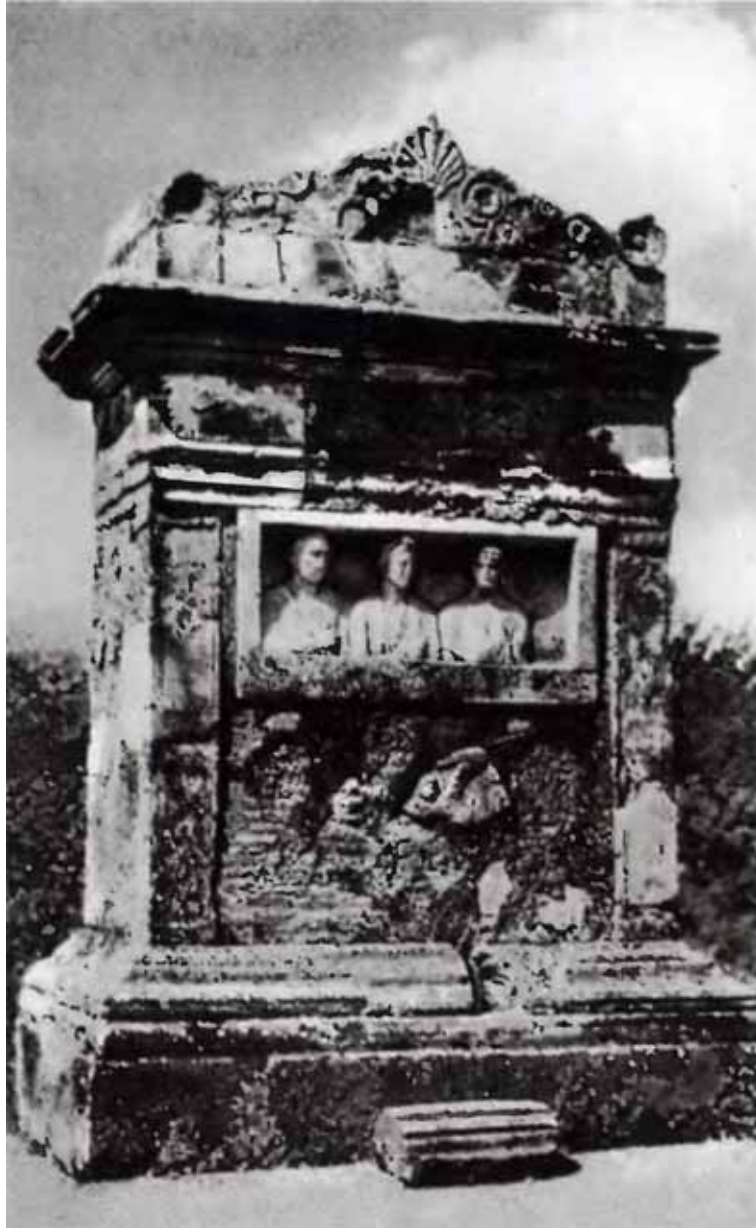
Мозаика с собакой из дома в Помпеях. I в. Неаполь, Национальный музей.



Капитолийская волчица. VI в. до н. э. Бронза. Рим, Капитолийский музей.



Статуя римлянина с портретами предков. I в. до н. э. (возможно, копия эпохи империи), мрамор. Рим.



Гробница Рабирия. 2-я пол. I в. до н. э. Рим, Аппиева дорога.



Гней Помпей Великий.



Марк Антоний. Музей Ватикана.



Александрийский маяк. *Реконструкция.*



Клеопатра. Мрамор. *Музей Ватикана.*



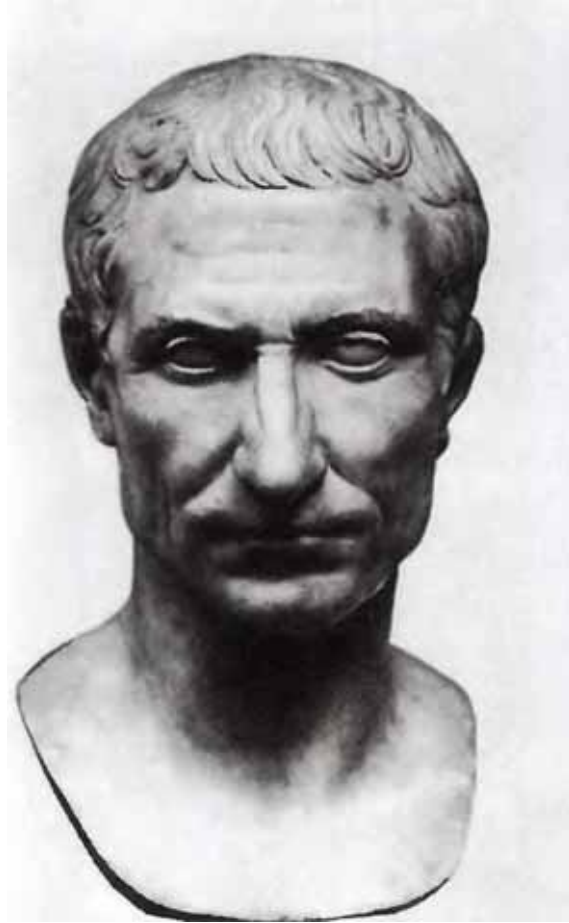
Побежденная Галлия. I в. Мрамор. Музей Сен-Бертран де Комменж.



Вооруженный галл. Авиньон.



Клеопатра. Мрамор. 30–11 гг. до н. э. Берлин. Предположительно, портрет заказала дочь Клеопатры VII, Клеопатра Селена, ставшая женой мавританского царя Юбы II



Гай Юлий Цезарь. Мрамор. 20—1 гг. до н. э. по оригиналу 45—44 гг. до н. э. Музей Ватикана.



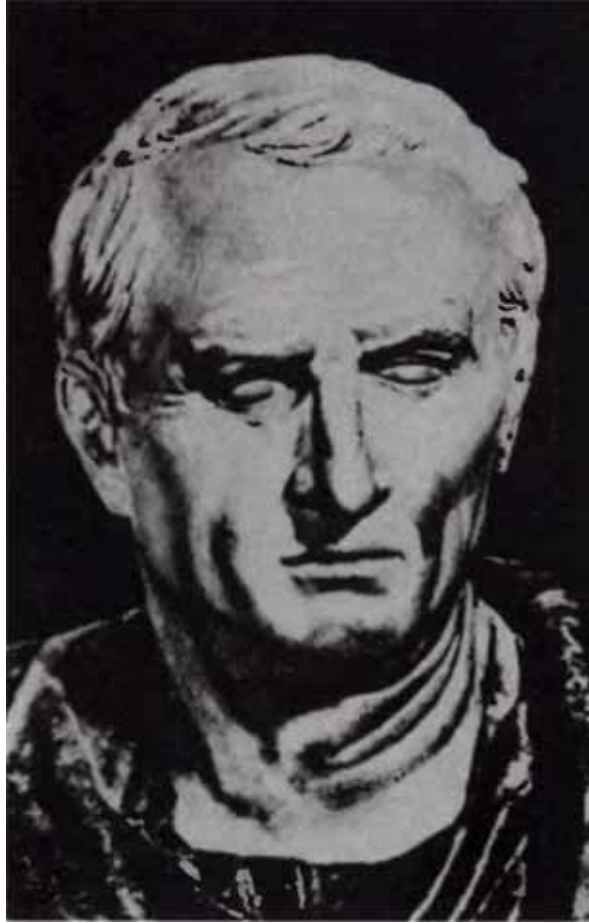
Цезарион, сын Цезаря и Клеопатры VII. I в. Осло.



Брут. I в. до н. э. Рим, Капитолийский музей.



Арсинья II. Серо-белый мрамор. Ок. 270 г. до н. э. Бонн, музей Университета.



Марк Туллий Цицерон. *Флоренция, музей Уффици.*



*Девочка с табличками для письма. Терракота. III в. до н. э.
Александрия, Музей греко-римского искусства.*



Комедианты (?). Терракота. Ок. 300–275 гг. до н. э. Хильдесхайм.



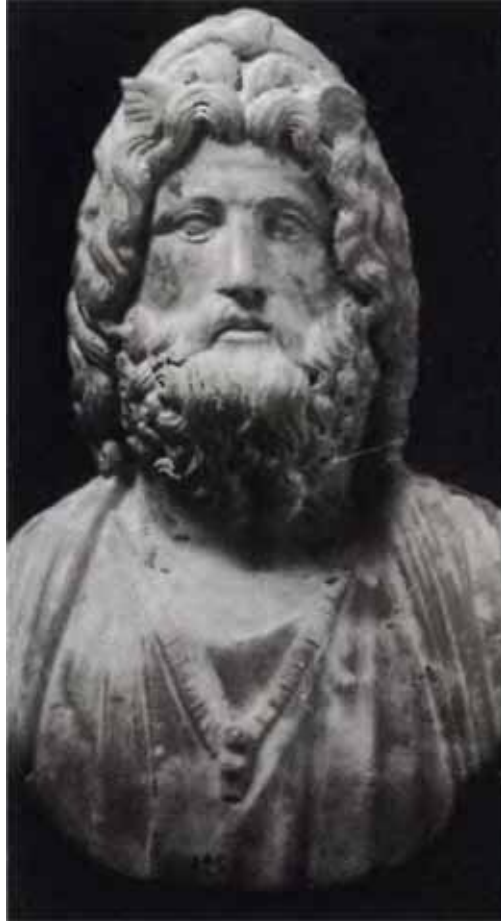
Прихорашивающаяся египетская проститутка. Фрагмент Туринского эротического папируса. Эпоха Рамессидов (XIII в. до н. э.).



Фрагмент напольной мозаики II в. до н. э., найденной в 1993 г. на территории Александрийской библиотеки.



*Кормящая Хора Исида. Серпентин. Конец I в. до н. э. — начало I в. н. э.
Мюнхен, Египетский музей.*



Бюст бога Сараписа. Начало римской эпохи (возможно, копия с эллинистической модели). Алебастр. Александрия, Музей греко-римского искусства.



Жительницы Александрии. Терракота. III в. до н. э. Александрия, Музей греко-римского искусства.



Голова Диониса. 2-я пол. I в. до н. э. — нач. I в. н. э. Зеленый шист.
Александрия, Музей греко-римского искусства.



Исида. I в. до н. э. Мрамор. Париж, Лувр.



Актер. Терракота. Александрия, Музей греко-римского искусства.



Римский золотой ауреус с профилем Антония.



Клеопатра VII. Лондон, Британский музей.



Серебряный денарий Антония.



Октавия, добродетельная римская жена Марка Антония. *Париж, Лувр.*



Август. Фрагмент статуи из Кум. Мрамор. 1-я пол. I в. Санкт — Петербург, Эрмитаж.



Ливия, супруга Августа. Мрамор. Начало I в. Санкт — Петербург, Эрмитаж.



Марк Антоний, изображенный как египетский фараон. *Базальт. Каир, Египетский музей.*



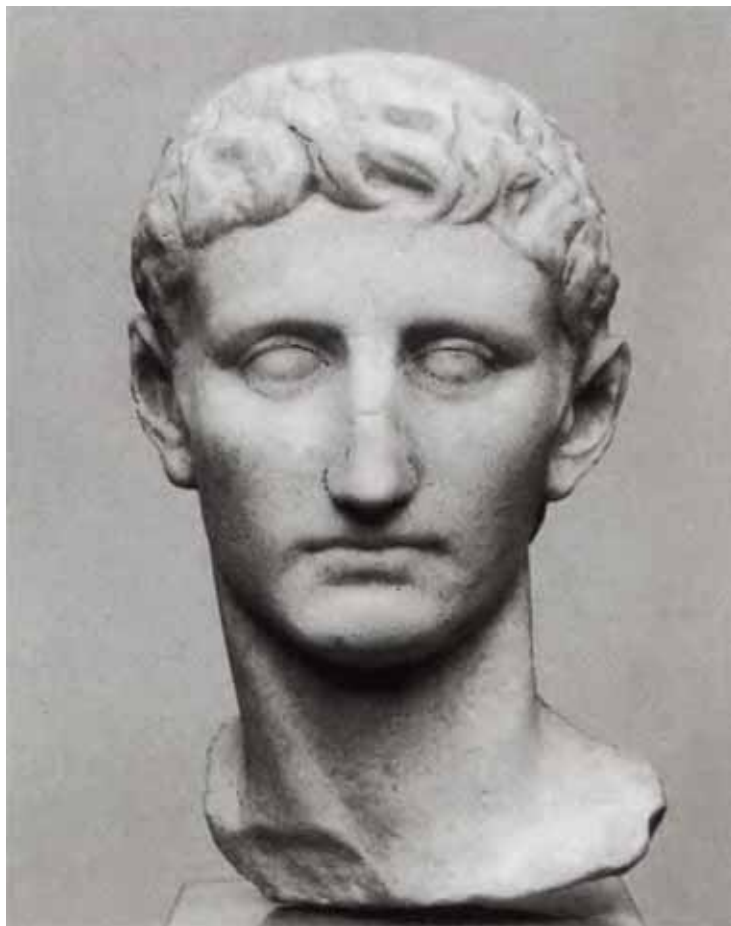
Клеопатра-Хатхор. Фрагмент рельефа из храма Хатхор в Дендере.



Август в тоге. I в. Рим, Национальный музей.



Персидский серебряный ритон в виде грифона. 1-я пол. III в. до н. э.
Каир, Египетский музей.



Октавиан Август. Мрамор. Конец I в. до н. э. Штутгарт.



Марк Антоний. Шифер. I в. до н. э. — I в. н. э.



Монета с изображением египетского корабля у Фаросского маяка.
Монета Октавиана в честь взятия Египта.



Ваза, найденная в Александрийском некрополе (квартал Гафра). *Конец III в. до н. э. Александрийский музей.*



Слева — золотой браслет из клада в Тух эль-Кармус. 2-я четверть III в. до н. э. Каирский музей. Справа — золотые браслеты эллинистической или римской эпохи. Каирский музей.



Стела с изображением священного быка Бухиса. 29 г. до н. э. Копенгаген. В иероглифической подписи говорится об интронизации Бухиса в 1-й год правления Клеопатры VII и о его смерти в 1-й год правления Октавиана (последний изображен в облике фараона, жертвующего быку).



Кубок со скелетами из клада в Боскореале. I в. Париж, Лувр.



Статуя Августа из Кум. Санкт-Петербург, Эрмитаж.

notes

Примечания

1

Перевод С. Ильинской

Я не буду пытаться ответить на вопрос, когда это произошло, но, во всяком случае, жители современного Египта, страны со сложным этническим составом, считают себя в первую очередь именно египтянами, а не, скажем, арабами, коптами или греками, — и наследниками всех пластов культуры, представленных в их стране.

То есть за первым столом обедали военные чины и греческая ученая свита, за вторым — высшие гражданские чиновники с избранными гостями.

Кнабе Г. С. Историческое пространство и историческое время в культуре Древнего Рима//Культура Древнего Рима, П. М., 1985. С. 134.

Ковельман А. Б. Риторика в тени пирамид: Массовое сознание римского Египта. М., 1988. С. 59, 155.

Термин «умственная игра» употребляется в этой книге («...на протяжении многих недель желание убить Цезаря, возникавшее у разных лиц, оставалось лишь робкой умственной игрой»). Западногерманский писатель и переводчик Арно Шмидт (1914–1979) выделял особый тип литературных произведений, описывающих «умственные игры». Подробнее об этом см. в моем предисловии к книге А. Роке «Брейгель, или Мастерская сновидений» (М., 2000), которая и по жанру, и по тематике близка к книге Ирэн Фрэн.

Город, ныне находящийся в департаменте Эндр и Луара, где в феврале 1429 г. Жанна д'Арк впервые явилась ко двору и с большим трудом добилась аудиенции у дофина Карла (будущего Карла VII).

Антоний и Клеопатра (пер. Д. Михаловского), акт I, сцена 1 (монолог Филона).

Оды, Книга I, 37.

Внутри жаркого пояса Эратосфен отмечает одну обитаемую и две необитаемые зоны (зоны пустынь).

Имя Птолемей означает «воинственный».

Птолемя VI Филометора (180–145 гг. до н. э.).

Птолемя VIII Эвергета (145–116 гг. до н. э.).

От древнеегип. *hk'w h'swt*, «властители чужеземных стран»; наименование народов (отчасти семитского происхождения), вторгшихся в Египет из Азии и образовавших династии (XV и XVI), правившие в нем примерно в 1650–1542 гг. до н. э. Гиксосы были изгнаны из страны последним царем XVII (фиванской) династии, Камосе, после чего сразу же начинается период создания египетской империи.

Обе земли — одно из наименований Египта (на древнеегипетском языке).

Отец семейства (*лат.*).

Здесь: то есть (*лат.*).

Окончания среднего, мужского и женского родов в латинском языке.

Похоронный танец, Танец Смерти (*фр.*); частый сюжет в средневековом изобразительном искусстве, смысл которого — в напоминании о бренности человеческой жизни, о равенстве всех сословий перед лицом смерти.

Старинный бальный танец испанского или североитальянского происхождения.

Митридат VI, царь Понта (132—63 гг. до н. э.). Птолемей и его родной брат, тоже незаконный сын Стручечника, жили при дворе Митридата в Синопе, на берегу Синопского залива Черного моря (ныне город Синоп находится на территории Турции).

В 82 г. до н. э.

К праотцам (*лат.*).

Основная часть царской титулатуры Птолемея, составленной в традициях фараоновского Египта: «Царь Верхнего и Нижнего Египта» — название предпоследнего, «тронного» имени Птолемея; «Бог-Спаситель» (по-гречески θεός σωτήρ) — титул всех царей из династии Лагидов; «Наследник Бога-Спасителя, Избранник Птаха (бога одной из столиц Египта фараонов, Мемфиса), Усеркара, Живая статуя Амона» — компоненты самого «тронного» имени в его разных вариантах (наиболее распространенный вариант: «Наследник Бога-Спасителя, Избранник Птаха, Творящий Маат»); «Сын Солнца» — название последнего, личного имени; «[Птолемей, да живет он вечно,] Возлюбленный [Птахом и] Исидой» — само личное имя; всего в царскую титулатуру фараонов входило пять имен. Египетские титулатуры имели почти все цари из династии Лагидов (кроме Птолемея VII и Береники IV).

Верхним и Нижним Египтом.

Город у западного устья Нила, недалеко от Александрии.

Имеются в виду сцены трапезы умершего.

Источники сообщают о явлении Птолемею I во сне неизвестного божества, об истолковании этого сна жрецами, о перенесении из Синопы в Александрию статуи божества в виде бородатого юноши и о провозглашении его Сараписом, богом, объединившим в себе черты мемфисского Осириса-Аписа и греческих богов Зевса, Гадеса и Асклепия. Главными помощниками Птолемея I в формировании культа Сараписа были афинянин Тимофей, жрец из Элевсина, и египтянин Манефон, жрец из Гелиополя. Почитание Сараписа сравнительно быстро распространилось в Египте; Сарапис и Исида стали популярнейшими эллинистическими божествами, культ которых просуществовал до победы христианства.

Мальчиком для утех (блатн.).

Хатшепсут (ок. 1479–1457 гг. до н. э.) — дочь фараона Тутмоса I; после смерти своего супруга Тутмоса II была регентшей в период малолетства своего племянника Тутмоса III и на седьмой год его правления полностью отстранила его от власти, объявив себя фараоном; по ее повелению была организована экспедиция в Пунт (нынешнее Сомали); *Тийа* — супруга Аменхотепа III (ок. 1391–1353 гг. до н. э.) и мать фараона-реформатора *Эхнатона* (ок. 1353–1336 гг.); на протяжении двух этих царствований пользовалась большим влиянием при дворе и во внешнеполитических делах; *Нефертити* — супруга Эхнатона, родившая ему шесть дочерей и игравшая важную роль в культе нового солнечного бога Атона; на изображениях она повсюду сопровождает мужа и даже самостоятельно отправляет культ в построенном для нее храме Атона.

Арсиния II (316–270 гг. до н. э.) стала супругой Птолемея II (308–246 гг. до н. э.) в 277 г., уже почти сорокалетней женщиной. До этого она дважды была замужем (за престарелым Лисимахом, царем Фракии и Македонии и его преемником, своим сводным братом Птолемеем Керанном), потеряла престол и двух (из троих) своих сыновей, убитых на ее глазах ее вторым мужем. Женитьба Птолемея II на родной сестре была поначалу воспринята греко-македонским населением Египта как неслыханный скандал.

«Хор» — название первого имени из пятичленной титулатуры фараонов; Клеопатра-Супруга употребляла это слово с окончанием женского рода. «Владычица Обеих земель» — примыкающий к первому имени эпитет; «Могучий бык» — характеристика фараона как воителя и продолжателя рода, часто использовавшаяся в первых именах царей со времени Тутмосидов (15 в. до н. э.) — создателей египетской империи.

О культе священных животных и птиц в Египте много пишут античные авторы (Геродот, Диодор, Страбон). Мумии кошек найдены здесь при археологических раскопках. Данных о разведении их для жертвоприношений нет. — *Примеч. науч. ред.*

См.: Плутарх. Сравнительные жизнеописания. Цезарь, 10 (пер. К. Лампсакова и Г. Стратановского).

Титул «император» (букв.: победитель) был дарован Цезарю в 45 г. до н. э. сенатом с правом передачи его по наследству. Первоначально это было временное звание военачальника: так именовался полководец с момента победы до триумфа в Риме. — *Примеч. науч. ред.*

Имеется в виду Гай Скрибоний Курион, будущий народный трибун 50 г. до н. э. Плутарх описывает его отношения о Антонием так: «Антоний в юности был необычайно красив, и потому с ним не замедлил сблизиться Курион, чья дружба оказалась для молодого человека настоящею язвой, чумой. Курион и сам не знал удержу в наслаждениях, и Антония, чтобы крепче прибрать его к рукам, приучил к попойкам, распутству и чудовищному мотовству, так что вскорости на нем повис огромный не по летам долг — двести пятьдесят талантов». Плутарх. Антоний (пер. С. П. Маркиша), 2.

Совр. Марсель.

«Черной землей» древние египтяне называли Египет — в противоположность «Красной земле», то есть пустыням, чужеземным странам.

См. изображение на обложке: стела Бухиса, интронированного при Клеопатре и скончавшегося вскоре после нее. — *Примеч. науч. ред.*

В Египте косметику применяли не только для красоты, но и как гигиеническое, защитное средство (в данном случае — от пыли, причины многих глазных болезней в долине Нила).

Гай Светоний Транквилл. Жизнь двенадцати цезарей. Божественный Юлий, 32.

Пер. М. Л. Гаспарова. См.: Светоний Транквилл. Божественный Юлий,
51.

Плутарх. Сравнительные жизнеописания. Цезарь, 58.

Ср.: «...он носил senatorскую тунику с бахромой на рукавах и непременно ее подпоясывал, но слегка: отсюда и пошло словцо Суллы, который не раз советовал оптиматам остерегаться плохо подпоясанного юнца». Гай Светоний Транквилл. Жизнь двенадцати цезарей. Божественный Юлий, 45.

Обширными выдержками (*лат.*).

От лат. *parasitus*, «блюдолиз».

Ср.: «Все улицы и перекрестки были перерезаны тройным валом; он был из четырехугольных камней и в высоту имел не менее 40 футов». Цезарь. Записки о военных действиях в Александрии (пер. А. Клеванова), 2.

Ср.: «В городе открыты в большом размере мастерские разного оружия. Даже взрослым рабам роздано оружие, а богатые владельцы взялись кормить их и платить им жалованье... Часть города, находившаяся внизу, была укреплена чрезвычайно высокими башнями в 10 этажей. Сверх того устроены были и подвижные башни о стольких же этажах; на колесах, с помощью веревок и лошадей, они двигались по улицам туда, где в них оказывалась надобность». Там же.

Вода была отравлена лишь в части города, занятой римскими войсками. См.: Цезарь. Записки о военных действиях в Александрии, 6.

Ср.: «...восточный ветер, дувший постоянно в течение многих дней, препятствовал им войти в гавань». Цезарь. Записки о военных действиях в Александрии, 9.

Плащ триумфатора-полководца, награждаемого правом отпраздновать триумф в Риме. Цезарь был удостоен правом постоянно носить плащ и лавровый венок. — *Примеч. науч. ред.*

Совр. г. Кадис в Испании.

Человек исторический (*лат.*).

Город в Африке, к северу от Карфагена.

Город в Северной Африке; в его окрестностях произошла битва (в 46 г. до н. э.), в ходе которой Цезарь разгромил помпеянцев.

После битвы при Фарсале Цезарь был объявлен диктатором на 10 лет, а в 45 г. до н. э. — навечно (в эпоху ранней республики диктатор — должностное лицо с чрезвычайными полномочиями на срок не более 6 месяцев). — *Примеч. науч. ред.*

Имеется в виду астрология. — *Примеч. науч. ред.*

Ср.: «Он установил, применительно к движению солнца, год из 365 дней и вместо вставного месяца ввел один вставной день через каждые четыре года». Гай Светоний Транквилл. Жизнь двенадцати цезарей. Божественный Юлий, 40.

Ср. высказывание Цезаря: «Республика — ничто, пустое имя без тела и облика». Гай Светоний Транквилл. Жизнь двенадцати цезарей. Божественный Юлий, 77.

Выложенное слоновой костью и украшенное золотом кресло консула, претора или курульного эдила.

Руководитель крупнейшего и последнего восстания галльских племен, подавленного Цезарем в 52–51 гг. до н. э. После разгрома восставших вся Галлия стала римской: некоторые племена считались «союзниками» Рима, другие — «покоренными».

Туллианум, или *Мамертинская тюрьма* — одна из старейших построек в Риме, в северной части Форума; состояла из двух помещений, нижнее из которых было вырублено в скале, там содержались государственные преступники и взятые в плен иноземные правители.

С Тарпейской скалы сбрасывали преступников. Капитолий — один из семи холмов; политический и религиозный центр Рима. — *Примеч. науч. ред.*

Сердце у римлян считалось обитателем разума. Цезарь стал главой верховной жреческой коллегии — великим понтификом — еще в 63 г. до н. э. См.: Светоний Транквилл. Жизнь двенадцати цезарей (пер. М. Л. Гаспарова). Божественный Юлий, 77.

Ср. в русском переводе Светония: «... в заключение была показана битва двух войск по пятисот пехотинцев, двадцать слонов и триста всадников *с каждой стороны*» (Гай Светоний Транквилл. Жизнь двенадцати цезарей. Божественный Юлий, 39). (Курсив мой. — Т.Б.)

Потрясатель копья — имя, которое получил Ромул после того, как был обожествлен.

Высокомерие, надменность (*лат.*).

См.: Плутарх. Сравнительные жизнеописания. Цезарь, 56.

Речь идет о старшем из сыновей Помпея, которые оба участвовали в битве.

Царский замок Нумы.

Капий упоминается в «Энеиде», X, 143.

Ср. в русском переводе у Плутарха: «...у *раба* одного воина из руки извергалось сильное пламя...». Плутарх. Сравнительные жизнеописания. Цезарь, 63. (Курсив мой. — Т.Б.)

Ужасное дело, злодеяние (*лат.*).

Во время праздника *лектистерний* («угощения [богов]») на подушки или устланные коврами диваны (которые назывались *pulvinar*, «подушка, ложе [бога]») ставили статуи богов, а перед ними — столы с кушаньями.

Титул заместителя диктатора.

Львы, купленные Кассием, находились в греческом городе Мегары. В 48 г. до н. э. город встал на сторону Помпея и был захвачен легатом Цезаря, Каленом, после чего диктатор оставил животных себе. См.: Плутарх. Сравнительные жизнеописания. Брут, 8.

Ср. в русском переводе Плутарха: «Я не особенно боюсь этих длинноволосых толстяков, а скорее — бледных и тощих». Плутарх. Сравнительные жизнеописания. Цезарь, 62.

При голосовании на Марсовом поле часть поля окапывалась рвом, и через этот ров по мосткам проходили поодиночке избиратели, заполняя на мостках свои таблички-бюллетени. См.: Древний мир глазами современников... Ч. II, с. 198, примеч. 45.

Марк Эмилий Лепид — консул 46 г. до н. э., будущий участник второго триумvirата.

Согласно Плутарху, это был Децим Юний Брут Альбин, который в свое время служил под командой Цезаря в Галлии. См.: Плутарх. Сравнительные жизнеописания. Цезарь, 64.

Гай Октавий стал Гаем Юлием Цезарем. Семейным именем «Октавиан» его звали современники, а с 27 г. до н. э. он именовался Цезарь Август. — *Примеч. науч. ред.*

Наследники второй степени назначались на случай смерти или отказа основных наследников; обычно это был простой знак уважения.

Ср.: «Зимой он надевал не только четыре туники и толстую тогу, но и сорочку, и шерстяной нагрудник, и обмотки на бедра и голени». Светоний Транквилл. Божественный Август, 82.

Булла — медальон или кожаный футляр с амулетом, который дети носили на шее до совершеннолетия, а потом обычно посвящали богам — домашним ларам.

Поэта Гая Гельвия Цинну, которого приняли за Луция Корнелия Цинну. См.: Плутарх. Сравнительные жизнеописания. Брут (пер. В. Петуховой), 20.

«Илиада» (пер. Н. Гнедича). Песнь восемнадцатая, 98–99.

Свои обличительные речи против Антония сам оратор назвал «Фцлиппиками» (в подражание Демосфену: его «Филиппики» были направлены против Филиппа II, отца Александра Македонского).

Ср. у Плутарха: «Затем Геренний, следуя приказу Антония, отрубил Цицерону голову и руки, которыми он написал «Филиппики». Плутарх. Сравнительные жизнеописания. Цицерон (пер. В. Петуховой), 48.

Кадешская битва произошла в 1275 г. до н. э. И египтяне, и хетты писали в своих надписях, что одержали блистательную победу; на самом деле сражение фактически окончилось вничью.

Гомер. Одиссея (пер. В. И. Жуковского). Песнь V, с. 291–296, 313–314.

Ср.: «... а к карликам, уродцам и тому подобным он питал отвращение, видя в них насмешку природы и злое предзнаменование». Гай Светоний Транквилл. Жизнь двенадцати цезарей. Божественный Август, 83.

Ср.: «В битве при Филиппах он по нездоровью не соби́рался выходить из палатки, но вышел, поверив вещему сну своего друга; и это его спасло, потому что враги захватили его лагерь и, думая, что он еще лежит в носилках, искололи и изрубили их на куски». Гай Светоний Транквилл. Жизнь двенадцати цезарей. Божественный Август, 91.

Μορε (δρ. — греч.).

Мщение, гордыня (др. — греч.).

Средиземное море, букв, «наше море» (*лат.*).

Уже виденного (фр.).

Совр. Перуджа.

Вергилий. Буколики (пер. С. Шервинского), эклога IV, с. 4—10.
Луцина, к которой обращены с. 8—9, — богиня родов.

«Секст Помпей, младший сын Помпея... организовал, по существу, морскую блокаду Италии и делал набеги на южное побережье. Он обладал большим флотом и деньгами (получаемыми пиратством) и принимал проскрибированных и беглых рабов. Его деятельность парализовала судоходство, и в Риме начался голод». История Европы. Т. I. М., 1988. С. 480.

В Левкокоме, маленькой гавани между Беритом и Сидоном.

Ср.: «Всякий, кто ел ее, забывал обо всем на свете, терял рассудок и только переворачивал каждый камень, который попадался ему на глаза, словно бы исполняя задачу величайшей важности. Равнина чернела людьми, которые, склонясь к земле, выкапывали камни и перетаскивали их с места на место. Потом их начинало рвать желчью, и они умирали, потому что единственного противоядия — вина — не осталось ни капли». Плутарх. Сравнительные жизнеописания. Антоний, 45.

Плутарх. Сравнительные жизнеописания. Антоний, 53.

Ср.: «К этому Цезарь прибавил, что Антоний отравлен ядовитыми зельями и уже не владеет ни чувствами, ни рассудком, и что войну поведут евнух Мардион, Потин, рабыня Клеопатры Ирада, убирающая волосы своей госпоже, и Хармион — вот кто вершит важнейшими делами правления». Плутарх. Сравнительные жизнеописания. Антоний, 60.

Гай Светоний Транквилл. Жизнь двенадцати цезарей. Божественный Август, 69.

Объявлять войну могли только члены особой коллегии жрецов-фециалов. Главная роль в исполнении ритуала отводилась их главе, *pater patratus*.

Первоначально жрец, после того как сенат принимал решение об объявлении войны, отправлялся на границу и бросал копье на вражескую территорию. В позднейшее время, когда границы отодвинулись так далеко, что выезжать к ним фециалам стало невозможно, обряд производился символически в самом Риме. Жрец бросал копье на тот участок земли возле храма Беллоны, который некогда был символически куплен каким-то военнопленным и потому мог рассматриваться как чужая территория. См.: Кнабе Г.С, Историческое пространство и историческое время в культуре Древнего Рима/Культура Древнего Рима. М., 1985. Т. II. С. 122.

Ср.: «Лагерь был соединен с якорною стоянкой длинными стенами, под защитою которых Антоний часто ходил, не страшась никакой опасности. Какой-то раб открыл Цезарю, что Антония можно захватить, когда он спускается к берегу этой дорогой, и Цезарь послал людей, чтобы его подкараулить. И дело чуть было не завершилось успехом, да только караульщики выскочили из засады раньше срока, и в руки им попался воин, который шел впереди Антония, сам же он, хотя и с трудом, но бежал». Плутарх. Сравнительные жизнеописания. Антоний, 63.

Ср.: «...когда кормчие хотели оставить паруса на берегу, Антоний приказал погрузить их на борт и взять с собой — под тем предлогом, что ни один из неприятелей не должен ускользнуть от погони». Плутарх. Сравнительные жизнеописания. Антоний, 64.

Ср. описание сражения у Плутарха: «Наконец, завязался ближний бой, но ни ударов тараном, ни пробоин не было, потому что грузные корабли Антония не могли набрать разгон, от которого главным образом и зависит сила тарана, а суда Цезаря не только избегали лобовых столкновений, страшась непробиваемой медной обшивки носа, но не решались бить в борта, ибо таран разламывался в куски, натываясь на толстые, четырехгранные балки кузова, связанные железными ско-'бами. Борьба походила на сухопутный бой или, говоря точнее, на бой у крепостных стен. Три, а не то и четыре судна разом налетали на один неприятельский корабль, и в дело шли осадные навесы, метательные копья, рогатины и огнеметы, а с кораблей Антония даже стреляли из катапульта, установленных в деревянных башнях...». Плутарх. Сравнительные жизнеописания. Антоний, 66.

110

Латинское название мыса Актий.

Плутарх. Антоний, 66–67.

Плутарх. Антоний, 67.

Ср.: «Антоний... выбрал один корабль с большим грузом денег и драгоценной, серебряной и золотой утвари из царских кладовых и передал друзьям, чтобы они разделили все между собою и не думали больше ни о чем, кроме собственного спасения. Друзья не соглашались и плакали, но он ласково и мягко уговорил их подчиниться, и они уехали, увозя письмо Антония, в котором он наказывал Феофилу, своему управляющему в Коринфе, предоставить им безопасное убежище до той поры, пока они не вымолят прощение у Цезаря». Плутарх. Сравнительные жизнеописания. Антоний, 67.

Современная Бардия на морском побережье Ливии, у границы с Египтом.

О Луции Плутарх пишет: «... при Филиппах, чтобы помочь Бруту бежать, он выдал себя за него и отдался в руки преследователей, а потом был помилован Антонием и, в благодарность, оставался непоколебимо верен ему вплоть до последнего мига». Плутарх. Сравнительные жизнеописания. Антоний, 69.

Речь идет о событиях апреля 43 г. до н. э., о которых Плутарх рассказывает так: «Цицерон, обладавший в ту пору наибольшим влиянием в Риме, восстановил против Антония всех и вся и, в конце концов, убедил сенат объявить его врагом государства. Особым постановлением Цезарю [Октавиану] была отправлена ликторская свита и остальные знаки преторского достоинства, а Пансе и Гирцию, консулам того года, поручено изгнать Антония из Италии. Консулы дали Антонию битву близ города Мутины [в циспаданской Галлии], в присутствии и при поддержке Цезаря, и разбили врага, но сами оба погибли. Во время бегства Антонию пришлось вынести много тяжких испытаний, и самым тяжким среди них был голод... Антоний... в те дни был замечательным примером для своих воинов: после всей роскоши, всего великолепия, которые его окружали, он без малейшей брезгливости пил тухлую воду и питался дикими плодами и кореньями. Рассказывают, что, переваливая через Альпы, его люди ели и древесную кору, и животных, никогда прежде в пищу не употреблявшихся». Плутарх. Сравнительные жизнеописания. Антоний, 17. Так как сенат не поддержал притязаний Октавиана на консульство, последний не стал преследовать Антония. В начале ноября того же года между Антонием, Лепидом и Октавианом было заключено соглашение о втором триумвирате.

Ср.: «В погребальном шествии участвовали «изображения» (раскрашенные маски) знаменитых предков умершего. По словам Полибия, они надевались на людей подходящего роста и сложения, одетых в соответствии с должностями изображаемых. Они сопровождали тело на колесницах, а впереди них несли знаки отличия. На Форуме шествие останавливалось. Мертвою обычно ставили стоймя, «дабы он был виден всем», «предки» в масках рассаживались «по порядку в креслах из слоновой кости»... «Перед лицом всего народа, стоящего кругом», сын или другой родственник произносит речь, воскрешающую в памяти присутствующих «деяния прошлого», и «личная скорбь родственников обращается во всенародную печаль»...» История Европы, т. I. М., 1988. С. 488–489.

Плутарх. Сравнительные жизнеописания. Антоний, 71.

Цезариона Антоний записал в эфебы, а Антулла впервые одел в мужскую тогу без каймы. Там же.

Плутарх. Сравнительные жизнеописания. Антоний, 73.

Плутарх рассказывает о том, как маленький Антулл однажды подарил врачу Филоту всю дорогую посуду с пиршественного стола за одно удачное высказывание; раб, принесший эту посуду в дом растерявшегося гостя, сказал, что сын Антония может дарить, что хочет и кому хочет; а потом прибавил: «Но лучше послушайся меня и отдай нам все это обратно, а взамен возьми деньги, а то как бы отец не хватился какой-нибудь из вещей — ведь среди них есть старинные и тонкой работы». Там же, 28.

Плутарх. Сравнительные жизнеописания. Антоний, 74.

Плутарх. Сравнительные жизнеописания. Антоний, 75.

Плутарх. Сравнительные жизнеописания. Антоний, 75.

Ср. в русском переводе Плутарха: «Видя, что друзья его плачут, он сказал, что не поведет их за собою в эту битву, от которой ждет не спасения и победы, но славной смерти». Плутарх. Сравнительные жизнеописания. Антоний, 75.

Плутарх. Сравнительные жизнеописания. Антоний, 76.

Плутарх. Сравнительные жизнеописания. Антоний, 76.

Плутарх. Сравнительные жизнеописания. Антоний, 76.

Плутарх. Сравнительные жизнеописания. Антоний, 76. В пер. С. П. Маркиша Диомед назван «писцом».

Плутарх. Сравнительные жизнеописания. Антоний, 77.

Плутарх. Сравнительные жизнеописания. Антоний, 77.

После смерти (*лат.*).

Плутарх. Сравнительные жизнеописания. Антоний, 82.

Плутарх. Сравнительные жизнеописания. Антоний, 82.

Плутарх. Сравнительные жизнеописания. Антоний, 83.

Плутарх. Сравнительные жизнеописания. Антоний, 83.

Плутарх. Сравнительные жизнеописания. Антоний, 83.

Ср. соответствующее место в переводе С. П. Маркиша: «Корнелий Долабелла... тайно известил царицу, что Цезарь выступает в обратный путь через Сирию, а ее с детьми решил на третий день отправить В Рим морем». Плутарх. Сравнительные жизнеописания. Антоний, 84.

Все даты до нашей эры.

Пожалуй, наиболее известны в русских переводах роман «Клеопатра» немецкого египтолога Георга Эберса и польского историка Александра Кравчука («Закат Птолемеев», в оригинале «Клеопатра», М., 1973).

Предисловие в переводе М. А. Энгельгардта. Эберс. Г. Собр. соч. в 13 т. СПб., 1896–1899. Т. 13.

Есть предположение, что великий полководец был похоронен в оазисе Сива, где оракул Аммона признал его богом.

Этот отрывок, найденный в черновике на отдельном листе, возможно, является продолжением неоконченных «Египетских ночей».